

Антология современной казахской прозы

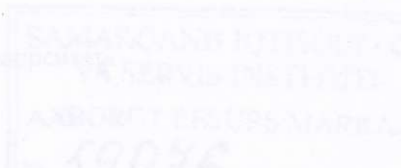


Издательство Московского университета

RÝHANI JAŇGYRÝ



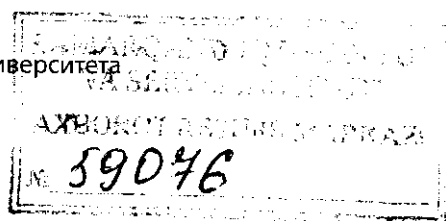
Проект «Современная казахстанская
культура в глобальном мире»
реализован по инициативе первого Президента
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
в рамках государственной программы
модернизации общественного сознания
«Рухани жангыру»



Антология современной казахской прозы



Издательство Московского университета
2019



УДК 821.512.122:17.82.30
ББК 84(5)
А72

Издатели выражают благодарность председателю
Национальной комиссии по реализации программы модернизации
общественного сознания «Рухани жангыру» М. М. Тажину
и секретарю Национальной комиссии А. Г. Балаевой

А72 Антология современной казахской прозы. М.: Издательство Московского университета, 2019. — 855 с., ил.

ISBN 978-5-19-011388-4

От лирического реализма до мифологической прозы, от комического до трагического — антология прозаических произведений погружает читателя в казахскую культуру и передает казахское мироощущение. Авторы апеллируют к тому, что воплощает казахскую идентичность, а это и характеры, и верования, и памятные места; это бескрайние просторы, благородство природы, давние семейные традиции, музыкальность, доброта; это и непростая история, в том числе ее советский этап, полный борьбы. И — поверх всех границ — размышления на вечные, общие для всего человечества темы. Разнообразные по звучанию, эти глубокие, философские тексты показывают, как казахская национальная идентичность на новом этапе складывается из традиций прошлого и надежд на будущее.

УДК 821.512.122
ББК 84(5)

ISBN 978-5-19-011388-4

© Общественный фонд «Ұлттық аударма бюросы»
(Национальное бюро переводов), 2019
© Издательство Московского университета, 2019

Если мы хотим быть нацией со своим неповторимым местом на глобальной карте XXI века, то мы должны реализовать проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Речь идет о том, чтобы мир узнал нас не только по ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим инициативам, но и по нашим культурным достижениям. Нужен целевой подход, чтобы отечественная культура зазвучала на шести языках ООН: английском, русском, китайском, испанском, арабском, французском.

Впервые за тысячелетнюю историю наша культура зазвучит на всех континентах и на всех главных языках мира.

Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев

Содержание

Предисловие	9
Шерхан Муртаза	12
Аким Тарази (Ашимов)	33
Калихан Искак	110
Сайин Муратбеков	162
Кабдеш Жумадилов	199
Аскар Сулейменов	218
Абиш Кекилбайулы	250
Сабит Досанов	284
Мухтар Магауин	305
Бексултан Нуржекеев	360
Софы Сматаев	383
Толен Абдик.	397
Кажыгали Муханбеткалиулы	468
Дулат Исабеков	523
Оралхан Бокей	577
Мархабат Байгут	592
Смагул Елубай	613

Содержание

Предисловие	9
Шерхан Муртаза	12
Аким Тарази (Ашимов)	33
Калихан Искак	110
Сайин Муратбеков	162
Кабдеш Жумадилов	199
Аскар Сулейменов	218
Абиш Кекилбайулы	250
Сабит Досанов	284
Мухтар Магауин	305
Бексултан Нуржекеев	360
Софы Сматаев	383
Толен Абдик	397
Кажыгали Муханбеткалиулы	468
Дулат Исабеков	523
Оралхан Бокей	577
Мархабат Байгут	592
Смагул Елубай	613

СОДЕРЖАНИЕ

Дидахмет Ашимханулы	637
Жумабай Шаштайулы	663
Алибек Аскаров	692
Таласбек Асемкулов	702
Рахымжан Отарбаев	729
Турсынжан Шапай	741
Нургали Ораз	753
Жусипбек Коргасбек	762
Роза Муканова	772
Айгуль Кемелбаева	785
Дидар Амантай	815
Даурен Куат	826
Юрий Серебрянский	848

Предисловие

Мудрое кочевое сознание казахов как нельзя лучше сочетается с повествованием эпическим, где прочтение есть путь осмысленный и цельный — путь духовного постижения сюжета, а в центре повествования всегда человек, сталкивающийся с испытаниями и преодолевающий их, так как остается верен нравственным идеалам казахского народа, наделенного и такими прекрасными качествами, как честность и благородство. Здесь благородство противостоит хитрости и коварству, возводится в ранг главного источника духовных сил для народа, отстаивавшего свое право на национальную самобытность в борьбе с угнетателями всех мастей.

Для того чтобы удерживать хрупкое равновесие между национальными и общемировыми векторами развития, нужны были писатели, обладающие особым даром — способностью видеть одновременно прошлое и настоящее своего народа и предугадывать его будущее в постоянно меняющемся глобальном мировом пространстве. Но и этого было бы недостаточно — необходим еще отменный литературный вкус, умение выразить свой взгляд на происходящие события так, чтобы не возник разрыв между творчески мыслящей индивидуальностью и породившим ее народом.

И такие писатели появились. В лучших их произведениях сконцентрированы эстетические и этические основы казахской культуры, которая представлена во всем ее национальном своеобразии — и в то же время как выражение подлинного евразийства, где Европа не противостоит Азии, но, соединяясь с ней, покоряет все новые и новые духовно-нравственные и интеллектуальные вершины.

Предисловие

Представленные в сборнике произведения казахстанских писателей XX и начала XXI века помогут представителям других национальностей понять, где истоки стремления казахского народа к независимости, какие цели он ставит перед собой сегодня, когда осуществилась наконец эта святая для него мечта.

В современном мире идея национальной независимости обретает с каждым годом всё больше единомышленников, и Казахстан, добившийся несомненных успехов на этом пути, является авторитетнейшим государством, без участия которого невозможно разрешение глобальных кризисов, с которыми сталкивается человечество.

Смело можно утверждать, что все ныне активно работающие казахстанские прозаики выросли, опираясь на традиции своих предшественников и учителей. Именно благодаря их самоотверженности и пониманию высокой роли литературы проза Казахстана развивается в атмосфере подлинной демократии, не теряя при этом связи с заветами отцов.

Проза Казахстана, пройдя искушение стилистическими изысками, сохранила преемственность традиций, не отвернувшись от той картины мира, которая сложилась в национальном сознании казахского народа. В центре произведений молодых казахских прозаиков, как и прежде, человек, существующий на пересечении двух миров — кочевой и оседлой культуры, европейской и азиатской цивилизации. Впитывая самые прогрессивные идеи современности, не оставаясь в стороне от магистрального пути развития, по которому идет мировая литература, прозаики Казахстана не отступают ни на шаг от национального своеобразия, не впадая при этом в крайности консерватизма, но и не следуя слепо канонам литературного модернизма и постмодернизма.

Именно поэтому мы уверены, что и в будущем казахстанская проза останется важной и неотъемлемой частью мировой литературы, и не как отражение идеологии всеобщего хаоса и ожиданий грядущего апокалипсиса, но как живое напоминание о том, что в основе миро-

ПРЕДИСЛОВИЕ

здания должно быть не зло, а стремление к добру и правде — подлинным ценностям, без которых человечеству не выжить.

Для русского читателя, критика, литературоведа современная казахстанская проза, в определенном смысле, *terra incognita*. Поэтому инициированный первым Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире» вызывает искренний интерес, и не только у специалистов. Собранные в одну книгу лучшие произведения казахских прозаиков помогают увидеть масштабы и глубину осмысления ими сложных и нередко опасных процессов, происходящих в мире. И очевидна государственная значимость этого проекта, который предполагает перевод прозаических произведений с казахского не только на русский, но и на китайский, английский, арабский, испанский и французский языки. Работа по подготовке текстов к печати идет полным ходом в Москве, Дубае, Лондоне, Париже, Мадриде и Пекине. Библиотеки всего мира с нетерпением ждут поступления двухтомной «Антологии современной казахстанской литературы» в свои активы.

Президент филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
профессор, докт. филол. наук
М.Л. Ремнёва

Шерхан Муртаза

(1932–2018)



Шерхан Муртаза окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (1955). Творческую деятельность начал в студенческие годы с перевода на родной язык «Старика Хоттабыча» Л. Лагина и «Радости нашего дома» М. Карима.

В 1958 г. вышел в свет первый сборник рассказов. На протяжении последующих лет изданы сборники рассказов и повестей: «Табылған теңіз» («Найденное море»), «Бұлтсыз күнгі найзағай» («Молния в ясный день»), «Белгісіз солдаттың баласы» («Сын неизвестного солдата»), «Мылтықсыз майдан» («Безоружная война»), «41-жылғы келіншек» («Невеста 41-го года»), «Ахметжанның анты» («Клятва Ахметжана»), «Интернат наны» («Хлеб интерната»), «Жүрекке әжім түспейді» («Сердце не стареет»), «Не жетпейді?» («Чего не хватает?»), «Соғыстың соңғы жесірі» («Последняя

вдова войны»), «Бір кем дүние» («Один ущербный мир»), «Бойтұмар» («Оберег»); романы «Қара маржан» («Черный жемчуг»), «Ай мен Айша» («Луна и Айша»); роман-хамса (из 5-ти книг), посвященный видному государственному деятелю Турару Рыскулову. В 1990 г. издан четырехтомник избранных сочинений. В 2008 г. — полное собрание сочинений из семи томов.

Ш. Муртаза принимал также активное участие в общественной жизни страны. Ш. Муртаза автор литературно-критических публикаций, художественных очерков, статей и эссе на актуальные темы. Его произведения переведены на русский, немецкий, венгерский, кыргызский, татарский, узбекский, украинский, якутский языки.

Пьесы автора: «Сталинге хат» («Письмо Сталину»), «Бесеудің хаты» («Письмо птерых»), «Жетім бұрыш» («Сиротский угол») успешно шли на сценах Академического театра им. М. Ауэзова и детско-юношеского театра им. Г. Мусрепова.

Перевел на казахский сказки Г.Х. Андерсена, венгерские народные сказки, повести Ч. Айтматова «Қош бол, Гүлсары» («Прощай, Гульсара»), «Теңіз жағалай жүгірген Тарғыл

ШЕРХАН МУРТАЗА

Төбет» («Пегий пес, бегущий краем моря»), романы «Боранды бекет» («Буранный полустанок») и «Жанпида» («Плаха»).

Произведения включены в программу казахских школ.

Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1965), лауреат Государственной премии РК и премии «Тарлан» (1978). Народный писатель Казахстана.

Амулет

Как сладко спится на утренней заре! Сначала уговариваешь себя: «Еще немного, еще чуть-чуть», — и лежишь. Но где-то в глубине, пронзив дремучую толщу сна, назойливо тербит сознание: «Вставай, опоздаешь на работу, вставай». А ты: «Еще немного, еще чуть-чуть...»

Опять красный бычок лижет мне волосы. «Сгинь, проклятуший, — бормочу я, еще не вполне проснувшись, — отсечь бы твой шершавый язык...» Наконец, потеряв терпение, лежа с закрытыми глазами, выпростав руку из-под одеяла, я как кину ее кверху...

— Ого, смотри, что выделяет этот батыр! — слышу знакомый голос. После этого прогоняю остатки сна и вижу — рядом присевший на колено однорукий Сиякул. Чуть слезящиеся, красивые глаза его цвета черемухи жмурятся в улыбке. Бородка клинышком подрагивает, видимо, от смеха, единственной рукой гладит меня по голове. На этот раз красный бычок оказался ни при чем.

Была пора, когда едва побледневшая заря на востоке осветила розоватым светом пик Манаса. День еще не начался толком, а солнечные лучи уже освещают Манас. В здешних краях среди Поднебесных гор нет вершины выше, чем этот пик. Он раньше других встречает солнечные лучи и позже всех провожает их.

Хотя и стоял конец июля, жара все еще не спадала. Поэтому мы ночевали на воле, расстелив матрасы во дворе перед входной дверью. Окончательно проснувшись, я осмотрелся по сторонам. Айша уже подоила корову и крепко привязала красного бычка к колышку. А красная корова удалялась в сторону пастбища.

— Эй, бригадир, стоит ли отправлять в дальний путь несмышленного пацана, разве другие не найдутся в этом ауле? — завела свою песню Айша после того, как выгнала корову за околицу и возвращалась обратно. Сейчас она наспех глотнет из пиалы чая и отправится на свекольное поле.

Когда Айша проговорила «в дальний путь», я вздрогнул и моментально вскочил с места. «Дальний путь» — моя заветная мечта. Что может быть тяжелее, чем работа на току — наваливать камни и разгружать пшеницу, вертеться, как осел, который крутит чигирь¹ с утра до вечера под палящим зноем. Если отпустят в «дальний путь» — как птица полечу.

Увидев, как я резво вскочил с постели, однорукий Сиякул повеселел, его влажные глаза снова зажмурились в улыбке.

— Ой, батыр мой! Барс мой неустрашимый! Вот кто настоящий джигит! Кто, как не этот Барс², осмелится вместе с Аталыком ата отправиться в Тобышакты³?

— Пусть его отпрыск отправляется! — строптиво возразила Айша, заворачивая в полотенце из холстины бутылку разбавленного айрана⁴ и тонкую лепешку. — Сынок его ровесником нашему придется.

— Ой, женеше, знаешь ведь сама, зачем говорить? — бригадир сокрушенно покачал головой на тонюсенькой шее. — Отпрыск Аталыка Сулеймен совсем больной.

Айша замолчала. Наверное, так подтверждают свое поражение в споре. Привычка женщин военной поры: вначале горячо заспорят

¹ Чигирь — примитивное сооружение для поднятия поливной воды на возвышение. Использовался в засушливых южных районах Казахстана.

² Барс — главного героя зовут Барсхан; у казахов исстари заведено называть новорожденных именами с конкретным значением: так, обитающий в горной местности барс является символом мужества и красоты.

³ Тобышакты — название лесного аула в Аксу-Жабаглинском природном заповеднике.

⁴ Айран — молочный продукт, кефир.

с бригадиром, чтобы выплеснуть раздражение, затем, молча согласившись, идут исполнять поручение.

Рядом с домом Аталыка ата¹ стояла арба² со снятым верхом, в нее запрягли пару волов пегой масти, которые считались самыми сильными в колхозе. Увидев меня рядом с одноруким Сиякулом, Аталык ата, словно желая размять спину, прогнулся, чуть приподняв грудь, затем снова сгорбился и, колыхаясь от беззвучного смеха, вытер рукавом прищуренные глаза.

Когда Аталык ата вставал в полный рост, то достигал двух метров. Но судьба, догадавшись, видимо, что он не сможет входить и выходить из низеньких дверей приземистых мынбулакских домов, согнула его в три погибели как вопросительный знак. Наверное, судьба и вправду сотворила его как вопрос, на который нельзя найти ответа. Откуда мне это знать...

— Ну что, нагульный³, явился? — спросил Аталык ата.

— Вот, дядя, лучшего спутника, чем Барсхан, тебе не найти, — горделиво произнес однорукий Сиякул, будто накануне совершил геройский подвиг.

И мы отправились в дорогу. Около дома стоял мой ровесник Сулеймен, стоял изможденный, опираясь на забор худым плечом, покашливая, печально глядя нам вслед. И, будто провожая на фронт, помахал рукой.

Медлительный ход пары пестрых волов был полной противоположностью моему бойкому и живому настрою. Хотя дед и сказал, что по холодку мы одолеем порядочное расстояние, солнце, пока мы отъезжали за пределы аула, успело подобраться к десяти часам утра и принялось пригревать наши макушки. Июль, будто предчувствуя свой конец,дохнул напоследок обжигающей жарой. А вьющаяся про-

¹ Ата — очень почтительное обращение внуков к старику деду. В зависимости от контекста допустимо употребление русских синонимов: дед, старик, праотец.

² Арба — воз, телега, в Казахстане пользовались четырехколесной арбой.

³ Нагульный — соленая шутка, в значении «родившийся на стороне».

селочная дорога все шла и шла на подъем. Заднее левое колесо арбы, заскрипев, как выдираемый больной зуб, стало предательски взвизгивать. Оглянувшись назад, я запомнил открывшийся пейзаж: вдоль каждого оврага и лощины Мынбулака прятались по пять-шесть домов, а сам аул остался где-то внизу. Вот так высоко мы поднялись. Стая сизых голубей, взвившись вместе с нами, будто не вытерпев черепашого хода, легко обгоняла нас и садилась на сероватые холмы, а когда мы приближались, снова взмывала вверх, не сворачивая, летела вдоль дороги, будто наперегонки, придавая силы плетущимся волам, подбадривая их: скорей, скорей!

Внезапно перед нами возник овраг с пологими склонами, поднимающимися круто вверх по его краям. На спуске арба сама по себе стала набирать ход, сдвинувшись, ярмо уперлось в рога волов и, угрожая свалить их вниз, заставило увальней немного прибавить шагу. Дно оврага было широким и сплошь покрыто огромными валунами. Видимо, эти камни принесли сюда горные селевые потоки. По дну оврага бежал сверкающий, как серебро, чистый ручей. Пегие волы, не раздумывая, сразу опустили головы и довольно долго цедили воду сквозь зубы. А мы с дедом, сойдя с арбы, сели там, где лужайка была покрыта пахучей мятой, а деревья укрывали от зноя густой листвой, — лучшего места не найти, и мы приступили к трапезе.

От нечего делать я начал оглядывать густые заросли тобышака на склонах оврага, как вдруг в поле моего зрения попали красные сурки, которые боролись, играя друг с другом. Как ошпаренный, я вскочил на ноги.

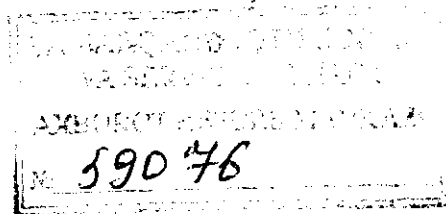
— Что там? — спросил, насторожившись, мой попутчик.

— Сурки, ата, красные сурки!

— Где? — снова спросил он, козырьком ладони прикрыв слезящиеся глаза.

— Видишь? Видишь! — вон стоит на камне — навытяжку. Остальные разбились на пары и борются друг с другом. Видишь, ата?

— Вижу, тебе голову напекло, вот и мельтешит в глазах, — ответил Аталык ата и усмехнулся.



Потом, подумав немного, добавил:

— Сурок сейчас нагулял жира. Эх, поймать бы парочку... Сурчье мясо для моего Сулеймена — это же настоящее лекарство...

Вспомнилось худощавое лицо моего ровесника, ковылявшего, едва держась на ногах, и махнувшего рукой на прощание. Он надрывно кашлял и ни с того ни с сего покрывался обильным потом. С грустью наблюдал он, как отъезжал в дальнюю дорогу его отец. Отъезжал не с ним, Сулейменом, а со мной. Как тут не погрузиться в тоску?

* * *

— Оба вы родились на одной неделе — промолвил ата, вспоминая событие тринадцатилетней давности. — Кажется, Сулеймен на день или два старше тебя... Точно не скажу, помню только, дело было в сентябре, когда все вышли на жатву проса. И вот, нагульная молодь, вы уже перешагнули через двенадцатилетний рубеж. Вы почти взрослые граждане, если бог даст... А знаешь ли ты, юноша, что твой отец в тринадцать лет стал хозяином очага! — воскликнул он внезапно, перейдя на игривый тон, при этом лицо деда покраснело от прилива крови. — Может быть, и тебе пора обзавестись невестой? А что, поможем встать на ноги! Представляешь: возвращаемся мы из этого самого Тобышакты с девушкой-красавицей, в которой ты души не чаешь!

— Не надо, — буркнул я, глядя в сторону сурков.

— Что значит не надо, — воскликнул дед, рассмеявшись своим беззвучным смехом и вытирая выступившие на глаза слезы. — О глупец, что значит не надо, а?..

Желая отвлечь его от чистосердечной, сказанной без задней мысли шутки, я предложил:

— Ата, давай постреляем сурков? Будет что привезти Сулеймену...

Дед и в самом деле моментально забыл свою шутку:

— Глаза у меня ослабели. И тебе не советую — зацепишь кого-нибудь ненароком. Не накличь беды. Держись подальше от напасти.

— Да нас Тарбакбай ага в школе научил стрелять из малокалиберки.

— Что значит научил? Неужели детей в школе учат стрелять?

— Как же не стрелять? Если война затянется, нас тоже призовут в армию. Поэтому учат.

— Что ты мелешь? Если вас тоже призовут, то кто останется? Тогда что, всему нашему роду-племени конец придет? Типун тебе на язык, не болтай лишнего!

Аталык ата порядком рассердился. Но все-таки поковылял, горбась, к передку арбы, вытянул из-под наваленного сена старую, черную берданку, врученную ему перед отправкой одноруким Сиякулом и спрятанную от меня подальше.

— Будь осторожен, как бы не пальнуло прежде времени.

Когда ружье оказалось у меня в руках, я, внутренне собравшись, возомнил себя важной персоной и распетушился. Захотелось всем доказать, что уроки дяди Тарбакбая не пропали впустую. С лязгом передернув затвор, я заглянул внутрь — ружье было заряжено. Знал я, что с края патрона есть крохотный колпачок размером с чечевичу — пистон. Задвинув затвор, я оглянулся в сторону сурков: один из них, как сторож, все так же торчал на сером валуне. Похоже, он свыкся с нами и уже не боялся. Будто проверяя, нет ли опасности с другой стороны, он стоял к нам боком, застыв, как часовой...

Если буду подбираться, сурки заподозрят неладное и сразу нырнут в норы. Полагаясь на удачу, я, спрятавшись за арбой, навел ружье на сурка-сторожа, целясь ниже пупка. Так дядя Тарбакбай на занятиях по стрельбе нам показывал и говорил, что полукруг прицела нужно всегда совмещать с нижней чертой мишени.

От грохнувшего выстрела будто все Поднебесные горы качнуло. Вначале за завесой синего дыма нельзя было ничего разглядеть. Аталык ата стоял, застыв на месте и прижав ладонь к полуоглохшему уху, без конца повторяя «бисмилля, бисмилля». Оглянувшись в сторону серого валуна, я увидел его потемневший краешек. Все другие сурки мгновенно исчезли, нырнув в норы.

Взяв за задние лапы сурка, который оказался величиной с небольшую собаку, я волоком протащил его к арбе и бросил перед Аталыком ата.

— До отъезда еще одного добуду, — бросил я мимоходом, не в силах удержаться от переполнявшей меня гордости.

Ата вместо того, чтобы обрадоваться, похоже, немного растерялся. Заметив это, я притих, мой хвастливый задор сразу улетучился.

— Эх, жаль, зря мы это сделали, — сказал Аталык ата, так и сяк переворачивая обмякшего сурка, с жалостью поглаживая ладонью его блестящие бока, позолоченный живот, голубоватую и красноватую шерсть, а затем добавил. — Матка оказывается.

— Значит, щенята у нее подросли.

— Светик мой, это животное, говорят, в древности произошло от человека. На него пало божье проклятье, и оно стало грызуном. Ты же сам видел: щенки совсем как человеческие дети, так смешно тужились, боролись друг с другом. Хоть и мельтешит в глазах, а это я разглядел. Не пало бы проклятье. Напрасно я разрешил стрелять, ох, напрасно...

— Ата, вы что-то... — начал я, едва переведя дух. — Я как-то вычитал из книги: на крайнем севере, где ездят на собаках, якуты-саха сначала стреляют в оленей, а затем, когда разделявают тушу, говорят: «Прости нас, олень, тебя застрелили не мы, это тунгусы, а мы только нашли тебя». Давай мы тоже скажем: «Прости нас, красный сурок, в тебя стреляли не мы, это Жолдасхан, а мы нашли тебя на дороге».

Аталык ата чуть слышно рассмеялся беззвучным смехом.

— Ах ты, нагульный, еще одного ровесника приплел! На Жолдасхана свой грех хочешь свалить? Вас с Сулейменом трое. Однако прочитанная тобой книга вышла на языке неверных. В Коране таких слов нет.

— Не скажите, ата. В прошлом году вы сами объявили, перед тем как зарезать единственную овцу для Сулеймена: «Ты, овца, не виновата, детям пищи маловато».

— О мой советник-мудрец, пусть не навредит тебе дурной глаз и злой язык. Будешь жив — много чего добьешься. Да убережет тебя бог от наветов и клеветы, от ужасов войны. Пусть удача улыбнется моему Сулеймену, а это станет его исцелением, — сказал Аталык ата и аккуратно положил сурка под сено на арбе рядом с ружьем.

Миновали ручей, перебрались через склон оврага. Теперь дорога петляла среди косогоров, уходя на запад. Издалека виднелся черноватый лес.

— Ата, до Тобышакты еще долго ехать?

— Черный тальник не виднеется?

— Виднеется, вдалеке.

— А, значит, не долго. Бог даст, прибудем сразу после полудня.

Старик начал тихо напевать, точнее, мурлыкать что-то под нос, замурив глаза. Плеть в руках он держать-то держал, но ни разу не хлестнул по волам. А волам — что бей их, что не бей, все равно не ускорят шага. Мерного, неспешного шага. Остались позади растущие вдоль дороги кусты бордовой, как будто ржавой, таволги. Красный изень вставал нам навстречу, как горящий уголь. Коровяк джунгарский и эремурус давно уже сбросили цветы и застыли торчком, выставив свои шипы. Буйно распускающиеся весной душица и додарция, поблекнув к августу, были такими же неприглядными, как и ковыль. Но зато рассыпанные кругом синие, словно небесная лазурь, цветы цикория вселяли чувство радости. Кое-где встречались лилии, цветы которых блестели, как слитки серебра. Сидя на макушках этих растений, жаворонки распевали свои журчащие мотивы.

Аталык стряхнул дремоту и, вспомнив что-то важное, заговорил:

— Если вас тоже собираются посылать в армию, значит, людей не хватает. Если в тринадцать лет наши отцы женились, почему вам нельзя в тринадцать на фронте воевать? Если эта война не прекратится — наверняка вас возьмут. Три года воюем, четвертый пошел! Давным-давно мне было столько же лет, сколько тебе, тогда случилась Кокандская война. С этим Коканом выходил воевать наш Байзак датка. Недели не миновало, как все согласились на мировую,

утомонились, словом. Да еще Кокан убил Байзака датку — и все разошлись... А эта война у-у-ужас. От нашего Каипа известий уже давне-е-енько не было. Взять его последнее письмо. Кстати, чем сидеть зря, давай скоротаем время, прочитай-ка письмецо еще раз.

Расстегнув на груди поношенный бешмет из черного бархата, Аталык ата просунул руку под сероватую, потемневшую от пота рубашку, добрался до пришитого внутреннего кармана под левой подмышкой и оттуда вынул свои четки. Я был поражен тем, что дед спрятал четки так глубоко, как в «тайник под мавзолеем Ахмета Яссауи». Цепочку черных и пестрых бусинок скреплял кожаный амулет треугольной формы. Аталык ата, зажав в кулаке четки вместе с амулетом, сначала приложил их ко лбу, к глазам, затем, отстегнув застежку амулета, двумя пальцами вытянул сложенную бумагу. Треугольное письмо было развернуто, после чего с благоговением приложено к губам. И только после этого он протянул мне его трясущейся рукой.

— Прочитай еще раз, не спеша.

Этот треугольник старик передал с такой осторожностью, словно шальной ветер мог вырвать из рук письмо и унести за тридевять земель. И мои пальцы тоже мелко задрожали. Письмо на сгибах и в самом деле начало расползаться. Если схватить его неосторожно, то оно рассыпется. Бережно расправив ветхое послание, я немного сдвинулся назад, чтобы не упасть с арбы, и приготовился было читать, но от стука и толчков чертовых колес буквы в письме запрыгали и глаза мои не могли за ними уследить. Пауза затянулась. От мысли, что Аталык ата может принять меня за безграмотного неуча, я так растерялся, что мой вздернутый нос покрылся испариной.

«Заздравное письмо», — прокричал я, иначе бы он не услышал. — Дороже золота, чище, чем серебро, почтенные родители мои, любимые братишка Сулеймен и сестричка Ханзада! Вы, надо полагать, в родном краю успешно выполняете задания партии и правительства, живете в здравии и согласии... Если вы спросите о моей жизни, то скажу: с честью выполняя свой долг перед Родиной, крепко держа в руках автомат, готова заслуженную кару подлому врагу, я выбрался

целым и невредимым из Курского побоища. Мы гоним дальше проклятых фашистов. Правду говорят: «Бейся хоть сорок лет, на войне умирает тот, кому на роду написано». В Курске много наших молодых ребят сложили головы. И мне кажется, что я, чудом избежавший гибели в этой бойне, теперь никогда не умру. Много писать не позволяет время. Примите эту короткую весточку, написанную перед очередной атакой в минуты краткого затишья. Если бог сбережет меня и в дальнейшем, то, выполнив приказ товарища Сталина, мы разгромим врага... Если после всего этого выпадет возможность, я напишу более сердечное письмо, подробнее, чем это. Пусть создатель хранит вас, до новых счастливых встреч. Будьте живы и здоровы, родные мои! Написано в окопе — гвардеец Каип Аталыков. 1943 год, 17 августа».

«Почему он молчит?» — подумав так, я посмотрел на Аталыка ата: не обращая внимания на стекающие по бороде слезы, он молча плакал. Снова сложив, я подал письмо ему в руки. Немного погладив бумагу, он молча посидел и спрятал ее в потайной карман.

Только через некоторое время спросил:

— Сегодня какое число августа?

— Пятнадцатое.

— Ой-ей-ей-ей, вот тебе на, значит, этому письму уже год исполнился! А?!

Не зная, что сказать в ответ, я опустил голову. Если целый год известий не поступало, то это, конечно... неспроста.

Аталык ата, прищурившись, перевел взгляд в сторону гор:

— Человек никогда не должен говорить высокомерно. Что он, бедняга, хотел выразить, заявив «теперь я никогда не умру»? Эти слова, безусловно, нашептал ему сатана-искуситель. Эх, какой же ты глупец, если осмелился пойти против воли всемогущего творца?! Каи-и-ип!» — выдохнул он с натугой, срываясь в крик.

От выкриков старика в степную даль мне стало не по себе, по телу пробежала дрожь. Зачем он так раскричался, словно Каип может откликнуться из дальнего далека?

Время подошло к полудню. Солнце ослепительно сияло, нагоняя жару. Даже черная ворона, сидевшая на дувале давно заброшенного загона для скота, тяжело дышала, раскрыв клюв.

— А-А-А?! — из Аталыка будто полыхнул клуб пламени. Даже черная ворона, отлетевшая на порядочное расстояние от дороги, встревоженно дернулась и тут же метнулась прочь.

Не обычное «а», но «А-А-А?!» Не стон скорби это был, а некий гневом дышащий вопрос, некий доблестью давящий приказ.

Теперь я шел, желая лишь одного: не прозвучал бы на всю степь этот жуткий вопрос! Страшновато стало.

Лишь степные канюки парят над ложиной, где с щетинником и пыреем вперемешку произрастают сочные дикие люцерновые и клеверные травы. Здесь канюкам, которым по плечу поймать лишь перепелку, выживать трудно. От взмаха их крыльев, от их парения незримо веет горестью, бесприютностью, сиротством.

Будто все вокруг затянула пелена печали, мир от усталости прячет впалые глаза. Зачахшие от жажды степи, блуждающие в поисках пропитания канюки. Незрелый подросток, сгорбившийся старик. Только Поднебесные горы все так же величавы. Взглянув на них, дух поднимаешь свой. Поднебесные горы возвышают тебя своим молчанием. Аталык ата в жизни не мог выпрямиться, но когда глядел на горы и трубил свое «А?!», то его горбатая спина, казалось, начинала распрямляться.

Потом Аталык ата вполголоса запел. По-казахски или по-киргизски — я разобрать не мог.

...Будешь каяться, страдать,
Где ж бывала благодать?
Если юности конец,
Сможешь в долг ее занять?

— Ты понял, эй, нагульный? — спросил дед, заметив, что я сижу в растерянности, — спросил, чтобы понять, что сейчас со мной происходит.

Аталык ата тепло взглянул на меня, по-доброму, задушевно улыбаясь, отчего мне стало чуть-чуть веселей. Все окружающее показалось не таким уж тоскливым. Да и канюк, сделавший в воздухе пару хороших кувырков, резвился, как мне показалось, от уверенности в своих силах. Не столь утомительно стрекочут и кузнечики, захватившие место между солончаком и засохшей лебедой, где когда-то стояли разрушенные дома. Но стрекотали они одну и ту же песню. Ласточки, стайкой усевшись на покосившемся дувале, посидели, а затем подняли оглушительный шум и гам, то беспорядочно взлетая вверх, то пикируя вниз, то кружась над нашими головами. Наверное, готовились к перелету.

Ласточка — одна из благословенных птиц. Ради своей родины она готова принести себя в жертву. Птенцы, родившиеся в этом году, все силы отдадут, чтобы вернуться в родные края на следующий год. Многие, не добравшись до родины, устав лететь над безграничным океаном, погибнут. А те, добравшиеся, отдохнув, будут щебетать свои песни и виртуозно высвистывать свои кюи¹.

Не сорвись они в бездну от дикой усталости, пожалуй, добрались бы. А меня иногда совершенно неожиданно пробирает страх от поднявшегося в душе крика Аталыка ата — «А-А-А?!».

* * *

Как только перевалило за полдень, мы добрались до густых лесов Тобышакты. Видимо, человек, который нас встретил, был председателем лесного аула. Правый глаз его, неподвижный, таращился, сам краснощекий, борода с проседью. Щеголя в брюках-галифе из черного бархата, он очень усердно ухаживал за Аталыком ата. Услужливо суется, рассыпался в любезностях, желал здоровья и «под голову подушкой, под спину одеялом стелился». Только тогда мне открылось, как почитаем был Аталык ата. Вспомнив, как мы порой, не

¹ Кюй — старинное инструментальное музыкальное произведение, которое исполняется на домбре или кобызе.

слушая, грубо обрывали его — «а, глухой, горбатый старик», я почувствовал, что от стыда мое лицо запылало.

Угостившись чаем и набравшись сил, Аталык ата по привычке стариков, туговатых на ухо, прокричал:

— Эй, Сагимбек, пора трогаться в путь, древесину, будь она неладна, ты уж погрузи побыстрее!

— Ой, Атаке, солнце к закату клонится. Пока ты по-черепашьи доползешь на своих волах, наступит ночь. Сегодня переночуй, а рано утром двинешься, — крича, скороговоркой зачастил старик Сагимбек, знавший о вспыльчивости и глухоте Аталыка ата.

Аталык ата не изменил своей привычке — беззвучно рассмеялся. В душе он, видимо, был уверен, что издает громкие звуки; беззвучный смех, похоже, рождается от желания подавить в голосе визгливые или сварливые интонации, кто его знает...

— Эй, родич, богом мне данный, какое сейчас «переночуй»? Все тяготы колхоза несут эти два вола-горемыки. Если сегодня не добраться, то завтра, дорогой, работа остановится. А эти твои бревна... Если не привезти их вовремя, то нашу обвалившуюся школу, похоже, к сроку не закончат. А у детей уроки уже на носу. Если учебный год начнется, а сама школа будет лежать на боку — стыда не оберешься. Да это смерти подобно! Неужели мы не создадим условия для малышей, чьи отцы и старшие братья на фронте? А?! Школа, которую когда-то возвели нынешние фронтовики, сегодня в руинах! Плохая примета, скажу я тебе, дорогой родич.

Не пойму я этих взрослых. Я говорю про однорукого Саякула. Нет чтобы сначала разъяснить, куда и зачем едешь. Теперь вижу, что эта поездка моя напрямую касается нашей школы. Весной этого года сильный ливень вперемешку со снегом хлестал два-три дня подряд, после чего крыша школы в самый неподходящий момент грохнулась! Бог миловал, обвал случился ночью, если бы днем, то нас всех накрыло бы. Не отправился бы я сейчас вместе с Аталыком ата, не приехал бы в Тобышакты. Как плакала бы тогда горемычная Айша! Обычно она не стеснялась в выражениях; стоило отлучиться

на игру в альчики¹, как она, схватив поварешку, начинала гонять меня и ругаться на чем свет стоит: «Чтоб сгинул ты, проклятый негодник!»

А останься я под развалинами школы, как она сама сказала: «к тринадцати годам под тринадцатью камнями... остался бы...» Посмотрел бы я тогда, как Айша разревелась. Чувствуют ли умершие, как живые рыдают? Если чувствуют, то почему от жалости не оживают? А Каип разве не прилетел бы из дальнего далека, услышав отцовские крики Аталыка? Стоп, не болтай что попало, кто тебе сказал, что Каип убит?!

Я не на шутку струхнул, подумав, что Аталык ата каким-то чутьем угадал эти мои гадкие мысли. Видимо, не угадал; подпер палкой горбатую спину, зажав ее двумя локтями, он стоял, искоса посматривая на Сагымбека, который успел нацепить очки. Ожидал ответа.

— Добро, Атаке, пусть будет по-твоему. Просто припозднились вы, — почтенный старик, неопытный юнец, — вот я и подумал, что ночью вам совсем туго придется. Сейчас я соберу старых и молодых, всех задействую на погрузку, — сказал Сагымбек.

* * *

Похоже, наш больной зуб, заднее колесо арбы с левой стороны, теперь стал не только визжать, но и тихо, протяжно стонать. Груз тяжек. Кажется, погрузили около тридцати-сорока деревьев. И хотя по толщине они уступали соснам, у тех бревен, которые выделялись среди других размерами, стволы свисали с арбы, как оголенные ноги, чертя по земле замысловатые линии. Оба животных шествовали, как самые примечательные достояния колхоза, словно боясь осрамиться перед людьми, — шли важно, сохраняя достоинство, пока не отъехали от Тобышакты на приличное расстояние.

¹ Альчики — казахская игра коленными косточками овцы или козы, называемыми асыками. Любимое развлечение казахских мальчиков, главным образом, в сельской местности.

Эх, трехжильные воны военного времени!.. Современные ребята даже в сельской местности толком не знают, что такое вол. А в пору нашего детства вол был таким же значительным явлением, каким «К-700» для современных людей!

Когда краешек обширного региона Аксу-Жабаглы¹ — лесного массива Тобышакты — остался позади, чернея вдалеке, солнце скрылось за горизонтом; его кроваво-красное марево завесило, как покрывалом, весь запад, а снежные пики Поднебесных гор окрасило в теплые тона. Черная туча над Тобышакты, словно кошма, что была захвачена при сборке юрты, вся покрылась красноватым оттенком. Однако этот красновато-розовый мир сразу помутнел, хмурая черная туча с запада, став гуще, двинулась, чтобы взять приступом небесный бастион на востоке. Пока спохватились, все погрузилось во мрак, а почитаемые нами, как святыни, Поднебесные горы стали просто невидимы...

Когда мне на затылок упали первые капли дождя, которого мы, истомленные засухой, ждали все лето, я вздрогнул всем телом и спрятал голову под плечо, упав ничком, притаился.

Дорога, нудно тянувшаяся на восток, издалека угадываемая в сероватых очертаниях, вдруг ни с того ни с сего заерепенилась, стала ухабистой и бугристой. Пегие воны, поводя ушами, будто отмахиваясь от надоедливых мух, упорно тянули воз. Через некоторое время жирная почва на дороге стала скользить, как мыло, и превратилась в слякоть. Только теперь колеса по-настоящему застонали.

Не могу назвать Аталыка ата жадным. Но именно он, сердечный, при погрузке бревен так убеждал Сагимбека:

— Клади, клади. Не остаться бы без материала, когда крышу школы будем крыть. Излишек останется — это к добру, хуже если не

¹ Аксу-Жабаглинский природный заповедник был создан в 1926 г. на территории Туркестанской и Жамбылской областей, занимает площадь около 132 тысяч га. Учреждение его имело целью полное сохранение флоры и фауны в пойме рек Аксу и Жабагалы, где встречаются очень редкие виды и сама природа невероятно красива.

хватит. Опять, что ли, к тебе возвращаться? — проговорил старик, заставляя погрузить на десяток бревен больше. Какими бы слонами ни были пегие волы, но они не двужильные. Покалеченная арба стала скрипучей ладьей, а колесо принялось оглушительно трещать.

Аталык ата молчал. Кажется, теперь он раскаивался в том, что перегнул палку. Он все оглядывался назад, спрыгивал и осматривал колеса. А длинные стволы деревьев, размазывая грязь, все чертили на дороге свои витиеватые рисунки. Короче говоря, мы с горем пополам добрались-таки до того оврага, где был добыт сурок.

— Ну что, нагульный, — сказал Аталык ата, пальцем ткнув меня в бок. — Если мы, с божьей помощью, переберемся через этот овраг, дорога пойдет под уклон, станет легче, и мы доберемся до аула. Поклонись богу, Барсхан! Поклонись духам своих предков! Сойди с арбы, возьми в руки основные вожжи, когда будем подниматься на другой край обрыва, скажи себе — вперед, только вперед, и прочь сомненья! Я буду работать плетью, если удача улыбнется — выкрутимся. Да, еще, пожалуйста, возьми и надень на шею эту вещь. Я боюсь потерять ее в неразберихе, — добавил он, вынув из-за пазухи четки и треугольный черный амулет.

— Смотри, не потеряй! Кстати, не забудь отнести Сулеймену сурка, добытого тобой!

— Вы же сами его отдадите.

— Э, голубчик, у меня память дырявая? Разум покинул твоего ата. И помни: если Сулеймен выздоровеет, я с готовностью и без сожалений отдам богу душу.

Когда спускались в овраг со склона, я становился перед волами и, приговаривая «тише-тише, милые», как бы нажимал на «тормоза». Но когда арба продолжала катиться по склону, несмотря на отчаянные усилия волов, ярмо тут же сползло и упиралось в широченные рога, угрожая оторвать головы бедным животным. Бестолково суется, рискуя угодить под копыта, я метался вслепую, не понимая, как мне удалось вброд перейти через глубокий ручей. Теперь надо,

не сбавляя темпа, вскочить и подняться на другой край. Только что я удерживал волов, а теперь нужно дать им волю, сильнее встряхнуть вожжи и криком, волей одолеть любую преграду, одним невероятным усилием вытащить и волов, и громадную арбу. Мои босые ноги скользили по слякотной, будто мылом намазанной, дороге, и ни бугорка, чтобы упереться.

— А! А?! О, бог мой! О, духи предков! — бушевал Аталык ата, плетью стегая волов. Когда мы добрались до середины склона, наши волы, изо всех сил напряглись, как тетива лука, и вдруг замерли. Я с трудом удерживал вожжи, но ноги мои заскользили и я свалился под копыта волов. Как только это случилось — арба сдвинулась и покатила назад. Не знаю даже, как мой старик сумел выпрыгнуть из нее... Он из последних сил хотел остановить арбу, пытаясь плечом замедлить ее ход. В какой-то момент послышался треск, и арба накренилась в одну сторону, конопляный канат, связывающий груз, лопнул, и бревна с шуршанием начали сползать на землю одно за другим.

Я услышал надсадный крик Аталыка ата:

— Вынимай стяжки из ярма!

В бешеном темпе я успел вытащить из ярма железные стяжки. Не сделай я этого, перевернувшаяся арба свернула бы шеи волам. Я их спас. Но где сам Аталык ата?!

— Ата! Ата!

Ответа нет. Вывалившиеся бревна разлетелись в разные стороны, а колеса арбы задрались к небу. У заднего колеса отлетели обод и спицы, виднелась только только ступица — колесо было разбито вдребезги.

— Ата! Ата! — кричу я, встревоженно суетясь, спотыкаясь, бегая вокруг наваленной кучи бревен. Такая темень, хоть глаз выколи, дождь, не утихая, хлещет и хлещет. Я весь с головы до ног — в липкой грязи. Стал по одному перебирать стволы. Бревна, которые даже два человека с трудом поднимали на погрузке, слишком тяжелы. Своего ата я увидел лежащим ничком под парой бревен.

ШЕРХАН МУРТАЗА

— Ата, миленький, потерпи! Я здесь, сейчас все переверну, — кричал я сквозь слезы, хватаясь за тяжелое, как камень, бревно и оттаскивая его в сторону.

— Ататай! Ата!

Он едва слышно стонет. Нижняя часть туловища все еще под второй лесиной. Лицо старика заляпано грязью. Я пытаюсь впопыхах обтереть ему лицо краешком совершенно мокрой рубашки.

— Ататай! Ата!

Будь у меня звонкий, как у жеребенка, голос, то вылетел бы он с такой силой, что мог бы расколоть перепонки самого господ бога. То, что бог не слышит, человек разве услышит? Но откуда-то сзади раздался звук, похожий на топот скачущей лошади. И впрямь, с обратной стороны оврага, разметывая грязь, к нам спешил на помощь самый настоящий всадник на коне.

— Дорогие мои, золотые мои, бедняги-трудяги, вы все-таки попали в беду! — запричитал аксакал Сагимбег, спрыгивая с лошади. — А я будто нутром почуюл, дома не усидел, поспешил вслед за вами!

Навалившись вдвоем, мы извлекли Аталыка ата из-под бревен. Когда его, лежавшего ничком, положили на спину. Горб у него, хотите верьте, хотите не верьте, как будто исчез.

* * *

Вместе с Сагимбеком ата мы снова поставили на колеса упавшую арбу, снова впрягли волов и вывели их на край оврага. У разбитого колеса, орудуя топором, подняли ступицу, за нее зацепили самое тонкое бревно и сделали оглоблю. Перетаскали бревна на арбу.

Но поднимать Аталыка ата было намного тяжелее, чем любое из бревен. От малейшего движения он тихо стонал и мучился. И хотя усталость валила с ног, мы подняли и бережно уложили на бревна обездвиженное тело.

Дорога начала спускаться, и волы зашагали, особо не напрягаясь. Сагимбек ата восседал на коне, я забрался на бревна. Ливень начал утихать. Небеса очистились, взошла луна, и звезды стали пе-

ремигиваться между собой. Стали видны очертания проселочной дороги.

Я вдруг вздрогнул, ощупал себя — слава богу! — четки с черным амулетом на месте. Осталось только передать Сулеймену добытого сурка. Но если Аталык ата не поправится, то кому передать черный амулет? Поглядываю на Аталыка ата, боясь даже заикнуться об этом. А запеленутый ата, словно выставленное напоказ бревно, лежит, растянувшись в полный рост. Может, поэтому мне кажется, что его уложат вместе с бревнами на крышу нашей школы, и будет он подпирать какую-то ее важнейшую часть.

Трехколесная высокая арба вяло катилась в сторону аула, где школа будет обязательно восстановлена. В душе моей копится плач, в горле — горечь, но слез в глазах нет. По-видимому, я застыл, недружелюбно уставившись на кого-то, как вернувшийся с фронта контуженный человек...

Дальняя дорога, бессонная ночь, тяжеленные бревна, вызволение Алатыка ата из-под завала, мое горевое отчаяние настолько утомили меня, что я проваливаюсь в сон. Сквозь дрему вижу: на постели лежит забинтованный Аталык ата, растянувшись во весь свой богатырский рост. Да и не ата это вовсе, а запеленутое в белые лоскуты, обструганное бревно. А мы, ребяташки, ремонтируем свою школу. Мы устанавливаем посередине здания бревно Алатыка ата — оно будет главной опорой, и крыша никогда не упадет.

Чувствую сквозь сон: в душе моей клокочет плач, в горле — обида и горечь, но слез нет. Вижу сквозь дрему: возле школьной калитки появляется Каип в солдатской шинели. Ощущаю всем своим надорванным телом: я тоже чудом вырвался из-под Курской дуги, я контужен, я сурово и пристально всматриваюсь в этот мир.

Перевод Мурата Ергалиева

Аким Тарази (Ашимов)

(род. в 1933 г.)



А. Тарази — писатель и драматург, широко известный читателю своими крупными, мастерски написанными художественными произведениями. Закончил филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая (1955), Высшие курсы кинематографистов при Министерстве культуры СССР (1962). Первое его произведение — «Қорқау жұлдыз» («Зловещая звезда») — увидело свет в 1956 г. Из-под пера писателя вышли такие повести и романы, как «Ақбердінің ауласы» («Двор Акберды»), «Үлкен ауыл» («Большой аул»), «Асуасу» («Перевалы-перевалы»), «Қиян соқпақ» («Глухая тропа»), «Бұлтқа салған ұясын» («Гнездо свое он свил на облаке»), «Тасжарған» («Камнеломка»), «Қыз махаббаты» («Девичья любовь»), «Басынан Қаратаудың...» («С вершин гор Каратау ...»), «Кен» («Рудник»), «Тәж» («Корона»), «Шер» («Печаль-кручина»), «Қиянат» («Вероломство»), «Жаңбырлы

түндер» («Дождливые ночи»), «Тырна, тырна, тырналар» («Журавли-журавушки»), «Жаза» («Кара»), тепло принятые широкой читательской аудиторией. Ряд таких пьес писателя, как «Күлмейтін комедия» («Несмешная комедия»), «Жақсы кісі» («Хороший человек»), «Жолы болғыш жігіт» («Удачливый джигит»), «Қос боздақ» («Двое парней»), «Ақын, Періште, Махаббат» («Поэт, Ангел, Любовь»), «Індет» («Недуг»), «Махамбет» («Махамбет»), «Лайнер», «Үкілі жұлдыз» («Звезда, украшенная перьями»), «Қыз махаббаты» («Девичья любовь»), ставились на сценах театров республики и не оставили зрителей равнодушными. Является автором сценариев к фильмам «Арман атаман» (1965), «Выстрел на перевале Караш» (1972), «След тулпара» (1984), «Мустафа Шокай» и других. Произведения писателя переведены на иностранные языки.

Аким Тарази, обогативший казахскую литературу, раскрывший ее национальное своеобразие и колорит, — Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Возмездие

Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой,
Крутится, вертится, хочет упасть...
Хочет упасть... Хочет упасть...

Старинная песня

Это небольшое по объему произведение под названием «Жаза» я написал под непосредственным влиянием декабрьского (1986 года) восстания казахской молодежи в Алма-Ате, как говорится, по горячим следам. Но, во избежание всяких недоразумений, которыми тогда была полна писательская жизнь, вынужден был снабдить его предисловием, где я уверял бдительных цензоров, и не только их, что это перевод с японского. Слава создателю, то время все же миновало. И я могу теперь смело восстановить свое авторство. Надеюсь, навсегда. Аминь!

Около государственных детских яслей номер два микрорайона номер один ранним утром, когда весь город еще спал, раздался душевнораздирающий вопль, будто на сцену выскочил бездарнейший оперный певец и решил, воспользовавшись отсутствием администрации, доказать всему миру свой безмерный талант. Но, как бы он ни старался, хриплый голос все же подводил его; подводил, даже срамил обладателя редчайших возможностей перед широкой аудиторией пенсионеров, высунувших свои заслуженные серебристо-седые головы из всех окон пятиэтажных картонно-камышитовых домов. Великая созидательная сила, любопытство овладело всеми серебристо-седыми головами, и... пенсионерки первыми покинули свои душевные

комнатушки и, собравшись по двое, по трое, молча ринулись в сторону злополучных яслей номер два.

Пока *некто* догадался позвонить в отделение милиции, пока ночной дежурный отделения спросонья вспомнил, что он *по уставу* обязан отреагировать на тревогу, пока он, недовольный тем, что ему не позволили досмотреть сладкий сон с участием его подопечных — девиц легкого поведения; пока ответственному лицу, пыхтя и бурча под нос, удалось завести дряхлый служебный УАЗик, пока ответственному лицу удалось, блуждая по темным улицам вверенного ему участка, доехать до государственных детских яслей номер два, душераздирающий крик заметно ослаб и превратился в безутешное всхлипывание.

* * *

Пока упомянутое ответственное лицо своими официальными, зоркими очами не увидело весь ужас сотворенной *неизвестным злодеем* жуткой картины, пока, сообразив, как нужно поступить в такой обстановке, оповестило оно кого следует, и пока тот, кому положено все знать и все решать, все узнал и все решил, и взвод внутренних войск плотно окружил государственные детские ясли номер два, — южное июльское беспощадное солнце не торопилось торжественно взойти и разогнать всех любопытных.

Но... любопытные... все уже знали. Не только любопытные, но весь микрорайон номер один уже к обеду точно знал, что... головы руководителей государственных детских яслей номер два, *кем-то... как-то...* весьма бережно уложенные рядышком на желтоватый ковер, весьма аккуратно *кем-то* были отрезаны, при этом — без брызг крови... При этом головы всех троих, как по *чьей-то* команде, были повернуты налево.

Но... потом стало известно, что аккуратно уложенные головы принадлежат директору государственных детских яслей номер два Анне Андреевне Петренко, завхозу этого учреждения Нурдину Саидову и заведующему районным отделом народного образования Байбаку Малшыбаеву.

Уже к вечеру все пенсионеры города знали, что наши доблестные советские сыщики оперативно нашли и арестовали лютого убийцу — родного мужа Анны Андреевны — забулдыгу и убежденного пьяницу дядю Степу. Он, забулдыга, как ни в чем не бывало спал в тесной хозяйственной подсобке детского учреждения. При нем нашли и орудие убийства — топор с черной рукояткой... окровавленный... с ясными отпечатками пальцев бедолаги Степы.

* * *

Сердце его нудно ныло. Нет! Не уныло ныло, а — плакало. В его сознании мелькнул вопрос: «Разве может сердце плакать?» Все еще находясь в бреду, он, странным образом, спрашивал самого себя: «Разве может человек так предаваться размышлениям во сне?! Значит, я еще жив!»

— Вот где он! Натворил дел и затаился! А ну, вставай!

Это голос Кано... Он же Куантай. «Обычно он труслив как заяц... Смотри, как расхрабрился... Смеет обращаться ко мне... ко мне на ты!»

— Вставай! Ишь, притворился спящим! — это прокуренный, охрипший голос мужеподобной толстухи Милы, Миланы, как она сама себя обычно величает.

— Ну, давай, живо! Большая беда тебя ждет, несчастный...

«Мало того, что эти трусливые зайцы осмелели, так они позволили себе оскорбить... Кого? Его! Афганца Або!!!»

Або в десятую долю секунды превратился в сверхупругую стальную пружину, мгновенно вскочил на ноги, принял позу «смирно!» и, по своей вечной привычке, чуть подняв подбородок, чеканным густым голосом рапортовал:

— Служу Советскому Союзу!

Теперь... не узнать своих сослуживцев, как будто их НЕКТО за ночь подменил, не узнать и Куантая, которого Або в мыслях называл Восковым Мямлей, не узнать и Милану, которую Або в мыслях называл Солдатиком — за ее чеканные шаги, присущие отставным

кадровым офицерам. Куантай шел... точнее, не шел, а четко шагал впереди. Або заметил: изношенная кобура служебного револьвера сержанта Куантая неряшливо открыта. («Как беззубый рот допотопной старушки!» — успел сравнить Або.) «Значит... он, на всякий случай, сунул револьвер в карман старомодного галифе! Это значит...» Або, быстро оглянувшись назад, успел заметить: толстенная Милана по-военному шагала за ним, и она, его мирная сослуживица Милана... идя за ним чеканным шагом... левой рукой как будто держит винтовку, а указательный палец ее правой руки согнут, готовый нажать на курок воображаемой винтовки!

Або еще успел заметить: волосы Куантая взъерошены, как копна старой пшеничной соломы, забытой неряшливым крестьянином на поле жатвы.

Або еще успел заметить: Милана... эта божья коровка... сквозь свои гнилые зубы процедила:

— 3-з-з... зверь!.. 3-з-зверь, — имея в виду, конечно, его! Самого Або! — ...3-з-з-зве-ерь!

Або еще успел заметить: ноги Куантая... оказывается... страшно кривые и тоненькие! Прямо как велосипедное колесо...

— Эй! Оглох, что ли? Я те че говорю?! — это Куантай зло огрызнулся на Або. — Неслыыиш, шшо ли?

— Ты о чем ? — переспросил Або.

— А шшо я спашивает тибя? — Куантай правой рукой показал на аккуратно уложенные трупы. — Э-э-это как?

— Э-э-это... — сказал Або, передразнивая Куантая. — Э-это ошшен, ошшен мастерская работа!

Кано-Куантай от злости пошатнулся:

— Шшо он гоорит? Шшо он гоорит?! Мастерски... Мастерская, гоорит, *работа!* Гоорит *работа!*? Ты щще, сошшел с ума?!

— 3-з-з-верь! — маленький кулачок правой руки Миланы чуть не достал до носа Або. — 3-з-з-верь!

Або сам не заметил, как молниеносно ударил по вытянутой руке Миланы. И сам же испугался: не переломил ли правую руку несчаст-

ной толстушки. «А ведь я мог запросто переломить надвое руку этой бедной женщины!»

Бедная женщина не на шутку испугалась. Або заметил: она мгновенно побледнела, узкие ее глаза расширились и неестественно округлились.

— Батенька мой, родненький мой, пожалей мя, не убивай мя, непутевую! Не убивай мя, непутевую! — взмолилась она.

Короткой летней сухой молнией промелькнула в голове Або мысль: «А почему я должен убивать эту женщину? А могу ли я вообще убить живое существо?! Нет!!! А вообще, что такое убить Человека?»

Або, видимо, с таким вопросом, с такой обидой посмотрел на Милану и на Куантая, что те, кто только что привел его под «самодеятельным» конвоем, не на шутку растерялись и автоматически ретировались из директорского кабинета убиенной Анны Андреевны. За ними Або тоже вышел в просторный коридор. Там уже не было ни Куантая, ни Миланы. Он остановился и долго стоял как вкопанный, мучительно думая о чем-то своем.

«О чем же я мог задуматься только что?» — спрашивал он самого себя. И, не найдя ответа, спустился на первый этаж, где у самого выхода находилась его каморка-кабинет. Такая же каморка была в противоположной стороне просторного коридора. Там фактически жил дядя Степа, законный муж покойной Анны Андреевны. Он хотел заглянуть к своему сменщику. Но какая-то сила удержала его.

Або, стоя как вкопанный посередине широкого коридора, думал: «А ведь он вчера сделал мне доброе дело! А ведь он вчера остался дежурить вместо меня. А ведь он вчера дал мне письменную расписку, что, мол, сам, по своей инициативе, заступил на ночное дежурство. А ведь он внизу справки собственной рукой еще дописал: «Это согласовано с директором А.А. Смирновой». А ведь... он...»

Здесь резко прервались его размышления. «Неужели ты, Або, ищешь для себя оправдания?! Ну и жучок ты, Або! Неужели ты... ты!! Стал трусом? Неужели ты стал гнидой?»

Когда Або вышел наружу, он остолбенел, пораженный увиденным: крошечная тьма черным тяжелым свинцом сверху давила на весь миллионный город. И было очень душно. Очень даже душно. Або знал, что это предутреннее короткое время на языке его народа называется «Черная Тьма». Або знает: в этот самый момент Земной Шарик на секунду останавливается, чтобы... чуть-чуть передохнуть! Або знает, что ему тоже нужно чуть-чуть переждать, и тогда вся Вселенная вмиг осветится, словно озаренная улыбкой безгрешного малыша. Або вспомнил своих детей: шестилетнюю Айно и четырехлетнего Боло. Або готов был предаться сладчайшему отцовскому чувству, но как раз в этот миг маленький Земной Шарик, который безоглядно мчался в Бесконечности и Вечности, еще раз резко вздрогнул. И небо постепенно начало светлеть. В этот самый момент Або увидел Кано-Куантай и тоже неожиданно вздрогнул... Потом... потом он не раз будет вспоминать этот позорный для него момент, когда он — невозмутимый, как его называли в узком кругу спецов, *железобетонный Або* — позволил себе вздрогнуть.

Або, взвинченный тем, что позволил себе вздрогнуть, назвав самого себя хлюпиком, решительными шагами направился туда, где под детсадовским «зонтиком» ждал его Куантай. Або со своей пронизательностью почувствовал, как Куантай порядком испугался и готов был бежать, как говорится, куда глаза глядят. Но...

Но в этот момент, одновременно, но вразнобой, раздались sireны сразу четырех машин, и они, все увеличивая скорость, мгновенно оказались у высоких ворот государственных детских яслей номер два. И Куантай, только что казавшийся готовым бежать куда глаза глядят, мигом преобразился и стремглав ринулся к воротам встречать высоких гостей, будучи большим мастером подхалимажа.

Або, не обращая никакого внимания на высокое начальство, выходящее из одного лимузина и трех уазиков, неторопливо шагая, вошел в двухэтажное здание и, зайдя в свою каморку, сразу лег на железную койку. И, по привычке скомандовав самому себе: «Спи до одиннадцати!» — мгновенно уснул.

На просторной территории государственных детских яслей номер два было несколько групп деревянных крашенных коней. На одного из них сел Або и, широко раскинув свои крепкие, длинные ноги, начал раскачиваться. Тут из здания, загадочно улыбаясь, вышел Куантай. Тот самый Куантай, ефрейтор Куантай. Его было не узнать! Або заметил, что его сослуживец имел торжествующий вид. Он, всего-навсего ефрейтор Куантай, нахально улыбаясь, поманил указательным пальцем Або к себе! «Надо же!» — подумал Або, но покорно встал, сошел с «коня», покорно подошел к сослуживцу. За эти пять часов, которые Або позволил сам себе поспать, Куантай неузнаваемо изменился. «Помолодел, что ли?»

Когда Або подошел к ефрейтору, тот торжествующе, с нескрываемой гордостью заявил:

— Везучий ты парень, земляк! Родился, видно, в рубашке!

Потом он, торжествуя и... путаясь, долго говорил о каком-то полковнике, о каком-то майоре, о каком-то прокуроре, о бедолаге Степе, о топоре с черной рукояткой, со следами крови и, хитро подмигнув, резко закончил свою тираду:

— Те-е-е-е-ерь ты спокойно можешь пойти домой!

Он, Або, спокойно, пошел домой. «А как же иначе? — думал он, привычно блуждая по узким улицам микрорайона номер один. — А как же иначе?»

Он, разумеется, спокойно дошел до «своей» остановки — на «это» ушло два часа, не торопясь, дождался «своего» автобуса — на «это» ушло ровно три часа, и спокойно поехал, не проклиная, как другие пассажиры, зигзагообразный маршрут номер 526, и спокойно сошел на «своей» остановке.

Остановка почему-то называлась Последняя, хотя она была предпоследней.

Дойдя до «своей» хибарки, которую он снимал за 30 рублей (при зарплате 60 рэ), он остановился в нерешительности, долго стоял,

АКИМ ТАРАЗИ

раздумывая — зайти или... что... Посмотрел на часы. Как раз может начаться *этот* его ад. «Трус!» — припечатал он сам себя и направился в сторону «Последней» остановки. А дальше... А дальше — Верблюжий Горб, как называл ту возвышенность сам же Або.

* * *

А теперь... А сейчас... Або каким-то чутьем понял, что стоит он до сих пор на Верблюжьем Горбу, а кругом — кромешная тьма, а «его» любимый скакун «Ак боз ат» — Большая Медведица — подошла к Северному Ледовитому Океану. «Значит, час ночи», — сообразил Або.

Большая Медведица — Белый Скакун, Ак Боз Ат, крепко опершись двумя задними ногами на полуостров Ямал и высоко кинув две передние ноги над Северным Ледовитым Океаном, — вот-вот прыгнет-полетит пулей в голубую даль Бесконечности и Вечности... По расположению звезд Або понял, что сейчас уже два часа ночи. «Как долго я здесь стою?! И что я здесь делаю? Зачем я вообще здесь?».

Або вспомнил: когда его, Або, призвали в Советскую Армию, прадед, столетний Кара-Аспан, который к тому времени окончательно отрекся от всего мирского, ушел в горы и уединенно жил в пещере Туюк, специально спустился с гор, чтобы сказать правнуку лишь одну фразу:

— Не бойся врага, а бойся вранья, правнук мой!

И уехал обратно в горы на своем прытком ослике.

* * *

На желтом ковре лежит та неразлучная «тройка»: директор государственных специализированных детских яслей номер два Анна Андреевна Петренко, заведующий хозяйством этого учреждения Нурдин Саидов и начальник городского отдела народного образования Байбак Малшыбаев. Лежат. Лежат так спокойно... Только... головы всех троих чуть-чуть повернуты влево, как будто по чьей-то грозной команде... На шеях у всех троих почти одинаковые, еле заметные красные шрамы. Только открытые глаза всех троих по-разному мут-

ные и по-разному грязные! И языки, одинаково опухшие и одинаково посиневшие, какой-то таинственной силой высунулись наружу... Только сейчас вспомнилось Або, как вчера, в момент, когда он увидел ту жуткую «картину», у него вырвалось глупое восхищение: «Какое мастерство!»

Он почувствовал в душе непонятную удовлетворенность. «Теперь можно пойти домой». Подойдя к «своей хибарке», Або обернулся и определил, что уже четыре часа утра.

И тут... в это самое мгновение, почувствовал он удар! Еще раз удар! «Все! Не зря же я ждал *этого часа*! Лишь бы выжить и в этот раз!.. О Создатель!.. Лишь бы выжить и в этот раз! Выжить... Вы... Вы-ж-ж-ж...»

Он упал, но не сразу, а долго, долго и мучительно раскачиваясь, как падает стройный тополь, неожиданно настигнутый степным беспощадным куюном¹. Но тут же приподнялся, всем своим нутром почувствовав, что нельзя, нельзя, чтобы его увидели в *таком* положении дети и жена, — его любимые, драгоценные Айна, Боло и Зара, ради которых он, Або, терпит и будет терпеть *все это*!

Ради которых... Ради которых... он, Або, прозванный еще там... в Афгане, Заговоренным Або! Он упал, жестоко упал, но не почувствовал никакой боли. Он еще там, в Афгане *достиг* этого умения не чувствовать боли.

Достиг. Этим он гордился. *Это* в нем ценил Сам Небесный Маг — Иваси, в обиходе — Ефрейтор Иван, перед которым застывали по команде «Смирно!» даже генералы... Ефрейтор Иваси. Тогда он, Або, *достиг*, но сейчас, здесь — сможет ли он дойти до глубокой лощины... «На дне которой... мне три раза... невероятными мучениями удалось остаться в живых, чтобы спасти Айну и Боло. О-о-о! Создатель! Дай мне возможность спасти их...» Каким-то тайным чутьем он понял, что добрался до заветной лощины, где у него есть соломенная подстилка... и, в измождении, упал.

¹ Внезапный все разрушающий ураган.

«Хорошо было бы забыться, хорошо было бы за... за...» Он автоматически старался управлять собою, лишь бы не потерять сознание... «Дай силы, Создатель! Еще один день... Спаси от позора...» Або казалось, что ему удалось обнять весь Земной Шар, он еще почувствовал, что Некто ему подсказал: «Назови нежнее: "Земной Шарик"». «Ах, да-а-а...» — хотел ответить он этому голосу, но в тот самый миг началась адская чесотка в мозгах... Сотни, тысячи муравьев пустились в пляс на мягкой оболочке его мозгов. Но затем эти твари проникли во внутрь месива, которое люди почему-то называют *мозгами*!..

«Муравьи проклятые... Я могу побеждать людей. Еще как могу!.. Но перед этой ползучей тварью я — бессилен... бессилен... О Создатель, помоги мне ради моих детей, ведь они ангелы... Ангелы... Моя Айна... мой Боло... Ради моих детей». Он знал, что вот-вот потеряет сознание и тогда — прощай его Великая Цель!.. «Как и кем я тогда предстану перед тобою, Создатель?!» Он знал, что эти проклятые муравьи, вдоволь потешившись в мозгах, перекочат к горлу, к кишкам, и все его внутренности охватит жуткий холод... И зубы его — Або — начнут нервно танцевать под «дудку» Вечной Мерзлоты... его зубы... Его белые, крепкие, крупные зубы, как у знаменитых афганских скакунов, на которых не раз мчался удалой шурави Або, которого знали и почитали во всех приграничных кишлаках пуштунов, узбеков, киргизов, туркмен и казахов. Знали и почитали. А сейчас этот удалой джигит лежит, лежит, скорчившись, на дне русла сухого арыка. И в нечеловеческих мучениях впился зубами в предплечье своей левой руки, чтобы хоть как-то облегчить свою проклятую участь. Облегчить. Хотя бы облегчить... чтобы не заорать от этой адской боли и не разбудить своих детей и жену.

Або знает, Або ждет, теперь эти «Представители Вечной Мерзлоты» возьмутся за его ноги... Сперва эти «Уполномоченные Вечной Мерзлоты» начнут выкручивать обе его ноги, выкручивать, как женщины выкручивают белье на берегу тихой речки за аулом, чтобы скорее высохла единственная рубашка мужа, пока он еще спит. Выкручивать и беспощадно бить и бить по большим камням или

по мощным стволам прибрежных вековых деревьев. Бить, бить, бить. Бить до остервенения. Бить до потери сознания. Бить, бить.

Або знает, теперь вроде бы чуть-чуть отпустит, вроде бы полегчает, но это — игра! Это игра отъявленного садиста. Садист, Великий Садист, видимо, получает от *этого* огромное наслаждение.

Теперь Великий Садист «перебросит» эту адскую пытку-игру с ног снова на голову... И снова миллионы мельчайших железных муравьев «перепрыгнут» к мозгам и там устроят адскую вакханалию! Эту пытку невозможно вытерпеть живому существу, даже мертвому ослу. Не-воз-мож-но! А Або обязан вытерпеть, обязан, чтобы спасти своих безвинных ангелочков, спасти и увести с собой! «Увести! Куда? Куда? Как? Зачем? Спаси? От кого?» Або понял, что наступил *конец* и ему следует произнести подобающее в таком случае слово: «О-о-о Создатель!» — еле выговорил он... Он тут же хотел произнести слово *прости*, но в этот миг каким-то чудом, с невероятным, нечеловеческим усилием ему удалось «привести» на мутный экран затуманенного мозга печальные, умоляющие личики Айны и Боло — и из его горла вырвался крик: «Спаси их, Создатель!»

* * *

Единственная слабость, которую сама себе позволяла Зара, — это был сон, предутренний сладкий сон. Вчера утром, уходя на работу, Або предупредил ее: он, может быть, поменяется сменой дежурства со Степой, это значило, что две ночи подряд Або не будет ночевать дома. «Ну и что? Лишь бы был жив и здоров мой сокол!» Как большинство казашек, Зара называла мужа не иначе как *Сокол мой!*.. Знала, что Або нет рядом, но полусонная правая рука ее все равно по привычке искала волосатую обжигающую грудь любимого мужа.

— Або!.. — пробормотала она, — Або, спаси, спаси *их*!

Она мгновенно проснулась и почувствовала какую-то тревогу: ей почудилось, что Або где-то рядом... «Рядом? Как рядом?» Она встала и, двигаясь по наитию, тут же, в ночном шелковом белье, кинулась

наружу. И, что странно, она стремглав побежала в сторону глубокого арыка. И — нашла его. Нашла.

Або лежал в странной, неестественной позе. Его позу она, Зара, как дочь знаменитого беркутчи¹, сравнила с позой Хозяина Небес², то есть ширококрылого сокола, прижавшего свою добычу, бедного кролика, к земле.

Зара знала, что нельзя мужа будить резким голосом или резкими движениями, поэтому она села на солому рядом с Або и терпеливо стала ждать, когда он проснется.

Зара знала, что она не умеет плакать, она только позволяла своему сердцу ныть, ныть и ныть... При этом ее глаза оставались всегда сухими.

Она или превращалась в каменного истукана, или, когда сильно нервничала от душевных мучений, всем своим видом напоминала дрожащую стрелу, только что вонзившуюся в кольчугу врага. При этом она неустанно повторяла: «О Создатель, чем мы провинились перед тобою?! Пощади нас, пощади!»

Зара заметила: Або на кого-то во сне сильно злится. «Иначе чем объяснить, что он злобно скрежещет своими волчьими зубами?!» Даже ей, Заре, становится страшно. «Неужели опять повторится приступ той... жуткой напасти?»

Зара только теперь ясно увидела искусанные предплечья мужа и ясно, как на экране, увидела тот... все повторяющийся момент жуткого АДА...

Зара на «экране» своего ясного сознания представила, как к голубиному гнезду, где лежат четыре неоперившихся птенца, бесшумно подползает, красиво извиваясь, отвратительная полосатая гадюка и вот-вот проглотит... их... беспомощных!

Зара инстинктивно кинулась на спящего мужа и обняла его, словно хотела спасти его, мужа, от этой напасти. Або же, будто почувствовав это, глубоко и облегченно вздохнул.

¹ Охотник с беркутом.

² Так казахи называют хищные породы птиц.

Зара же теперь снова превратится в истукана и будет терпеливо ждать, когда проснется Або, ее Або.

Зара же не умеет плакать, все слезы ее иссякли давным-давно, когда ее мужа забрали в Краснейшую Армию и потом отправили в Афган, — тогда она выплакала все свои слезы. Все. Нынче — она камень, истукан. И все тут!

Для истукана не существует никакого понятия «время». Нет!

Но вот уже взошло солнце. Но вот уже поднялось оно, светило, на высоту аркана, как говорят сородичи Зары. На высоту аркана. Солнце все печет и печет. А Зара как кусочек льда, оставшийся на солнцепеке. Кусочек льда все тает и тает, а Зара этого не чувствует. Истукан.

А для Зары не существует другого мира, кроме Або, Айны и Боло. Нет и не может быть другого мира, другой планеты. Остальное все — фальшь.

Остальное все — ложь, фальшь, обман, хитрость, продажность. Остальное — политика. Остальное — враждебно.

* * *

В двенадцать часов ночи приехали два милиционера на машине и забрали Або.

В пять часов утра они же привезли его обратно домой. Милиционеры очень вежливо попрощались; один из них чересчур заискивающим голосом, с явным оттенком подхалимажа, почему-то за что-то попросил прощения у Або. Заре это весьма польстило. Она невольно улыбнулась и, когда те уехали, с нескрываемой гордостью спросила:

— Что они, так?

Або снисходительно улыбнулся:

— Да, так. По работе... У моего сменщика Степы, — я о нем тебе рассказывал, нашли какой-то черный топор...

— А-а-а... Слава Создателю! Ну ладно, попей чайку и ложись поспи. Або, попив чайку, лег и тут же уснул.

Або-то уснул, но зато Зара... Зара... Накрыв Айну и Боло соскользнувшими простынями, задумалась. Задумалась — значит, снова превратилась в истукана, каменного, незыблемого. Когда она «проснулась», было уже восемь утра. «Я опоздала на работу. Ну, ладно... Есть сменщицы. Я потом отработаю».

Або-то уснул, но зато Зара... Зара, затаив дыхание, осторожной кошкой вышла во двор и, почему-то оглядываясь по сторонам, зашла в узкий, тесный чулан. Зашла и снова остолбенела в нерешительности. Она чувствовала себя воровкой.

В тесном чулане было темно. Зара знала, что надо какое-то время подождать, чтобы глаза привыкли к темноте, тогда ей будут видны все захламленные уголки «кладовки», как этот закуток называла сама хозяйка дома.

Теперь Зара, аккуратно перебирая разные явно никому не нужные вещи, быстро нашла *то, что* искала. Искала же она сверток из невзрачного холста.

Потом Зара долго-долго стояла в нерешительности, развернуть сверток или нет. Потом все же решила: развернуть! Развернуть!

Потом Зара очень и очень аккуратно развернула сверток. А там — она х-о-о-о-ро-о-ошо (!) знала, но благоразумно молчала... — был спрятан... черный топор с белой-белой рукояткой...

Потом Зара очень-очень осторожно, указательным пальцем, «проверила» блестящее лезвие черного топора с белой-белой рукояткой.

Тогда только убедилась Зара, что ее Або вне всякого... там... подозрения! Нет! Нет! Нет! Ее Або на «такое» никогда не решится. «Это понятно!»

Тогда, только тогда Зара облегченно вздохнула. Но ее вздох был, как ей показалось, каким-то странным, не вздох вовсе, а некий стихийный взрыв.

* * *

Стихийный взрыв произойдет потом. Потом. А в этот день вечером, точнее к двенадцати часам ночи, в их хибарку грубо постучат-

ся два милиционера и, подчеркнуто вежливо, попросят Або последовать за ними, и — увезут на уазике с красными полосами.

Стихийного взрыва в этот день не произошло. Все было подчеркнуто корректно. Привезли его в какое-то отделение МВД, ввели его в какой-то просторный кабинет, он сразу заметил — кабинет без окон, и, попросив «чутьочку подождать», сами милиционеры куда-то вышли. И — с концами. Прошел час. Прошел второй. Прошло три часа... но Або, хотя с первых минут четко чувствовал, что за ним кто-то пристально следит, к своему удивлению, оставался совершенно спокойным.

В половине четвертого зашел человек. Его и человеком-то нельзя было бы назвать, если бы не милицейская форма и погоны майора.

Вошедший всем своим видом напоминал орангутанга: те же длиннющие, до колен, передние конечности и особенно — кулак!

Або сам хорошо знал, что в *таком деле* кулак имеет решающее значение.

Або, по своей давней привычке, на секунду закрыл глаза и в уме произнес имя Создателя. И... приготовился.

Но... сокрушительного удара в пах не последовало. В тот самый миг, смело посмотрев в глубоко спрятанные бессмысленные глаза профессионала, Або понял, что душонка палача дрогнула. Дрогнула!..

Тут-то и произошел стихийный взрыв. Сокрушительный удар в пах получил сам орангутанг в чине майора. Но Або точно рассчитал, чтобы орангутанг остался жив. Тут же в кабинет без окон вошли два милиционера, которые доставили Або сегодня по месту назначения, и один из них обратился к Або, подчеркнуто вежливо:

— Ну, братан, пошли... Нам велено отвезти тебя домой... Прямо в объятия молоденькой жены! Счастливчик ты!

Або был удивлен? Нет, он был поражен! — уловив в интонациях голоса этого милиционера явную зависть. «Что бы это могло значить?»

Когда милицейская машина удалилась в лабиринт кривых улочек, Або, с каким-то таинственным умыслом посмотрев на «свою» хибар-

ку, загадочно улыбнулся и зашагал дальше, на север. А на севере... На севере творилось чудо. Его «приватизированные» семь звезд — Ак боз ат, наклонив шею над Северным Ледовитым Океаном... предавались водопою! «Об этом священном моменте знаю только я! На всем Земном Шарике знаю только... один я!»

Або удивился, когда «увидел», что стоит он на Верблюжьем Горбу. «Как и когда пришел ты, Або, сюда? Не заметил? Значит, твой котелок переполнен всяким хламом... Надо прочистить башку... Иначе тебе не достичь Великой Цели! Або! Не уподобляйся земным червякам! Ты, Або, не пресмыкающийся! Запомни это! Так тебе не раз говорил твой Великий Учитель, Иваси... Красный Нос!» Великий Учитель иногда, в моменты высшего вдохновения, умолял Або называть его Ефрейтором Иваном...

Но... Або зна-а-ал, что это — уловка хитрого шурави... В первые недели учебы он, Ефрейтор Иван, даже позволил себе оскорбить его, Або, с какой-то злобой, сквозь зубы, процедив:

— Ты, курсант Кара-Аспанов, ты недобитый басурманин! Я тебе ясным русским языком говорю — ты тупой, как осел!

Або пережил долгую-долгую... одну секунду, за эту долгую-долгую одну секунду Або успел услышать неторопливый, успокаивающий голос своего прадеда Кара-Аспана:

— Дурацким поступком дурака не победишь, Або! Глупость бес-силна перед Разумом.

Так прадед Кара-Аспан спас Або от увольнения из ССКС-17, что означало — Сверх Секретные Курсы Сарытау-17.

Так Або выдержал нарочитое издевательство и стал вскоре любимым учеником Великого Мастера Иваси.

Так моему Або удалось за каких-то три месяца овладеть всеми тремястами шестьюдесятью пятью секретными методами убийства человека человеком.

Або подытожил нахлынувшие мысли, но тут же ошарашенно оглянулся по сторонам и поразился: он, Або, аккуратнейший выпускник знаменитого ССКС-17, каким-то непонятным образом оказался в са-

мом конце улицы, которая называлась Змеиной. «Как? Когда пришел я сюда?..»

Тут-то, посмотрев на часы, Або еще больше был поражен: часы показывали семь утра! «Как? Когда? Неужели я свих... свихнулся...» Он еле выговорил это страшное для себя слово до конца.

Но Або тут же «окунулся» в новую, более зловещую пучину. Он знал, что на самом конце улицы Змеиной начинается городская свалка. Свалка. «Как я оказался тут? Зачем я сюда пришел? У меня голова и без этого забита мусором! Мусором! И Земной Шарик захламлен доверху!.. Бедный шарик! Жалко мне... А впрочем, мусор на улицах, мусор городской можно убрать, очистить от него, но как и кто может убрать мусор в моей голове? Как? Как? Как? Как можно вымести мусор в человеческой голове? Захламлено все! Мозг человеческий страшно захламлен! О Создатель! По-мо-ги!»

Тут-то случилось совсем невероятное: из самой крайней хибарки Змеиной улицы выбежал мужчина, и, как будто вдогонку беглецу, раздался тонкий, пронзительный женский голосок:

— Стой! Вернись! Иначе — убью! Убью тебя и твоих шестерых щенят!

Мимо Або промчался мужчина совсем странного вида. Тут же в окне показалась красивая женская головка. Обладательница красивой женской головки резким ударом выбила оконное стекло. Ошарашенный Або ждал, что женщина с красивой головкой высунет свою красивую головку из разбитого окна, но она выбежала из жилища сама, вероятно из двери, и... побежала вдогонку беглецу...

Тут-то началось нечто бессмысленное: мужчина, как-то странно ковыляя, начал бегать вокруг Або, а женщина — следом за ним.

— На кого ты оставишь своих шестерых? — причитала она, повторяя, как заученную, эту фразу. — На кого?

А муж, а муж... все бегал и бегал, будто участвуя в какой-то игре, глупой затее. Бег его напоминал детскую игру в догонялки.

Но тут Або, даже сам не заметив как, разъяренным барсом прыгнул в сторону женщины и успел-таки выхватить из правой руки ее кривой блестящий кинжал...

А потом, а потом... — мужчина и женщина, как будто заранее договорившись, вдруг резко остановились и, оба смущенно глядя на Або, одновременно начали умолять:

— Простите, пожалуйста... Простите, пожалуйста! Простите, пожалуйста!

Только теперь Або внимательно оглядел этих двух странных существ: муж — урод, со всеми подобающими в таком случае «отличительными чертами», а жена, как говорится, писаная красавица: молоденькая, стройненькая, с большими черными, ясными глазами.

Только теперь Або нечаянно увидел глаза уродя мужа, увидел и вздрогнул. Какие-то холодные, острые иглы пронзили его сердце. Это не были глаза в обыкновенном понимании людей, это был... Это был... Сам... Космос! Причем космос без звезд. Это было не небо ночное, это были сами Вечность и Бесконечность.

Вдруг... этот урод резко остановился и, глядя на Або в упор, глядя на Або своим голубым космосом, четко произнес:

— Ты зайди в мою хибарку... и я тебе скажу! Скажу я тебе! Еще как скажу! Пошли!

Або п-о-о-том удивится, по-о-о-том... не раз еще будет пытаться вникнуть в смысл этого странного положения, в котором он, *Хладнокровный шурави*, как его называли моджахеды, неожиданно оказался. А сейчас, а сейчас он покорно зашел в беднейшую хибарку и успел только поразиться скудости обстановки. Но... еще больше ошарашен был он, *Хладнокровный*, увидев испуганные глаза шестерых мальчишек, приютившихся в углу комнаты. «Старшему от силы десять, младшему — два...» — определил он.

И тут, стоя посередине своего жилища, убогий отец шестерых мальчишек произнес пламенную тираду, из-за которой, видимо, погналась за ним женщина с маленьким, но острым кинжалом в руках.

Он... убогий, вперив свои прекрасные, чистые-пречистые космические глаза в ошарашенного «афганца», сказал:

— Когда во всем мире творятся такие безобразия, когда наша любимая Власть Советов закопала на дне Аральского и Каспийского морей на большой глубине Адский Склад, в котором тысячи и тысячи водородных и нейтронных бомб, которые можно взорвать в Час Икс... Как можно спать спокойно? Я решил поехать на Устюрт¹, чтобы заставить Власть Советов демонтировать Адский Склад, способный превратить в пух и прах весь Земной Шарик — единственную заселенную планету во всей Вселенной! Понимаешь ли ты, молодой человек?! Поддержи меня и убеди мою неразумную жену, чтобы она без скандала отпустила меня... Чтобы я спас нашу голубую планету! Уговори! Убеди ее! Я ведь отличный сапер! Специальность такая у меня!..

Або, выведенный из разумного *состояния*, не знал, как реагировать на эту сумасбродную ситуацию, в которой он нечаянно оказался. Або посмотрел на симпатичную молодую женщину, застывшую в ожидании его вердикта и решения судьбы шестерых беспомощных ее сыновей, скучившихся в уголке комнатенки, и сам застыл с открытым ртом. Ему самому показалось, что только от него, от Або, теперь зависит решение вопроса — быть или не быть всему Земному Шарiku?..

И Або, выведенный Уродом из разумного *состояния*, решительно молвил:

— Поезжай, Учитель, поезжай на Устюрт, поезжай! Спаси, Учитель, спаси Человечество от черных замыслов тупых политиков!

И Або вышел... Вышел, не оборачиваясь.

* * *

И Або вошел в свою хибарку веселым, даже, казалось ему самому, он улыбался. Это заметила Зара, она даже соскочила с войлока, всем своим видом выражая радость и благополучие. Заметив *это*, сразу начали шуметь и беспричинно хохотать дети — Айна и Боло.

¹ Плато между Каспийским и Аральским морями.

Войдя в свою хибарку веселым, Або затеял привычные в их семье игры — «Скачки на верблюде», суть которых сводилась к тому, что Айна и Боло поочередно садились на спину отца, а отец-верблюд отчаянно «пытался» сбросить седока с своего «горба». Кто из детей сможет удержаться на спине разбушевавшегося «буры», тот получает «приз» — конфеты и другие сладости.

Изрядно «проиграв» своим детям, подобревший отец повел их на ближайший «дикий базар», как назывались стихийно возникавшие на перекрестках захолустных улочек толкучки.

Когда к вечеру Або с довольными, счастливыми детьми возвращался домой, вдруг вспомнилось странное приключение с участием Урода, его жены и детей, в результате которого ему, обычно серьезному, даже, можно сказать, мрачному человеку, пришлось воскликнуть:

— Поезжай, Учитель, на Устюрт! Спаси человечество! Спаси!

«Что за чушь? Что за ересь? Как может один человек, будь он даже семи пядей во лбу, как может один человек спасти все человечество? Как может этот замухрышка... похожий на птицу удода, спасти кого-то? С какой стати я назвал его *Учителем*? Это же *Удод*! — Або криво усмехнулся. — У тебя один Учитель — сам виртуоз Иваси! Как ты мог?»

Удрученный и обозленный своей неспособностью найти ответ, Або, придя домой, не присел за дастархан и, сказав, что он и так опаздывает, поспешно ушел на работу.

* * *

В восемь вечера он принял все хозяйство государственных детских яслей номер два у сержанта Миланы. Або знал: Милане очень и очень льстит, когда сослуживцы обращаются к ней по-военному, называя ее «товарищ сержант!». Тут уж она становится вежливой-превежливой, доброй-предоброй сияющей толстушкой... Но сияющая Милана все равно не потеряет бдительности. Потому что советскому сержанту нельзя быть ротозеем! Вот так!

Около часу ушло на «сдачу» объекта — дело чисто формальное. Милана Петровна, представитель власти, как она себя частенько называла, выводила Або в просторный двор или в класс и, раскрыв довольно объемистый замызганный журнал, подводила ночного караульного, каким числился Або в штатном расписании, к каждому предмету имущества и, громко и ясно читая по реестру официальное название предмета вроде «стул», «коврик», «парта» и количество «штук», ставила напротив обозначенной вещи птичку и заставляла его, Або, расписываться «напротив».

При этом сама же Милана — «представитель власти» — ни разу не ставила свою подпись напротив предмета «государственного имущества». Так было заведено, так случилось и сегодня. Только с одной незначительной разницей.

Когда благополучно завершилась эта «церемония передачи» и Милана Петровна, в течение целого часа тараторившая о чем угодно, но не о том *разумном*, о чем мучительно размышлял в последние трое суток бедный Або, он, бедный Або, в душе воскликнул: «О Создатель, почему *пустота* бывает *гулкой*?»

Когда наконец завершилась церемония передачи и улыбающуюся, счастливую Милану увез ее муж на стареньком «Москвиче», Або неожиданно почувствовал облегчение, и он сразу вспомнил об Удоде. «Ну, почему? Почему я назвал его Учителем? Этого не надо было делать даже с насмешкой. Какой же он мне Учитель, если он Удод?»

Но... неожиданно приобретенное облегчение тут же сменилось огорчением:

«Какой же ты человек, Або? Ты же забыл тех шестерых голопузиков, детей человека, которого ты назвал своим Учителем, ты этих детей приговорил к голодной смерти? Как же ты мог забыть тех восемнадцать мальчуганов, которых Алчная Тройка продала зарубежным пройдохам? Как?»

Находясь в таком сумбурном состоянии, Або даже не удосужился «принять» от Миланы Петровны тех двенадцать малышей... которые...

Находясь в таком сумбурном состоянии, Або не заметил, как, энергично шагая, поднялся на второй этаж и рывком открыл тяжелую железную дверь знаменитого *тринадцатого* класса.

В этом тринадцатом классе находились те тридцать мальчишек, которых месяц назад собрал и привез заведующий хозяйственной частью государственных детских яслей номер два Нурдин Саидов, объяснивший свои действия гуманными соображениями.

Тройка в тот же день провела «общее собрание коллектива», и она, *Тройка*, из жалости к обездоленным детям принимает решение обустроить несчастных сирот. Одним словом... *Тройка*...

Когда в тот же день, в ночное дежурство Або, Нурдин Саидов, правая рука Анны Андреевны, увез восемнадцать малышей из тридцати в закрытой машине *неведомо* куда, у Або возникли вопросы... Ибо...

Ибо месяц назад, когда дежурил Або, Нурдин Саидов на той же машине без окон увез «по гуманным соображениям» 40 детишек, собранных из беднейших аулов. В тот раз Або спросил:

— Ты, Нурдин, говоришь «беднейшие аулы», а разве в Казахстане есть богатейшие аулы?!

На что Нурдин ответил громким, раскатистым хохотом. И, похлопав Або по спине, неожиданно жестко завершил свой деланный хохот похвалой:

— Ты молодессс, Або! Ты шипко грамотный! А ты знаешь, куда ведет шипкая грамотность?

— Куда? — спросил тогда Або.

Нурдин, саркастически ухмыляясь, заключил:

— В ад, дорогой Або! В ад!

«О Создатель! Он, это ничтожество, угрожает мне, мне?! Конечно, откуда знать проходимцу Нурдину, что настоящий ад ждет не меня, а его... самого...» — подумалось... тогда... Або.

Но, по своей давней привычке, он... тогда же подверг сомнению свою проникательность.

Тогда же, три дня тому назад, помнит Або, он отругал сам себя: «Ты, Або, знай свое место!.. Такое может знать только Создатель Вечности и Бесконечности!»

Такое началось потом. Через два часа.

Сначала Або принял душ. Благо сегодня воскресный день. Во всем этом учреждении он, Або, в данное время — один. Уверенный в этом, он не спеша и довольно долго наслаждался одиночеством. Душ, холодный... Горная... легендарная алма-атинская вода...

После чего в полном блаженстве пошел в свой «кабинет». Лег на узкую железную кровать. Здесь — его территория. Здесь, кажется, он задремал. Разбудила его какая-то неясная, тревожная мысль. Он посмотрел на часы: ровно десять.

Вспомнил, как тупица Нурдин, нахально улыбаясь, сказал ему:

— В ад, любезный Або, в ад!!!

«А где же теперь он на самом деле? Где? В аду, конечно! В аду!» Тут же он отругал себя сам: «Або ты, Або! Уволенный некогда из элитной части, а теперь никому не нужный майор Або...»

Слово «ад» вызвало в сознании Або словосочетание «предадь». А это странное словосочетание, в свою очередь, магнитом притянуло другое иносказание: «класс». А дальше: «Класс номер тринадцать — преддверие ада». Так сам Або называл класс номер тринадцать.

Почему-то Або вспомнилось его же «собственное» выражение: «Конструкция из мяса и костей». «К чему это я?» «О ком это я?» «А-а-а... это о покойной...»

Вспомнилось ему, что он утром забыл принять у Миланы Петровны тех двенадцать карапузиков, которые еще оставались, когда случилась та беда.

Або поднялся на второй этаж. Або легко открыл тяжелую чугунную дверь злополучной тринадцатой и застыл пораженный. Злополучный тринадцатый был пуст. «Значит, еще остались и действуют “наследники тройки”». Да-а-а...

Або по своей давней привычке, видимо, застыл на месте. Очнулся он от зычного, властного звонка двухстворчатых уличных высоких ворот и машинально посмотрел на свои наручные часы — они показывали четырнадцать.

Або абсолютно не ожидал, что нагрянут именно *те* «гости».

— Мы к тебе, братан! — сказал один из них. Або узнал в нем полковника, который представился тогда Зангиевым. Второй, майор, назвался тогда Евстигнеевым. Но Або догадывался, что оба «работают» под прикрытием псевдонимов. И тогда, и сейчас Або прикинулся неким простачком. Он умел, когда нужно, превратиться в тронутого мозгами... Это не раз его выручало в Афгане.

— Мы к тебе, братан! — еще раз повторил полковник (сейчас в гражданской одежде), когда они вошли в класс номер тринадцать. — Сегодня воскресный день, а пристроиться — некуда! Вот и вспомнили о тебе... Как-никак мы с тобой провели целую ночь в дружеской беседе... Приюти нас! Ты сам понимаешь, в нашем положении нельзя светиться в злых местах. А нам позарез нужно отметить повышение... Мой друг — глянь на красавца — вчера получил еще одну звездочку! Теперь он подпол... Понимаешь? Он... Подпол... — громко, как-то дико расхохотался самозванный «Братан».

Самозванный Братан и его Подпол вытащили «из широких штанин» две бутылки «белой» и «закусон».

Братан вежливо, уж оч-чень вежливо, попросил хозяина, то бишь Або, принести «всякие-там-посуды». Або принес граненые стаканы. После этого начались до-о-олгие-до-о-олгие уговоры «разделить с ними дастархан», что значило выпить вместе водки. Або даже на дух не переносил запаха алкоголя. Тогда гости, убедившись, что Або «существо никчемное», как обычно называли трезвенников, махнули рукой и начали сами «обмывать» новую звездочку Подпола. Все тосты в основном произносил Братан, а Подпол лишь кивал головой.

Раза два Або попытался оставить гостей одних, но это ему не удалось. Братан, напившийся вдрызг, ухватил его за ворот, потом обеими руками обнял его и, глядя как голодный пес на хозяина, все повторял и повторял:

— Не оставляй нас, не оставляй, братан, не оставляй!..

Тут случилось нечто фантастическое: вдруг вскочил с своего места Подпол и своим тонким голосом крикнул:

— Что ты пристал к человеку! Мы должны молиться на него!

Братан, недоуменно глядя на Подпола, выпрямился и обалдело спросил:

— Мы? Должны? Молиться? На него? За что?

— Потому, что он — афганец!

— Кто? Он афганец? Он?

— Да... Да... Он!

Для Братана, видимо, это было так неожиданно, что он громовым голосом выкрикнул:

— Я! Я — афганец! Ты понимаешь это?! Сухопутный кролик! Понимаешь?

— Это я-то кролик? — тщедушный Подпол побагровел и, резко вскочив с места, схватил за грудки Братана.

И пошло, и пошло!.. Драка была всамделишная, с малыми передышками. Когда оба «петуха» (такими их видел Або), чуточку передохнув, снова кинулись друг на друга, они успели обменяться оскорбительными репликами вроде «Ах, ты, гад!» или «Ах, ты, продажная шкура!»

Во время одной из передышек Братан неожиданно ляпнул, со злобой взглянув в упор на своего сослуживца:

— Ты, салага, не можешь знать, кем я был в Афгане! Не знаешь! Передо мною все трепетали! Даже генералы! Потому что я был любимым учеником Великого Ефрейтора Иваси! Я был лучшим выпускником ССКС-17!.. Тебе не полагается это знать!

— Почему? — спросил, тяжело отдышавшись, Подпол.

— Потому, что ты — сопляк!

Все. Або снова застыл. Превратился в скалу. Ибо он, как пораженный молнией, на одну, только на одну секунду оставался ошарашенным... Но потом тут же, как всегда в критические моменты, почти автоматически, молниеносно успел взять себя в руки. И не шелохнулся. «Значит, они... Значит, они...» — вертелись, как обрывки по-

рванной киноленты, мысли. «Значит, они оба *арандаторы*», — показавшись в уме произнес он русское слово *провокактор*.

Тем временем оба «арандатора» продолжали по-зверски биться. «Это не спектакль, это у них выплеск давней затаенной ненависти», — заключил Або.

Потом... Або заметил, что вечереет.

Потом... Або заметил, что наступила ночь...

Он поднялся с дивана и включил свет. А его буйные гости в нелепых позах спали на двух раскладушках.

Потом... потом Або увидел, что его гости снова открывают бутылки «белого». «Откуда? Когда?» И вспомнилось ему, Або, как его единственный командир, Великий Ефрейтор Иваси, иногда, когда оставался довольным, ну... оч-чень довольным результатом *того дела*, которое было выполнено, восхищенно похлопав его по плечу, говорил:

— Ну, ты даешь, мой достойный ученик!

Те дела, которыми занимались 49 подмастерьев Великого Ефрейтора, имели кодовый знак *365*. «Откуда этому паршивому полковнику... «арандатору»... знать об *этом*?»

* * *

Або умел терпеть. Поэтому сам Великий Ефрейтор не скрывал от остальных сорока восьми своих «гавриков» свое особое, уважительное отношение к Або. Всегда ставил его в пример. А когда прилетало высокое начальство из Москвы, его, Або, показывал в самом конце, как Великий Ефрейтор выражался, «на десерт».

Або умел терпеть. И сегодня, с полудня до полуночи, он молча, почти незримо, присутствовал в разнузданной пьянке полковника и майора, якобы получившего еще одну звездочку. Наивные «арандаторы»! «Откуда им знать, обыкновенным ментам, каких пруд пруди, с кем имеют дело!»

Або умел терпеть. Терпел, терпел, и, когда наступила полночь, он совершенно спокойно встал, можно даже сказать, оживился, взял обоих дебоширов за шкирки и, сперва спустив их на первый этаж,

выкинул на улицу. При этом оба мутных офицера оказались в грязной воде арыка...

Або умел терпеть. Он ничуть не сомневался в справедливости своего поступка. Выкинув зарвавшихся арандаторов в арык, он тем самым спас себя от клеветы. «Завтра или, скорее, послезавтра они приползут ко мне, будут просить прощения и будут умолять, чтобы “это дело” осталось между нами... А то и попытаются подкупить! Они ведь меряют всех людей на свой карликовый рост».

Або почувствовал облегчение. Ему почему-то захотелось петь. Хотя в жизни он никогда не умел петь. Даже тогда, когда он, шагая в строю, как все солдаты, обязан был хотя бы горланить за компанию со всеми!

Або почувствовал облегчение. Он позволил себе несколько раз вальяжно прошагать по длинному коридору первого этажа туда и обратно. Потом зашел в свою служебную конуру и, скомандовав себе: «До семи!» — лег спать.

Спал он до семи. У него своя система утренней гимнастики. Он садился на пол по-казахски, скрестив ноги, и, закрыв глаза, «уходил в себя». Он превращался в балбала, каменного истукана. Это он называл «внутренней гимнастикой». Открывал глаза и вставал, когда чувствовал всю мощь прилива внутренней энергии. А бывший сержант Милана Петровна приходила на работу с большим опозданием, но это ей прощалось, так как все знали, что она добирается на службу с двумя пересадками. Так что она и сегодня появилась к десяти часам.

И сегодня Милана Петровна все приняла у ночного дежурного до тошно, но сегодня прошла мимо класса номер тринадцать и не пересчитала всех двенадцать гавриков. Не зашла. Не потребовала «сдачи» тех, «временных», как она выражалась, привезенных из далеких казахских аулов малышей. «Значит, она, такая преданная партии и правительству и т.д., все же “в курсе”. В курсе! Значит, она в их компании...» — заключил Або. Но тут же поправил себя: «Теперь ведь мне все равно! Как поется: “Нам, татарам, — бар и бир!”»

Необычное, игривое настроение овладело им, и он позволил себе улыбнуться и козырнуть Милане Петровне:

— Есть, товарищ гвардии старший сержант! — нарочито «прибавив» женщине более высокий, на одну ступень, чин.

Або видел, что его необычный подхалимаж понравился заведующему хозяйственной частью государственных детских яслей номер два. И все.

И все. Або возвращался домой в приподнятом настроении. Он помнил мелодию и пел в душе только одну песню своего народа, и то без слов... Песня эта называлась... Как ее?.. «Шырмаук»... как паук... Говорили, что ее сочинил великий композитор и певец Ахан-серэ. Но еще говорили, что эту песню нельзя петь прилюдно... Интересно — почему? Как вообще можно запрещать петь прилюдно песню, которая тебе нравится... Дикость какая-то... »

«Дикость какая-то... — продолжал думать Або, когда увидел хвостатую очередь на автобусной остановке. — Неужели это нельзя наладить?»

«Дикость какая-то... — продолжал думать Або, когда увидел, как группа из пяти амбалов, нахально оттолкнув стариков и старушек, буквально вломила в переполненный автобус. — Как можно?»

«Дикость какая-то...» — продолжал думать Або, когда автобус, на котором он добрался до своей остановки, сделав «круг почета», уехал, не взяв измученных в ожидании пассажиров.

И вспомнилась ему народная пословица: «У нерадивого хозяина собака с поносом!..»

И расстроился Або. И прошел мимо своей хибарки. Потому что почувствовал: так нужно. Так нужно. Какое-то шестое чувство ему подсказывало: «Тебе нельзя сейчас туда».

Або прошел мимо своей хибарки. «Что со мною творится? Кто меня не пускает к собственным детям и жене? Бедная Зара, как ты будешь жить без нас, когда мы, втроем, уйдем? А куда же мы уйдем? И что значит: “Мы уйдем”. Кто же это “мы”? А почему Зара должна остаться одна?»

Або удивился: «Я же стою на Верблюжьем Горбу? Когда и зачем я явился сюда? Да и в своем ли я уме?»

Ему вдруг захотелось найти землянку Удоды. Он усмехнулся: «Почему же я назвал его Удодом? Он ведь вполне нормальный джигит?! И цели у него — спасительные...»

И тут его осенило: он, Або, боится самого же себя! «Да! Да! Ты трус, Або! Трус!»

Он наконец одолел свое такое непонятное состояние и решился-таки пойти домой... Но в то же мгновение все тело вздрогнуло, как будто его ударило сверхмощным электрическим током: он почувствовал, что у Айны... его любимой доченьки... начались... эти проклятые, нестерпимые боли... Эта адская, такая же как него, у Або, напасть...

Або интуитивно прочувствовал, что его Айна, его любимая Айна, его умница Айна, только что получила первый коварный удар в свой мягчайший мозг. И эта нечеловеческая боль скрутила ее. И дочурка сползла на кошму, чтобы ее мама, добрейшая из всех мам на белом свете, не узнала, что на дочь внезапно навалилась *адская напасть*, привезенная их отцом Або из Афгана.

Их отец, Або, застыл на самой верхушке возвышенности, не зря названной Верблюжьим Горбом или Горбатым Бугром.

У Або зануло сердце. Нет! У Або заплакало сердце... Рыдало, можно сказать... Можно... сказать... зарыдало сердце у Або!.. «Как же это? В течение одного только месяца — три приступа! Значит... значит... Я должен... Я должен? Я должен?! Должен!»

Або знал: теперь она, его обычно спокойная, рассудительная, не по годам смысленная Айна, чтобы не заорать, чтобы не испугать свою хрупкую маму, начнет кусать свои руки... До крови, до иступления...

Або это знал... потому что он сам... их отец... закаленный в боях спец, был подвержен этим пыткам. «Теперь колючая проволока, раздирая на кусочки живую ткань его пятилетней дочурки, медленно... медленно продерется к ее внутренностям, к легким, к кишкам...

и начнет их выворачивать и выкручивать, как будто некая злая баба-яга на берегу речки, за деревней, выворачивает, высушивает простынь. А потом злобная старуха берет выкрученную простынь и начинает с размаху бить о ствол столетнего дуба, чтобы скорее высушить!

Попробуй вытерпеть... О-о-о Создатель! О-о-о... Когда и чем «насолило» тебе Человечество, Тебе?! О-о-о Всевышний?

Або почувствовал, что он весь в поту. «Чтобы закаленного в огнях и водах... Нет! Нет! Чтобы меня, питанного на раскаленных «сковородах» Афганистана, отчаянного Або, довести до такого состояния, будто я оказался в предбаннике ада, нужно, нужно... чтобы все дьяволы, сговорившись, напали одновременно! Может быть, тогда бы я действительно вспотел... Невероятно... Значит, Айне... Айне оч-ч-чень плохо!»

Айна... В этот миг Або почувствовал, что... неладное творится и с Боло, младшим, трехлетним... Он хотел было побежать домой, но что-то его сдержало, и где-то там... в глубинах сознания, произошел взрыв мысли: «Так нельзя... Нельзя *то, что я задумал*, исполнить при Заре, при их матери! *Нельзя!*»

У Або закружилась голова. Но он даже не понял, что это такое. Какая-то нелепая реплика мелькнула в сознании: «Что будет с бедной Зарой, когда нас, троих, не станет?»

* * *

Когда к семи утра Або вернулся в свою хибарку, он увидел ту картину, которую боялся застать врасплох: Зара, его Зара, мать его детей, сидела на полу на кошке, превратившись в каменного истукана. Она никак не реагировала на его появление.

Або заметил: Зара за эту ночь осунулась до неузнаваемости! Это был скелет той Зары, которую он, по предварительной обоюдной договоренности, «умыкнул» однажды ночью, так как ее родители были убеждены, что их дочь-красавица достойна стать «драгоценным украшением» зажиточного семейства в соседнем ауле.

Або и Зара решили тогда «этот вопрос» по велению сердца. «И — точка!»

А теперь, вот сейчас эта красавица, осчастливившая первого джигита соседнего аула Кёгёси со странным именем Або и подарившая своему суженому золотую Айну и золотого Боло, сидит на полу, превратившись в каменного балбала...

А теперь, когда Або посмотрел, не узнавая, на нее, из двух щелей, только вчера бывших двумя прекрасными, умными глазами, разом хлынули слезы, обильные слезы отчаянного, неутешного горя... При этом женщина оставалась каменным балбалом... Надо же! И... тонкая голубая сатиновая ткань, прикрывавшая маленькую грудь с двумя скромными бугорками, мгновенно потемнела от слез *матери*.

Або каким-то шестым чувством понял, что нельзя сейчас обращаться к Заре с вопросами, вообще нельзя смотреть в ее лицо, тем более в глаза... в ее глубокие, всегда искрящиеся любовью глаза... Нельзя!

Або шестым чувством понял, что ему сейчас надобно обратиться к Создателю, и только к Нему! Он чуть приподнялся, сел на корточки и, соединив ладони обеих рук, взмолился:

— О Создатель Вечности и Бесконечности, скажи, чем же провинился Я перед тобою? Ведь ты, Создатель, именно таким создал меня... Потомков моего прадеда Кара-Аспана, говорят, перевалило за сто пятьдесят человек... может, еще больше... Кто их считал?... У нашего народа существует поверье, запрещающее перепись населения... Вернее, существовало... О Создатель! Когда меня, щенка, призывали в Краснейшую Армию...

Або шестым чувством понял, что ему полагается сейчас же остановиться... Прервать нахлынувший поток мыслей...

Прерывать нахлынувший поток мыслей его научил... Афган! Вернее — Сам Мастер Иванов, в просторечии — Иваси. Еще тогда, на высоком берегу Волги-реки, он, Иваси, видимо, заметил, что курсант Кара-Аспанов раз за разом о чем-то задумывается, и, плотно подойдя к нему, тогда еще юнцу, летним громом прогремел:

— Рядовой Кара-Аспанов, а ну-ка выбрось из головы весь хлам, который накопился у тебя внутри твоего котелка. Всякому хламу нет места в *нашем деле*! Запомни это! Запомни на всю жизнь! Мысли — это хлам! Мусор! Дерьмо, одним словом... Усек?

Красный нос Великого Мастера зловеще коснулся переносицы курсанта. Это был оч-чень-оч-чень эффективный метод воспитания.

Або, конечно, усек... Да и без того на учебном полигоне времени было в обрез, так что курсанты возвращались в казарму еле волоча ноги и, дойдя до своей железной койки, с ходу падали и засыпали мертвым сном. Так что через три месяца в мозгах курсантов не оставалось ничего! Одна пустота. Одни пружинистые движения.

Зато за каких-то полгода по прибытии в «пункт назначения» гаврики Великого Учителя показали всему миру такие чудеса, что заохали и заахали все спецы объединенных всяких там заморских командований. Або это знал. Потому что Або был единственным «шипко» грамотным среди «добровольцев».

А сейчас Або сидит, почти бездыханный, чтобы не потревожить Зару, свою Зару, мать двух безвинных жертв, двух ангелочков, Айны и Боло, которые крепко спали после возвращения из рукотворного ада.

* * *

Айна и Боло крепко спали. Або понял, Зара тоже спит — сидя, приняв позу истукана. Спит. «Бедняга, измучилась. Если я, закаленный, выдавший виды, так мучаюсь, каково же ей, по природе своей сердобольной, добрейшей молодой?! Каково?»

Або тут же отвел свой взгляд от красивого лица жены. Он знал — знал! — взгляд его глаз пронизателен, а Зара слишком чувствительна.

А у него самого взгляд тяжелый и свинцовый, как говаривал Сам Иваси. На седьмом месяце пребывания в городе Герате Сам Учитель решил отметить «тысячную добычу», как было принято называть взятых в плен или уничтоженных его спецями противников из числа афганцев, американцев, англичан и французозов. Не каких-то там ря-

довых, а офицеров, инженеров высокой квалификации, среди которых попадались и генералы.

Иваси решил провести это важное мероприятие в читальном зале единственной городской библиотеки. Среди приглашенных блистали высокие чины.

Как потом сам Иваси выразился, на «десерт» элитным гостям был представлен Або — Сокол Тянь-Шаньский, как экспромтом, на месте, назвал его сам Учитель и обнял при всех, крепко, очень даже крепко, прижал его к груди... «Это он зря...» — подумалось Або. Потому что от Учителя, которого он искренно боготворил, сильно несло острым, но дешевым одеколоном и... отвратительным перегаром самогона. В ту же секунду Або, степняк, возненавидел своего кумира! И — все! Даже пожалел, что разочаровался в нем. Но было уже поздно.

А сейчас здесь, в своей хибарке, ему ясно вспомнилось, как тогда в далеком Герате перед блестящими генералами и полковниками, ему, ничтожному ныне, разжалованному майору, захотелось вызвать вылитого из тяжелого чугуна мастера, виртуоза своего дела Иваси на дуэль! «Смешно, конечно...» Но Або тогда, в тот миг, почувствовал свое превосходство над Иваси и подумал: «Учитель Зла должен быть наказан!»

А сейчас, сейчас, в своей хибарке, Або «солеными» словами отругал самого себя и окончательно вернулся в съемный домик на безымянной улице, возле предпоследней автобусной остановки маршрута номер 526 города Алма-Аты. Окончательно вернулся в съемную квартиру, в реальную жизнь и, увидев детей, мирно спящих на кошке, и жену Зару, спящую сидя, подумал: «Как же все-таки освободить их, детей, милейших моих детей, от кошмара, вселенского кошмара, от адских мучений? Как? Как?»

Ответ был один. Тот, к которому он, Або, пришел три дня — таких длиннющих, мучительных три дня тому назад: полагается Возмездие. Возмездие! И — только!

Або знал, что его единственная опора на этой брэнной планете, планете Земля, — Зара, существо очень чуткое. Поэтому он с опас-

кой посмотрел на свою жену, спящую сидя, — не притворяется ли она спящей?

«Только она, моя Зара, быстро смогла перенять от меня, Або, способность отдыхать на ходу. Между прочим, спать на ходу, или сидя на верблюде, или сидя на коне, было уделом многих казашек. Так было... И нынче как?»

* * *

Зара и так все знала. Еще три дня тому назад... каким-то шестым чувством поняла, что Або — смысл ее существования, ее Або — принял какое-то решение. По изменившемуся тембру голоса, по каким-то чужим всплескам во взгляде, по тому, как разговаривал он с ней, иногда «уходя далеко-далеко», совсем в другой мир, она начала ждать чего-то недоброго, чего-то неожиданного, чего-то даже жуткого — от него, от любимого.

Зара знала, Зара еще с детских лет знала, что щенки собак после появления на белый свет в течение трех суток остаются слепыми. Сейчас Зара сравнила себя с еще незрячим выводком. «Глупая ты баба, Зара! Беги скорее! Беги! Зачем? Куда? Почему? От кого?»

Ответа не было. Но вопрос... но вопрос становился все более настойчивым, все более странным и, казалось, бессмысленным. «Почему? От кого? Куда?»

Вдруг совсем посторонний, чужой голос подсказал: «В аул, родной аул, в Кёгёси, Кёгёси!»

Зара вспомнила и вздрогнула: когда однажды, в обыденном разговоре, Зара нечаянно перепутала казахское название Кегень с японским Кегеси, муженек ее серьезно, подозрительно нахмурился.

Тогда, в молодые годы, тогда, когда еще не появились на свет Ай-на и Боло, счастливые молодожены вдоволь с удовольствием посмеялись. Почему? На этот вопрос они, уверенные в завтрашнем дне, ответа не искали.

— Что за Кёгёси? — снова спросила Зара.

— Это город в Японии! — хохотнул разжалованный в рядовые майор ССКС-17.

Зара знала, Зара была уверена, Зара ни на секунду не сомневалась, что счастливое будущее ждет их в будущем. Зара улыбнулась:

— Скажешь тоже — Япония! Где — Япония, а где — Кегень?!

Игривое чувство овладело ею, она задорно посмотрела на мужа... Он тоже улыбнулся. Он точь-в-точь повторил слова жены:

— Скажешь тоже — Япония! Где — Япония, а где — Кегень?!

«Показать Кегень» был условный «пароль» к сладостным утехам между молодыми супругами. Оба одновременно улыбнулись, оба мгновенно превратились в единый «оргизм», как обычно шутил Або, знавший в совершенстве русский язык.

* * *

«У высоких гор есть свой характер, как у моего Або, — думала Зара, пристально, чуть прищурившись, глядя на пик Талгар, который висел над городом. — Талгар... как мой Або... Пять километров высоты... А не скажешь... — Зара, сама не замечая, улыбнулась: — Талгар, как мой Або, добрый...» Но тут же, в ту же секунду, она заметила, что на острие конусообразного пика Талгар висит, как белый-белый флажок, белое-белое облачко-шлейф. Заметив это, Зара нахмурилась... Значит, Талгар готовит нам, алмаатинцам, сюрприз... Значит... жди от самой высокой вершины подарочек: злостные бураны, сопровождаемые градом с человеческий кулак... Жди, Зара, жди! Жди, Зара, жди!.. Жди, Зара, жди... Твой удел... Твой удел... Твой удел... Твой удел — терпеть и ждать, терпеть и ждать, терпеть и ждать... терпеть!

Заре вспомнился тот кошмар, который начался ровно три месяца тому назад. «За три месяца — девять ударов. Да каких ударов... И каждый не просто удар — тайфун! Да какой там тайфун — ад! Суций ад! В каждом ударе — вакханалия сотен дьяволов и десятка тысяч чертей.

У Зары медленно, медленно закружилась голова. Она обняла ствол яблони, под которой стояла. «О Создатель!» — и медленно, медленно сползла на землю.

В таком состоянии ее и нашел Або. «Какой позор!» — подумала Зара, когда очнулась. А очнулась она тогда, когда Або нес ее на руках домой.

А очнулась она тогда, когда Або нес ее на руках, и, сразу сообразив, что нельзя, нельзя, чтобы Або подумал, что она потеряла сознание, приняла чисто женское решение: она притворилась, как будто нарочно разыграла Або, а вовсе не спала, и начала заливисто хохотать... своим серебристым голоском...

Этот... ее приятный, серебристый, сексуальный смех обернулся для нее самой совершенно неожиданным слиянием двух любящих сердец. «Разве Або, ее Або, упустит малейшую возможность?»

Потом, когда Зара окончательно убедилась, что Або снова уснул своим богатырским сном, а дети по-прежнему находятся в забытии, Зара, чтобы не разбудить мужа, очень осторожно, тихо-тихо поднялась и вышла в куций, стандартный садик в шесть соток.

И тут, в куцем садике, ее, Зару, осенила реальность, в которой оказалась их семья. «Нет! Нет! Нет!» — воскликнула она, не замечая, что эти слова она произнесла так громко, как будто перед ней стоит сам палач. «Не позволю! Не позволю! Не позволю!» Ее решительный гнев пока был безадресный, беззлобный. Но тут вдруг ей вспомнился суровый взгляд Або, когда он играл с детьми и странно хохотал. Его хохот был какой-то непонятный, какой-то зловещий. Жуткий... «Не к добру это... Не к добру...»

И совершенно некстати она подумала: «Нет! Нет! Я не отдам детей... Я не позволю, не позволю никому... Даже Або... Не позволю!»

Самое странное было то, что она, Зара, ни с того ни с сего решительно, во весь голос в пустоту выкрикнула:

— Я не отдам моих детей никому! Даже тебе, любимый мой Або, не позволю *этого*! Не позволю! Не отдам и все!

Еще большее удивление вызвало то, что она, как ей казалось, некстати решила: «Увезу! Увезу детей в аул! Отвезу к моим родителям. Уж они-то их вылечат. В аулах есть знахари, они вылечат...» Потом уныло заключила: «Но, к сожалению, Або не признает, как он сам говаривал, “знахарей, всяких, там...” Он не позволит мне... Поэтому... я...»

* * *

«Бедная, бедная луна, моя луна ... — подумал Або, — ты такая полная сегодня... Ты такая ясная сегодня... Ты такая одинокая сегодня... Луна, ясная луна, над Земным шариком одна ты чистая, одна ты справедливая. Ты помоги мне, помоги!...»

Он с удивлением осознал, что снова стоит один, снова — ночью, снова на Горбатом Бугре. «Когда же я пришел сюда? Зачем же пришел я сюда? Небывалый случай — я, кажется, весь день проспал дома... Надо же! Я и Зара, правда, раза два выходили в хозяйский куций садик. Зара моя... Она, видимо, чувствует мой замысел. Она очень чувствительная... Поэтому надо... *надо* осуществить *это* сегодня же ночью. Сегодня же».

Або повернулся снова на юг. Там была его Луна. Он удивился: Луна была там, на месте, но... но... На этот раз Луна, полная-преполная Луна, оказалась «наколотой» на острие пика Талгар. Белые, белые вершины Тянь-Шаньской гряды до такой степени близко приблизились к нему, к Або, что между белыми-белыми грядами и Або в данный момент не существовало миллионного города Алма-Аты. Просто на пике Талгар висит большая белая Луна, и здесь же стоит он, Або, со своим адским грузом. «Видимо, моя душа ищет себе союзника? Моя душа — сирота! А Луна... Луна тоже сирота... Видишь, Або, она тоже осталась одна... Все звезды покинули ее, предали ее! Я, только я понимаю ее!»

Но тут, как вор-карманник, вкралась в душу его какая-то несвойственная простому человеку гордыня, и он, Або, позволил себе некое высокомерие: «Я обращаюсь к Луне, но ведь Луна всего-навсего

спутник Земли, а Земля всего-навсего один из спутников Солнца... А ведь Солнце всего-навсего одно из семи миллиардов солнц, среди которых наверняка есть сверхгиганты, в тысячи раз мощнее и в тысячи раз массивнее нашего светила. Так что ты, Або, не уподобляйся уличному оборванцу! Знай себе цену! И знай, Або, твой Создатель — Высший Разум, управляющий Вечностью и Бесконечностью. И между нами, между Высшим Разумом и мною, не должно быть никого и ничего!»

Потом вспомнил: он хотел ведь посоветоваться с человеком, которого он, Або, может, несправедливо обозвал Удодом!

Когда Або приблизился к землянке Удода, он вдруг обрадовался: в окне, прямо над землей, виднелся подслеповатый огонек. «Значит, хозяин дома».

Або, сильно нагнувшись, постучал в окошко и удивленно выпрямился — тусклый свет погас вовсе. Постояв некоторое время, он направился было прочь, но из хибарки выскочила женщина. Або узнал жену Удода. А женщина с рыданием бросилась на шею Або и начала ритмично причитать, как обычно оплакивают казашки умершего мужа...

Або, нагнувшись, начал успокаивать несчастную женщину. А женщина все причитала и причитала, ритмично покачиваясь... Но через некоторое время Або понял, что ее муженек вовсе не скончался, он просто покинул свою семью, шестерых голопузиков, чтобы... чтобы спасти свою родину, свой Казахстан, от катастрофы. Муженек ее, названный Або Удодом, решил размонтировать адскую машину, запанную под Аральским и Каспийским морями!

Когда Або, нагнувшись, спросил:

— Как вас зовут, женеше?

Женщина, резко прервав плач, спокойным голосом ответила:

— Сайра...

«Какое звучное имя! — Подумал Або. — Почти как у моей Зары...»

Або, теперь выпрямившись, почему-то решительно, как будто с кем-то он спорил и «победил», громко подытожил:

АКИМ ТАРАЗИ

— Только такие люди, как ваш муж...

Сайра с готовностью подсказала:

— Асан... Его имя Асан! Мой сокол... — неожиданно добавила Сайра. — Мой сокол!

— Только такие люди, как твой муж, твой сокол, смогут спасти Человечество! Удел остальных — только существовать и доживать, как говорится, «доклянчить до конца» и исчезнуть бесследно! Так что гордитесь, гордитесь своим Соколом, Сайра! Вы — счастливая женщина!

И Або, выпрямившись, даже не попрощавшись с Сайрой, пошел в сторону белых-белых вершин Тянь-Шаньской гряды..

* * *

Ту красавицу из туркменского кишлака Кок-Айлы тоже звали Сайрой. В то лето их знаменитая часть ССКС-17 стояла в горном ущелье близ города Герата.

Его учитель Иваси как-то шепнул:

— В этом ущелье нам доверено испытать одну... адскую машину. Я только тебе говорю, потому что ты — особый малый! Ты особый в нашей особой части!

Ему, учителю Иваси, видимо, показалось, что он изрек нечто сверхстроумное, потому что он долго-долго раскатисто хохотал, без конца повторяя: «Ты особый в нашей особой части!»

Потом, напыжившись, как полагается официальному лицу, очень серьезно и тихо-тихо сказал, хотя в обозримом пространстве никого не было:

— Только мы с тобой вдвоем будем знать об этой адской машине... Понял? Я, впрочем, согласовал этот вопрос с Высшим Начальством. Так что запри зубы на стальные замки!

Так, не совсем грамотно, выражался Сам Иваси.

Через три дня Учитель Иваси и Або с богатыми подарками явились с визитом вежливости в каменный дом мулы Мурата, огороженный высоким дувалом.

Або был всегда желанным гостем муллы Мурата и его многочисленной челяди. Они его называли: Муслим Бала, что означало юный мусульманин.

Учитель Иваси с любимым учеником старались соблюсти все нормы приличия, подобающие, по их понятию, достойным гостям: всем внукам, внучкам, правнукам, праправнучкам муллы Мурата были розданы ценные подношения, а самому мулле — пегий ахалтекинец — мечта любого туркмена.

Потом учитель Иваси и его ученик Або долго-долго обменивались восточными любезностями с муллой Муратом и его потомками. Потом за обильным дастарханом поочередно начали появляться все новые и новые блюда вкусных разнообразных национальных угощений и сладостей. Потом наступил черед восхваления достоинств гостей и, разумеется, хозяев! Потом... когда пышущее азиатское сопло, называемое солнцем, начало постепенно остывать, гости напомнили щедрым хозяевам, что они все же военнослужащие как-никак, а в этом районе полно всяких там кафилов, и они вынуждены прервать свое счастливое пребывание у великого, мудрого старца. И вышли за высокий каменный забор.

Провожать гостей вышли всем родом, от полугодовалых в пеленках детей до самого седобородого прапрадеда. Тут главного гостя Иваси осенила светлая мысль — сфотографироваться. «На добрую память», — несколько раз повторял Главный Гость Иваси. Малочисленный, по туркменским понятиям род, состоящий «всего-навсего» из каких-то там «семидесяти двух душ», вышел на узкую, кривую улицу кишлака Кок-Айлы.

На прощание красавица Сайра от имени своего деда преподнесла драгоценный подарок для жены Иваси — очень-очень дорогие серьги. (Откуда туркменам из маленького кишлака Кок-Айлы знать, что почтенный гость их, Иваси — убежденный, отъявленный холостяк!) Ко все прочему Учитель Иваси оказался заядлым фотографом! Чем Або был необычайно поражен!

Або был поражен и тогда, когда его Учитель, вдоволь насладившись своей «второй профессией», вдруг предложил ему, Або, встать рядом с аксакалом муллой Муратом, с некоторой долей сарказма, улыбаясь, сказал:

— Мои фотографии открывают всем вам прямой путь *в рай!* — Эти слова он сказал, разумеется, на русском языке, но тут же, почти шепотом, «внес поправку»: — Эти слова ты можешь не переводить на чучмекский язык... Это — между нами...

Або был поражен в третий раз, когда Учитель, подождав его указательным пальцем к себе, с каким-то невероятным напором скрытой радости шепнул ему:

— Вон, видишь, замурованный черной сплошной броней танк без ствола? Видишь?

Або кивнул головой.

— Раз видишь, запомни, это — чудо-танк, орудие двадцать первого века... Слышь... — Великий Учитель имел привычку недоговаривать несколько букв в некоторых словах. — Слышь, чудытех... двадцать первого века! Слышь?.. Чудытех! Черный жук! Его, только между нами, можно называть триста шестьдесят шестым чудом... Помнишь те триста шестьдесят пять смертельных приемов... А это — Черный Жук... Триста шестьдесят шестое чудо...

Або еще раз кивнул головой и запомнил навсегда: Чудытех! Черный Жук!

В этот миг, пока учитель и прилежный ученик шептались, видимо, аксакалу мулле Мурату захотелось что-то сказать своему главному гостю, и он, аксакал, тоже поманил младшего гостя указательным пальцем правой руки к себе.

Как восточный молодой человек, Або (ему тогда было всего девятнадцать лет) посмотрел на Иваси, а Иваси с какой-то затаенной улыбкой превосходства кивком головы разрешил ему подойти к мулле, даже чуть заметно подтолкнул:

— Иди, раз просит уважаемый саксаул... Иди.

Это сейчас Або вспомнил, что тогда, на афганской земле близ Герата, его учитель Иваси заменил слово «аксакал» на «саксаул».

Белобородый старец встал с места, крепко обнял стройного парня и, соединив ладони, благословил его, пожелав ему счастья.

Как раз в этот миг Або почувствовал странный, непонятный удар теплого воздуха... Он машинально обернулся назад... А там... А там... черным чудовищем чернел Черный Жук, чудотех.

Через неделю... Через неделю... скончался глава семидесяти двух живых душ, рожденных жить да жить... живых душ. Говорили, что он, степенный аксакал, сильно мучился, сильно, нечеловеческим криком кричал и в конце концов выстрелил из охотничьего ружья прямо в свою седую голову!

Когда... Когда команда Иваси из сорока девяти «орлов» вернулась из горного района Файзабада, где самые высокие вершины, так называемые десятитысячники Памиро-Гималайской гряды, потеряв троих профессионалов своего дела, но при этом уничтожив более трех тысяч маджахедов, в кишлак Кок-Айлы, выполнив задание, Або, добряк Або, узнал, что из многочисленной семьи муллы Мурата в живых осталась одна только Сайра. Сайра, о яркой красоте которой Або не позволял себе даже думать! Сайра, о красоте которой думать было грешно...

Когда знакомые жители кишлака Кок-Айлы рассказали эту жуткую историю, Або, железный Або, едва не потерял разум, а когда он узнал еще, как правоверные мусульмане, осуждающие самоубийство, сами же вынуждены были «помочь» слабовольным «избавиться» от мук, возмущению его не было предела. Он был готов на все!

Або, нестигаемый Або, о котором говорили: «Что каменный монумент, что наш Або — одно и то же!» — этот Або заплакал, как дитя. Он не заплакал, он зарыдал. Зарыдал и побежал в сторону туркменского кишлака.

Когда он, заплаканный, перепрыгнув, как барс, через высокий каменный забор, оказался во дворе недоступной еще недавно семейной крепости туркменского рода Кок-Айлы, он сразу почувствовал,

будто попал в ад, о котором на Земле все говорят, но никто, к счастью, еще не видел...

В этом же аду он, Або, разыскал Сайру, еще живую, но... лучше бы ему не видеть этого!

Еще вчера Сайра была копией то сказочной принцессы, то сказочной царевны, то сказочной феи, с которыми еще в раннем детстве в своем воображении играл отчаянный фантазер Або...

А теперь... а теперь перед Або, который только вчера отпраздновал радостное событие — присвоение воинского звания майора, теперь перед этим Або, появившимся во всем блеске новой военной формы, лежал... красиво одетый скелет...

Скелет с потухающими, остановившимися глазами смотрел на Або и пытался что-то сказать, пытался шевельнуть уже почти омертвевшими губами, но мертвые губы смогли только приоткрыться, чтобы показались жемчужно-белые зубы вчерашней мечты всех туркменских джигитов окрестных кишлаков и еще одного... молодого казаха, умеющего каждый раз подавлять свои некстати нахлынувшие личные чувства, — мечты *этого* Або.

* * *

Это было невероятное зрелище. Генерал-лейтенант Иваси с двумя звездочками на груди, изрядно навеселе, абсолютно некстати появился у высоких каменных ворот почтенного своего *кунака*¹ муллы Мурата. Некстати. Або же, закрыв глаза несчастной красавицы, уже выходил из высоких каменных ворот.

Оба, естественно, не ожидали встречи.

— Ты... Ты... как здесь? — опешил генерал-лейтенант.

Естественно, командир ждал, что Або растеряется и если не испугается, то смутится. Но вместо этого Або, его любимчик, его баловень Або, совершенно неожиданно буркнул:

— А ты сам зачем... сюда пожаловал?

¹ Кунак — друг, побратим.

Эти слова... Не слова, а бомбы... взорвались прямо под носом генерал-лейтенанта, не просто генерал-лейтенанта, а знаменитого воина с двумя золотыми звездочками на груди...

Но... самое главное — «этот щенок», как в душе называл этого доморощенного героя сам Иваси, — «этот щенок» позволил себе пройти мимо командира... не командира, а командующего *особой* частью ССКС-17, известного во всех Вооруженных Силах под кличкой ИВАСИ, позволил себе пройти мимо, не повернув головы!

Иваси сначала опешил, но тут же взревел:

— Эй ты, щенок, а ну-ка, вернись!

И все!

Это была первая ошибка — Учитель позволил себе предаться злобе. «Злоба — ваш главный враг! — говаривал он сам своим «птенцам». — Не подпускайте к себе эту Бабу-ягу»!

Следующий промах его — он сходу начал материться. Он слыл в этом деле «классиком номер один». Он, видимо, первым решил нанести удар в пах. Но ученик молниеносно увернулся.

Дальше — больше. Учитель через минуту понял свою оплошность: ни один из знаменитых смертельных ударов не достигал цели!.. Наоборот, на молодом красивом лице этого, уже ненавистного, ученика засияла улыбка, улыбка издевательская и наглая.

Тогда Учитель решил одним своим тайным ударом сокрушить своего взбунтовавшегося ученика. Походив, попрыгав якобы впустую, якобы поскользнувшись, якобы падая, нанес удар-выстрел. Он не сомневался в результате своего тайного оружия, но оторопел, увидев Або еще живым, еще улыбающимся! Надо же! Какой позор! Позор перед местными бородачами, которые откуда-то появились и глазели на бой вчерашнего учителя и вчерашнего ученика. «Откуда они взялись?» Эта доля секунды привела Иваси к еще более опрометчивому решению, он крикнул:

— Эй, вы, чучмеки! Я приказываю: убейте этого предателя!

Выкрикнув *это*, Иваси, по своей глупости, приговорил самого себя к смертной казни: один из бородачей выстрелил из обреза в живот Иваси.

«Время — понятие условное...» — подумал Або, посмотрев на часы. Стрелки показывали четыре утра. «Где я так долго бродил?» — удивился Або. Вспомнил, как он разговаривал с женой Удода. Вспомнил, как сказал жене Удода: «Такие люди, спасут человечество!» Або поймал себя на том, что он сейчас улыбается... Вспомнил решительное возражение в голосе жены Удода: «Его имя не Удод! Он — Асан! А я — Сайра!» Как подлый удар, как удар исподтишка прорезалась в его сознании мысль: «Там — Сайра, здесь — Сайра... У меня — Зара!» Довести эту мысль до логического конца у Або не хватило мужества... Ему каким-то магическим усилием удалось «отвести» имя жены, имя Зары, от опасного списка обреченных женщин.

Або понял, Або ощутил, что он стоит недалеко от своей хибарки номер 526, и в его сознание коварной молнией ударили жуткие звуки, звуки... Это плакали... нет, не плакали, а проклинали... проклинали не словами, а интонацией своих голосов, жалобно проклинали *этот* жестокий мир Айна и Боло, его ангелочки... Айна и Боло!

Айна и Боло плакали... Нет! *Это* был не плач, *это* была... мольба избавить их от *этого* проклятия по имени Жизнь! Избавить! И скорее избавить! Скорее! Сейчас! Сию минуту! Сию секунду!

Дрогнуло сердце Або, и струсил великий воин Або, струсил и бежал! Позорно бежал!

Совсем недавно было четыре часа ночи, а сейчас уже шесть утра. Он вышел из переполненного, дряхленького автобуса и оказался на привокзальной площади станции Первая Алма-Ата! «Зачем? Когда?»

Через час он «поймал» себя на базаре «Барахолка»! Еще через час он «нашел» себя на автовокзале, сидящим и ждущим кого-то или — чего-то! Но, самое удивительное, ровно в девять он «нарисовался» на работе!.. Так что Марина Петровна, увидев его, поперхнулась. Она, быстро взяв себя в руки, попыталась пошутить:

— Ты, товарищ Кара-Аспанов, опоздал на... одну минуту! Это тебе говорит старший сержант резерва Беляева Марина Петровна!

Был у ефрейтора Марины Петровны Беляевой такой безобидный грешок: выдавать себя за старшего сержанта! Або попытался снисходительно улыбнуться, но понял, что *это* ему не удалось. А Марина Петровна, мнящая себя большим начальником только потому, что она в данный момент сидела в кабинете временно исполняющего обязанности заместителя заведующего директора детских яслей номер два, приняв официальную позу, изрекла:

— Кстати, Кара-Аспанов, я тебя поздравляю с новым директором! — но, увидев, что *это* ее сообщение не произвело никакого эффекта на Або, почему-то оскорбилась и с неким садистским торжеством объявила: — Между прочим, он — очень деловой! Он — младший брат покойного Нурдина Саидова — Камардин Саидов! Ты его знаешь... — Марина Петровна с каким-то мстительным торжеством посмотрела на Або, но, видимо, убедившись, что *это* мстительное сообщение не подействовало на дикаря, жестко подытожила:

— Он, ты сам знаешь, о-оч-чень, о-оч-чень мстительный субъект.

Когда Марина произнесла имена Нурдина и Камардина, Або вдруг очень-очень ясно вспомнил ту картину, когда на желтом коврике лежали трое мертвых: Анна Андреевна Петренко, Нурдин Саидов, Байбак Малышбаев. В его памяти возникли оч-чень-оч-чень ясные фото каждого из убитых. И еще вспомнились шрамы... тонкие-тонкие такие... И еще, головы у всех троих были... как по чьей-то команде «смирно!» — были повернуты вправо! И... еще в памяти громко прозвучало нечаянно произнесенное:

— Какое мастерство!

Этот Або, в данный момент лежащий на своей служебной железной койке, четыре дня тому назад сказал тому далекому Або, стоявшему на краю желтого коврика:

— Ну и дурак же ты, Або! Дурак!

Этот Або, в данный момент лежащий на своей служебной железной койке, как обычно скомандовал самому себе: спать четыре часа! Но, к сожалению, в первый раз за все свои взрослые годы его организм не подчинился хозяину. Наоборот, помимо его воли, наплыли

нежелательные видения, которых он больше всего боялся и от которых сегодня утром панически бежал: Айна и Боло, протянув к нему свои пухленькие ручонки, плача, рыдая, отчаянно крича, стеная, — умоляли, умоляли, проливая обильные слезы, умоляли спасти, спасти их от *этого* кошмара.

Або, их отец, на своей шкуре испытал и испытывает адские муки, но не представляет, как спасти своих Айну и Боло. Как спасти? Как? Как?

У изголовья своих детей Або, как наяву, увидел превратившуюся в каменного балбала свою Зару — любимую, несчастную, измученную *этим* адом женщину. В окаменевших глазах жены Або интуитивно прочитал мольбу: «Дай мне хоть одну каплю слез, пожалей меня! Дай хотя бы одну каплю слез!»

Або не мог уловить, к кому обращен этот крик души бедной Зары: к нему или — к самому Создателю...

А потом Або, после второй попытки и команды: «Спать четыре часа!» — уснул крепко, как только умел Або.

* * *

Зара — каменный балбал, сработанный тысячелетия тому назад неизвестными мастерами, — видела, как под утро в хибарку вошел муж; Зара видела, как он сел, скрестив ноги; видела, как Або, чуть нахмурив брови, уставился на мучающихся, отчаянно кричащих (своих!) детей; Зара видела, как потом он, Або, тоже превратился в каменного балбала. Этот каменный балбал сидел, сидел, потом спокойно, медленно встал и покинул свой временно-родной очаг.

От мужа веяло каким-то спокойствием. Это спокойствие пугало Зару... Она, кажется, все поняла. Теперь, кажется, он на *что-то* решился. Теперь, конечно, Заре тоже нужно *ре-ши-ть-ся*... На что? На что? *Этого* Зара пока не знала.

Через два часа *это* кончилось. Дети, почти одновременно, успокоились. Почти одновременно уснули. Уснули измученные и — о Создатель! — заметно состарившиеся... Зара долго смотрела на

своих детей, на свою Айну и на своего Боло, и вдруг соскочила с места, как ошпаренная: ее Айна, пятилетняя, и ее Боло, трехлетний, показались ей деревянными куклами, изображающими старика-рыбака и его старуху.

Началась череда диких и нелепых странностей. Зара, совершенно спокойная, вышла в хозяйский сад. Под яблонями валялись сочные красные яблоки, знаменитый алматинский апорт. Хозяйка домика появлялась в месяц только один раз, чтобы, как она сама выражалась, «забрать тридцать рублей», и яблоки ее не интересовали. Зара подняла с земли налитое, ярко-красное яблоко и, подобно изголодавшейся первоклашке, с жадностью и поспешностью съела яблоко *вместе с косточками*.

Затем вошла в темную узкую кладовку, подождала, пока глаза привыкнут к темноте, и, когда начала различать разный хозяйственный хлам, из тайника вытащила *нечто* обернутое в белую холщевую материю, неторопливо развернула материю — и оголился черный-черный топор с белой-белой рукояткой...

Затем Зара, совершенно мирное существо, указательным пальчиком правой руки «проверила» блестящее лезвие топора и, довольная состоянием стального «оружия», улыбнулась, успокоенная.

Затем вышла из сарайчика с оголенным топором, топором с белой-белой рукояткой, с черно-синим лезвием. Подошла к сухому арыку в конце участка, где стояла уборная, сбитая из разнокалиберных досок, постояла в раздумье... Затем вошла в уборную и впервые в жизни обратила внимание на то, что во всех уборных отверстия делают в форме человеческого *сердца*... Чему-то загадочно улыбнулась и снова вернулась в узкий, темный закуток, старательно завернула холодное — в данном случае — оружие, старательно спрятала *это холодное* на прежнее место.

Теперь, она почувствовала *это ясно*, надо будет ей самой, *самой действовать!* И все! Не отдаст она судьбу Айны и Боло никому, даже Або! И все! Зара терпеливо ждала... Ждала, пока Айна и Боло сами проснутся. Терпеливо дождалась наконец.

Зара знала, что южное ленивое солнце, добравшись до своего пика, там, в зените, устроит себе привольный отдых, оно там вдоволь насладится покоем, и только затем, вдоволь отдохнув, лениво начнет спускаться к горизонту. «У него, у солнца, там водопой», — заключила Зара.

У Зары были золотые наручные часы, подаренные Або к двадцатипятилетию, как тогда выразился муж, «моей опоры». Он вообще никогда не произносил громких слов, его признание в любви выразалось в мягкой, искренней улыбке, в легком прикосновении ладонью к гладкой спине «женушки!» Зара знала: их отношения простые, но зато искренние.

В четыре тридцать проснулась Айна. В четыре сорок — Боло. Дети у нее оба серьезные, сдержанные, вежливые. Айна, естественно, счастлива... Была, по крайней мере, была счастлива... До недавнего времени, пока, кажется... около трех месяцев тому назад, не начался... *этот ад*...

А начался *этот ад*, как, впрочем, все несчастья, внезапно, три месяца тому назад, когда они находились в гостях у родственников Або в Кегене, или, как Або любил шутя называть свой родной аул — в Кёгёси. Сперва это наваждение избрало, видимо не случайно, самого Або, и он сразу догадался, откуда эта болезнь, эта беда. К вечеру, вероятно, стараясь не выдавать себя, постонав-повздыхав, оседлал своего любимца коня Бай-Шубара и неожиданно уехал в горы. Вернулся он с гор на следующее утро, заметно исхудавший, с помутневшими, выцветшими глазами.

...Зара испуганно, испытующе посмотрела на детей, ведь они во время *той* напасти показались ей, Заре... о, ужас!.. состарившимися... А сейчас... а сейчас... вроде бы... ничего? Или Зара ошибается? У Боло вроде все в порядке... У Айны... следы мучений все же заметны... Она напоминает как бы состарившуюся девчонку или, вернее, омолодившуюся старушку... Нет, и еще раз нет! Все в порядке! Это ты, Зара, начинаешь сходить с ума!

Зара еще раз испуганно, испытующе посмотрела на детей. Все вроде нормально... Но у Боло личико, кажется, опухшее... Не зря народ говорит: у страха глаза велики! Довольно, одень детей и — марш в Кёгёси!

Последний автобус в Кёгёси, по расписанию, должен отправиться в шесть тридцать вечера, сейчас — четыре двадцать. Успеем, должны успеть!

Когда женщина с детьми добралась до автовокзала, у них еще было в запасе полчаса, но, несмотря на это, маршрутный автобус уже набирал скорость. Зара, взяв детей за ручки, побежала было вдогонку, но старый автобус, как пьяный мужик от милиционера, шатаясь, спотыкаясь, умчался без оглядки. Только мужчина, который, видимо, кого-то провожал, издевательски громко, нагло захохотал:

— Спать надо было меньше!

* * *

Або со второй попытки уснул крепко, как говорится, без задних ног. Проснулся он, как ни странно, в очень бодром состоянии духа. Ему показалось, что он, перед тем как проснуться, — пел! Пел без слов, повторял и повторял любимую мелодию «Гак-ку... Гак-ку... Гак-ку... га... га... га...»

Вспомнил, как в восьмом классе одноклассницы заманили его в кружок художественной самодеятельности. Або даже участвовал в одном концерте, пел «Гак-ку». Имел успех у девчонок... Но потом все забросил. «Джигиту это не к лицу...» — так сказал тогда его прадед, Кара-Аспан.

А сейчас... сейчас Або проснулся в добром духе, даже пел... в душе.

В этом игривом настроении ему захотелось «поближе» познакомиться с новым директором Камардином. Доселе неведомый кураж овладел Або, и он, тщательно умывшись, направился прямо в кабинет новоиспеченного властелина. Або раньше не раз слышал от всезнающей Марины, что еще один Саидов, младший брат Нурдина,

тоже работает заведующим хозяйственной частью государственных детских яслей номер один в другом микрорайоне города. Або слышал о Камардине как о ничтожном базарном пристебае. И вот он, этот тип, отныне — директор! Директор государственных детских яслей номер два. Надо же!

Камардин, видимо, не ждал никого, он полулежал в своем кресле, однако, лениво поднявшись, выпрямился и внутренне оскорбился: «Кто, мол, посмел столь нагло явиться в его кабинет без приглашения!»

Поведение Або стало агрессивным, и он сходу начал провоцировать Его Величество хозяина кабинета, кем, без сомнения, считал себя Камардин. Або сходу «взял быка за рога». Он грубо спросил:

— Эй, чинуша, где же твоя секретутка? Или тебе не полагается ее иметь? Или ты баскарма¹, который не достоин такой чести?

Его слова, а главное — интонация, вывели Камардина из душевного равновесия. Теперь в поступках Камардина напрасно было бы искать логику. Он поднялся из массивного якобы кожаного кресла, одной рукой механически схватился за пистолет, другой — за кинжал. Новый баскарма медленно подошел к Або и, едва не задыхаясь от злобы, спросил:

— Че, дорогой, тебе надоело жить, че ли?

— А тебе? — парировал Або.

— Дорогой! Я... вижу тебе ошшен, ошшен надоело житт... — прошипел Камардин и сделал резкое движение, как будто наносит удар.

На что Або ответил оскорбительным шлепком по лицу. Камардин инстинктивно ударил по-настоящему. Последовал более жесткий ответ.

Камардин, выхватив для острастки пистолет, попытался с размаху ударить Або массивной рукояткой по голове.

И здесь в Або проснулся артист.

¹ Баскарма — начальник, казахское слово, употребляемое в данном случае с издевательским оттенком: начальничек.

— Я все понял, Камардин! — надтреснутым голосом заговорил Або. — Твоя взяла! Не убивай меня! Прости меня, глупого и недостойного!

Камардин расслабился и уже занес ногу для пинка, но в самую последнюю долю секунды Або легким движением правой руки опрокинул соперника на пол. А сам, приняв вид потерявшего последний разум труса, принялся бегать из угла в угол просторного кабинета, потом рванулся оттуда — на первый этаж, далее — во двор. Директор государственных детских яслей номер два, запыхавшись, выбежал на крыльцо, где уже стояла любопытствующая толпа персонала. И тут Або, прекратив игру, во всеуслышание при всех воспитателях, уборщицах, нянечках и поварах спросил у новоиспеченного директора:

— Куда и кому ты, проходимец, продал тридцать детей, обманым путем отобранных у беднейших многодетных родителей? Кому и куда? Отвечай принародно!

Саидов, все еще с пистолетом в руках ошарашенно стоящий у порога, тупо и обалдело глазел на персонал и на Або.

Або же, воспользовавшись *немой сценой*, выбил из рук Саидова пистолет, при этом будто бы нечаянно ударив начальника в живот...

Раздался недобрый женский хохот. Разъяренный бугай, озверевший, опозоренный насмешкой, нацелившись, как бойцовский бык на тореадора, всей своей мощью, пулей помчался в сторону Або.

Або же в самый последний миг, точно рассчитав, спокойно передвинулся на один шаг, только на один шаг влево. Разъяренный бугай всей мощью своего веса, своим узким и низким лбом ударился в каменную стену! От такого удара всегда выигрывает только одна она, Каменная Глыба.

Последствия оказались более печальные, чем разыгранная Або постановка. Но похороны Камардина Саидова были пышными и даже торжественными, с оркестром, хотя он был мусульманином.

Або же, выйдя из массивных железных ворот государственных детских яслей номер два, про себя произнес: «Три плюс один».

Вокруг автовокзала кишмя кишел народ, и в ушах стоял тревожный шум.

Тем временем Зара чувствовала: вот-вот ее нервы сдадут и она может сорваться. В обычной жизни она была само спокойствие. «Что же происходит со мной?» — спрашивала она себя. Пребывая в задумчивости, Зара, видимо, нарушила бешеный ритм, царивший в человеческом муравейнике. Какой-то грузный кудрявый мужчина, злобно буркнув под нос, грубовато отодвинул Зару в сторонку. Но «в сторонке» тоже было тесно. Прыткая женщина своим локтем ударила Зару в бок. Тут только Зара спохватилась и ахнула: она выпустила детей из виду! Тут только Зара очнулась и, с невероятной силой толкая, отстраняя всех, кто оказался на ее пути, в буквальном смысле озверев, кинулась обратно, в сторону входной двери автовокзала.

На привокзальной площади было все же просторнее. Выйдя, Зара начала отчаянно кричать и звать детей:

— Айна! Боло! Айна! Боло!

Айна и Боло, к счастью, оказались совсем недалеко.

— Мама! Мама! — раздался на удивление спокойный голос Аины и приглушенный — Боло. Айна даже по-детски вежливо и мягко упрекнула: — Ну что ты, мама, раскричалась на всю Алма-Ату!

Это замечание дочери прозвучало так отрезвляюще, что мать успела взять себя в руки и не стала обнимать и целовать «найденных» детей, как все женщины на Земном Ша-а-а-рике!

Потом Зара, усадив детей на скамейку и попросив старушку-казашку ради Всевышнего присматривать за ними, сама снова начала бегать из зала в зал, из корпуса в корпус, из кассы в кассу, — но все тщетно. Очереди были «стометровые», у всех касс скученно топтались какие-то подозрительного вида джигиты, чем-то напоминающие гончих псов... Откуда было знать Заре, что эти «джигиты» с утра скупают все билеты и затем перепродают их втридорога.

Зара, почувствовав заметную усталость, решила немножко отдохнуть на скамейке, на которой оставила детей. Каково же было удивление Зары, когда она узнала, что тот огромный, тот кудрявый сидит на скамейке и мирно разговаривает с ее детьми! Какая-то необъяснимая злость охватила нутро Зары, так что она даже буркнула под нос:

— Что же вы, дети, разговариваете с кем попало?!

На что дети дружно ответили:

— Мама, мама, не серчай! Дядя добрый! Он нас и бабулю угостил мороженым!

Огромный да кудрявый при внимательном осмотре оказался вовсе не мужчиной, а молодым парнем лет восемнадцати-двадцати от силы, и, что еще больше удивило Зару, он при ее появлении, застеснявшись, привстал и, мало того, виновато улыбнулся:

— Извините, пожалуйста, я... я... просто... Жду старшего брата из Кегеня...

Слово Кегень так ошеломило Зару, что она икнула, едва не поперхнувшись.

— Вы... Вы... тоже из Кёгёси? — спросила она, широко распахнутыми удивленными глазами глядя на огромного кудрявого паренька, вернее, джигита. Этот недоуменный вопрос, видимо, смутил огромного да кудрявого, так что он тоже непонимающе уставился на Зару. Но, наверное, до джигита до первого дошло, что он смотрит посторонней женщине прямо в глаза, и он, покраснев, отвернулся.

«Это моя вина... — подумала Зара. — Я — казашка, а казашке нельзя смотреть прямо в глаза мужчине... »

Из этой в какое-то мгновение возникшей неловкости и Зару, и огромного, но стеснительного джигита вывел Боло, захныкавший:

— Мама, я хочу есть!..

* * *

Або знал, когда солнце вскарабкается до зенита, дряхлые автобусы 526-го маршрута заметно опустеют. Поэтому совершенно спо-

койно дошел до «своей» остановки. Совершенно спокойно дождался «своего» автобуса. Сел было. Но вскоре уступил место. Много было пенсионерок — комсомолок хрущевского призыва, миллионами брошенных в казахские степи. Жалкое зрелище: выставленные на улицу бывшие работницы Алма-Атинского хлопчатобумажного комбината! Обманутые, забытые и никому не нужные...

Або вышел на «своей» остановке, совершенно спокойно дошел до своего дома. Когда вошел внутрь съемной хибарки, слегка удивился: Зары и детей не было. Або спокойно решил: «Значит, Зара захватила их на работу». Пообедав, Або совершенно спокойно собирался лечь и поспать. Но тут вспомнилось ему, что как раз сегодня день «икс», то есть день выдачи месячной нормы хлопкового масла, вожделенных трехсот граммов хлопкового масла, талон на получение которого в конце каждого месяца *своей рукой* выдавала сама Анна Андреевна Петренко, директор государственных детских яслей номер два, покойная.

Або, как всегда, криво усмехнулся: «Надо, Або, надо! Ты ведь, Або, знаешь, что без хлопкового масла хозяйки не смогут приготовить пищу... Надо, Або! Давай, вставай!»

Або, как всегда, криво усмехнувшись, нашел вожделенный талончик на целых триста граммов в месяц — какая щедрая у нас Власть Советов! На все тридцать дней целых триста граммов хлопкового масла!

Афганец, как всегда, спокойно пройдя километра три, дошел до государственного продуктового магазина номер 526. Надо же — на улице 526 продуктовый магазин номер 526!

Видавший виды Афганец ничуть не удивился длиннющей очереди, «хвост» которой тянулся по улице метров на сто! «Это дело привычное, — успокоил себя закаленный в настоящем аду воин. — Это ерунда!»

Бедой оказалась не длинная очередь и не то, что предстояло стоять на беспощадном солнцепеке еще несколько часов, — бедой

оказалось отношение к людям продавщицы, жирной коровы с маленькой головкой-пуговкой.

Ему, прошедшему по «нелогичным дорогам настоящего, кровоточащего ада», простоять какие-то там три-четыре часа — сущая ерунда!

Но когда, отстояв эти часы, выдавший виды боец последним (за ним уже никого не было!) подошел к толстенной продавщице, толстенная продавщица с маленькой детской головкой-пуговкой, как-то неестественно-пренебрежительно посмотрев на Або, вдруг ни с того ни с сего заявила:

— Все! Гражданин хороший, масла нет! Кончилось!

Або же ясно видел, что целый алюминиевый бак еще был полон.

Этот цирковой номер коровы с маленькой головкой для Або показался бездарной шуткой. Он еще не успел возмутиться. Он еще был в нормальном состоянии духа, в игривом даже настроении. Он даже пошутил:

— Последнему достается — все!

Но когда толстенная продавщица с маленькой головкой-пуговкой очень злобно и очень нахально заявила:

— Отойди! Не мешай! Нет для тебя никакого мосла! — Або еще не успел «выйти из себя», он еще мог улыбнуться и парировать:

— У меня на руках такой же талон, как у всех...

Но когда головка-пуговка озверело крикнула:

— Сгинь, чертово отродье! — Або, терпеливый Або, сам не заметил, как барсом перепрыгнул через ограждение, поднял алюминиевый бак, и все хлопковое масло неторопливо так... так аккуратно вылил на голову-пуговку продавщицы.

* * *

Появившийся совершенно случайно огромный да кудрявый джигит, у которого, как заметила Зара, очень искренняя улыбка, посланный самим Создателем джигит, извинившись, что он сам не

догадался, повел детей и ее, Зару, в ближайшую дешевую закусную. Там было тесно, душно и мухи... мухи, которые приспособились ко всяким там отравляющим веществам и превратились, по сути, в бессмертных. Заре было крайне неловко, когда она поняла, что в спешке не захватила денег в дорогу из заветной шкатулки... Хотя денег-то у них, как говорится, кот наплакал... И сейчас совсем незнакомый, посторонний человек раскошеливается... Но это самобичевание длилось недолго. Недолго... Потому что... Зара вспомнила, *на что* решился Або, очень-очень любящий, родной отец. *На что!* Этого... *этого* Зара не допустит. Нет! Нет! Нет! Еще раз нет! «Их, детей моих... наших... можно вылечить! Их исцелит прадед, Кара-Аспан. Не зря же люди называют его, их прадеда, *Святым* Отшельником! Не зря!»

Как все женщины, Зара тут же начала во всем винить себя: «Неразумная я, неразумная! Но я — мать. Я за Айну и Боло пойду на все! На все!»

— Тате, — сказал Огромный да кудрявый джигит, — меня зовут Кайсар. А ваше имя — Зара. Вы правнучка Святого Отшельника.

У Зары слегка закружилась голова:

— Откуда вы знаете меня?!

— Не только вас... Но и Або-ага...

— Або-ага? — Переспросила Зара. — Каким образом?!

Видимо, на ее лице отразился испуг, потому что назвавший себя Кайсаром заметно смутился и робким голосом заключил:

— Во-первых, я тоже, как и вы, из рода Албан, колена Кзыл-Борук, а ваш легендарный муж тоже из рода Албан, только из колена Конур-Борук. Я по родству — ближе к вам. Родственники мы с вами, тате! Родственники!

Зару особенно поразило то, что этот новоявленный родственник назвал Або «легендарным»! Она даже переспросила:

— Вы сказали... «легендарный»?

Новоявленный родственник искренне и гордо, даже, можно сказать, торжественно произнес:

— А как же иначе?! Он же дважды Герой Афгана! Об этом знают все! Но не все знают, к большому сожалению, что он несправедливо разжалован...

У Зары голова пошла крутом, она вскочила, резким движением схватила детей за руки и, даже не попрощавшись с Кайратом, кинулась прочь!

— Куда же вы? — крикнул Кайрат. Но ответа не было.

Зара снова начала приставать к людям на автовокзале, едва ли не хватая встречающих за грудки:

— Вы не в Кегень? Отвезите нас, пожалуйста, в Кегень. Мой отец даст вам курдючного барана! Большого курдючного барана... Вы знаете, как нынче ценится курдючный баран на базаре?!

Многие от нее испуганно шарахались, некоторые злобно буркали под нос какую-то ругань... Но Зара была настойчива, так настойчива, что один усатый мужчина лет сорока сначала отругал ее, обозвав «цыганкой», потом смягчился и, снисходительно улыбаясь, спросил:

— Куда говоришь? В Кегень?

— Да, да, в Кёгёси! В Кёгёси! — ответила Зара, механически подражая своему мужу, который казахское название «Кегень» произносил всегда на «японский манер». В какую-то долю секунды в сознании Зары мелькнули слова мужа: «Кёгёси — название маленького японского селения, сгоревшего вместе с Нагасаки при атомной бомбардировке». Правда, Зара не знала ни значения слова «бомбардировка», ни значения слова «Нагасаки». Но мозг Зары навсегда сохранил эти звучные названия.

Усатый мужчина лет сорока, выдержав паузу, еще раз повторил свой вопрос:

— Значит, Кегень, говоришь?

— Да, да, да! — пулеметно затараторила обрадованная Зара.

— Кегень д-а-а-алеко-о-о! Аж двести километров. Соображаешь? — приняв строгий вид, усатый мужчина лет сорока уставил-

ся на молодую фигуристую женщину и продолжил свою песню. — Ошшень, ошшень далеко! Ну а как, как ты намерена отплатить мне за *это*?

Чистая и наивная, обрадованная неожиданным согласием усатого мужчины, Зара выпалила без раздумий:

— Оплачу, как вы пожелаете!

И все.

Усатый мужчина лет сорока, таинственно улыбнувшись,скомандовал:

— Садитесь! — и, когда они отъехали на его драндулете километров семь-восемь от города, резко остановил свою колымагу и повелительно заявил:

— Ну, все, приехали! Бензин кончился!

У Зары от такого «сюрприза» чуть не остановилось бедное сердце. Она, как рыба, выброшенная злым тайфуном на сушу, широко открывала и пыталась закрыть свой рот. Губы дрожали, как у человека, смертельно заболевшего малярией. И в этот момент раздался молящий голосок Боло:

— Мама... Мама, я хочу писать!

И... как будто во сне... отрывочно запомнила она какой-то высокий-превысокий кустарник... какое-то распаханное поле... Там, где кончалось распаханное поле, белели стены типично казахских стандартных домов с красными черепичными крышами...

И... по распаханному полю куда-то бежали ее дети. Притом Айна тянула Боло за руки... И в этот миг Зара почувствовала, что усатый, крепко ухватив ее железными руками, начал заваливать ее в кусты.

И... Злость, великая злость охватила все существо Зары...

И... Она, собрав силы, вырвалась из вонючих объятий зверя.

И... Спотыкаясь и падая, побежала в ту сторону, куда убежали дети.

Но... Обессиленную, задыхающуюся Зару разъяренный усатый подлец настиг в три скачка и подсек ногой...

Этот дикий случай с хлопковым маслом принес Або непонятное успокоение. Вернувшись домой, то есть в свою дряхлую хижину, Або даже не удивился теперь уже долгому отсутствию жены и детей. Он спокойно лег на узорчатую кошму и мгновенно уснул. При этом твердо помнил, что проснется ровно в пять.

Он проснулся ровно в пять. И тут же понял, что его спокойствие было ложным. Напротив, им овладела тревога, жуткая, непонятная тревога. «Откуда она взялась, эта тревога?»

Або почему-то знал наперед, что Айна и Боло вернутся, когда наступит глубокая ночь. «А почему только Айна и Боло? А Зара? А почему Зара должна вернуться позже детей? Почему?»

Самое странное, что Або не стал искать ответа на эти, как он сам успел понять, пустые вопросы. Або сел, подобрав длинные ноги под себя, такая поза по-казахски называется «молдас». Сев по-казахски «молдас», Або мог на несколько часов превратиться в каменного истукана или, как ему представлялось — в гладкого, лоснящегося питона.

В таких случаях Або закрывал глаза и отключался «от мира сего». Но сегодня перед «отключением» в мозгу промелькнуло: «Айна и Боло придут под утро!» И еще подумал: «Так не надо будет терпеть эту нечеловеческую боль, *это* дьявольское испытание. Ты избавишь от *этого* Айну и Боло... Потом... Воля твоя, Великий Избавитель Або!»

Когда наконец он, Або, победил себя, уже... как ни странно, вечерело. «Значит, *это* длилось целых пять часов. Молодец, Або! Выдержал! Выдержал пытки сорока сороков лютых, озверевших палачей, получающих от истязаний небывалое наслаждение...»

Або почувствовал, что во рту у него скопился целый ком нечисти. И самое страшное было в том, что эти разнокалиберные песчинки-камешки отдавали кровью... Человеческой кровью! В тот же миг Або почувствовал рвоту, и его вырвало... Вырвало беленькими камешками... И только тут Або понял, что *это* крошки его же собственных

зубов. Мелкие, мельчайшие осколки его же собственных зубов, которым завидовали все «орлы» знаменитого на весь Афган ССКС-17. «Значит, в *этих* мучениях я изгрыз собственные зубы!»

В этот же миг еще более мощная молния пронзила сознание: «Если я едва вытерпел адские муки, то как же смогли преодолеть эти *чудовищные боли* Айна и Боло?»

Або ясно почувствовал, как Некто вонзил в его мозг раскаленную иглу. «Кто это? Кому это нужно проникнуть в глубокие слои моих мозгов? Что может искать Некто в сером месиве? Это что? Чудо или — беда?»

«Конечно, беда! — в издевательском тоне ответил Або самому себе. — Это значит, что Чудовище вонзилось в сокровищницу твоего человеческого бытия, в твой мозг, несчастный Або!»

Або был уверен, что *эти* размышления заняли у него всего-навсего несколько минут. Но он был поражен, когда осознал, что... стоит на своем безлюдном Горбатом Бугре на северо-западе Алма-Аты. «Когда же я сюда забрел? Как оказался здесь? Ответь мне, дорогой Або!»

Дорогой Або никак не мог ответить *тому* категорично настроенному Або, ибо *этот* Або только что вспомнил о своих детях!

«Я могу позволить себе побыть здесь, на моем минбере¹ до полуночи, ибо Айна и Боло вернутся домой только под утро...»

«Только под утро и вернется домой дорогой Або!» — продолжал издеваться он над самим собою. Это саркастическое отношение к своей «персоне» было своего рода щитом от трагических намерений, на которые твердо решился он, Або.

Он в самых затаенных глубинах своей души смутно догадывался, на какой страшный, нечеловеческий шаг толкает его *эта* ложная реальность, которую все средства массовой, продажной информации преподносят как священную необходимость. Даже как патриотический долг.

¹ Минбер — трибуна. Имеется в виду возвышенность, похожая на верблюжий горб.

Бедный мой Або!

Бедный мой Або, разумеется, не догадывался даже, для чего он притащился в такую глушь, в такое *безвременье* и почему он стоит именно на своем Верблюжьем Горбу. Не догадывался.

Не догадывался. Но в самых затаенных уголках его сознания, как в бесконечном пространстве головокружительного космоса, то исчезая, то снова появляясь, дразнила, манила одна звездочка, одна надежда, точнее, не надежда, а маленькая надеждочка... Эта слабо подмигивающая звездочка будто бы намекала: «Твои дети, Айна и Боло, еще выздоровеют! Не теряй, не теряй веру в Создателя. Не теряй!»

Но афганская практика Або вынуждала его смотреть истине в глаза. В грязные, мутные, пьяные глаза действительности. Глаза проходимца! Глаза торговца. Глаза вора! Глаза политика. А уж политика всегда вызывала жестокое отвращение у легендарного воина.

А звездочку, которая подмигивала и исчезала, Або снова поймал в созвездии Ак боз ат. Эту систему звезд казахи иногда называют Семь Разбойников. Народная легенда гласит: эти семеро украли единственную дочь бедняка и до сих пор прячут ее от глаз людских, чтобы посторонний жадный взгляд не нанес порчу ее светлому облику.

Або еще с детских лет знал, где искать эту небесную красавицу: «Сперва надо “поймать” этих семерых разбойников. Это легче легкого: вон они! Согнув длинную шею над Гренландией, красавец скакун собрался на водопой. А четыре копыта скакуна — вот они! Яркие, блестящие. Словно переливаются... А над средней звездой “согнутой шеи”, если пристально, долго-долго, прищурив глаза, смотреть — поймаешь ее, таинственную красавицу!»

Подмигивающая, таинственная, эта звездочка с характером, дурачит тех, кто домогается ее. И Або тоже не исключение, конечно! У нее, разумеется, свой суженый. Она только его и ждет. Она откроет свое личико только ему! Або своим особым чутьем знал, что он, помимо воли своей, сейчас, в данный момент... улыбается.

Таким образом, находясь в глубоком трансе, Або, естественно, старался забыть. Забыть этот проклятый мир, забыть эту проклятую действительность. Чем ближе подступал судный час, тем безумнее становились его бешеные метания. Так буйствует верблюд-самец ранней весной, в период своего естественного гона.

Находясь в глубоком трансе, Або, естественно, искал повод, чтобы не думать о развязке предстоящей катастрофы. Не думать! Нет! Нет! Нет! Может быть, поэтому он в тысячный раз в жизни всецело предался размышлениям о Величайшем Создателе Вечности и Бесконечности.

А Вечность и Бесконечность предстали перед его взором сначала в виде Млечного Пути, скопления мириада солнц и звезд, вертящихся и кувыркающихся в Космосе.

Або, мой мечтатель Або, достаточно помыкался, переходя из одного звездного скопления в другое.

Потом его сердце, всего с кулачок, сердце Або, дрогнуло и на секунду замерло, ибо Або с ужасом заметил, что на его Млечный Путь пристально и жадно уставился двуглазый Гончий Пес.

Гончий Пес тоже, как и Млечный Путь, давний знакомый афганца Або.

Мечтатель Або знает, что у Гончего Пса два глаза, один из них, левый, выпучен, а правый прищурен. Левый, черный, всегда задумчив, а правый, прищуренный, с хитринкой — все время подмигивает. Вечная игра самой Вечности.

Мечтатель Або еще в Афгане, копаясь в армейском читальном зале, то ли случайно, то ли закономерно, — скорее всего, так было суждено, — наткнулся на газетную статью японца Мокото Миеси, который утверждал, что черный глаз Гончего Пса — это горло ненасытной Черной Дыры. Черная Дыра все ждет и ждет, когда же приблизится Млечный Путь, чтобы проглотить всю эту Лебединую Стаю, как казахи называют Млечный Путь. Лебединая Стая — это путь белых лебедей, возвращающихся с юго-востока на северо-запад раннею весной, чтобы быть проглоченными ненасытной Черной Дырой. Так и люди. Так и народы.

Что-то мешало ей дышать. Она хотела отчаянно крикнуть, но из горла вырвался животный хрип. «Что со мною? Помню, кто-то меня душил. Кто? Веревка... Веревка... Да, была веревка. Это точно...» Зара машинально ощупала правой рукой шею. «Тот, усатый, озверев, душил меня...» Тоненькая, но крепкая веревка оставалась еще на шее. «Подлец, — кричала она, пытаюсь вырваться, — я убью тебя! Найду и убью!» Чем больше она произносила слово «убью», тем туже веревка сжимала нежную шею Зары.

Так, отрывочно, по частям восстанавливая детали преступления, совершенного этой мразью, усатым мужчиной лет сорока, Зара смогла прийти в себя. Преодолевая слабость и страшную боль, сопровождающую каждое ее движение, она кое-как смогла сесть на распаханную землю. Ее женское, ее человеческое существо было сломлено, раздавлено, убито. Она... она, гордая Зара, не смогла защитить свою честь. «Лучше бы я умерла... Оплеванная, поруганная, как теперь посмотрю я в глаза Або?! Броситься под трамвай, под автобус... Другого выбора у меня нет! Нет!»

Но тут же она, вспомнив о своих детях, шепотом произнесла их имена. Автоматически, бессознательно попыталась подняться и, сраженная острой, молниеносной болью, упала на распаханную землю. И — зарыдала. В первый раз в жизни. В первый раз в жизни! Из-за ее твердого характера подружки, когда ее не было рядом, за глаза называли Зару «кара тас». Кремень.

Зара-кремень, безутешно наплакавшись, гигантским усилием воли смогла подняться на ноги.

Поднявшись на ноги, пошатываясь из стороны в сторону, Зара все же смогла сделать несколько неровных шагов, удививших ее то вперед, то назад, то совсем в сторону. В сознании ее мелькнула виноватая мыслишка: «Что подумают люди, увидев меня в таком состоянии? Они примут меня за отпетую алкашку! Какой позор!»

Через два часа окончательно уставшее июльское солнце наконец юркнуло в объятия снежных вершин Ала-Тау...

Василь и Мария Шмытко были известны в пригородном селении Подгорное как Василь да Мария, семья порядочных, честных и достойных всеобщего уважения *трудоголиков*, к сожалению, бездетных. И вот к этому бездетному очагу, конечно же, по велению святой Богородицы, нежданно-негаданно, словно с небес, спустились двое ангелочков, таких симпатичных, таких милых...

Василь да Мария для начала сытно и щедро накормили найденышей и только потом расспросили: кто они и откуда, почему без родителей оказались на окраине села? Дети, насколько могли, ответили на вопросы: кто их отец и мать, как их зовут, где они живут, почему они, Айна и Боло, убежавшие от кого-то или от чего-то, усталые, запыхавшиеся, оказались у ворот их дома... Почему они постучались именно к ним?

Получив вразумительные ответы от Айны, чисто говорящей на русском языке, муж и жена удовлетворенно заулыбались и продолжили с усиленным энтузиазмом потчевать «ангелочков» блюдами своего богатого меню.

После сытного застолья Айна и Боло, которые, к их чести, ни словом не перемолвились на непонятном для хозяев языке, вежливо сказав свое «спасибо», пересели на широкий диван и тут же, как будто заранее договорились, мгновенно уснули.

Василь да Мария с необъяснимой радостью одновременно, как будто тоже заранее договорились, удовлетворенно улыбнулись и так же согласованно перенесли спящего без задних ног мальчика на широкую мужскую кровать, а девочку оставили на прежнем месте и накрыли их хрустящими от чистоты, пахнущими свежестью белыми-белыми простынями.

Потом, одновременно посерьезнев, как по команде сверху, подошли к лику Спасителя и оба неторопливо, преданно перекрестились.

Потом Василь да Мария оба, чувствуя нахлынувшую нежданно радость, не смогли уснуть и поэтому предались давным-давно забытым воспоминаниям о родном хуторе Веселое под Ужгородом.

Потом, так и «не уснувши», как говаривал Василь, встали, оделись, почаявничали. Потом Василь, «покопавшись» под «Москичом» еще сталинского выпуска, завел-таки свое «собственное средство передвижения», и ровно в девять тридцать утра (Василь, как всегда, за рулем, Мария, как всегда, рядышком, а детишки, «ниспосланные самим богом», — на заднем сидении) двинулись в сторону города Алма-Аты.

Село Подгорное формально еще продолжало называться пригородом, а на самом деле оно только каких-то трехсот метров не дотягивало до столицы.

Василь да Мария, все еще радостно улыбающиеся, переговариваясь между собою о чем-то давно известном, не заметили, как их «средство передвижения» уже двигалось по городским улицам-проспектам.

В таком хорошем настроении, напевая украинскую песню, как говорится, под нос, помолодевший за неполные сутки, ужгородец подкатил свое «средство передвижения» к платной стоянке перед центральным универмагом. Тут он, загадочно улыбаясь, что-то шепнул на ухо своей благоверной и в таком же хорошем настроении направился к центральному входу.

Вернулся он минут через пятнадцать, счастливый, сияющий, в обнимку с большим плюшевым медведем и пучеглазой куклой Варварой.

Большой плюшевый медведь достался Боло, пучеглазая Варвара — Айне.

Лица детей просияли.

На седьмом небе оказался и взрослый «парубок» Василь. Наблюдая за своим благоверным в последние сутки, Маруся почувствовала себя словно девчушка, нечаянно положившая в свой ротик ложку сахара и ложку перца одновременно...

Потом сияющий Василь, водитель «собственного средства передвижения», изрядно поблуждав по узким, бессмысленно изгибающимся кривым улочкам Первой Алма-Аты, еле-еле нашел нужную улицу-кривляку, а на этой «кривляке» «дом» номер 526.

Можно было бы в красках описать, как изумленные Василь да Мария вошли в хибарку, как высокий, стройный казах встретил своих детей, как сдержанно и вместе с тем сердечно поблагодарил своих благодетелей. Удивительно, как Або, невозмутимый Або, суетливо искал бумажку и карандаш, с какой почтительностью к Василию да Марии записывал адрес дома благородных Шмытко, обещая обязательно приехать в гости; как Або, смущаясь убогости своего жилища, с извинениями за причиненные хлопоты и благодарностями проводил благодетелей до машины.

Можно было бы... Но обойдемся без этого!..

* * *

Або был уверен, что дети вернутся сами. Каким образом малыши могли сами найти дорогу домой среди непроглядной ночи? — на этот вопрос в раздумьях Або не нашлось ни времени, ни места. Да и сейчас его в большей степени занимало нежданное появление украинской супружеской четы.

Або, как казах, был серьезно огорчен. Он, казах, не смог пригласить нежданно появившихся посетителей, пусть даже они не приглашенные, он, как казах, должен был пригласить их пройти на *торь*, усадить их на самое почетное место — *торь*, а у него, у этого казаха, даже святого *торя* нет. Нет! Не только святого *тора*, а негде было вообще посадить этих благородных незнакомцев, которые живыми и невредимыми вернули ему потерянных детей! Привезли на своем транспорте! А у него, у Або, не нашлось хотя бы двух дряхлых стульев, чтобы предложить гостям хотя бы присесть! *Да это... смертельный позор для хозяина, пусть даже беднейшей хибарки! (Я, автор, знаю одного моего сородича, который, попав в подобную унижительную ситуацию, повесился... Бывает. Есть у моего народа пословица: «Честь превыше смерти!»)*

Або, как казах, чувствовал себя униженным и оскорбленным. Но это не важно. Важно то, на что Або решился. А он все-таки решился.

«А на что же я решился? — вдруг обратился он к самому себе. — Конкретно. На что?»

Або, как человек, вздрогнул, сообразив, что он, Або, видимо, на неопределенное время превратился в каменного балбала. «Надо очнуться!»

И он очнулся: детей, оказалось, в хибарке — нет... Он спокойно вышел наружу. Да, дети в куцем приусадебном саду между шестью яблонями затеяли игру. «Надо же!»

Вид играющих детей вызвал у Або теплое отцовское чувство, и он, таинственно (знал Або!) улыбаясь, попросил детей поближе подойти к нему. Когда Айна и Боло подбежали, отец неожиданно для себя, а может быть, и для детей, торжественно объявил:

— Поехали гулять!

И они нагулялись вдоволь. Сначала Або повел детей в зоопарк. Айна и Боло долго, даже, можно сказать, слишком долго, околачивались возле клетки, где лениво похаживали слониха-мамаша, слон-отец и самое главное — слоненок. Он был такой смешной, такой веселый, может быть, благодаря особому вниманию сердобольных посетителей. Такой вывод сделал Або.

Кто-то из посетителей подсказал: слоненок, оказывается, сладко-ежка и очень любит мороженое.

Або щедро снабдил детей «средствами растративания». Айна сбегала и купила пять мороженных, а Боло отметил по части угощения слоновьей семьи.

Затем Або с детьми, неторопливо, вальяжно шагая, направились в сторону «обезьяньего царства». Как гласила табличка — за решеткой находилось тридцать восемь видов приматов. Або усмехнулся: мол, а по эту сторону обезьянничают миллионы строителей коммунизма.

Огромный самец гориллы важно, подчеркивая свое явное превосходство над остальными двуногими, уставился на Або с неммым вопросом: «Где же твой подарок, родственничек? Где-е-е?»

Або передернуло: на него нагло воззрился его великий учитель, генерал-лейтенант особого вида особого назначения войск... испытатель самого свирепого ССКС-17, Его Превосходительство Иваси.

Облик и поведение жожака смутило Або на долю секунды, он даже вскипел было, но, заметив восторженные взгляды своих детей, быстро остыл и, понимающе улыбнувшись, вытащил из правого кармана джинсов деньги и скомандовал Айне и Боло:

— На целый рубль купите бананов! — и добавил. — Сдачу пересчитайте на месте!

Так Або, в первый раз в жизни почувствовав себя щедрым отцом и небывало гордясь этим новым, неожиданно открывшимся качеством своей души, скомандовал:

— Гуляйте, дети мои, гуляйте! Жизнь — она прекрасна! Можно было бы жить да жить! Можно было бы...

Он поперхнулся, все еще глядя расширенными и без того большими и глубокими глазами на Айну, потом на Боло... И резко осекся.

Або, мой Або, почувствовал легкое головокружение. Это тоже, между прочим, впервые в достойной эпопеи жизни моего героя.

Так Або, без сомнения, прожил несколько счастливых часов, часов, равных нескольким месяцам существования типичного мещанина. *Это* ему нужно было, чтобы потом, когда настанет Судный Час, не позволить своему сердцу смягчиться. «Не лишай меня твердости, о Создатель!»

Но все же при выходе из зоопарка, сам не осознавая как и почему, Або сменил свой поведенческий код. Або заметил, что в стороне стоят двое молодых казахов лет тридцати, от силы тридцати пяти, одетых, в такую жару и духоту, в черные одинаковые шерстяные костюмы, застегнутые на все пуговицы, в аккурат как младшие офицеры на приеме у генерала.

Або принял образ клоуна-хохмача. Улыбаясь и кривляясь, он подошел к этим двоим и дурашливо предложил:

— Ребята, я вижу, что вы здесь стоите не зря! Я вижу, вы *оттуда!* — он глазами показал на небеса, что можно было бы истолковать

как высокие начальственные, карающие конторы. — Я вас ошшен и ошшен прошу, заберите вон тех двоих, девочку и мальчика, заберите!

Эти двое тупо молчали.

А Або продолжал паясничать, уговаривая тайных служак:

— Заберите и увезите! А то будет плохо, ошшен плохо. А то не избежать беды, даже катастрофы!

Один из двоих решился открыть рот и, не теряя чувства превосходства, сквозь зубы процедил:

— Что значит «заберите»? Что это значит?

Або продолжал паясничать:

— Их собирается убить один тип...

— Кто собирается убить? — уже вмешался второй в черном шерстяном костюме при сорокаградусной жаре.

— Их хочет убить родной отец...

Теперь двое в черном уже в унисон спросили:

— Кто?

— Кто?

— Родной отец! — прозвучал ответ. Правдивый ответ.

Двое в черном недоуменно спросили:

— Кто же этот зверь?

Або же, видимо, бессознательно ждал, ждал этого вопроса, он твердым, уверенным голосом ответил:

— Я! Я — их отец!

Двое в черном, одновременно бросив окурки на асфальт, одновременно со звериным ожесточением, методично пригвоздили окурки к асфальту и, не оглядываясь, привычным строевым шагом удалились вглубь зоопарка.

Або в свою очередь ласковым голосом подозвал Айну и Боло, которые играли неподалеку, и они зашагали по узкой тропинке в сторону Парка культуры и отдыха имени... как все парки огромного Советского Союза... имени Максима Горького.

В парке имени Максима Горького Або дал в руки Айне целых три рубля и, поочередно обняв детей, нарочито веселым голосом командовал:

— А-а-а ну-у-у, марш! Играйте! Купите все, что пожелаете, — конфет, мороженого, газировки... И играйте, играйте, играйте! Я буду здесь! На этой скамейке! Буду ждать вас! Хоть сто лет! Понятно?

— Ур-р-ра-а-а! — одновременно воскликнули дети, его дети, и, счастливые, побежали в сторону, где продавались лакомства.

Ленивое азиатское, заспанное солнце не собиралось двигаться с места, Або сравнил светило с заезженным осликом легендарного балагура и дармоеда Алдара-косе, безбородого хитреца.

Это ленивое азиатское солнце, играя с тоненьким, еле заметным маревом в прятки, начинает прыгать да скакать вокруг Або.

Або чувствовал, что в его мозгах творится некий фантазмагорический хаос, ералаш, одним словом. А то вдруг зазвучит какой-нибудь отрывок из знакомых ему, Або, мелодий, то тут же резко заглохнет, как будто некая нервная дама одним рывком отключила звук.

Включит, отключит; включит, отключит. «Сама судьба играет со мной. Потому что за мной — море крови... И мирных... И — шурави...» Ему, как на экране, реально «нарисовался» портрет шурави Иваси. Он, Иваси, криво и нагло улыбаясь, словно спрашивал:

— Ну что, смирился, Афган? Как тебя афганские туркмены называли? Аргамаком¹?

И... исчез, вернее, стерся.

Только тогда Або заметил, что солнце-то успело спрятаться за гривастой, согнутой в сторону востока «шеей» неутомимого аргамака Талгар². На экране памяти... медленно-медленно проплыли: Иваси... 366 способов уничтожения себе подобных... Мулла Мурат... Весь туркменский род Кек Айлы... первая экспериментальная жертва ССКС-17... Красавица Сайра... Как она, бедняжка, мучилась... Как она несколько раз умоляла убить... убить ее. Она... Гордая красавица... Она меня называла братом, я ее — сестрой. Бедная Сайра... Если учесть,

¹ Сказочный скакун, который за какие-то мгновения преодолевает сотни киломеров пути.

² Пик-пятитысячник Тянь-Шаньской гряды.

что для мусульманина, тем более для мусульманки... это неслыханный грех... самоубийство... Какова же была мера ее мучений?!»

Тут Або очнулся и заметил: на скамейку, на которой он сидел, не смело, бочком присела старушка, одетая чисто и изящно. «Из благородных... Она, наверное, врач. Врачи, обычно, не уходят на отдых... «Может, у нее спросить... о видах лучевой болезни? Как ты думаешь, Або?» — мысленно обратился Або к самому себе. «Да, никак! — ответил тот, Сильный Або, этому, Слабому Або. — Ответ может быть только от Создателя! Ответ же Создателя — вся тысячелетняя история Человечества!»

* * *

Этот, Слабый Або, бессознательно боялся того неумолимо приближающегося момента X, на который твердо решился тот, Сильный Або. Этот, Слабый Або, трусливо избегал даже мысли о возмездии, на которое решился тот, одинокий, отчаянный волк Великой Страны, страны, которая почему-то возомнила, что ей позволено решать судьбы всего человечества... Этот, Слабый Або, тянул, все тянул время исполнения приговора, вынесенного тем, жестоким, но особым мучеником великого Иваси.

Слабый же ученик Великого Иваси все медлил да медлил... Но когда со счастливыми детьми своими вернулся он к себе домой, то даже Слабый все же задумался. Сильный же Або хорошенько так отругал слабенького Або и крепко задумался, превратившись по обыкновению в каменного балбала. Так крепко задумался, что не заметил, как Айна и Боло уснули прямо на полу. Слабый сперва поднял с пола дочь Айну, обнял, прижал к груди, потом двумя железными пальцами-щупальцами мастерски прижал две артерии, потом, еще раз прижав доченьку к груди, осторожно положил ее на толстую кошму, потом тот же обряд совершил с избалованным сыночком Боло. Потом великий воин Страны Советов тут же снова превратился в каменного истукана, балбала. А каменный балбал воспринимается казахами как символ Мудрости и решительности.

Сильный Або «проснулся» только через два часа. Уже была глубокая ночь. Сильный Або твердо знал, что Слабый ниспровергнут окончательно. Сильный Або вышел из своей хибарки, тщательно совершил ритуал омовения. Яблони в саду казались темными безмолвными великанами. Значит, сегодня луна покажется только за полночь.

На безлунье все звезды ярко и вольготно сияли... Крупные такие. Ясные такие. Ночная прохлада по-своему помогала Сильному Або. «Ты, Або, не имеешь права отдать Айну и Боло на съедение шакалу-времени. Шакал-заман¹ должен быть ниспровергнут. Не дай шакалу торжествовать, Або! Не оставляй крохотных детишек на издевательское растерзание шакала-замана! Ты спас! Спас ангелочков. Это твой самый чистый подвиг!»

Сильный Або, наклонив голову поочередно на все четыре стороны света, поклонился сказочно ярким и ясным звездам. Все звезды, показалось, одобрительно замигали, даже просияли в улыбке... Потом, все еще чувствуя яростную решимость, Сильный Або вошел в хибарку. Сперва взял на руки Айну, прижал ее к сердцу, поцеловал три раза в лоб, потом бережно положил дочурку на кошму. Потом Сильный Або повторил всю эту церемонию с Боло. Потом, скрестив ноги, поклонился детям, каждому по три раза. Своим детям! Но уже в душе отстраненным от его сути голосом произнес: Бис-с-мия-ир-рахмани-ир-рахим, намеревался приступить к исполнению Великого Долга... Но тут!..

Но тут Айна, находясь еще в глубоком сне, начала метаться, стонать, кричать, потом, уже в третий раз за месяц...

— Папа! Папа! Помоги! Спаси от *этого*! Папа! Папа! Не могу... Не могу терпеть! Спаси, папа!..

Теперь, уже Слабый, растерянный, отец обнял дочурку, сам встал во весь рост и, обезумев, начал баюкать пятилетнюю дочь, причитая: «Баюшки-баю, баюшки-баю...»

¹ Времена, в которых живут те или иные поколения людей.

Но тут же проснулся Бало с отчаянным криком, почти как телок, который, предчувствуя, что его ведут на убой (такую жуть видел сам Або, когда его, десятилетнего мальчика, по недомыслию взял с собой на сдачу телят на знаменитый семипалатинский мясокомбинат его родной в общем-то неглупый отец).

Теперь, уже Слабый, жалкий отец двух неизлечимых жертв ССКС-17, сам отчаянно рыдая, словно стараясь перекрыть двоих своих измученных, любимых детей Айну и Боло, заикаясь, произнес:

— Избавлю, избавлю... Клянусь! Найду силы, найду! Избавлю!

Дальше время начало исчисляться секундами, а то и долями секунд. Або, доведенный до отчаяния Або, успел подумать: «Как хорошо, что сейчас Зары нет дома!»

А дальше время начало исчисляться долями секунд: в мозгах Або промелькнули цифры 365. Под этими цифрами подразумевались 365 + 1 способ умерщвления человека человеком.

В лихорадке Або, теперь уже Сильный Або, двумя пальцами, двумя стальными клещами... легким нажатием... не оставляя никаких следов... без боли, без мучений... и, самое главное, неощутимо для самих жертв, *отнял* ангельские души любимых... любимых своих детей Айны и Боло.

И с этого мгновения время замедлилось, каждая секунда, каждая доля секунды превратилась в минуты, в часы...

Або, как в замедленных кинокадрах, поднялся во весь рост, нагнув голову, чтобы не разрушить низкий потолок хибарки, вышел и, выпрямившись, постояв в кромешной темноте, сделал несколько шагов наугад и — о, чудо! — понял, что стоит он, Або, на Верблюжьем Горбу! Отсюда всегда открывается весь Космос, отсюда видно — *всё!*

Отсюда он, Сильный Або, ясно видел, как его родной Млечный Путь, как замороженный кролик, нехотя, но неумолимо приближался к темным, ненасытным глазам, к пасти Гончего Пса. Або ясно представил и кролика и пса. И в это мгновение, растянутое на века мгновение, Або осознал Величие Вселенной.

Станным образом перед ним, Або, расстелился ковер с желтоватым оттенком, ковер, хорошо знакомый ковер, который служил украшением просторного кабинета директора государственных детских яслей номер два в микрорайоне номер один.

На этом широченном ковре лежали три трупа. Три трупа трех «видных» и «бессмертных деятелей» — Анны Андреевны Петренко, Байбака Малышбаева, Нурдина Саидова, которые были уверены, не только уверены, а знали наверняка, без всяких сомнений знали, что они вечные, незыблемые, что они вправе играть судьбами десятков, а то и тысяч беззащитных детей из беднейших семей и аулов.

У всех троих головы были чуть-чуть повернуты вправо, как по команде «Смирно!» На шеях у всех троих чуть-чуть были видны еле заметные следы крови...

— Какое мастерство! — тогда... сказал *тот* Або.

— Какое мастерство! — сейчас сквозь зубы процедил этот Або.

На этом же широченном ковре из небытия проступил образ сгорбившегося, смертельно уставшего попрошайки Камардина Саидова.

Каким-то образом, неуверенно, трусливо оглядываясь по сторонам, поднялся на ковер служака-воин Иваси, он воровато посмотрел на Або и виновато, покаянно улыбнулся. Улыбка была жалкой и фальшивой.

Або все же ждал, даже искал появления кого-то еще. Им оказались мулла Мурат и печальная красавица Сайра... Она же, Сайра, вопреки всяким запретам смело и гордо уставилась на Або, как бы желая что-то сказать джигиту, тому, молодому, симпатичному джигиту, еще не сломленному, отчаянному джигиту Або.

Або, этот Або, еще ждал появления жены, милой-милой Зары, несчастной Зары, которая пыталась прикрыть своим крылом Айну и Боло от отчаянной... отчаянной попытки мужа избавить их от невероятных мук.

Або, этот Або, хотел было подойти к Заре, обнять ее и, самое главное, став на колени, попросить у нее прощения, прощения, прощения...

АКИМ ТАРАЗИ

Но Або, этот Або, изначально намереваясь склониться перед женою и просить прощения за всё, за всё, за всё! — этот Або сделал шаг — невероятно широченный шаг: его левая нога в мгновение ока оказалась на поверхности неведомой Звезды из семейства родного Млечного Пути! Его второй шаг оказался еще более длинным и затянутым. Перепрыгивая со звезды на звезду, Або по спирали достиг головной группы звезд и закричал во весь голос, предупреждая родной Млечный Путь об опасности... об опасности... об опасности приближения прожорливого Гончего Пса, прожорливого Гончего Пса, прожорливого Гончего Пса... Аминь.

Перевод автора

Калихан Искак

(1935–2014)



Писатель, критик, драматург, переводчик. Окончил филологический факультет (отделение журналистики) Казахского государственного университета. Вышедшая в 1963 г. повесть «Қоңыр күз еді» («Стояло бабье лето») была благожелательно встречена читателями и литературными критиками и возвестила о том, что в литературу пришел прозаик со своим особым стилем. В последующие годы вышли в свет несколько таких сборников повестей и рассказов, как «Дос хикаясы» («Рассказ друга»), «Менің ағаларым» («Мои старшие братья»), «Бұқтырма сарыны» («Мелодии Бухтармы»), «Күреңсе» («Осока»), романы «Тұйық» («Нелюдимый», 1975), «Қара орман» («Тёмный лес», 1980), «Ақсу — жер жаннаты» («Аксу — рай земной», 1989) и другие, считающиеся художественными достижениями казахской прозы.

Плодотворно работал писатель и в жанре драматургии. Из-под его пера вышли около двадцати пьес, таких как «Сарша тамыз» («Знойные дни»), «Қараша қаздар қайтқанда» («Гуси улетают в ноябре»), «Таңғы жаңғырық» («Утреннее эхо»), «Қылкөпір» («Мост, проложенный над адом и ведущий в рай»), «Жан қимақ» («Душевные терзания»), «Апатай» («Старшая сестра»), «Жәке-жәкетай» («Милый мой дядюшка»), «Сайқының тұқымдары» («Дети Сайхи»), которые вошли в репертуар республиканских, областных драматических театров. Им написаны сценарии к нескольким полнометражным художественным фильмам; переведены на казахский язык произведения Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. С. Тургенева, А. И. Куприна, И. А. Бунина, а также пьесы семи драматургов, удостоенных Нобелевской премии. Его собственные произведения были переведены на русский, узбекский, таджикский, башкирский, чеченский, украинский, словацкий, болгарский языки. Им написано свыше ста статей и очерков: литературная и театральная критика, эссе.

Заслуженный деятель Казахстана. Лауреат международных литературных премий имени Г. Мусрепова и Жамбыла Жабаева. За роман «Ақсу — жер жаннаты» («Аксу — рай земной») в 1992 г. удостоен Государственной премии Республики Казахстан.

Белые дожди

Стояла осень. Сеял мелкий нескончаемый дождь, который у нас называют белым. Дорогу развезло. На Алтае это самая неприглядная и скучная пора. Плотный туман укрыл высокие горные вершины и теперь навис своими крыльями над пологими склонами. Горы словно осели и смирились с тем, что о красоте местности теперь станут судить по угрюмым увалам и неуклюжим сопкам. Внизу уже не осталось былого густого леса, разве что зеленели то тут то там группы деревьев; колки эти упорно взбирались вверх по склонам, постепенно, исподволь сливаясь друг с другом, и образовывали густые лесные чащи на террасах и седловинах гор.

Я входил в рощу, сплошь состоящую из лиственниц, когда сбоку послышались громкие дребезжащие звуки. Вскоре из-за деревьев выехала большая колымага, тяжело груженная силосом. Она шла несколько впереди меня и наискосок к грейдерной дороге, потом въехала на нее, выбрав пологий участок, и я увидел, что конем управляла молодая женщина. Белолицая, с плотно повязанной белой пуховой шалью на голове, она не сразу увидела меня, потом быстро натянула вожжи, будто пытаясь узнать, кто это шагает по безлюдной дороге в такую ненастную пору, и пристально взглянула на меня.

— Милый Касым, неужели это ты? — удивленно спросила она. По черным глазам, окаймленным длинными ресницами, по чистому звонкому голосу я тотчас узнал Алтын.

— Уж не заблудился ли ты? Откуда идешь? Куда направляешься? — засыпала она меня вопросами. Разложила охапку сухого сена, на котором сидела, и указала мне на место рядом с собой.

— Да садись же, садись! — нетерпеливо добавила Алтын.

У меня и в мыслях не было встретить ее на дороге. А ведь в памяти моей часто возникала эта стройная красивая женщина с тонкой талией, черными, как смородина, глазами, с румяными щеками, о каких говорят — кровь с молоком. Сейчас я с огорчением находил, что она сильно села в росте, заметно пополнела; лицо ее округлилось, потеряв неповторимые тонкие черты. Я поздоровался с ней сдержанно, хотя она была приветлива и, по всему виду, очень рада нашей неожиданной встрече. Не знаю, что заставило меня держаться с ней так непривычно холодно: то ли застали врасплох перемены, произошедшие в ней, то ли сказалось мое всегдашнее смущение, не покидавшее меня и во время былых встреч. Я не мог найти ничего лучше, чем буркнуть в ответ:

— А ты сама откуда взялась?

— Как это откуда взялась? Житье-бытье наше такое... — она, видимо, все-таки почувствовала перемену в моем отношении к ней. — Ты видел меня в дни своего золотого детства, с той поры целая жизнь прошла. Человек меняется: что-то в нем появляется новое, а что-то уходит навсегда...

И, словно не желая продолжать свою мысль, за которой, видимо, стояло что-то не очень приятное, она попыталась повернуть разговор в другое русло:

— А ты, негодник, совсем не изменился! Все то же мальчишеское лицо — ни усов, ни бороды! — она рассмеялась, но тут же умолкла, видя, что я никак не могу освоиться. Запахнула ворот легкой стеганой фуфайки, то и дело распаивающейся над полными грудями, и молча уставилась на каурого, медленно тащившего тяжело груженную подводу.

— Как это — откуда взялась? — повторила она уже задумчиво. — Здесь, в нашем Топкаине, и живу с тех самых пор. Работаю на животноводческой ферме. А сам ты какими судьбами?

— Дела тут у меня... Иду из Сарымсака, ни одной попутки не встретилось, еле добрался.

— А-а, — кивнула она, не отрывая взгляда от дороги.

Она была старше меня на два года. Мы ходили в одну школу, учились в одном классе. Алтын слыла самой красивой девочкой среди всех учениц школы. Прекрасно пела. Ее песни до сих пор звучат в моих ушах, раз и навсегда запав в сердце. Все самые высокие мои мечты складывались под напевное звучание ее голоса. Стоило только зазвучать в моей душе какому-нибудь знакомому мотиву, который исполняла Алтын, как перед глазами тотчас возникала она сама, дни далекого детства, родные места.

Я окончил аульную семилетку и по настоянию родителей, не желавших, чтобы я рано связал себя с непосильным трудом, уехал в Топкаинскую школу-интернат. Мне предстояло учиться в местах, отстоящих от нашего аула на тридцать километров.

Директор интерната оказался непомерно толстым мужчиной средних лет, с бельмом на одном глазу величиной с пшеничное зерно. Он просмотрел мое заявление и табель об успеваемости и, мурлыча себе под нос какой-то заунывный мотив, откинулся, почти разлегся на стуле. Долго смотрел на мои истоптанные сапоги и штаны из облезлой жеребьячьей шкурки, выкрашенные естekom¹. Было видно, что я пришелся ему не по вкусу. В его глазах как бы стоял недоуменный вопрос: «Неужели этот оборванец собирается учиться дальше?» Наконец он перестал сопеть своим жирным носом и, громко скрипя стулом, выпрямился.

— Гм-м, говоришь, хочешь учиться? Ну ладно, в школу мы тебя примем, а вот с местом в общежитии будет трудновато... Гм-м!.. Это такое дело, сам знаешь... В общем, все будет зависеть от твоего пэбэдения.

Он так и сказал, не поведения, а пэбэдения. Похоже, разговор отнял у него немало сил, потому что он швырнул на стол мои бумаги и снова откинулся назад. Потекли долгие утомительные минуты: директор, закрыв глаза, возлежал на стуле, а я сидел на скамейке и

¹ Естек — лесная трава, из корней которой изготавливают краску оранжевого цвета.

ждал окончательного решения. Я хорошо понимал, что без места в общежитии мне нечего и думать о продолжении учебы.

— А у тебя есть где остановиться? — спросил он вдруг у меня. — Если нигде, то сегодня, ладно уж, как-нибудь заночуешь в общежитии. Зайдешь завтра.

Неожиданно он захрапел, сидя за столом.

Я понял, что лед тронулся. Дальше не стоило испытывать судьбу, и я, ступая на носках, тихонько вышел из кабинета.

...Впервые я оказался один далеко от родного дома. В Топкаине у меня, к несчастью, не было родственников. Пойти к незнакомым людям и проситься к ним на ночлег у меня не хватало смелости. Я долгое время слонялся по аулу и уже к самому вечеру направился в интернат. Общежитие располагалось в длинном саманном доме. Посередине огромной комнаты, напоминающей зал, громоздилась бесформенная черная печь, похожая на огромное чудище. Будто ягнята на общей привязи, тесно друг к другу в ряд стояли железные кровати. Постели на них были не прибраны. Пять-шесть коротко остриженных мальчишек сидели за учебниками и тетрадями, облепив обшарпанный стол. Как только я вошел, они подняли головы от учебников и уставились на меня исподлобья, словно кошки, увидевшие собаку. Еще один мальчишка, длинный и худой, с чубом, спадающим на лоб, лежал на постели в сапогах. Он повертел головой на тонкой шее, рассматривая меня с ног до головы, потом облизал губы толстым шершавым языком.

— Что, поступил в интернат? — спросил он меня.

По тону, каким он задал вопрос, я понял, что передо мной один из интернатских заводил. Боясь, как бы он не выставил меня за двери, я поспешно кивнул:

— Да.

— В каком классе учишься?

— В восьмом.

— Вот ка-ак? Значит, будем учиться вместе! Ну, проходи, проходи! Я как раз тут один... Коек не хватает, спим по двое. Проходи, че-

го встал на пороге? И мешку твоему найдем место: у меня вместительный сундук! — Не давая мне опомниться, он подошел, похлопал меня дружески по спине и посадил на свою кровать. Можно было подумать, что он увидел во мне родственную душу. — А мешок твой небось набит баурсаками?

— Да нет, в нем одежда.

У него тотчас недовольно опустились брови, приветливость сошла с лица, на лоб набежали морщинки. Но все же он попытался скрыть свое огорчение.

— Ничего, ничего! Здесь не пропадешь с голоду. Тут каждый тащит из дома пропитанный жиром мешок, полный баурсаков. Тошнит уже от жирной еды! — он поморщился.

«Да, окажись в мешке баурсаки да поставь я их перед тобой, поглядел бы, как ты принялся уплетать их за обе щеки, — подумалось мне. — Ишь как заскромничал!»

Дальше длинный не стал тратить на меня время. Повернулся к кругленькому смуглому мальчишке, сидевшему за учебником, и распорядился:

— Эй, Жарыкжудыз¹, ты у нас поменьше ростом, будешь спать вдвоем с Касымом. Я вижу, на моей койке нам с ним будет тесновато.

Он взял мой мешок и бесцеремонно закинул его на соседнюю койку.

Мальчишка замигал круглыми, как чашки, глазами и лишь не смело промямлил:

— Зачем бросаешь?

Меня разобрало зло: «Ах ты, горбыль несчастный! Встретился бы мне в ауле, я бы показал тебе, как швыряться чужим мешком! Ну ничего, ты тут старожил, держи пока свой хвост трубой!» (Этот сутулый, рассказывают, сейчас работает в ауле агентом по сбору шерсти. Я давно собираюсь выложить ему при случае свою давнюю обиду.)

¹ Жарыкжудыз — дословно: яркая звезда.

Не успел я прийти в себя, как в комнату, стуча каблуками, вошла маленькая светлолицая женщина и принялась громко отчитывать всех.

— Что это тут у вас творится? Почему лежишь?.. Почему койки не заправлены?.. А ты почему в одежде сидишь на постели? — набросилась она на меня. — Расселся!..

— Ой, Куляш-апай, я устал долбить им одно и то же! — вмешался длинный, облизнув губы. — Не слушаются меня.

— Кто это не слушается? Покажи его мне!

Длинный замялся, не смея назвать кого-нибудь конкретно.

— Пошли двух мальчишек ко мне домой, пусть привезут воды! — распорядилась женщина и, твердо ступая по полу каблуками, вышла из комнаты.

Стоило только закрыться за ней двери, как длинный снова растянулся на кровати и взял в руки книгу. Остальные тоже уткнулись в учебники.

— Ну, кто пойдет за водой? — спросил через некоторое время длинный.

В комнате стало еще тише, никто не поднимал головы от учебника, словно всех завтра ждали экзамены. Глаза длинного снова остановились на кругленьком смуглом мальчишке.

— Эй, Жарыкжудыз, сегодня твоя очередь идти за водой! Вот Касыму тоже нечего делать, возьми его с собой. Пусть знакомится с нашей жизнью.

Жарыкжудыз нехотя поднялся с места.

— Ну что ж, раз надо — пойду! — ответил и я. В самом деле, все лучше, чем сидеть среди незнакомых ребят с таким видом, будто всадил в ногу занозу и не знаешь, как ее вытащить.

Остальные ребята облегченно вздохнули, с шумом захлопнули учебники и отодвинули их подальше от себя.

Мы с Жарыкжудызом привели из конюшни серую лошадку с выдающимися наружу худыми ребрами и стали запрягать ее в расшатанную донельзя повозку, на которой была установлена бочка.

Серая кляча, лишь только соил коснулся ее заезженной спины, сразу же показала свой норов. Она отчаянно забила куцым хвостом и осталась стоять на месте: не лошадь, а кусок шкуры, который еще следует порядком помять. Каждый раз, когда увесистый соил поднимался в воздух, Кокшолак — так звали эту клячу — мгновенно подбирался всем телом, горбил круп, готовясь лягнуть в любую минуту. Я подумал, что Жарыкжулдызу не надо было срывать на нем свою злость. В народе в подобных случаях говорят: «Побитая собака набрасывается на мирного журавля». Сказано-то в самую точку, да не каждому эти слова по уму.

— Ах, чтоб тебе скрутило селезенку! Ну, к чему тебе мучить и себя, и нас? Ведь пока доберемся до реки да вернемся назад, наступит полночь! Кому, спрашивается, это нужно? — Жарыкжулдыз был вне себя от огорчения. Но Кокшолаку и дела не было до его стенаний. Он ударил себя хвостом раза два по бокам и словно бы по своей воле тронулся с места.

Жарыкжулдыз оказался словоохотливым малым (позже я узнал, что его настоящее имя — Камшабай). Оказывается, сызмальства у него под носом постоянно было мокро. Поэтому аульная ребятня, неистощимая на разные выдумки и прозвища, прозвала его Жарыкжулдыз. Белая струйка под носом удостоилась чести называться падающей яркой звездой. Но самое смешное заключалось в том, что стоило кому-нибудь из ребят сказать «Падает звезда!», как у Жарыкжулдыза из носа начинало течь еще сильнее; он громко шмыгал и то и дело вытирал обильную влагу внешней стороной длинных пальцев. Но «звездный след» так и не просыхал у него над губой. Жарыкжулдыза совсем не трогали колкие остроты сверстников, у него совершенно отсутствовало самолюбие.

Пока добирались до озера, он поведал мне немало полезного. Сперва его рассказ был о длинном худом мальчишке, который послал нас за водой.

— Ты не очень-то слушайся его, иначе он сядет тебе на шею. Начнет распоряжаться: сделай то, сделай это. Покоя от него не станет.

Настоящее его имя Кыдыр-хан, но мы зовем его Горбатым. Он, я тебе скажу, ловкач, каких свет не видел. Лебезит перед учителями, воспитательницей, даже перед поваром, а с одноклассниками держит себя высокомерно, науськивает друг на друга — лишь бы из всего этого извлечь для себя пользу хоть на грош. Скользкий, как ложка, окунутая в масло, не уследишь, что он выкинет в следующую минуту.

— А что за женщина, которая отчитала нас всех?

— Ойбай, это Куляш — самая главная начальница! — Жарыкжулдыз провел пальцами под носом. — Стоит ей сказать «брысь», и весь интернат замирает! Она воспитательница — раз, учительница — два, жена директора — три! Что еще? Да, она держит в своих руках продукты и одежду, которые отпускаются интернату. Невзлюбит тебя — считай, не получишь справной одежды. А по правде говоря, она — бум-бум, настоящая тупица! Когда-то еле закончила семь классов, а вот поди же, преподает нам, восьмиклассникам. Пользуется тем, что ее муж ходит в директорах... Ойбой, ты еще не знаешь нашей жизни, — вздохнул Жарыкжулдыз с таким умиротворенным видом, что его можно было принять за самого спокойного человека на всей земле: — В ауле нет мужчины, который бы ударил Маймуруна¹ по рукам, нет женщины, которая урезонила бы его, вот он и возомнил о себе слишком много. Маймурун у нас хоть и не бог, но и не меньше.

— А кто этот Маймурун? — спросил я.

— Говорю же — директор! Неужели не видел его?

— Видел.

— Вот он и есть Маймурун. А зовут его Калматай. За интернатом числятся четыре лошади, четыре коровы и один годовалый бычок. А все остальное, что ты увидишь в нашем хозяйстве, принадлежит Маймуруну. Овец у него голов тридцать-сорок, одна лошадь и одна кобыла с жеребенком, коров у него, кажется, пять или шесть. Летом мы всем интернатом заготавливаем сено для его скота и дрова для их

¹ Маймурун — дословно: лоснящийся нос; прозвище.

дома. Излишки он продает где может: в райцентре, в аулах... Все прибрал к своим рукам, черт! Как видишь, даже воду для его дома привозим мы.

— Вы же не в работники ему нанимались, могли бы и отказаться гнуть на него спину!

— О-хо! Попробуй послушаться! Нет, ты сперва выслушай меня... На днях из района приезжал инспектор. Должно быть, кто-то написал в район о нашем бедственном положении. Черт меня попутал, сунулся я к инспектору с жалобой, что в общежитии нет порядка, кормят плохо, а хлеб пекут сырой. И что же? Инспектор уехал, а мне всыпали по первое число. «Ты, видно, зажирел настолько, что пренебрегаешь государственным хлебом! Может, еще кто-нибудь из твоих приятелей недоволен тем, как вас тут кормят? Нам нетрудно исключить таких из интерната!» Прижали меня к стене так, что я готов был обеими ногами в один сапог втиснуться. Попробуй тут полезть на рожон — выставят из интерната, а если не удастся сделать это сразу, то Маймурун начнет лепить тебе двойки по истории, — Жарыкжудыз передернул плечами, как будто ему было холодно. — Если хочешь учиться в интернате, веди себя тихо...

До реки мы ехали долго. Совсем обессилели, пока наполнили бочку. Наконец сели в повозку, тронули вожжи, но Кокшолак и ухом не повел. Он стоял как вкопанный, совершенно не реагируя на наши понукания и подергивания вожжами. Но стоило Жарыкжудызу изо всех сил оттянуть его раза два по боку, как конь тут же осел и отпрянул назад. Повозка ударилась о дерево, разошедшееся колесо треснуло, спицы разлетелись как щепья, и в следующее мгновение повозка легла на бок, а вода бурным потоком выплеснулась из бочки.

— Чтоб ты сдох, проклятый! Чтоб окаменел раз и навсегда! Чтоб тебя раздуло, чтоб ты лопнул, как ссохшийся пузырь! — Жарыкжудыз выплеснул на Кокшолака не менее бурный поток ругательств, но бедной лошади, по всему виду, приходилось слышать на своем веку и не такие еще проклятья: его не раздуло, он не лопнул; наоборот,

конь зло прижал уши к голове и приготовился к очередной схватке со своим мучителем. Жарыкжулдыз испробовал все средства, чтобы заставить Кокшолака тронуться в путь, и, видя, что все его усилия тратятся без толку, брякнул своей палкой о землю и сел у кромки дороги.

— Вот не повезло! — пробормотал он в сердцах. — Теперь и от завхоза достанется за повозку. Садись! — обратился он ко мне, — нечего стоять... Как-нибудь выпутаемся...

Было тихо. На аул, спрятавшийся в узком лесистом ущелье, опускались сумерки; проступали, неясно чернея, беспорядочно застроенные дома. Из глиняных печей-тандыров, сложенных во дворах, вылетали искры. Временами доносился короткий лай собак да раздавались редкие призывные голоса женщин, зовущих коров, возвращавшихся с пастбища. Где-то на окраине аула слышалась грустная девичья песня.

— Алтын поет! — встрепенулся Жарыкжулдыз.

— А кто это?

— Наша, интернатская.

— Хорошо поет, — отозвался я. — Хорошо поет, чья бы она ни была.

В самом деле, песня, растревожившая вечернюю тишину, неожиданно овладела всем моим вниманием. Нежный и чистый голос проникал в самое сердце. Тихо веял ветерок; недавно распустившиеся метелки ковыля стелились по ветру, будто распушившиеся нити шелковой фаты, потом, тихо покачавшись, снова застывали неподвижно. На самой середине ущелья, словно опрокинутый казан, возвышался горный утес. Его заснеженная вершина сонно нависла над безмолвными лощинами, прорезавшими горные склоны. Полная луна, появившаяся одновременно с заревым закатом, казалось, благоговейно внимала и вечерней тишине, и нежной девичьей песне; во всяком случае, она удобно и, было похоже, надолго, словно желанная гостья, устроилась на плече утеса.

Песня приближалась к нам, постепенно набирая вдохновенную силу. «Платье с бахромой по подолу, тонкий стан, легкий ветер не

отстает, заигрывая с тобой...» Припев этот долетал до слуха, как-то странно прерываясь, выдавая душевное волнение девушки, исполнявшей песню. Между тем она пела народную песню «Бир бала» — «Единственное дитя», которую я каждый божий день слышал у себя в ауле. Но сейчас старая мелодия, уже было приевшаяся мне, пробуждала в душе совершенно новые, доселе незнакомые чувства.

То ли причина была в том, что у нас в ауле не было такой искусной, как Алтын, певицы, то ли я уже успел соскучиться по родным и меня тянуло домой, но вдруг сильно защемило сердце. А песня, будто тот самый ветер, не отстающий от человека, взлетала вдруг рядом, то звучала сильно и звонко, то затихала вдали, будто еле слышный шелест трав. И не осталось в этом мире ничего более прекрасного, чем эта мелодия, плывущая над вечерним аулом.

Прошло немного времени, и в сгущающихся сумерках показалась и сама девушка. Белое платье ее невесомо реяло в воздухе. Перед собой она гнала пеструю годовалую телку.

— Алтын! — громко окликнул ее Жарыкжудыз, вскакивая на ноги. — Алтын!

Пегая телка подпрыгнула от неожиданности и, держа хвост на отлете, бросилась назад к котану. Песня оборвалась. Девушка с минуту постояла, глядя в темноту, и осторожно справилась:

— Это ты, Жарыкжудыз?

Жарыкжудыз громко шмыгнул и пробормотал:

— Да, я.

— Что ты тут делаешь?

— За водой приехали.

Алтын подошла к нам поближе. Откинула со лба прядку черных волос. Луна слепила ей глаза, в лунном отсвете блеснуло тонкое белое лицо. Щеки ее были розовые, ясно виднелись маленькие ямочки на щеках. Нежные губы будто облиты белоснежной сметаной. Под тонкими, как молодой месяц, бровями сверкали черные, как смородины, глаза. «Было бы совсем не удивительно, — подумалось вдруг

мне, — если бы из этих чистых глаз скатилась прозрачная утренняя роса».

Алтын увидела лежащую на боку повозку и рассмеялась.

— Ах, мокроносый, опять ты влип в беду! — она легко, как-то небойдно кольнула Жарыкжулдыза, повернулась и спокойно пошла в сторону аула.

Я подумал, что она из тех горделивых аульных девочек, которые знают себе цену. Но ее задушевная песня все еще звучала в моих ушах... Алтын уходила словно танцуя; мне казалось, что ее голые белые икры шаловливо касаются метелок ковыля. И еще мне представлялось, что она идет, смеясь над нашей незадачливостью, я это читал теперь даже в ее походке. В самом деле, с ней была песня, ее вела свобода, а мы молились на серую клячу, наше спокойствие зависело от прихоти капризного животного... Какая-то обида овладела моим сердцем. Алтын все больше представлялась в моем воображении девушкой своевольной, не ведающей сострадания к бедам других людей. Не знаю, о чем думал в этот час Жарыкжулдыз, но мне подумалось, что девушка, о которой пелось в только что звучавшей песне, и есть сама Алтын. «Платье с бахромой по подолу, тонкий стан, легкий ветер не отстаёт, заигрывая с тобой...»

Так и не отстал я от Маймуруна, и он в конце концов был вынужден принять меня в интернат.

Наступил первый день занятий. Из всех одноклассников самые теплые чувства во мне вызывала Алтын. Она сидела одна на последней парте. Не суежилась, была немногословна, даже не веселилась вместе со всеми, когда шалость кого-нибудь из учеников вызывала общий смех. Она была уравновешенна, держалась с каким-то особым достоинством, резко выделяясь этим среди сверстниц. Класс был перенаселен, не хватало мест для учеников. Я рассчитывал, что сяду за одну парту с Жарыкжулдызом, но рядом с ним уже обосновался точно такой же, как и он сам, кругленький смуглый мальчик, который, естественно, не захотел уступить мне своего места. Подойти к

Алтын я не осмелился, тем более что несколькими минутами раньше она дала от ворот поворот Горбатому, попытавшемуся присоседиться к ней.

— Что, твое место залила вода? Садись за свою парту! — Алтын толкнула его в тощую грудь. — Иди-иди!

Прозвенел звонок, и в класс вкатился Маймурун.

— Что ты торчишь у двери как истукан? — спросил он меня хриплым голосом.

— Места нет.

— Иди к Кабдыгалиевой! — он ткнул пальцем в сторону Алтын. — Не бойся, она не из кусачих!

Достаточно было Маймуруну сказать эти слова, как по классу прокатились смешки. На мою беду, не успел я сделать единственный шаг, как отчаянно захрустели мои штаны из высохшей жеребьячей шкурки. Класс покотился со смеху. Маймурун давился тоже, колыхаясь огромным животом и испуская что-то напоминающее утиное кряканье: «Ык-ых, ык-ых!..» Я не знал, что делать: смеяться или плакать. Не смеялась надо мной только Алтын. Но во взгляде ее, не отрывающемся от моих оранжевых штанов, я прочел испуг.

— Ах, какая живописная пара! — воскликнул Горбатый с передней парты, как только я сел рядом с Алтын.

Класс уже хохотал без удержу. Я готов был провалиться сквозь землю. Алтын, видимо, решила приободрить меня, а может, не желала, чтобы смеялись над ней, и решительно вмешалась в дальнейший ход событий.

— А что тут смешного? Пара как пара! — Она окинула Горбатого уничтожающим взглядом. — Ишь, разошелся!

После того как смех несколько поутих, Маймурун прокашлялся и приступил к уроку. Он разложил перед собой учебник по истории и, поглядывая на раскрытые страницы, почти залпом прочел нам вслух целую главу. Это занятие отняло у него немало сил, голос его сел, лоб покрыла испарина. Завершив главу, Маймурун захлопнул книгу и поднялся со стула.

— У меня срочные дела, отлучусь ненадолго. А вы не шумите, почитайте учебник! — Маймурун, не дожидаясь конца урока, вышел из класса.

Конечно же, никто и не думал читать книгу. Едва за Маймуруном закрылась дверь, как поднялся гомон, зазвенел смех.

Хотя и испытал я из-за своих штанов немало позора, но тем не менее они сослужили мне важную службу. Маймурун, видимо, рассказал жене о том, что произошло на его первом уроке, потому что на другой же день за мной прибежал Жарыкжудыз.

— Завхоз сказал, чтобы ты пришел за одеждой! — в радостном возбуждении закричал он еще издали.

Завхозом интерната был пожилой мужчина по имени Зейнулла, неповоротливый и нелюдимый, словно бодливый бык. Круглый год он ходил в затасканном зимнем пальто с воротником из кошки. Ребята обращались к нему почтительно «агай», но за глаза называли почему-то «человеком в футляре». Лишь спустя некоторое время я узнал о происхождении этого прозвища, а пока думал, что его прозвали так за жадность. Так вот, этот Зейнулла смотрел на человека как на пустое место, если тот по какой-либо причине пришелся ему не по душе: то одним глазом посмотрит, то другим, но никогда обоими вместе. Было ясно, что я попал в разряд как раз тех людей, которых он считал для себя обузой. При виде меня лицо его искривилось, мучительно задергалось, весь он согнулся и стал перебирать обувь, лежащую в объемистом ящике, потом, будто отрывая от себя кусок мяса, кинул мне рабочие ботинки сорокового размера.

— Агай, они мне, кажется, великоваты, — начал было я, но тут же примолк, увидев взгляд налитых кровью глаз, устремленный на меня.

— Ты думаешь, обувь меньшего размера падает с неба? Таких, как ты, тут наберется еще на два интерната. Не хочешь — не бери! — прогудел он и, набычившись, отвернулся от меня.

Жарыкжудыз, стоявший за дверью, отчаянно мотнул мне головой, давая знать, чтобы я не прекословил. Завхоз между тем пере-

бирал в руках одни за другими брюки и пиджаки, потом оглядывал меня с ног до головы и, снова сложив одежду, запихивал ее поглубже в ящик. Было ясно, что ему жаль отдавать то, что подошло бы мне по размеру. Но самые последние брюки и пиджак он все же вынужден был вручить.

— Ты не спорь с ним, понял? — зашептал мне на ухо Жарыкжудыз, войдя-таки на склад. — Он ведь тесть Маймуруна! Бери, что дают, и не спорь. Сам знаешь: «Убогая душа стережет чужое богатство». На этом складе предостаточно всякой одежды, а посмотри, в чем мы ходим? Пошли в общежитие!

Ботинки из толстой сыромятной кожи были велики; концы моих пальцев не доставали до круглых, как торсыки, носков чуть ли не на целую пядь. Когда я шагал, ботинки гулко стучали по земле, и мне казалось, что ноги мои оборвутся в щиколотках. Жарыкжудыз заставил меня походить взад-вперед, понаблюдав за моей походкой и скомандовал разуться. Потом перевернул матрац, распорол его по шву, вытащил клочок ваты, скомкал его в два шарика и затолкал в носки ботинок. Обувь кое-как приладили к ногам, а вот с брюками и пиджаком дело обстояло хуже. Какого размера мне досталась одежда, знает сам бог, но пояс брюк можно было натянуть до самого подбородка, а полы пиджака закрывали мне икры. Я казался сам себе конем, которого вывели на байгу, укутав с головы до ног в попону.

— Ничего зазорного, — успокоил меня Жарыкжудыз. — Лишь бы висело на плечах да не спадало с бедер. Та обнова хороша, которая тепла, а не та, что красива, понял?

Но я не расстался бы с ними, даже если бы пиджак не висел на плечах, а брюки не держались на мне. Новая одежда была для меня целым состоянием по сравнению с жесткими штанами из жеребьих шкур и дырявыми сапогами, готовыми развалиться на каждом шагу. Я чувствовал себя будто на коне.

С этого дня я ощутил себя равным среди своих сверстников, как бы приобщился к новой интересной жизни. И всё, что происходило в

этом маленьком ауле, носящем название Топкаин, что означало Березовая роща, все заботы, которыми жил интернат, ставший теперь моим домом, мне казалось, несли в себе дыхание и ритм огромного мира. Я находился среди множества людей. Мы, ребята, жили и спали в одной комнате, по двое на кровати. Это было похоже на то, как мы по двое усаживались в ауле на коня. Ели в тесной столовой, одному доставалось больше еды, другому меньше, бывали и обиды, случались драки, но нашу интернатскую жизнь мы, наверное, не согласились бы променять ни на какую другую, будь она самая что ни на есть прекрасная. Я чувствовал, что взрослою на глазах, узнаю жизнь все больше и обретаю уверенность. Я стал искать себе друзей — так уж устроена натура человека: каждый из нас складывает свой круг общения, ищет людей, среди которых ему легче дышится, полнокровней живет. Конечно, в ту пору еще не знаешь хорошо людей, не разбираешься, чего в них больше — хорошего или плохого, не взвешиваешь, как на весах, их поступки, чтобы вынести окончательное мнение о том или ином человеке. В детстве чаще всего бывает так: кто-то не понравился тебе — и ты начинаешь сторониться его, даже не открыв до конца его качеств. Или же наоборот — к кому-то начинаешь стремиться, проникшись симпатией, всей душой болеешь за него, желаешь ему во всем удачи. Случается, что этот человек не всегда прав в своих поступках, не всегда справедливо обходится с людьми, но ты все равно стоишь за него горой. У меня были два друга — Жарыкжудыз и Алтын.

Жарыкжудыз был первым, кто принял участие в моих делах, когда я только приехал в интернат, а это что-то да значило для меня. Спали мы на одной кровати, можно сказать, что у нас не было друг от друга тайн. Жарыкжудыз любил литературу, но был силен также в русском и математике. Мне, выросшему в уединенном казахском ауле и два слова не умевшему связать по-русски, казалось, что лучше, чем Жарыкжудыз, русский язык знать невозможно. Теперь, когда прошло много времени, можно признаться: домашние

Калихан Искак

задания по русскому языку и математике я нередко списывал у Жарыкжудыза.

Уроки мы готовили втроем: Алтын, Жарыкжудыз и я. Особенно-го увлечения каким-нибудь отдельным предметом за Алтын я не заметил. Сейчас я мог бы сказать, что ее нежная, восприимчивая душа была создана для песни; она была человеком, больше всего расположенным к искусству.

В те дни я пытался писать стишки. Однажды набросал строки, которые считал за несомненную свою поэтическую удачу:

Интернатский форм,
Хлеба двести грамм — норм.
Не голоден и не сыт,
А дорога вдаль бежит.

Как-то за уроком я прочел стихи своим друзьям.

— Нет, это не стихи! — заключила Алтын, прослушав меня.

— Почему?

— Не встречала я таких стихов! И думаю, что ты зря убиваешь время. Поэта из тебя, пожалуй, не получится.

Меня огорчило ее суждение, прямое, резкое, лишенное какого бы то ни было уважения к моему увлечению. Даже Жарыкжудыз, который раньше разве что кивал головой, слушая мои творения, на этот раз обрушился на меня с убийственной критикой:

— Ты пиши или на русском, или на казахском, — сказал он. — Да и слова ты выбрал не поэтические, что ли. К тому же в именительном падеже нет слова «форм».

Поэтому правильнее: «Интернатская форма, двести граммов хлеба — норма...» А если говорить о содержании... В общем, слабые стихи... Нельзя так писать об интернате. Может, ты еще не принял его, а для меня он и дом родной, и родители.

— Ну, ты потянул совсем в другую сторону. В стихах есть правда. Между прочим, ты сам ругал мне Маймуруна, — я решил обра-

тить его внимание на недавние слова, но Жарыкжудыз оказался на высоте.

— Верно, я ругал Маймуруна, но не интернат! И если что-то у нас не так, то это его вина. А интернат... Ты его не трогай, Касым.

И правда, писать стихи оказалось мне не по зубам. Мои «творческие муки» закончились приведенными выше строчками, больше я не стал писать стихи. Сейчас мне стыдно вспоминать про свои первые поэтические упражнения. И все же эти четыре строки, посвященные интернату, быстро разошлись среди ребят и распевались как популярные куплетики. Конечно же, они дошли до слуха директора.

— Толку из тебя, видно, не будет! — набросилась на меня через день-другой Куляш — жена Маймуруна. — Мальчик, которому не дано жить, сам бежит на могилу! Это про тебя, наверное, сказано, несчастный!..

Она на целый день посадила меня чистить картошку. Наказание оказалось в мою пользу, потому что вечером мне досталась лишняя порция супа. А еще через два дня Алтын перешила мне пиджак и брюки — подогнала под мой размер, так что я стал выглядеть настоящим щеголем. Вот только ботинки были великоваты, и я в играх не поспевал за ребятами.

В интернате училось около пятидесяти мальчишек и девчонок. Одевало и кормило их государство. Алтын тоже была круглой сиротой. Возможно, мысль, что ей придется рассчитывать в жизни только на свои силы, заставила ее быть собранной и вдумчивой. Она следила за собой, одевалась аккуратно, умело шила и мастерски вышивала. Алтын никому не жаловалась и никому не доверяла свои сокровенные мысли. Мне же казалось, что у нее есть какая-то тайна...

Прошел год, как закончилась война. И, как на беду, год этот выдался на редкость засушливым, с едой снова стало плохо, люди продолжали испытывать нужду. Из аулов приезжали навещать детей родственники, близкие и дальние; приезжали не с пустыми руками:

кто привозил курт и иримшик, кто сухое толокно или чашку масла. Нас кормили сносно, но лакомства, привозимые из дома, были нам дороги. Мы все скучали по родным местам. Мешки и коржуны тут же опустошались всей ватагой, потому что в интернате еда считалась общим достоянием. Редко кто прятал что-то из привезенного ему из аула. А если и прятал, то такие, как Горбатый, «разоблачали» его своеобразным способом: находили и сами съедали все до последней крошки.

Однажды и на моей улице случился праздник. Ко мне приехал дедушка в своей старой великоватой шапке с большими обвисшими полями. Я был от счастья на седьмом небе.

— Ой, мой ненаглядный бегунец, жив-здоров? — он шел мне навстречу, в такт словам дергалась его редкая борода, а маленькие острые глазки блестели от слез.

Интересным человеком был мой дедушка. Звали его Ибрай, и приходился он старшим братом моему отцу. Когда-то в нашем роду был человек по имени Ибрай, поэтому тетушка Каншаим по обычаю не смела называть своего мужа этим именем. Называла его Шалым, что означало «мой старик». Понемногу весь наш аул, состоящий из десяти домов, стал называть его Шал. Старику было уже под семьдесят, бог не дал ему детей, поэтому он считал меня своим сыном. К тому же у казахов сильно развито чувство родства, а я олицетворял для Шала дом его умершего брата Ракыша, поэтому он просто боготворил меня. Не видным человеком был мой Шал. Всю жизнь ходил в пастухах. С малых лет он пас стада местного бая, был, говорят, смирным, послушным работягой, таким и остался: никто не слышал от него даже резкого слова, не говоря о каком-нибудь решительном поступке, который бы он совершил в своей жизни.

— Слышал, наверное, после твоего отъезда схватило поясницу, и я оставил работу, — закричал он. — Но бригадир не отпустил меня, уговорил сторожить посевы. Работа, мол, легкая, под тобой будет конь. Теперь и сам не рад, что согласился, милый мой бегунец. Рабо-

та оказалась беспокойная. Идет уборка хлеба, нельзя и отлучиться на шаг. Тетушка твоя все уши мне прожужжала, мальчик наш, мол, скучает по дому, съезди посмотри, как он живет, не обижают ли его в интернате. Вот я и сорвался с работы. Не голодаешь тут? Не обижают тебя?

Говорил он быстро, не давая мне и рта раскрыть. Придирчиво осмотрел, как я одет, словно проводил меня в интернат в дорогой одежде и теперь беспокоится, как бы у меня не пропало что-то из моего наряда. О чем только он не расспрашивал меня! Временами не забывал сообщать и аульные новости.

— Тетушка твоя, слава аллаху, здорова, передала для тебя вот это толокно, — он показал подбородком на небольшой мешочек, лежащий у его ног. — В этом году, не в пример былым временам, у твоей тетушки нет ни масла, ни курта. Проклятая серая корова совсем дошла, на нее нынче и бык не смотрит. Хоть бы постыдилась людей... Похоже, и в этом году останется яловой. К зиме забью ее на мясо, а лучшие куски с задка привезу тебе. Хватит, сколько смотреть ей под хвост, этой бесстыднице. Жизнь выправляется, будем живы — займем другую корову. Слава аллаху, еще не дожили до такого, чтобы в доме казан был пустой. Верно я говорю?

Он перебрал всех наших родичей, проживающих в десяти дворах, и перешел к делам своего племянника Кабикена.

— Сам знаешь, — доверительно наклонился он ко мне, — сам знаешь, что он и раньше был не прочь выпить. Так вот, это гнилое яйцо сейчас совсем потеряло голову. Заполнит брюхо спиртным и слоняется по аулу. Не ведает, что болтает, как говорится, в рот ему заскакивает белый пес, а вылезает серая сука. Пятно на нашем роду... Стыдно смотреть в глаза людям. Перед тем как выехать к тебе, я специально зашел к нему, но сам знаешь его жену... Не женщина, а сыромятная воловья шкура, которую и нож не берет, не то что слова... Надаивает молоко от четырех коров, а пожалела для тебя чашку сливочного масла. И как земля терпит людей, которым неведомо со-

страдание? Пусть их... Не люди, а черный камень, хотя и душа человеческая в теле... Захожу к ним, оглядываюсь, Кабикен в углу комнаты. Думаю, содрать, что ли, с его глупой головы кожу да набить ему рот, но потом вспомнил: предстоит дорога, а ее нельзя осквернять дурным поступком. Нельзя такое делать, когда едешь к сыну... Иначе, поплясал бы он у меня, мать его!.. — он передохнул немного, высказав всю свою обиду, вытер пот, выступивший на лбу. Потом снова засуетился: — Ну, ладно, довольно об этом. Да и засиделся я. Сам знаешь, за посевом надо смотреть в оба. Потравит скот хлеба — хлопот не оберешься. И бригадир обидится на меня. Ну, будь здоров! — он сел на коня и ударил его камчой. Но, отъехав на несколько шагов, вернулся обратно.

— Сам знаешь, мы — люди маленькие, хотя все понимаем в этой жизни. Не балуйся тут, слушайся старших, учись как следует. Вижу, тебя одели и обули, как жениха. Такую обнову и я бы не справил тебе. Наша власть народная кормит и одевает тебя, учит уму-разуму... Наша родная... Жеребенок мой, нет у тебя ни отца, ни матери, поэтому ты не делай ничего такого, что может лишить тебя учебы в интернате. Будь умницей, мой жеребенок! Ну, будь здоров! — он забил пятками по брюху гнедого коня, поехал рысью, но не успел я зайти в интернат, как мой дедушка снова вернулся назад.

— Сам знаешь, — свесился он с коня, — под ногами у одного путника пыль не поднимается. Поэтому поделись толоком со своими друзьями. Они такие же дети, как и ты, тоже скучают по дому. Человек становится человеком среди людей. А куда без людей? Поэтому нельзя быть жадным, мой жеребенок! Ну, будь здоров!..

Отъехал и тут же громко воскликнул:

— Ох и память у меня дырявая! Надо же, столько раз возвращался к тебе и чуть не забыл... Сам знаешь, тетушка твоя всегда что-нибудь да припасет для тебя... — он воткнул камчу кнутовищем у луки седла и стал шарить у себя за голенищем. — Куда же она запропастилась? Уж не под стельку ли закатилась? Сколько раз я просил старуху, чтобы

приладила какой-нибудь внутренний карманчик в фуфайке! И ухом не поведет, старая! Мучайся теперь, ищи ветра в поле. А-а, вот она!..

Прошло еще довольно продолжительное время, прежде чем он извлек из голенища саитама пятидесятирублевую ассигнацию. Для меня пятьдесят рублей — это целое состояние! Никогда я не был таким богатым человеком! Дедушка снова изготовился было ехать, но раздумал и вынул из кармана табакерку. Выставил торчком большой палец, ссыпал на него насыбая и стал шумно втягивать поочередно то в правую, то в левую ноздрю.

— Ты не знаешь, где тут продают табак? — он перешел к своим нуждам. — Этот табак дал мне Матрей, то ли он с пылью пополам, то ли был сорван зеленым, но силы в нем никакой... Ну да ладно, табак — не мрамор, где-нибудь да найдется. Ну, будь здоров! Я поеду, задержался тут. Сам зна... зна... ешь... Ап-чхи!.. Сам знаешь, у нас никогда не водились деньги. На те, которые я оставляю тебе, купи книги и тетради, жеребенок мой! Ну, будь здоров! Ап-чхи!..

Больших сил стоило дедушке расстаться со мной. Как и мне с ним.

Осень выдалась дождливой. Но не зря говорится, что даже буран — раздолье для ребят и собак, а осенние дождливые дни (что там дождь, знай себе сеет мелко и нудно) и подавно не могли убавить нашей прыти. Суббота и воскресенье — особенные дни для интернатских ребят, в эти дни все разъезжаются или расходятся по домам и аулам. В общежитии становится тихо, нас остается только трое: Жарыкжулдыз, Горбатый и я.

В эти два дня Жарыкжулдыз не вставал с постели. Заворачивал поясницу бумазейным одеялом, словно в общежитии гулял ветер, и, то и дело проводя под носом пальцами, целыми днями решал какие-то головоломные математические задачи. Тут его хлебом не корми, а дай поупражняться в решении задач. Горбатый же не вылезал из кухни. Он собирал сахар и масло, положенные учащимся, разъехавшимся по домам, и прятал их в свой красный сундук. Потом до самой глубокой ночи непрестанно что-то жевал, громко чавкая и сопя. У нас с

Жарыкжудызом только слюнки текли. Моим же любимым занятием было ничегонеделание. Я лежал в постели, с головой накрывшись тонким одеялом и уткнувшись носом в подушку, и предавался сладким мечтам. Что может быть лучше, чем лежать в теплой постели и слушать, как монотонно стучит дождь в оконное стекло и как вторит ему твое сердце? Рай, а не жизнь! Мечты уносят тебя далеко, ты облетаешь весь мир, гостишь в неведомых краях, забыв о том, что лежишь полуголодный под тонким одеялом. Иногда засыпаешь, утомленный бесконечной чередой живописных картин, проходящих перед тобой, и видишь сказочный сон. Ах, как приятно, как хорошо!..

Во сне я всегда видел Алтын. И всегда мы с ней вдвоем парили высоко в поднебесье. Рядом с нами мерцали звезды. Держа друг друга за руки, мы пролетали сквозь тучи. Иногда случалось, что из-за плотных туч неожиданно появлялся толстый Маймурун, вырывал из моих рук Алтын и исчезал вместе с ней. Обессиленный от неравной борьбы, я стремглав летел вниз к земле и просыпался, падая с кровати на пол. Убеждался, что мои несчастья происходили во сне, и несказанно радовался этому обстоятельству. Я взбирался на кровать, закрывал глаза, пытаясь снова увидеть свои недавние сны. Но как бы плотно я ни смыкал веки, сладкие видения уже не возвращались. Вместо них приходили другие, в которых я спасался от преследований то страшного чудовища, то огромного змея, то кривого Маймуруна. И опять просыпался, измученный, с сильной головной болью, долго лежал в постели с открытыми глазами, не понимая, где нахожусь.

Есть люди, которые не любят пасмурную погоду. А для меня ненастье было благодатью. Кто что любит. Я садился у окна, смотрел на морозящий бесконечный дождь и предавался долгим мечтам...

Жарыкжудыз решал задачи. Горбатый уплетал хлеб. Я сидел у окна. По небу безостановочно и быстро плыли тучи. Последние дни месяца караша¹. Быстрый холодный ветер гнал по улице мусор: жел-

¹ Караша — ноябрь.

тые листья, сухие стебли трав, обрывки бумаг. Перед окном качалась старая береза, над ее кроной шумно летала стая ворон в тщетной попытке устроиться на ночлег. У комля дерева задержался лист бумаги. Может быть, это один из тех листков, на которых записаны мои неудачные стихи?

Да, я снова начал писать стихи и писал много. И все они были посвящены Алтын. Под этой старой березой мы втроем — Жарыкжүлдүз, Алтын и я — готовили уроки, заданные на дом. Под этой старой березой доверяли друг другу свои мечты. Под этой березой я впервые написал коротенький рассказ, тоже посвященный Алтын. Но никто, кроме меня, не ведал о том рассказе. Алтын я так и не осмелился показать очередное свое творение.

Той незабываемой осенью из Алма-Аты, закончив институт, вернулся в аул Алматай, младший брат Маймуруна. Стал преподавать литературу в старших классах. Это был худой, среднего роста смуглый джигит лет тридцати. Глаза у него были большими, чистыми и печально светились под высокими бровями. Рядом с кадыком виднелся рубчатый шрам от какой-то давней болячки, величиной с рыбью чешуйку. Естественно, эта отметина и дала повод для прозвища, на которые интернатские ребята были весьма горазды. Не успел он после приезда оглянуться по сторонам, как его уже называли Тыртыком — корявым. Отличался он немногословностью: то ли от природы был сдержанным человеком, то ли решил держаться с нами осторожно. Не позволял себе кричать на учеников. Кроме классного журнала, он ничего не держал в руке: ни книги, ни тетради. Уроки знал наизусть, говорил без единой запинки, что вызывало у нас уважение.

Не знаю почему, но с первого же дня Алматай пришелся мне по душе. Я с нетерпением ждал его урока и внимательно слушал всё, о чем он говорил. Мне тоже хотелось показать себя, и я не упускал случая задавать вопросы, часто перебивал его и то и дело вызывался отвечать на уроках. Но, что странно, как бы старательно я ни отвечал

ему, он не ставил мне никогда оценки выше четверки. Это было тем более удивительно, что иные мои одноклассники получали «отлично», не осмыслив материал, а просто-напросто заучив его наизусть. Однако учитель смотрел на это сквозь пальцы. Его отношение к знаниям учащихся вызывало у меня и огорчение, и осуждение.

Однажды Алматай — я не мог называть его Тыртыком — оставил меня после урока. Я учился во вторую смену, на улице уже стемнело, было поздно. Он плотно притворил двери и сел рядом со мной. Положил руку мне на плечо и молча стал смотреть в лицо. Взгляд его был пристальным. Прошло несколько томительных минут, прежде чем он заговорил.

— Мальчик, мне кажется, ты торопишься стать взрослым, — сказал он вдруг.

Я не понял, что он имел в виду. На его лице ничего нельзя было прочесть: ни одобрения, ни тени досады, ни намека на иронию. Он отвел в сторону печальные глаза и остановил взгляд на носках своих сапог. Длинные пальцы рук прошлись по моему плечу и коснулись волос. По моему телу прошла дрожь, словно бы его коснулась холодная ртуть. Я невольно ударил его по руке. Он, видимо, и сам не замечал того, что делает, спохватился и, смутившись, отодвинулся от меня.

— Алтын — твоя родственница? — спросил он негромко.

— Нет.

— Может, вы из одного аула?

— Нет.

Алматай поднялся, прошел к столу и, стоя спиной ко мне, стал листать журнал. Потом снова повернулся ко мне.

— Ты не обижаешься на меня?

— За что?

— За оценки, которые я тебе ставлю.

— Нет.

— А если откровенно?

— Нет.

— Это хорошо. Ты не сравнивай себя с другими. Я знаю как свои пять пальцев, кто насколько усваивает материал. Кто-то всего-навсего хочет закончить школу. Такому нужна оценка — и только. А кто-то... Ты ведь мечтаешь стать литератором, не так ли? Меня это устраивает, Касым. Твою мечту нельзя оценивать «тройкой» или «четверкой». Главное — твоя любовь к литературе. Ты подумал об этом?

— Не знаю.

— Я слышал, ты пишешь рассказы.

— Кто это вам сказал?

— Камшабай.

— Нет, не пишу.

— А если честно? — он пристально взглянул на меня.

— Не писал.

— Ну хорошо... Кого из писателей ты любишь? Кого больше читал?

— Читаю все, что достаю.

— Я дам тебе интересную книжку. Если, конечно, захочешь прочесть.

— Прочту.

— Тогда пойдем ко мне...

Впервые я оказался в доме Маймуруна. Он был весь обставлен мебелью и убран коврами. От вещей негде иголке упасть. Я по инерции шагнул в комнату и замешкался, взглянув на свои грязные огромные ботинки, потом отступил к порогу.

В доме только что закончили ужинать. Маймурун, словно холм, возвышался на почетном месте, возлежал, подложив под локоть две-три подушки. Рубашка его была расстегнута, верх майки черен от пота и казался тряпкой, через которую процеживали грязную воду. От сосков до пупка тянулись влажные черные полосы. Маймурун перевернулся, взял махровое полотенце, лежавшее у изголовья, скомкал его, затолкал под мышки, стал энергичными движениями вытирать

пот. Жена его, уносившая полный поднос баурсаков на кухню, увидела меня у порога и удивленно остановилась.

— Ты зачем пришел? — затем Куляш понимающе кивнула, взяла с подноса пригоршню баурсаков и сунула их мне. Можно было подумать, что я пришел просить подавание. Я готов был одним пинком отправить и ее саму, и ее поднос ко всем чертям, но что-то удержало меня в самую последнюю минуту. Вернее, меня остановили слова бабушки, просившего не делать ничего такого, что лишило бы меня возможности учиться в интернате.

Я повернулся к двери, готовый уйти, но в это время из боковой комнаты вышел Алматай. Он окинул сноху строгим взглядом и спросил меня:

— Ты куда? Проходи в комнату! — Алматай взял меня за рукав и почти силой затащил в свою комнату. Придвинул ко мне стул и крикнул в дверь: — Принесите нам поесть!

Не прошло и минуты, как поднос оказался перед нами. Поверх баурсаков лежала холодная баранина. Алматай проводил Куляш хмурым взглядом и снова обратился ко мне:

— Ну, давай ужинать!

Но я даже не протянул руку к еде. Не мог забыть, как несколькими минутами раньше меня унизили в этом доме. Все тело мое было напряжено. Алматай, кажется, понял мое состояние, взял кусочек баурсака, нехотя пожевал его и отодвинул поднос в сторону. Поднялся, шумно оттолкнув стул к стене, и вытащил из-под кровати большой чемодан, выделанный под крокодиловую кожу. Открыл его, порывшись в вещах, вынул и положил на стол потрепанную книжку. На выдавшей виды обложке была надпись латинским шрифтом: «Казахский язык». Книга не вызвала у меня особого воодушевления, потому что я уже держал в своих руках подобную, и даже поновее. Странно, подумалось мне, стоило из-за этой книги звать меня домой. Алматай, видимо, понял мои мысли.

— Это и есть та самая интересная книга, которую я тебе обещал, — сказал он. — Смотри не потеряй. Эту книгу подарил мне мой

самый близкий друг. И еще одна просьба: не показывай ее никому, даже родному отцу. Прочти и верни мне в руки, понял?

— Понял, — ответил я

— Вот и хорошо.

Я засунул книгу за пазуху и отправился в школу.

Я полистал книжку и не нашел в ней ничего необычного. Прочитал первые несколько страниц, разобрался в методе словообразования, изложенном в ней, и понял, что она написана оригинально, но не больше. Зачем же он предложил мне этот учебник? В конце десятой страницы предложение обрывалось, следующая страница отсутствовала, а двенадцатая начиналась так: «Когда мы покидали родные места, время приближалось к полудню». Эта страница была зачитана донельзя, пожелтела, местами заклеена. Я начал читать дальше: «Быстрые темные тучи сплошной чередой, будто караван, уходили на юг, солнце постепенно выплывало из-за них и роняло на землю теплые лучи. И все же холодный ветер, дувший слева, пронизывал одежду и пробирал насквозь тело, как бы напоминая путникам, что наступил сентябрь. Нас было двое». Точно так начинался рассказ, я до сих пор помню наизусть эти строки. Даже не только начало, а весь рассказ хорошо помню.

Не знаю, до какого часа я читал книжку, но осталось в памяти глубокое сопереживание, которое я испытал вместе с автором. «Настоящий человек эта Шута!» — повторял я мысленно, прощаясь с героиней произведения. Наверное, я просидел бы за книжкой до самого утра, если бы меня не выгнал из школы ночной сторож. Я снова засунул ее за пазуху и отправился в общежитие. Отныне я ночевал с этой книжкой, словно с невестой, носил под рубашкой, прятался с ней под одеяло и в конце концов за неделю прочел ее от корки до корки.

В книге не были указаны ни имя автора, ни название рассказов. Даже трудно было установить, где кончалось одно произведение и где начиналось другое. Иногда в самом интересном месте тот или иной рассказ обрывался, затем шли правила грамматики — они тя-

нулись на несколько страниц, как бы уводя читателя, заставляя его думать о том, что перед ним учебник, — а потом снова шел текст рассказа. Я читал книжку не отрываясь, словно отощавший после голодной зимы ягненок, дорвавшийся до первой весенней травы.

Перед моими глазами как бы ожили картины жизни родного аула. Я окунулся в водоворот жизни, в которой было полно и хорошего, и плохого, в которой жили и боролись за светлое будущее старики и молодые, люди крутого нрава и нежной души, несправедливые и честные, яростные и смирные. Я плакал от того, что Шуга умерла от тоски, горевал вместе с бедолагой Абдрахманом, был рядом со стариком Айракбаем, похожим на моего Шала, и со старой женщиной Раушан, как две капли воды напоминающей мою бабушку Каншайим, слушал беседы Айдарбека и Зейнеп, словно бы сидя с ними рядом у очага, был благодарен Амиржану за его умные слова и точные мысли, смеялся от души над проказами джигита Курымбая. Это был огромный и динамичный мир! Я, можно сказать, забыл о себе. Мысли мои словно бы обрели крылья. И одновременно я жалел, что не довелось мне принять участия в той жизни, которую так блестяще и тонко изобразил автор. Жалел, что не родился раньше эдак лет на пятнадцать-двадцать. Кто же этот человек, который так мастерски отобразил жизнь степняков, время, охватывающее почти четверть века? Он преподнес читателю большую и интересную историю так, словно бы налил с краями кумыса в тегене и поставил полную чашу перед читателем. Пожалуйста, утоли свою жажду, напейся этого живительного напитка. Здесь есть и вкус, и цвет, и дыхание жизни, ничто не утеряно, не забыто, не расплескано ни одной капли. Я перечитал рассказы несколько раз, а «Памятник Шуге» даже переписал в свою тетрадку.

Потом я задался вопросом: а почему Алматай прячет эту книгу? Почему обложка книги не соответствует ее содержанию? Отчего рассказы размещены таким образом, что не сразу догадаешься об их наличии? Я думал над этой головоломкой несколько дней и ночей под-

ряд. Как и договаривались, я отнес книжку Алматаю, передал ее из рук в руки. Потом спросил у него о том, что меня мучило. Алматая мои вопросы ничуть не удивили. Он взял у меня книгу и в свою очередь спросил у меня:

— Ты читал Чехова?

— Немного.

— Тогда считай, что ты прочел произведения казахского Чехова, — ответил мне Алматай.

— А жив он сейчас?

— Узнаешь в свой срок, Касым.

Больше он ничего мне не сказал. Я вернулся в общежитие, и теперь моей заботой стала тетрадь, в которую я переписал рассказ. Я не доверял ее ни себе, ни товарищам. Раскроил свою стеганую фуфайку, заложил тетрадь под ватную подкладку и сверху зашил толстой холщовой нитью. Так, мне казалось, мое сокровище будет в полной сохранности. Днем фуфайка была на мне, ночью лежала под моей головой. Дело дошло до того, что ночью, услышав малейший шорох, я хватался за телогрейку, боясь, что кто-то попытается украсть у меня любимый рассказ. Улучив свободное время, я уходил за аул, распарывал фуфайку, вынимал тетрадку и снова перечитывал «Шугу». Потом мечтал о встрече с автором. Мне хотелось рассказать ему о своих впечатлениях и показать свою тетрадь. Я полагал, что он живет в Алма-Ате, и если бы я оказался в столице, то непременно отыскал бы его. Но прошло целых десять лет, прежде чем я узнал всю правду об авторе полюбившихся мне рассказов¹.

Бывают часы, когда человек не находит себе места, им овладевают какие-то смутные, беспокойные чувства. Он живет ожиданием чего-то необычного, того, что успокоило бы душу, принесло чувство полного удовлетворения. Какая же это необъяснимая сила, которая так волнует человека и влечет его вдаль? Может, имя этой силе —

¹ Автор «Памятника Шуге» — известный казахский писатель Беимбет Майлин.

любовь? По моему убеждению, на этот вопрос не могли бы дать исчерпывающего ответа ни мудрец, знающий тайны бытия, ни поэт, которому ведомы душевные потрясения человека. Лучше исходить из самой природы человеческой натуры, из самого чуда земной жизни, устремленной вдаль, вперед и к надеждам.

Меня увлекла эта неизбывная жажда жизни, которую, кстати, трудно передать на бумаге. Слабость человека и заключается в том, что порой свои самые сокровенные мысли он не способен выразить полно. Больше того, мысли и чувства, которые волнуют тебя, могут оказаться самыми заурядными для людей, окружающих тебя. В пору моего детства я не встретил ни одного человека, который верил бы в то, что я стремлюсь стать той живой душой, в круг забот которой входило бы решение самых сложных вопросов человеческого бытия. Никто не верил, что меня волнуют именно эти проблемы.

Впрочем, это вполне объяснимо. Я был сиротой, который мечтал получить образование и стать полноправным человеком. Кто этого не желает? Заботу о моей учебе взяла на себя страна; о чем еще может мечтать мальчик, выросший в маленьком захудалом ауле? Живи, учись, набирайся ума-разума... Ты еще мальчик... Наверное, и Алтын воспринимала меня как глупого мальчишку, который еще не способен составлять свои суждения о жизни. В самом деле, она относилась ко мне, как к своему младшему братишке. Она больше жалела меня, чем тянулась ко мне как к близкой душе, желала мне удачи, но никогда не делилась со мной сокровенными мыслями как с человеком, равным себе. Вряд ли она чувствовала, как горячо и беспокоило бьется мое сердце, когда я вижу ее. А если и чувствовала, то наверняка принимала это за наивное мальчишеское влечение, за проявление той детской дружбы, которая сопутствует нам в нашей школьной жизни.

Единственным человеком из взрослых, который, как книгу, читал мои мысли, был Алматай. Но и он выказывал это не словами, а взглядом. Даже после того как я прочитал и вернул ему книжку, Ал-

матай не снизошел до откровенного разговора со мной. Он был довольно-таки скрытным, немногословным человеком и мне представлялся весьма загадочной натурой.

Да, он был для меня таинственной фигурой. Я видел в нем человека, подверженного глубоким размышлениям, о чем, как мне казалось, свидетельствовал взгляд его умных и всегда печальных глаз. Вообще, во всем его неприметном и вялом облике глаза являлись тем единственным притяжением, что невольно привлекало к себе любого человека, который встречался с ним. Вся жизнь его, казалось, заключалась в этих глазах — глубоко сидящих, цепких, словно пронзавших человека насквозь. Эти глаза во время уроков следили за каждым нашим с Алтын движением. Я ждал, пока Алтын уточняла у подруг домашнее задание, — черные печальные глаза жадно и требовательно смотрели на нас; я слушал, как Алтын разъясняла девочкам новый материал, заданный на дом, — черные печальные глаза неотрывно и строго фиксировали малейшее наше движение. Алматай мог в это время что-то рассказывать или отвечать на чей-либо вопрос, но сосредоточенный взгляд его не выпускал нас из поля зрения ни на миг. Эти глубоко сидящие, немигающие черные глаза читали мысли человека, оставляли тебя беззащитным, как бы вывернутым наизнанку. Я невольно напрягался и уставал от этого назойливого и одновременно проникновенного взгляда. Алтын тоже стала чувствовать себя неловко от такого непрошеного и излишнего внимания к нам со стороны Алматая. Стоило мне хоть немного расслабиться, допустить хоть самую малую вольность на уроке, как она наступала под партой на мой ботинок, давая знать, что за нами следят.

Алтын резко выделялась среди своих сверстниц, не была так беспечна и беззаботна. В школу она ходила аккуратно, прилежно училась, а после занятий, ни с кем не общаясь, не задерживаясь в пути, шла в общежитие. Приподнимет лопатки, втянет голову в плечи и идет, не поднимая глаз от земли. Словно что-то давит на нее, лежит

непосильным грузом. Иногда с наступлением сумерек она приходила в школу, открывала двери и долго бродила одна по пустым классам. Мы с Жарыкжудызом, беспокоясь за нее, тоже направлялись в школу, но следом за нами приходил и Алматай. Он молча наблюдал за нами и так же молча уходил домой. Нам думалось, что он специально следит за нами, как в те дни было принято в интернате. Странно относились здесь к тому, что кто-нибудь из мальчиков появлялся рядом с девочкой. Начинался страшный переполох, учителя и воспитатели тут же принимались обсуждать такие случаи как из ряда вон выходящие. Самую заурядную встречу мальчика с девочкой воспринимали, по крайней мере, как соседство волка с овцой — всякий раз ждали неминуемой беды. Нам приходилось из-за этого общаться с девочками только во время классных занятий. В противном случае мы рисковали попасть под обсуждение на классном собрании или, еще хуже, на заседание педсовета, от которого, конечно же, ничего хорошего ждать не приходилось. Наши наставники, которые на уроках «засевали» нас семенами истинной дружбы и человечности, сплошь и рядом делали все, чтобы разделить нас на два противоположных лагеря, едва речь заходила о взаимоотношениях мальчиков и девочек, методично убивая в нас проявление первых чистых чувств друг к другу. Когда я вспоминаю о той далекой детской поре, мое сердце теснит обида, потому что такое отношение к нам со стороны учителей и воспитателей привело к тому, что мы постоянно задирали девочек, дразнили и обижали их, а иногда и унижали неосторожным словом. Девчонки тоже вели себя неискренне, ахали и охали, услышав от нас какое-нибудь слово, дающее повод возомнить о каком-то интиме, демонстративно затыкали уши, убегали из класса, словно пугливое стадо сайгаков, почуявших опасность. И все это делалось лишь для того, чтобы выглядеть «пристойными» в глазах педагогов. Теперь я думаю, сколько было убито, задушено в те дни первых чувств, которые не разгорелись чистым огнем, не увлекли наши сердца полудетским стремлением к возвышенному, неповто-

римому обожанию избранницы! Я снова вижу пытливые и любящие глаза, слышу стук наших сердец, мысленно произношу слова, которые тогда теснили грудь. Может быть, думаю я, мы потеряли в себе те искры, которые со временем привели бы к осознанной дружбе, сложили бы в будущем крепкие и любящие семьи.

В душе человеческой тоже бывают свои зимы и лета, ее студят бураны и согревают солнечные погожие дни. На всю жизнь сохраняются в ней однажды зароненные теплые слова, запоминаются единственный взгляд, одно трепетное движение, памятный жест. Они приходят на память потом, в пору твоей взрослой жизни, как неумирающий отголосок начала твоего пути, как спасение, как животворные токи твоего неустанного движения по линии судьбы. Все то, что потом не повторяется в человеческой жизни, как бы она сполна ни отмерила тебе и хорошего, и плохого. В долгом восхождении по жизни наличествует одна завязь, один-единственный узел, который удержит тебя, когда придет нечеловеческая усталость, если придется падать, сорвавшись с высоты. Озарение этого мига придаст тебе новые силы, доказывая неизбежность человеческого духа и неистощимость человеческой души.

Наверное, я был еще несмышленищем, и я плохо помню ту первую долгую зиму, которую прожил в интернате. Она почти совсем не осталась в памяти.

И сейчас, когда я еду на подводе, которой управляет уже взрослая Алтын, я чувствую себя человеком, тщетно пытающимся свести концы порвавшегося аркана. Хочу оставить это бесполезное и горькое занятие... Пусть читатель простит меня за то, что я перескакиваю на другую тему, вернее, перехожу на другой временной отрезок жизни Алтын, Алматая, Жарыкжудыза и Горбатого...

Поздно приходит весна на Алтай, будто вдоволь испытывая терпение всего живого. Но зато она под корень рубит остатки зимы; разом обрушивает на землю столько тепла, что вокруг все теряет голову, испытывает неизведанное блаженство, забывается в сказочной не-

ге. Земля покрывается такой нежной сочной зеленью, что снежные вершины Алтая в удивлении застывают перед этим буйством весны, словно и не соседствовали всю жизнь с густым таежным лесом, в плотные зеленые чащи которого порой и собака не может просунуть свою морду. Волшебство весны! Чудо, которое вызывает у человека бесконечное восхищение, рождает в нем трепетное удивление. В эту пору родные места становятся мне особенно близкими и дорогими до слез.

Мой аул находится на Алтае. Долгой зимой он замкнут в себе, будто погружен в глубокий сон, а весной с первыми солнечными лучами мгновенно оживает. Мы снимаем с себя тяжелую, надоевшую за зиму одежду, прощаемся с печкой, которая грела нас в долгие вьюжные ночи.

Весной трудно мириться с наступлением экзаменов, тянет на природу, и приходится собирать всю силу воли, чтобы удержать себя в четырех стенах класса. День воспринимается как целая неделя, а неделя тянется словно долгий месяц. Но всему свой черед: завершается учеба, сдаются последние экзамены, и учащиеся разъезжаются по домам. Стихает школьный двор, замирает жизнь в общежитии. Остаемся только мы, несколько круглых сирот, словно хромые овцы, которые забыты в кошаре, а вся отара устремляется на вольные выпаса. Какой бы заботой ни окружила тебя страна, но трудно и горько сознавать, что у тебя нет родителей, которые ждали бы тебя с распростертыми объятиями. Застывает душа от одиночества. Горечь заполняет грудь и жжет, точно огнем. Чувствуешь себя так, словно кто-то обидел тебя, находит печаль, увлекает в свои тенета. Тут самое незначительное слово окружающих задевает сердце, снова и снова напоминая тебе о твоей сиротской доле. Я заметил, что сироты — народ чувствительный и замкнутый, требуется немало сил, чтобы вызвать такого ребенка на откровенность, завоевать его душевное расположение.

До сих пор отчетливо помню то жаркое лето, когда мы косили сено. Ютились в шалаше. Мы с Жарыкжудызом на серой кляче

Кокшولاке сгребали сено в копны, а во время короткого перерыва доставляли с колхозной фермы молоко и айран — наш нехитрый обед.

Кокшولاке отнимал у меня все силы, можно было подумать, что он создан природой именно для того, чтобы изматывать людей. В народе говорят: «Ведешь клячу к жилью, а она норовит удрать в пустыню». Так вот, Кокшولاке был классическим воплощением этого изречения. Как бы ни путали ему ноги, как бы ни смотрели за ним в оба глаза, куцехвостый все же умудрялся забираться то в колхозные посе́вы, то на интернатскую бахчу, а то и вовсе убегал в аул и забивался там в сарай, где по колено стояла вонючая навозная жижа. Если Кокшولاке убегал, его трудно было догнать, если же исчезал, то, как говорится, ищи потом ветра в поле. Спину клячи покрывала сплошная короста, и на Кокшولاке нельзя было сесть без попоны, а вести этого упряма на поводу было почти невыносимым.

...Я спал сладким предутренним сном, когда кто-то выволок меня из постели за ноги. Это был наш завхоз Зейнулла. Вид у него был свирепый. Он обрутал меня грязной бранью, бросив при этом несколько крепких слов в память моего отца, кости которого уже давно истлели в земле. Оказалось, наш Кокшولاке снова разорил бахчу. Я начал было доказывать свою невиновность, но Зейнулла хлестнул камчой по моим босым ногам, обвинив меня теперь уже в непослушании, что в его глазах являлось чуть ли не смертным грехом. От шума проснулись ребята. Из соседнего шалаша высыпали девочки. На помощь мне бросилась воспитательница Камиля.

— Что ты тут кричишь? — накинулась она на Зейнулла. — Скотина — она и есть скотина! Что ты хочешь, чтобы мальчик не спал и ночью сторожил эту клячу? Не жеребись, понял!.. Как тебе не стыдно поднимать руку на бедного сироту!

— Меня поставили не для того, чтобы я вел счет сиротам! И мне не указ слова разных там хромоногих вековух! — Зейнулла не упустил случая подчеркнуть то, что Камиля-апай была хромой и одинокой женщиной. — Я знаю свое дело! У нас должен быть порядок!

На глазах воспитательницы выступили слезы. Она с минуту молчала, не зная, как ответить Зейнулле, который не имел даже понятия о таких чувствах, как снисхождение и уважение к людям.

— Пусть бог накажет тебя за это! — сказала она негромко и, отвернувшись, стала ворошить золу щипцами, отыскивая угли. — Такое не остается безнаказанным!..

— Еще раз увижу скотину на бахче, не жди пощады! — красные от злости глаза завхоза, обложенные серой гнойной нитью, чуть не вылезли из орбит. В шалаш забежал рыжий щенок Камили-апай и сунулся к посуде, стоящей у очага, но тут же отлетел от пинка. Удар разбухшего от росы кирзового сапога завхоза был тяжелым, бедный щенок с диким визгом вылетел в дверной проем и опрометью кинулся в соседний шалаш. Тут же к нам вбежала Алтын. Должно быть, она только поднялась с постели, потому что волосы ее были заплетены наполовину, а из расстегнутого ворота платья виднелся верх лифчика, стягивающего тугие груди и оттеняющего ее белое тело. Забегав в шалаш, она мигом вырвала из рук Зейнуллы камчу.

— Вы что позволяете себе — точно волк, забравшийся в овчарню? — бросила она ему в лицо. — Кого вы из себя строите?! Садитесь на коня и уезжайте, пока целы!

— У... У... У тебя, я вижу, зубки прорезались?! — растерялся Зейнулла от неожиданного натиска. Но тут же пришел в себя и, набычившись, двинулся на Алтын. Однако она не стала дожидаться, что он еще выкинет, выбежала наружу и несколько раз огрела камчой по голове коня завхоза, который был привязан к дереву. Конь отпрянул назад, порвал чембур и, фыркая, понесся прочь.

Зейнулла чуть не лопнул от злости. Но сказать что-нибудь резкое девушке не осмелился и, весь темный от злости, убрался, тяжело топая сапогами. До нас донеслись слова, которые он бормотал на ходу:

— Я еще рассчитаюсь с тобой, негодная!.. Я еще покажу тебе!.. — он не стал даже возвращаться за камчой, как положено мужчине, не допускающему, чтобы плетка осталась в чужих руках, тем более женских.

Я готов был провалиться от стыда сквозь землю. Какой я был слабый, нерешительный! И надо же — не ребята защитили меня, а Алтын! Слабенькая девочка не только заступилась за меня, но и обратила в бегство моего обидчика. Я чувствовал себя униженным, жалким и ничтожным. Мне было стыдно.

Из-за холма поднималось солнце. Пошла на убыль утренняя прохлада. Ребята уже косили сено, из ближнего леса слышалось жужжание пилы. Я лежал в шалаше, сжавшись в комок. Камиля-апай два раза заходила в шалаш, предлагая мне позавтракать, но я не поднимался с постели.

— Обидевшись на вошь, в огонь шубу не бросают! Вставай, Касым, поешь! Пора ехать на ферму за молоком, иначе останемся без обеда, — выговаривала она мне, хлопоча снаружи. — Приехал Камшабай, его послали косить сено. Наверное, вы с Алтын поедете ему помогать.

Извилистая черная дорога. Повозка катилась, чуть покачиваясь. Река высохла, роем вились комары, появившиеся с первым теплом. Кокшолак шагал, беспрестанно отмахиваясь от них куцым хвостом. В земляных кучах, наметенных на развалины домов, некогда стоявших по обе стороны от дороги, возились пестрые лесные мыши, собирая сухие кедровые почки. Одна, испугавшись чего-то, оставляла зеленый комочек и скрывалась в расщелине, но почку подхватывала тут же другая мышь и спешила к своей норке. Дятел стучал по стволу; иногда, переставая долбить дерево, вытирал длинный клюв о кору. Создавалось ощущение, что он не чистит клюв, а точит его. Какая-то маленькая серая с желтым горлышком птичка сопровождала нас, прыгая с ветки на ветку, похоже, рядом находилось ее гнездышко. Алтын сидела, свесив ноги сбоку повозки, и тихо напевала какой-то мотив.

В последнее время она была не в настроении. Покою ее лишило семейство Алматая. Все началось в конце учебного года, когда Маймурун попытался не допустить ее к экзаменам по истории. Потом

вмешалась его жена Куляш, добилаь у мужа, чтобы он выставил Алтын удовлетворительную оценку. Но с этого дня она под разными предлогами стала забирать Алтын в свой дом и заставляла работать по хозяйству. А сейчас в косе уже целую неделю вертелся Алматай. Он помогал сгребать сено и копнить его, но при этом старался держаться рядом с Алтын, чтобы перемолвиться с ней хотя бы парой слов. Теперь пришла моя очередь следить в оба глаза за каждым его движением. Меня мучила ревность, и я не мог равнодушно смотреть на Алматая. «И чего он тут выискивает? — недовольно думал я. — Что ему надо от нашей Алтын?»

Алматай и Алтын укладывали сено на волокушу, а я на Кокшолоке оттаскивал его к месту, где возводили стог. Я всякий раз нещадно хлестал коня, чтобы быстрее вернуться обратно. «С нас пот льет градом, дал бы немного передохнуть», — просил Алматай, но я, услышав его слова, еще быстрее подгонял Кокшолока. Упрямство заволокло меня. До самого вечера я работал не помня себя и успокаивался только тогда, когда Алматай уезжал на ночь в аул.

Однажды, вернувшись в очередной раз от стога, я увидел, что Алтын плачет. Алматай быстро уходил прочь по тропинке. Спросить о причине слез я не решился и присел рядом с ней у копны. Алтын не вытирала слез, словно не замечала моего присутствия. Я подождал немного, ковыряясь в земле, потом сам накидал сена на волокушу и потащил его к стогу. Но когда снова вернулся назад, Алтын встретила меня с улыбкой. На ее оживленном лице не осталось и следа от недавних горьких слез и невыразимой тоски. Вообще, характер у Алтын был переменчивый, она мгновенно вспыхивала и так же быстро остывала; если минуту назад лицо ее было холодным, то спустя самое короткое время излучало радость, задумчивость сменялась приветливостью. И все же мне показалось, что за ее ясной, светлой улыбкой скрывается тревога.

Вечером она собрала вокруг себя девушек и долго пела песни, все они были грустными, печальными. Алматай же больше не появлялся на поле...

Алтын все напевала какой-то незатейливый мотив. Он напоминал нескончаемую песенку шутника Алдара Косе, которую тот затягивал, чтобы испытать терпение людей, которые ему не нравились. Я сидел, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не оглянуться на нее, не посмотреть на выражение ее лица. Вот раздался шорох сена, видно, пересела или сошла с повозки. Потом я почувствовал над своей шеей горячее дыхание. Я никогда не думал, что дыхание человека может быть настолько горячим. Показалось, будто меня обдало огнем, по телу прошла дрожь. Сейчас она, наверное, что-то скажет мне. Но что?

— Касым?

— Да.

— Скажи, почему ты молчишь?

— Просто так...

— Уступи мне вожжи.

— Зачем?

— Ты отдохни. Устал, наверное, хлестать Кокшолака, — Алтын села рядом и забрала из моих рук вожжи и прут. — Отдохни немного.

Повозку качнуло на ухабе, и Алтын задела меня локтем. Меня охватила дрожь. Целый год мы сидели за одной партой, готовили вместе уроки, ходили рядом, но такого опьяняющего чувства я ни разу не испытывал. Я готов был пуститься в нескончаемое путешествие на этой трясучей подводе, запряженной ненавистным мне Кокшолаком, лишь бы рядом всегда сидела Алтын. Как бы поведать ей об этой мечте?

— Да-да, отдохни немного, — повторила она снова. Обернулась ко мне и рассмеялась. Обозначились ямочки на щеках, а щеки порозовели больше обычного: — Разложи сено, ложись, а голову положи мне на колени...

Я ничего не видел, кроме ее чистых ясных глаз над собой. Весь мир теперь заключался для меня в этих глазах. У меня закружилась голова. Легкое облачко как бы прыгало в такт ходу повозки, временами надо мной возникали кроны высоких лиственниц, покачиваемые

ветром, а еще выше раскинулось голубое небо, чистое-пречистое, как глаза Алтын, а в нем черной точкой парил орел — точь-в-точь сверкающий темным таинственным светом зрачок в глазах Алтын. Я лежал на спине и не отрывал глаз от орла. Лежал неподвижно, боясь, что эта картина может исчезнуть, испариться от одного моего неловкого движения. Даже думать стал осторожно. А сердце билось гулко, оно прямо-таки плясало, готовое вырваться из груди.

Повозка тихо покачивалась, лиственницы провожали нас, плавно колыхаясь кронами. Ясное небо опрокинулось над нами. Орел уходил все выше. Я закрыл глаза. Все та же картина: ясное небо, орел, парящий в поднебесье, улыбающиеся бездонные глаза Алтын... Я ощутил на лбу горячую ладонь. Алтын провела рукой по моим волосам. Лицо мое запылало.

— Касым?

— Да...

— Скажи, почему ты молчишь?

— Просто так...

— О чем-то мечтаешь?

— Да...

— О чем?

— Не знаю... А почему ты сама молчишь?

— Тоже мечтаю.

— О чем?

— О тебе... Мечтаю увидеть тебя через десять лет, когда ты станешь настоящим человеком. По душе тебе моя мечта?

— Да...

— Кем ты хочешь стать?

— Не знаю...

— Малыш ты еще, Касым. Иначе не сказал бы, что не знаешь. Окончишь школу, возможно, поедешь в Алма-Ату. Кем же ты станешь? Учителем, инженером или писателем? Есть же у тебя мечта, Касым?

— А сама ты кем хочешь стать?

— Мы-то что... Нам сойдет, что достанется. Выбирать не придется, — Алтын вздохнула. Я открыл глаза. Она пристально смотрела на меня, опершись локтем о мою грудь. Обе косы ее свешивались с груди, у меня защекотало в ноздрях от запаха ее волос, выгоревших на солнце. Я видел над собой ее ясные глаза, тонкие дуги бровей, беспокойно шевелящиеся полные губы. Меня снова обдало жаром. И вдруг мне захотелось поделиться с ней своими самыми сокровенными мыслями.

— Алтын...

— Да?

— Хочешь, я тебе скажу...

— О чем?

— О своей мечте.

— Нет, не надо! Нет! — Алтын наклонилась и поцеловала меня в губы. — Тебе достаточно и этого, — потом крепко обняла меня и прижала к себе. И я вдруг заплакал, спрятав лицо у нее на груди, задышавшись, стараясь не дышать. Плакал долго, горько всхлипывая... Наверное, это было проявлением моих первых мальчишеских чувств, моим ответом на вопросы Алтын. А может, те слезы были моим признанием и одновременно признательностью за первую ласку, которую довелось испытать мне в жизни. Видимо, и то и другое. Я неосознанно чувствовал, что лишаюсь сейчас Алтын, что она недостижима для меня, как сильная птица, которая описывает круги, уже исчезая в небесной сини. И нет ей возврата из своей стихии...

В кос я вернулся один. Алтын осталась в ауле. Она не хотела оставаться, но на этом настояла жена Маймуруна, как всегда нашедшая работу в своем доме. Вернулся я не в духе. На душе было беспокойно, не хотелось даже есть. К вечеру распогодилось, небо обложило тучами, а с наступлением сумерек пошел дождь с градом. Мы заранее накрыли шалаш толстым слоем зеленой травы, чтобы не протекала крыша, и легли спать в тот вечер непривычно рано. Всю ночь шел не переставая сильный дождь, и до самого утра я ворочался в постели не в силах заснуть. Беспокойные мысли не отпускали мое сердце.

Калихан Искак

— Ойбай, Алматай похитил нашу Алтын! — раздался чей-то крик под самое утро. — Увез нашу голубушку!..

Я опрометью выскочил из шалаша. Следом за мной выбежал Жарыкжудыз. Мы вдвоем бросились к шалашу, где жили девушки. Кричала, оказывается, Камиля-апай, которая после ужина ушла в аул постираться и вернулась под утро.

— Несчастное дитя, и без того ей жилось несладко! — причитала она, вся во власти гнева. — С малых лет осталась без родителей, с лихвой познала сиротскую жизнь! Вот она — сиротская доля! Как мог Алматай?.. Это все придумал Маймурун!..

Я застыл, словно оглушенный молнией. Что было дальше со мной, не помню. Позже мне рассказали, что я схватил длинный кухонный нож Камили-апай, которым она нарезала хлеб, и бросился бежать в сторону аула. Вроде бы кричал, что выпущу кишки Маймуруну. На полдороге меня, оказывается, догнали на коне Жарыкжудыз и Горбатый и привезли обратно в кос, перекинув через седло. Не будь их, наверное, не миновать бы мне беды.

В шалаше был полумрак, когда я пришел в себя и открыл глаза. Дул ветер, и шел мелкий дождь. В горах временами грохотало, словно надвигался сель. Лес гудел. С крыши капало. Кто-то с шумом набросил на шалаш охапку сена, на пол полилась струйка воды, потом капать перестало. Возле меня лежал ничком Жарыкжудыз, положив под щеку ладонь. Видно, задремал незаметно для себя. У изголовья белел листок бумаги. Я взял его и увидел, что на нем набросаны стихи. Почерк принадлежал Жарыкжудызу.

Милая Алтын, благородная,
Как нежданно покинула нас!
Ты чужую постель, холодную,
Обливаешь слезами сейчас.
Всем я сердцем своим любил тебя,
Клятву верности дав навсегда,
И в печали теперь клянусь себя:

Калихан Искак

Не увидеться нам никогда!
О судьба моя — жалкая доля,
Что ж я жаждал твоих перемен?
Заточила мечту ты в неволю,
Не дала и надежды взамен.
Неужели ты мне изменила,
Юность, светлая радость моя?
Горькой болью любовь опалила.
Без любимой как жить буду я?..

Конечно, стихи не бог весть какие, но в тяжелые те минуты они, казалось, очень точно выражали мои горькие мысли. Для меня не существовало в тот момент лучшего поэта, чем Жарыкжудыз, и не было лучших стихов, чем его творение. Прочитав эти строки, я впервые узнал о чувствах Жарыкжудыза, которые он, как и я, питал к Алтын.

Я сложил листок вчетверо и сунул в карман. Утром Жарыкжудыз долго искал пропажу. Я так и не признался ему, что взял стихи себе.

В том году я ушел из школы. Сначала Жарыкжудыз просил меня не бросать учебу, но потом, видя мою решимость, махнул рукой. Расставались мы со слезами. Потом он проводил меня до полдороги. Мы прощались, желали друг другу удачи и благополучия, расходились в разные стороны, но, удалившись на приличное расстояние, возвращались друг к другу и снова начинали прощаться. Вот тогда я впервые назвал Жарыкжудыза его настоящим именем — Камшабаем. Я вынул из кармана листок со стихами и протянул ему, но он не взял.

— Я догадывался, что они у тебя, — сказал он. — Пусть останутся. На память о нашей интернатской жизни.

Дома я тоже не стал задерживаться. Настоял, чтобы дедушка продал серую корову, и на эти деньги поехал в Алма-Ату.

Позже узнал, что Алматай так и не появился в ауле Топкаин, а устроился учителем в селе Улькен-Нарын. Рассказывали, что они с Алтын живут дружно, душа в душу.

И вот, ровно через десять лет после тех драматических событий в нашей жизни, я совершенно неожиданно встретил Алтын. И опять мы ехали на подводе, сидели рядом, наши плечи касались друг друга, когда повозка кренилась на ухабах. Алтын иногда понукала лошадку и подергивала вожжами, потом застывала, сидела молча, будто прислушиваясь к стуку дождевых капель. Иногда с ободов колес срывался ком глины, шлепался о землю.

От кислого хмельного запаха силоса распирало дыхание. Подвода покачивалась на размытой дождем дороге, и мне казалось, что она стремится приблизить нас с Алтын друг к другу. Каждый раз, когда соприкасались наши плечи, у Алтын вздрагивали длинные ресницы, и она быстро поднимала на меня свои ясные черные глаза и тут же отодвигалась к краю повозки. Но, как бы она ни старалась усидеть на приличном от меня расстоянии, трясучая повозка снова и снова приближала ее ко мне.

Интересна жизнь. Мне она в эту минуту представилась в образе извилистой грейдерной дороги, на которой немало ухабов. Одни проходят эту дорогу впопыхах, преодолевают ее одним махом; другие пробираются по ней медленно, каждый шаг им дается с трудом. На этом пути одни блуждают, теряют себя. Другие затевают немислимую борьбу, полную драматизма, третьи легко встречают свое счастье. И не ведают люди, кем бы они ни были, что идут по одной столбовой дороге жизни, связанные встречами и разлуками.

Впереди уже виднелся аул, сердце мое билось сильнее. Я узнавал знакомые очертания домов; мне казалось, аул не изменился, все такой же маленький, тихий Топкаин. Однако я хорошо знал, что скрывается за этой кажущейся мирной картиной. Дома проглядывали через деревья, напоминая сонные глаза, скрытые под ресницами. Я знал и про эту уловку аула Топкаин.

— Алматай преподает в здешней школе? — спросил я.

— Нет, — Алтын едва шевельнула губами. — Работает там же, в Улькен-Нарыне. Уже год, как мы живем врозь. Развелись. На двоих

один сын, то он тянет его к себе, то я. Иногда хочу быть решительнее, но жаль Алматая. Никого у него больше нет. Правда, и мне тяжело, когда сына нет рядом. Тоже одна...

— Что же вы не поделили?

— Не знаю, Касым. Как бы тебе сказать... Видно, все дело в том, что сошлись мы не по взаимному желанию. С его стороны не было ничего такого, что вызывало бы у меня ожесточение. Сама, наверное, виновата во всем.. Эй, Сара, подойди сюда! — мы были уже у крайних домиков. Молодая женщина в плаще и платке, туго повязанном на голове, оглянувшись на голос и пошла к нам: Это средняя дочь Камили-апай. Замужем, двое детей. Работает вместе со мной, телятницей. Видишь, как стремительно течет жизнь! Сара, будь добра, отвези силос на ферму! Распряги коня, поставь сбрую в сухом месте, а то завтра натрет шею животному. Я пойду домой, надо принять гостя.

Мы пошли по знакомой до последней выбоинки улице. За углом показалось общежитие, в котором мы жили. Оно и сейчас наполнилось жизнью: беспрестанно вбегали в него и выбегали наружу дети. Какая-то пожилая женщина возилась у столовой.

— Занесите дрова в сени, отсыреют они тут! — Я узнал голос Камили-апай.

Общежитие ничуть не изменилось, только не было у окна старой березы — немой свидетельницы моей первой мальчишеской любви. Чернел лишь короткий сухой ствол, но из него выбивались наверх молодые побеги, они были прямы и непоколебимы. Казалось, юные ветви задались целью заменить собой исчезнувшее.

— Надо было обуть резиновые сапоги, как бы у тебя не промокли ноги, — голос Алтын перебил мои мысли.

— Ничего, обсушимся дома, — ответил я. Но Алтын не придавала значения моим словам, окинула меня недовольным взглядом и заметила:

— Худой ты. Не болеешь?

— Здоровье в порядке. Сама знаешь, я всегда был худым, — я вспомнил, как Алтын трогательно заботилась обо мне, и на сердце стало тепло.

— Перейдем на эту улицу, — Алтын потянула меня за рукав. Я увидел, что навстречу нам, будто обрубленный ствол дерева, катился Маймурун. Меня передернуло от отвращения. Мы свернули в сторону.

— Этот до сих пор здесь работает? — пробормотал я.

— Преподавал в начальных классах, потом перешел работать на склад «Скотоимпорта». Что-то вроде ключника. С заработком там получше.

Маймурун прошел мимо, по самую щиколотку утопая в грязи кирзовыми сапогами. У меня долго стояли в ушах чавкающие звуки его тяжелых шагов. Мне казалось, как и раньше, что каждый шаг его оскверняет землю.

Алтын привела меня в маленький домик под деревянной крышей, стоящий на самом краю аула. Мы открыли двери, и я увидел за столом Камшабая. Он был, как и раньше, смуглый до черноты, растолстел, округлился настолько, что походил на черный казан, но в глазах моих вспыхнули искры, как будто я увидел нечто лучезарное, солнцеликое. Может, эти слова и звучат высокопарно, но бывают у человека минуты, когда он находится во власти нереальных сравнений.

— Кого я вижу? Неужели это ты? — Он подошел ко мне неуклюжими, вперевалку шагами и крепко обнял. — Вот, сукин сын, как вымахал!

— Жарыкжулдыз, когда ты перестанешь заявляться в сумерках в дом одинокой женщины? — стала теребить его Алтын. — Сколько раз тебе говорить?

— Перестань, не гони хоть в этот раз! — отвечал ей Жарыкжулдыз. — Видишь, Касым приехал, давай поговорим по душам! Ты что думаешь, я прихожу к тебе от хорошей жизни? Кружок наш пропадает. Некому даже спеть на концерте, не говоря уж о спектакле. Праздник, сама знаешь, на носу.

— Пришел уговаривать меня?

— А что мне остается делать? Выручай! Ну ладно, оставим свои проблемы, послушаем лучше Касыма. Какими ветрами, дружище? Рассказывай!

— Приехал домой на побывку. Решил заглянуть к вам.

— Очень хорошо! Значит, у тебя все в порядке. Да, давненько не виделись, а вот очерки твои и рассказы в газетах и журналах читаем. Радует за тебя. Бывает, что и хвалимся, рассказываем всем, что учились с тобой вместе и даже дружили в детстве.

— Ты лучше расскажи о себе, — перебил я его. — Не забросил стихи? Получается что-нибудь?

— О чем ты? — рассмеялся Жарыкжудыз, неловко махнув рукой. — Какие стихи? Математик я! Пошел по другой стезе.

— Директором интерната он работает, — подала голос Алтын. — Не до поэзии ему сейчас.

— Вот-вот, проза жизни! — развеселился Жарыкжудыз. — Мне бы собрать людей в драмкружок!..

После первых оживленных расспросов мы понемногу утихомирились. В комнате воцарилась тишина. Я узнал, что Камшабай до сих пор не обзавелся семьей и живет один. А жил он в доме Камили-апай. Извинился, что писать мне было некогда: работа в школе отнимает все время. Я вспомнил о его поэтических упражнениях и невольно оглянулся на Алтын. Теперь я убедился, что полнота ей идет, придает еще большую женственность. В тепле щеки Алтын снова разрумянились, лицо стало еще красивее, появлялись и исчезали ямочки на щеках.

Мы сидели долго, наговорились по душам. Алтын освободилась наконец от скованности, была оживлена и радостна, как в былые дни. Она всегда была такой: открытой, располагала к откровенности. Сейчас, глядя на нее, я бы не догадался, что она прожила трудную жизнь, в которой горя было больше, чем радости.

— Дорогой Касым, гость, как говорится, божий человек, можно бы тебе и здесь остаться ночевать, — сказала мне Алтын после ужи-

на. — Дома места хватает. Но я не могу этого предложить. Сам знаешь нравы нашего аула.

Я был доволен ее словами, как всегда прямыми, полными достоинства. Мы вышли в переднюю.

— Камшабай, подожди-ка! — Алтын завела его в соседнюю комнату. Дверь была открыта, и я невольно подслушал их разговор:

— Ты опять не следишь за собой. На, возьми рубашку, я постирала и погладила ее. А ту, что на тебе, оставь.

Она вернулась в переднюю, попрощалась со мной, и я вышел на улицу. Спустя несколько минут меня догнал Камшабай. Давно погасший огонь ревности вдруг шевельнулся во мне. Снова завязался разговор, и мы переговорили еще о многом, прежде чем добрались до дома Камили-апай. Я не удержался и спросил у Камшабая о причине его холостяцкой жизни. Он заговорил не сразу,

— Странно, но когда я был студентом, мне почему-то ни одна из девушек не пришлась по душе, — поведал он мне. — Теперь кажется, что время ушло. Сверстницы мои давно обзавелись семьями, девушки помоложе мне представляются какими-то непонятными, с ними я не смогу найти общий язык. С возрастом как-то смущаешься всего этого... Да и опасаясь, боишься дать маху. В общем, никак не могу жениться. Тут тебе меня не понять. Говорят же, у кого не болит голова, тому и дела нет до бога. Так и ты...

— А что же Алтын?

— Алтын — все та же Алтын. Ты знаешь, что я давно люблю ее. Может быть, если уж говорить правду, причина моей холостяцкой жизни кроется и в этом. Не спрашивай меня больше, не тревожь душу.

— Не обижайся. Это ведь, как бы тебе объяснить, дружеское участие, не больше. И не меньше. Но скажи мне, вы не говорили между собой на эту тему?

— Намеками, — Камшабай смущенно рассмеялся. — Вижу, волнуется, а не выказывает своих чувств. Сам знаешь ее характер. Но от-

кровенно не объяснялся с ней, не хватает смелости. А все-таки чувствую, и она равнодушна ко мне.

Он вздохнул и замолчал.

Тихая осень. Я сидел у окна и смотрел на улицу. Моросил долгий, нескончаемый дождь. Перед моим мысленным взором плыли давние осенние дни. На улице порывами дул ветер, по небу караванами неслись тучи, в воздухе летали дрожащие листья, беспокойно кричали вороны — все было донельзя похоже на полузабытую картину из жизни маленького аула Топкаин. Небо опускалось все ниже, по земле ползли сумеречные тени. Такое же небо висело когда-то и над моим родным Топкаином. С высоты падали крики перелетных птиц. Мне казалось, птицы летят из далекого аула, затерявшегося в таежной лощине. Они словно несли весть из моего далекого детства.

На столе лежала рукопись. Работа над книгой была завершена. А перед моими глазами все стоял родной аул. Два аула слились в одно целое; аул, где я родился, и аул, в котором учился в школе-интернате. Две капли воды как две слезинки. Я скучал по Камшабаю и Алтын. Прошел целый год с той поры, как мы встретились в Топкаине. Тихая радость владела мной, находя согласие с душевной грустью. То же две слезинки... Странно, но при встрече с друзьями заглушаешь в себе это тепло, разговариваешь как-то отстраненно, с напускным равнодушием. А находясь вдали от них, спустя некоторое время скучаешь безмерно. Я скучал по Камшабаю и Алтын. У каждого из нас в душе было немало такого, что хотелось бы высказать другу. Мы прожили далеко не простую жизнь, позади оставались следы неопытных путников, ухабы нашей жизненной дороги, а впереди простиралось продолжение пути, размеченное новыми вехами, где вдоволь пока незримых глазу колдобин, подъемов и спусков. Незведанное манит за собой, прошлое вызывает тепло. Одолеем ли мы предстоящую дорогу? Что принесет нам завтрашний день, наш новый шаг? Я смутно представлял себе свое будущее. И не потому, что оно было окутано завесой некой тайны или неопределенности, а потому, что воспри-

Калихан Искак

нимал жизнь как чудо, которое в избытке поставит передо мной множество новых проблем и предъявит мне иные требования. Какие открытия ждут Камшабая и Алтын? Я не знал, чем они живут сейчас, чем озабочены, что нового открыли в себе и окружающих их людях. Я грустил оттого, что не знал, смог ли открыть Камшабай свое сердце Алтын. Передо мной лежала только что завершенная заключительная глава новой книги. Плыла осень, и моросил долгий, нескончаемый дождь, который у нас называют белым.

Перевод Сатимжана Санбаева

Сайин Муратбеков

(1936–2007)



Окончил Казахский государственный университет (1963), Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького (1971). Его произведения начали печататься с 50-х годов прошлого века. Увидевшие свет в разные годы книги «Менің Қарындасым» («Моя сестренка», 1961), «Ауыл» («Аул», 1964), «Көкорай» («Зелень», 1967), «Отау үй» («Очаг», 1968), «Жабайы алма» («Дикая яблоня», 1972), «Досіздеп жүрмін» («В поисках друга», 1973), «Ескек жел» («Порыв ветра», 2004) и другие, в которых он проявил свое тяготение к жанру малой прозы, представили его как мастера рассказа. По его рассказам были сняты художественные фильмы «Тел өскен ұл» («Сын двух матерей»), «Күзгі бұралаң жол» («Осенняя извилистая дорога») и другие, поставлены спектакли.

Его произведения переведены на многие иностранные языки и были по достоинству оценены читателями и критиками. Так, в московских издательствах на русском языке вышло несколько сборников его рассказов; избранные рассказы и повести были переведены на арабский, русский, узбекский, татарский, украинский, белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, литовский и другие языки и издавались в виде отдельных книг.

С. Муратбеков перевел с русского на казахский язык получившие известность романы и повести А. Алимжанова, произведения в жанре документальной прозы Г. Толмачева, а также роман Алекса ла Гумы «Тас» («Камень»).

В 1990 г. рассказ писателя «Қалың қар» получил премию Союза писателей Казахстана имени М. Ауэзова.

В 1998 г. он был удостоен звания «Заслуженного деятеля Республики Казахстан».

В 2003 г. получил независимую премию меценатов «Тарлан» за повесть «Жабайы алма» («Дикая яблоня»).

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2006).

Горький запах полыни

1

Мое далекое, позабытое детство...

И все-таки я отлично помню этого мальчика в ссохшейся шубейке песочного цвета, худенького и хромого. Иногда закроешь глаза и видишь, точно наяву: по аулу мчится буйная ватага мальчишек, а позади всех бежит он, волоча больную ногу и стараясь не отстать. И все же отстает, и я опять слышу его голос: «Эй вы, да подождите же! Пойдемте со мной, у меня есть сказка. Вот увидите, она интереснее вчерашней!..»

Весной сорок второго года у Аяна умерла мать, и он остался вдвоем с бабушкой, отца его призвали в армию еще в начале войны. И бабушка привезла Аяна в наш аул в надежде на помощь своих дальних родичей.

Мы играли в войну на единственной проезжей улице, бросали «гранаты» — пыль, завернутую в бумагу, когда он впервые вышел из дома. Прохожие, старики и старухи ворчали: «Вот она, детская глупость: мало им одной войны, они свою затеяли. Будто нет других игр. Ну и пострелята!» День выдался безветренный, и пыль долго висела в воздухе, застилая солнце, а мы с криком «ура!» нападали на своего «противника» и, отдавшись игре, никого и ничего не замечали. И только наш командир Садык неожиданно остановился на границе, где кончалась завеса пыли, и спросил:

— Эй, а ты кто такой? Откуда взялся?

Тут уж бросили игру все ребята — так необычен был этот вопрос для нашего аула, где все знают друг дружку с раннего детства. Мы

обернулись и увидели незнакомого мальчика в белой безрукавке и коротких штанишках. Он выглядел не по-здешнему, особенно поразил нас его черный жесткий чуб, спускающийся на лоб.

Новенький мальчик в нашем ауле — слишком выдающееся событие, поэтому мы мигом забыли про игру и окружили Аяна. Каждый норовил протолкнуться поближе и хорошенько разглядеть новичка. Для нас, аульных детей, Аян в этот момент был и театром, и цирком.

— Слышь, кто он, а?

— А откуда он, ты не знаешь? — спрашивали мы друг у дружки, пихаясь локтями и жадно рассматривая Аяна с головы до пят так бесцеремонно, точно он был неодушевленным предметом.

А он в свою очередь глазел на наш растерзанный вид, и во взгляде его сквозило недоумение. Хороши мы были тогда, грязные, точно поросята. Штаны и рубахи под слоем пыли потеряли свой первоначальный цвет и висели клочьями, словно только что побывали в зубах у своры собак.

Его одежда не отличалась ни новизной, ни качеством, но чистенький и опрятный облик Аяна поражал, как царская роскошь.

— Гляньте на него, такой сопляк, а уже отпустил чуб, — высказался первым Есикбай, плохо скрывая зависть.

Нам было не смешно, но все же мы рассмеялись, стараясь поддержать своего товарища перед чужаком. Смех получился фальшивый, как будто нас вынуждали, Аян густо покраснел и промолчал.

— А я знаю, кто он! — громко произнес Садык. — Вы приехали вчера вечером, верно? — обратился он к новичку: — И у вас еще была темно-серая корова. Правильно я говорю?

— Правильно, — кивнул серьезно мальчик. — Только она не совсем темная. Ты видел ее вечером, а днем она гораздо светлее, и еще у нас есть теленок.

И мне почудилось, будто по его губам скользнула усмешка.

А Садык продолжал свое:

— Как тебя звать?

— Аян.

Кое-кто из ребят зашевелил губами, стараясь запомнить его имя.

— Пойдем с нами, будем дружить, — предложил Садык и, не дожидаясь согласия, ухватил Аяна за руку и потянул за собой.

Новичок взглянул на его грязные исцарапанные пальцы и осторожно высвободил руку. Ну, подумал я, и начнется сейчас. Вряд ли стерпит Садык такое оскорбление.

— Ребята, где у вас можно купаться? Жарко, так и печет, — сказал Аян, не дав Садыку обидеться.

— Ну, у нас имеется такое местечко, вода — во! — ответил за всех наш простодушный Садык. — Хочешь, сходим сейчас?

— Хочу! — кивнул Аян.

Садык повел приезжего к заводу, всячески расписывая по дороге ее достоинства. А мы повалили следом. Ребята крутились перед Аяном, каждый старался вставить словечко и тем самым возвыситься в глазах диковинного мальчика. Но хозяином положения был Садык.

— Знаешь, сколько могу просидеть под водой? Пока ты сосчитаешь до шестидесяти, — упоенно врал и в эту минуту верил сам себе наш честнейший Садык.

— А у меня тоже есть белая рубашка, между прочим. Только она лежит в большом сундуке. Не велит надевать мама. Вот, говорит, подрастешь — и носи на здоровье, — сказал Касым-царапка.

Это прозвище он получил за то, что в драке всегда лез ногтями в лицо. Ревел в три ручья и в то же время так и норовил вцепиться в глаза. Поэтому многие ребята старались не связываться с Касымом-царапкой. И только Есикбай не боялся его длинных и грязных когтей.

Сейчас Есикбай ревниво брел в стороне. Он был самым сильным драчуном, жилистый и длиннорукий, и поэтому некоторые мальчишки то и дело лебезили перед ним. А теперь его будто и не было — все внимание ребята отдали чистюле-новичку. Вот отчего Есикбай шел в гордом одиночестве и брюзжал презрительно себе под нос.

— А ну-ка иди сюда. Царапка! — рявкнул Есикбай, едва Касым закрыл рот.

Касым приблизился с опаской, на всякий случай его пальцы скрючились, точно когти беркута.

— А может, в твоём сундуке и золота полным-полно? Но-но, спрячь свои когти, кошка. А голову подставь, вот так, — и Есикбай звонко щелкнул Царапку по голове.

Голова Царапки зазвенела, словно спелый арбуз. А Есикбай щелкал еще и еще, вкладывая все свое умение и силу. Касым заплакал от злости и бросился на обидчика. Но Есикбай опередил его и ударил по носу.

Касым зажал нос ладонью и поплелся назад, в аул, ссутулившись и вздрагивая. А Есикбай посмотрел Аяну в глаза многозначительно, как бы говоря, учти на будущее, у меня разговор короткий.

Аян, в свою очередь, обвел нас вопросительным взглядом: мол, что же это у вас творится? Но никто не хотел связываться с Есикбаем, мы отвели глаза. К тому же коварный Касым не пользовался нашим расположением.

— Ты, конечно, сильный, но за что так его? — спросил Аян Есикбая, покачивая головой.

Есикбай саркастически фыркнул и опять отошел в сторону. На большее он пока не решался. Сегодня Аян и для него был чем-то необычным.

В тот день мы купались, загорали и снова купались, до вечера играли у заводи и так свыклись с Аяном, будто он жил в нашем ауле со дня рождения.

Словом, в первые же дни Аян завоевал всеобщую симпатию. Особенно нам понравился его мягкий, покладистый характер. Каждый, конечно, стал исподволь набиваться в друзья, но Аян относился ко всем одинаково по-доброму, давая понять, что желает ладить со всеми. Кое-кто из забияк пытался расшевелить Аяна, прощупать его, но Аян только хмурил брови и отходил подальше, а самому настойчивому ответил так:

— Я не хочу драться. Потому что это глупо и потому что я у бабушки один. Если я подерусь, ей будет неприятно.

И провокатор отошел с миром. В том, что Аян был не хилого десятка, он убедился еще в день знакомства. Тогда мы боролись на песке, и новичок клал всех на лопатки. Только Есикбай одержал над ним победу.

Этот неутомимый драчун дня четыре приучал себя к мысли, что Аян такой же, как все, и, значит, его можно бить в общем порядке. Укрепившись в таком мнении, Есикбай начал придирается к Аяну. Но вызвать на скандал умного и доброго Аяна не так было просто.

— Да хватит тебе! Перестань, — отмахивался Аян добродушно.

Но однажды Есикбай потерял терпение, послунывил палец и мазнул Аяна по лицу.

Аян вытер лицо тыльной стороной ладони и серьезно спросил:

— Значит, ты никак не можешь не драться?

— Что, с тобой, что ли? Видали мы таких! — запетушился Есикбай и попытался щелкнуть Аяна по лбу, но тот уклонился вовремя.

— Пойдем в лог. Посреди улицы драться не буду. Тут уж бабушка узнает наверняка, — спокойно сказал Аян.

— Думаешь, это тебя спасет? Уж так изукрашу — бабушка все прочтет, как по книге! — заверил Есикбай.

Мы отправились следом за ними. Довольный Есикбай спустился в лог первым, приговаривая:

— Ну, иди же сюда, голубчик. Сейчас я тебе покажу.

Аян на ходу снял рубашку, бережно повесил на курай и изготовился к схватке. Бойцы пришли друг другу в рост. Есикбай выставил руки первым, обхватил Аяна и, притянув к себе, начал валить. Но его противник держался крепко на ногах, и нам, зрителям, стало ясно, что в честной борьбе Есикбаю не осилить. Он понял это сам, изловчился и, схватив Аяна за чуб, запрокинул ему голову. Аян стиснул зубы от боли и медленно повалился на спину, Есикбай взгромоздился на него верхом и начал молотить кулаками. Его спина закрывала лицо Аяна, мы видели только ноги, отчаянно взбивающие пыль. И вдруг Есикбай страшно завопил и сполз набок.

Аян держал его за кисть руки и слегка выворачивал, как только Есикбай обнаруживал намерение побрыкаться. И вот на наших глазах непобедимого Есикбая взяли за шиворот и дважды легонько ткнули в пыль, точно нашкодившего котенка.

— Теперь довольно? — спросил Аян.

— Ай, ой! Конечно довольно! — закричал Есикбай, опасаясь, что победитель передумает.

Аян шагнул через голову Есикбая и выпрямился: теперь сила врага должна перелиться в его мышцы. Во всяком случае, так утверждают древние казахские легенды. Аян тоже не сомневался в этом, он спокойно надел рубаху, пригладил ладонью чуб и полез наверх, ни разу не оглянувшись.

Потом наступила осень, и мы пошли учиться в первый класс к старику Иманжанову. У нашего педагога тряслись руки и слезились воспаленные глаза. Старик приносил с собой листочки драгоценной в то время бумаги и учил нас азбуке.

Я сидел за одной партой с Аяном и был первым свидетелем его школьных успехов. Его способности проявились с самого начала. Помнится, после надоевших нуликов и палочек учитель написал на доске первую букву, и мы, высунув языки, перерисовывали ее на листочки. Наши пальцы, сильные и крепкие в уличных играх, еле управлялись с карандашом. Мы все еще боролись с непослушными пальцами, а Аян уже нетерпеливо ерзал на скамье и спрашивал у старика Иманжанова, что делать дальше.

— Не спеши, всему свое время, Аян, — успокаивал учитель, радуясь живому, любознательному ученику.

После урока Аян говорил с возмущением:

— Почему он не написал все буквы? Я бы их выучил сразу и написал папе письмо.

Мы понимали его: каждый из нас ждал той минуты, когда можно будет сесть за стол, написать письмо отцу или брату на фронт. Будто почувствовав это, наш престарелый учитель не жалел своих сил и терпения, и вскоре наступил великий день. На одной из перемен мы

столпились за спиной Аяна, и он самостоятельно вывел слова: «Мой дорогой папочка...»

Отныне, вернувшись из школы, Аян располагался на полу и писал письмо, слюнявя химический карандаш. Уже после второй строки его губы становились фиолетовыми, точно он перекупался в заводи.

Почти каждый день из аула уходило письмо, адресованное отцу Аяна. Иногда их было два, в том случае если бабушка усаживалась на постели и диктовала свое письмо.

Мы завидовали Аяну, потому что еще не научились связывать на бумаге слова в осмысленные предложения. Но наш новый приятель ни капельки не заносился перед нами. Бывало, придешь к нему, скажешь:

— Аян, помоги. Уж очень хочется написать брату письмо.

А он отвечает великодушно:

— Возьми мое и перепиши. Только имя моего отца замени именем своего брата. Понятно?

Киваешь: понятно — и мчишься домой в нетерпении.

— Так постепенно все наши одноклассники стали посылать письма на фронт. Письма были точно близнецы, потому что, в сущности, их сочинял один человек.

— Наш учитель будто только и ждал того, чтобы его ученики научились писать письма. Скоро, наполовину парализованный, он слег в постель. Другого учителя не было (да разве его найдешь в войну для маленького аула!), и потому у нас вынужденно начались надолго затянувшиеся каникулы.

В тот же период, который связывается в моей памяти в одно целое, случилось еще одно событие. Однажды Аян гнал бычка с пастбища домой и по дороге решил его объездить. Кроткий обычно бычок взъярился, взбрыкнул и сбросил с себя Анна. Незадачливый джигит вывихнул ступню и около месяца провалялся дома. Этот вывих оказался для Аяна роковым. С тех пор он так и не смог избавиться от его последствий.

— Он все меньше и меньше возился с нами, а затем и вовсе стал просто свидетелем наших игр: сидел где-нибудь в сторонке да с завистью поглядывал, как мы носились по аулу, изображая Красную Армию.

А потом пришла зима, выпал первый снег, и наступила пора снежных гор и санок.

Наш аул приютился у подножья горы Ешкиольмес. Его головные избы, пытаясь подобраться повыше к вершине, вползли было на склон и застыли в начале пути. Такое возникает впечатление, когда смотришь на единственную улицу в нашем ауле. Летом она верхним концом упирается в густую гриву полыни, покрывающей гору Ешкиольмес, а зимой мы носимся сверху вниз на санях по утопанному снегу, и до позднего вечера над улицей звенят веселые детские голоса. Зима у нас замечательная, снег выпадает глубокий, и в то же время у подножья горы солнечно и тепло. Вот уж благодать, когда несешься навстречу упругому воздуху, а снег слепит глаза и поскрипывает под полозьями, и видишь, как торопятся твои приятели, волокут наверх сани, и щеки их пышут жаром...

Катание в этот день ничем не отличалось от прочих. Время уже подходило к вечеру. Солнце разбухло, отяжелело, налилось красным соком, готовое вот-вот сорваться за гору Ешкиольмес; на снег упали его мягкие розовые отсветы. С солнечной вершины Ешкиольмеса привычной дорожкой спускалась в аул скотина, пасущаяся на проталинах. Все дышало миром, будто исчезли беды и слезы. Хотя бы на эти часы. Поэтому вопль отчаяния поднял на ноги всех людей. Ему ответил такой скорбный плач, что у нас, детей, побежали по спинам мурашки. Минутой позже мы поняли, что горе избрало в жертву дом, где жил Аян.

Ну что ж, от этого никуда не денешься — даже несчастье вызывает у детей прилив любопытства. Мы посыпались с саней и побежали поглядеть на чужое горе. Те, кто уже успел все узнать, шептали осведомленно:

— Слышал, у Аяна-то бабушка умерла.

И передавали новость другим с таким усердием, будто нас ожидало вознаграждение за радость — суюнши, и, конечно, не сводили глаз с Аяна, боясь пропустить самое главное.

Аян стоял у порога белый, как тот самый снег, по которому только что носились наши сани, и моргал часто-часто. Соседские женщины подняли кутерьму: вокруг причитали, кто от души, а кто ради приличия. А он застыл, глух и нем, только хлопал ресницами да иногда зябко вздрагивал. Мы решились и, подталкивая друг друга, подоברались к Аяну. Он встретил нас молчанием, только недоуменно взглянул на санки, которые мы притащили за собой.

Солнце спряталось за вершиной Ешкиольмеса. Краски померкли, стал сумеречно-серым воздух. А мы впились глазами в Аяна, ожидая, когда же он заплачет. Кто-то даже произнес вслух, точно подсказывая Аяну:

— Эй, почему он не плачет? У него же умерла бабушка!

Но Аян молча перешагнул порог, прошел мимо окон и завернул за угол. Нетрудно догадаться, что мы бросились за ним, заинтересованные его поведением. И тут он обернулся и сказал:

— Ну, что вы, ребята?.. Хотите послушать сказку?

Он произнес это так, будто умерла не его бабушка, а все наши бабушки сообща покинули белый свет и потому мы нуждаемся в его утешении.

— Так рассказать вам сказку? — спросил он, печально улыбаясь.

— Расскажи! — брякнул Садык.

— Наверное, лучше смешную, — сказал он самому себе и, задумавшись, потерся щекой о ворот шубы с редким мехом.

А мы крепко держались за свои санки и глазели на него, дружно разинув рты.

Аян вздохнул прерывисто и начал, будто забыв о нашем присутствии и обращаясь только к себе:

— Давно это было... Жил один мальчик... сирота... — он рассказывал долго и время от времени задумываясь, потому что сказку придумывал прямо на наших глазах. Сказка получилась грустной. Но сиро-

та оказался не таким уж жалким нытиком, он не сдавался, а раза два мы даже рассмеялись, забыв о том, что сегодня умерла бабушка Аяна.

На другой день ее хоронили. Следуя обычаем, те немногие мужчины, что были освобождены от военной службы, похоронили бабушку и помчались на конях в аул, оставив Аяна у могилы. Он стоял один-одинешенек, низко опустив голову. И на этот раз глаза были сухими, будто он до сих пор так и не научился плакать. Потом он взял ком глины вперемешку со снегом с могильного холма и бросил в сторону, как положено:

— Бабушка, пусть земля тебе станет пухом!

Он подул на заочевенные пальцы и поплелся по дороге в аул. В этот же день Аян переехал к старику Бапаю, который находился с бабушкой в далеком родстве. Вначале из ворот выехал дед Бапай, на его санях красовались горы пестрых одеял и подушек. За ним появился Аян, ведя светло-серую корову. Корова сделала шаг, другой и уперлась, чуя, что ее уведут навсегда из привычного стойла. Ну, а нам только дай повод для деятельности. Мы побросали сани и всей ватагой наперли на корову сзади.

— Раз, два — взяли! — вопил Есикбай.

Корова тарасила большущие глаза, полные коровьей тоски, мотала головой, хвостом, точно ее кусали слепни, сделала вид, будто хочет боднуть Аяна, но затем смирилась, промычала жалобно и побрела следом за Аяном, нюхая полу его шубейки.

— Она у нас умница, все понимает, — сказал Аян, зачем-то стараясь оправдать корову в наших глазах.

Мы проводили его до нового жилья и опять взяли за санки.

Аян вышел к нам только на следующий день. Он остановился в сторонке и горящими глазами смотрел, как мальчишки летают с горки на санях.

— У меня тоже были санки. Там, в городе, — сказал он мне, когда я, лихо развернувшись, затормозил у его ног.

Он сказал это так, будто мы его обвинили в чем-то.

— Аян, знаешь что, возьми мои сани. Спустишь разок, — предложил я, не выдержав его взгляда.

— А что, может, и в самом деле попробовать? — сказал он неуверенно, но потом лицо его просветлело. — Ну, кто со мной наперегонки?!

Он втащил, прихрамывая, сани на горку и, плюхнувшись на них животом, мигом скатился вниз.

— Спасибо, — сказал он, вставая. — Ух, как быстро! Не успел и подумать.

— А мои сани еще быстрее, — похвастался Садык. — Аян, попробуй на моих.

— Давай твои сани, — обрадовался Аян.

Потом он уселся на сани Есикбая, и не успел он еще оттолкнуться, как остальные ребята закричали наперебой.

— Аян, Аян! А мои сани?! Возьми мои сани!

— Ух, и накатался! — Аян дышал глубоко, возбужденно, видно, устал с непривычки.

— Ну, а за это расскажешь еще одну сказку, — пошутил Садык.

— Так и быть, расскажу, — улыбнулся Аян. — И, наверное, она будет лучше вчерашней. Ну, веселей, что ли.

Когда наступили сумерки, мы собрались у дома Бапая и подняли такой шум, рассаживаясь на крыльце, что тут же распахнулась дверь и раздался крик старухи:

— Ой, срамота какая! Я-то думаю, что за топот? Уже не согнали ли колхозное стадо под мои окна? А это, выходит, вы, безобразники! А ну, марш отсюда, негодники этикие! Ух, я вас!

Она потрясла сухим кулачком, и этого оказалось достаточно — нас точно ветром сдуло со двора. Мы стояли на улице и переглядывались растерянно. «Плакали наши сказки» — вот что было написано на лицах ребят. И тут нашелся Садык.

— Ребята, айда на конюшню! Залезем на крышу, и там уж слушай сколько влезет, во!

И как мы раньше не подумали об этом? На крыше конюшни навалено сено, оно там лежит с начала осени, мягкое, пахучее. Сиди себе и слушай. Уж большего удобства не найти, как ни ломай себе голову. Ай да молодец Садык!

Мы заорали «ура» и, точно одержимые, подстегивая себя, помчались на конюшню. Позади всех, припадая на больную негу, бежал Аян. Взобраться по каменной кладке на крышу не стоило большого труда, особенно для тех, у кого руки так и чешутся от желания на что-нибудь залезть. На крыше было просто здорово, и первые минуты мы с хохотом и визгом кувыркались на душистом сене, с головой зарываясь в него, опьяненные запахом лета. Потом ребята притихли как-то разом и начали устраиваться поудобней в кружок. Сам рассказчик сел посреди кружка, собрав под себя большущую охапку сена, и устремил сосредоточенный острый взгляд в сторону чернеющего лога. Он еле угадывался в ночи, да и что можно было разглядеть во тьме-тьмущей? Но глаз Аяна проникал сквозь ночь, ему виделось что-то необычное, непостижимое для остальных ребят. И нам стало жутко.

— Это было давным-давно... в далекие времена. Жил один мальчик... сирота... — начал Аян.

Его приглушенный, бормочущий голос завораживал нас. Мы сидели не шелохнувшись и верили каждому слову, хотя и знали прекрасно, что это всего-навсего сказка, придуманная нашим же товарищем. Внизу, под нами, фыркали и тихонько ржали кони и переступали копытами. Но мы уже не реагировали на обыденные звуки реального мира, а перенеслись в диковинную страну, которая раскинулась во тьме у подножья Ешкиольмеса.

С тех пор так и повелось: едва наступал вечер, мы занимали любимых места, а Аян заводил очередную сказку.

Как-то в один из таких вечеров Садык появился на крыше с газетой и горстью табака, утащенного из дома. Усевшись по-солидному, — так, по его мнению, сидят настоящие мужчины, — он свернул огромную неуклюжую «козью ножку», извлек из кармана коробок с единственной спичкой и неумело прикурил. Мы смотрели на него во все глаза; он сделал первую затяжку, зашелся долгим кашлем и, смахнув невольные слезы, небрежно заявил:

— Теперь можно начинать. Валяй свою сказку, Аян!

— Э, прежде и я попробую. Дай-ка, затянусь разок, — возразил сидевший по соседству с ним Касым-царапка и нетерпеливо потянулся к сигарке.

Наш Садык был великодушным. Он протянул самокрутку, и Касым набросился на нее с такой жадностью, будто в этой порции дыма заключалось его спасение. Но он начал так чихать и каплять, что мы подняли его на смех, а кто-то назидательно изрек:

— И поделом тебе! Не будешь жадничать.

Потом в это дело вмешался Есикбай.

— А ну, Садык, я покажу, как надо курить, — потребовал он важно.

— Пожалуйста, — сделал вновь широкий жест Садык. Есикбай, волнуясь, вдохнул, набрал полный рот табачного дыма и потихоньку выпустил через ноздри. После этого он обвел нас взглядом, полным превосходства, как бы говоря: «Вот так-то, слабаки». Тут уж не утерпел и я, за мной последовали другие, и вскоре от «козьей ножки» остался крошечный окурочек, который уж никто не рискнул взять в рот.

На другой день каждый притащил на крышу собственное курево и потом, пыхтя, рассыпая табак и шурша газетой, сворачивал уродливую «козью ножку». Мы чадили в ночное небо и слушали Аяна, и отныне его сказки обрели еще большее очарование. Курение возвысило нас в собственных глазах, мы считали себя повидавшими виды людьми, вкушающими мудрость одного из братьев. Потом один из нас попался матери во время кражи табака, и родители забили тревогу. Табак и газеты были убраны в семейные тайники. Но мы уже стали искушенным народом.

— Ребята, а ребята, вы заметили, что курит немой Турдагул? — спросил Есикбай, когда мы устроили совет по столь трагичному поводу.

О да, мы отлично это знали, и отныне горстка сухого конского навоза (да простит читатель!) стала одной из тех необходимых вещей, что мы постоянно таскали в карманах. И опять мы пускали к звездам дым, внимая голосу Аяна.

А сказки его казались нам удивительными. В них было все: и доблесть, и богатырская мощь, и ум, и красота. Но самая притягательная сила этих сказок заключалась в том, что их героями Аян сделал нас. По его словам, мы отважно бросались в атаку на фашистов, один против ста, нет, против тысячи, да что уж там, против миллиона, и под нами храпели фантастические кони, а в наших руках сверкали волшебные сабли из чистого серебра. Перепуганный до смерти враг обращался в паническое бегство передо мной, перед Садыком и уж, разумеется, в первую очередь перед Есикбаем. Вечно хлюпающий носом Касым-царапка забывал о соплях и о том, что еще не слопал лепешку, стянутую со стола, потому что в этот миг одним махом в одиночку сокрушал фашистские орды.

Мы слушали Аяна, забывая о скудных обедах, о худой одежке. Все это казалось пустяком по сравнению с нашими подвигами. И когда кончалась сказка, замирало последнее слово Аяна, мы принимались горячо обсуждать только что отгремевшие события. Только и слышалось:

— А как я их, а! Здорово?

— А я?!

И неизменно разговор переключался на всамделишную войну. Есикбай или кто-нибудь еще говорил:

— Была бы у меня такая волшебная сабля, поехал бы я на фронт да как бы задал фашистам трепку, всех бы покосил наповал.

Или что-нибудь еще в этом роде. А Садык или кто-то другой добавлял мечтательно что-нибудь вроде:

— Представляете: папа, а вокруг него фашисты. И тут появляюсь я с волшебной саблей. «Папа, — говорю, — это я, Садык!» И раз! Раз! По фашистам. И всех до одного! А, как бы было здорово?!

Все остальные соглашались с ним, каждый тоже мечтал помочь отцу или братьям в самый трудный для них момент...

Иногда Аян придумывал страшную сказку. Тогда ночь вокруг нас наполнялась лязгом медных крыльев, на которых парили звероподобные птицы, а закоулки, лог и яры так и кишели одноглазыми чу-

довищами, чертями и прочей нечистью. Ночь наэлектризовывалась ужасами: нам мерещилось, что ветер, дующий со стороны яра, доносит какие-то воющие голоса, и стоило самому храброму из нас крикнуть «а!», как остальные с воплем «ой-бай!» зарывались в сено.

Что происходило с Аяном, когда в его голове рождались такие сказки, не представляю и сейчас. Может, его угнетало одиночество, и временами, когда побеждало отчаяние, ему чудилось, что его окружают несчастья, и те принимали сказочные образы в его детском воображении... Об этом остается лишь гадать. Но и в таких случаях его сказки всегда кончались счастливо, потому что он верил в победу добра.

И в то же время никто так не веселил нас, как все тот же Аян. К сожалению, это случалось очень редко. Но уж когда он брался за смешную сказку, чуть-чуть улыбаясь и показывая при этом плохие редкие зубы, мы корчились от смеха, сучили ногами, захлебывались, держась за животы. И будто не шла война на земле, и наши отцы и братья в этот самый час сидели дома в тепле, живые и невредимые...

— Аян, ну еще одну... Ну, что тебе стоит, — умоляли мы, когда он умолкал.

Но сколько ни проси, больше одной сказки он не рассказывал. Он поднимался, отряхивал приставшее к шубейке сено и виновато отвечал:

— Поздно уже, ребята. Спать пора. Дома ругаются, наверное.

Нам казалось, что Аян просто ломается перед нами, набивая цену, что сочинять сказки не так уж и сложно, только нужно знать особый способ, а Аяну известен этот способ, и нам только не хватает смелости, а то и просто лень расспросить его как следует и потом самим выдумывать сказки. Но, видно, это было и не такое уж легкое дело. Аян думал, сидя где-нибудь на солнышке, а мы беззаботно катались с горки на санках и вечером, уставшие, довольные, мокрые от снега, шли на конюшню послушать, что же еще приготовил для нас наш приятель...

В награду за новую сказку кто-нибудь из ребят наутро давал свои санки Аяну — это стало обычаем. Так было вначале, и первое время мы были очень добросовестны, но потом порыв остыл. Как-то, когда подошла очередь одного из нас, он сказал:

— Знаешь что, Аян. Лучше я дам тебе сани завтра. Ты не оби-дишься?

— Конечно, нет, — ответил Аян растерянно.

Новый почин был заразителен. Да и кому охота расставаться с санями хотя бы на один день, когда так сверкает снег, и сани так и скользят по снегу, и ветер поет в ушах. Теперь, если Аяну удавалось хотя бы разок съехать на санях, если у кого-нибудь просыпалась совесть и он скрепя сердце говорил: «Аян, может быть, прокатишься разок?» — это можно было считать удачей.

Аян тащил сани на горку, но это уже не приносило ему прежней радости, и, скатившись с горы, он возвращал сани владельцу. Казалось, он брал-то их оттого, что понимал все и просто не хотел ставить засовестившегося мальчика в неудобное положение. А потом он подолгу стоял внизу, у самого спуска, пряча посиневший от холода нос в ворот шубейки, постукивая пяткой о пятку, и молча следил за нашими забавами.

Иной раз из ворот высовывалась старуха Бапая и покрикивала:

— Эй, Аян, где ты там? Куда он делся, этот непоседа?! Ах, вот ты где! Ступай, привяжи корову, загони уток и гусей. Да, совсем забыла: потом напоишь кобылу. И смотри не забудь положить ей сена!

— Я сделаю всё, бабушка, — отвечал Аян и уходил во двор, то и дело оборачиваясь, будто опасался пропустить самое интересное, а покончив с делами, почти всегда возвращался.

Зато вечером Аян брал свое. Он, видать, с нетерпением ждал весь день, когда сядет солнце, и когда оно закатывалось за вершину Еш-киольмеса и начинало смеркаться, его лицо оживлялось, он говорил:

— Ну, а теперь на конюшню. Я сегодня придумал такую сказку!.. Куда до нее вчерашней!

Бывало и так, что он не выдерживал и звал послушать сказку днем.

— Неужели вам не надоело кататься? Каждый день одно и то же. Что за интерес лежать на брюхе и портить при этом одежду? — начинал он и выпячивал пренебрежительно нижнюю губу.

Но он не умел притворяться, а мы понимали, в чем дело, и не поддавались на его уловку. Разве что найдется один маленький простак да пискнет:

— А может, и правда пойдем? Мои бурки промокли до нитки.

И это придавало Аяну силы.

— Да разве это сани? — фыркал он и морщил нос. — Не сани, а сплошное недоразумение. Вот достать бы сани с рулем и мотором, да с фарами. Такие, чтобы не только вниз, но и вверх забирались. Это я понимаю!

— Э, выдумываешь все! Разве такие сани бывают, чтоб и вниз, и вверх? — удивлялись мы.

— Еще какие бывают! Ну, как летающий конь. Ну, словно конь Тайбурыл!

— Конь Тайбурыл? На котором ездил батыр Кобланды?

— Ну да. Так и эти сани. Им что вниз, что вверх, все одинаково!

Спорить с Аяном никто не решался: если он это утверждает, значит, такие сани существуют на самом деле.

«Вот бы мне такие сани, про которые говорит Аян», — думал каждый из нас.

Станный был характер у Аяна. Выхожу как-то поздно перед сном на улицу — дай, думаю, подышу свежим воздухом — и вижу: кто-то впотьмах несется с горы на санках. Шум такой, будто гора Ешкиольмес поползла со своего места. Что за чудак, думаю, кому взбрело кататься в такое время? А шум все ближе и ближе, и вот прямо на меня выехала черная фигурка. Лунный свет озарил ее, и я узнал Аяна. Его рот растянулся в счастливой улыбке от уха до уха, полы шубенки развевались от спешки, будто бы Аян торопился наверстать упущенное и притом еще покататься впрок.

Я окликнул его.

— Это ты! — произнес он возбужденно. — Вот Садык дал сани до завтра. Идем кататься!

— Ты что, сошел с ума, кататься в такое время? Скоро полночь, а ты — кататься на санках!

— А ты разве не знаешь? — спросил Аян удивленно. — Разве не знаешь, что лучше всего кататься при луне? В такое время у саней появляется особое свойство. Ну, вроде крыльев.

Вот этого я не знал, а потому, опешив, промолчал. Аян между тем побежал на горку и немного погодя опять понесся вниз. Вот он возник в полосе лунного света, и мне почудилось, что он вправду летит. Ну, не так чтобы высоко, в каком-нибудь сантиметре от земли, но летит, черт возьми.

— Ура! — закричал Аян и победно поднял руку.

«Наверное, и вправду у саней при луне вырастают крылья», — подумал я, побежал домой за своими санями и начал шарить во мраке сеней. Как всегда бывает, под ноги лезли ведра, тазы и гремели, проклятые.

— Э, да кто-то ходит в сенях, — сказала за дверью мать, — наверное, опять зашла собака.

Она открыла дверь, когда я нашел наконец-то сани и наострился бежать. Но мать так и припечатала меня полоской света, вырвавшейся из комнаты.

— Ах, это ты расшумелся?! И что тебе понадобилось здесь, скажи на милость? — спросила мать.

— Мам, я вот хочу покататься на санках.

— Дня тебе мало? — рассердилась мать. — Ишь взбрело в голову, когда люди добрые спят. Разве ты вор, чтобы кататься тайком от всех.

— Аян вон катается, он говорит...

— Аян, Аян... чтоб он провалился в преисподнюю, ваш Аян. Только и слышно: «Аян говорил... Аян то... Аян это!» Оставь сейчас сани и марш в постель.

Она выхватила сани, швырнула их с грохотом в угол, а мне достался увесистый подзатыльник.

Ужасно огорченный, я побрел в комнату, разделся, лег рядом с дедушкой и долго не мог уснуть. В моих ушах все еще стоял шорох полозьев, скользящих по снегу. И когда все-таки сон сморил меня, мне приснился Аян, летящий на крылатых санях вверх, на вершину Ешкиольмеса...

Зима долго баловала нас хорошей погодой. Потом наступил день, когда небо заволокло тучами, и из степей подул колючий, холодный ветер. В тот вечер лампы в ауле зажглись раньше обычного. Но мы не изменили своей традиции: как ни в чем не бывало собрались на крыше конюшни и начали скручивать сигарки, готовясь выслушать очередную сказку. Помнится, лицо Аяна светилось тихой радостью.

— Ребята, что со мной было! Скажу — не поверите. Сегодня под утро я увидел папу, — сказал он голосом человека, получившего невиданный подарок. — Правда, правда. Вчера мне постелили папино пальто, а оно пахло папой. Похоже на запах полыни. Бабушка при жизни говорила: «Я твоего отца, знаешь, где родила? На Полынном холме родила, на самой верхушке. Пошла за скотиной и вот родила». Видно, с тех пор у папы и остался запах полыни, горький, горький и хороший. Я уткнулся носом в пальто, долго лежал, так и уснул. И мне приснился папа, здоровый, веселый. Глядит на меня и смеется все.

— А я укрываюсь папиным пальто. Оно тоже пахнет полынью, — заметил кто-то из ребят.

И тут пошли разговоры об отцах и братьях, словом, чем пахнет оставленная ими одежда. И что интересно, все сошлись на том, что от их отцов и братьев тоже пахло полынью, будто и они родились на Полынном холме, что стоял неподалеку от нашего аула. И тогда все уставились на Аяна, предоставив ему решающее слово.

— Ребята, я тоже пахну полынью. Наверное, потому, что очень похож на папу. Так все говорят. Можете сами понюхать, — сказал Аян смущенно.

Мы потянули носом: и точно, от Аяна донесся далекий запах полыни. Он был горьковатый, его ни с чем нельзя было спутать. А может, нам просто показалось, так как мы привыкли верить каждому слову Аяна.

— Да, от него пахнет полынью, — авторитетно заявил Садык, поставив тем самым крест на наших сомнениях.

Как вы догадываетесь, Есикбай не мог стерпеть того, чтобы от кого-то пахло полынью, а от него нет. Он тщательно обнюхал свой рукав, грудь и сообщил:

— Если на то пошло, от меня тоже пахнет полынью!

После этого каждый принялся нюхать свои рукава, и со всех сторон понеслось:

— Я тоже пахну полынью!

— И я!

— И я!

Надо сказать, мы все были очень довольны новым открытием, радости-то было сколько — не передать.

Наконец ребята уgomонились, и Аян приготовился к рассказу, прочистив горло.

— Подожди, — сказал Есикбай, — я хочу спросить у Царапки: почему он не дал тебе санки? Вчера была его очередь.

— Мои санки сломались... — захныкал Касым-царапка.

— Ага, они сломались именно вчера. Не раньше, а именно вчера. Эка их угораздило сломаться так вовремя. Удачное совпадение, не правда ли? — продолжал гнуть свое Есикбай.

— Ну и дай ему свои, если тебе так хочется, — огрызнулся Касым-царапка, поняв, что его разоблачили.

— Я-то не жадничаю, — сказал Есикбай.

— Ребята, хватит вам! Из-за такого пустяка, — вмешался Аян.

— Не мешай, Аян. Надо же проучить, — не унимался Есикбай и, сорвав с головы Касыма лохматую шапку, сбросил ее с крыши на землю.

— Ну зачем ты? Он простудится. Я могу обойтись и без санок, — заступился Аян за Царапку.

— Не простудится. Пусть поскорее убирается отсюда, — и Есикбай угрожающе приподнялся. — Ну, кому говорят?

Касым-царапка неохотно слез с крыши, поднял шапку и, нахлобучив ее на самые глаза, пообещал перед уходом:

— Вот пожалуйсь Туржану. Он вам задаст тогда! — и удалился, ругая вовсю Есикбая и ни в чем не повинного Аяна.

Брат его Туржан еще до войны славился буйным нравом. Месяц назад он вернулся с фронта без руки и теперь полагал, что ему позволено все.

— Я контуженый, — говорил обычно Туржан. — Я кровь за вас проливал, такие вы сякие!

И особенно доставалось от него мальчишкам. Вот почему Касым-царапка пугал нас расправой брата. Но сейчас мы никого не боялись — мы ждали новую сказку.

В тот вечер Аян вернулся к сказкам о мальчике-сироте.

— ...Он проехал, наверное, тысячу километров на уродливом жеребенке, и вдруг тот заговорил человеческим голосом: «Видишь высокую гору? Она самая высокая в мире. Но мне она нипочем. У меня есть складные крылья. Надо только дождаться, когда наступит ночь. А днем даже птица не может перелететь через нее, потому что боится опалить свои крылья под лучами солнца. Гора-то вон, до самого солнца, видишь? Но когда солнце сядет и станет прохладно, мы полетим. Только, смотри, не упади, держись крепче и лучше зажмурь глаза. Потом я скажу, когда можно будет открыть. Так и скажу: «А теперь можно открыть глаза», — понял? В общем, перемахнули они ночью на другую сторону самой высокой горы и увидели пещеру. Там кто-то спал у костра. «Тут и живет это одноглазое чудовище», — сказал жеребенок мальчику-сироте.

Аян вытаращил глаза, посмотрел на нас так, словно увидел впервые, и снизил голос до шепота, как будто то самое одноглазое чудовище могло его услышать. Он проделал это настолько ловко, что по нашим спинам пробежали мурашки, и черный остроконечный силуэт Ешкиольмеса показался нам той самой горой, за которой хрипело в

своей пещере одноглазое чудовище. И холодный ветер, что дует сейчас, кажется порождением его храпа. Гора потихоньку раскачивается под этим ветром, поднимаясь и опускаясь при вдохе-выдохе, точно тундук юрты. Мы боимся дышать, дышим осторожно-осторожно, и я вижу, что вот уже никто не решается повернуть голову в сторону горы Ешкиольмес...

А ветер дул надсадно, иногда швыряя в лицо бог знает откуда взявшиеся горсти неприятно мокрого снега. Над аулом собрались черные тяжелые тучи, слетелись сюда со всего небосвода, нависли над домами. Залаяла собака, завывла, точно верный сторож одноглазого страшили. «Сейчас разбудит чудовище, и тогда держись», — подумал я, невольно поеживаясь.

И тут, на самом интересном месте, кто-то из ребят завопил:

— Караул! Пожар!

По краю крыши ползла тонкая змейка огня. Ветер подгонял ее, и она ползла быстро, извиваясь, точно выбирая дорогу поудобней. Видимо, кто-то из ребят бросил окуроч, и тот угодил на солому, которой покрыли крышу еще в начале осени.

Мы посыпались со стуком с крыши, точно перезревшие плоды с дерева, которое качало ветром, и разбежались кто куда. Последним, оказывается, прыгал Аян, помню только, как вслед нам донесся его болезненный вскрик:

— Ой, нога! Моя нога!

Стыдно признаться, но в этот момент нам было не до него — каждый думал о своей безопасности. Тем более что по всему аулу хлопали двери, слышались вопли «Пожар! Пожар!». К конюшне бежали взрослые, а впереди всех маячила фигура Туржана. Его злой хриплый голос выделялся среди общей разноголосицы.

— Я им задам! Я за них кровь проливал, за сопляков!

Я нырнул за придорожные кусты и, выглянув затем из надежного укрытия, увидел, как Туржан кинулся туда, где лежал скорчившийся от боли Аян.

Темный силуэт задержался в неистовой пляске. До меня донесся посвист камчи, и почти одновременно я услышал умоляющий голос Аяна:

— За что, дяденька!

— Я тебе покажу «за что!», — рычал Туржан.

Потом он напоследок пнул Аяна кирзовым сапогом и бросился в конюшню, где тревожно ржали лошади, почуявшие запах гари.

Огонь с трудом осиливал подмокшую солому, и подоспевшие взрослые покончили с ним в два счета. После этого кто-то из мужчин заметил Аяна, поднял его на руки и укоризненно произнес:

— Надо же, как избил мальчишку! Дурная голова, ишь кому мстит за свою руку.

Окружившие их люди соболезнующе цокали и осуждали Туржана. Поняв, что гнев взрослых устремился по другому руслу, мы потихоньку вылезали из своих убежищ и осторожности ради собрались в сторонке, не глядя друг дружке в глаза. Нам было совестно оттого, что вот так трусливо бежали, бросив товарища в беде.

— Ребята, — начал кто-то, видимо желая оправдаться.

— Ребята, ребята... Молчи уж, — перебил его грубо Есикбай.

Аяна унесли в дом Бапая, и мы, потоптавшись еще немножко, понурившись, потому что разговор не клеился, разошлись по дворам.

Когда я появился домой, взрослые еще бодрствовали. Дедушка сидел, нахохлившись, на приготовленной постели, а у мамы и бабушки был откровенно расстроенный вид. Они словно только и ждали моего возвращения.

— Вот он явился, храбрец, полюбуйтесь! — сказал сердито дедушка. — Почему только плеть Туржана не досталась этому трусу? Ему-то было бы поделом!

Что я мог сказать в свое оправдание, только стоял у порога да молча водил пальцем по стенке, словно это было такое уж важное занятие. Мой желудок ныл от голода, но у меня не хватило смелости даже заикнуться об ужине. А главное, я казался себе ничтожным человеком, недостойным и того, чтобы его кормили.

— Бедный Аян, совсем одишешенек, и заступиться-то некому. Отец на фронте. А Бапая со своей старухой самим нужен глаз да глаз, такие дряхлые, — пробормотала мать, затем она повернулась ко мне и сказала: — Садись поешь, лоботряс.

— Да что-то не хочется, — промямлил я самоотрешенно, боком-боком прошел к постели, разделся поскорее и юркнул под одеяло.

Уснул я на удивление быстро, только успел услышать, как прошамкал дед:

— Сбросить бы лет пятьдесят, ну и проучил бы я Туржана. Совсем озверел, сукин сын.

Проснувшись утром, я увидел, как мать отливает молоко из кувшина в пол-литровую банку. Словно почувствовав мой взгляд, она обернулась и сказала:

— Вставай-ка, позавтракай. А молоко я отнесу Аяну. Изголодался, поди. Говорят, до сих пор лежит пластом, несчастный мальчик.

Я второпях поел и побежал к Аяну. Моя мать еще сидела в доме Бапая и о чем-то шепталась со старухой, которая пряла шерсть. Временами они обе поглядывали на больного. Сам Аян лежал на грубой кошме; ему постелили возле печки, но он все равно зябко поеживался под ветхим одеялом, сшитым из лоскутов. Лицо Аяна отекло от побоев, на скуле багровел здоровенный синяк.

— Ну как? — спросил я, подсев к нему поближе.

— Да ничего, — ответил Аян, еле ворочая языком.

Мы замолчали, да и о чем тут можно было говорить — только поглядывали друг на друга. И я невольно начал прислушиваться к шепоту взрослых.

— Ну и что с ногой? Выправили ногу-то? — спрашивала мать.

— Куда там! Наш старик со вчерашнего вечера бегаёт как угорелый. Вот и опять с утра убежал. Да что толку, кто в нашем ауле возьмётся за это? — проворчала старуха.

— А как же Асылбек-костоправ? Он, говорят, умеет лечить.

— Э, Асылбек уехал в город, будто нарочно. Уж когда не везет, не везет до конца. Да и этот постреленок хорош, — и тут старуха кивну-

ла в сторону Аяна. — Шастает где-то до полуночи. Все ему надо лезть впереди остальных. Пропади его игры пропадом. А нам за него отвечай, за сорванца этого. Свалился на нашу шею. Уж скорее бы кончилась война да вернулся отец. Тогда бы уж мы и померли спокойно. Все одеяла в доме испортил. Во сне-то мочится под себя, как малый ребенок, хоть и умеет сочинять письма, — наклонившись к моей матери, говорила старуха.

Она была глуховата, видать, ей казалось, что ее не слышно совсем, но на самом деле ее бубнящий голос разносился по всей комнате. Аян покраснел, его глаза налились слезами, и, хотя я смотрел на потолок, притворяясь будто все пропустил мимо ушей, он отвернулся к стене и натянул одеяло на голову.

— Ойбой, это все от болезней, — сказала между тем моя мать, поднимаясь, — ничего, придет время, поправится... Пойду, пожалуй, что-то ломит поясницу. В общем, если что нужно, не стесняйтесь. Коли есть, поможем.

Старуха Бапая отложила пряжу и вышла следом за моей матерью, то ли проводить, то ли еще зачем. Главное, что мы остались одни. Меня мучило желание как-то помочь Анну, и я придумал тонкий, с моей точки зрения, план.

— Туржана нам не одолеть. Он взрослый, но знаешь, что мы сделаем: отлупим Касыма. Вот уж тогда разозлится Туржан. Нас много, всех не переловить, — предложил я, стараясь утешить Аяна.

— При чем тут Царапка? Он-то не виноват, — сказал Аян в стенку.

— Ну и пусть. Зато он брат Туржана, — загорячился я, дивясь, как умница Аян не смог оценить такую месть.

— И Туржан ни при чем, — буркнул Аян, не оборачиваясь по-прежнему.

— А кто же тогда виноват? — спросил я, опешив.

— Война — вот кто! Это все она.

— Ну да! Он и до войны был чумной. Все взрослые говорят. Не веришь, спроси кого угодно.

— Теперь не буду курить до самой смерти, — неожиданно заявил Аян.

— И все равно Туржан — злой человек, прямо псих, — сказал я, продолжая упорствовать.

Аян осторожно повернулся и попросил:

— Подай мне вон то пальто... Нет, нет, не то, рядом... черное, — и он указал на старенькое пальто, висевшее на почетном месте.

Я придвинул единственный стул и, встав на него, снял пальто с гвоздя.

Аян бережно принял его, приник к нему щекой и потерся о шершавую ткань. Ноздри его чутко вздрогнули.

— Пахнет полынью. Это папино. Скорей бы он приехал, — сказал он тихо. И, вздохнув, протянул мне пальто: — Повесь на место, не то увидит бабка и будет ругать. Мол, это вещь, а не игрушка, и пойдет, и пойдет! Не умолкнет до вечера.

Потом он улегся на спину, помолчал, потрогал синяк на скуле и добавил:

— А папа скоро приедет. Я знаю.

Дней через десять он встал с постели и начал ходить понемножку. Когда он впервые вышел на улицу, нам стало ясно, что дела с его ногой совсем плохи.

Как и раньше, Аян приходил к подножью снежной горки на свое излюбленное место и наблюдал со стороны за катающимися ребятами. Он жадно следил за каждым нашим движением и, если случалось что-нибудь забавное, смеялся от души. Точно был таким же здоровым, как и все ребята. Но когда Садык предложил ему свои сани, Аян покачал головой и отказался наотрез.

— Болит нога, — вздохнул он.

Иногда вечером, после ужина, я отправлялся в дом Бапая, шел разомлевший, набегавшись за день. Чаще всего Аян сидел в это время возле железной печурки и подбрасывал в огонь пучки соломы. В дни войны было туго с дровами — край-то наш степной, — и нам приходилось топить соломой. Бывало, хлеб обмолят каменным катком,

и потом остается солома, крупная, точно камыш, а в ней иной раз и встретишь колос с остатками зерен. Солома горит легко, бесшумно тает в огне, колос, в отличие от нее, трещит, стреляет искрами, и ты, услышав знакомый треск, лезешь палочкой в пламя и выгребашь к себе колосок с поджаренными зернами. И кажется в этот миг, что нет ничего на свете вкусней, чем каленые зерна. Вот за таким занятием я заставлял нередко Аяна.

Если я появлялся в доме Бапая во время ужина, Аян не смел пригласить меня за скромный стол, он молча кивал на кошму, брошенную возле печки, и при этом осторожно косился на Бапая и его старуху. Я забивался в угол и оттуда следил за тем, как проходит ужин в этом странном, по моему мнению, доме. Старики обычно ели пареный талкан с маслом, а мальчику доставались на ужин все те же жареные зерна пшеницы.

— Ты еще молодой, не то что мы, старики. И к тому же у тебя крепкие зубы, — говорила старуха Бапая рассудительно.

Аян кивал, будто соглашаясь, запивал чаем зернышки, а потом, перевернув пиалу дном кверху, перебирался ко мне в угол и спрашивал тихонько:

— Хочешь послушать сказку? Она совсем новая. Только сегодня придумал. Ну как, будешь слушать?

— Спрашиваешь! — отвечал я возмущенно.

— Тогда слушай... Жил-был мальчик... Он был совсем один... — начинал Аян, и для меня наступали чудесные минуты.

Слава богу, ни Бапай, ни его старуха не мешали нам. Они ели свой разбухший в масле талкан, пили чай с наслаждением и в невероятном количестве. Затем разморенный чаем старик перебирался на постель, долго мял подушки, с удовольствием рыгая, и порой шутил:

— И что вы шепчетесь, шепчетесь, а? Ишь, заговорщики! Наверное, надумали выкрасть чью-нибудь дочку? Признавайтесь?

А старуха ворчала ему в тон:

— Говорят, плохой пес лает без конца, лает и лает. Так и наш парень: и жужжит, и жужжит без умолку.

Перед тем как лечь, она убавляла и без того слабый огонь в лампе-семилинейке, приговаривая:

— Так и керосина на вас не напасешься, бездельники. Все бы вам болтать.

Наконец они засыпали, а мы еще некоторое время забавлялись сказками под их храп. Аян извлекал из кармана штанов драгоценный запас обгоревших зерен и, сдув шелуху с ладони, делился со мной.

— Очень вкусно, правда? — спрашивал он.

Я соглашался с ним, хотя вкус жженого зерна не вызывал у меня иного желания, как выплюнуть тайком это чересчур «изысканное» блюдо.

Иногда мне удавалось принести ему маленький кусочек жесткого сухого хлеба. Зрачки его расширялись, точно у кота, увидевшего мышь, но он старался есть степенно, не роняя достоинства.

Однажды после обильного снегопада кто-то из ребят предложил поиграть в снежки. Мы выбрали двух атаманов, а затем разделились поровну. И тут-то Аян, крепившийся до сих пор, не выдержал и попросил, чтобы его приняли в игру.

— Зачем ты нам нужен, такой хромой? Тебе даже бегать нельзя, какой же интерес играть с тобой, ну, сам посуди, — заявил один из атаманов.

На глазах Аяна выступили слезы, он повернулся и понуро побрел прочь, еще пуще хромая. Мне так жаль было его, что я не выдержал и побежал следом за ним.

— Аян, куда ты?!

— Да тут... — только и сказал Аян, боясь заплакать.

Я пошел рядом с ним, некоторое время мы молчали оба. Так и шли, пока не поравнялись с домом Асылбека-костоправа. Здесь Аян вздохнул тяжело и свернул во двор Асылбека. Я решил не оставлять его до конца и последовал за ним.

Старый Асылбек чистил сарай от навоза. Заметив нас, он оперся на лопату и спросил еще издали:

— Что вам нужно, ребята?

— Дедушка, будьте добры, сделайте что-нибудь с моей ногой. Я тоже хочу бегать, — сказал Аян умоляюще.

Костоправ прислонил лопату к стене, подошел к нам и критически посмотрел на ноги Аяна.

— Бапай мне говорил... Но ты отказался сам. Теперь, пожалуй, поздно: нога так и останется кривой, — пробормотал Асылбек осуждающе.

— Дедушка, сделайте что-нибудь. Мне очень хочется бегать, — повторил Аян.

— Э, думаешь, это просто — поставить сустав на место? А тебе станет больно, ой, как больно! Будь я настоящий доктор, это бы другое дело... А старый Асылбек — деревенский костоправ, и всего-то, — проговорил Асылбек, а сам не сводил с Аяна испытующих глаз.

— Дедушка... — опять затянул мой бедный товарищ.

— Так и быть, детка, так и быть, постараюсь, — засуетился вдруг Асылбек. — Заходите, племяннички, в дом, заходите. Эй, старуха, дай-ка племянничкам поесть! — крикнул костоправ, повернувшись к окну.

За темным стеклом возникла его жена и закивала: мол, слышу.

Мы вошли в дом, разделись робко, хозяйка усадила нас, одеревеневших от смущения, на почетное место и угостила баурсаками и айраном. Мне пришлось есть за двоих, потому что Аяну не шел кусок в горло. Чуть погодя появился сам Асылбек.

— Ну что, подкрепились, племяннички? — спросил он с порога весело.

Аян кивнул.

— Это хорошо, — продолжал Асылбек, снимая калоши. — Ты, жена, постели нам чистое одеяло... Вот. А ты, орел, ложись. Смелее, смелее! Сам пожелал, тебя никто не неволил. Значит, нужно быть мужчиной до конца!

Он натер курдючным салом больную ногу своего маленького пациента, долго ее массировал. Я чувствовал, как напрягалась каждая клеточка тела Аяна. Он беспокойно следил из-под полуопущенных

век за ловкими руками Асылбека, приподнимая голову, чтобы лучше видеть, что тот вытворяет с его ногой, и держал так голову до тех пор, пока не уставала шея. А костоправ массировал ногу и говорил, стараясь отвлечь внимание Аяна, и вдруг сделал незаметное для меня движение. Об этом я догадался только потому, что Аян завопил, как резаный:

— Ой! Больно-о!

— Ну вот и все, — сказал Асылбек, поглаживая больное место. Потом его жена принесла чистую тряпку, а костоправ туго перебинтовал ступню Аяна и даже откинулся назад, любуясь делом рук своих.

— Красиво, а? Теперь тебе позавидуют все мальчишки, — и серьезно добавил: — Будем надеяться на лучшее. И все-таки поосторожней с ногой.

Пришла весна.

Колхозу не хватало рабочих рук, и мы вышли в поле вместе со взрослыми. Обязанности наши поначалу казались несложными: сиди верхом на воле, запряженном в соху, да время от времени погоняй его прутиком. А позади на плуг налегают женщины, потому что их мужья ушли на фронт и делать эту работу более некому.

Пахать мы начинали спозаранку. Волы медленно брели по мягкой оттаявшей земле, тащили за собой плуг, за плугом шагали женщины, за ними тянулся черный жирный след — пласт перевернутой почвы.

Но вот лемех утопал глубже, чем следовало, и вол останавливался, уже не в состоянии преодолеть добавочную нагрузку. Он отощал за зиму и изнемог, потому что и зимой возил то сено, то зерно. Теперь он стоит, дрожа мелко от напряжения, пуская голодную слюну, и тут-то начинается работа мальчишки, сидящего на его спине.

— Ну, пошел! — орет мальчишка и хлещет вола прутком по спине, по крупу, на которых едва успела запечься кровь от прежних ссадин.

Вол напрягается из последних сил и тащит плуг дальше, до следующей заминки. И так с утра до вечера кричишь до хрипоты, сидя на острой, костлявой спине вола. Горло сохнет от крика, руки висят,

налившись тяжестью, в желудке пусто, и от всего этого идет кругом голова. А за спиной слышится тихий усталый упрек:

— Сынок, ну что же ты?

И снова поднимаешь кнут. Вол вздрагивает от удара, но шаг его все так же медлителен и вял. Хочется свалиться на землю, плакать и стучать по земле кулаками.

Женщина, бредущая за плугом, угадывает твоё состояние. Она берет кнут из твоих рук и сама нахлестывает, подгоняет скотину, а тебе говорит участливо:

— Держись крепче, сынок. Смотри не упали.

А у самой темные крути под глазами от усталости, шаг неверен и пальцы дрожат. Но едва кто-то из женщин заводит песню, она начинает подпевать:

Ох и высока гора Кокше,
Как трудно получить весточку от родного,
Который далеко.

За ней подхватывают у второго плуга, потом у третьего, и песня тихо стелется над полем, как печальный вздох, вырвавшийся из потаенных глубин души. Песня эта грустная-грустная, у нас перехватывает горло, становится жалко и женщин, и себя, и ни в чем не повинную скотину. Но плакать нам не позволяет мужская гордость!

Аян так и сказал после первого рабочего дня, когда мы лежали пластом в землянке:

— Плакать каждый умеет. Если ты настоящий мужчина, держи себя в руках.

Землянка наша темна, черна, точно пещера. Керосиновая лампа дела не меняет, свет ее тускл настолько, что мы даже не видим свой ужин. Просто по вкусу узнаем — варево из талкана. Поев кое-как, мы валимся прямо в одежде на тощий слой соломы, который заменяет нам ложе, и сразу засыпаем. Нам кажется, что сон длится всего минуту. Не успеешь смежить веки, а бригадир Туржан уже кричит, сунув в землянку голову:

— Эй, сорванцы! Подъем!

Голос его осип, потому что в эти дни он скандалит вдвое больше обычного. Вот и сейчас он трясет за плечи едва ли не каждого, орет в ухо, тащит волоком к выходу твое, будто тряпичное, тело.

И все повторяется снова. Ты опять на остром хребте скотины и опять кричишь:

— По-шел! По-шел! — и опять поднимаешь кнут и бьешь вола, пока не онемееет рука.

К обеду начинаешь дремать от усталости и голода и, задремав, летишь на землю, на рыхлые пары. Тогда останавливается вол, довольный передышкой, останавливается женщина, затем она подходит к тебе, на лице ее сострадание. Поругивая войну, женщина помогает тебе встать на ноги и взобраться на крутую спину скотины.

Не миновал такой участи и Аян. Только для него это кончилось совсем уж плохо. Он вскрикнул и затих, поняв, что, видно, до конца своей жизни обречен на мучения с больной ногой. Лежал, скорчившись, лишь попросил его не трогать, когда кто-то из взрослых вознамерился снять с него чокай — нехитрую обувь из сыромятины.

Аяна подняли, перенесли на бригадный стан. И оставили на попечение поварихи, пока не приедет первая подвода.

Не миновало и часа, как прибежала повариха, сама не своя, отозвала меня в сторону и зашептала:

— Ну и характер у этого мальчишки! Такой маленький, а представляешь, что наделал? Чуть не задушил себя! Да, да, я сама это видела. Заглянула в землянку одним глазом, а он держит себя за горло и давит. Видит аллах, как я испугалась. «Ты что это, — что с тобой?» Представляешь, тогда он закрыл глаза, прикинулся, будто спит... Бедный мальчик! Я боюсь за него. Ты бы уж как-нибудь поговорил с ним.

На стан я помчался со всех ног, за мной семенила запыхавшаяся повариха, наставляла вслед:

— Скажи ему: у кого сейчас спокойно на душе? У всех горе. У одного одно, у другого другое. Так и скажи: мол, нельзя так!

Аян лежал на спине с закрытыми глазами.

— Аян! Аян! — позвал я шепотом, сел у него в изголовье. Он открыл глаза и, глядя в потолок, сказал:

— Знаешь, я хотел умереть. Ну на что я такой, думаю. А потом вспомнил про папу...

Аян не договорил, ткнулся носом в расстегнутый ворот рубахи и произнес, слабо улынувшись:

— Тоже пахнет полынью. Горько-горько... Вот придет папа, уж он-то что-нибудь придумает... Отвезет меня в город. Там врачи в белых халатах... Он скажет им: «Вылечите моего сына». И они вылечат так, что бегай сколько угодно, прыгай — и ничего. А потом он поведет меня в школу...

Аян размышлял, стал рассказывать, как они начнут жить с отцом, когда тот вернется, а я слушал его, позабыв обо всем, потому что это было интересно, как и придуманные им сказки.

— Вот увидишь: скоро закончится война и папа приедет. Только разобьют фашистов, и он приедет, — сказал он твердо.

Я безоговорочно поверил ему, ну, в то, что его отец вернется скоро. Мне очень хотелось, чтобы этот незнакомый мужчина приехал в наш аул и покончил с одиночеством моего товарища.

К вечеру прикатила подвода с семенами для сева и, разгрузившись, увезла Аяна в аул.

Что и говорить, нелегкое выпало детство и мне, и всем моим сверстникам. Бои полыхали где-то в далеких землях (нам трудно было представить эти края, поросшие густым лесом и занятые степью, не похожие на нашу), но война шла везде, и у нас были свои раны, большие и малые. Потом они зарубцевались, но и по сей день рубец нет-нет да и напечет о себе. В нашем ауле, пожалуй, не найти человека, которого бы в это время минуло несчастье.

Вслед за Туржаном с фронта вернулись еще несколько человек. И каждый принес с собой страшную мету войны. Кто приехал без ноги, кто без глаз, кто, как и Туржан, без руки, — и все равно их появление становилось праздником для всего аула. Потому что вместо

иных ушедших на фронт пришли похоронки. Но особенно жестоко жизнь обошлась с мальчиком Аяном...

Я помню тот знойный день в середине лета, когда пришло извещение о смерти его отца. Война подходила к концу, в то время только и было разговоров, что вот-вот вернутся те, кто остался жив, и оттого это событие показалось мне особенно трагичным.

Аян бежал за нами по пыльной улице, припадая на больную ногу. Он придерживал штаны, болтающиеся на его исхудавшем теле, и кричал:

— Эй вы! Да подождите же! У меня есть новая сказка! Даже не представляете, какая интересная. Ну куда же вы, ребята?!

А нам в разгар игры было не до него. Неповоротливый, слабый, он был для нас обузой в такие минуты. Он отстал от нашей оравы, что оголтело летела по улице, и побрел в полном одиночестве. Тут-то его и нашел человек из сельсовета. Говорят, посыльный долго мялся, не зная, как вручить извещение. Аян смотрел на него с тревогой и никак не мог понять, что же хочет этот человек. Наконец посыльный сунул в руки Аяна страшный листок и пустился прочь чуть ли не бегом.

Мы видели издали, как Аян прочитал какой-то листочек бумаги, потом прочитал еще раз и еще, словно не верил своим глазам. Потом сложил его вчетверо, спрятал в карман и начал следить за нашей возней как ни в чем не бывало. Мы тогда еще не подозревали, в чем дело, но по тому, как его лицо стало пугающе спокойным, я почувствовал, что случилось неладное.

— Ну, до свиданья. Я пойду, — сказал Аян и потащился к окраине аула.

— Что-то не хочется домой, — сказал я и потянулся за ним, а он будто не услышал, будто отключился от всего, что происходило вокруг.

Он пошел на конюшню. Здесь было душно, пахло соевшим навозом. Нудно жужжали черные жирные мухи. Под потолком за балкой, в воробьином гнезде, пищали птенцы. После яркого уличного

света в конюшне показалось темным-темно. Я постоял немного, давая привыкнуть глазам, и двинулся по проходу между стойлами, выставив на всякий случай руки.

Аян сидел в дальнем углу на горке сена, спрятав лицо в ладонях. Потом он вытер глаза и вышел из конюшни. Я вновь поплелся за ним. Глаза и нос его распухли, стали красными, но он улыбнулся и сказал:

— Жарко как, а?

С тех пор миновала неделя. Как-то утречком я отогнал наших козлят на пастбище и, вернувшись в аул, увидел ребят, толпившихся возле двора Бапая, и подводу, на которой лежал пухлый узел домашнего барахла. Ребята тихо переговаривались, поглядывая на ворота.

— Аян уезжает в детдом, — сообщил стоявший с краю Есикбай.

— Что ты говоришь? Куда он уезжает? — спросил я, ничего не понимая поначалу.

— Говорят, его повезут на станцию. Оттуда — поездом.

Из ворот вышел Аян, одетый по-дорожному. Его сопровождали Бапай со своей старухой и джигит, хозяин подводы, Бапай на ходу наставлял джигита, чтобы тот обязательно довез мальчика до станции.

А старуха обняла Аяна и прослезилась.

— Будь счастлив, родненький, — сказала она, вытирая слезы. — Ты пророс от хороших семян. Твои родители были славными людьми, стань и ты таким же. Будем живы — приезжай.

— Как приедешь, напиши. Ты у нас грамотный, — сказал Бапай. — Жаль, что нет сейчас покупателя. Не то бы продал корову. Теперь уж сведу на базар и потом вышлю тебе деньги.

— Зачем продавать корову? — удивилась старуха. — Аян подрастет, и она пригодится в хозяйстве. Не слушай, детка, дедушку. Он выжил совсем из ума. Когда приедешь, у тебя будет корова с приплодом.

— Зачем мне корова, — сказал Аян и, повернувшись к нам, начал прощаться.

— Я буду писать вам письма, всем! И тебе, и тебе, — говорил он, пожимая руки.

Затем Аян залез на подводу, и возница тронул лошадь.

— Ну, пошла!

К подводе прицепился Есикбай и проводил Аяна до конца улицы. Мы долго стояли так и смотрели, как удаляется телега с Аяном, поднимая за собой серую пыль. Его фигурка постепенно уменьшалась. Аян снял шапку и помахал нам напоследок, а потом и вовсе скрылся за поворотом.

— Ребята, давайте играть! — произнес Касым-царапка, будто ничего не случилось.

— Да что-то болит голова, — сказал Садык и пошел к своим воротам.

— А меня мама зачем-то зовет, — сказал еще один из ребят.

Так в тот день еще задолго до вечера расстроилась компания...

Мы долго помнили Аяна и его сказки. Иногда собирались ненастными зимними вечерами и восстанавливали по слову все, что он когда-то рассказывал нам.

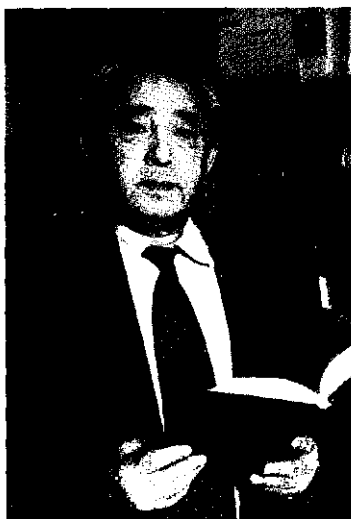
Недавно снова, как и в детстве, я вышел на улицу нашего аула, и мне вдруг почудилось, что под мохнатой шапкой горы Ешкиольмес спит, сотрясая ее своим храпом, одноглазое чудовище, с которым боролся отважный мальчик-сирота. Где-то теперь этот мальчик, счастливо ли сложилась судьба, или он опять с кем-нибудь борется?

Повеял ветерок и принес с Полынного холма знакомый терпкий аромат. И я подумал: если Аян жив, он непременно приедет сюда. Потому что рано или поздно его поманит горький запах полыни.

Перевод Георгия Садовникова

Кабдеш Жумадилов

(род. в 1936 г.)



Видный представитель казахской прозы. Родился в Китайской Народной Республике. По направлению Китайского правительства поступил на филологический факультет Казахского государственного университета, который окончил в 1965 г.

В 1965–1967 гг. работал старшим корреспондентом редакции «Казах адабиети» («Казахская литература»). В 1967–1976 гг. являлся старшим редактором отдела прозы издательства «Жазушы», а в 1976–1981 – старшим редактором Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Начиная с 1981 г. по настоящее время занимается творческой работой.

Первые его стихи опубликованы в 1954 г. в «Синьцзянской газете», выходившей в городе Урумчи, а первый рассказ – в 1956 г. в журнале «Шугыла» («Радуга»).

Среди его книг такие, как «Жас даурен» («Счастливая молодость»), «Улетают птицы», «Кокейкести» («На злобу дня»), «Некоторые периоды жизни человека», «Саржай-ляу» («Золотая летовка»), «Сайгуликтер» («Аргамак»), «Жители одного города», «Козы курен», «Последнее кочевье», «Тагдыр» («Судьба»), «Дарабоз» («Уникум»), «Атамекен» («Земля отцов»), «Чудесный мир», «Кылкопир» («Мост, проложенный над адом и ведущий в рай»), «Вечная война», «Слезы академика», «Огонь Прометея», 12-томник произведений и другие. К. Жумадилов – писатель, хорошо знающий казахскую историю, национальные традиции и обычаи и работающий в жанре критического реализма.

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1990), Народный писатель Казахстана (1998). В 1983 г. за роман «Последнее кочевье» ему присуждена литературная премия имени М. Ауэзова.

Уличный музыкант

Айдарбек по привычке сошел с автобуса на одной из центральных улиц города. За спиной у него висел футляр с гармонью, а на правое плечо наброшена дорожная сумка. Руки были заняты. Ими он опирался на костыли. Солнце еще только выглядывало из-за высотных зданий. Он немного постоял, не касаясь земли полусогнутой в колене правой ногой, полной грудью вдохнул легкий майский воздух, еще не успевший насытиться дымом выхлопных газов, а затем тронулся и поскакал вперед, как стреноженный конь. Место, куда ему надо было попасть, находилось недалеко от остановки. Слегка припадая на здоровую ногу, он, прихрамывая, прошел знакомым маршрутом и спустился в подземный переход, через который весь день напролет непрерывно двигался людской поток. Здесь же размещалось несколько коммерческих точек, где работали: сапожник, ремонтировавший обувь; мастер, реставрировавший старые фотографии и вставлявший их в рамки; стояли прилавки с газетами, журналами, книгами и всякими необходимыми мелочами...

Когда Айдарбек проходил мимо них, стуча ножками костылей, его «соседи» кивали головой, а некоторые в знак приветствия помахивали ему рукой. Однако он ни на миг не задержался и направился в свободный полутемный уголок прохода, в котором царила прохладная сырость. Когда он очутился на своем привычном месте, то, прижавшись свободным плечом к стенке, не спеша снял дорожную сумку и гармонию. В дорожной сумке находился складной стульчик. Прислонив костыли к стене, он присел на стульчик.

Сначала отдышался. Сжимая и разжимая ладони, размял свои онемевшие от костылей пальцы рук. В утренние часы людей было

сравнительно мало. Сверху слышался гул машин, проезжавших над бетонными сводами перехода. Он неподвижно просидел еще несколько минут, а затем стал мысленно подбадривать себя: «Все путем, пора приступать к работе». Работа для него не была обременительной. Вытащив из сумки газетку, он разложил ее перед собой и сверху кинул свою старую мятую кепку. После этого протянул руку к футляру. Внутри этой выцветшей старой коробки с изрядно обшарпанной поверхностью лежала пестро-коричневая гармонь. С трепетной нежностью, словно держа в руках какую-то священную реликвию, он вытащил ее и водрузил себе на колени. Закинув ремни на плечи, пробежался пальцами по кнопкам инструмента.

С чего бы начать? В репертуаре Айдарбека было свыше ста казахских, русских и татарских наигрышей и мелодий. Но он же не станет исполнять их беспорядочно, а, как артист, выступающий на концерте, будет выбирать их сообразно своему репертуару. С другой стороны, многое зависело от его сиюминутного настроения.

Порой он начинал с торжественных, бравурно-веселых и виртуозно-красивых наигрышей, а иногда со сплошь протяжных и печальных мелодий. В последнее время он стал учитывать национальную принадлежность и возраст городских жителей. К примеру, когда он начинал исполнять переливы одинаково нравившейся всем «Катюши», то никто из ветеранов войны не оставался равнодушным к этому. Недавно на празднике 9 мая он весь день напролет исполнял только мелодии фронтовых песен, всегда начиная с любимой «Катюши»! В праздничные дни, когда настроение у людей радостное и приподнятое, соответственно и куш снимался хороший... Вот и сейчас на бегущей строке его памяти, словно на афише, высветились «Вальс любви», «Птицы-птицы», «Дунайские волны», «Подмосковные вечера», «Галия бану». Но, заметив, как по лестнице спускается вниз группа молодых людей, он плавно затянул мелодию песни «Ак бантик»¹.

¹ Белый бантик.

И сегодня все идет неплохо. Прохожие то и дело бросают в кепку по пять, по десять тенге. Между делом в нее падают и двадцатитенговые монеты. Разные люди попадаются: одни, будто желая быстрее избавиться от обузы, бросают деньги и быстро проходят мимо, а другие задерживаются, вслушиваясь в звуки гармонии. Есть и те, которые, наострив слух, застывают на минуту-другую, делая вид, что с интересом рассматривают витрины киосков и книги, разложенные на прилавках... У попрошайки требовать сдачи стыдно, поэтому некоторые из прохожих тщетно и суетливо роются в карманах в поисках мелочи, но ее там не оказывается, и, не желая расставаться с купюрами, люди, убыстряя шаг, проходят мимо. Естественно, Айдарбек никого в этом не винит. Он понимает, что нынче многим не до жиру, быть бы живу. Антиподы попрошаек — богачи с туго набитой кошелем. Но они никогда не спускаются в подземные переходы. Они сейчас проносятся на машинах над этими сводами.

На первых порах Айдарбек невольно стыдился такого рода заработка, но со временем свыкся и нашел очень удобное тому оправдание. «Я ведь не нищий, просящий с протянутой рукой подавания у каждого встречного, я — уличный музыкант, живущий продажей своего таланта», — мысленно успокаивал он свое самолюбие. Впрочем, если тебе все-таки платят за твое искусство, какая может быть разница между выступлением перед людьми на сцене или же сидя в подземном переходе?! Разве лишь в том, что в концертных залах цена на билеты гораздо дороже, а здесь — почти задарма. А можно и ничего не платить. Если филармония, расклеив на улицах афиши, продает билеты в своих кассах, то его кассой является лежащая перед ним кепка. А по количеству зрителей это место превосходит любой театр.

Таков уж этот непостоянный мир, который вчера поворачивался к тебе лицом, а сегодня... Некогда он был Айдарбеком, прослывшим «сенгиртауским сери¹», а нынче прозябает здесь! У него была солид-

¹ Слово «сери» здесь употребляется в значении «певец, музыкант, артист, фронт, щеголь».

ная должность заведующего Домом культуры. Гудели моторы автоклуба, сонно, но сносно работала библиотека. Он сам собрал кружок художественной самодеятельности и по субботам организовывал концерты. Разве хоть одно торжество, хоть один той проводились в те времена без его участия?! Неизменно сидел он на почетном месте и играл, и гармонь его широко и вольно дышала и пела, пела... Если подумать, то все сейчас кажется чем-то похожим на сон.

Удивительно, что за каких-то там пять лет от всей этой молодой и здоровой поры остались лишь воспоминания. Вначале районное руководство, найдя непонятные для Айдарбека основания и поводы, разбазарило до основания всю общественную собственность. Сплощенные некогда коллективы как водой смыло, и народ оказался не у дел. Спустя год Сенгиртау лишился статуса райцентра и слился воедино с соседями. Народ остался без руля, без ветрил, без работы и, пытаясь выжить, разбрелся кто куда. Как говорится, «молиться и поститься дозволено лишь сытым», кому в таком положении нужны твои песни и кюи, твой Дом культуры, на дверях которого повесили амбарный замок?

Оставшийся без работы Айдарбек впервые за несколько лет переставал тем, что выступал на тоях в качестве тамады и играл на своей гармонии. Но пиры проводятся не каждый день. И когда это случалось, то хозяевам, у которых и без того на счету была каждая копейка, нечем было порой расплатиться. Приходилось довольствоваться едой и питьем с дастархана. К тому же в последнее время гармонь уже перестала пользоваться былой популярностью. Нынешняя молодежь предпочитала оглушительные магнитофонные записи, под которые отплясывала до исступления. А потом Айдарбека и вовсе перестали приглашать. Хорошо, что покойная Кайша не дожила до того дня, когда он оказался не у дел и стал не нужен никому. Его жена скончалась за несколько лет до того, как мир сошел с ума. Такая, казалось бы, беспричинная смерть была не редкостью в районах, прилегавших к Семипалатинскому полигону, где люди, до того не жаловавшиеся на свое здоровье, вдруг внезапно умирали. То же

самое произошло и с Кайшой. Сидя вместе с домочадцами за ужином, она вдруг свалилась замертво.

И остался тогда Айдарбек в своем доме вдвоем с тринадцатилетней дочерью Айгуль. Старший сын учился в Алматы. Господи, ну кто бы мог подумать, что он станет студентом?! За год до смерти матери он сам, без чьей-либо помощи решил податься в столицу на учебу, получил приличные оценки на вступительных экзаменах и поступил в железнодорожный институт. Прошло немало времени... Айдарбек сильно заскучал по сыну. И так и сяк размышлял, пока однажды, спросив у самого себя: «И долго я буду так страдать?» — окончательно не решил: «Недаром говорится: хорошая собака свою смерть на миру не покажет. Если умереть, так не лучше ли сделать это вдали от Сентиртау? Доберусь на худой конец в Алматы, а там будь что будет.

Приняв окончательное решение, Айдарбек продал единственную свою корову, наскреб денег и прошлым летом, собрав в один чемодан свои пожитки, повесив гармонь за спину и ведя за руку Айгуль, подался в Алматы. К тому же питал в душе надежду на то, что сможет на первых порах прокормиться своим искусством и наверняка найдет в большом городе какую-нибудь работенку. Но, как говорится, все, что задумано дома, рушит торжище, царящее на базаре. Надеждам его так и не суждено было сбыться.

Приехав сюда, он вдоль и поперек исходил весь Алматы. Куда только он не обращался, в какие только двери не стучался. Он обошел все имевшиеся здесь очаги культуры, но ни в одном не пригнулся. Шло повсеместное сокращение штатов, и люди сами не знали, как жить дальше. Везде и всюду он получал от ворот поворот.

— Не слишком ли ты высоко решил взлететь, жигит, — накинул на него директор филармонии, словно желая выместить на нем весь свой гнев. — Мы голову ломаем, не зная, куда бы пристроить артистов, имеющих звание, а тут аульский завклубом пришел на работу устраиваться, явился — не запыхался!

После этого все надежды Айдарбека окончательно рухнули, словно его ушатом холодной воды с ног до головы окатили. Даже

обычной поденной работенки для него не нашлось. Единственное, что смог сделать Айдарбек, так это устроить в школу-интернат Айгуль. Сын Айкын жил в институтском общежитии. Он хорошо учился и получал скромную стипендию, которой еле-еле хватало на пропитание.

Сам Айдарбек проживал в старой, ветхой загородной лачуге своего старого дружка. Времянку пришлось подлатать-подремонтировать. Незаметно минула осень, и настала зима. О Боже, недаром говорится, что беда в одиночку не ходит. В тот день, когда в Алматы выпал первый снег, он, узнав, что в офис, находившийся на окраине города, требуется сторож, быстро собрался в дорогу, одевшись потеплее и водрузив на голову старый, но добротный малахай, давным-давно сшитый из меха сенгиртауского сурка. В спешке проходя через улицу, нечаянно поскользнулся и сильно ушибся. На его счастье рядом оказался сердобольный человек, который тут же доставил его в больницу. «Ну и черт с ним! — хуже уже не будет», — успокаивал себя Айдарбек. Но перелом голени на правой ноге оказался продолжением незавидной доли. Айдарбек по своей наивности полагал, что пролежит в больнице до тех пор, пока не заживет нога. Но нынче в больницах давно перестали держать больных подолгу. Спустя неделю после того, как на ногу наложили гипс, врачи лишь сказали, словно его ждал шикарный дворец с мягкой и удобной постелью:

— Теперь можете выписываться и ехать домой. Гипс снимем только через два месяца. Тогда и свяжетесь с нами!

Ничего не поделаешь, пришлось выписываться.

Как же он настрадался тогда с этим переломом! Но недаром говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Перенесенные мучения открыли ему дорогу в нутро подземного перехода, к заветному месту. А все началось для него — как и всегда — совершенно неожиданно и случайно.

В тот самый день, когда он выписался из больницы, он ковылял, прихрамывая, на костылях к автобусной остановке, чтобы поехать в

свою «квартиру» за городом. Идти с непривычки на костылях оказывается не так-то просто. К тому же если на улице скользко. До остановки оставалось пройти буквально несколько метров, как вдруг костыли соскользнули на заледенелом насте, и он упал, отлетев в сторону. Его переломанную ногу пронзила такая невыносимая боль, что он чуть было не потерял сознание. Падая, он ударился о тополь и долго не мог очухаться, не в силах поднять слетевший наземь старый малахай. Сейчас опрокинутый малахай валялся возле него, прямо на тротуаре.

И тут случилось непредвиденное. Проходившая мимо пожилая русская женщина бросила в малахай десятитенговую монету. Шедший следом мужчина преклонных лет кинул пять тенге... «Надо же, они приняли меня за попрошайку, который просит милостыню! — подумал с досадой Айдарбек, испытывая чувство унижения. — Неужто и вправду я своим видом похож на нищего?»

Но подбирать малахай не стал. Возникшая ситуация показалось ему столь забавной, что он с интересом продолжал наблюдать, что же произойдет дальше. И удивительное дело, то ли все люди как на подбор оказались милосердными и сдобольными, то ли его загипсованная нога и костыли вызвали у прохожих чувство жалости, но в тот день за каких-то полчаса в шапке оказалось около шестидесяти тенге. Это были по тем временам немалые деньги: на них можно было купить две булки хлеба или же два литра молока. Человеку рачительному вполне достаточно, чтобы быть сытым два дня... И вот тут Айдарбека осенила мысль: «Оказывается, в большом городе можно прожить вот так, прося милостыню! Кто меня тут знает? Кого стесняться?»

И опять Айдарбек нашел себе оправдание: он не ступил на стезю попрошайки — он упал на нее. После того как немного приноровился ходить на костылях, он с гармонью за спиной направился на железнодорожный вокзал. Как-никак людей там много, и выручка оказалась неплохой. Ее хватало не только на хлеб и чай, но даже и на еду для детей. Каждые десять дней он отдавал деньги Айкыну и Айгуль.

Одно было плохо, слишком уж много развелось людей, следящих за порядком. Полиция без конца прогоняла оборванцев и убогих, не желая, чтобы они попали в поле зрения приехавших сюда иностранных гостей.

Существовала и еще одна опасность: здесь было многовато приезжавших и отъезжавших семипалатинцев. Он мог ненароком повстречать кого-нибудь из знакомых.

Однажды Айдарбек, с трудом продираясь сквозь толпу, вышел на перрон и чуть было не столкнулся лицом к лицу с одним из своих сенгиртауских земляков. Этот человек, некогда имевший статус совхозного парторга, похоже, занимался сейчас мелкой розничной торговлей. Неся в руках тяжелые узелки и баулы, бывший парторг не заметил Айдарбека. Он резко оглянулся было назад, но, к счастью, все обошлось. Ох, не умел тот бывший держать язык за зубами! И, столкнусь они лоб в лоб, не преминул бы растрепать на весь Сенгиртау о том, что, мол, Айдарбек, оказывается, попрошайничает в Алматы... С тех пор он редко заглядывал на вокзал. Все больше околачивался на автостанциях и базарах внутри города да в любых таких, как этот, подземных переходах.

Была еще одна опасность, которой всячески пытался избежать Айдарбек, — не попасться в таком виде на глаза своим собственным детям. С него довольно испытываемых мук от того, что он докатился до такого жалкого состояния, поэтому он не захотел расстраивать своих дорогих жеребят, сказав, что «устроился сторожем на один склад». А сам дошел до такого отчаяния, что перестал бояться и стесняться людей. И на самом деле, с чего бы ему испытывать чувство унижения и стыда? Он ведь не ворует и не отбирает чужое добро. Принимает лишь садака — подаяние, которое по собственной воле отдают ему люди. Воровство — грех, подаяние — людская искупительная жертва. Сколько людей, благодаря тому, что дают ему садака, искупают тем самым свои грехи или же получают воздаяние за богоугодное дело. А раз так, то он следует по божьему пути. Он слуга Божий, собирающий своего рода поборы и налоги...

Но чувство вины вернулось к Айдарбеку сразу же после того, как врачи сняли гипс с его ноги. По их словам, кость на месте перелома срослась нормально. Разве что после долгой ходьбы нога немного ноет, не более того. Дома он ходит без костылей. Вот только опирается при людях, когда выходит на улицу. Это вошло в привычку. Костыль — его действенное оружие, оправдывающее его нынешнее положение. Нынче тех, кто получает от музыки истинное наслаждение, раз-два и обчелся. А вот когда ты ходишь на костылях, то это у всех неизменно вызывает жалость и сочувствие.

Стоит лишь Айдарбеку подумать об этом своем «плутовстве», как он со стыда сквозь землю готов провалиться, но тут же начинает успокаивать себя: «Ну, ведь это правда, что я сломал ногу. И ничего зазорного в том не вижу, если еще немного похожу на костылях». Он уже успел насмотреться на тьму-тьмушую проныр и лжецов среди попрошайек и нищих, которые каждый день находят себе новое оправдание:

— У меня дом сгорел...

— Только сегодня выписался из больницы.

— Меня обворовали, не могу вернуться в свой аул!

Да еще начинают плакать и причитать, и при этом ни один мускул на лице не дрогнет.

Да он, Айдарбек, по сравнению с ними — ангел! Люди ведь лгут не от хорошей жизни. Он недавно услышал, что в Индии попрошайничество является своего рода профессией. Некоторые попрошайничают уже в седьмом поколении. Говорят, что порой среди них встречаются и те, кто намеренно калечит своих детей еще в младенческом возрасте, чтобы вызвать у всех сочувствие и жалость... Избавь Бог от такой профессии...

Думая обо всем этом, Айдарбек сидел с низко опущенной головой и, плавно растягивая мехи гармони, наигрывал приятную мелодию песни «Галия бану». Внезапно он почувствовал, что кто-то стоит, нависнув прямо над ним, и поднял голову. Это оказался постоянно патрулирующий здесь сержант полиции. Парень-казах с выпяченными губами и лицом похожий на дунганина.

— Ну что, снова сюда появился? — сразу же перейдя на «ты», чванливо спросил полицейский.

— А куда мне еще идти? Место привычное...

— Ну как, навар хороший?

— Да вот, рады тому, что Бог послал! — Айдарбек кивком головы указал на горсть мелких монет, лежавших на дне кепки.

— Хорошо живете! — сказал сержант, не отрывая своих холодных рыбьих глаз от денег. — Ничем себя не утруждаете, ни копейки властям не платите ...

Айдарбек хотел было сказать ему в ответ: «Если тебе завидно, давай местами махнемся», — но промолчал. Какой ему прок пререкаться с человеком, наделенным пусть даже сиюминутной, но все же властью.

— Ладно, продолжай заниматься своим делом. Загляну к тебе после обеда, — уходя, сказал ему напоследок сержант.

Айдарбек внутренне тяжело вздохнул. Обещая заглянуть попозже, сержант тем самым намекал на то, чтобы ему заранее приготовили бутылку водки. Если не угодить — беды не оберешься. Не побрезгует прогнать прочь. «Своих детей прокормить не в силах, — подумалось Айдарбеку, — а тут к нему еще этот третьим ребенком пристроился, вот уж точно — вороватая собака готова облизать и зад голодного пса».

Кажется, уже наступил полдень, людей стало меньше. Старик Шамгон, продававший книги, подозвал его жестом руки.

— Айдарбек, подкрепись и выпей кесюшку¹ чаю! — сказал он, высовывая голову из окошечка своего магазинчика.

Айдарбек пересчитал деньги, лежавшие перед ним в кепке, положил их в карман и, ковыляя на костылях, направился к киоску. Недавно старуха татарка, готовившая обед для всех, кто тут торговал, оставила ему пару штук самсы². В благодарность за исполнение мелодии песни «Галия бану». Он захватил их с собой к чаю.

¹ Кесе — пиала, большая фаянсовая чашка без ручки.

² Самса — пирожок с мясом, испеченный в форме полумесяца.

Старик Шамгон — уральский казах. Хотя ему уже было под семьдесят, но чисто выбрит, опрятен, одет с иголочки. Раньше он работал в одном из здешних издательств и занимал там приличную должность. А нынче торгует книгами. Видать, торговля сегодня была удачной, настроение у старика было приподнятое. В самом углу его небольшого киоска, где с трудом могли поместиться двое взрослых мужчин, поверх картонного ящика был накрыт дастархан. На одной тарелке лежали нарезанные куски хлеба и очищенный зеленый лук, а на другой картошка в мундире и два куриных окорочка.

— Проходи, присаживайся! — сказал он Айдарбеку, с трудом втиснувшись в дверной проем, и указал на свободное место.

В подземном переходе, куда никогда не заглядывало солнце, лампы горели круглые сутки. Шамгон выдернул провод оловянного чайника из розетки и разлил из него чай в две кесюшки. Затем вытащил откуда-то открытую и уже початую бутылку водки.

— Как насчет выпить сто грамм? — спросил он, лукаво глядя на него. Затем, не дожидаясь ответа, поровну разлил водку в два стакана: — Ну, давай, братец, выпьем за здоровье!

Айдарбек давно уже не пил водку. Не из-за того, что здоровье не позволяло, а потому что в целях экономии вычеркнул ее из своего бюджета. Разве кто-нибудь за последнее время приглашал его в гости? Вспомнив об этом, он был весьма растроган и залпом выпил водку.

— Ну, как там твои дети? Как учатся? — спросил у него Шамгон, с сочным хрустом уминая кружочек лука.

— Шукур¹, дети живы-здоровы. Они ведь для меня единственная опора, — ответил Айдарбек, протягивая руку к луку. — Слава Богу, оба учатся хорошо. Сын — на втором курсе института, а дочь в седьмом классе.

— Как говорится, дети рано или поздно вырастут, а имеющий жену обретет достаток. Были бы дети в порядке, а ты еще найдешь свое

¹ Слава Богу!

место в этой жизни! — подбодрил его Шамгон, пододвинув гостю тарелку с окорочками.

После «ста граммов» оба заметно повеселели и стали говорить о том о сем.

— У нас на Урале татар живет много, — стал рассказывать Шамгон, перейдя к очередной теме разговора. — Когда я слушаю «Галия бану» и «Вдоль по реке Сарман» в твоём исполнении, то ощущаю во всем теле блаженную истому.

— Видать, в годы вашей молодости, уважаемый Шамгон, вы были завидным женихом на Урале.

— Да, татарские девушки — настоящие красотки. И мы гуляли лунными вечерами по берегам Чагана, — вздохнул Шамгон. — Но давно хочу спросить тебя, дорогой Айдарбек, сколько тебе лет?

— Сорок шесть стукнуло.

— Да ты, я вижу, совсем еще мальчишка! Моя старшая дочь всего на два года младше тебя, — воскликнул старик, взмахнув рукой. — Ты в консерватории учился или самоучка?

— Какая там консерватория?! — рассмеялся Айдарбек. — Я закончил всего лишь Семипалатинское музыкальное училище. Отец мой работал школьным учителем. Видимо, я не отличался другими способностями, поэтому отец с детства привил любовь к музыке, купил мне домбру и гармонь.

— То-то и оно, что музыка у тебя в крови. А без этого, брат, никакого прока не выйдет! — возбужденно и страстно, словно горячий жигит, заговорил Шамгон. — Просто тебе не повезло, иначе мог бы играть в любом оркестре. Мог бы даже выступать на сцене с сольными концертами.

Айдарбек, давненько не слышавший похвалы в свой адрес, до глубины души растрогался от теплых слов. После недолгой паузы он наконец заговорил:

— Что поделаешь, разве уйдешь от судьбы, если так на роду написано? — тут он чуточку поперхнулся, прокашлявшись. — Прадед мой, говорят, был баем, за что и поплатился. Его признали врагом

народа и в 1928 году сослали в Сибирь, где и покоятся его останки. А мой отец был интеллигентом в первом поколении — сельским учителем... И вот теперь, когда некоторые ликуют, обретая свободу, я сижу тут и прозябаю!..

Уличный музыкант замолк, и глаза его наполнились слезами. Произнеси Айдарбек еще пару слов — слезы тут же бы полились ручьем.

— Ты духом-то не падай! — приободрил его Шамгон, пристально глядя ему в глаза. — Самое главное — мы свободны! Не являемся чьими-то рабами. У нас с тобой даже свой бизнес есть, пусть и малый, — улыбнулся старик: — Подумай о будущем своих детей, сделай все, чтобы они были счастливы!

Айдарбек встряхнулся, взяв себя в руки, и заговорил уже твердым голосом:

— Да, ты прав, лишь бы дети наши не пошли по миру с протянутой рукой! Спасибо тебе за угощение, за добрые слова. Пора браться за работу. Кстати, сегодня я сержанту должен «налог» заплатить.

Медленно тянулись дни. Айдарбек все чаще стал задумываться о своей никудышной судьбе, пока не решил окончательно расстаться с костылями. Само собой разумеется, было бы подловато продолжать ходить, опираясь на них, когда нога давно уже зажила, но ко всему прочему они, проклятые, еще и мешали нормально передвигаться. Много хлопот доставляли поездки в общественном транспорте. Вскоре он нашел выход из положения. Теперь Айдарбек ходил с тросточкой и носил темные очки. С одной стороны, тросточка являлась оружием. А очки защищали глаза от яркого солнца. Если прохожие, глядя на него, могут подумать, что у него проблемы со зрением, то это еще лучше. Вполне соответствует устоявшемуся выражению «слепой музыкант».

Айдарбек избавился от костылей, и ему стало намного удобнее и легче перемещаться по всему городу, шагать стал увереннее и шире. Теперь он не сидел целыми днями напролет на одном месте, а свободно и легко мог попасть в любую точку, где народу было побольше.

Дело в том, что через облюбованный им подземный переход изо дня в день в основном проходили одни и те же люди, живущие в прилегающем к нему районе. Многие из них, хотя бы раз бросившие монету примелькавшемуся попрошайке, потом долго не будут обращать на него внимания. Поэтому ему, словно сметливому пастуху, чуть ли не каждый день ищущему новые пастбища для своего стада, не мешало бы постоянно менять свою дислокацию. Так Айдарбек и сделал: если сегодня был на базаре, то на следующий день переходил на автостанцию, иногда он обретался возле мечетей и церквей. Тогда он и заметил одну интересную особенность. Похоже, мечеть и музыка — совершенно разные миры, потому что паства и попы церквей были на руку пощедрее, чем мюриды и приходившие на пятничный намаз правоверные мусульмане. Как он удачно исполнял старинные русские наигрыши, когда на Пасху стоял возле церкви! И прихожане на праздник были щедры.

Пройдясь по улицам, он заметил, что подобных ему бродяг стало гораздо больше, чем раньше. Кроме уже известных ему попрошайек, кишмя кишели всякого рода прохиндеи, проныры, кланчившие деньги; хироманты, старики и старухи, гадавшие на кумалаках¹. Немало появилось попрошайек из соседних республик: таджики, узбеки. Когда Айдарбек увидел новую волну пришлых бродяг и нищих, понаехавших сюда в поисках пропитания, то ощутил в душе такое страшное уныние и упадок, что совершенно разочаровался в перспективах избранного пути. Опечалило его вовсе не то, что эти попрошайки были его конкурентами и посягали на его «заработок», а то, что времена наступили тяжелые, и улучшения не предвиделось.

Когда десять дней спустя Айдарбек снова вернулся в облюбованный им подземный переход, то его постоянные соседи, торговавшие здесь, тут же обомлели от изумления. Теперь он уже был без костылей. Вместо них в руках у него была приличная на вид тросточка. Сам он привел себя в порядок, усы и борода были аккуратны по-

¹ Кумалак — овечий катышек.

стрижены и приглажены. Весь его внешний облик изменился до неузнаваемости, если не считать гармони, висевшей у него за спиной.

— Да ты, оказывается, настоящий красавец мужчина! — не скрывая своей радости, воскликнул старик Шамгон. — Мы так соскучились по твоей гармонии. Сыграй-ка ты нам сегодня от всей души «Галию бану».

Его дружно поддержали и остальные, и каждый принялся заказывать свои любимые песни. Сегодня Айдарбек был просто в ударе, и его захлестнуло забытое вдохновение. Давно он не чувствовал себя так бодро и раскованно. Страстно и лихо наяривая на гармони, как это бывало в лучшие, счастливые годы, он мгновенно заполнил весь подземный переход пронзительными чувственными звуками. Плечи его двигались в такт каждой мелодии, словно он составлял единое целое со своей гармонью, готовый взмыть ввысь, как белый ястреб-туйгун. Длинные пальцы музыканта, приплясывая на бегу, резво и безудержно носились по кнопкам гармони, с такой молниеносной скоростью перепрыгивая по всей клавиатуре, что глаз не успевал уловить их движения. Да и мехи его коричневой гармони, как никогда прежде, раздвигались во всю свою предельную ширину! Звуки напоминали то крик лебедя, то протяжный рев верблюжонка... Он сегодня не обращал никакого внимания на поток сновавших туда-сюда прохожих, не видел, с каким восхищением и интересом смотрят на него некоторые из них. Он беспрерывно, не делая паузы, исполнял одну мелодию за другой, чтобы до конца и вволю излить все свои печали и страсти, которые бушевали в этот момент в его обездоленной душе.

В сегодняшнем дне таилась какая-то непредсказуемая загадка. А может быть, какой-то благодатный луч озарил его свыше. Вне всяких сомнений, все люди сегодня встали с правой ноги. Когда он наконец бросил взгляд на лежавшую перед ним кепку, то она была переполнена монетами, и часть их рассыпалась даже на подложенную под нее газету.

Вспотевший к тому времени Айдарбек, словно скакун на скачках, вошедший в ритм стремительного бега, в следующий миг уже запол-

нил звуками все пространство перехода, исполняя «Полонез» Огинского. А когда доигрывал финал, то заметил, что к нему направляется человек в форме. Вначале он вздрогнул, приняв его за того самого сержанта. Нет, это был не сержант, а майор. К тому же не полицейский, а армейский офицер, казах, которому на вид было уже лет за тридцать. Майор наклонился и приветливо спросил:

— Ага, извините, можно переговорить с вами?

— Говорите, я слушаю!

— Ага, я уже давно здесь стою. Я слушаю вас и удивляюсь. Вы играете просто великолепно!

— А что в этом удивительного? Я ведь не вчера взял гармонь в руки, — ответил Айдарбек, не придавая словам майора особого значения.

— Я не сомневаюсь, что вы знаете нотную грамоту. Где вы получили музыкальное образование?

— Да нет у меня никакого особого образования. За моей спиной лишь музыкальное училище. Теперь это, кажется, именуется «колледжем»?

Лицо майора просияло:

— Да это просто замечательно! Мы при нашем военном округе собираемся организовать национальный ансамбль. И нам позарез нужен классный баянист! Как вы на это смотрите?

«О Всевышний, о чем это он говорит? Это явь или сон?» — Айдарбек растерялся, не зная, верить или не верить своим собственным ушам.

— Сейчас музыкантов, имеющих специальное образование, немало. Но таких виртуозов, как вы, раз-два и обчелся, — сказал майор.

Айдарбек продолжал молчать. К горлу подступили беззвучные рыдания, говорить не было сил. Майор, кажется, воспринял его молчание совершенно иначе и, бросив взгляд на множество денежных купюр, валявшихся вокруг кепки, уже не столь восторженно произнес:

— Конечно же, зарплата у нас не ахти какая. Но в придачу к ней мы обеспечим вас жильем и бесплатным содержанием.

Айдарбек тем временем опомнился и понемногу пришел в себя. Он понял всю серьезность предложения и обмяк:

— Родной мой, ты думаешь — я тут ради этой мелочи свою душу рву? Да я просто ошалел от неожиданной радости. Ты бы знал, как я соскучился по сцене!

Этот майор не был на вид суров и требователен, как все военные, а оказался по-девичьи скромным и учтивым малым. Да это же сам ангел, сошедший на землю в благословенный мир!

Офицер тоже не скрывал своей радости и, вытащив из внутреннего кармана записную книжку, что-то чиркнул в ней и вручил вырванный оттуда листок, сказав:

— Ну, тогда договорились, ага! Завтра в одиннадцать часов состоится заседание комиссии по этому вопросу. Вы обязательно должны явиться к нам по этому адресу!

В тот день Айдарбек вернулся домой рано. По дороге зашел в парикмахерскую и подстригся. Подправил бородку так, чтобы она была аккуратной и округлой, подровнял усы. Сходил в баню. Дома у него хранилась одежда, которую ему было жалко продавать даже тогда, когда он испытывал крайнюю нужду. Он выгладил ее и привел в порядок. Это был концертный черный костюм, белая сорочка, черный бант, лакированные туфли.

Когда Айдарбек, словно ветеран-фронтовик, который рад покрасоваться в День Победы в своей старой военной форме или в мундире, глянул на себя в зеркало, то обнаружил вдруг, что разом помолодел. Правда, за последние годы он сильно похудел и осунулся, поэтому костюм стал немного великоват. На голове когда-то не было ни одного седого волоса, а теперь время заметно посеребрило его виски. Прежний лоск заметно поблек, но он все еще оставался довольно-таки видным мужчиной.

Он всем своим существом предчувствовал, что сегодня все срастется, сбудется, что ангел в образе майора встретился неслучайно и что все случится с Божьей помощью.

КАБДЕШ ЖУМАДИЛОВ

И предчувствия его не обманули. Эксперты, вначале проверившие музыкальную грамотность Айдарбека, а затем попросившие исполнить на баяне несколько пьес, высоко оценили его исполнительские возможности. А через пару часов на Айдарбека был оформлен приказ, и на руки выдан документ, удостоверяющий, что он является музыкантом-солистом военного ансамбля.

В полдень того же дня многие люди, повстречавшие на улицах города странного мужчину средних лет с гармонью за спиной, были очень удивлены. Дело в том, что Айдарбек, не в силах сдерживать себя, шел и, не стыдясь слез, плакал на ходу. Казалось, что зимние холода шести последних долгих месяцев наконец-то отступили. Слезы, сдерживаемые в дни унижений, обид, житейских невзгод и безысходного уныния, пролились сейчас, и на душе отлегло и полегчало, и отступила боль. И расстояние между бедой и счастьем оказалось не таким уж и великим! Он спешил как можно быстрее встретиться с детьми. Ему не терпелось сообщить им счастливую новость, обрадовать их, чтобы они могли гордиться отцом.

Перевод Романа Токбергенова

Аскар Сулейменов

(1938–1992)



Аскар Сулейменов — писатель-новатор, литературный критик, драматург, имевший свой особый почерк, работая в разных литературных жанрах. Он окончил литературно-исторический факультет Казахского педагогического института (ныне Казахский национальный педагогический университет имени Абая) в 1959 г., и там же в 1962 г. аспирантуру. Первая его критическая статья «Жол басы» («Начало дороги») была опубликована в 1961 г. в газете «Лениншил жас» (ныне «Жас Алаш»). А. Сулейменов приложил немалые усилия к тому, чтобы изменить устоявшиеся в литературе традиционные идейные установки, предпринимал попытки создать новую, свободную литературу и воплотить в жизнь свои идеалы. В своих произведениях он обращался к историческим корням, отражал национальные традиции и дух свободы.

Исследователи неизменно выделяют в творчестве

А. Сулейменова три грани: в жанре литературной критики он стремился придать особое значение художественности, проводить анализ художественных произведений отдельно от разбора стилистических особенностей текста.

Художественно-эстетические установки А. Сулейменова стали формироваться именно тогда, когда он опубликовал статью «Несколько слов о форме» (журнал «Жұлдыз», 1963), вызвавшую в литературной среде бурную дискуссию. Если рассматривать творчество Сулейменова как писателя, то в его произведениях нашли свое полное отражение все установки прозы XX в., не случайно он считается писателем-модернистом. Подтверждением тому являются его прозаические произведения «Бесін» («Полдень»), «Адасқақ» («Блуждания»). Наиболее осмысленно это его видение отразилось в повести «Бесатар» («Пятизарядка»), посвященной национально-освободительному движению 1916 г. и, в частности, Сузакскому восстанию. Драматические произведения художника требуют анализа с позиций новой философии искусства. Он перевел на казахский язык пьесы Т. Карлейля, Ж.-Б. Мольера, Э. Хемингуэя, М. Булгакова, Б. Брехта, Т. Уильямса. В его творческом активе драма «Кек» («Мечь»), драматические диалоги «Төрт тақта — жайнамаз»

АСКАР СУЛЕЙМЕНОВ

(«Молитвенный коврик»), «Жетінші палата» («Седьмая палата»), «Қыздай жесір — штат қысқарту» («Молодая вдова — сокращение штатов»). Им написаны сценарии к нескольким художественным и документальным фильмам: «Люди и аргмаки», «Тризна», «Қулагер», «Баянел» («Родина Баян»; по мотивам лирического эпоса «Козы Корпеш — Баян сулу»). В 2007–2009 гг. был издан четырехтомник его произведений. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (в 1996 г., посмертно).

Старик¹

«Да, это же Укен²! Как пить дать — Укен. Тот самый Укен... Как его по батюшке?... Укибай... Укибай Омаров... товарищ Омаров...»

Моложавый председатель сельсовета Ныгмет Сафин, обрадовавшись тому, что вспомнил-таки имя сидевшего у двери смуглого старика, с облегчением вздохнул и расправил свои затекшие плечи. Но радостное оживление Сафина не привлекло внимания человека, неподвижно сидящего напротив, уставившись в пол.

Да, были времена... На каких только работах в совхозе не бывал этот невысокий, кряжистый, как пенек, старик: и на поле выходил, и в заповеднике пожил, и лошадей пас. Если не изменяет память, сейчас ему семьдесят один или семьдесят два, недавно на пенсию проводили, с тех пор, пожалуй, и не виделись. «Ох, уж эта проклятая работа, — подумал Ныкан³, мягко укоряя себя. — Носимся как угорелые по насущным делам, а получается — всё дальше от людей убегаем...»

Жилистый и поджарый, подобно матерой тазы⁴, человек в момент накатившей на него самокритики энергично потер свой лоб, отчего длинные пальцы издали деревянный хруст. И снова потянулся, откинувшись назад, и снова глянул на товарища Омарова:

¹ В оригинале название рассказа «Қара шал» — смуглый, черный старик.

² Укен, Уке — уважительные формы обращения, происходящие от имени Укибай.

³ Ныкан — форма имени Ныгмет.

⁴ Тазы — порода гончей собаки, иначе — казахской гончей.

тот был одет в засаленный чапан¹, из прорех которого местами выглядывала вата; подпоясан он был чимбуром² и обут в кирзовые сапоги. Сидел старик, провалившись в объятия выдавшего виды казенного дивана.

Неужели это тот самый Укибай, которого он знал пять-десять лет назад? В былые времена товарищ Омаров мог заткнуть рот любому крикуну, мог поставить в тупик своими встречными вопросами самого старого уполномоченного, прибывшего из области, самонадеянно считая, что может безнаказанно говорить все, о чем думает.

И Сафину не раз приходилось оправдываться перед важными гостями, которых местный правдолюб ставил в весьма неловкое положение. Но Сафин никак не ожидал увидеть ершистого товарища Омарова в облике смиренного и кроткого старца.

Да, были, были времена, когда старик не только препирался, но и шумно скандалил, а теперь словно дал клятву никому не перечить. Наконец Сафин, который отчасти устал сидеть на жестком стуле, отчасти нервничал из-за того, что пропускал прием своего шубата³, окликнул старика:

— Уке, вы меня слышите?

Старик не шелохнулся.

— Уважаемый, вы хотя бы помните меня? — спросил Сафин.

Старик не шелохнулся.

— Ох, Уке, какой же вы упрямец, — проговорил Ныкан, с трудом смягчая свой голос, в котором уже начали проступать нотки недовольства. К счастью для Сафина, в этих фразах, вырвавшихся из его гортани, прозвучали лишь дальние отголоски подавленного раздражения. Причиной, не стоит приукрашивать, было то, что Сафина сильно задело поведение посетителя: никчемный старик явился

¹ Чапан — верхняя одежда.

² Чимбур — толстый аркан, которым привязывают лошадей.

³ Шубат — напиток из верблюжьего молока.

к начальнику в кабинет и не сидит тут перед должностным лицом, а важно восседает на почетном месте, словно в гостях у младшего из сыновей, ожидая полагающихся по такому случаю почестей.

Потом Ныкан хотел было, по привычке, сложившейся еще в старые времена, которые сейчас уже не вернуть, прикрикнуть на Укибая, но ему вспомнилась статья в газете об одном активе¹, которая называлась «Ударь и свали», и Сафин невольно прикусил язык. Другой причиной, нужно признаться, была камча² этого коротышки, на которую Сафин поглядывал-таки.

Говорят, даже и святым порой приходится спасаться бегством. На совхозном собрании пенсионера не отчитаешь, исключать его неоткуда, а что если войдет в раж, возьмет да и отстегает, пусть не его самого, начальника, так его стол! Хотя возможность подобного исключена, однако вот уже третий день в совхозном правлении лютует партконтроль, готовый увидеть брешь там, где ее днем с огнем не сыщешь. Новые времена заставляют держать свой гнев в узде, иначе вырвавшееся из уст слово начинает обрастать лживыми домыслами и обрушивается обвинительным приговором на твою же голову...

«Нет, нет-нет, товарищ Омаров, так нельзя. Я вас, конечно, уважаю, вы большой человек, но всему есть предел...» Стоит сейчас цыкнуть или накричать на этого старого пня, как найдутся борзописцы по части написания жалоб и слезниц. Эти шелкоперы любой житейский спор преподнесут как кровавое побоище и мигом доберутся до райкома... Дожив до средних лет, Сафин добился должностного роста не сразу: у его карьеры, случалось, сбивалось дыхание. В заоблачных мечтах виделся ему недостижимый, покрытый зеленым бархатом стол в кабинете высокочтимого Альжанова. Сафин не переоценивал самого себя, сиротливо маячившего у подножия высокого трона. Он почесал в раздумье свой кадык, расстегнул верхнюю пуго-

¹ Актив — руководящий орган при советской системе, включающий работников партийного аппарата, исполкома, членов КПСС. Здесь: местные руководящие органы.

² Камча — плеть.

вицу коричневого кителя, пошитого из бостона¹. После этого аккуратно оторвал листок с висевшего на стене календаря, на котором значилось: 22 марта 1961 года.

Обычно на оборотной стороне таких листков размещались проникновенные стихи, краткие биографии и полезные советы. Но Сафин не стал вчитываться в строки, проливающие свет на все явления мира. Решив отложить и прочитать это дома, он положил листок в нагрудный карман, внутрь сберегательной книжки, обернутой блестящей бумагой. Потом он тщательно рассортировал разбросанные по столу отчеты, ведомости, письма и разложил их в выдвижные ящики; вынул ключ из кармана пальто, висевшего на вешалке за спиной старика, и, сопровождая каждое движение мерными щелчками, запер все выдвижные ящики; потом снова посмотрел на пребывающего в оцепенении старика.

Время от времени старик подавал признаки жизни и почесывал рукояткой камчи свою лысую тыквообразную голову. И снова застывал как изваяние. Сафин откашлялся раз, потом другой, третий... Но старик по-прежнему молчал. Чиновник спел вполголоса песню «В горах»². Затем, прикурив тонкую, как тростинка, сигарету «Джамбул», немного постоял в растерянности и снова присел на стул.

Но сколь ни старательно этот человек (я имею в виду Ныка), сколь ни терпеливо подбирает слова для Укибая, обволакивая словосочетания нехарактерными для собственного голоса мягчайшими интонациями — всё это пропадает впустую. Потому что Укибай сейчас ничегошеньки не воспринимает из того, что Ныка уже успел сказать и что он еще не сказал, но втайне держит при себе. Но в такой ситуации и Ныку незачем сердиться на Уке, потому что такая смиренная овечья кротость не является сознательно выбранной им линией поведения — это то, что снизошло на него неожиданно; некое магическое действие, что накрыло с головой, придавило смуглого

¹ Бостон — вид костюмной ткани.

² «В горах» — казахская песня «Тауда».

недомерка ровно в тот момент, когда он ввалился сюда барсучьей походкой и увидел напротив Сафина своего ровесника Еспая.

Хитрец Еспай, живший по соседству, тоже вышел на пенсию и имел возможность получать свои 15 рублей. Но не остановился на этом и пошел в пастухи аульских овец. Поэтому Укен и удивился, увидев согнутую в дугу спину своего соседа: «На кого этот скот оставил скотину, а сам отирается по конторам?» Другие мысли просто не успели мелькнуть в голове у Укибая. Не зная, как расценить движение подбородка Сафина, напоминающее то, как это делает лошадь перед скачкой, он приостановился на пороге. В этот момент Сафин обратился к Еспаю:

— Ну что, договорились, аксакал¹?

Еспай в знак согласия покорно кивнул головой, и с тех самых пор спокойствие покинуло Уке. Он не заметил ни того, как поздоровался, уходя, Еспай; ни того, как сам он плюхнулся на казенный диван, пробормотав про себя «пропала моя душенька» и добавив «ох, чую, пропала», он тут же перенесся к роднику Терисаккан и очутился рядом с Кызыл айгыром², пришедшим на водопой. Но, как говорится, только черт лишен надежды. Даже когда он остался наедине с Сафиным в кабинете, стены которого были увешаны плакатами с лозунгами и изображениями чабанов, лошадей, баранов и коров, он не переставал надеяться, что не услышит слов, которые только что были сказаны Еспаю.

Пребывая в таких раздумьях, старик стал подсчитывать налоги, которые, возможно, не оплатил, и, пока он был этим занят, темные страхи поначалу стали просачиваться в его душу, а потом и вовсе овладели сознанием и поселились в его грешной груди, покрытой сверху густыми, как у молодого верблюда, волосами. Но все налоги наверняка были оплачены. А может быть, имеются у него какие-то давние долги — он стал загигать свои короткие пальцы — и именно

¹ Аксакал — мужчина почтенного возраста, «белобородый».

² Кызыл айгыр — жеребец сивой масти.

из-за них вызвали в сельсовет? Сафин кашлянул — Уке тут же глянул на него, при этом он столь резко дернул головой, словно намеревался оторвать ее вместе с вонзившимися в мозг надеждами и сомнениями. Стариковский слух, который прежде никуда не годился, теперь вдруг обострился. Он стал улавливать слова Сафина еще до того, как они успевали коснуться слуха, — он различал их в то самое мгновение, когда они рождались в устах председателя сельсовета.

— Да, Уке, так оно и есть. Вы и сами, наверное, уже слышали об этом. Вам надлежит сдать сивого жеребца в совхоз.

Вот и все. Он увидел, как двигались бледные губы Сафина, то растягиваясь, то вновь сжимаясь, словно в это время он поедая мясной деликатес, и ощутил всем своим существом, как звуки, сложившись в слова, выстрелили в него. Еще мгновение назад эти слова полоснули ножом так, что он задохнулся от боли, от огня, полыхнувшего в груди и спалившего сердце. Но, услышав эти слова, старик бросил их в тот же костер и забыл навеки. И снова оказался в любимом Терисаккане, рядом со своим сивым иноходцем. Очутившись там, он увидел из дальнего далека, как Сафин, сунув руки в оттопыренные карманы галифе, величаво расхаживает по кабинету; потом, как будто не найдя другого места, встает напротив единственного в комнате окна... В тот же миг по Уке вновь ударил голос Сафина.

— Разве время сейчас, чтобы держать лошадей? Корова с теленком, пять овец — и всё¹, достаточно!

— Так ты говоришь, что нынче лошадей нельзя держать? — произнес Уке, помолчав, и резко опустил голову, отчего борода его коснулась груди. Нельзя сказать, что он не слышал вопроса: услышал и понял. К тому же он знал, что этот паренек никогда не шутит. Если бы даже шутил, то не стал бы специально вызывать в сельсовет. Уке отвечал вопросом на вопрос лишь потому, что ему было нечего сказать. Он пытался было сидеть, сохраняя показное спокойствие, но в сердце его звенела тревога.

¹ И всё — говорит на русском.

— Выходит, нельзя, — прозвучало в ответ, после чего в сумеречном кабинете вроде бы стало светлее. Оказалось, Сафин отошел от окна и теперь сидел перед ним на корточках.

— Кому нельзя?

— И вам, дорогой аксакал, и Еспаю, и мне.

— А исполкому¹?

— Что исполкому до твоих лошадей. У исполкома есть машина.

— Но ведь у меня нет машины.

— Все равно нельзя.

— Почему *все равно*?

— Давайте не будем много рассуждать, аксакал.

— А ты возьми мою корову.

— Нельзя.

— Теленка возьми в придачу.

— Ну, ты сказал...

— А что, у тебя от говядины понос, что ли?

— Ну, говорят же тебе, что нельзя, Уке.

— Почему мне нельзя держать именно лошадь?

— А чем вы лучше других?

— Не я, выходит, моя лошадь — лучше.

— Ну и што?

Старик понимал, что обозначает гадское «ну и што», но когда Сафин, на ходу поскрипывая своими хромовыми сапогами, произнес эту невнятицу, старик растерялся, для него это было столь же удивительно, как если бы гончая и лиса питались из одной плошки.

— Ну, — сказал старик.

— Что «ну»? — спросил Сафин.

— Штой, — раздумчиво произнес старик.

— Что «штой»? — раздраженно спросил Сафин.

— На-а, — подумал про себя старик, сунув сложенную вдвое камчу в голенище сапога. Мертвое «ну штой» обозначает у этого паршивца «и что с того, что лучше». Потом Уке хотел было объяснить

¹ Исполком — исполнительный комитет, орган советской власти.

молодому председателю, что лошади были рядом с ним с тех самых пор, как он себя помнит; что, не будь рядом с ним лошади, он и к еде не притронется; что даже самые тяжелые дни считались никчемными, если ему не удавалось погладить челку лошади... Он хотел объяснить начальнику все это во всех подробностях и деталях, с той самой тщательностью, которая требуется при нарезке тонких лент из кожи, но, увидев глаза Сафина, тут же отказался от своей неожиданной идеи. Он слышал, что Сафин болен туберкулезом. Может, и так.

Глаза этого паршивца были уставшими и напоминали опустошенные глаза только что оценившейся суки.

Уке слышал, что люди, болеющие этой болезнью, бывают самоотверженными. Хотя сил у них немного, они отличаются настойчивостью, как у суслика: если укусят, то ни за что не разомкнут свои челюсти.

Надежды старика на то, что он был вызван сюда из-за неоплаченных налогов, развеялись. Сейчас он узнал от Сафина настоящую причину и все прекрасно понял. И все же, чтобы окончательно убедиться в сути услышанного, попытался было найти пути к отступлению, но Сафин не спас его. Лишь огорошил своим гадким «ну штой», которое означало для Уке «и что с того, что лучше».

И старик, зажав под мышкой тымак¹, вышел из конторы. Старик брел по улице, удивляясь самому себе. То ли его старое тело, высохшее, как курук², стало невесомым — раньше-то пятки начинали предательски гореть, стоило пройти несколько шагов, а теперь они холодны; и сердце, которое при ходьбе начинало подкатывать к горлу, сейчас спокойно. «Что бы это значило?» — подумал старик, чувствуя, как зябнет тело, словно он глотнул охлаждающей ртути. Глазам только жарко... Что за притча?..

В таком ауле, как Торлан, в любое время года не замечалось признаков кипучей жизни. На серой проселочной дороге, со стороны гор, Уке увидел одинокую машину, а прямо перед собой — детей

¹ Тымак — зимняя шапка с отворотами, прикрывающими уши и затылок.

² Курук — жердь для ловли лошадей.

со школьными ранцами. Когда машина приблизилась, дети, увора-
чиваясь, как крольчата, бросились врассыпную, оказавшись по обе
стороны дороги, а машина, взметая пыль, промчалась мимо них.
Но Уке не услышал ни звука. Он похлопал ладонями по ушам, да-
же попытался поковырять в них своими короткими пальцами. Но
полуденные звуки аула не вернулись. «На все воля всевышнего, ка-
нешнай¹, — сказал Уке и надел плотно тымак, подняв его прикры-
вающие уши отвороты. — Но все же умирать легче, если знаешь, от
какой болезни».

Если бы Уке выбрал прямую дорогу, то он повернул бы за мостом
направо. А сейчас, дойдя до здания старой почты, он свернул нале-
во — на тропинку у подножия зеленого холма. Он только что вспом-
нил: в шесть — поминки Жакана².

Жаксылык, пусть земля ему будет пухом, его одногодок, торе³ из
соседнего совхоза «Кумкент», три месяца пролежал пластом, не ел
и не пил, таял на глазах и вот вчера упокоился. И всё из-за рака пи-
щевода, который, особенно в последние годы, становится все более
коварным.

Голова Уке вдруг сильно зачесалась, он снял шапку; в этот же
миг до него сверху донесся едва слышный гул. Старик не обрадо-
вался и не удивился — он словно уже забыл о том, что лишь недавно
все, что причислялось к звукам, было ему недоступно. Потом Уке,
несмотря на то что солнечный свет не был ярок, прикрывая глаза
шапкой, начал рассматривать теплое бледно-синее небо до тех пор,
пока шея не затекла. Хотя старик не увидел серебряных самолетных
крыльев, которые четыре-пять раз в день появлялись со стороны
Бетпак-далы⁴, он, изучив две появившиеся дорожки в небе, сделал
заключение, что эти эти два расплывающихся следа и есть послед-
ствия услышанного гула, и снова надел шапку. На самой вершине

¹ Канешнай — искаженное от «конечно».

² Жакан, Жаке — уважительная форма от имени Жаксылык.

³ Торе — род чингизидов.

⁴ Бетпак-дала — равнина в Казахстане.

холма виднелись дикие кусты красной колючки, на ветках, то там, то здесь, висела одежда, рядом четверо парней копали землю.

— Видать, могильщики, — подумалось Уке. — Ох уж это время!

Стремя есть, а тех, кто шел бы с тобой стремя в стремя, уже нет. Молодцы есть — Жаке уже нет. Кто теперь будет понукать, ударяя в бока низкорослого саврасого жеребца? Бывало, он приговаривал: «Ну, нападайте теперь на меня, бедолаги, нападайте». Все прочие живы-здоровы, а коренника, который был для всех настоящей опорой, уже нет.

Жаке, Жаке... Вон, вырыв из земли красноватого цвета комья свежей земли, вес которых равен поклаже для верблюда, тебе готовят твой новый дом. Осиротел саврасый жеребец, остались безутешно плачущая старуха, взрослые дети и малые внуки. Осиротел твой саврасый жеребец, но есть Ныгмет, который заберет его в свой лошадиный дом.

Только вчера прошел дождь. Благословенная земля растаяла, распустилась было трава, как жент¹ в чае, но теперь стала обсыхать и обретать свой прежний вид. Выдыхает, как курильщик, дымок. На мгновение Уке вдруг вспомнил Сафина, его тонкие сигареты, потом вспомнил о том, как вчера он с двумя-тремя стариками обмывал тело Жаксылыка и удивлялся его сильным, как у самца верблюда голям, думая о пути души и тела.

— Прости, Жака, — вздохнул про себя старик, — я не смогу сегодня пойти на поминки. Он не стал объяснять покойному другу причины своего отсутствия. Но сегодня его дорога лежит в Терисаккан. Наверняка аксакалы станут перемывать ему косточки.

Удивятся тому, что он не пришел, и осудят его. Но что тут поделаешь: стоит Уке представить перед глазами сивого жеребца, как скрюченные ноги сами несут его к заветному источнику.

«Пусть тебя не оставит милость Аллаха, друг мой золотой, Жаксылык», — вздохнул он, покидая кладбище. Четверо парней отряхивали пыль со своих одежд, разминая натруженные тела.

¹ Жент — сладкое блюдо из толченого проса.

Краем глаза старик заметил, что зацвели диким цветом кусты колючки, которые до сих пор не удостаивались даже того, чтобы пробегающие мимо жалкие псы этого аула пометили их.

Старуха сидела перед домом на саки¹ в окружении трех маленьких девочек и вручную теребила остистую шерсть. «Видать, надумала сплести аркан для сивого», — решил Уке.

Он прилег на старое одеяло и спросил:

— В доме есть коже²?

— Е-е-е, лежи себе, словно переделал множество дел... Сын Жаксылыка снова приходил, где ты прохлаждаешься?

Однако при этом она поднялась и принесла коже. Кукурузное коже с айраном³ было холодным, старик закашлялся.

— Когда пойдешь? — спросила старуха.

— Куда?

— На поминки.

— Тебе впору в свой дом на поминки звать.

Дочери младшего брата Уке, которые играли в кулички с землей, не понимали, что такое поминки и почему дедушка с бабушкой вдруг вскинулись и уставились друг на друга сверлящими взглядами.

К старику подошла трехлетняя Рая, которую он обычно называл своим золотцем, подобной которому нет ни в области, ни во всем «грае»⁴.

«Борода», — сказала золотце, повиснув на Уке и схватив его за подбородок. По правилам игры старик должен был закусить бороду, а девочка дергала бы ее в разные стороны и звонко смеялась. Но Уке отстранился, девочка удивленно присела на землю, но плакать не стала.

¹ Саке — площадка-возвышение, сооруженная из деревянных досок, которую устанавливают во дворе.

² Коже — кисломолочный напиток с добавлением зерен проса, пшеницы и др.

³ Айран — кисломолочный напиток.

⁴ Грай — искаженное от «край».

Уке вывел со двора серую ослицу, которая жевала остатки прошлогодней люцерны.

— Не выпускай осленка, — крикнул старухе и верхом на ослике двинулся по направлению к Терисаккану — через степь, исходящую белесым паром.

До живительного источника, до родника Терисаккана, ни много ни мало пятнадцать километров. Здесь пасся сивый, когда был свободен от осенних скачек и зимней охоты. Сейчас солнце закатывается — горизонт Мынжылкы¹ алеет заревом, похожим на разлитую кровь. Степь повсюду, в пределах видимости, укрыта светло-фиолетовым дымком, доходящим до колен ослицы. В час вечерней зари старик и его серая ослица словно плывут в молоке. С разных сторон слышится, подобное отрывке обьевшейся черни, беззаботное мычание коров, возвращающихся с пастбищ. Но по мере умножения пройденного пути рвение ослицы стало ослабевать. К своему огорчению, старик забыл дома плетку, а заменой могли послужить лишь повязанный вместо пояса чумбур и ключ от лошадиных кандалов в голенище его сапога.

Путами, не дающие ослице идти вперед, является вовсе не пресловутое упрямство, а оставленный в загоне чудесный детеныш, черный ослик с белой отметиной на морде. Но старику понять этого не дано. Он погоняет ослицу железным ключом, который клюет животное, как хищная птица, и сдирает кожу.

Когда совсем стемнело, старик доехал до кургана Базарбая², после этого ослица не сделала и шага и вдруг закричала так пронзительно, так громко, что, казалось, от этого крика сейчас полопаются ее кишки. Гневный, исходящий из самых глубин ее материнской сущности голос был сродни проклятию.

— О, этот бранный мир! — воскликнул старик, скатываясь наземь и чувствуя мурашки по всему телу. Крикнул в ухо ослице, а вспомнил

¹ Мынжылкы — местный топоним, переводится как «тысяча лошадей».

² Курган Базарбая — местный топоним.

о Жаксылыке и его осиротевшем саврасом жеребце. Потом Уке долго смотрел вслед белесой тени, которая быстро удалялась от него, вглядываясь так пристально, что глазам стало больно, а в душе появился страх — ему показалось, что темнота поглощает не ослицу, а его сивого. Потом старик резко развернулся и побежал, как сумасшедший, хлопая подолом чапана.

* * *

Достигнув Терисаккана, Уке снял чапан и тымак, сбросил кирзовые сапоги и ступил в просторное устье родника. Как только он окунулся — кости его закрипели; зайдя поглубже, он потерял свои огрубевшие ступни об острые камни на дне, ни на мгновение не подумав о том, что делает нечто странное. Восстановилось дыхание, исчезла дрожь...

В глубине, на блестящей, как черное зеркало, поверхности, лежала опрокинутая навзничь серебристая луна. Уке склонился над лунной и испил воды. Пил большими глотками, пил долго и жадно, отфыркиваясь, словно разгоряченная лошадь.

Затем омыл лицо, уши, намочил поперх нижней рубахи подмышки, посмотрел в сторону Канжугана¹, где погиб отец сивого. На его вершине росло несколько деревьев. Однако то ли из-за того, что свет молодой луны был неяркий, то ли из-за того, что глаза его лишились былой зоркости, в час, когда сумерки боролись с наступающей темнотой, этих деревьев он не разглядел. Перед ним, а быть может, перед его внутренним взором, возникла округлая, как яйцо, вершина. Покрытая иссиня-черным редким туманом, она сегодня смотрелась не столь внушительно, словно поддавалась тихой задумчивости мартовской ночи, загрустила и, согнувшись под этим бременем, стала ниже.

«У земли человеческий нрав, — подумал старик. — И у нее, благодатной, есть тело; и она неистовствует, и она, бывает, досадует. Все

¹ Канжуган — название вершины, переводится «омытый кровью».

же эта вершина слушала ржание гнедого, когда тот был жеребенком, а теперь, быть может, и она почувствовала, что над сивым, рожденным от него, нависла угроза».

Уже, печалась, стараясь найти хоть что-то похожее на утешение, пребывая в одиночестве среди освещенного лунным светом простора степи, еще не знал, что все эти горькие попытки примирить себя с утратой станут лишь одним из его преходящих душевных состояний, готовых рассыпаться, подобно слеplенным из песка кирпичам. Старик, которого еще недавно прошибал холодный пот перед Ныгметом и сердце которого теперь разрывают безутешные рыдания, вспомнил, как девять лет назад, в апреле, по песчаным низовьям Кендирили неспешно и плавно скакал его леопардоподобный¹ гнедой жеребец. Когда эта картина предстала его взору, он изрядно приободрился. Еще больше он обрадовался, когда будто увидел, как гнедой жеребец, находясь в разгоряченной толпе кокпара², ржал и рвал удила, стремясь рвануться в схватку.

«Жеребенок мой, — шептал старик. — Леопард мой, жеребенок мой...»

Его глаза снова увлажнились, как и в тот момент, когда он увидел распутившиеся цветы куста колючки...

Люди, хорошо знакомые с норовом обоих, старика и его гнедого, если и хорохорились, то только для вида, а по-настоящему с ними не соперничали. Поэтому старик вырывался вперед, рассекая толпу, лишь в начале и середине кокпара, да скакал крутами вокруг всадников, чтобы у зрителей не пропадал интерес к состязанию, приберегая победную скачку с тушей наперевес к концу игры, когда джигиты «Политотдела», соседнего колхоза, уже начинали идти на всевозможные обманные уловки.

¹ Леопардоподобный — герой сравнивает своего жеребца с леопардом, это характерное для казахской культуры сравнение, применимое к сильным.

² Кокпар — игра, в которой конные соперники соревнуются, перетягивая тушу барана.

В ту весну его дом находился у подножия Канжугана. Он был единственным здесь. Выехав из толпы, старик, стараясь быстрее добраться до дома, выбрал прямую дорогу и не ослаблял поводья до тех пор, пока навстречу не выбежал его пегий тазы.

На этот раз он то прислушивался к дыханию гнедого, который еще не был в своей лучшей форме, то нет-нет да оглядывался на растянувшуюся позади кавалькаду всадников. Когда до дома было уже рукой подать, гнедой стал, то и дело сбавляя ход, приостанавливаться. Уже не придав этому значения, думая, что это Аккоян¹ перебегает ему дорогу. Когда гнедой стал волноваться по-настоящему, старик, посмотрев вперед, увидел, что они подъехали к широкому каналу, который прошлой осенью вырыли три трактора. Возможности повернуть обратно уже не было, гнедой, чуть замешкав, прыгнул и достиг было противоположной стороны, но в это же мгновение оба они сорвались и разлетелись в разные стороны. Он помнит, как услышал пронзительный визг гнедого — то был крик его предсмертной агонии. Еще он помнит, как огромным ножом полоснул гнедого, когда тот еще жалобно хрипел и пытался подняться. Больше он ничего не помнит.

Старуха раздала мясо гнедого соседям, оставив небольшой кусок карты². Через несколько дней она сварила его, но старик к нему так и не притронулся. Его тошнило, как если бы ему пришлось отведать бульон из родственника, которого он сам погнал на верную гибель. Он хотел было, поддавшись привычке не сдерживать свой гнев, пнуть низкий круглый стол, но, увидев, как его старуха, чуть отвернувшись от него, краем платка потирает свой нос, сдержался.

В те лето и осень — вплоть до начала октября — Уже потерял покой. С приходом весны густые тростники Жаманая³ заполонили старые и молодые жеребцы. Стараясь уберечь от них кобылу, которую на его глазах покрыл гнедой, старик держал ее на привязи. Он все бо-

¹ Аккоян — кличка собаки.

² Карта — конский деликатес.

³ Жаманай — местный топоним.

ялся, что задуманное пойдет вдруг не по его воле, а потому с сомнением посматривал на живот кобылы. Наконец ее толстые, как пальцы, соски вытянулись...

«Ну штой», — вновь вспомнил старик контору сельского совета, просторные карманы галифе Сафина, прикрывающего собой мартовский свет, всё это вернулось впервые с тех пор, как он выехал из села, но сейчас всплески памяти не вызвали ни страха, ни гнева. Потому что случившееся в конторе действо именно сейчас показалось ему неким напевом из стародавних времен. Болезненный, протяжный, как приговор, напев, казалось бы, навечно канувший в прошлое.

Почему? Разве он слышал его не сегодня, разве не сегодня он чуть не задохнулся от услышанного? Он не знает. Единственное, что он знает: в этом напеве — смертный приговор. И раз уж, услышав этот приговор, он принял его, то зачем возвращаться к нему, зачем изводить себя вновь и вновь.

В этой жизни, длинной, как тонкие бараньи кишки, было немало вещей, с которыми Уке не соглашался, примерно стольким же он был вынужден подчиняться. Всякий раз, соглашаясь, он словно заглатывал остро наточенные ножи, и с этим уже давно свыкся. Поэтому старик ничуть не насторожился, когда возникшие в памяти широченные голифе Сафина стал накрывать вершину, у которой погиб гнедой. Колкая грусть в груди старика снова зашевелилась, и в это мгновение Канжуган, на который он все это время смотрел, внезапно, словно смываемый миражом, стал исчезать, на что старик только и сказал, ничуть не меняя интонации своего голоса, «ну штой». Недавно он, исследуя по отдельности и с трудом понимая эти два кукушечьих слова, также не обратил внимания на их угрожающий смысл. Старику не понять и того, что Канжуган смысл не мираж, а его собственные слезы, которые он льет, стоя посреди Терисаккана, — слезы, капли которых скатываются по волосинкам его бороды. По этой причине Уке в кромешной темноте, что случается в июльские ночи, в полном безмолвии, как если бы были отрезаны уши, насто-

роженно и удивленно подумал: откуда мог возникнуть этот мираж в середине ночи?

Но Канжуган, который был пастбищем, колыбелью и одновременно могилой для его леопардоподобного гнедого, так и не развиднелся.

Эта густая, как первое молоко ожеребившейся кобылы, ночь старого Созака¹ с вольготно откинувшимся назад молодым полумесяцем, кажется, проглотила и Канжуган, и, в придачу к нему, это самое «ну штой».

В горле у старика пересохло, он глотнул и почувствовал привкус слез. Он вытер глаза рукавом своей нательной рубахи — Канжуган все равно не появился. Оглянулся. Вокруг всё та же картина: напротив на расстоянии брошенной палки — извилистая темная тропинка, чуть дальше — колыхающиеся тростниковые заросли, слева мигают далекие огни аула. У ног его лежит луна. И старик вспомнил, что стоит в воде, но пошевелиться не смог. Горе, словно клей, прикрепило его ко дну ручья. Ох, а ведь исчез не только Канжуган, но и место, где он был, — будто огромной бритвой его сбрили ровнешенько под самый корень.

Теперь старик по-настоящему встревожился. Земля, которая в одно и то же время носит в своем чреве и смерть, и жизнь, вдруг погрузилась в дрему, и страх завладел телом старика. Этот страх, безо всяких реверансов, руками ночи сковал железной хваткой старое тело старика. Что это за неожиданная паника?

Быть может, это дух гнедого, может, заросли густого тростника, не ставшие по весне кормом для гнедого и разросшиеся осенью, ищут его единственного наследника, сивого.

«Ау, зачем тебе искать сивого, — сказал старик. — У гнедого срок действия “пашпырта”² закончился, а сивый здесь пасется. Щиплет где-то поблизости травы козлобородника и одуванчика».

¹ Созак — район на юге Казахстана.

² Пашпырт — искаженное от «паспорт».

Старик неожиданно для себя стал оправдываться перед ночью и землей, в которых не было иных звуков, кроме голодного клекота кулика и кваканья лягушек. Но рука страха не ослабила своей хватки. И старик вспотел. Когда холодный пот потек вдоль его позвоночника, а побежавшие по его лбу струйки щекотали, как сококожи, он услышал ржание гнедого. Это было точно ржание усопшего гнедого, который ржал коротко и отрывисто; в нем были его игривость и кураж. Вначале этот звук доносился издалека, со стороны темных песчаников Кендерли¹, и, прерываясь время от времени, был чуть слышен. Внезапно он вырвался из-под самых его ног, из зеркальной воды родника, и тут же по небу, по всей буйно поросшей тростником округе эхом отозвалась песнь гнедого, песнь его былой души, величия и отваги. Недавно прошибавший старика пот показался легкой испариной — теперь Уке взмок понастоящему. И вновь он взглянул в сторону Канжугана, и вновь не увидел вершины.

Гнедой часто приходил к нему во сне; бывало, он видел его и пробуждался, как от кошмара. Но наяву он никогда не слышал его голос так ясно, как сегодня, когда он задохнулся от горя, не умея уместить его в своей душе в час этой чистой, как молитвенный коврик, пролившейся на округу ночь. И вот этот голос явился миру и звонко взмыл в вышину, и старика бросило в судорожную дрожь. Эта дрожь в одно мгновение, словно прутон, высекла его тело от колен и выше. Вдруг гнедой фыркнул. Как и раньше нетерпеливо фыркал, прося корм и раздувая ноздри, но на этот раз звук прозвучал сзади и гораздо ближе, прозвучал и не отозвался эхом.

Прямо над головой старика пролетела стая уток. Когда звуки от взмахов множества крыльев, подобных быстрым пальцам молодого кюйши², способным извлекать из домбры непостижимые мелодии, стали отдаляться, послышался звон кандалов.

¹ Кендерли — топоним.

² Кюйши — домбрист, автор домбровой музыки.

«У-а-а-у, у-а, сивый, драгоценный ты мой, так это ты поешь отцовским голосом!»! — воскликнул старик.

Хотя сивому было уже восемь лет, и Уке уже восемь весенних месяцев и восемь июлей ездил на нем, он ни разу не слышал его ржания.

Не дай бог повторить тебе и отцовскую судьбу, ассаляль аляль мурсалин альхаам¹, — сквозь слезы произнес старик, проглотив продолжение начатой суры. Он забыл о том, как только что был испуган до смерти, а сейчас его колени уже не дрожат, только сердце, словно к нему прикоснулись горячей головешкой, пылает и звенит.

* * *

Уке вышел из воды. Он с трудом обернул онемевшие от холода ноги, не чувствуя их, грязными бязевыми портянками. С усилием натянул сапоги. И, накинув чапан на плечи, пошел, то и дело проваливаясь в болотистую нехоженую жижу, в сторону долины Жугын², откуда раздавался звон кандалов.

А ночной мир, в котором пребывал старик, оставался безразличен и равнодушен к происходящему. Ночной мир свернулся в клубок и притих, как мечтательный ребенок, еще не познавший горя. Этот мир знает лишь себя, свое происхождение, мартовскую влагу, которая бродит в его жилах, — знает песнь зелени. Этот мир подобен женщине, которая только что родила, разрешилась от бремени, насытилась калжой³ и теперь, вспотев, дремлет. Этот мир тоже устал, но усталость его напоена живительными соками; он припал к ним и кротко наслаждается, находя в том покой и волю. Ему и дела нет ни до сивого, который заржал, увидев белесую тень в Терисаккане, ни до того, что его быстрые ноги скованы кандалами; ни до Укиная, который стар, как Канжуган; ни до глубокой печали в его опустошенной, как Канжуган, душе. Он, ночной мир, не будет молиться друго-

¹ Ассаляль аляль мурсалин альхаам — строки из суры Корана.

² Жугын — топоним.

³ Калжа — бульон, который готовят для только что родившей женщины.

му, потому что он, ночной мир, знает: другие молились и молятся на него...

Старик увидел впереди островок тростника. Возможно, из-за того, что они показались из черной, как нефть, воды родника, их корзинки еще не распустились, а стебли казались светлыми. Все они стремились к теплему небу, молодому месяцу и тянули вверх свои стебли.

Сквозь тростник, который рос, поклоняясь сильному, шел старик, который, поклоняясь сильному, был унижен. Голову его покрывала такая¹, впитавшая многолетний пот и потерявшая первоначальный цвет, на плечах — стеганный чапан; штанины брюк свисали поверх кирзовых сапог. Он идет к своему сивому, который для Сафина является вещью, отметкой в таблице, а для него — тем единственным, что осталось у него от куража и отваги, — к сивому, который и свою силу, и свою свободу, и все соблазны раскинувшейся вокруг степи познает через преодоление трудностей, доставляемых кандалами.

На ходу старик заломил несколько тростинки и дернул, тростинки не сопротивлялись и с хрустом оборвались. «Вы еще молодые, как младенцы, у вас еще и зубы не появились», — приговаривал старик. Он говорил тростнику и то, что никто и никогда не должен склоняться перед чужой волей и насилием, — говорил это тоном бывшего наставника, который считает своим долгом предупредить еще не окрепшие ростки. При этом он упустил из виду то, что он сам, как и этот молодой тростник, покладист и ломок, хотя его собственные суставы еще не заостенели, как скрюченные асыки². Раньше у Уке и возможности не было думать об этом, но сейчас он очень спешил, каждым своим коротким шагом отпинывая в стороны всякие ненужные и лишние мысли, которые назойливо лезли в голову. Еще стоя в роднике, старик заметил: как только в голове начинает крутиться клубок сомнений — ноги становятся тяжелее. Но проклятые, вечно

¹ Такая — тюбетейка.

² Асык — игральная кость.

кочующие в его мозгу мысли липли к Уке, как пиявки. В такие моменты он не мог сопротивляться их мощному нашествию, ему приходилось мириться с их присутствием — без воодушевления, но и без гнева. И единственным его спасением стало бегство; он бежал, семени, как лисенок, и ему казалось, что пиявки присосавшиеся к голове, не успевали цепляться к его ногам. И старик раду был, что ему удалось обогнать собственные мысли. Он был рад и тому, что появилась надежда избавиться от свинцовой занозы, застрявшей в его груди, только надо решиться на отчаянный шаг — и заноза рассосется. Чувствует это — и снова переходит на свой лисий бег...

Минуя пересохший ручеек, старик вышел на пригорок Жуги¹. Потом, остановившись, стал читать пришедший на память отрывок из суры и сказал неожиданно сдавленным голосом: «Айналайын², драгоценный мой». В это время снизу, из лощины, послышались лошадиное фыркание и серебристый переливчатый звон цепи. То, без сомнений, были кандалы сивого, а фыркала другая лошадь, точнее — кобыла.

Потом старик, белая нижняя рубаша которого выпросталась до самых колен, попеременно то шел, то бежал, наконец покатился кувырком в низину. Он покатился, потому что сердце его похолодело, а сердце его похолодело потому, что в мае должен был пройти праздник чабанов, а он хотел выставить сивого на скачках. А теперь заявлялась вот эта, гулящая ... Чтоб ей провалиться!..

Сивый не встревожился, увидев скатывающийся с пригорка черно-белый клубок. Сивый знал: это хозяин. Сегодня он сильно задержался. Сивый ждал его, потому что старик всегда снимал с него скользящие погремушки, потом садился верхом без седла и правил в степь, а сивый жеребец, предоставляя свои бока легкой щекотке вечернего ветерка, пускался в неторопливый бег.

Сивый хорошо знал, что только этот человек может подарить ему избавление от тяжелых кандалов, и заржал, нетерпеливо переступая

¹ Жуга — топоним.

² Айналайын — дорогой, драгоценный.

копытами. Но старик и не глянул на него. Он бросился прогонять кобылу с крупным крупом, которая совсем недавно повстречалась сивому за пределами этой лощины и с тех пор, ластясь, не отходила ни на шаг. Рыжая кобыла, у которой только теперь начал выпадать подшерсток, вызывала в теле сивого горячую дрожь, еще незрелую смелость и притягательную игривость. Запоздавший хозяин, скатившийся с пригорка, словно он бежал от волков, расплескал скупую радость сивого. Но молодая кобыла, нашедшая свою пару, и не думала обращать внимания на крики вздорного старика, который мог размахивать и угрожать разве что полами своего чапана. Она отошла и встала поодаль.

Старик, приговаривая: «Кудауанда, кудауанда¹, эту бабу, ее плотские желания словом не прошибешь», — кандалами сивого стреножил рыжую кобылу. Прикинув, что этого недостаточно, накрепко спутал ее передние ноги чимбуром и присел на корточки на пригорке. Сивый жеребец, приняхиваясь то к старику, то к кобыле и убедившись наконец, что ему не добиться от одного — помощи, а от другой — милости, застыл в растерянности. И вдруг, словно рассердившись, встряхнулся и, бодро задрав хвост, двинулся в Терисаккан. Старик и бровью не повел. Он сидел в согбенной позе, обхватив голову руками, словно его со всей силой саданули по затылку. Надевая на рыжую кобылу кандалы, старик вспомнил, зачем он здесь. И сколько бы он ни оберегал своего любимца от рыжей кобылы, все равно сегодня-завтра закончится его «пашпырт» и сивого уведут под уздцы в сафинский детдом. Неопровержимое осознание этой истины стрелой вонзилось в самое его сердце.

И старик не видел, как сивый ускакал за пригорок, не услышал он и того, как вздрагивала земля под булавами копыт. Старик лежал не шелохнувшись, в полном безмолвии, примяв холодную от предутренней росы люцерну. Есть рыжая кобыла, есть луна и небо, покрытое легкими облаками; есть ночь, замороженная сиротливым клеко-

¹ Кудауанда — Бог ты мой!

том кулика. Но все это потеряло смысл, как только старик вспомнил, зачем он находится здесь.

— Уау, куда я завтра пойду, куда я завтра приду? — пропел старик скрипучим, подобно исходящему из груди кобыза¹ голосом. Однако я совсем спятил! Нашелся тоже почитатель скачек: лишается всего ценного, а сам о чем думает?! Черта с два ты выставишь сивого на скачки, черта с два, ох, мать твою... — сказал старик, тут же воодушевившись, что способен сейчас подтрунивать над собой. — А ты выставь на скачки себя, или вон ту, свою тощую пеструю корову. Ныгмет так и не взял ее взамен... Или выставь свою серую ослицу. Выставь, выставь, говорю. Чего это ты голову повесил, старый филин? Скачи полегоньку, помахивая своей бородой, не беспокоясь о том, чтобы сдерживать поводья. Скачи на радость солнцу и на смех курам! И пусть на шесть кругов тебя не хватит, но ты всё равно будешь первым... с конца...

И смех и грех, а старику и впрямь чудится, что он участвует в конных скачках верхом на корове и на самом деле слышит шум и крики людей, собравшихся на поросшей полынью равнине за аулом...

Готовый со стыда провалиться сквозь землю, старик свирепеет и проклинает себя за самоуничтожение. Однако не он расставил сети, его вина лишь в том, что он в них попался. Но у старика уже не было сил копаться в том, что послужило началом его нынешнего состояния. И он перевернулся на бок, поскольку его согревшиеся ноги занемели.

Люцерна холодна как лед. Прижавшись к росной траве давно не бритой щекой, лежит, свернувшись калачиком, маленький старик. В щуплом теле пребывает злость величиной с гору, которая полосует бедолагу вдоль и поперек. А он думает о том, что жизнь его, длинная, как июльский день, уже уменьшилась до размеров рукоятки маленькой мотыги; и теперь уже недолго осталось ждать ночной молитвы, цену которой он платит сединой своей бороды, глубиной своих мор-

¹ Кобыз — струнный музыкальный инструмент.

щин. Эта ночная молитва оторвет страдальца и от Кендерли¹, и от его внука Абылая, и от этой прохладной ночи, благостной для смиренных душ. Но старика эта мысль не путает. С тех пор, как давным-давно в отгремевшей войне погиб его единственный сын Серик, он знает, что у каждого на этом празднике жизни есть свое утро, свое послеполуденное время, свой вечер. «Если уж мир, с хрустом сжевав и поглотив молодого и сильного джигита, подобного острому мечу, не подавился, то разве он станет жалеть кого-то еще?» — сказал тогда старик.

— Моя вечерняя молитва — это мое Сегодня, — задумчиво произнес старик. — Моя ночная молитва — это мое Завтра.

Старику больно не от того, что смерть ходит по пятам и следит за ним, прячась за ветками деревьев и за лощинами; даже не от того, что Сафин отнимает у него последнюю праведную радость. Старику больно от того, что он делает это именно так, по-волчьи. Старик знает, что в этом году совхоз не выполнил план по заготовке мяса, а потому весь актив готовится с приставленным к горлу ножом добывать недостающие центнеры, занимаясь привычными приписками. Да он не против этих их действий, провались они в преисподнюю! Вот над его головой — необъятное небо; вот молодая кобыла, соски которой не пролили и капли молока, старик готов поклясться: он во все не против этого!

«Зима была суровой, бедные овцы пали, поэтому ты и не выполнил план — ну и что, что не выполнил? Кто тебя упрекнет за это, кто обвинит, негодяй ты эдакий!? Тебе ведь мясо нужно? Ну, и прекрасно, что нужно. Возьми вон ту пеструю корову, я сам сказал: “возьми”. Разве тебе не мясо нужно, Ныгмет? Не лошадь, не скачки, не ржание сивого — тебе позарез необходимо мясо! Мясо ты взвесишь на весах, а мое сегодняшнее горе со слезой да с перцем, что обжигает стариковское горло, на какие веса бросишь, какому богу сможешь показать — да разрастется твой род — эй, Ныгмет? Я злюсь не из-за того,

¹ Кендерли — название местности, топоним.

что постарел и думаю о смерти. Нет! Разрывается душа моя на ремочки, мечусь я, как лиса, которую на охоте загоняют в западню огнем и дымом. Если смерть не боится меня — мне-то чего ее страшиться? Мы свое отжили, пережили пророка на целый мушель¹. А человеку, достигшему такого возраста, полагается не смерти бояться, а жизни, потому что у меня, старика, который уже не может удержать в своих руках камчу², разве есть силы бороться с таким верзилой, как ты?» — заявил старик, едва сдерживая слезы.

Выплеснув наболевшее, старик почувствовал себя намного легче. Но душевная рана, на которую так до-о-лго давил вежливый Сафин, так и не утихла. Более того, ожидая сивого жеребца, который ушел напиться воды из родника Терисаккан, он вновь невольно разбередил рану своими переживаниями.

Старик отер лицо ладонями, высморкался и развязал путы рыжей кобылы, которая все время озиралась, поглядывая на холм и ворча про себя: «Ты сам, старый пень, путами повязан — путами самопожертвования к своему сивому. Старик почувствовал в момент своей подавленности и опустошенности, что находится в таком же жалком состоянии, что и рыжая кобыла, поэтому он и освободил ее. Но кто освободит его, кто развяжет его путы? Кто ответит на этот вопрос? Старик никогда не злился, если в жизни ему что-то не доставалось, или досталось не в должной мере. Не переживал, если отдавал больше, чем получал. Но сегодня, глядя, как сивый кружит и вьется вокруг рыжей, он понял, что нельзя отдавать все подряд. Человек может отдать много, может отдать мало, но он ведь не может отдать самого себя целиком. Разве он не нужен самому себе?

В этот миг, как горячим прутом, обожгло грудь! Когда старик поднялся, стараясь избежать этой порки, он понял настоящую цену и значимость сивого: «Да, да. Кто сивый, кто я?» Наконец он снял с рыжей кандалы.

¹ Мушель — 12 лет.

² Камча — плеть.

Вернулся на свое место, сел.

Положил кандалы рядом с собой.

И повторил: «Да, да. Кто сивый, кто я?»

Больше старик не смог ничего сказать. Он хотел и мог поведать о многом, чтобы облегчить свое сердце, избавиться от кома в груди, но не нашел слов. Хотя, говоря по правде, эти невысказанные слова и не особо были нужны старику. Потому что в шести словах, каждое из которых было подобно сака¹ архара, поместилась вся жизнь старика, обожавшего лошадей: «Да, да. Кто сивый, кто я?»

«Мне бы себя сдать на мясо. И сдал бы, так ведь не примешь ты, сукин сын. Не возьмешь, иначе за милую душу сдал бы... Лошадь — это ветер, лошадь — это дух, который овладевает тобой, как только ты прикасаешься к ее холке. Да, дух. Дух степи, сама степь. Сбежав из степи, сдав степь на мясо, куда мне податься! Где мне найти эту чертову правду со всеми ее...» — но, не сумев договорить, старик зашелся в рыданиях и снова припал к земле.

Его накрыло неподъемное горе. Небо, исчерканное пестрыми тучами, обрушилось, будто срезанное с кереге². Обрушилось и выжало его сердце до последней капли злости и слез. Но и лежа на земле, старик чувствовал в груди непомерную тяжесть незримого копыта. Исходила ли эта напасть от неба и земли? Или от отца и сына — от гнедого и сивого? Неведомо. Небо требует стариковской души.

А безразличная и гневная земля до поры до времени не раскрывает своих объятий. Она словно шепчет ему: «Лежи, рыдай, сколько тебе угодно. Только не проси у меня заступничества. Хотя я и рожаю заступников, но сама я не из их числа. Судьба и рок у каждого свои. Мне нет дела до телячьих нежностей. Хочешь валяться в грязи — валяйся, но не смей посягать на песнь цветения, мелодию продолжения рода, звучащую во мне. Умирая — умирай, и чтобы духу твоего здесь не было!»

¹ Сака — выбивающая кость при игре в асыки.

² Кереге — боковые решетки юрты.

Старик встал. На земле, поблескивая холодком, лежали кандалы. Сивый жеребец заржал. Потом он прикоснулся губами к боку саврасой кобылы, покусал, словно целуя, и равнодушно посмотрел на старика.

Луны нет, кулика уже не слышно. Слышен лишь хруст молодого клевера, который жует рыжая кобыла.

Ночь сейчас черна, как пригоревшее дно казана; безразлична и надменна, как мертвое тело.

Старик искал глазами Канжуган. На этот раз горный кряж не стал скрываться, однако продолжал терять величественность своего облика. Канжуган, подрезанный по высоте, казался еще меньше, напоминая гигантскую могилу, что согнулась и погрузилась в глубокий сон.

Надев на сивого недоуздок, старик не стал искать, как обычно, места повыше, а сразу вскочил на него и, перевесив перед собой через седло кандалы, направился к аулу.

Сивый жеребец хорошо знал, какие опасности могут таить давно не хоженные тропы в здешних местах. Он раза два потянул шею и, не почувствовав сопротивления ремешков недоуздка, резко развернулся и вышел из зарослей.

Они двинулись по тропинке.

Света в ауле стало меньше. Ночные огни, как правило, мигают и переливаются, а эти смотрели холодно и злобно.

Сивый знал, что по дороге в аул старик не даст ему воли. Если бы он чуть замешкался, то все его тело обожгли бы волны огненных ударов. Осторожно ступая, конь нашел копытами дорогу и, не услышав привычное «тайт»¹ старика, поскакал сначала медленно, а потом, фыркнув, рванул вперед... Когда старик погладил было свою голову, рука коснулась голого влажного черепа — такая слетела...

¹ Тайт — окрик при управлении лошастью.

Дождь шел уже давно, но старик не замечал этого. Он низко склонился к гриве не потому, что хотел закрыть лицо от бьющих наотмашь струй, — такой была его посадка, его привычка.

Послышался далекий напев. То ли фрагмент кюя, то ли плач жоктау¹, то ли тихое ржание гнедого? Так плакал однажды навзрыд его худой смуглый внук...

...Старик почувствовал запах свежей крови, брызжущей из бесчувственного тела. Только теперь старик услышал топот копыт приближающейся погони. И, услышав эти звуки, ухватил наконец суть того самого решения, которое весь вечер мелькало в его голове и постоянно ускользало от осознания — «зарезу!».

«Зарезу!» — закричал старик, на мгновение похоронив шум дождя и смысл стук копыт, месящих грязь.

...Старику слышится какой-то напев. То ли фрагмент кюя, то ли плач жоктау, то ли жеребчий голос гнедого с подпалинами цвета таволги? В общем, какой-то кровавый напев на склоне омытой кровью вершины Канжуган.

...А ведь он вырастил его!

А ведь он хотел поселить в тщедушном теле своего смуглого внука смелость, огонь — в глазах, отвагу — в душе!

Тот, кто не скачет во всю мощь на лошади, разве может считаться мужчиной?

Разве сможет земля прожить без топота копыт?

Куда он теперь поскачет? Когда и на чем поскачет?..

...Старик почувствовал запах свежей крови, брызжущей из бесчувственного тела.

В его глаза ударил свет. Вздрыгнул — оказалось, приехал домой. Это был свет фар мотоцикла, «тарактелки» его младшего брата Мукана. Он что-то чинил в нем. Мукан подошел, взял поводья.

— Куда вы пропали? — спросил брат. Старик не услышал его слов. Он размахнулся было, чтобы запустить кандалами в слепящий

¹ Жоктау — плач по умершему.

свет, но тут к ним вышла белолицая старушка. Голова ее была покрыта чапаном. Маленькие девочки, прячась от дождя, ухватив ее за подол платья, путались под ногами.

— Несчастный, что тебе вздумалось вдруг посреди ночи врываться в аул на коне?¹ — сказала она и взяла из его рук кандалы.

— Принеси нож, — сказал старик. Сказал это не младшему брату, а старухе.

— Что говорит этот несчастный?! — растерялась старуха, побледнев как полотно.

— Принеси нож, — повторил старик. И, сойдя с сивого, ступая по лужам, подошел быстрым шагом к тарахтелке, пнул фару. Та разлетелась вдребезги, но лампа не пострадала — тогда старик пнул еще раз.

Норов старика был всем известен. Если ему приходится повторять дважды... Нож принес младший брат. Старик одним взмахом отсек прядь от челки сивого, который тыкался об его руку, прося корм. Старик, согласно ритуалу облизал отсеченную челку сам, вслед за тем, увлажнив слюнями сивого, протянул старухе. Женщина только теперь поняла мысль старика. С криком оттолкнув от себя девочек, отбросив и кандалы, и палку, она со словами: «Несчастный, в чем вина несчастного жеребца, лучше меня зарежь; чем, будучи мужчиной, позориться перед Абылаем! Зарежь меня!» — стала хвататься за большой нож в руках старика.

Это был тот самый нож, который когда-то уже напился крови гнедого.

Старик не стал отталкивать ее, но и нож не выпустил из рук. Глядя на свою маленькую, с наперсток², старуху, белизна лица и платка которой были отчетливо видны в темноте, он сказал, всхлипывая: «Что делать, Раба³, ну, что мне делать теперь?»

¹ Обычно так поступают, когда необходимо сообщить о каких-либо неприятностях.

² В авторском тексте рост жены сравнивается с маленькими клубками шерсти на веретене.

³ Раба — имя жены старика.

АСКАР СУЛЕЙМЕНОВ

А дождь так и не прекращался, напротив, его бурление и клотание лишь усиливались. Когда сверкнула молния, младшая из трех девочек, Рая, золотце старика, подобного которому не сыскать в этом «грае», испуганно вскрикнула и увидела наконец свою бабушку, которую потеряла было из виду. Та держала за руку старика, словно здороваясь с ним. Рядом с ними равнодушно стоял сивый. Своего отца, хотя тот был рядом, она не разглядела. Не увидела она и кандалы, перевешенные через плечо отца и унесенные подальше от греха.

Перевод Земфиры Ержан

Абиш Кекилбайулы

(1939–2015)



Абиш Кекилбайулы окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова в 1962 г. Государственный советник РК (1992–1993), Председатель Верховного Совета РК (1994–1995), депутат Мажилиса Парламента РК, председатель комитета (1996), в период с 1996 по 2002 г. являлся Государственным секретарем РК, находился на ответственных постах. С февраля 2002 г. был избран депутатом Сената Парламента РК.

Начиная с 1962 г., когда вышел его первый поэтический сборник «Алтын шуақ» («Луч золотой»), выпустил около двадцати художественных прозаических и публицистических книг. Среди них, помимо упомянутого выше сборника «Алтын шуақ» («Луч золотой»), «Бір шөкім бұлт» («Одинокое облако», 1966), «Дала балладалары» («Степные баллады», 1968), «Тырау-тырау тырналар» («Курлы-

чушие журавли», 1973, 1984), «Бір уыс топырақ» («Горсть земли», 1974), «Құс қанаты» («Крыло птицы», 1978), «Бәсеке» («Соперничество», 1965), «Ханша-дария хикаясы» («Повесть Ханша-дарии», 1968), «Шыңырау» («Бездна», 1971) «Бәйгеторы» («Призовой бегунец», 1974), «Шеткері үй» («Дом на окраине», 1978), «Аңыздың ақыры» («Конец легенды», 1971), «Ұя мен жебе» («Гнездо и стрела», 1968), «Ұйқыдағы арудың оянуы» («Пробуждение спящей красавицы», 1975) «Дәуірмен бетпе-бет» («Лицом к лицу с эпохой», 1972), «Заманамен сұқбат» («Беседа с современностью», 1994), «Азаттықтың ақ таңы» («Светлое утро свободы», 1998), «Әдебиет әлемі, өнер өрісі» («Мир литературы, развитие искусства», 1999), «Тәуелсіздік және тіл» («Независимость и язык», 2009) и другие. Творчество А. Кекилбайулы отличается богатством языка, насыщенностью национального колорита и глубиной психологического анализа.

А. Кекилбайулы внес вклад и в драматургию, написав народно-героическую пьесу «Абылай хан». Его произведения были переведены на русский, болгарский, немецкий, польский, чешский, венгерский языки. Перевел на казахский язык романы Л. Толстого «Война и мир», Ги де Мопассана «Пьер и Жан», «Жизнь», драматические произведения

АБИШ КЕКИЛБАЙҰЛЫ

У. Шекспира «Король Лир» и «Ромео и Джульетта», А. Чехова «Дядя Ваня», стихи М. Лермонтова, Г. Гейне, Э. Капиева, Р. Гамзатова.

За романы «Үркер» («Плеяды – созвездие надежды»), «Елең-алаң» («Перед рассветом») удостоен Государственной премии Казахской ССР имени Абая (1986), становился лауреатом премии «Тарлан» (2003), лауреатом Премии Мира и согласия Президента Республики Казахстан.

Черепашья трава

Уж если везет, то все получается складно да удачно с самого начала. У медлительной жены Сакып, — пока она приготовит чай, аул успевает откочевать и, прибыв на место, поставить юрты, — сегодня черный чайник закипел быстрее обычного. Быстроногая савраска, к рассвету всегда оказывавшаяся далеко от аула, сегодня, будто ее держали ночь на привязи, стояла возле юрты и с задумчивым видом смотрела на дальний караганник возле ущелья. Карабала, вдевая ногу в стремя, подумал: «Эге, похоже, мне сегодня повезет». Затем, перебирая в руках тонкие волосяные поводья, раскаялся: «Апырай, что это я? Как бы не провиниться перед Богом за такие мысли». Про себя прочитал, повторив трижды, молитву. Потом, ударив пятками в бока саврасой, произнес тихо: «О Алла, сохрани и помилуй».

Вот уже два-три дня, как он не спит до утра. Нет для него ничего страшнее на свете, чем просить чего-нибудь у кого-нибудь. Хорошо, если дадут, пусть и после долгих просьб и унижений. Но хуже смерти, если из дверей, в которые заходил с надеждой, выскочишь с пустыми руками. Слава Аллаху, но благодаря черной наковальне и черному молотку сам он редко обращался к людям с просьбой, это люди обращались к нему. С самого утра до позднего вечера он не выходит из кузницы на окраине аула. Не ходит на тои и сборища, как другие старики аула. Правда, на похороны ходит. В таких случаях, видя, что пустомели и там болтают что попало, когда по правую сторону дома лежит покойник, он сердился про себя.

И вот такой домосед и молчун Карабала сегодня сел на коня. Решил ехать не куда-нибудь, а прямо в райцентр. Решил зайти в главную контору...

Заставил его поехать тот забияка на собраниях, тот тараторщик с высокой трибуны, тот жалобщик, подписывавший первым все коллективные заявления, который всем был известен под именем Онбай. Сколько бы председателей не избирали в аул, с каждым из них первым, раньше всех схватывался, дерзко перечая им, Онбай. Если возле конторы возникал шумный спор с руганью, то в самой середине заварушки оказывался Онбай. Он постоянно с кем-то ругался, кого-то материл, начиная с предков в седьмом колене. Никто не мог в этом деле сравниться с ним. И на казахском, и на русском языке ругаться был мастак. Не прошло еще года с тех пор, как в этот аул переехал портной, старый кореец, а уже к осени у магазина Онбай всю матерился с ним по-корейски.

Недавно Онбай прислал за кузнецом Карабалой своего сына. Не успел Карабала переступить порог дома Онбая, как тот начал отчитывать: «Что это вы за родственники, даже не интересуетесь, живы ли мы. Онбай вам нужен только для того, чтобы спорил с другими ради вас и всех перематерил. Вот уже полгода, как лежу прикованный к постели. Ни одна собака не заглянула. Уже сил моих не хватает, чтобы опираться на эту высохшую палку, твою дочь... твою мать, — Онбай принялся материть палку. — Власть должна мне, как инвалиду, выделить машину, знаешь ли ты это? Вот и съезди в райцентр, реши это дело. В наше время, если не заходить во все конторы по сорок раз, распевая святочный жарпазан, не решается ни один вопрос. Сам не смогу пойти, потому что тело мое для меня самого стало проклятым грузом. Ведь наши с тобой деды сосали грудь одной матери, и что, какая же польза теперь мне от тебя? Ничего с тобой не случится, если один день не постучишь молотком по своей несчастной железке. Съезди, курдас. Если не исполнишь мою просьбу, то завтра, как только умру и ты подойдешь с плачем, всхлипывая и сопя своим большим носом: «О, мой родной брат», — я угощу тебя этим костылем прямо по лбу.

У Карабалы дрогнули и разъехались реденькие усы. Смотри-ка, какие у курдаса мысли! Даже мертвым мечтает схватить кого-нибудь

за ворот. Но, с другой стороны, и жалко его. Остались кожа да кости. Спору нет, родственник он близкий. Совсем близкий, к дочери которого нельзя посвататься из-за кровного родства. К тому же они одногодки, курдасы. С самых юных лет Онбай был забиякой. Едва достигнув пятнадцати, взял привычку тереться, будто верблюжонок, об юрту, где у хозяев были подросшие дочери. Один светлицы шустрый старичок частенько гонял и бил его. С фронта Онбай вернулся, оставив там одну ногу, отрезанную по самый пах. Но даже с одной ногой он постоянно носился с одного конца аула на другой. Не говоря уже о его собственных шестерых детях, у трех-четырех вдов аула были детишки, рожденные вне брака, очень похожие на Онбая с его выпяченной верблюжьей грудью.

В детстве, когда он боролся и бывал побежден, поднимался на ноги, стряхивая пыль со штанов, и приговаривал: «Все равно Онбай не проиграл».

Как он и говорил, Онбай ничего и в жизни не проиграл. Его маленькое хозяйство до вчерашнего дня было весьма налаженным. Однако в этом году, с тех пор как наступила зима, он не ступал за порог своего дома, был прикован к постели. Видимо, с возрастом дали о себе знать старые раны. С тех пор, как Онбай слег, у конторы стало тихо. Но он, не привыкший закрывать рот, и дома не молчит. Одним словом, до людей доходит, что «Онбай сказал то-то», «Онбай сказал это». Если одни раздражаются, ворча: «Что ему надо, этому одноногому, помирать уж пора», — другие жалеют его: «Ну чего этот бедняга не уймется, зря только позорится». Раздраженных много, а жалеющих мало. Привыкший спорить и вступать в раздоры со всеми, теперь он, борясь со своими болезнями, на виду у всех мучился, слабел, и постепенно силы оставляли его. Дети пошли не в него, шустрого, а в свою нерасторопную мать. Одни молчаливые и нерешительные тихони. Старший сын был шофером. Машину внезапно у него забрали. Онбай раскипятился: «Все из-за того, что я слег, а то если бы смог встать, то дал бы в лоб этому горе-бастыку и показал ему, как в глаз... в ухо... его умершего отца». Изругал и обматерил сына: «Почему ты

не сказал тому то-то, не сказал так и эдак». Сын бормочет еле слышно под нос: «Да ладно, перестань, коке!» Теперь сына-шофера отправили к дальней отаре сакманщиком, принимать овечий приплод.

Видимо, поняв, что сын-тихоня ничего не добьется, он и позвал Карабалу. Онбай всегда сочувствовал своему сверстнику. «Сколько бы ни трудился и ни проливал пот, все равно никогда тебе не утнаться за Кали, который разгуливает по аулу, играет в карты. Овец пасут его жена и дети, а почести и славу присваивает себе он сам. Неизвестно, что он показывает на выставках с таким своим невзрачным видом и носом с продавленной переносицей, но на все выставки, хоть в Алма-Ате, хоть в Москве, всегда едет только он. Каждый раз возвращается, навьюченный коврами и индийским чаем. Только он выслушивает лестные слова всех почтенных и знатных людей. А ты целыми днями выслушиваешь только звон черной наковальни и стук черного молотка».

Карабала всего второй раз в своей жизни едет в райцентр. Когда-то, в тот год, когда началась война, его вместе с остальными джигитами вызывали в военкомат. Там ему то ли сказали, что у него вывихнуты колени, то ли криво срослась кость на лодыжке, одним словом, он оказался негодным к воинской службе. Кроме этих двух поездок, он еще ездил два-три раза в дальние аулы к нагаши, родственникам жены. Хотя он и решился сегодня выехать, но душу его гложут сомнения, ему не по себе, словно человеку, выпившему жидкое масло. Если Онбай говорит о ком-то, то ничего хорошего от него не услышишь. Может, поэтому хозяева тех контор, куда Карабала направлялся, со слов Онбая представлялись ему один хуже другого. Первый из них, мол, плутоватый малый, смотрит, словно следящая за капканом черная борзая с подрагивающим кадыком; говорят, что он взяточник. Второй чиновник — торе, ученый человек, причисляющий себя к белой кости, благородного происхождения, потомок чингизидов, который, если даже придет отец родной, заставит ждать два часа у себя в приемной. Третий, мол, хитрец тот еще, придерживается якобы всех законов, а на самом деле буквоед, изучающий каждый крючок в бу-

маге, которую ему приносят, умеющий скрыть и спрятать для себя, под семью пластами земли, известное всем казенное добро и, как говорится, вытирающий жирный рот сухой соломой, чтобы не блестело. Итак, по словам Онбая, в райцентре нет другого более или менее стоящего человека, кроме хваткой бабы чайханщицы, которая, если ей подмигнуть глазом и сунуть в руку рублевую бумажку с желтым ухом, сразу же поставит перед тобой гору еды и бутылку водки. И вот теперь надо будет выбить у них, у этих скряг-проныр, машину для инвалида Онбая. Кто даст ему, Карабале, такую силу, чтобы он, свернув черную гору и распоров пополам белую гору, выбил бы то, с чем люди не особенно-то жаждут расстаться? Он, Карабала, был вынужден сесть на своего коня и ехать в райцентр только потому, что курдас Онбай может насмерть обидеться, если сверстник откажется ему помочь, подумает, что ему стало жаль коня, с которого лишний раз прольется солоноватый пот.

Саврасая, обычно носившаяся как вихрь, когда отпускаешь ее пастишь, ходит медленно, если на нее садится наездник, будто давая тому спокойно сосчитать все встречные кустики жусана. Куда ни посмотришь, везде среди трав ползают, высоко поднимая зад, черепахи. Услышав топот копыт, они замирают, втянув голову под панцирь, но стоит чуть удалиться, снова начинают ползти, опустив голову вниз. Вот черепаха величиной со сковороду, выбравшись из ямы, перевернулась на спину и дрыгает в воздухе лапками. Странно вытягивая морщинистую короткую шею, изо всех сил сучит и сучит ногами. В пасти торчит стебелек травы. Серые маленькие глазки величиной с зерно пшеницы смотрят, уставившись тебе в лицо. Неизвестно сколько веков прожившая старая черепаха-ведунья словно ждет, что будет делать этот казах в потрепанном тымаке, восседающий на коне.

Карабала хотел было рукояткой камчи перевернуть беднягу и нагнулся с коня. Но, вспомнив примету, что у человека, которому весной удастся взять стебелек или пучок травы из пасти черепахи, исполнятся все желания, слез с коня. Подошел поближе. Сказав «Бис-

симилля», взял травинку. Один-единственный стебелек, толщиной с иголку. Похож на стебелек дикой морковки, растущей на песчаной почве. Растер в ладони. Потом перевернул лежавшую на спине черепаху с выпученными глазами. Сел на коня. Проехал чуть и обернулся назад. Черепаха, которую люди наделяют чудодейственной силой, пробиралась вперед среди стелющихся, еще не поднявшихся сухих кустиков жусана. «Апырай... Верить своим глазам или не верить? Значит, я любимый раб Создателя! Чем я заслужил милость Аллаха!» От неожиданной мысли сильно забилося сердце. Он даже позабыл недавно мучивший его подспудный страх: «Онбай ведь задаст трепку, если вернусь из райцентра ни с чем». Он завернул стебелек травы в бумагу с рецептом на лекарство, которое дала ему жена, попросив: «Все равно едешь в райцентр, привези», — и положил во внутренний карман. И сам не заметил, как стегнул по крупу ленивой саврасой резиновой плеткой, свешивавшейся из длинного рукава рубашки. Ленивая савраска неспешно перешла на рысь.

Рыжий мерин! У-а, рыжий ме-е-ерин!

Джигит вместе с девушкой собирали уголь...

Эта песенка развлекла Карабалы и, казалось, чуть даже распушила его черные жесткие усы. Когда у него бывает доброе настроение, он всегда поет эту песню. Из него сами собой вырываются слова этой несуразной песни, услышанной им от Онбая. На тоях и сборищах Онбай вначале безо всяких на то причин затевает ссору с кем-нибудь, кто находится рядом. Потом, засучив рукава рубашки выше локтя, начинает выпивать. Наполненная доверху рюмка, едва коснувшись тонких усов Онбая, тут же возвращается назад на дастархан опустошенной. Через некоторое время, если Онбай проиграл какой-нибудь спор, у него глаза начинают зло сверкать и желваки перекатываются по скуле. А вот если он выиграл спор, то, после того как на лбу выступят капельки пота, он вскакивает с места, опершись на костыль, и, взмахнув рукой, в которой держит полный стакан с водкой, начинает пронзительным голосом громко петь: «Рыжий мерин! У-а, рыжий ме-е-ерин!»

Женщины, сидящие за дастарханом, начинают хихикать. Карабала так и не понял, что за рыжий мерин и какое он имеет отношение к джигиту и девушке, а также кто этих бедняг в такое вот спокойное время заставляет вместе собирать уголь. И никак он не поймет, что же тут смешного. Но, как бы то ни было, эти несурзные строчки оставались в памяти. Если Карабала бывает отчего-то в хорошем настроении, он тоже сразу же начинает напевать именно эту песню. Но она, эта песня, которая смешит всех, когда игриво поет Онбай, у него получается тягучей и нудной, словно ход ленивой саврасой, которую так и клонит ко сну. У этой песенки есть какая-то сила, которая освобождает от тяжести забот, словно всего одна чаша холодного шалапа, выпитая в знойный день июльской жары.

Отец Карабалы был верблюдоводом, жившим единственной юртой в степи. И Карабала вырос стеснительным, всегда прятался за спины родителей, если видел посторонних людей. Теперь он без конца оглядывался вокруг с опаской, что кто-нибудь может услышать его, едущего одиноко в безлюдной степи и распевającego песню, и, насмехаясь над ним, пустит слух: «Оказывается, мы не знали, что Карабала умеет так звонко петь, когда нет никого рядом!»

Весенняя ковыльная степь безлюдна. Над головой еще не успевшее проясниться после зимы блеклое небо. Будто осознавая, что она единственная из четвероногих в этой бескрайней степи, ленивая савраска без конца громко, самоуверенно фыркает.

Карабала ни с того ни с сего улыбается сам по себе. Что только ему не вспоминается! Когда-то расторопный деловитый секретарь аульного совета, почти насильно вырвав его из рук отца, отвел в школу. Школа была расположена в помещении старой мечети, где один бывший мулла учил детей. Прежнее название маленького здания, сложенного из белых известковых камней в виде четырехугольника с выступами по углам, — «Белая мечеть» — поменяли на «Белую мектеп», школа то есть. Но люди не называли его ни «Белая мечеть», ни «Белый мектеп», а «Белая школ». В «Белую школ» собрались отовсюду около двадцати ребят. Самыми старшими сре-

ди них оказались двенадцатилетние Онбай и Карабала. Онбай был очень способным к учебе, а Карабала учился так себе. Он не ошибался, когда на уроке арифметики считал количество верблюдов, лошадей, овец, коз, а когда касалось воробьев, сидящих на проводах, ящиков сорванных в саду яблок, скорости двух велосипедистов, выехавших навстречу друг другу из разных городов, у него все путалось в голове. А этот шустрый Онбай будто с самого рождения катался на велосипеде, собирал яблоки в саду, не ленился считал всех воробьев, сидящих на проводах, ловко и прибавлял, если скажут прибавить, и отнимал, если скажут отнять, и умножал, если велят умножить, и делил, если велят делить. После «Белая школ» он закончил семь классов в соседнем колхозе. Карабала не то что учиться в соседнем колхозе — не смог даже закончить «Белая школ» и остался неучем. Онбай превратился в красивого джигита, выходил из дома, намочив волосы и сделав косой пробор, надев черный костюм и белую рубашку. Волосы, которые он расчесывал, намочив водой, и белоснежные зубы, и улыбающиеся глаза, и кожаные ботинки, которые он чистил каждый день, — все на нем блестело, словно шкура ягненка, тщательно вылизанная маткой. Карабала все такой же медлительный, с небрежно расстегнутым воротом. Почти все девушки аула, более или менее приятной наружности, получали письма в стихах от Онбая. В кармане же Онбая было полно вышитых девушками платочков. На собраниях он не мог спокойно сидеть. Глаза горят как угольки, щеки начинают пылать. Не проходило собрания, на котором бы он не выступал. Ему все равно — то ли это будет торжественное собрание, или отчетное, или собрание, на котором обсуждаются хозяйственные дела по стрижке овец, по сенокосу, по окоту, по снятию куета, войлочного фартука на баранах-производителях — для предупреждения преждевременной случки. Председательствующий сразу после доклада называет его имя. Люди гудят и хлопают в ладоши. Все сидящие и в зале, и в президиуме, покачивая головой, от восхищения цокают языком. И приехавшие уполномоченные из вышестоящих учреждений, до-

вольные этим бойким молодым джигитом, подающим надежды,жимают ему руку и похлопывают по плечу. Если бы не война, то Онбай, наверное, пошел бы далеко. Когда Карабала думает об этом, у него душа болит от жалости. Он никогда не завидовал, когда все лестно отзывались о его сверстнике. Он думал: если не Онбая, то кого еще хвалить, нет такого больше джигита. Карабала, который в детстве прятался за спину отца, теперь ни на шаг не отходит от Онбая. Когда люди хвалят его друга и восхищаются им, у Карабалы рот до ушей, хоть завязочки пришей. Даже тогда, когда врачи признали его непригодным к воинской службе и он прощался с Онбаем, покорно стоявшим во главе колонны с посеревшим лицом, у него слезы брызнули из глаз. Онбай лишь криво пошевелил губами, встряхнув, пожал его руку и остался стоять растерянно. Карабала, обессилев, еле-еле добрался до аула. Долго перед глазами стояло посеревшее лицо и широкий лоб Онбая. Ему стало жалко, что такой статный, словно статуя, сделанная из кости, энергичный и способный джигит отправился под град пуль. Карабала, с детства привыкший считать Онбая особенным среди всех остальных ребят, пожалел только его единственного в выстроившейся колонне молодых парней. Ему было неловко, что он остался в ауле, а Онбай ушел на верную смерть. Он не показывался на глаза людям, боясь, что они подумают: «Чем он лучше других молодых парней, которые сейчас ходят по колено в крови».

С тех пор, все четыре года, он ни на шаг не отходил от горячих углей в печи и от черной наковальни. За год до окончания войны вернулся Онбай. Карабала только в тот день и вышел из прокопченной сажей кузницы засветло. Он не смог овладеть собой, когда увидел друга, лежащего на торе на пуховой подушке, два костыля, прислоненные к стенке, и одинокий, стоптанный набок сапог у порога. Он растерянно присел, поздоровавшись за руку с другом, который в военной форме выглядел еще более суровым.

Онбай пригладил одним пальцем кончик красивых усов и поздоровался: «Ну что, жив, здоров?» Все находящиеся в доме зашевели-

лись, будто его слова означали: «Что с тобой может случиться, раз ты находишься в ауле». Карабала не обратил внимания. Он по-своему истолковал нахмуренный вид своего сверстника. Разве легко Онбаю, еще вчера избалованному вниманием людей, вернуться одноногим. В больших, словно чаши, глазах вместо искорок прежней смелости сейчас проглядывали жесткость, суровость. Кто бы ни говорил, он всех резко перебивал.

В том году осенью Онбая избрали председателем колхоза. Единственная нога в стремени, за спиной к седлу приторочены два когтыля. Избрание одноногого баскармой было внезапным, неожиданным. Он знал, казалось, и видел все, чего не видели и не знали остальные. Люди, прежде восхищавшиеся им, теперь от страха хватились за свой ворот. Бабы, косившие сено, побаиваясь, что неожиданно может нагрянуть баскарма, перестали собираться у копны и искать вшей в головах друг друга. Старики, работающие на току, перестали после окончания молотбы отсыпать в подол каждой бабе по горсти пшеницы в знак доброй приметы. И работающие в конторе ходили на цыпочках. И план по займу колхоз Онбая выполнял первым. Даже налог с холостяков с приходом Онбая стали выполнять первыми. При Онбае на возвышенной местности, всегда пустовавшей, теперь пасся скот. При Онбае стали косить траву и в тех местах, где раньше паслись только архары и сайгаки. При Онбае сделали главный арык для отвода воды и сажали ячмень, просо, пшеницу. При Онбае из аула вышел рыжий скакун, который не давал обгонять себя на байге ни одному коню. При Онбае стали выдавать деньги за трудодни. При Онбае стенная газета стала выходить своевременно. При Онбае даже Карабала стал постоянно ходить на собрания. Может потому, что он стал членом правления колхоза и к нему через день прибегал какой-нибудь малец с приглашением в контору. Но время правления одноногого баскармы, которое взбудоражило не только аул, а весь район, оказалось коротким.

Одним из тех, кто кричал: «Надо укрупнять мелкие хозяйства», — был Онбай. Но когда объединили соседние три колхоза, его

возглавил не Онбай, а председатель соседнего колхоза. Онбай стал заместителем. Два начальника на собраниях смотрели друг на друга косо. Чуть что писали жалобы друг на друга в вышестоящие органы. В конце концов они перестали враждовать скрытно и начали бороться открыто. Председателя направили в соседний колхоз, а заместителя Онбая — на ферму. Онбай, махнув рукой, не стал выходить из дома. Через месяц его пригласили в райцентр и предложили должность заготовителя мяса. Он отказался, сказав: «Не хватало мне еще стеречь весы», — во второй раз ему предложили должность собирателя налогов, он опять отказался, сказал: «Не хватало еще мне копейки считать». После этого его перестали искать. Он долго ждал и надеялся. Он досадовал, огорчался, расстраивался, подумал даже передать просьбу вышестоящим аксакалам. А потом Онбай вышел сам искать работу. В это время, будто бог послал, в аул приехала экспедиция, искавшая то ли нефть, то ли воду. Одному богу известно, чем Онбай понравился им. Его взяли завскладом. В то время в чем только не нуждался колхоз: не хватало и бензина, и резины, и запчастей для машин. И бензин у Онбая, и резина у Онбая, и запчасти для машин у Онбая. Если Онбаю понравится проситель, то он, смачно обматерив того разок по-русски, отдает сколько надо, а если проситель не понравится, то, сплюнув, ляпнет какую-нибудь грубость: «Передай своему безмозглому бастыку то-то и то-то». Как бы то ни было, шоферы и трактористы, когда сильно нуждались в бензине, в первую очередь обращались не к господу богу, а к Онбаю. И никак они не могли бросить на ветер слова Онбая, поэтому точь-в-точь передавали сказанное им своему начальнику. В ауле стали распространяться его слова: «Онбай сказал то-то, Онбай сказал это». Раньше ходили разговоры: «Если наш бала говорит, то попадает в точку», «Знает, что сказать, наш одноногий баскарма». А теперь говорили: «Если Онбай скажет, то влепит правду прямо в лоб». На сколько хватало отпущенного из склада налево бензина для пустых баков колхозных тракторов и машин, знал только сам проситель, но слухи и кривотолки он же, проситель, запускал исправно. Слова, сказанные

Онбаем о бастыках-начальниках, действовали на них, как разгоревшийся пожар.

Что может сделать баскарма, бастык... Услышав от шоферов эти старательно переданные ругательные слова, бастыки вспыхивали, будто проглотив горящий уголек саксаула. Вот они краснеют, бледнеют, досадуют, грозятся: «Ну, негодяй, еще посмотрим». Грозить грозятся, но что они могут сделать... Первый баскарма был злопаметным. Он решил: «Надо сделать так, чтобы здоровая нога этого хромого попала в кровавый капкан», — и к ящику водки из аульного магазина добавил привезенный из райцентра ящик коньяка, зарезал упитанного барана и пригласил начальника экспедиции к себе домой вместе с активом колхоза. Начальник тоже оказался хитрецом. Хвалил красивую «маржу» бастыка, хвалил «баранчуков», хвалил кыурдак, хвалил беспармак, не зная, как его съесть, хвалил опаленную голову барана с оттопыренными ушами, представшую перед ним. Хвалил кыран: «не кислый, вкусный»; хвалил кумыс, что он «кислый». Не обидел и спиртные напитки; среди ночи, похлопав по плечу хозяина дома, погладил по лбу лежащего у двери черного пса, расцеловал по кругу всех мужчин и женщин, находящихся в доме, и с намернувшимися на глаза слезами еле-еле смог распрощаться с хозяевами. Но когда на тое речь заходила о кладовщике, казахе Бисенове, он лишь отрывисто смеялся и цокал языком. Бастык начинал намеками оговаривать кладовщика, тот только смеялся; бастык подводил к делу иносказаниями, начальник только смеялся; начал открыто говорить против Онбая, тот лишь покачивал головой и улыбался; и, поняв, что его слова нисколько не действуют на гостя, бастык выматерил его на казахском, на что тот только залиvisto рассмеялся, обнял и расцеловал хозяина: «маладес, маладес». На пирушке об Онбае он повторял лишь одно: «Бисенов умнай шалабек». Видимо, это означало, что «слухи вашего аула не доходят до нашего аула». Таким образом, никак не удавалось отобрать у Онбая теплое местечко под солнцем. Бастык есть бастык, у него большие заботы. Сено должно коситься, хлеб надо убрать, перевезти корма в закрома... Короче,

нужно выполнять план. Для этого надо, чтобы машина и трактор были на ходу. Для этого необходимы бензин, резина и всякие железяки-запчасти. Нынешняя техника не та, что раньше, когда просили бога, чтобы не заболел Карабала, — это не прежние коса, серп, соха, или даже не сенокосилка, борона-лобогрейка... Сколько бы ни брыкался, сколько бы ни ненавидел Онбай, все равно бастыку приходилось идти к нему с протянутой рукой. Потому что все, что относится к колхозной технике, находится в руках у Онбая. Неизвестно даже, есть ли такие возможности у самого бога. И Онбай знает, что может без всяких задирать нос. В конце месяца, в конце квартала, к концу года он не разговаривает не только с шоферами, не только с бригадиром, не только с механиками, а даже и с инженерами. Пока не придет сам бастык с умоляющим видом, Онбай сидит себе и поплевывает в потолок. А начальник экспедиции ссылается: «Бисенов сам знает». Что делать, приходится бастыку собирать всех старейшин-аткаминеров аула и толпой идти к нему. В таких случаях Онбай, не говоря ни слова, сразу же отдает, вручает, наливает, даже больше, чем надо. Если те улыбнутся ему, назовут «Онеке», скажут «Вы сами все знаете», то не только отпустит бензин и железяки, а даже даст совет и досконально объяснит, где нужно строить загоны, где нужно рыть колодец, где нужно косить сено, где лучше пасти лошадей, верблюдов, овец. Бастыки, не жалея благодарных слов, возвращаются довольные. Но эта их радость длится недолго. И когда только все успокоится, наконец кое-как выполнив план: «Ух!» — как в ауле появляются слухи, что «если бы не Онбай, то мы сели бы в лужу». Теперь снова приходилось скрежетать зубами на вчерашнего благодетеля со словами: «Ну, погоди!»

В конце концов, когда через три-четыре года эта экспедиция, свалившаяся с неба, словно жирный курдюк на голову, уехала туда, откуда приехала, многие злорадствовали. Они обрадовались, что у ехидного Онбая теперь отрезаны и язык, и руки. Но у Онбая хотя руки и были отрезаны, но язык остался на месте. Бедняге Онбаю действительно пришлось нелегко. Сначала нужны были грамотные

бастыки, затем — энергичные, молодые бастыки. Онбаю пришлось считать копейки, от подсчета которых он раньше отказывался, пришлось сторожить весы, стоять у которых он прежде отказывался. Это еще ничего — теперь одноногий джигит, который раньше зажимал нос от запаха паленой шерсти, стал собирать вонючие шкуры, стриженую шерсть. В помещении холодного склада стоит у чугунных весов и, опираясь на костыли, стучит костяшками счетов. Сегодня чего много у людей, так это разных шкур. К тому же и самый крепкий насыбай в кармане у Онбая. В одном из закутков огромного, полутемного склада найдутся и белые, красные, бордовые бутылки, воткнутые дном в сырую землю. Хватает и разных кривотолков об Онбае, возводимых за его спиной. Итак, посетителей, заглядывающих на склад к Онбаю много. Онбай, покачиваясь, еле добирается до дома. По дороге обязательно заглянет туда, где собираются люди. Не может спокойно вести себя и там. Когда-то славившийся как «красноречивый оратор», теперь он стал называться «ехидна», «задира», «су-тяга». Если раньше люди тянулись к нему, то теперь стали избегать. Бедняга Онбай идет один по широкой улице, размахивая над собой костылем, крича и вопя всякое-несуразное. В таких случаях обязательно повернет к дому Карабалы. Отбросив в разные стороны от порога оба костыля, прыгая на одной ноге, проходит на тор и валится набок, подпершись подушкой. Сакып старается угодить Онбаю, постелив лучшие корпе, подавая лучшую подушку. Онбай, растянувшись на самом торе, ест жирный кыурдак, пьет чай, опохмеляется из поллитровки, вынутой хозяйкой из кебеже. И Карабале наливает. Карабала же не охотник до спиртного. Стоит ему только опрокинуть маленький граненый стаканчик, как его сразу же начинает разбирать бессмысленный смех. Если уговорят еще выпить, то он роняет голову на грудь и начинает храпеть. Онбай не хочет лишиться единственного уха, что слушает его. Поэтому он наливает курдасу и родственнику всего один раз, и тот начинает отрывисто смеяться, а он, Онбай, сам пьет и сам себе говорит. Пристально смотрит другу в лицо, словно видит его впервые, и возвещает:

— Ойбай, ну и несчастный ты! Ох, несчастный!.. Никак не воссияет от удачи твой широченный лоб, который мог бы послужить отгоном для колхозной отары. А ведь у тебя и сила есть, и собой пригож, и ничем не хуже других. Любую газету украсил бы твой портрет с таким здоровенным носом, красивыми усами, с круглой ряшкой. Вместо того чтобы показать таких, как ты, — вот, мол, «наша звезда», они выставляют вперед таких, как Кали, — невзрачных, мелковатых шибздигов, побитых жизнью, безмясых, словно обглоданные кости. Оказывается, удача не разбирается в людях, кому-то повезет, а кому-то не повезет. Счастье, оказывается, — это великан с одним глазом. Не знает, кого он несет на плече, пока не увидит своим единственным глазом. А как увидит, то сбрасывает с себя, приподнимет еще за шкурку и откинет в сторону! Наверное, недалек тот день, когда и эти никудышные Кали полетят вверх тормашками!

После этих слов опрокидывает содержимое стакана в рот. Кажется, что огонь досады у него в груди, и его не может погасить ни водка, ни горький лук, ни жирный кыурдак, ни густой байховый чай с молоком. Он стихнет наконец, когда выговорится.

Онбай, поднеся к носу горький лук, сидит, сидит и вдруг вскрикивает:

— Апырай! Если бы были прежние времена, я помог бы тебе, вот так поднял, возвысил бы тебя.

— Е, сверстник, кто бы в этом сомневался.

Сакып, разливающая чай, даже встрепенулась, прислушиваясь.

— У-ай, что там говорить, я и сам виноват, — говорит Онбай через некоторое время, подминая изо всех сил подушку под локтем, словно мстя ей за что-то. — Когда укрупняли колхозы, хотели, оказывается, поставить меня председателем. Вместо того чтобы в это время вести себя смирно, я обматерил секретаря. На районном активе я, — упрекая начальство, что много бумажной волокиты, — и сам не заметил, что одним концом палки, как говорится, угодил прямо в лоб первому секретарю, и с тех пор начальство стало смотреть на меня косо. С тех пор я никак не мог найти общего языка с ним, так же как скисшее

молоко уже не может заново скиснуть и превратиться в айран. Зачем только я был тогда слишком уж активным! Сейчас нельзя быть ни слишком скромным, ни слишком активным, ни слишком хватким, ни слишком умным. Может быть, лишнее богатство и не повредит, но чересчур умствовать вредно, это точно. Сам помешаешь своему счастью. То, что дает нам бог, — это ничего, сойдет. То, что бог дает, а потом забирает назад, тоже ничего. Но самое худшее, оказывается, это когда бог пообещает дать, а потом передумает. Такое никогда не забывается, до самой смерти. Вот так-то, сверстник...

Онбай, пылливо посмотрев в его сторону, с бульканьем наливает себе из бутылки. Потом, взяв в руки стаканчик и опрокинув водку в рот, отбрасывает его и, опершись на плечо курдаса, вскакивает на одной ноге со своего места. Сакып тут же хватается за костыли, лежащие у порога, и засовывает ему под мышки. Онбай начинает петь во весь голос. Вначале обязательно поет русскую песню. Печальная песня, разрывающая душу. Хотя старики и не понимают слов, но их эта песня трогает до глубины души. Чем дольше Онбай поет, тем он становится оживленней. Смиранные усы, спутанной шерстью улегшиеся было по обеим сторонам губ, вдруг поднимаются дыбом. В его затуманенных, тоскующих глазах оживает, взблескивает огонек. Сжатые губы, только что опаленные водкой, начинают буреть, словно обвяленное мясо. Онбай расправляет плечи, выпрямляет грудь, как будто он твердо стоит на своих двух ногах, а не опирается на костыли. Когда русскую песню сменяет казахская песня, у добрейшей Сакып, замороженной песней, набегают на глаза слезы. У Карабалы тоже увлажняются глаза. Онбай еще больше входит в раж, видя, как на эти простые души действует его пение. Вид чистых слез в глазах этих мягкосердечных людей для Онбая как освежающий ветерок, очищающий его душу, которая сама по себе все еще дымится, тлея от поздних сожалений, от горькой водки, обжигающей глотку.

Положив руки на их плечи, он говорит:

— Эх, бедные вы мои! Среди наших родственников, которые составляют около десяти семей, ведь нет никого, кроме меня, кто был

бы чуточку расторопным. Не дай бог, если завтра что-то случится со мной, кто решится выступить вперед и заслонить вас всех...

Карабала еще больше расстраивается и начинает горько плакать. У него перехватывает в горле, он по-детски всхлипывает:

— О, моя опора!..

Говорит искренне, растроганно, горестно, представляя возможное теперь горе. Онбай, разбередивший им душу, широко вышагивая и постукивая костылем, выходит из дома. За окном приземистого дома-кузницы долго слышен этот стук, словно там, в ночи, вбивают гвозди в черную твердь земли.

Карабала в тот день не может сомкнуть глаз. Этот здоровенный мужик, не обращающий в жизни внимания на многие невзгоды, особенно не расстраивался по пустякам. Слава богу, ему некогда было скучать. Слава богу, Сакып хоть и была медлительной, нерасторопной, но никогда не перечила. Родила ему одного сына, одну дочь. Сын женился, живет отдельным домом, он коневод. Дочь замужем в соседнем ауле. Ничем не хуже людей. Если говорят: «Карабала, сделай то-то», — он делает. Если говорят: «Карабала, съезди туда-то», — он съездит. Слава богу, до сих пор никто ему не делал замечания: «Этот ты сделал не так». Поэтому ли — но он сам по поводу своих дел редко расстраивается, не переживает. Только изредка, вот в такие дни, когда заходит Онбай, аульному кузнецу кажется, что мир, спокойно лежащий под ногами, вдруг начинает рушиться. Многие вещи, которые он не понимает, начинают нагнетать страх в его смиренную душу. Он не может понять, почему у его курдаса, которого он чтит как бога, так плохо идут дела. Судя по тому, что все время твердит Онбай, видимо, в жизни на самом деле есть место склокам, козням, думает он. В этом ауле вроде нет никого, кто мог бы бросить ему в лицо: «Эй, кафир! Неверный!» Все такие же, как они сами, простые люди. И все равно, вон как живет-мучается Онбай. Может быть, жизнь и в самом деле не является тем, что знает он, Карабала, то есть жизнь не сводится только к изогнутой наковальне и черному молотку. Наверное, не всё, что попадает в жернова жизни, может сгодиться другим,

как и не всё, что попадает в его руки, может сгодиться ему самому. Если бы это было не так, разве ходил бы Онбай в таком состоянии. Может быть, вся причина в той свинцовой шальной пуле, которую выпустил Гитлер, чтобы деду его... отцу этого Гитлера... туда и сюда... разэтак... в рот и в ухо... Та пуля словно выбила у курдаса не только одну ногу, но вместе с нею срезала все крылья души, все надежды ее. Иначе бы почему Онбай, отличавшийся от всех прочих сообразительностью и способностями, не выучился? Кто знает, где бы он был, кем бы стал, если бы выучился? Шальная пуля ранила его, и он, джигит среди султанов, оказался рядом со смиренными, робкими, покорными, такими, как Карабала. Теперь вот его курдас никак не находит себе места. Когда Карабала задумывается над этим, у него словно поднимается жар.

Сам он до сих пор, дожив до этого возраста, носил то, что удавалось достать, ел то, что от роду ему суждено было есть, и ни о чем сильно не переживал. Отец вроде тоже особо не ломал себе голову, когда родился этот сын. Ни священную книгу не открывал по этому поводу, ни азан не выкрикивал, давая ему имя. Раз родился бала смуглым, так и назвали — Карабала. И вот теперь этого Карабала, хотя он и стал стариком, никто в этом ауле не называл уважительно «Кареке». Все говорят: «Это сделал Карабала», «Это смастерил Карабала», «Надо бы заказать Карабале»... Если иногда кто-то из другого аула, приезжающий к нему по делам, называл его «Кареке», у него вдруг затылок взмокал от мгновенно выступившего пота, а там начинался зуд. На тоях и сборищах он не усаживается важно на торе, а ложится, облокотившись на локоть, где-нибудь у порога, без особых почестей. Разве нет у каждой вещи своей значимости, своей привлекательности? К примеру, кто видел, чтобы из жестянки смастерили лемех, а из нержавеющей стали плевательницу? Теперешнее положение Онбая все время кажется ему именно таким неуместным делом.

Иногда ему вдруг в голову приходит: «А Бог тоже бывает несправедливым!» — но тут же, опомнившись, говорит про себя: «Тауба, тау-

ба! Чур меня!» Надо же, словно на всем белом свете не было ни одного нормального человека, — именно ему, плохонькому мастеровому, сорок лет назад кое-как закончившему три класса школы и которому теперь грамотешки хватает только на то, чтобы напротив табеля для выдачи зарплаты вместо своей фамилии написать начальные четыре буквы имени своего отца и затем кривой черточкой-палочкой неуклюже прочертить хвостик, — Карабале достался тонкий стебелек травы из пасти черепахи, который попадает в руки не всякому простому смертному. Но лучше бы травка досталась таким, как Онбай, которые, как говорится, ловят птиц на лету зубами... Если бы досталась волшебная травка Онбаю, кто знает, — может быть, он и встрепенулся бы, расправил крылья, как в те свои огненные годы молодости.

Молодой, видный, красивый джигит, облик которого врезается в память тех, кто хоть раз видел его, и остается в памяти тех, кто хоть раз слушал его. Разве не смог бы он учиться, не говоря уж о соседнем колхозе, в районе, и даже не в районе, а в области, и даже не в области, а в самой Алма-Ате или даже — в Москве? Разве не сидел бы сейчас важно в одном из домов науки одним из ученых с широким, сверкающим лбом! Разве не устроил бы на учебу всех парней, которые имели хоть какое-то отношение к этому аулу? Разве не останавливались бы все из этого аула — кто заболел или имел какое-то дело в городе — у него! Онбай даже смог бы стать одним из тех больших начальников, которые выступают только по радио и которых показывают только в кино. Именно он мог бы, повернув, так сказать, за нос одну из рек, привести ее сюда, на землю своих предков, и эта голая земля не оставалась бы такой бесполезной, где сейчас только верблюды валяются в пыли. Вот тогда он, Карабала, передал бы своему курдасу через людей: «Эй, пес спесивый, не забывай нас, друзей детства. Должны же и мы что-то иметь, если у тебя в руках такая сила закона. Мой сын Куатбек коневод, да еще какой. У него в тюках зря лежат красненькие, синенькие бумажки. Сам он пошел в меня, такой же нерешительный. Кажется, машину хочет купить. Оказывается, надо ждать двенадцать месяцев в очереди. По словам людей, для это-

го надо иметь, кроме денег, еще и блатных знакомых. Словом, хватает возни. Как бы ни было, ты сам знаешь, что это такое дело, которое мы с сыном не осилим. Помоги нам в этом. Маленькая Жаныл, которую ты видел когда-то на горшке, теперь замужем. У нее есть дети. Но нет у нее приличного дома, как у других. Сможешь ли помочь ей? Другие аулы как аулы. В нашем же ауле еще много выросших в землю лачуг, у которых окна как черные норы. И это имей в виду. Для нас все доброе недостижимо, как вершины заснеженного Каратау. А тебе что, достаточно только разок позвонить».

Да, ладно, все это одни мечты. И так неплохо живется, не отстал он, Карабала-кузнец, как говорится, от кочевья. Что бы там ни было, но если Онбай станет начальником, ему же самому будет неплохо. Если Онбай попросит у тех, кто ему повстречается: «Кузнец Карабала был моим другом. Жив ли он?» — то и этим он будет премного доволен. Словом, пусть бы только не ходил его курдас таким потерянным, словно собака, проглотившая иголку...

При воспоминании об этом у него перед глазами предстал Онбай, которого он видел три дня назад, — кожа да кости. Лицо, бывшее некогда светло-пшеничного цвета, сегодня бледное, все в морщинах. Изогнутые брови поредели, волосинки торчат в разные стороны. Во впадины глаз словно засунули по бутылке. Смотрит злобно. Только ехидный, язвительный язык напоминает, что этот худой, словно скелет, человек, сидящий, укрыв плечи старым одеялом, и есть прежний Онбай.

Карабала ударил пятками в бока савраски. Должно сегодня повезти. Наверное, неспроста попалась черепашня травинка. Кто знает, может быть, увидев, что его желание исполнилось, сверстник, бедняга, еле волочащий свои кости, встанет на ноги.

Ближе к полудню показался и райцентр. Расспрашивая людей, сначала он нашел контору, в которую Онбай велел зайти в первую очередь. Сидевшая в передней комнате вертлявая молодуха, разговаривающая протяжно, просунула голову в кабинет бастыка. Тот сказал: «Пусть зайдет». На торе за сосновым столом невозмутимо сидел,

накинув на плечи пальто, широкоплечий, здоровенный смуглый человек с суховатым жилистым лицом. Спросил о делах, блеснув белым металлическим зубом. Выслушивая его, время от времени шуршал бумагой в плетеной из проволоки урне и поплеывал в бумажный кулек. Когда Карабала заканчивал рассказывать, по какому делу он пришел, железнозубый, словно желая выкрутить и вырвать из тела свою длинную шею, круто повернул голову в сторону и два раза задумчиво прошелся пальцами, туда и обратно, — начиная с подбородка до лба и со лба до подбородка. Затем, обнажив металлический зуб, усмехнулся. Карабала сидит, значит, и думает: «Да, так и говорили, — действительно начальник похож на резвую гончую, которая караулит у капкана».

— Знаю, уважаемый, — начало жилистое лицо. — Речь идет о сутяге Бисенове, так ведь? Здесь есть его письмо, в котором он обматерил всех нас подряд, начиная с седьмого колена дедов и прадедов и семидесяти семи проматерей. Только из-за этой бумаги надо бы его подольше помучить. Но раз пришли вы... Бумага, чтобы дать ему машину, получена. Но решение, чтобы выдать ему эту машину в середине этого года, в руках начальника другого учреждения. Если они дадут «добро», то мы готовы. Лицо у вас доброе, не такое, что у того сутяги, вам следует зайти в то учреждение, которое я подсказал.

Он искоса посмотрел на Карабалу, будто проверяя, ну как, мол, мое решение. Карабала неуклюже поднялся с места.

— Удачно ли перезимовал «Ушкын»? Как прошел окот? — спросило жилистое лицо.

— Слава Аллаху, неплохо.

Карабала вроде видел где-то этого с жилистым лицом и высоко торчащей шеей. Прикрывая за собой дверь, оглянулся еще раз, но не смог вспомнить.

Во втором учреждении людей оказалось больше, не то что в первом. По обеим сторонам длинной комнаты были поставлены в ряд стулья. На этих стульях сидели люди. Большинство из них водрузили перед собой на колени пухлые папки, не то что он, с пустыми рука-

ми. Похоже, бастык опаздывал, потому что молоденькая светлолицая девушка быстро отвечала по непрерывно звеневшим телефонам:

— Нет, еще не пришел. Людей на приеме много.

Каждый раз, когда поворачивается к телефону, она искоса окидывает взглядом комнату приемной. Молодые мужчины, сидящие чинно с пухлыми папками, поглядывают с интересом на девушку-секретаршу. Через некоторое время в дверях показался бастык. Это был тоненький, гладкий, смуглый, со строгим взглядом джигит. Скулы острые, блестят, словно лезвие ножа. Но ступает с важностью, будто тучный человек, еле несущий свое тело. Ни на кого не глядя, прошел к тору, к двери, обитой черным дерматином. Открывая дверь, повернулся к девушке-секретарше. Когда он что-то говорил ей, то его взгляд скользнул по Карабале, сидящему на стуле у порога. Приподняв жидкие брови, некоторое время смотрел удивленно. Потом его взгляд потеплел, и он кивнул головой старику.

— Айналайын, будь здоров, голубчик, — ласково ответил Карабала, скрипнув стулом под собой.

Сказать-то сказал, но тут же густо покраснел. Все люди оглянулись и посмотрели на него. Бастык зашел к себе в кабинет. Через непродолжительное время прозвенел звонок. Девушка-секретарша открыла дверь в кабинет бастыка. Потом, обернувшись, сказала:

— Аксакал, вас просят зайти.

Карабала, словно прося прощения у сидящих, бросая робкие взгляды на них, направился к бастыку.

Большой кабинет, в котором, как говорится, было достаточно места, чтобы пустить коня вскачь, был полон сверкающей мебели. Из-за большого стола на торе поспешно встал подвижный, узколицый, смуглый джигит, подобный ястребу, и быстро направился навстречу ему. Подошел и взял за руку. Ведя под руки, утянул к маленькому узкому столику, стоящему перед большим столом, и усадил в одно из кресел, стоящих по обеим его сторонам. Карабала, никогда ни на чем, кроме жестких стульев, не сидевший до этого, испуганно утонул в мягком кресле. Он тут же стянул со взмокшей головы тымак и бро-

сил перед собой на маленький столик. Смуглый джигит, похожий на ястреба, сидел молча, слушая посетителя. Что-то помечал в бумаге, лежащей перед ним. После того как старик закончил говорить, он нажал на кнопку, из-за двери показалась девушка-секретарша.

— Соедини меня сначала с Есенкуловым, затем с Жузбаевым.

— Хорошо.

Девушка-секретарша только закрыла за собой дверь, как прозвонил звонок. Смуглый начальник протянул руку к телефону.

— Здравствуйте. А... вот как. Тогда начинайте готовить бумаги. Что-нибудь придумаем. Хорошо.

У худого смуглого джигита, скулы которого туго обтянуты кожей, и слова все четкие. Только освободились его руки, как снова зазвонил телефон.

— А... здравствуйте... Те три машины остались же еще. Хорошо, что так. Одну из них отдадим инвалиду. Постановление, говорите... Видно будет. И передовиков не оставим с пустыми руками. Вы об этом не беспокойтесь.

Тот человек на другом телефоне оказался многословным. На лбу у смуглого появились и заиграли морщины.

— Первого пока нет. Я сам поговорю, когда приедет. Скажете, что я распорядился.

У бастыка лицо посуровело. Похоже, что привык добиваться своего. Время от времени кулаком тихонько ударяет по столу. Карабале было приятно видеть, как пепельница, в которой лежал окурок папиросы с белым хвостом, каждый раз подпрыгивала на столешнице. Наверное, то, что называет Онбай справедливостью, и есть прямота этого смуглого джигита, говорящего открыто и резко, повелительным тоном. Даже пепельница побаивается его. Переговорив, бастык повернулся к нему.

— Аксакал, идите в ту контору, где вы были до этого, и заберите там свои бумаги. Потом зайдите к товарищу Жузбаеву. Он решит ваш вопрос. Есть у вас еще какие-нибудь просьбы?

— Нет, айналайын. Большое-большое спасибо. Пусть все плохое обходит тебя стороной.

— И вам спасибо. В прошлом году вы успешно справились с нашим заданием. Мне было поручено возглавить установление памятника фронтовикам. Если бы не ваша помощь... мы чуть было не опозорились.

Теперь только понял Карабала. В прошлом году парторг не отставал от него, не успокоился, пока Карабала не смастерил блестящую железку. Наверное, он и говорит об этом. Смуглый бастык, поднявшись, за руку попрощался с ним.

Жузбаев оказался начальником торговли. Карабала думал, что в торговле работают одни юркие проныры, способные проскочить сквозь игольное ушко. Этот был важный, словно верблюд нар. Раздувающиеся ноздри, кудрявые волосы. Разговаривая, беспрестанно шевелит взад-вперед по столу обрубком руки, срезанной пулей.

— Итак, аксакал, эта машина нужна вам самому?

— Да нет. У меня есть один родственник инвалид. Он послал меня.

— Вот как! Вы только что были у председателя?

— Да, был.

— Нам в этом году еще не поступали машины из фонда для инвалидов. Это правда, что на базе стоят три машины. На бюро райкома вынесли решение, что их дадут тем, кто в этом году получит больше всех приплода от овцематок, а до этого нам было приказано не трогать их. Теперь вот, говорят, что надо отдать инвалиду. Завтра придет первый секретарь и даст мне жару, засунет, так сказать, обе мои ноги в один сапог. Это, конечно, к вам не имеет никакого отношения. Но как же быть?

— Не знаю, те ребята сказали, что вроде можно.

— Конечно, добро надо делать. Но ведь и закон надо соблюдать. Нельзя не уважать закон. Что же делать?

— Если это против закона...

— Нет, нет. Тут нет вашей вины.

— А... Ну как же быть?

Жузбаев оказался в затруднительном положении. Перерыв все на поверхности стола, стал рыться в задвижных ящичках. На-

шел какую-то напечатанную бумагу. Надев круглые, как шанырак, очки, прочитал. Затем постучал толстым уродливым пальцем по столу.

— Оказывается, не противоречит закону. Но ведь и решение бюро успели вынести... Вы, значит, из «Ушкына»?

— Да.

— Пасете скот?

— Я кузнец.

— Ах, так. Как вас зовут?

— Карабала.

— Как давно работаете кузнецом?

— Я родился там. С малых лет работаю с железом.

— Вы помните джут пятьдесят третьего?

— Конечно.

— Помните, как в марте на холме перед вашим аулом застряло на морозе много машин?

— А как же, еще как помню! Разве они не стояли, пока не растаяла мерзлая почва? У большинства из них был сломан карданный вал, и мне на целый месяц нашлась работа.

— Вот ведь как! Слышал, что в «Ушкыне» есть кузнец золотые руки. Оказывается, это вы.

Карабала покраснел. И Жузбаеву, заметившему его смущение, отчего-то стало неловко.

— Я тоже был в той суматохе. Сгрузили с машины весь груз, собрали верблюдов вашего аула, навьючили их и возили корм в соседний колхоз, где пали овцы.

— Е, а вы, оказывается, райисполком! Товарищ Жузбаев.

— В то время работал в райисполкоме.

Оба замолчали. Теперь только вспомнил Карабала этого беспокойного смуглого человека. В тот год зима была суровой. Вот-вот должна была наступить весна, но вдруг навалило снега. Начался падеж ослабшего за зиму скота. В ауле все заговорили, что сам товарищ Жузбаев едет, везет корм для скота и продукты для людей. Однажды

черная грядда с западной стороны аула наполнилась гулом. На голом холме, возле которого не было ни одного прикрытия или навеса, машины увязли в снегу. Жузбаев, возглавлявший караван машин, велел товарищу Онбаю собрать весь гужевой транспорт. Обходя все дома, искали вьючные седла. Два дня верхом на игреневом коне Жузбаев носился туда и обратно между гряддой и аулом. И сам не знал отдыха, и людям не давал покоя. Надев какой-то пестрый домотканый халат, подпоясавшись волосяной веревкой, помогал навьючивать груз не покладая рук. Затем, сев верхом на огромного нара, сам возглавил караван. И стар и млад аула долго еще вспоминали этого беспокойного человека, который, несмотря на то что был начальником, засучив рукава работал наравне с остальными. Говорили, что в тот раз он сильно рассердился на Онбая: «Хотя ты и крепко держишь свое хозяйство, но, оказывается, ты черствый, у тебя нет жалости к соседям».

Было много разговоров об этом человеке, который оказался и на словах, и на деле решительным, быстрым. Говорили, что потом его понизили в должности. Вот в какую контору, оказывается, он попал.

Седовласый, широкогрудый, с раздувающимися ноздрями смуглый человек посмотрел в окно и задумался.

— Ну, что же делать? Ладно. Раз пришли вы... А есть кто-нибудь, кто мог бы водить машину?

— У этого человека, инвалида, сын шофер.

— Тогда пусть приезжает и забирает. Оба, быстро поднявшись, попрощались за руку. — Как дела в этом году в «Ушкыне»?

— Зимой снега выпало достаточно.

— Тогда, значит, в этом году все пойдет неплохо.

Карабала, закончив дела в конторе, направлялся на окраину поселка, где оставил свою лошадь. Проходя мимо какого-то дома, где гремели посудой, он вспомнил, что не пообедал. А, наверное, это та чайхана, которую хвалил Онбай. Карабала только было рывком открыл дверь столовой, как оттуда завопила какая-то баба:

— Закончилось время! Перерыв. Приходите в пять.

— До пяти часов, наверное, я и до аула доеду.

— Пропусти. Оказывается, путник, — раздался оттуда еще один голос. Карабала прошел в столовую. Присел за стол у порога. К нему подошла худосочная бабенка с куриной грудью.

— Кайнага, что будете пить? Есть?

— Да хоть что-нибудь, голубушка, чтоб червяка заморить.

— Может быть, возьмете еще чего, чтобы появился аппетит?

— Е, айналайын, это бутылочка, что ли? Я не охотник до нее, милая.

У женщины с куриной грудью правый уголок рта дернулся криво. Вскоре она принесла и поставила перед ним алюминиевую чашку борща и второе блюдо с рисом, сверху которого возвышались горкой кусочки легкого, печени и еще что-то чернеющее. Затем, игриво покачивая бедрами, присоединилась к женщинам в белых халатах, шушукавшимся за столом в глубине комнаты. Там шушуканье заметно усилилось. Стоило рябой женщине, сидящей в центре, сказать что-то, наверное, очень забавное, как у сидящих к нему спиной женщин затряслись от смеха их толстые бока.

Карабала стал поспешно есть, чтобы побыстрее уйти. Вспотел, хотя ел давно остывшую еду. Одна-две упитанные мухи, сытые от одного только вылизывания множества блюд, садились поочередно ему на уши, но не кусали, только жужжали, словно хотели сказать: «Ну что ты так спешишь».

Карабала больше всего на свете не мог терпеть мух. Еще он не мог терпеть легкомысленных женщин, смеющихся при мужчинах. Когда-то давно, еще в тот раз в военкомате, он имел неприятности от одной зеленой мухи с мохнатыми лапами да от молодой женщины-врачихи. Военкомат, конечно, учреждение серьезное, но плохо, что, собрав здоровенных мужиков, заставляет раздеваться донага, и те стоят в чем мать родила. Люди стесняются друг друга, не знают, куда деваться от стыда, закрывают руками срам, а в это время в душную, провонявшую потом комнату заходят, стуча каблучками, женщины

в белых халатах. К ним в комнату тоже вошла молоденькая красивая женщина с изящной фигурой и молча присела к краешку стоявшего неподалеку неустойчиво покачивающегося стола.

Он стоял и про себя думал: «Боже мой, лучше бы поскорее погна-ли в окопы, над которыми свистят пули, чем стоять истуканом наги-шом перед этим белым ангелом».

Люди подходили один за другим. По мере приближения его оче-реди его начало трясти. Когда вдруг назвали его фамилию, ему по-казалось, что гром прогремел среди ясного неба, и он, семеня, при-близился у столу.

— Ага, уберите руку, — сказала женщина, обнажив в усмешке зубы.

У него пересохло во рту, он начал было:

— Милая, стыдно же...

Женщина нахмурилась.

Тут в окно влетела зеленокрылая муха, села прямо на его затылок, и это место начало зудеть. Он и так поворачивал голову, и этак, муха и не думала слетать. Тогда он, рассердившись, оторвал руку от срам-ного места и не как-нибудь, а со всего размаху ладонью шлепнул себя по шее.

Лукавая женщина в это время внимательнее всмотрелась в него. Затем отвернулась. Он видел ее затылок. Она тряслась от смеха. По-том села за стол — и давай открыто хохотать. Увидев, что она смеет-ся, голые джигиты, стоящие за ним в очереди, обрадовавшись такой возможности, стали гоготать во всю глотку.

Красивая молоденькая женщина, только что казавшаяся Караба-ле ангелом с белыми крыльями, теперь показалась ему сущей дьяво-лицей.

И в этой толпе женщин в столовой, смеющихся приглушенно, как ему показалось, находилась и та самая военкоматская женщина.

Наскоро доев еду, стоящую перед ним, он поднялся. Торопливо ступая, подошел к вешалке. Кинулся к двери, сунув в одни подмышки тымак, в другие — черный тулуп. Стоило дощатой двери хлопнуть по

косяку, как тех баб, что находились в глубине комнаты, прорвало от еле сдерживаемого смеха.

Чем дальше он отдалялся от этого проклятого дома с жужжащими мухами и смеющимися женщинами, тем более он успокаивался. Он запрыгнул на савраску, ждавшую его во дворе «Заготскота», и отправился восвояси. И только тогда, когда райцентр остался за черной грядой, Карабала возвеселился и запел:

— Е-е-ей! Рыжий мерин! Рыжий ме-е-рин...

При словах песни «девушка и джигит вдвоем собирали уголь...» он, прикрыв рот ладонью, широко зевнул, да так, что чуть скулы не треснули, и проговорил: «Ие, алла...»

Наверное, оттого, что впереди был родной аул, савраска прибавила ходу. Карабала, откинувшись, сидел на седле с низкой лукой. Время от времени приговаривал: «Басе, как удачно решилось это дело!» Теперь те трое начальников контор вовсе не казались ему такими уж чванливыми. Они внимательно его выслушали. Выполнили его просьбу. Двое из них, оказывается, знают его. Того, с железным зубом, жилистым лицом, Карабала, кажется, тоже знает. Погодика... Где же он видел его? На похоронах тещи ему вроде не попадался такой человек на глаза. И на тое свекра, когда тот брал себе токал, вроде тоже не было его. Или это был один из многих уполномоченных, прибывающих на взмыленных конях. Откуда ему запомнить их всех. Если некоторым из них не потребуются какие-либо железяки к машинам, им нет особого дела до кузнеца Карабалы. Постой... постой... В позапрошлом году несколько человек в брезентовых накидках заглянули к ночи. Не проходя на тор, попросили, умоляя: «Рессоры сломались. Агатай, помогите, пожалуйста». Они пришли в сумерках. Ушли под утро, когда в воздухе только-только начало сеять. Брезентовая машина. Похоже, что возвращались с охоты, брезент был выпачкан кровью, они, видимо, вытирали ее зеленой травой. Тогда, помнится, какой-то щербатый все возился с машиной, крутился возле нее. Наверное, это был тот самый. Похоже, вставил

зубы. Но, как бы там ни было, наконец-то исполнилось давнишнее желание бедняги Онбая, которое мучило, не давало ему покоя. Дело, которое не мог решить зубастый Онбай, столько раз ездивший в райцентр, обматеривший всех подряд до вспучивания их животов, сколько раз возвращавшийся с пустыми руками, оказалось для Карабалы сущей ерундой! А ведь ему связать два слова так тяжело, что рубашка взмокала от такой работы...

И все это, конечно, из-за чудодейственной силы той зеленой травки, тоненькой, как иголка, которая торчала во рту у черепахи. Не зря говорили предки! Не зря. Благо коснулось, наконец, Онбая. У него, наверное, сердце зайдет от радости, когда Карабала скоро вручит ему в руки разрешительный документ.

Отрывисто засмеется, наверное, и скажет: «Э, бедолага, и ты, оказывается, кое-что умеешь делать».

Пусть смеется. Пусть порадует бедняга Онбай...

Когда Карабала вошел в дом, в полутемной комнате не было слышно ни звука. На торе, подложив с двух сторон две подушки, расположился полулежа Онбай. Все остальные обитатели дома ходили на цыпочках, молча, словно они не живые существа, а едва заметные призраки.

В глазах ослабевшего, трясущегося Онбая, еле-еле прихлебывавшего чай, заискрилась лукавая улыбка. Показал на свободное место рядом с собой: «Проходи на тор». Карабала только преклонил колени и только хотел раскрыть рот, как Онбай, улыбаясь, сказал:

— Можешь не говорить, знаю все заранее. Сначала попей чаю.

Потом, шевеля усами, сам стал пить чай.

Карабала не мог сглотнуть, ничто не шло в горло. Не терпелось сообщить новость.

Онбай перевернул кесушку и, приподняв сползшее с плеч пестрое сатиновое одеяло, вновь укрылся и только тогда спросил вполне мирным голосом:

— Ну, как съездил? Как там бастыки, мать их, живы, здоровы?

— Да, кажется, здоровы.

— Наверное, встретили с распростертыми объятиями?

— Слава Аллаху...

— Ну да... Знаю я их.

Насыбай на ногте большого пальца Онбая, коснувшись было его носа, вернулся обратно.

— Что сказал тот вороватый гончий пес с железным зубом?

— Оказывается, приготовил бумаги для тебя.

Насмешливая ухмылка в глазах Онбая вмиг погасла. Но на концах изогнутых бровей все еще трепетало сомнительное удивление.

— И у щеголя бастыка был?

— Был.

— Что, все ныл, как овцематка, которая никак не может разродиться?

— Вовсе нет. Он сразу и решил все.

Теперь Онбай, выпрямившись, уставился на него пронзительным взглядом, словно желая гневно крикнуть: «Что это ты голову мне морочишь?»

— А что сказал тот здоровяк с обрубком? Вытер тебе рот сухой соломой?

— На базе, оказывается, было три машины. Сказал, чтобы одну из них забрали. Вот бумага.

Онбай осторожно раскрыл бумагу. Вынул из-под подушки очки, внимательно и не спеша читал. И так поворачивал бумагу, и этак. Покачал головой. Фыркнул. Наконец на губах вновь появилась улыбка.

— Смотри-ка, как жадные Шыгайбаи, жалеющие даже утреннюю росу отдать, стали щедрыми, стоило только пойти тебе!

Карабала чувствовал себя так, словно с его плеч свалился тяжелый груз. Ему стало совсем легко, на широком лбу выступил пот, и он только открыл было рот, чтобы рассказать про ту черепашью травинку, но, заметив, что лицо Онбая, серое, бледное, стало раздуваться, вспухать, краснеть, будто его обожгла крапива, — остановился.

Никому из домашних не было дела до хорошей вести, которую принес он, все они, вытаращив глаза, смотрели на тор.

АБИШ КЕКИЛБАЙУЛЫ

Онбай вдруг схватился за бок, словно туда ножом кольнули. Стал медленно приваливаться на пеструю подушку за спиной. Лицо, казалось, словно было облито холодным синим стеклом. Немного погодя он сказал слабым голосом:

— Хорошо. Спасибо. Теперь иди к себе домой.

Карабала встал с места. Надел тымак. Взял камчу. Подойдя к порогу, оглянулся. У Онбая был все тот же бледно-синюший вид. С правой стороны рта словно зацепилась тяжелая кривая усмешка.

Выйдя наружу, Карабала засунул руку за пазуху, чтобы проверить, на месте ли черепашья травинка. Тогда только он вспомнил о рецепте для лекарства. Взял за повод савраску и медленно направился к окраине аула. Наверное, это правда, что в темноте дорога кажется длинной. До дома, до которого, в общем-то, было рукой подать, теперь, казалось, было еще очень далеко.

Карабала шел и сокрушался, что второпях забыл купить лекарство для жены.

Перевод Анатолия Кима

Сабит Досанов

(род. в 1940 г.)



Окончил государственный университет имени Аль-Фараби. В 1985–1989 гг. работал в должности директора Казахского филиала Литфонда СССР; в 1991–1995 гг. — генеральным директором республиканского Центра народного творчества и культурного досуга, в 1996–1997 гг. — генеральным директором государственного издательства «Қайнар». Занимался преподавательской деятельностью в Академии искусств им. Т. Жүргенова.

Автор романов, повестей и рассказов, которые вошли в книги «Қайырлы таң» («Доброе утро», 1966); «Жанр тағдыры» («Жанр судьбы»); «Сексен бестің көктемі» («Весна восемьдесят пятого»); «Адаспандар, адамдар» («Не блуждайте, люди», 1999); «Тотем под чадрой»; «Цензор степного кургана». Наряду с этим изданы повесть «Қыран қалғымайды» («Орлы не дремлют», 1971); роман «Тау жолы» («Горная дорога», 1981, 2001). Моно-

графии «Қазына» («Казна», 1984); «Жүректің отын сөндіріме» («Не гаси огонь сердца», 1998); повесть «Белая аруана» (1998); «Аптаның сегізінші күні» («Восьмой день недели» — роман, повесть, пьеса, 2003); роман «Қылбұрау» (2003). Особняком стоит роман-эпопея «Жиырмасыншы ғасыр» («Двадцатый век»), воссоздающий литературные образы казахских просветителей-демократов XX в.: А. Букейханова, А. Байтұрсын-ұлы, М. Дулат-ұлы и др. (1998; 2018); издан на русском языке (Москва, 2003). В Москве выпущен однотомник избранных произведений (2002). В Алматы увидело свет двенадцатитомное собрание сочинений автора (2018).

Драмы «Дауыл» («Циклон»), «Ертең бюро» («Завтра бюро») поставлены на сцене Академического театра им. М. Ауэзова, а также в театрах Атырау, Жезказгана, Семей, Тараза, Бишкека.

Лауреат государственной премии Республики Казахстан. Заслуженный деятель Казахстана. Лауреат Международной премии им. М. Шолохова. Академик Академии педагогических и социальных наук РФ. Лауреат литературной премии Кыргызстана «Алтын қалам». Почетный гражданин г. Дунду (Африка), г. Костаная (Казахстан), районных центров Аксуат и Амангельды.

На обочине

I

Удушливый зной плыл по городу дымкой, окутывая все, что попало по пути. Он забивался в нос, обжигал грудь, заставляя ее ходить ходуном, но не давал такого чаемого живительного вдоха. Каждый новый глоток воздуха вместо облегчения вновь приносил лишь порцию жара. Ни ветерка, ни дождя... Уже месяц... Раньше времени пожелтели под палящим солнцем листья. Земля потрескалась, высохла и даже под деревьями казалась жухлой и безжизненной. Асфальт не выдерживал — ноги увязали в топком асфальтовом болоте. Красавец город у подножья Алатау стал покрываться слоем тяжелой серой пыли. Только ранним утром с гор тянуло еле ощущаемым свежим ветерком.

С утра пораньше, до начала липкой духоты, Айдын по обыкновению побежал к газетному киоску. Многолетняя привычка — начинать день с газет. Белокурая русская женщина в киоске хорошо его знала. У пенсионерки, несмотря на возраст, была отличная память. Знала даже, какие он покупает газеты. Не отходя далеко от киоска, он начал листать газеты, как вдруг услышал такой знакомый низкий, с особенной хрипотцой голос:

— Айдын!

Резко обернувшись, он не поверил своим глазам.

— Айдын, ты?!. Не узнал меня? — неуверенно сказал подошедший смуглый джигит среднего роста с кругленьким животиком. Лукаво прищуренные глаза изучающее глядели на Айдына.

— Почему же не узнал? Гафур! — искренне обрадовавшись встрече, Айдын протянул было руку, но, повинувшись импульсу, крепко обнял друга.

— Вот уж не ожидал!.. Пропал на долгие годы и вдруг объявился вот так, неожиданно! — kloкочущий голос Гафура уже привлекал внимание прохожих.

Айдын показал на стоящий рядом пятиэтажный дом.

— Что же мы тут-то стоим? Пошли ко мне домой?

Гафур сразу понял, что Айдын живет один. В квартире было чисто, даже слишком, но не было ощущения женской руки, того, что называется семейным уютом. От обшарпанных, когда-то выкрашенных в синюю краску стен, пустого серванта, по-армейски заправленной кровати веяло холостяцким духом.

— Извини... А где Рымжан и Айбар? Почему ты один?

— Я... потерял... и жену, и сына, — после недолгой паузы сказал Айдын, еле сдерживая слезы, навернувшиеся на глаза.

— Четыре года назад, — вздохнув, Айдын еле слышно добавил: — Автокатастрофа. Рымжан и Айбар поехали в Шымкент погостить. На Кордайском перевале автобус перевернулся, и оба погибли... — комок в горле не дал ему договорить.

Гафур дотронулся до руки друга.

— И с тех пор ты один? Не женился?

— Не хотел жениться... Ты же знаешь, как я любил Рымжан и как на ней женился... Ты, наверное, помнишь?.. — в голосе Айдына слышался упрек. — Ты же был на нашей свадьбе дружкой?

— Конечно помню! Я помню и грандиозные тои по случаю рождения Айбара и начала его школьной жизни...

— Айбар скончался сразу. А Рымжан умерла в районной больнице Георгиевки, куда ее привезли после аварии. Перед тем как закрыть глаза навеки, ее последними словами было: «Как трудно теперь будет Айдыну. Он во всем полагался на меня...»

Оба замолчали. Чай давно остыл, но Гафур, знавший толк в чае, любивший его хорошо заваренным и горячим, а потому всегда требовавший наливать его ровно на глоток, на доньшко, с деланным удовольствием пил холодный светленький чай из большой пиалы. — Да... А как с работой? Работаешь там же?

— Нет, попал под сокращение.

— Как это? Кто-кто, а ты не должен был попасть под сокращение! — Гафур от возмущения даже привстал.

Айдын невозмутимо кивнул головой:

— Ты думаешь?

— Ты и институт окончил с красным дипломом, ты и работал все время только в одном месте. Трудового стажа достаточно... Мы — совсем другое дело. Нет, что ни говори, у тебя светлая голова. Помню, при советской власти ты участвовал во Всесоюзном совещании изобретателей в Москве. Разве не так? Разве много в Казахстане таких талантливых инженеров, как ты?

— Остались те, кто пришел позже, а мы ушли, — Айдын, казалось, был абсолютно спокоен.

— Это же несправедливость. Тебе же далеко еще до пенсии?

— Боюсь, что я пенсии не дождусь, — тихо сказал Айдын. — Знающие люди говорят, что для начисления пенсии берется заработная плата последних пяти лет. А я сижу без работы уже два года. А до пенсии еще двенадцать лет.

— Тогда тебе надо браться за любую работу, не выбирая должность.

— А разве сейчас время выбирать должность? Работал в одном месте вахтером, недавно и этой работы лишился, — и на его лице появилась горькая усмешка: — Кому-то и эта работа оказалась нужной.

— Ладно! Не унывай!.. Тебя за бортом не оставим. Если найду работу, согласишься переехать в Астану? Можешь эту трехкомнатную квартиру поменять?

— Я не смогу оставить свою Рымжан и своего Айбара, — прервал друга Айдын. — Боюсь, меня понять трудно, но... — у Айдына перехватило дыхание.

Снова наступило молчание. Гафур начал собираться.

— Подумай, — сказал он уже не так настойчиво. — Я поищу тебе работу в Астане. В крайнем случае, обращусь к своему шефу.

— Подумаю, — Айдын дружески улыбнулся.

САБИТ ДОСАНОВ

— Приезжай в Астану, погости. Вот тебе мои координаты.

— О-хо! — воскликнул Айдын, взглянув на визитку Гафура. — И сотовый у тебя есть.

— Ой, не нужны мне ни эта визитка, ни сотовый. Это мой шеф делает все это... Да, кстати, а что с твоей диссертацией? Защитил?

— Не защитил.

— Почему? Ты же ее давно закончил?

— Ты знаешь, не люблю я всякие там звания и шумиху, — усмехнулся Айдын.

— Знаю, конечно. Но я от многих слышал, что как специалист ты за пояс заткнешь даже академиков. Если бы у меня были твои знания, я бы мир перевернул.

— Сейчас не знания, а деньги правят миром.

— Да! К сожалению, ты прав!.. Ладно, я пойду. Шеф будет беспокоиться.

— Сколько еще будешь в Алматы?

— Сегодня вечерним рейсом мы с шефом улетаем в Москву. Он отправляется дальше за рубеж на отдых. А я пригоню в Астану новый джип.

Айдын проводил Гафура до автобусной остановки. Утро было жаркое, небо ясное. Но погода в Алматы как настроение капризной женщины: сорок раз за короткий день может резко измениться. Откуда-то налетевшие тяжелые свинцовые тучи вдруг скрыли солнце. Духота усилилась, и даже ветер, неожиданно подувший с юго-запада, только поднял пыль с асфальта и обжег лицо. Тяжелые теплые капли дождя медленно застучали по земле...

Не зная, как толковать такую перемену погоды, Айдын долго стоял, погрузившись в раздумья.

II

Мучил ли его голод, или тяжелые, как тучи, мысли не давали покоя, наплывая одна на одну. А может, духота материализовалась и свинцом легла на грудь? Либо встреча с Гафуром так разбредила

душу? Он не смог в этом разобраться и не мог заснуть до глубокой ночи. «Боже, когда покинет меня черная полоса?.. Неужели, Господи, ты не видишь, как опутывает и сжимает меня тяжеленная цепь неприятностей?.. Помоги мне, Боже!.. Дай поддержку! Не отворачивайся от меня совсем! Ведь я всё старался делать по твоим заповедям!» Ворочаясь то в одну, то в другую сторону, он только под утро сомкнул глаза под скрип старой деревянной кровати и встал не отдохнувшим, а разбитым. От ярких лучей высоко поднявшегося солнца, проникших через дыры старой шторы, в маленькой комнате бетонного дома стало невыносимо жарко.

Еле передвигая почему-то трясущиеся ноги, шатаясь из стороны в сторону, он открыл окно. На улице было еще жарче, и горячий воздух с радостью ворвался внутрь, как будто сам скрываясь от обжигающих лучей. Сердце вновь защемило, глаза затуманились. Только теперь он вспомнил, что почти не ел уже два дня. Подумал о бульоне, который отложил на случай, если сильно проголодается. «Кажется, в холодильнике было еще что-то съедобное», — в надежде на это, опираясь дрожащими руками о стены, он дошел до кухни.

Открыл дверцу холодильника и остолбенел. Все полки были пусты. Лишь в углу он заметил кусочки хлеба и желтую кастрюлю с бурями от гари пятнами. Съел, подогрев, оставшийся на доньшке суп, сваренный неделю назад из костей, и отключил холодильник. «Надо его помыть и почистить, масла же нет, чтоб там хранить... Нет даже чашки молока к чаю... Наступит ли день, когда я смогу варить бульон из костей?.. Дома ничего не осталось на продажу. Может быть, кто-нибудь купит по дешевке этот холодильник?..»

Съев полтарелки супа и два куска хлеба, Айдын, немножко ожил. Выступила испарина. Теперь попить бы... Он не захотел использовать остаток заварки. Вскипятив воду, заварил высушенную вчера траву и выпил травяной чай. Чтобы заваренный из трав чай не горчил, он положил туда щепотку соли, так как сахара давно не было, и чай приобрел вкус заквашенного напитка коже.

Построенный сорок лет назад девятый микрорайон находился на окраине города — с ветреной стороны. Айдын жил на верхнем этаже обветшалой пятиэтажной «хрущобки». Войдя в гостиную, он обратил внимание на черное пятно величиной с пуговку на трубе, идущей от потолка к батареям. Только сейчас он вспомнил, что весной труба на этом месте прохудилась и оттуда капала вода. Он потрогал пятнышко и понял, что дырка сама собой закупорилась от образовавшейся накипи. «Бог на стороне бедных», — мелькнуло в голове.

Лежа на диване, Айдын теперь стал думать о завтрашнем дне и пище. «Вот и сегодня наступило, а что меня ждет завтра? — подумал он. — Вчера на черном рынке просидел с утра до вечера, разложив свое последнее богатство — антикварные книги, а заработал всего лишь триста тенге. Десять из них отдал за проезд. Газеты купил... На сколько же дней хватит оставшихся двухсот семидесяти? Люди такие странные!.. Не берут за цену дешевле в десять раз книги, которые при советской власти были в дефиците и продавались только из-под прилавков. Последняя надежда — тридцатитомный медицинский справочник. Если повезет, на вырученные деньги можно пожить некоторое время...»

Телевизор давно вышел из строя. Как назло и радио замолчало!.. На что теперь купить газеты? Айдын, чувствующий себя оставшимся на необитаемом острове, последние новости, происходящие в мире, стал узнавать у соседей. Стоячая вода, наполняющая пруд, по истечении времени становится затхлой. Так и человек, если он ни с кем не общается, со временем становится сам не свой. Неделями, месяцами не разговаривая ни с одной живой душой, Айдын чувствовал, что превращается в нелюдимого, замкнутого и угрюмого отшельника. Стали меняться даже характер и привычки, и сам себе он уже становился противен. Испугавшись этого, Айдын, для которого одиночество было страшнее бедности, стал по возможности больше общаться с соседями. Но порой бывало, что и словечком обмолвиться не с кем. Наступило время: «Ты — мне, я — тебе». И люди, видать, стали расчетливее в выборе собеседника. Пока только двое охотно разгова-

ривают с Айдыном. Один из них — пенсионер полковник, живущий напротив его квартиры, а другой — хозяин первой квартиры, журналист, оставшийся раньше времени безработным.

Когда жара спала и тени стали длиннее, Айдын вышел во двор, но там никого не было. Не зная, куда себя девать, и уже подумывая о том, не вернуться ли обратно, он внезапно увидел соседа, молодого татарина. Раньше тот здоровался только кивком головы, но сегодня поздоровался особенно вежливо, протягивая руку:

— Как вы, ипташ? Вас не было видно давно. Куда-то ездили?

— Куда мне ехать-то? Дома сижу.

— А я вас искал.

— Зачем? — удивился Айдын.

— Вы говорили, что сидите без работы. Я хотел вам помочь и поговорил со знакомыми насчет работы для вас.

— Да? — Айдын насторожился.

— Одна работа есть... Настоящая работа! Тяжеловато, но плата немалая, — он хитровато улыбнулся.

Айдын нетерпеливо прервал соседа:

— Рафикжан, что это за работа, скажи наконец!

— Вы же хорошо водите машину? Завтра утром ждите здесь. Водительские права и паспорт возьмите с собой, и...

— Потом? — Айдыну поскорее хотелось узнать, что это за работа.

— Потом я познакомлю вас со своими джигитами. Их шестеро братьев. Вы будете седьмым. Полетите в Объединенные Арабские Эмираты.

— Зачем? — голос Айдына сник. Он понимал, что за границу нужно ехать с деньгами.

— Они бизнесмены. Занимаются торговлей автомобилями. Там они купят несколько иномарок. Вы просто вместе с ними пригоните одну из этих машин.

— На какое время едем?

— Каждая поездка длится семь или десять дней. За каждый день заплатят сто долларов. Авиабилет, проживание, даже питание они берут на себя.

— Надо же! Отличная работа, — сказал Айдын. Сердце его чуть не выскочило из груди от радости: «Бог не оставил меня! Не зря я надеялся!!!»

— Говорят: «Ради соседа жертвуй и намазом». Я постарался для вас и нашел эту работу, — Рафик самодовольно улыбнулся.

— Ой, Рафикжан, никогда не забуду твою доброту. Спасибо, айналайын.

— Одного «Спасибо» недостаточно. Хорошо обмоете, когда вернетесь.

Айдын понял намек и рассмеялся:

— Конечно, конечно, обмоем!

— Хорошо, до завтра.

Голубые глаза Рафика радостно засверкали, щеки на рыжем толстом лице порозовели, и он быстро удалился. «Бог мне устроил эту встречу. Надо же, сон это или явь?» — Айдын потер глаза. И, убедившись, что это не сон, он долго стоял перед дверью, постепенно приходя в себя.

III

Погрузив на паром купленные в Дубае машины, они доставили их в Иран. На следующий день с утренней прохладой двинулись в путь. Шестеро водителей сели за рули шести автомобилей, и машины помчались по гладкой асфальтированной дороге. Один из шестерых — Айдын. Седьмой джигит, их руководитель, устроился на заднем сиденье передней машины.

Выехав из Бандрабата — портового города Ирана, они остановились на короткое время, поспешно перекусили. За обедом руководитель объяснил дальнейший путь: «Проехав тысячу семьсот километров, мы прибудем в село Сирак на границе Ирана с Туркменистаном, — сказал он. — Затем, через города Мары, Чарджоу, доедем до границы Узбекистана. Следующая остановка — в селе Фарат Узбекистана. Дальше будут Бухара, Навои и, наконец, родной Казахстан. Жара стоит, дорога трудная!.. Но до Сирака останавливаться

не будем!.. Кто устанет — скажите, не стесняйтесь!.. Я сам подменю, дам передохнуть. Давайте, джигиты, по коням!»

После этого они завели машины и поехали. Айдыну было поручено вести «Ауди», пробег которой всего два года. Со стороны посмотришь — как новая. Салоны чистые, будто только с конвейера завода. И мотор безупречен. И вправду, новая машина как хороший конь. Несмотря на жару, Айдын не чувствовал усталости. Наоборот, с приподнятым настроением он нажимал на газ. Мысли его мчались в голове быстрее машины. Он представил себе зеленые бумажки, которые он получит по приезду в Алматы. «Избавлюсь и от замучившего голода, и от угнетавшей бедности». Мечты взлетели к небесам. Сердце выпрыгивало от радости.

«Какая природа! Такая разная! От тропической зелени до желтой пустыни!.. Но все равно настолько красивая везде, что глаз радуется! Боже, спасибо тебе за все!» Впервые за последние годы захотелось петь. Любуясь и бросая взгляды по сторонам, он запел «Хусни-Хорлан» Естая. Рымжан любила слушать эту песню. Конечно, он не певец, но голос его был приятен. В те годы, когда еще Рымжан была жива, он не раз пел на вечеринках. Да, было беззаботное время, когда не думаешь о завтрашнем дне, о том, что нечего будет есть или надеть. Когда Рымжан и Айбар были живы, и Айдын был самым счастливым человеком! Но жизнь его разделилась на до... и после... Мир обманчив!.. Не успел и глазом моргнуть, и эта жизнь прошла так быстро, и началось просто существование... Теперь сердце ноет, тоска сжимает по безвозвратно ушедшему счастью. Но продолжать существование приходится...

Добрались они в Фарат поздно вечером и остановились в доме одного узбека. Перед тем как лечь спать, их собрал руководитель:

— Джигиты, вы устали с дороги. Осталось немного... Теперь хорошенько отдохните. Я сам разбужу вас утром.

После его слов Айдын крепко заснул. Проснувшись утром, он обнаружил, что нет ни машин, ни спутников. Стал спрашивать у хозяина, а тот начал причитать, как будто оплакивает умершего:

— Ой-бай-ау! Они оказались настоящими мошенниками. Мало того, что не заплатили за вчерашний плов и ночлег, они у меня забрали два тюка ткани. Мы шили из этой ткани одежду, и так сводили концы с концами. Что теперь будем делать?

— Машина? У вас есть машина? — Айдын ничего не мог понять: «Ведь хорошие парни! Не могут они так поступить!..»

— Да, есть машина. Но все бесполезно — их не догнать!..

— А если догоним?

«Нельзя смиряться, надо действовать», — стучало в голове.

— Это невозможно. Если даже догоним, мы ничего от них не добьемся. Свои казахи тебя же и утробят в степи.

— Что теперь будем делать?

— Что делать?! Как-нибудь прокормимся. А ты что будешь делать? Вернись на родину, пока цел.

— Как я доберусь до родины, если карман пуст?

— В таком случае, найди здесь какую-нибудь временную работу и заработай на дорогу.

— У меня нет документов, — с ужасом вдруг вспомнил Айдын. — Руководитель забрал у всех документы, сказав, что лучше их держать в одних руках.

— Пропал ты, парень.

— Да, пропал окончательно! — он произнес эти слова, даже не вдаваясь в их смысл.

Безмерность человеческой подлости и предательства потрясли его. Он ощутил боль. Боль жгучую, бесконечную, всеобъемлющую! Она пронзила его насквозь, рвала душу, жгла нутро. Почти потеряв рассудок, он некоторое время сидел неподвижно. В глазах потемнело, он ничего не видел вокруг. Когда судьба хочет нанести удар, она бьет наотмашь, неистово. Придя в себя, оглянулся по сторонам, старика узбека давно и след простыл. Со слабой надеждой он потянул ручку ворот дома, где он ночевал. Ворота не открывались. Нажал на кнопку звонка. Никто не ответил. Не зная, что делать, он поплелся в неизвестном направлении.

IV

Когда, весь исхудавший, потерянный, Айдын добрался до Алматы, прошло уже три месяца. А тут перед квартирой, где он прожил столько лет, его ожидала еще одна беда. Деревянную дверь заменили железной. Вместо одного замка врезаны два. Не понимая ничего, Айдын нажал на кнопку. Дверь с железной задвижкой приоткрылась.

— Вам кого? — спросил толстощекий парень с растрепанными волосами.

— Откройте дверь, — сказал Айдын. — Это моя квартира.

— Вы с своим уме?.. Убирайтесь немедленно! Не то позову полицию!.. — дверь закрылась перед носом.

Айдын почувствовал неладное, сердце забилося, кровь вскипела, и он прошел к тому соседу-татарину. Дверь открыл сам Рафик. Айдын пожаловался, что его квартирой завладели чужие люди.

— Да, — невозмутимо сказал Рафик. — После вашего отъезда пришли какие-то люди и начали делать капитальный ремонт. Недавно заселились. Я спросил, что да как, они ответили: «Мы купили эту квартиру».

— Что мне делать?

— Идите в милицию.

По совету Рафика Айдын пришел в отделение милиции. Спасибо молодому милиционеру, которого Айдын привел сюда, и тот при нем стал допрашивать этого толстяка с большой башкой. К сожалению, документы оказались в полном порядке. Потом они вдвоем пришли в КСК. И там документы оформлены должным образом.

Эти документы подтверждали, что Айдын через маклера продал свою квартиру за 3000 долларов.

— Аксакал, извините, я ничем не могу помочь, — сказав это, молодой милиционер пошел своей дорогой.

«На бедного Макара все шишки валятся», «Беда одна не приходит», подумал Айдын. Разум отказывался понимать: «Не может быть!!! Неужели я останусь на улице?.. Кто я теперь?.. Нет предела людской бесчеловечности! И Бога не боятся! Почему?! Почему

это случилось именно со мной? За что? О Всевышний Боже, почему ты меня так наказываешь? Что плохого я тебе сделал? Неужели ты можешь оставить человека в такой ситуации?.. Неужели я в чем-то провинился, что мне нет прощения? За что?.. За что?..» От тяжелых мыслей у него голова закружилась, глаза затуманились. Коленки дрожали, еле передвигая ноги, он добрался до скамейки и опустился без сил.

Солнце садилось...

V

С утра пораньше разбегаются они в разные стороны и собираются лишь вечером. Полный интернационал, представители разных народов, эта группа была очень колоритна. Иван, вечно пьяный, с сизо-красным огромным носом, — явный лидер сборища, русский. Его правая рука — коренастый, слепой на левый глаз татарин Шавхат. Среднего роста, весь в утрях синюшного оттенка — Тохтахун-уйгур. Низенький коренастый Пак — кореец. Худощавый, мосластый болтун Юлдаш — узбек. Самый высокий, длинноногий, получивший из-за худобы прозвище «Антенна», Тимофей — украинец. Вот с ними и обитал когда-то светлолицый Айдын.

Их нынешнее жилище — небольшой подвал одного из домов в микрорайоне, который раньше использовали как склад. Своих друзей, ночевавших раньше на крышах домов или в подземных канализационных люках, сюда привел Шавхат.

— Собака с нюхом, — сказал тогда Иван Шафхату. — Чего ты только не находишь! Если бы не ты, эта шваль никогда бы не нашла такой хаты.

Иван смачно харкнул. Харчок пролетел через голову Айдына, сидящего напротив.

— Правильно говорит Князек, — поддакнул Юлдаш, привыкший поддакивать главарю. — Разве найдешь угол лучше этого.

— На хрена нам лучше?

— Почему?

— Не дадут нам жить в лучшем.

— Да, это правда.

— Коммерсанты отберут.

— Хватит! Заткнитесь! Баста!.. — сказал Иван, его лицо стало чернее тучи.

Сборище, гудевшее, как улей, сразу замолчало.

У этой группы людей, которую народ называет «бомжи», есть свои неписанные законы. Зная, что пропадут в одиночку, они в последнее время стали жить общиной. Днем обшаривают все уголки полуторамиллионного города, а вечером собираются в этом подвале. Для бездомных бродяг это жилище не хуже ханского дворца.

Каждодневный ритм их жизни и сегодня не нарушился. С наступлением вечера, в сумерках, один за другим они стали возвращаться сюда, к себе «домой».

— Эй, Алик, зажги свечу, — приказал сидевшему ниже казаху Тохтахун, громко высморкавшись, зажимая ноздри короткими толстыми пальцами.

— Меня не Алик зовут, а Айдын, — буркнул тот.

— Заткнись! Твою мать!.. Князек идет, и если не будет света, он покажет тебе, где раки зимуют! Имя свое вообще забудешь! — угрожающе сказал Тохтахун.

Только Айдын успел зажечь свечу, вошел Иван, потирая указательным пальцем свой горбатый нос.

— Как вы тут, соколы мои, все в сборе?

«Да, сегодня у Князька настроение хорошее, — подумал Айдын. — У него привычка: если удастся выпить, начинает называть нас “соколы мои”, а если не повезет с выпивкой, тогда начинает кричать, обзывая “собаками-свиньями”».

— Все в сборе, — сказал Шавхат, облизывая большим языком, всегда не вмещающимся во рту, потрескавшиеся губы.

— Ну, что добыли?.. Бросай в общак на середку!.. Сядем!.. Антенна, там кран как бы не вышибло?.. Ты же сантехник?! — Иван громко и ехидно расхохотался: — Не бомбанет?..

— Да, я работал в КСК сантехником, — Тимофей приосанился. — Не бойсь! Не бомбанет!..

— Че же ты ушел?

— Платили копейки, да и то не вовремя!.. Я и взял пару счетчиков, загнал их... Ну, и дали мне четыре года. От звонка до звонка... Жена, стерва, продала дом, нашла хахаля и укатила в другой город. Так и стал бичевать...

— А я не нашел работу в Татарстане, приехал в Казахстан. Мне говорили, что здесь заработать можно... — поддержал разговор Шавхат. — Вот и верь кому... Правда, в первый год удалось сесть за руль «Камаза». В Китай цветной металл возили. Но выдоили все проклятые таможенники, и пошло все прахом — и работу, и документы потерял.

— Значит, бизнес хотел сделать? — Пак хмыкнул. — Я тоже занимался бизнесом, даже отдал дом под залог. Дело прогорело, и дом мой — коту под хвост!.. Вернее, одному хмырю! Он и бабу мою прибрал!.. Да!.. Бабы все стервы! Им только деньги нужны!..

Юлдаш поддакнул:

— Эти колбиты правильно говорят, — показывая на Айдына указательным пальцем. — «Не надейся на жену и коня». Я вернулся из Сибири, а моя лежит с любовником. Оба голенькие в спальне.

— А че потом? — спросил Тимофей, брызгая слюной.

— Эй, козел, не перебивай, — набросился на него Шавхат.

— Какой мужик потерпит такое унижение, — продолжил Юлдаш. — Я за нож, хотел их обоих зарезать. Но эта стерва, шустрая, выбежала, спряталась в соседской квартире. А тот ублюдок, ее любовник, коньки и откинул. И меня за решетку в тюрьгу упекли...

— А зачем ты ездил в Сибирь? — спросил Пак.

— О, безмозглый, как не можешь понять? Ездил зелень продавать.

— Что скрывать, а я пострадал от водки, — сказал Тохтахун. — Не могу без нее, родимой!..

— Князек, а ты сам... — Тимофей приксуил язык.

— Ты че ж, допрос с меня снимаешь?! Много хочешь знать!.. — рыкнул Иван.

— Кнезек, у казахов есть одна пословица: «Если народ пожелает, то хан и верблюда зарежет», — сказал Шавхат, который был у Ивана за подручного, позволяя иногда себе вольности.

Подогретому крепкой водичкой Ивану понравилось слово «хан».

— Мать вашу!... Если хотите знать, чего мне не рассказать-то, — сказал он, поглаживая двумя пальцами горбинку носа. — Будь я трижды проклят!!! Век воли не видать!!! Моя жизнь похожа на судьбу этого Лопуха. Водка — мой друг и мой враг.

Зная, что «Лопух» — прозвище Тохтахуна, остальные теперь поняли, почему Иван опекает его.

— Ладно, хватит на сегодня. Отбой! — раздраженно сказал Иван.

В тот же миг все попадали на сено, тряпье, не раздеваясь.

Вскоре слышно стало, как, соревнуясь друг с другом, храпят бедные бродяги, оставляя позади еще один день.

В этом логове Айдын находился еще два месяца как бедный родственник. Среди тех, кто сильнее его, ему пришлось быть тише воды, ниже травы. Но все равно и эта компания его не приняла, не смог он там прижиться. В конце концов, его выгнали.

И если раньше было только мучение, то теперь жизнь превратилась в ад.

Однажды он нашел кошелек. Нетерпеливо открыл и не поверил своим глазам, увидев совершенно новые пятисотки. От счастья, обрушившегося на его голову, у него чуть не закружилась голова. Придя в себя, он посчитал деньги — оказалось пять тысяч тенге! Давно не видевший горячую еду, он почти бегом направился к столовой напротив, уже ощущая вкус чего-то особенного. В это время его догнали двое бродяг, у которых на плечах были пестрые китайские сумки.

— Эй, ты, козел, — сказал синеглазый наглец, приближаясь к нему. — Отдай деньги!

— Какие деньги? — сказал Айдын, засуетившись.

— Мы видели, как ты нашел деньги по дороге, — преградил Айдыну дорогу второй.

Айдын побежал. Двое громил мигом настигли его и вцепились намертво. Как он ни сопротивлялся, силы были неравными. Свалив Айдына с ног, они стали избивать его. Но Айдын все равно не выпускал кошелька из рук, который держал мертвой хваткой. Оба хулигана не могли разжать его пальцы. И вдруг резкая боль заставила разжать руки. Острым лезвием они резанули ему по пальцам... Заполучив кошелек, набитый деньгами, оба растворились в толпе... И никто не пришел на помощь! Никто даже и не пытался вмешаться...

Помыв в арыке окровавленную руку, Айдын упал под высоким тополем во дворе. В это время наступила темнота, и люди уже ложились спать. Но Айдын долго не мог уснуть. Все мытарства, издевательства, которые ему пришлось пережить в последние месяцы, проходили перед ним. Он вспоминал, как стоял вместе с безработными на улице Сейфуллина, перед тем как присоединиться к бомжам, и как его оттуда прогнали с шумом, натравив собаку.

Месяц назад он нашел в мусорном ящике жестяную банку и обрадовался своей находке, как маленький ребенок. Но и эта радость не была долгой. Быстро открыв банку с надписью «Паштет», он немножко успокоил свой желудок, но потом чуть не сдох от отравления...

И после этого он немало повидал. Однажды среди страшной ненастной ночи, когда, как говорят, «хороший хозяин и собаку из дома не выпустит», его разбудили пьяные, возвращавшиеся из гостей, пиная ногами.

— Ах, мерзавец, вставай и уходи, — сказал косоглазый толстый казах, подойдя вплотную. Откидывая назад волосы, падавшие на глаза, навис над ним и сыпал угрозами.

— Агатай, дайте мне поспать тут до утра.

— Уходи немедленно! Уходи, я говорю! Испачкаешь подъезд!

Выходя из подъезда, он услышал слова женщины, которая была вместе с косоглазым казахом:

— Тьфу, какой вонючий этот бомж!

Железная дверь захлопнулась. Обуреваемый сном, Айдын постелил грязную газету на земле недалеко от гаража во дворе и заснул.

В тот день в обед Айдын, копаясь в мусорном баке, собирал бутылки. Услышал позади себя знакомый голос женщины. Он не посмел прямо посмотреть, бросил взгляд краешком глаза и сразу узнал: это была Нагима, подруга Рымжан, с которой она вместе училась в институте. Айдын не мог поднять головы, пока она далеко не отошла. Так он долго стоял, как страус, что прячет голову в песок. Вонь из мусорного ящика и раньше ему была знакома, но сегодня он ее особенно остро чувствовал, и его тошнило. Глядя на свой старый пиджак и грязные брюки с дырками на колене, проведя потрескавшимися ладонями по небритой щеке, он почувствовал себя загнанным зверем. Все вокруг обложено красными флажками, и нет пути, и некуда больше бежать. Повсюду дула ружей и злые прищуренные взгляды сквозь прицелы, и оттуда летит шквал убивающих наповал пуль.

Презирая себя, он проклинал свою несчастную судьбу. Хотелось плакать, но не было слез.

VI

Уже год, как Айдын принял статус «бомжа», стал бродягой, но об этом он вспомнил только сейчас, когда наступила холодная осень. Говорят: «Человек через три дня и к могиле привыкает», — и это правда. Оказывается, и к собачьему бытию, казавшемуся вначале очень трудным, он тоже привык постепенно. Терпел голод и всяческие унижения. Но все равно не хотел расстаться с этой проклятой жизнью и жил, как мог. Теперь же она начала надоедать...

Понимая, что суровая жизнь его не пощадит, он терзался все больше и больше. Сердце ныло, душа плакала кровавыми слезами. «Кому я нужен на этом свете? Я уйду — и никто этого не заметит... Может, даже чище будет на Земле, меньше грязи!.. Никчемный я человек оказался, никому не нужный и никого теплом не одаривший. Каждая букашка имеет свою норку, свое обиталище, свое потом-

ство... А что я оставлю в этой жизни, каков смысл моего существования? Никакого! И все тут! Хватит просто существовать! Хватит! Надо уходить, пока я еще человек!!! Сколько же можно терпеть эту грязь и унижения. Лучше умереть, чем терпеть все это!!!» — думал он. С этого дня Айдына не оставляла навязчивая мысль: «Когда и как умереть?» — и эта мысль начала его одолевать.

Раньше, особенно в первые годы совместной жизни с Рымжан, Айдын страшно боялся смерти. А с тех пор, как потерял свою Рымжан и своего Айбара, он стал смело смотреть смерти в глаза и перестал ее бояться. А в последнее время мысль: «Смерть лучше, чем это проклятая собачья жизнь», — начала целиком подчинять его себе.

Кто знает, может быть, под влиянием этой мысли он видел Рымжан во сне. Как и прежде, во времена своих счастливых дней, они гуляли в Медео. Айдын хотел обнять и поцеловать Рымжан, но она убежала. Айдын побежал за ней. Они шли по грязной воде. Через некоторое время, обойдя Коктюбе, подошли к Кенсаю. Дойдя до крайней могилы, Рымжан упала. Айдын хотел поднять Рымжан — и в это время проснулся. Правая нога сильно болела. Он выбежал на улицу. Присмотревшись, увидел, что на правой голени появилась глубокая, с куриное яйцо, рана. Он понял, что это крыса откусила кусок плоти с его ноги.

Едва ступая на больную ногу, Айдын сел на скамейку во дворе. Не зная, что делать и откуда ждать помощи, он огляделся по сторонам. Увидел газету под ногами. Неохотно взял газету в руки. Это был номер «Алматы акшамы» от пятого мая двухтысячного года. Он без интереса просмотрел первые две страницы, и его взгляд задержался на короткой статье: «Бродячие бомжи». Начал читать: «В настоящее время много стало бомжей без жилья, без средств к существованию и работы. Не все эти крепкие мужики — алкоголики или наркоманы. Они отстранены от общества в связи с тяжелыми реалиями социального бытия. Из-за отсутствия жилья они вынуждены жить в подвалах, на крышах и влачить жалкое существование. В нашем обществе не хватает социальной заботы и сострадания к таким людям. Беря во

внимание это, профессор Ярославского университета имени П. Демидова в России Федор Завьялов и кандидат экономических наук Елена Спиридонова взялись изучить проблему бомжей. В результате их кропотливого труда отыскивались родственники у 83 процентов, родители — у 27 процентов, братья-сестры — у 64 процентов, дети — у 54 процентов бомжей. Из этого следует, что у людей не хватает благородства. Как определило исследование, у многих бомжей есть образование, они могут устроиться на работу на любое предприятие водителями, машинистами, слесарями, операторами, токарями, электриками. Хотят они жить, как нормальные люди, но из-за неимения жилья не прописаны нигде. А причина лишения жилья — судимость. А на что они живут: 43 процента из них — обходятся случайными заработками, остальные собирают бутылки, металлолом, сырье, а в летнее время торгуют украденными овощами-фруктами. Из числа бродяг только пятая часть получает пенсию по возрасту или инвалидности. Их доход, добываемый с трудом, уходит на питание, выпивку и сигареты. Помимо этого, сколько еще нужно на лекарства, одежду, мыло? Что хорошо: выявлено, что бомжи тратят 17 процентов дохода на газеты и журналы! И на том спасибо!»

Айдын положил газету на скамейку, посмотрел по сторонам. Утро давно наступило, но никого еще не видно во дворе. Когда он читал газету, вроде нога не болела, а сейчас боль усилилась.

Айдын некоторое время сидел в раздумье. Лицо его окаменело. Он вынул из кармана расческу, причесал волосы и торчащую на щеках щетину. Посмотрел вокруг и решительно вытащил нож, который держал в кармане. Сильная его рука не промахнулась. Засверкавшее в лучах только что поднявшегося солнца острие стального ножа вонзилось в мягкое тело. Закрыв глаза, Айдын острым лезвием ножа вспорол себе живот...

Айдын прикрыл руками вываливающиеся кишки и стал медленно оседать. Глаза полузакрылись, на губах выступила пена. В этот миг только что спрятавшееся за тучами солнце выглянуло вновь, и вокруг стало светло. Боль ушла... Перед взором Айдына появился ос-

Савит Досанов

лепительно сияющий мираж: из прозрачной дымки медленно выплывал белый лебедь. Оплакивая свою половину, он летел сюда. Печальная мелодия — то ли стенания, то ли тихий плач. Этот лебедь вскоре обратился в Рымжан, одетую в длинное белое платье. Айдын хотел обнять свою любимую и подался вперед, но упал. Взмахнув крыльями, от которых повеяло прохладой, Рымжан улыбнулась ему. Ее чарующая улыбка наполнила его необыкновенной радостью, несказанным счастьем и таким долгожданным покоем. Все его черные дни и ночи, принесшие столько горя, остались позади.

Внезапно Айдын поднялся и наконец прикоснулся к Рымжан. Тепло его стало легким — и он растворился в сияющем блеске миража.

А жизнь на земле, где не нашлось ему места и потому она отправила его на небеса, как ни в чем не бывало, продолжалась. И обманчивая ее красота сверкала, и светило солнце, и восходила луна, и день сменялся ночью.

Такая короткая быстротечная жизнь со своими нескончаемыми заботами...

Перевод Куралай Аккошкаровой

Мухтар Мағауин

(род. в 1940 г.)



М. Мағауин известен не только как писатель, создающий свои произведения в разных жанрах, но и как литературовед, критик, публицист, историк. В 1962 г. он окончил филологический факультет Казахского государственного университета, в 1965 — аспирантуру. Кандидат филологических наук. Первое опубликованное произведение — рассказ под названием «Кешқұрым» («Вечером»; журнал «Жұлдыз», 1964). Первый сборник рассказов и повестей «Ақша қар» («Снеговик») увидел свет в 1969 г., а первый роман «Көк мұнар» («Голубая башня») — в 1972 г. В последующие годы были написаны и изданы несколько книг: «Біратаның балалары» («Семья»), «Қияндағы қыстау» («Далекая зимовка»), «Көк кептер» («Голуби»), «Құмырысқа қырғыны» («Смерть муравья»), «Қыпшақ аруы» («Кипчакская девушка»), «Кесік бас, тірі тұлып» («Чучело») — и другие повести и рассказы; исторический роман-диалогия «Аласапы-

ран» («Трудное время»), романы «Шакан шері» («Тоска Шакана»), «Сары қазақ» («Рыжий»), «Мен» («Я»), «Жармақ» («Жармак»), которые признаны лучшими образцами современной казахской прозы. Его монография «Қобыз сарыны» («Мелодии кобыза», 1968), в которой исследовалось творчество поэтов эпохи Казахского ханства (XV–XVIII вв.), ознаменовала его обращение к изучению казахской литературы и истории. В процессе этих исследований были изданы антологии «Алдаспан» («Лук»), «Бес ғасыр жырлайды» («Говорят пять столетий») и другие. Изданная в 1995 г. книга «Қазақ тарихының әліппесі» («Азбука казахской истории») раскрыла многие страницы казахской истории.

В 2002 г. было издано собрание сочинений писателя в тринадцати томах. Позже, в течение нескольких лет (2011–2017), вышло в свет состоящее из четырех книг историко-документальное исследование «Шыңғыс хан» («Чингисхан»). М. Мағауин перевел на казахский язык произведения С. Моэма, Г. Хаггарда, Н. Погодина. Его произведения также переведены на несколько иностранных языков. Является лауреатом Государственной премии Казахской ССР имени Абая (1984). Обладатель Международной премии Турецкой республики «За заслуги перед тюркским миром» (1997), независимой премии меценатов Казахстана «Тарлан» (2002). Народный писатель Казахстана.

Гибель борзого

1

Под конец он совсем обессилел. И все-таки дважды — сначала с одной стороны, потом с другой — подобрался к холмику, волоча по земле истощенное, налитое болью тело и каждый раз принюхиваясь заново. Холмик был пологий, оглаженный с боков степными ветрами и припорошенный свежим, нетронутой белизны снегом. Белый, безмолвный Холмик... Веяло от него горьким одиночеством и тоской. Летом, когда снег был еще рыхлым, здесь и пахло иначе. Что-то знакомое, доброе чулось в том запахе, — так, по крайней мере, борзому казалось. В ту пору он прибегал сюда часто. И все бродил вокруг, тычась носом в желтоватую, перемешанную с мелкими камешками землю. Запах, который он выделял, был слаб и смутен. Запах — не из приятных. Так же пахло от лис дня через два-три после того, как, содрав шкуру, их забрасывали в степь, подальше от жилья. В смердящих лисьих тушках копошились червячки, муравьи, жирные, ленивые мухи... Тазы¹ был брезглив, тот запах вызывал в нем тошноту. Но здесь, у холмика, он ощущал другое. К запаху гниющего мяса примешивался явно улавливаемый чуткими ноздрями запах хозяина. Он лежит в этой земле! Трудно представить, но это так. Он знает, он видел все своими глазами...

Борзой почувствовал облегчение. Хозяин тут, рядом... И вот-вот проснется. Быть может, завтра. Сколько ему еще лежать?.. Но надежда, почти уверенность, сменилась тревогой. Вдруг он уже встал

¹ Тазы — среднеазиатская борзая.

и ушел? И сидит дома, как раньше?.. Нет. Снег выпал только нынешней ночью, на нем не видно никаких следов. Значит, он здесь.

Напрягшись всем телом, борзой принялся здоровой лапой разгребать холмик у основания. Под слоем пушистого снега показалась земля. Не податливая, сырая, исходящая густым и теплым живым духом, а застарелая, твердая, какая бывает у входа в опустевшие звериные норы. Слежалась, вымерзла и сделалась как камень. Когти ее не брали, только царапали. Борзой остановился, замер, всматриваясь в продолговатый холмик. Холодный. Недвижимый. Похожий на черный валун, вросший в землю... Нет, не похожий. Там, в глубине, лежит хозяин. Его хозяин лежит под этим холмиком!

Он повернул голову, бросил взгляд в низину. На овраг, заросший кустарником. У его начала, в узкой расщелине, летом бьет ледяная родниковая струя. Зеленой травой покрывается тогда дно раскидистого оврага, такой высокой, что едва виднеются в ней спины жеребят-стригунков. Но сейчас и овраг, и то место над ним, где становился на летовку аул, — все наглухо замело снегом. Только в небольшой, защищенной от ветра ложине темнеет покосившаяся стена — все, что сохранилось от старого становища. Когда в последний раз аул готовился к откочевке, под этой стенкой остался лежать больной барашек, покрытый коротенькой реденькой шерсткой. Остался лежать и больше не встал. И уже никогда не встанет. Не захрустит молодой сочной травой, не напьется из родника прозрачной воды. Там, где лежал он, теперь белеют лишь тонкие, не успевшие окрепнуть косточки...

Это было как молния, как удар камчи. Тайна, недостижимая прежде, открылась борзому. Она была до того чудовищна, что уши у него поднялись торчком и он застыл, неподвижно уставясь на холмик. Только спустя время, нужное для того, чтобы разгрызть большую берцовую кость, борзой очнулся, пришел в себя. Но тут все суставы у него расслабились и размякли, а тело зашлось в мелкой дрожи. В горле пересохло, дыбом поднялась на спине шерсть, по затылку разбежались мурашки. Он присел на задние лапы, задрал морду к небу.

Пасть раскрылась сама собой, и тяжелый, протяжный звук вырвался из плотки. Степное безмолвие пронзил взмывший над землей стон.

И был этот стон, этот жалобный плач о невозвратном страшен и нескончаем...

2

Как светел, мир! Как просторен! А небо — до чего же оно голубое, высокое! А солнце!.. Конечно, берегись на него смотреть прямо, и все равно — какое оно теплое, ласковое!.. Белый щенок, сидевший под стенкой сарая, на припеке, не выдержал и заскулил от удовольствия. Ему здесь так сухо, так мягко — под ним пучок соломы с ошметками засохшего конского навоза... Какая благодать!

Поблизости — лужица, наполненная талой водой. Желтая лужица, желтая вода... Щенок поднялся, подошел, осторожно лакнул — раз, другой. Вкус у воды солоноватый, неприятный, и припахивает она скверно — скотским пометом. Щенок фыркнул. Нет, пить эту воду нельзя. Он уже усвоил: все вещи делятся на те, которые можно есть или пить, и те, которые для этого непригодны. Таких, непригодных, гораздо больше, к сожалению...

Впрочем, огорчение было коротким. Щенок запрыгал по рыхлому снегу. Снег потемнел, покрылся сверху мусором и копотью, лапы в нем глубоко проваливались, и вода тотчас набегала в ямки следов. Но по их краям горячо искрились ледяные крупинки. Есть их было нельзя, но лизать можно. Вкуса у них, однако, не было никакого, и они охладили язык. Щенок отвернулся. Он был сыт — перед тем как выпустить во двор, его досыта напоили молоком.

А между тем прежнее место под стеной сарая, где он грелся на солнышке, успела захватить пестрая курица со своим суетливым семейством. И вовсю квохчет, шебуршит соломой, разгребает сор. Цыплята ее, желтенькие, взъерошенные, носятся, попискивая, туда и сюда, ныряют матери под ноги. Стоит ей подать знак — и они гурьбой бегут на зов, обгоняя и расталкивая друг друга: «Давай! Давай! Мне, мне!» Мгновение — и стайка круглых комочков рассыпается.

Но вновь раздается: «Нашла, нашла!» — и цыплята, спотыкаясь и падая, устремляются к матери. Интересно за ними, потешными, наблюдать... А играть с ними, верно, еще интересней...

Завиляв коротким хвостом, щенок дружелюбно тявкнул и, зарываясь по грудь в рыхлый снег, спустился с сугроба. Но курица тут же подняла тревогу: «Спасайся, спасайся!» Цыплята, беспечно сновавшие вокруг, метнулись к пеструшке, под ее защиту. Курица воинственно растопырила крылья: «Кет! Кет! Прочь, паршивый щенок!» — закудахтала она.

Вот тебе и раз!.. Щенок опешил. Какой-то цыпленок высунул было черный клювик, но тут же исчез под раздувшимися перьями. Ну и ну... Щенок все-таки сделал два или три нерешительных шага, опустился на землю, прилег, потявкал, потом поднялся и снова потявкал. Курица в ответ рассердилась не на шутку. Похоже, она уже не намерена была ограничиваться одним «Кет! Кет!», а изготавилась к нападению. Щенок вконец потерялся, но неожиданно, из духа противоречия, что ли, шагнул вперед. Курица, грозная, с распушенными крыльями, поднялась ему навстречу. Казалось, вот-вот она ринется на щенка... Но вместо этого пеструшка внезапно повернулась к нему хвостом и не спеша, сохраняя достоинство, двинулась за сарай, квохча свое «Кет! Кет!». И цыплята с нею...

Щенок, опечаленный тем, что не довелось порезвиться, отвести душу, гоняясь наперегонки, тоже повернулся и одиноко побрел па окраину аула.

Земля еще не успела подсохнуть. В ложбинах и впадинах поблескивают и дымятся легким парком голубые лужицы. В густых зарослях таволги белеют лоскутья снега, но все вокруг преобразилось, приняло какой-то новый, удивительный облик. Совсем недавно все выглядело здесь так уныло и хмуро, а сейчас озарилось улыбкой и радуется, спешит напиться золотистого сока солнечных лучей. Воздух благоухает живительным ароматом. Откуда он, этот сладкий запах?..

Щенок уловил, что источает его та низкорослая травка с тонким стебельком и пушистой шапочкой, которую он топчет. Он опустил

морду и ткнулся носом в запашистую травку. Вряд ли ее можно есть, но нюхать — приятно... А вокруг — нежные и упругие стебли, выпирающие из сырой глубины пучками, и каждый пахнет на свой лад. С особенным удовольствием принюхивался щенок к тугим стрелкам ковыля, растущего тут в изобилии. Какой запах!.. Непонятная радость охватила все щенячье существо, и он с наслаждением вывалился в мягкой, ласковой зелени. Затем, растопылив лапы и вытянувшись, улегся, подставил солнцу брюшко.

Улегся, пригрелся, задремал и увидел сон. Будто перед ним стоит желтый цыпленок и попискивает, приглашая поиграть. Маленький такой птенчик... Разумеется, он ответил веселым лаем, и вот уже оба носятся друг за другом. До чего же, однако, быстроногий цыпленок! Его не догнать... Но щенок не отстает, бежит за улепетывающим желтым комочком — только ветер в ушах посвистывает. И наконец — настигает. Сейчас он схватит его — крохотного, пушистого. Он запросто уместится в пасти. Ведь цыпленок — это как раз то, что годится для еды... Какое неожиданное открытие! Да, да, цыпленок годится для еды!.. Но внезапно желтый комочек останавливается у щенка прямо перед носом. Бесстрашный, не желающий уступать. «Р-р-р! — вырывается у цыпленка. — Тепер-р-рь твой чер-р-ред удир-р-рать!»

Вздрагнув, щенок открывает глаза. Над ним навис громадный пес, черная, ощерившая пасть дворняга. Щенок облизнулся как ни в чем не бывало, зевнул протяжно, потянулся. Потом потявкал тоненьким голосочком и стал подниматься. Но черный пес, наклонившийся над ним, повалил щенка снова на землю, а дальше... Щенок и понять ничего не успел. Тело его словно пламенем опалило, красно-зеленый туман за клубился в глазах, все вокруг закачалось.

— Эй, кет! Кет! Пошел!..

Отчаянный вопль слился с нарастающим конским топотом. Тяжесть, надавившая щенку на грудь, исчезла. Он почувствовал хозяина, который подоспел так вовремя, и жалобно заскулил, заплакал. Хозяин торопливо спешил. И вот уже руки его подхватили щенка, подняли

с земли... Но хотя прикосновение этих рук было бережным, осторожным, словно копье вошло в дрожащее тельце и пронзило насквозь. Щенок снова заскулил, застонал, как если бы вновь очутился в пасти огромного черного пса.

Ведя коня в поводу, хозяин как прижал щенка к груди, так и донес до самого дома, и потом еще долго мучил, чем-то смазывая нестерпимо болевшие раны. Наконец он перебинтовал щенка и уложил на стоявшую в углу комнаты железную кровать, обтянутую по бокам сеткой. Те же руки теперь кормили щенка и по три-четыре раза в день выносили на свежий воздух. Остальное время щенок неподвижно лежал на постели. Здесь было мало места, чтобы подняться и пройтись, а перескочить через сетку пока не хватило бы сил. Да ему и не хотелось...

Спустя две-три недели раны на теле щенка зажили. Но сердце его страдало от раны, которую не залечить. Ему, разумеется, не дано было постигнуть, что на свете существуют несправедливость, жестокость, насилие, и, если над твоей головой нависнет несчастье, вся твоя правота, случается, не сумеет тебя защитить... Само собой, понять этого он не мог. Но отныне среди живого все незнакомое вызывало у него недоверие, а то и прямую враждебность.

3

Когда щенок выздоровел и вернулся к своей беззаботной жизни, в дом к хозяину приехал мальчик. Сорванцом он оказался отменным. Только-только спрыгнул с арбы, как тут же бросился к щенку. А тот уже научился делить всех людей на две части: на хозяев — к ним, кстати, относилась и женщина в длинной одежде, наполнявшая каждый день до краев его миску и хлопотавшая по дому, — и на посторонних, чужих. Щенок отскочил от мальчика, спрятался за хозяина. Но хозяин и не взглянул на щенка, зато мальчишку прижал к себе и целует, целует... Высвободясь из его крепких объятий, мальчик снова потянулся к щенку. Как быть? Раз хозяин проявил такое расположение к мальчику, щенок не вправе от него бежать. Да и сам

хозяин опустился на корточки, подбадривает: «Лашын¹, Лашын, иди к нам!»

Руки у мальчика оказались мягкими, ласковыми. Он обхватал щенка, приподнял и, приговаривая: «Песик мой, песик», — стал поглаживать по голове, по спине, потом приблизил свое лицо к мордочке, обросшей белой шерстью, и потянул носом, принюхался. На мать, пригнавшую кобылицу, для которой настало время дойки, он и внимания не обратил, хотя она еще издали, завидев его, кричала: «Адиль! Адильтай!..» Он прижал к груди щенка и побежал в дом.

В тот день к вечеру здесь собралось много людей. Тесно было за низким круглым столом, на котором высились горой свежие румяные баурсаки, и в глазах рябило от кусочков белого рафинада. Адиль посадил на колени Лашына и прикармливал то баурсаками, то сахаром. А вокруг шумело застолье, довольные гости вели веселую беседу, попивая густейший темно-коричневый чай, заправленный верблюжьим молоком.

— Настоящий джигит вырос, — говорил аксакал Омар, с улыбкой глядя на Адиля. — Долгих лет ему здоровья и счастья!

— Ну, Козы, на радостях тебе сорок дней справлять той, — подхватил рябой Есегокол, продавец, который и привез Адиля. — Учителя сказали, твой Адиль — самый лучший из всех, кто первый класс закончил, а закончило целых двадцать пять человек. Он, сказали, задачки уже за второй и за третий класс решает, все учебники наизусть выучил. Теперь не станет больше приставать — мол, расскажи сказку... Сам все книги у тебя в Красной юрте перечитает до осени...

— В отца пошел... Как говорится, идущий предкам вослед и стрелы остро заточит...

— А я думаю, тут жашлуга шештьенки нашей Камийи, — встречается в общую беседу жена Есенжола, картавая Айсулу, которая к тому же набила баурсаками полный рот и, пережевывая, с трудом выговаривала каждое слово. — До чего шноровишта... Глядите, сколько

¹ Лашын — сокол.

кизяка во дворе у нее наготовлено... Ох, и кьепка она в хозяйстве, ох и кьепка...

— Помолчи, жена, ты свое потом скажешь, не мешай аксакалу...

— Ты шего это надо мной командуешь? Я у тебя вшегда как бельмо на гязу... Есьи я дья тебя пьехая, пощщи себе хоошую...

— Помолчи, говорю! Дай людям уважаемого человека послушать.

— Идущий предкам вослед и стрелы остро заточит, — повторил аксакал Омар, выдержав паузу. — Покойный Амир, отец Казы, был джигитом из джигитов. И борзые собаки у него водились отменные. Такие, что лису словно вихрь настигают, не борзые, а барсы. Е-е, другому не поверишь, пока сам не увидишь... Вот вы теперь весь скот высокопородным сделать хотите. Про скот судить не берусь, а охотничьи собаки у казахов и в давние времена были самых чистых кровей. У Мама, к примеру, борзой был по кличке Бескара. Сынок одного бая предложил за него пять кобыл с жеребятами, так ведь не поменялся, упрямец! А борзого с тех пор так и прозвали — Бескара¹, хотя у него раньше своя кличка была. Серый, помню, в темную полосу — просто тигр. Если скажу, что грудь ниже голени на неполный суйем² выпирала, — солгу, а если скажу, что на три пальца, — это уж точно. Такая была крутая, широкая, могучая грудь, что на брюхо не ложился, разве что бочком. Голова громадная, скулы крепкие. Ростом с Бескарой ни одна собака не могла сравниться. Верить или не верить — ваше дело, а только ведь и среди людей рождаются мудрецы, о которых слава идет из края в край, или батыры, которым страх неведом, как прочим смертным. Велик аллах! Вот и у зверей встречаются такие, что с рождения отличаются от собратьев. Бескара был таким псом. Наши с Мамаем зимовки стояли рядом, так что я собственными глазами видел: за одну зиму Бескара тринадцать вол-

¹ Бескара — в значении «пять голов скота».

² Суйем — расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами.

ков взял. Ну, а зайцам, лисам — и счету нет. Он и на архаров нередко выходил. Мамай потом серую борзую держал у себя, говорил, что от Бескары она. Дожила борзая до глубокой старости и подохла в год окончания войны, весной. Почуяла смерть и ушла неизвестно куда. Не зря говорят: «Хорошая собака не хочет, чтобы ее мертвой видели». Мамай несколько дней траур соблюдал. Иной человек умрет — по нему родня столько не горюет. Да и правду сказать, хоть и не Бескара, но борзая была что надо. Сейчас таких породистых не сыскать. Где уж там людям время найти, чтобы за собакой, как положено, ходить или птицу ловчую содержать...

— То-то и есть, — сказал Казы. — Кому же тогда скот государственный пасти, сено косить?.. — кашель, рванувшись из глубины груди, перехватил ему дыхание. Казы не закончил фразы.

— Кому тогда водку пить?.. — подхватил Есенжол, и рябое лицо его сморщилось в мятой улыбке.

— Помойчал бы лучше! Никогда, видно, пьодавцом тебе хоошим не стать, — сказала Айсуну. — И что это за магазин, без гойкой-то водички, о гошподи?

— Вот и хорошо, что нет на столе этой дьявольщины, — Омар одобрительно кивнул Есенжолу. — Молодец, что не принес.

— Я бы принес, — усмехнулся Есенжол, — только вся кончилась, на базе нет ни бутылки. Район отстающий, говорят, по старинке живете, а в культуре тоже толк понимать начинаете... Раньше одного ящика нашему аулу на целую зиму хватало. Кроме нас двоих, меня да завфермой, никто не пригубливал. Ну, а той осенью взял я три ящика беленькой с красненьким — и как не бывало. Даже Казы, когда последний раз в район ездил, с ней, окаянной, успел снюхаться. Вот летом, когда весь народ на джайляу отправляется, у меня на одного аксакала надежда... Так он за свою жизнь и глоточка не принял, говорит, намаз от нее силы лишится.

— Да простит тебя, болтуна, аллах, — вздохнул Омар. — И для тех, кто не соблюдает его предписаний, водка тоже вещь непотребная.

— Э, аксакал, вы ее вкуса не пробовали, оттого так рассуждаете. Вон Казы разок отведал и увидел, что вся его прежняя жизнь впустую пролетела. И мне хорошо: есть с кем чокнуться. Скоро ведь он, аллах свидетель, жену за пол-литра отдаст...

— Ну, заладил... Тебе бы только язык почесать! Было дело, случилось выпить, — что же теперь?

— Пей, да почаще, удачи тебе...

— Они, как в прежние времена между одногодками-курдасы во-дилось, все насмешничают друг над другом, — сказала байбише Ну-рила, жена Омара, темнолицая худощавая старуха в белом кимешепке. Ей хотелось переменить разговор.

— Когда куйдасы сойдутся, весело бывает, — вставила Айсулу.

Щенок, вдоволь насытись баурсаками и сахаром, внезапно затяв-кал, как бы одобряя ее слова.

— Вот что значит старость, — покачал головой Омар. — Начинаю про одно, перехожу на другое... О чем это я рассказывал?

— О том, что среди собак бывают такие, с которыми даже челове-ку не сравниться, — пошутил Есенжол.

— Да, вспомнил... И зверь, и человек походят на своих предков. Скажем, тягой к собакам Адиль точь-в-точь уродился в своего деда, покойного Амира...

— К тому же старый Мамай, о котором вы говорили, приходится мне нагаши, — сказал Казы. — Этого щенка я у него и взял, когда зи-мой в Баканас ездил. Он единственный родился, и Мамай, честно го-воря, не хотел отдавать его. Мол, внук подрос, на охоту скоро выйдет, собака ему понадобится... Так я насел на него, чуть не силой отобрал: это, мол, в счет сорока коз¹, таков, мол, обычай... А щенок... На ваш взгляд, чего он стоит?

— Собак хороших я перевидел немало, а сам охотиться не пробо-вал. Какой из меня знаток?

¹ По обычаю племянник должен получить в подарок от своих родственни-ков по материнской линии сорок коз или что-нибудь равноценное.

— Все равно по сравнению с нами вы человек опытный. Адиль, опусти щенка... Скажите, аксакал, свое слово.

— Что сказать... Грудастый — значит, в беге выносливый. Шея короткая, морда скуластая — значит, зубастый, сильный. Задние лапы с короткой голенью — верный признак быстроты. Не знаю, возьмет ли волка, но лисьими тымаками всех нас одарит, попомните мое слово...

— Да исполнится все, что вы сказали! Первый ты-мак — ваш! — воскликнул Казы.

— Не зря Мамай не хотел с ним расставаться, — заметил Есенжол.

Спустя немного времени к столу подоспело блюдо с мясом, поверх которого возвышалась жирная баранья голова с отвислыми ушами, разваренная до того, что местами обнажились кости черепа. Но Адиль и его белый щенок уже спали, прикорнув у стены, щека к щеке.

4

Наступили в жизни Лашына счастливые, безмятежные деньки...

Отец наказывал Адилью:

— Он любит побродить на свободе, дома ему не сидится. Недавно этот паршивец Бардосок, дворняга Есенжола, чуть его не задрал. Не случись меня, он бы загрыз беднягу. Пришлось уложить Лашына в кровать, ту самую, где ты маленьким спал. Дней двадцать прошло, пока на ноги не поднялся. Так что смотри не спускай с него глаз.

Адиль и без того не разлучался с Лашыном. Три дома среди безлюдной степи — вот и весь аул; детей здесь, кроме Адилья, нет, и единственное у него развлечение, не считая книг, — щенок. В первый же день нацепил он на конец длинного курука лисий хвост. Лашын хоть и ведать не ведал, что это такое, все же вознамерился куснуть его — так, на всякий случай. Адиль опустил кончик хвоста чуть ли не к самому его носу, разрешил понюхать, подразнил, а потом вдруг, стоя на месте, закружился, держа курук в вытянутой руке. Лашын бросился за хвостом, но тот летел по круту, оставаясь недося-

гаемым. Вот он приспустился, стелется легкой волной, чуть не касаясь кончиком щенячьей мордочки. Лашын прибавляет ходу, но хвост взмывает вверх. Щенок несется по кругу во весь опор. Сейчас наконец он будет у пса в зубах!.. Но неуловимый хвост взлетает снова и несется в обратную сторону. Щенок тоже поворачивает назад. Лапы у него наливаются тяжестью, бежит щенок все медленней. Но хвост, мягко струящийся по воздуху, не уходит от него слишком далеко. Чужой, но приятный запах, остающийся в воздухе, будоражит щенка, раздувает в душе пламя непонятной страсти. Впитавшийся с кровью предков азарт охоты вновь подстегивает его, и щенок с еще большим остервенением пускается вдогонку за лисьим хвостом.

Но вот пушистый кончик попадает ему в пасть! Щенок с наслаждением грызет и рвет его, волочит по земле хвост и долго, рыча, возится с ним. И вдруг хитрейший хвост снова выскальзывает из его зубов. Щенок пускается в погоню — и так много раз...

Дом Казы стоит в укрытом от ветра месте, у подножия холма, до самой вершины заросшего сизым ковылем и таволгой. Холм плавно переходит в низину, когда задувает ветер, густые травы на ней колышутся, будто катятся зеленые волны. Бойкий родничок журчит по дну рассекающего низину оврага, вдоль извилистого ложа шелестит-лопочет молодой тростник...

У Адила главная забота — пригнать кобылу в положенное для дойки время; она пасется среди высоких, набирающих сок и силу трав. И щенок, у которого только голова мелькает белым пятнышком между зеленых стеблей, мчится вприпрыжку за Адилем. На обратном пути он всю заливается веселым лаем, преследуя кобылицу. Она пускается вскачь, Лашын отстает и, донельзя возбужденный, путается у Адила в ногах.

— И зачем ты таскаешь за собой этого глупого щенка? — сердилась Камила. — Сколько повторять: нельзя перед дойкой тревожить кобылу, она теряет от этого молоко.

Но Адиль по-прежнему не расставался со щенком, а тот не упускал случая позабавиться с кобылой. Лишь после того, как мать, по-

теряв терпение, сгоряча влепила Адилью хороший подзатыльник со словами: «Смотрите какой — маленький, а упрямый!» — и огрела щенка подвернувшейся под руку палкой, мальчуган более внимательно отнесся к ее наставлениям. Отец смастерил красивый узорчатый ошейник, и теперь Адиль водил щенка с собой, сдерживая вовремя его боевой пыл. Однако щенок по привычке, едва завидев серую кобылу, принимался гавкать, а кобыла, то ли уступая ему, то ли жалея и боясь, чтобы от неистового лая он не разорвался на части, по-прежнему неслась в аул галопом. Так что, случалось, пока Казы, набив книгами свой хоржин¹, доберется, потратив полдня, до аула, выехавшего на сенокос, да не меньше чем за день объедет отары, разбросанные по джайляу, — случалось, что за это время и Адиль, и Лашыну не раз достанется, и довольно крепко, от скорой на расправу Камилы.

За низиной, поодаль, тянется гряда сопок, разделенных невысокими перевалами. Здесь повсюду кудрявятся густые тальники; поблескивают в камышовых зарослях родники — прозрачные, чистые, со студеной водой; дикий щавель на просторных луговинах так высок, что укроет опустившегося на землю верблюда...

Когда лето перевалило за середину и небо накалилось, налилось тугим, неслабеющим зноем, а кончики трав начали подсыхать и желтеть, Адиль стал уходить во время своих прогулок все дальше от дома, в сопки. И Лашыну, для которого до сих пор границей был овраг, теперь открылся новый, незнакомый мир. Множество неизвестных запахов ударяло ему в ноздри. Был среди них и резкий запах перепелого, вывалянного в пыли кизяка, и пряный запах сочного луга, и тонкий, нежный запах алых, желтых, голубых цветов, и сыроватый запах прожитой корешками дерна почвы, и горький запах сгнившего дерева... Щенок, у которого кружилось в голове от слоистого аромата, пропитавшего воздух, весело тьякал от беспричинного ликования, валялся по траве, прыгал вокруг Адилья, бегал, повизгивая, взад

¹ Хоржин — мешок, переметная сума.

и вперед, резвясь в полное свое удовольствие. И чем дальше от аула, тем чаще встречались запахи всевозможных живых существ. Тут — запах лошади, там — запах коровы, здесь проходил человек, ну а вот запах того пушистого хвоста, который летел за куруком... Да, да, этот хвост побывал здесь, где разрыта земля, затем обогнул колючий кустарник и направился куда-то к холмам... Лашыну хотелось бежать по его следам, но позади раздавался голос Адилья, приказывающий вернуться, и ему волей-неволей приходилось поворачивать назад.

В небольших рощицах по склонам оврагов прохладно и даже влажновато. Земля здесь волглая, трава мягкая, шелковистая. Пахнет шиповником, бояркой, хмелем, но все эти запахи забивает запах черной смородины. Адиль без особых хлопот доверху наполняет свое небольшое ведерко крупными ягодами под сизой туманной пленкой. Потом, отыскав местечко, где повыше трава, укладывается, подложив под голову толстую корягу. Так он лежит на спине под нависающими над самым лицом ветками смородины, и небо, просвечивая между разделенными на три зубца листьями, кажется отсюда пятнистым, разорванным на мелкие голубые клочья. Но оно все равно кажется прекрасным, и еще — не очень далеким, достаточно протянуть руку вверх, разгрести листву — и вот оно, у самых твоих пальцев... Ягод и без того великое множество, но когда смотришь снизу, их видно еще больше. Их уже не скрывают листья, и они, как черные блестящие бусинки, теснятся одна к одной, часто-часто. Адиль, заложив ногу за ногу, не спеша захватывает ягоды полными горстями и отправляет в рот. А когда там, куда дотянется рука, ягода кончится, он, двигая локтями, меняет место. Но вскоре он ест ягоду уже не горстями, а лениво срывает по одной, словно нехотя раздавливая губами, цедя кисловатый сок. Потом, заложив под затылок руки, долго лежит не двигаясь, глядя в голубое небо, блекнущее, когда по нему проплывают облака. Белый щенок, подражая хозяину, тоже распластывается по земле, привалясь грудью к влажной траве; здесь ему прохладно, и он, положив голову на вытянутые лапы, замирает, не издавая ни шороха. Его беспокоят лишь комары да мошки. А не будь

их, так сладко можно было бы выспаться, столько увидеть приятных снов! Но, после того как они со щенком так вот полежат, отдохнут в полном блаженстве, Адиль, будто внезапно вспомнив о чем-то, произносит «Хоп!» и вскакивает с места. Виляя хвостом, щенок вскакивает за ним и сильно, всем телом встряхивается. Перепрыгивая через родниковые струйки, поблескивающие среди потемневших, гнилых коряг и поваленных стволов, с треском обрывая цепкие нити хмеля, они выбираются из сплошных зарослей. В овраге знойно, душно. Солнце в зените печет, обжигает лоб. Адиль повязывает голову, обриту наголо, носовым платком, и вдвоем со щенком они бегут к перевалу. Здесь дует прохладный ветерок. За перевалом — аул...

Лашыну исполнилось шесть месяцев, он вытянулся, покрупнел и стал больше походить на взрослую собаку. К этому времени он постиг, что в жизни и обычаях его хозяев, да и не только хозяев, а вообще двуногих существ, есть немало такого, что ему не под силу объяснить. Раньше всё или почти всё, с чем он сталкивался, казалось ему вполне понятным и разумным. Но теперь, как призадумаясь, то одно, то другое просто не укладывается в голове.

Скажем, та же лошадь. У нее четыре быстрые сильные ноги. Она никогда не спотыкается, не падает, подобно Адилью. А поскачет — и никакому человеку за ней не угнаться. Однажды серая кобыла рассердилась на что-то и давай брыкаться обеими задними ногами, так что изгородь не выдержала, повалилась на землю. А если бы под копыта ей попался человек?.. Что бы от него осталось?.. Но несмотря на все это лошадь не выходит у него из повиновения, что ей человек ни прикажет — она всё исполняет. Даже маленький Адиль — и тот над ней хозяин. Как это понять?..

Или, например, корова. На голове у нее торчат два рога, толстые, острые. Как-то Лашын крутился рядом с ее теленком, и вдруг она с ревом устремилась на щенка. Не отскочи он в сторону, не пустишь наутек, она бы все косточки ему раздробила. И что же?.. Корова тоже покорно служит человеку. А бедняга верблюд — уж на что страшнелище, да еще и с двумя горбами, — он запросто поднимает груз, ко-

торый и десяти двуногим не под силу, а ведь тоже день за днем смиренхонько выполняет за человека его работу. И ревет, прямо-таки исходит ревом, бедолага, но поперек человеку ни за что не пойдет.

Ну, а черная псина, которая едва не загрызла его весной?.. Клыки страшные, кинься он на кого-нибудь — никто перед ним не устоит. Но ведь и он покорен человеку. Покорен и жалок: ему не позволено, как Лашыну, например, входить в дом, дальше порога его не пускают. И главное в жизни — еда — тоже целиком во власти этих двуногих. Они поедают все самое сладкое, самое вкусное, причем едят, сколько пожелают. Правда, Лашын в еде не испытывал недостатка, но, судя по тому, как черная псина рыщет по дворам, что-то вынюхивая, Лашын, глядя на ее запавшие бока, понимал, что тому не так уж часто доводится досыта набивать свое брюхо.

День ото дня все больше загадок возникало вокруг. Чего стоит хотя бы железная арба, на которой однажды приехали в аул какие-то люди! В нее не было впряжено ни лошади, ни верблюда, бежала она сама собой, к тому же издавая рычание, похожее на рокот далекого грома. В другой раз в степи опустилась огромная птица. Вместе с аульчанами, оседлавшими коней, помчался к птице и Лашын. Что же он увидел? Обыкновенное железо, светлое на цвет. Из него вылезли люди, постояли немного, разговаривая с конниками, что-то у них выпрашивая, и снова вернулись внутрь железной птицы. Голос у нее оказался ужасающий, вдобавок птица, взлетая, подняла целую бурю. Если Лашын и остался жив, то потому, что опередил отступавших под жестокой струей ветра лошадей и успел отбежать в сторонку...

Чем таинственней казался ему человек, тем больше Лашын верил в его могущество. Вдобавок произошло событие, после которого Лашын и вовсе перестал удивляться тому, что все живое в мире покорно человеку, он и сам признал его полнейшее, безоговорочное превосходство...

А было так. После очередной вылазки за смородиной они с Адилем возвращались в аул. И едва обогнули высокие кусты ушката, ко-

торыми зарос пологий склон, как увидели перед собой Бардасока. В двух шагах, на расстоянии конского повода. Тощий пес похищал запасы семян и соломы, собранные полевыми мышами, в нетерпении разгребая лапами мягкую землю. Поскребет-поскребет когтями, сунется мордой в нору и нюхает, рыча от жадности. Потом снова принимается за работу и с каждым разом все больше распаляется: чувствует, наверное, близкую добычу... Адиль замер от удивления, застав собаку за таким странным занятием. Ну, а у Лашына при виде заклятого врага екнуло сердечко. Задрожал он — каждой косточкой, каждым суставчиком — и забился под ноги Адилью, ища защиты. Тогда вспомнилось Адилью, что рассказывал ему отец об этом черном разбойнике, чуть не растерзавшем его щеночка, его милого Лашына, когда тот был совсем еще маленьким...

Он пригнулся, пошарил рукой по земле. Заслышав шорох, пес выдернул морду из норы, но поздно. Едва он успел повернуть голову навстречу опасности, как острый, увесистый камень угодил ему в бок. Отчаянный визг эхом откликнулся в сопках, и пес пустился бежать, выгнув от боли спину горбом. Второй камень, чуть поменьше первого, последовал за Бардасоком, не попал и шмякнулся где-то в кустах таволги. «Черт!..» — с досадой хлопнул себя по бедрам Адиль. Только теперь Лашын, совершенно не ожидавший такого оборота событий, очнулся, очухался. И тут его обуяла ярость. Он загавкал тоненьким голоском и помчался за улепетывающим Бардасоком. Лишь проводив своего давнего врага на значительное расстояние, он против воли остановился, подчинившись Адилью, который бежал за ним, упрямивая вернуться. И долго еще не мог прийти в себя, оправиться от потрясения, которое перевернуло все его прежние представления о жизни, о собственном существовании, о сильных и слабых. Если Адиль — самый маленький среди ему известных двуногих — способен на такое, то на что способны остальные?..

«Откуда я пришел, кто я, куда иду?..» Нет, столь сложные философские вопросы, понятно, не рождались у щенка в голове. Но после

описанных происшествий Лашын убедился, что есть на свете обладатель могущественных, всепобеждающих сил. Повелевая ими, он может все, чего захочет. Имя этому повелителю — человек.

5

Казы, сухо покашливая, с трудом отстегнул крючок на забухшей двери. Лашын опередил хозяина и стремглав выскочил наружу. Выскочил и зажмурил глаза, ослепленный удивительным ярким светом. Всё окрест, вчера еще грязно-серое, бурое, сегодня переменялось: и дальние холмы, и двор, и крыши сараев — все накрыто праздничнобелым покрывалом. Лашын, слегка поеживаясь от свежего воздуха, сделал два-три шага вперед. Что-то слабо похрустывало под его лапами. Он обернулся: за ним четко пропечатались следы. А вот и хозяин — идет к сараю, и за ним тоже тянутся цепочкой отметины. Некоторое время Лашын постоял на месте, в недоумении от нового открытия, потом по примеру хозяина направился к сараю. И опять увидел следы, но похожие на его собственные, только поменьше. Ткнулся носом, принялся — оказалось, что их оставил Бардасок. Судя по всему, он кружил здесь, выискивая что-нибудь съедобное.

Воздух был чист, свободен от чужих запахов, плотен от морозца, — с каждым вдохом Лашын чувствовал, что его грудь наливается силой. Взметывая сухой, искрящийся снег, он пробежался несколько раз вдоль двора. Ему захотелось помчаться к роднику — и потом за перевал, похожий на изогнутую верблюжью шею, и еще — порезвиться в поле. Только опасенье, что где-то рядом бродит Бардасок, остановило его. К тому же, увидев, что хозяин вывел коня и привязывает к изгороди с наружной стороны, он решил, что тот куда-то собирается ехать и, возможно, прихватит его с собой.

Щенок, еще недавно голенастый, куцехвостый, тугобрюхий, уже превратился в почти взрослого борзого. Он окреп, раздался в костях, грудь развернулась вширь, брюхо подтянулось. Его голова, непропорционально большая в сравнении с телом, могла выдержать лю-

бые придирки знатоков: темя высокое, умное, уши крупные, в меру широкие, свисающие книзу мохнатыми конниками. А зубы Лашына, ровные, белые, где положено — длинные и острые, где положено — короткие и крепкие, зубы, которыми невольно залюбуешься, когда он откроет пасть, — зубы эти способны, кажется, перегрызть и самую толстую верблюжью кость.

С тех пор как Адиль вернулся к себе в школу, за подрастающим щенком ухаживал Казы. Не давая борзому пищи, от которой может появиться жир, Казы дожидался первой пороши. Но, как назло, осень затянулась. Зарядили долгие морозящие дожди, задули тоскливые промозглые ветры. Между тем, если собаку не вывести на охоту до годовалого возраста, мышцы у нее на шее потеряют гибкость, затвердеют, и тогда уже не стать ей ловким, хватким псом. Это в особенности тревожило Казы. И когда наконец выпал первый снег, Казы, проворочавшись всю ночь в постели, поднялся затемно, наскоро оседлал коня, покормил Лашына жидкой похлебкой и, уложившись таким образом в короткое время, потребное для того, чтобы вскипятить молоко, выехал со двора.

Для охоты он избрал склоны Жауыр-тага. И каких только меток не увидел здесь на свежем снегу Лашын! И крупные, и мелкие следы, большей частью совершенно незнакомые по рисунку и запахам; и то переплетаются, то вытягиваются в цепочки, то расходятся в разные стороны. Он готов был мчаться по каждому следу, только приказ хозяина удерживал, смирлял его нетерпение. Но вот обозначился след, похожий на оставленный возле сарая Бардасоком, только не такой крупный. Борзому почуялся длинный, пушистый хвост, за которым он гонялся летом... Опустив голову к земле, пес затрусил по каменистому склону. Однако хозяин за ним не последовал, напротив, понизив голос, позвал назад. Потом указал в противоположную сторону и сам повернул коня. Лашын сообразил, что ошибся. Вскоре он уже уверенно несся по следу, опередив хозяина.

Поблизости от плато, между невысоких сопок, поросших редким караганником, пушистый хвост неожиданно сбавил бег и пошел пет-

лгать, отыскивая добычу меж присыпанными снегом кустами. Кое-где встречались разрытые им мышьи норы; не успевшая смерзнуться земля перемешалась с рыхлым снегом. Пушистый хвост то поднимался на холм, то нырял в ложбину и подолгу петлял из стороны в сторону. Неопытному псу, который все время старательно держал след и раз десять, наверное, возвращался кругами к одному месту, наконец надоело гоняться за не то чересчур хитрым, не то попросту глупым зверем — и без всякого результата... Но когда хозяин приблизился к нему, азарт охоты вновь разыгрался в Лашыне, и он, труся по следу, теперь повернул вверх по склону. Едва он перевалил за холм, как заметил внизу, у подножия, метнувшегося в заросли караганника зверя, того самого, которого так долго и безуспешно искал. И хвост у него в самом деле оказался длинный и пушистый, а сам он в чем-то походил обликом на собаку. Но зверь был огненно-рыжий и напоминал раздуваемое ветром пламя... Невозможно было им не за любоваться! Красным, жарким языком стелилось оно по белому снегу... На какой-то миг Лашын замер, но секундой позже, взметая сильными лапами снег, уже летел стрелой.

Расстояние стремительно сокращалось. Характерный лисий дух донесся до ноздрей борзого. Лашын отчетливо видел впереди спину зверя. «Я быстр! — ликовал молодой борзой. — О, как я быстр!» Хотя у лисы ноги короткие и на ходу она семенит, при всем том бежит она так, что запросто ее не нагонишь. Лашын был от нее уже на расстоянии аркана, но потом заметил, что промежуток между ними стал увеличиваться. Лисица тянула теперь поперек низины, уходя мало-помалу в сторону сопки. Стоит ей добраться до каменистого склона — и она спасена... Но на беду ей впереди проступил темный силуэт хозяина собаки. Он, видно, решил скакать ей наперерез. Лисица тоже напрягла все силы, но человек, нахлестывая коня и крича во все горло, успел отрезать ей путь. Зверь свернул в сторону и побежал наискось. Удалось выиграть небольшое расстояние. Теперь у лисы была надежда, что, опередив всадника, ей удастся улизнуть по склону в безопасное место. И правда, через некоторое время всад-

ник, скакавший вдоль подножия сопки, стал отставать. Борзой тоже был теперь для лисы неопасен. И, казалось, лиса вот-вот станет и для охотника недостижимой...

Но в это мгновение впереди открылась широкая впадина. И лисица увидела, что совершила смертельную ошибку. Вдоль впадины земля заросла высокой травой, пересохшей и жесткой, присыпанной тонким слоем снега. Летом здесь зеленел веселый луг, не ведавший серпа, и сочная, разросшаяся на приволье трава скрывала лошадь по самую голову. Теперь же этот луг, увядший и поблекший, представлял неодолимую преграду для лисицы с ее короткими лапами. Как быть?.. Не находя иного выхода, она кинулась прямо к впадине, на крутом ее склоне трава была не так густа. Но ее сухие стебли кололи и царапали брюхо, и лиса бежала вприпрыжку, всем телом вскидываясь вверх. Зато псу, долгонотому, юному, полному сил, ломкие стебли не могли служить препятствием, скорость его не уменьшалась. Расстояние, которое лисе удалось было выиграть, выжав из своих четырех лап все возможное, быстро сокращалось. «Настигну! — вновь ликовал борзой. — Еще немного... и я ее настигну!»

Лиса была вся в мыле, ее хвост беспомощно повис! Он уже не пушился, не раздувался на ветру, а волочился следом, вдобавок ко всему замедляя ее бег. «Сейчас! — торжествовал пес. — Сейчас я схвачу ее!» Зубы его лязгнули, предвкушая миг, когда конец огненно-рыжего хвоста окажется у него в пасти. Но тут крутой травянистый спуск оборвался, лапы лисицы коснулись твердой гладкой земли, светлой от укрывшего ее снега, с торчащими там и сям стрелками ковыля. Собрав последние силы, изнемогая от когтистого, впившегося в затылок страха, лиса рванулась вперед. Смерть, щелкая пастью, приотсталала, но надолго ли?.. Расстояние между лисой и псом не больше конского повода. К тому же столько сил ушло на то, чтобы одолеть крутой склон... Лапы, отяжелев, уже без прежней легкости отрывались от земли. Но предсмертный ужас гнал лисицу вперед.

Позади размеренно и все громче похрустывал снег, возвещая неуклонное приближение врага, и сдавленное, тяжелое сопенье, кото-

рое лиса отчетливо слышала, свидетельствовало, что зубы, острые и безжалостные, готовы вот-вот впиться в ее нежное тело. Пот застилал ей глаза, бурый туман клубился вокруг. Не надеясь, что это избавит ее от опасности, а лишь по привычке, инстинктивно, лисица вскинула хвост — и он вырос на пути у собаки, последнее препятствие и единственная защита. Простодушен был молодой борзой! До сих пор гнался он за лисицей вовсе не ради того, чтобы схватить ее и разодрать в клочья. Чем-то вроде забавы было для него это преследование. Настичь и, слегка прихватив зубами, повалить по снегу, поиграть в перевертыши. Когда рыжий хвост расцвел у него перед глазами, он и это принял за новую игру и теперь всю стремился завладеть хвостом. Но хвост вилял из стороны в сторону и не давался. Только порхнет у самой морды — и тут же метнется вбок. Борзой повернет морду, нацелится, вот-вот схватит — а хвост уже взмыл, упорхнул. Пес по инерции стремглав проносится мимо, а хитрый зверек опять в стороне, на расстоянии курука. Пес в запале скачет за ним, преследует почти по пятам. Но рыжее пламя вспыхивает где-то слева, и потом справа, и снова слева, — борзой хватает пастью пустой воздух, крутит головой и видит, что лиса выиграла у него время, и между ними пространство, которое не одолеть и за три добрых прыжка.

Лашын обессилел от этой погони. А лисица, пока он, задыхаясь, взбирался по крутому склону, свернула неожиданно к зарослям таволги, обежала их кругом, вконец измотав борзого, и припустила вперед по прямой, все так же расстилая по воздуху свой пышный и лукавый хвост. Еще миг — и она исчезла из глаз, перескочив узкую седловинку между соседними холмиками.

Лашын остановился. Грудь его распирало, язык разбух и не уместился во рту. Ныли ноги, чужие, непослушные, в голове всё кружилось. Цепочка убегающих вверх следов, переплетенные ветки кустарника, холмы, белые от снега, — всё покачивалось, куда-то плыло... Но внезапно борзой встрепенулся, хотя и не поверил себе в первое

мгновение. Та самая лисица, которую он, казалось, окончательно потерял из виду, вынырнула из-за уступа и теперь во весь опор неслась ему навстречу.

Должно быть, хитроумный зверек не подозревал, что пес, гнавшийся за ним, пока всего-навсего «кёк-асык», то есть зеленый, не достигший зрелости, и способен в решающий момент оборвать преследование. Да, такого лиса не ожидала... Перескочив седловину, она метнулась вбок, огибая сопку по каменистому спуску, на котором не оставалось следов. Так рассчитывала она сбить с толку настигавшего ее пса. Но хитрость ее и погубила: враг, которого удалось так ловко обмануть, неожиданно-негаданно очутился перед нею, лицом к лицу.

Все было кончено, лисица почуяла, что попала в когти смерти. Она в отчаянии кинулась назад, однако Лашын, успевший немного передохнуть, отдышаться, настиг ее в два прыжка. Стелющийся по земле хвост уже был в его пасти. Лисица обернулась, куснула его в морду. И пес, у которого не было мысли причинять зло пушистому зверьку, разозлился, когда в него впились острые зубы. Лиса, высвободившись, вновь пустилась бежать, да где было ей спастись от нависшей над нею громадины! Прыжок — и пес опять завладел ею, вцепился в бедро, ударил оземь, потом сдавил клыками, раз и еще раз, только хрустнули ребрышки...

Подоспел хозяин. Спрыгнув с лошади, он подбежал к собаке, тормошившей безжизненную лису: «Хватит, Лашын, хватит!» Он вырвал из пасти у борзого добычу, приподнял за хвост лисицу и ударил головой о землю.

— Счастливой охоты тебе и твоему потомству!.. — улыбнулся он псу.

Лашын, разумеется, не понял, что кроется за словами хозяина, но уловил главное: тот благодарен ему и очень доволен.

Так борзой научился убивать и уяснил, что за это хвалят. Для него наступила жизнь, полная борьбы и собачьей доблести, кровавых схваток и неизменных побед.

Вскоре слава о борзom разнеслась по всей округе. И редкий мужчина среди живущих в ближних аулах не украсил в ту зиму голову новеньким лисьим тымаком. Все были довольны и хвалили Лашына. Особенно старый Омар. «Теперь я не мерзну, как раньше, в дрянной мерлушковой шапчонке, — говаривал он. — Теперь мне тепло, а все Адиль, воспитавший такую собаку, да процветет его потомство, да не переводятся у него пятерки, да будет он первым из сверстников!..» Чаше всего повторял он эти слова, когда заходил в дом Казы послушать свежие вести о своем любимце. Чабаны и сторожа с окрестных зимовок или сами заворачивали к Казы, или передавали привет через посланца, но так или иначе каждый разжился у него лисой. А Беккали, заведующий фермой, даже двумя лисьими тымаками обзавелся: один надевал в ауле, другой — когда ехал в колхозное правление или в район. И только продавец Есенжол остался без лисы. «Пуškai сначала перестанет обсчитывать народ на своих счетах, — якобы сказал Казы. — Да пускай не обманывает и не ябедничает!»

Как-то раз, недолгое время спустя после первой охоты, Казы уехал из аула вместе с Беккали, который спешил в районный центр с годовым отчетом. Вернулись они домой недели через две. Вечером в тот день жители четырех домов, именуемых в совокупности центральной усадьбой фермы, собрались у Казы. В отличие от обычного застолья, теперь посреди круглого стола выстроились три бутылки с прозрачной жидкостью. Но не было за дастарханом веселого оживления, от которого светом и радостью наполнился дом после приезда Адила. Говорил большей частью Омар, остальные же — и толстый Беккали, у которого, несмотря на то что ему не исполнилось тридцати, выпирал живот и жирно лоснились тугие щеки, и увертливый, подобно рыжей лисице, рябой Есенжол, и картавящая на каждом слове Айсулу, — все они старательно заливали в себя прозрачную водичку. Даже Камила и жена Беккали отведали ее разок. Лашын заметил, как

та и другая при этом сморщились, закрутили носами. Не очень-то, наверное, вкусна прозрачная водица, горчит... Но хозяин от нее не отказывался. И гостям подливал, уговаривал пить до самого доньшка, и о себе не забывал. Закашляется, захрипит с присвистом — и тут же опрокинет в рот стаканчик. А потом и вовсе странно себя повел: гости еще не разошлись, а хозяин привалился к подушке и заснул, захрапел. Не похоже на него это... Нет, не похоже. Что-то случилось у него, какая-то перемена в жизни.

Казы часто выезжал на охоту, особенно если выпадала пороша, на которой зверь оставляет свежие, отчетливые следы. Спозаранок пускались они с Лашыном на поиски добычи, случался ли на ту пору, как называют казахи, «долгий сонар», когда снег прекращается к полуночи, или «кровавый сонар», когда валит до самого утра, или «короткий сонар», когда сыплется мелкий и ночь и день: по снегу, как по странице в открытой книге, опытный глаз прочитает, давно ли проходил зверь и далеко ли успел уйти. А иной раз, не дожидаясь погоды, Казы целиком полагался на пса, на его нюх, сметку и скорость. И не зря: даже в самые неудачные дни возвращались они по крайней мере с парой зайцев. Лашын окреп, тело у него стало упругим, налились мускулы, незнакомым людям его вид и размеры внушали невольную опаску. Правда, у себя в ауле он держался довольно робко, вспоминая, возможно, какого страха натерпелся в этих местах когда-то в пасти черного пса...

Но однажды вечером, когда непрестанно кашляющий Казы, выпив горькой водицы, прилег и укрылся, чтобы пропотеть, Лашын выскочил за дверь и замер у порога как прикованный: во дворе был Бардасок. Он остерегался обычно появляться во владениях Лашына, по сейчас нарушил запрет и с жадностью рылся в куче отбросов. Он тоже заметил борзого. Бардасок стоял к нему вполоборота и только повернул голову, оскалится и зарычал. Однако Лашыну послышалось в его рычанье больше боязни, чем угрозы. Несколько удивленный и успокоенный этим, Лашын пригляделся к псу, которого давненько не видел. Тот словно сделался меньше ростом и был какой-то потрепан-

ный, жалкий на вид. Он, видимо, тоже сопоставил свои силы и силы борзого и понял, что потасовка не обещает ему ничего хорошего. Глухо рыча, он поджал хвост и пустился наутек по направлению к своему дому. На борзого внезапно нахлынула ярость. В несколько прыжков настиг он черного кобеля и тем же способом, каким бросался на лисиц, ухватил его, вцепился зубами в пах, шмякнул о землю и навалился всем телом сверху. Но кобель оказался посильнее лисы. Истошно вой, он кусал борзого куда придется, и лишь когда острые клыки сомкнулись у него на горле, прекратил сопротивление. Хриплые звуки сдавленно клокотали у него в глотке, лапы конвульсивно дергались и скребли землю.

Кровь заливала борзому глаза. Ничего не видя перед собой, он продолжал душить Бардасока. Только неожиданный удар заставил его прийти в себя. На мгновение Лашыну показалось, что хребет у него треснул, переломился надвое — это изо всей мочи пнул его кованым сапогом Есенжол. И тут же замахнулся во второй раз. Лашын увернулся. Выпустив свою жертву, он отскочил в сторону, но не побежал — остановился напротив, оскалил зубы.

Казы, до которого донесся шум собачьей грызни, выскочил на улицу и, прихрамывая, кинулся к Есенжолу.

— Эй, ты чего мою собаку бьешь? — закричал он.

— Бью?.. Да я шкуру с нее сдеру!

— Шкуру?.. Да ты... Ты кто такой?..

— Ах, ты еще не знаешь?.. — усмехнулся Есенжол. — Ну так узнаешь. Я тебя заставлю узнать. Отправишься следом за племянничком.

— До моего племянника тебе дела нет, — сказал Казы, внезапно притихнув. — А мне ты не грози. Люди говорят: правду согнешь, да не сломаешь. Я кровь проливал. Это всем известно. Вот! — и Казы, чуть пригнувшись, хлопнул себя ладонью по деревянной ноге.

— Э, голубок, видали мы таких чистеньких! Ангелы с крылышками, да и только! — голос у Есенжола взвился вверх и задрожал. Он чем дальше, тем больше взвинчивался, срывался на крик. — Думаешь, все ослепли, бдительность потеряли? Не все! И у нас есть глаза

и уши!.. Ты у себя в Красной юрте какие книжки собираешь? А?.. Какие, говорю, книжки?..

— Как это — какие? Те самые, которые советские издательства выпускают.

— Их предатели выпускают, вроде твоего племянника! Все вы одного поля ягода... Я, думаешь, не знаю, какие книжки у тебя летом сын Есенжана брал, студент?.. Всё немецкие да американские. А нашим грамотеям ты что суешь? Старые книжки, старые! Которые о прошлом плачут, про них и в газетах писали! Спалить бы давно их надо, а ты припрятываешь. Может, ответишь — зачем? А?.. Молчишь? Ну, молчи. Зато честные люди молчать не будут!..

— Заткни свой поганый рот, бесстыжая тварь! — Казы ухватил Есенжола за ворот.

Их уже со всех сторон обступили соседи.

— Вот так, уважаемые! Смотрите! — сказал Есенжол, воздевая руки. — Смотрите... Его борзой моего пса задрал, а теперь он и меня хочет убить. Будьте свидетелями!..

— Мразь! — процедил Казы сквозь зубы. — Или тебе и вправду набить рожу!..

— А ты попробуй, попробуй... — Есенжол без усилия высвободил ворот из разжавшихся пальцев и резко оттолкнул Казы. Глядя на своего недруга, неуклюже осевшего в снег, бросил: — Пьянчуга несчастный! — и, брезгливо хмыкнув, пошел прочь.

Лашыну остались непонятны слова, произнесенные во время скандала. Но ясно было, что причиной ссоры послужила его схватка с Бардасоком. Когда Казы схватил Есенжола за ворот, у борзого дыбом поднялась шерсть на спине, он бы кинулся хозяину на помощь, не помешай ему подоспевшие люди. Тем не менее Лашын не сомневался, что хозяин одержит верх над щуплым и тщедушным продавцом. Но случилось иначе...

Обычно Лашын не придавал значения тому, как люди относятся друг к другу. Правда, двуногие бывают разные. Камила, например, пользуясь тем, что она больше Адиля, наедине частенько его покола-

чивала, после чего мальчик уходил, чтобы пригнать кобылу, или отправлялся за водой. А однажды, когда Камила особенно наседа на Адила, Казы запустил в нее сапогом, который в тот момент стаскивал с ноги... Но всему этому Лашын не придавал значения. Зато схватка, причиной которой был он, убедила борзого, что люди, подобно всему живому, делятся на сильных и слабых... Впрочем, уважение к хозяину у Лашына не уменьшилось. Поняв, что в трудную минуту он готов за него заступиться, не полагаясь на собственное превосходство над врагом, Лашын полюбил его даже больше прежнего...

7

Бардасок, едва избежавший смерти, теперь и приблизиться не смел к дому Казы. Стоило ему издали завидеть Лашына, как он поспешно прятался. Что же до Казы, то хоть он и потерпел поражение в стычке с Есенжолом, однако в присутствии продавца ничуть не робел. Раз в два-три дня он заходил в магазин, доставал из кармана похрустывающую бумажку и вручал Есенжолу, а за пазуху заталкивал бутылку, наполненную горькой водичкой...

Борзому нравилось, когда они с хозяином направлялись в ту сторону, где стоял дом продавца, примыкающий к магазину. Бардасок, почуяв их приближение, терял покой. Он забегал в сени, выскакивал наружу и снова прятался, а когда у него исчезали последние сомнения, предпочитал убраться со двора. Казы, впрочем, не заглядывал к Есенжолу в дом, он открывал дверь тесной лавчонки, в которой и двоим не повернуться, и тут же, на пороге, запускал руку в карман...

Дорога в ту сторону борзому была по вкусу, а обратная — нет. Стоило ему немного удалиться от дома продавца, следуя за торопливо ковыляющим хозяином, как Бардасок, взобравшись на кучу прелого навоза, раздражался вдогонку хриплым от ярости лаем: «Испугались? Ну, то-то же! Проваливайте прочь, пока целы!» Остановится Лашын, оглянется — черный кобель сразу же смолкнет. Еще и в подворотню забьется, поджав хвост. Но едва борзой тронется за хозяином, тот опять за свое. Поначалу это злило Лашына, хотелось

кинуться, проучить хорошенько наглого труса, однако вскоре он перестал обращать на него внимание. Другое тревожило Лашына. Вернувшись домой, хозяин ударом ладони о дно бутылки вышибал из горлышка пробку, наливал до краев граненый стакан и выпивал залпом. После этого, чувствовал Лашын, что-то в нем изменялось... Нет, собаку он не обижал и Камилу не трогал, — она и без того на цыпочках, тише тени, ходила по дому... Обхватив руками голову, хозяин подолгу сидел без движения. Но, каким бы смирным ни казался он, Лашын в такие минуты его побаивался.

Все дома наперечет в ауле, расположенном рядом с фермой. В магазин, снабжающий жителей чаем, сахаром, разным продовольствием и одеждой, за целый день явятся три-четыре покупателя. Но Есенжол неукоснительно высиживает за прилавком положенное время — с десяти утра и до шести вечера. Стучит костяшками на счетах, что-то подсчитывает, пересчитывает, распаковывает, увязывает. Разве что в обед позволит себе часовой перерыв, не считая воскресного отдыха. Зато уж если, скажем, в выходной день приедут чабаны с отдаленных зимовок, то проси не проси, а замок с дверей не снимет. «Магазин опечатан, права не имею нарушать государственные порядки, — говорит он сухо. — У меня, дорогие, одна голова на плечах». И остается либо поворачивать восвояси, либо дожидаться завтрашнего дня. Люди, которые круглый год пасли скот, не зная выходных, привыкли к такому обхождению. Им и в голову не приходило возмущаться или жаловаться. И хотя поговаривали, что Есенжол продает товары по завышенной цене, да еще и обсчитывает покупателей, на это смотрели тоже сквозь пальцы. Мол, здесь, в степной глуши, и за такой магазин спасибо, а разживется Есенжол десятью-пятнадцатью копейками — тоже не беда... Широка душа у степняков, не привыкла мелочиться, считать обиды!

Как-то Казы вернулся домой без привычной бутылки. Кончилась горькая водичка; не поверил бы, да сам Есенжол показал ему пустой ящик. Что поделаешь, раздосадованный Казы, прихрамывая больше,

чем всегда, заковылял к дому. Хозяин был хмур, зато Лашын весел. Хрустя затвердевшим после бурана снегом, он крутами носился возле хозяина, раза два или три вывалился в сугробе. С неба сеялись редкие крупинки. Значит, к вечеру пойдет снег, и завтра они не станут отсиживаться дома.

Казы словно угадал, на что надеется борзой. Он сводил коня на водопой к роднику, потом поставил на привязи у плетня, вынес охапку душистого сена; зайдя в сарай, привел в порядок седло с принадлежностями. И только когда багрово-красное солнце, слабо просвечивая сквозь низкие облака, скрылось за горизонтом, они с Лашыном вошли в дом.

В комнате было сумеречно. Казы сбросил сапог, поставил у входа, снял протез, по обыкновению затолкнул под кровать. И прилег перед печкой, облокотясь о подушку, поверх сырмака, насланного на сложенное вдвое одеяло. Собака расположилась у хозяина в ногах. Окно все плотней затягивала ночная темь, ползущая в дом сквозь обыденевевшие стекла. Лишь отблески огня, с треском и шипеньем пожиравшего кизяк под чугунной плитой, вспыхивали на стенах и низком потолке. Порывистый ветер, задувая в трубу, временами гнал пламя внутрь, и оно выбивалось острыми язычками из-за печной заслонки. Тогда на мгновение комната озарялась тревожно и резко. Борзой видел, как хозяин, по-прежнему мрачный, безмолвный, лежит, уставясь в угол тоскующими глазами.

Кизяк в печи мало-помалу выгорал, превращаясь в подернутые сероватым пеплом угольки, темнота вокруг становилась все гуще. Только раскаленная чугунная плита под чайником и побулькивающим казаном угрюмо светилась багряным жаром. В казане варилось мясо, Лашыну щекотал ноздри запах поспевающей конины, сладко дурманил голову... Но хозяин вдруг поднялся и, прыгая на одной ноге, скрылся в соседней комнате. Он вернулся с домброй в руках. Вновь усевшись возле печки, он посидел, помолчал — и начал наигрывать незнакомую, не слышанную Лашыном до сих пор мелодию.

Пальцы его не ударяли по струнам, а как бы осторожно, едва касаясь, пересчитывали их. Мурашки, неведомо отчего, побежали у собаки по телу. Грусть, странная, непонятная, заполнила душу, — грусть и словно бы ожидание чего-то. Лашыну представилось урочище с колышущейся зеленой травой, и вершины холмов, и желтая, спаленная солнцем степь. И будто бы пробираются они с хозяином по некошему лугу, а потом переваливают гряду бесконечных, вдаль уходящих сопок — и устремляются в неоглядно широкую степь. Прохладой веет с ласково-синего неба, ровно и весело рысит конь. Мелкая пыль вьется кудрявой пряжей из-под копыт и тут же рассеивается, будто растворяется в воздухе. Следам снующего повсюду зверья нет числа. Но они едут все прямо и прямо, не обращая на них внимания. Ах, сколько запахов! Лашын водит носом, ловит запах полевых цветов, запах полыни, ковыля, запах знакомых и незнакомых тварей. Вон из-под куста в испуге метнулся заяц, а там, под коричневатым стволом таволги, затаилась лисица... Но охотничий азарт заглох в нем: он не кидается к лисице, не терзает клыками, не душит, придавив к земле. Нет. Одно-единственное чувство целиком захватило его, одна-единственная мечта... Что это за чувство, что за мечта — Лашын и сам не знает. Перевалы и сопки опять и опять сменяются новыми перевалами и сопками, нет края у желтой степи... А они с хозяином стремятся вперед и вперед...

И вдруг — всему конец. Не в силах перевести дыхание, хозяин зашелся, захлебнулся в кашле. Оборвалась песня домбры... Громыкнула дверь, и в окружении морозных клубов появилась Камила. Она, видно, продрогла, устраивая на ночь скотину, и еще дверь не успела закрыться, как послышалась ее воркотня. Казы удержал в груди кашель и, дыша с присвистом, помалкивал. Камила, по-прежнему ворча, скинула на ходу верхнюю одежду, присела на корточки, протянув руки к догорающей плите, немного согрелась, потом засветила десятилинейную лампу, пододвинула к Казы круглый стол, расстелила скатерку. Лампу она поставила на стол поближе к дверям, а сама,

взяв большое, с полустертой росписью блюдо и дуршлаг, принялась вынимать из казана мясо.

Хозяин, разрезая конину, бросил борзому жирную мозговую кость. На ней уцелел кусочек мяса — размером с детский кулачок. Камила что-то неодобрительно буркнула. Казы и теперь промолчал, положив перед женой позвонок, обросший мясом на добрый палец. Камила, однако, не оценила этого и тут же сердито затараторила о чем-то. Ее маленький, с наперсток, румяный рот не закрывался, черные блестящие зрачки, казалось, мечут искры, миловидное лицо потемнело. Глядя на нее из своего угла, Лашын и костью не мог насладиться в полное удовольствие. Что-то подозрительное чуялось ему, страх зябким ветерком тронул его затылок... Он успокоился немного, лишь когда Камила сполна выговорила и утихла. Хозяин и его жена принялись за еду, но были оба хмуры, озабоченны. Лашын поймал на лету кость, брошенную ему...

Эх, даже то невеселое времечко в воспоминаниях будет казаться Лашыну завидным...

8

Наутро, рано-рано, когда так и манило подремать до рассвета, они с хозяином поднялись и, едва забрезжило на востоке, отправились в путь. Снег, недолго падавший вчера вечером, сдуло порывами ветра в низкие места, и теперь на фоне застарелой, потемневшей корки, покрывающей из конца в конец всю степь, он выделялся белесыми пятнами. Пестрой и безрадостной выглядела равнина, словно сшитая из грязных лоскутьев. От предутренней стужи воздух сделался жестким и острым, как стальное лезвие. И подобно реке, скованной льдом в ветреный день, коченела в тяжелом безмолвии степь с глыбами приземистых сопок, изломанными гребнями холмов, и не было кругом ничего живого, радующего глаз, кроме чернеющих то здесь, то там редких кустов таволги. Но то ли от холода, то ли от предчувствия кровавых схваток все тело борзого, едва они вышли из дома, пронзила легкая дрожь.

Аул остался позади. Лашын постепенно пришел в себя, бег его стал живее, стремительней. Он продвигался впереди хозяина, на расстоянии аркана, уклоняясь то вправо, то влево, зорко посматривая по сторонам. Казы понимал, что нелегкое дело в такой день и на след напасть, и поймать лису, но тем не менее надеялся на удачу. Авось подфартит судьба, и случай, как говорится, подмаслит тороку седла...

Позади, отделив от горизонта длинное, похожее на ленту облако, показалось солнце. Оно было большое и круглое, как крышка у казана, и красное, как раскаленное в огне железо. Лучи его, разливаясь во все стороны, не согревали, казалось, небо и землю, а добавляли холода. И все же мир преобразился. Мертвая, оцепеневшая степь вздохнула и ожила. Если теневая сторона заснеженных гребней выглядела по-прежнему темной, зловещей, то солнечная заиграла, вспыхнула золотисто-розовыми блестками. Ну, а лоштинки, где скопился выпавший накануне снег, засверкали чистейшим серебром.

Еще через некоторое время, когда сумрачные длинные тени стали короче и посветлели, как бы подтаяли на белесом снегу, впереди метнулся заяц. До него было далеко, но у Лашына уже давно гудели лапы, и, хотя заяц, почуяв опасность, тут же помчался вверх по косогору, пес прямо с места рванулся за ним. В темпе, который он взял, ему понадобилось совсем немного времени, чтобы приблизиться к зайцу. Казы, пришпорив копя, не сомневался, что вот-вот перережет заячью глотку, разбрызгав по снегу алую кровь, и прицепит белую тушку за задние лапы к своему седлу. Вероятно, и Лашыну мерещилось то же самое... Но случилось иначе. Заяц, слыша у себя за спиной нарастающее хрустенье снега, летел стрелой. Лашын выложился до конца, но расстояние между ними не сократилось. Оба выскочили на разглаженное в ровную площадку плато. Но как ни трамбовал его ветер, а снег здесь был все же рыхловат. Зайца-то он выдерживал, а собака в нем проваливалась то и дело. Лашын видел: заяц медленно, но верно удаляется от него...

Он успел на своем веку переловить столько лисиц и зайцев, что хорошо усвоил: звери бывают разные — и тихоходы, не способные к быстрому бегу, и резвые, словно ветер, а потому в конечном счете все решается не только тем, с близкого или дальнего расстояния началась погоня. Этот долгоногий беляк, уже начавший линять с хвоста — хвост был заметно темнее тела, — явно выделялся среди своих собратьев. Он то собирался в горсть, то расстилался над землей — и мчался так, что ни одной живой душе не угнаться. Но гордость пса, не знавшего поражений, ни за что не дала бы Лашыну признать себя побежденным. Где там! Рано или поздно, а он поймает и этого кособого, схватит, распотрошит... Он старался бежать ровно, кровь бесчисленных предков придавала ему задора, он стремился только не упустить зайца из виду.

Подъем за подъемом, лощина за лощиной... Тяжестью налились ноги, но Лашын не сдавался. Наконец, когда пересекли заросшую ивняком и засыпанную рыхлым снегом низину и стали вновь подниматься вверх по склону, Лашын заметил, что заяц от него всего на расстоянии аркана. И бежит уже не так сноровисто, как прежде. И длинные уши у него обвисли от усталости... Пес напрягся, собрал последние силы и рванулся вперед. Но заяц, обезумев от страха, первым выскочил на перевал. Выскочил — и ринулся вниз, туда, где чернели кусты караганника. Измотанный пес только зубами лязгнул, увидев, как беляк нырнул в чащу. Борзого хлестали по морде промерзшие ветки, он с трудом продирался сквозь них. Тем временем юркий заяц окончательно ускользнул от него и бесследно пропал. Бесследно — потому что внутри зарослей караганника, тянувшихся по склону сколько видел глаз, было множество заячьих троп, спутанных, петляющих, пересекающихся, — отыскать среди них единственно верную было невозможно. Лашын, высунув язык, тяжело дыша, потерянно ткнулся в одну сторону, потом в другую, понял, что потерял длинноухого, и повернул назад.

Казы, в шубе с разлетающимися на ветру полами, гнал запаленную лошадь по следу Лашына. Увидев борзого, он спрыгнул с седла,

неуклюже крутнув в воздухе деревяшкой. Первым делом он внимательно пригляделся к собаке, осмотрел морду, пасть, возбужденно дышавшую грудь. Но кровавых брызг на белой шерсти не заметил. Как же так?.. Он был не столько раздосадован, сколько удивлен. До сих пор Казы полагал, что не найдет зверя, которого упустит его собака. Наверное, вся беда в насте, покрывающем снег и ломающемся под тяжестью борзого...

Сезон, когда охотятся на зайцев, уже миновал. Но по приметам, в которые кто верит, кто нет, если на выезде из дома встретится заяц, его непременно надо затравить. Иначе охота в тот день выйдет неудачной и завтра вряд ли что-нибудь путное подвернется... Ну да к чему дальше мешкать? Казы проверил у собаки лапы. Они были целы, только сам пес выглядел усталым и глаза смотрели виновато, пристыженно. У него пропотели и взмокли шея, бока, сопрело под мышками. Кое-где шерсть обметало инеем. Скинув шубу из пояровых шкурок, Казы разостлал ее на снегу и укутал пса. Потом вынул откуда-то небольшой кусок желтого курдючного сала и вложил собаке в пасть.

Когда пришло время, достаточное для одной дойки, Казы оседлал коня и повернул его в сторону аула. Что делать, приходилось смириться с тем, что сегодня им не повезло... Но Лашыну, видно, думалось иначе. Силы у него восстановились, он успел передохнуть. Борзой по обыкновению вырвался вперед и рыскал, сворачивая то вправо, то влево, дотошно выискивая след. Правда, без всякого успеха. Таким образом они двигались довольно долго, прежде чем добрались до широкого плоскогорья. Здесь паслись овцы. Затвердевшая на морозе корка тут и там была пробита острыми копытцами, зернистый снег перемешан с землей и мелкой ледяной крошкой. В нем тонули, пригревшись на солнце, темные овечьи катыши. Кое-где подрагивали, пригибаясь под ветром, редкие, чахлые былинки, уцелевшие от нашествия многочисленных отар.

На пастбище борзой, уже совсем, казалось, потерявший надежду отыскать след, сразу почуял присутствие незнакомого запаха. Запах

был свежий, зверь, видно, только что здесь прошел. Лашын закружил на месте, принюхиваясь, и тут же напал на след. Обыкновенный собачий след, оставленный на снегу, взрыхленном овечьими копытами. Но запах... Нет, конечно же это не заяц. И не лиса. Слишком крупный отпечаток... Это враг. Да, враг... Пес возбудился; недавняя злость, связанная с потерей зайца, вновь заклокотала в нем. От кончиков ушей до хвоста по телу Лашына пробежала резкая дрожь, на спине шерсть поднялась дыбом; немного постояв, как бы успокаивая себя, он двинулся вперед.

Враг — а Лашын, не зная, кто это, уже совершенно отчетливо чувствовал, что это враг, — бежал вдогонку за отарой, которая разбрелась по пастбищу. Лашын трусил не торопясь, чтобы не потерять взятый след. Когда он поднялся на перевал, километрах в полутора показалась пестрая, из черных и белых пятен, рассыпанная по косогору отара. Здесь, на приволье, паслись овцы между темневшими кое-где кустами таволги и уже проступившими на снегу проталинами. И было видно, как чабан, сидя на противоположном склоне, от скуки забавляется тем, что складывает из камешков курган. Конь его, со спутанными ногами, пощипывал внизу прошлогоднюю травку...

Неожиданно прямо перед собой Лашын заметил рослого серого пса. Порысит-порысит — и остановится позади какого-нибудь выступа или холмика. Будто хоронясь... Боевой дух выиграл в борзom, лай — пронзительный, яростный — рассек стылое безмолвие. Раз два или три подал голос Лашын и — такого никогда не случалось — кубарем покатился вниз по склону. Где-то за спиной раздался подбадривающий окрик хозяина.

Серый резко приостановился, едва почувствовав опасность, и тут же повернул в сторону высоких сопok. Его, вероятно, смутил не только человек, упорно скакавший следом, но и собака, грудастая, крупная, — часто оглядываясь на нее, он невольно замедлял бег. Ему не удалось уйти далеко, пес настиг его за первым же перевалом. Голос хозяина подхлестывал борзого, и Лашын, чуя, что противник его бо-

ится, нагнав серого, по старой привычке, как в лису, вцепился зубами ему в пах. И хотел вскинуть в воздух и с силой шмякнуть о землю. Но серый оказался куда тяжелее, чем Лашын предполагал. И тело у него было мощное, крепкое, — он сразу дал понять Лашыну, что его не так-то просто подмять под себя; только зад у него дернулся, когда Лашын ухватил зубами волчье тело. И в тот же миг острые клыки щелкнули у самого уха Лашына. Но серый не рассчитал, оборачиваясь, и чуть-чуть не дотянулся, чтобы вцепиться борзому в морду. Когда он вторично, с красными, налитыми кровью глазами, наскочил на пса, сверкнув оскалом длинных белых зубов, Лашын успел увернуться. Серый схватил воздух, но зато сумел высвободиться из железной пасти борзого. Раздался крик, — это кричал скакавший на коне Казы. Серый, оставляя позади кровавый след, пустился бежать. Лашын кинулся за ним, взбешенный тем, что не сумел в схватке одолеть и подмять волка. Но что на сей раз противник попался не из слабых — это он уже понял. И понял, что лишь быстрота и увертливость помогли ему самому остаться невредимым. Однако страха у него не было, напротив, ожесточение придавало ему силу и смелость.

После того как Лашын чуть не до смерти закусал Бардасока, он стал охочим до драк. Не было от Лашына покоя собакам, которые сопровождали хозяев, приезжавших в аул с окрестных зимовок. Быстрый, ловкий, сноровистый, как и положено псу его породы, Лашын одерживал верх над сторожевыми собаками, не уступавшими ему в силе. Случалось и борзому отведать их клыков. Но из любой схватки в конечном счете он выходил победителем. А собака, хотя бы раз побывавшая его жертвой, больше никогда не рисковала заглядывать в аул.

Помня о прежних победах над косматыми сторожевыми псами, Лашын решил применить испытанный прием. Следовало, улучив момент, вцепиться волку чуть пониже уха или в глотку. Волк, почувяв, что бегством ему не спастись, уже не надеялся на свои ноги. Он видел, что единственный шанс уцелеть — это осилить противника в кровавом поединке. Угрюмым, беспощадным огнем горели его гла-

за. Волк и собака, следя за малейшим движением друг друга, бежали почти рядом, почти соприкасаясь мордами и стараясь улучшить подходящий момент для нападения. Они порядком опередили Казы, который следовал за ними. Серый только того и дожидался: он внезапно прервал бег и стремительным скачком рванулся к Лашыну, по инерции продолжавшему двигаться вперед. И на этот раз увертливость спасла борзого — волк успел вцепиться ему в бок и вырвать кусок мяса меж ребер, но и только. Из раны хлестнула кровь... Лашын, впрочем, не заметил этого в пылу схватки. Ему почудилось было, что бок опалило пламенем, но и это чувство тут же исчезло, растворясь в ярости, которая теперь бушевала в каждой его жилке.

И все же он пока не кидался на волка. Это волк, все с тем же утрюмым, беспощадным огнем в глазах, насккивал на пса, напряженно замершего, неподвижного. И ни звука не издавали ни тот, ни другой — не было слышно ни лая, ни рычания. Только учащенное дыхание вырывалось из волчьей пасти да зубы щелкали, хватая воздух.

Лашын выжидал. Ему достаточно было поймать волка на единственном неверном движении, чтобы сокрушающим броском закончить поединок. Все решала выдержка...

И он дождался своего. Волк, поверив, что он намного превосходит собаку в силе, утратил терпение и осторожность. Рывок... Но Лашын ловко увернулся и в свою очередь кинулся на волка. Он целил в глотку. Но просчитался — вцепился в толстую волчью шею. Зато вцепился намертво. Зубы его глубоко вошли в волчье тело. Волк тоже попытался ухватить собаку за плечо, но зубы лишь содрали лоскут кожи, покрытый гладкой шерстью. Лашын продолжал все глубже вонзать клыки, намереваясь вывернуть волку шею и свалить зверя на землю. Однако тот не поддавался. И мускулистая шея была крепка, клыки словно вросли в нее и затвердели. Но Лашын чувствовал: долго волку в таком положении не продержаться, — и яростно рычал, пытаясь плотнее сомкнуть челюсти. Только бы не дать вырваться... Вдруг позади раздался конский топот и зычный голос хозяина. Волк, упершийся в землю всеми четырьмя лапами,

чуть ослаб, подался, и Лашын, ощутив новый прилив сил, в один миг свернул зверю шею. Волк упал, неуклюже задрывав лапами в воздухе. И все-таки он еще не сдался, еще пробовал подняться, столкнуть с себя борзого, и комья снега, перемешанного с землей, летели из-под его лап.

Но в это время, бормоча себе под нос «бог в помощь» или что-то в этом роде, с лошади скорее скатился, чем спрыгнул Казы. Спотыкаясь и падая на бегу, он выхватил из-за голенища широкий охотничий нож и полоснул волка по брюху.

Пришлось вложить борзому в пасть конец рукоятки камчи, чтобы разжались сведенные намертво челюсти. На боку у Лашына была рана, довольно большая, но не опасная: на ребрах была содрана кожа, вырван клочок мяса... Заживет. А раны на груди, на лопатках — так, простые царапины, затянутся через пять-шесть дней. Казы был рад, что удалось остановить кровь, сочившуюся из тела собаки.

И в самом деле, Лашын вскоре поправился. Правда, рана на боку, размером в ладонь, довольно долго гноилась, но наконец и она заросла рубцом... Зато Казы, которого на охоте прохватило холодным ветром, слег в постель.

9

Стаял снег, в степи зазеленело, и небо, поголубев, словно раздвинулось вглубь и вширь. Семья Казы погрузила на скрипучую, высохшую арбу старую войлочную юрту, которая долго хранилась в сарае, и, пристроясь к цепочке верблюдов с такой же поклажей, направилась в сторону джайляу, на сенокос. Красная юрта перешла под начало жены Есенжола — картавой Айсулу. Казы это не огорчило. Чувствуя, что болезнь одолевает, он предпочел вести спокойную жизнь, не ерепениться попусту и пить свежий кумыс от собственной кобылицы.

Сенокосный аул — так называли пять-шесть юрт, где жили скотоводы, обязанные заготовить сено и корма для колхозных отар. А овцы, которых пасли они сами, на лето были розданы по соседним

отарам. Поэтому у каждой семьи осталось две-три собаки, временно лишенных привычного занятия. Многие из них были простые дворовые кобели, но встречались и редкие полукровки. Некоторые оказались знакомцами Лашына, не раз получавшими от него взбучку, с прочими — тем же порядком — познакомился он теперь. Хозяева нередко вступались за покусанных собак, доходило до ссоры, но не до такого жестокого скандала, как тот, что случился зимой между Казы и Есенжолом. Собаки — они и есть собаки, стоит ли из-за них оскорблять друг друга?.. После того как все обосновались и пообвыклись на джайляу, однажды в густеющих вечерних сумерках на тархтящей, быстроходной арбе, которая двигалась сама собой, в аул прикатили трое незнакомцев, на взгляд Лашына, чрезвычайно странно одетые; не задерживаясь долго, они увезли с собой Казы. Лашын, впрочем, не придавал этому событию значения. Он был в расцвете сил, в поре зрелости, когда перед ним впервые приоткрылся неизведанный и влекущий мир чувств, о которых до того времени он не имел представления. И всему причиной была сука — полукровка по кличке Ушар. С того времени, как она вошла в период течки, все аульные кобели бегали за нею по пятам.

Вот когда закипели кровавые сражения!.. Лашын зачастую оставался в одиночестве, и не так-то просто ему бывало устоять против целой своры разъяренных собак! Шерсть взлетала клочьями, иные, ростом с годовалого теленка, лохматые псы лишались уха, иные бежали с поля битвы, истекая кровью, но и сам Лашын потом подолгу зализывал глубокие раны. И все же, одолев соперников, он остался единоличным обладателем красавицы Ушар. Прочие собаки, поглядывая, как они развлекаются, только кружили в отдалении, не рискуя им помешать. Но не успел борзой в полной мере насладиться торжеством, как вместе с другими аульными ребятами приехал на летние каникулы Адиль. И первое, что он сделал, это разогнал палкой остальных собак, взял за ошейник Лашыпа, привел к юрте и привязал к порогу на волосяной повод. Борзой хоть и радовался появлению маленького хозяина, но такой поступок не мог одобрить.

Однако ни жалобное поскуливание, ни беспокойный лай не тронули Адиля. Он освободил пса только тогда, когда все собачьи страсти в ауле приутихли.

Адиль во многом изменился. Он, разумеется, за год подрос, отпустил на лоб челку, но главное — сделался не по возрасту серьезен. Говорил мало, во всем старался походить на взрослого. Игры с аульными детьми его не привлекали. В юрте было с десяток толстых и тонких книг, ими-то и занялся Адиль, каждой по очереди. С одной же и вовсе не расставался — читал и про себя, и вслух, с выражением. И когда слышался в юрте звонкий голос Адиля, дверь широко распахивалась от легкого удара посоха, и в юрту входил старый Омар, перебравшийся вместе с Казы на джайляу и здесь исполняющий обязанности точильщика кос.

Оп располагался на тёре, подвернув под себя по-турецки ноги, слушал мальчика и спрашивал:

— Про какого батыра ты читаешь — как его имя?

— Алпамыс.

— Умница, голубок... Одинокому, говорят, бог — опора. Он тоже у отца с матерью единственный был, как ты. В огне не горел, в воде не тонул, стрела его не брала и меч не рубил, в одиночку против многотысячного войска ходил, потому что храбрым батыром был, мужественным, страха не ведал. Нет уже батыров таких, перевелись... И силы такой нет в человеке. Зато знания есть, мудрые книги, — они дают человеку могущество, силу, крыльями награждают, львиное сердце дарят, зажигают звезду в груди. Учись, голубок. Улыбнется тебе судьба — станешь настоящим джигитом, достойным человеком. Готовься к этому дню и остерегайся прийти к нему ни с чем. Учись. Будешь хорошо учиться — добьешься всего, чего захочешь.

И оба молчат, задумавшись. Наконец Омар говорит:

— А теперь, Адильжан, уважь старика, читай дальше...

Так случается почти каждый день.

Иной раз Адиль, как и в прошлое лето, берет Лашына с собой и уходит с ним далеко от аула. Но уже не прыгает через встречные ямы

и кусты, не размахивает ивовым прутом на бегу, крича во все горло, не вслушивается в эхо, возвращающее голос, отраженный сопками, не валяется, резвясь, в сочной траве. Увидит какую-нибудь сопку повыше — взберется на нее, усядется на камень и сидит, в молчании глядя на извилистую дорогу, проложенную от степи колесами тряских телег, исчезающую на горизонте; дует ровный ветерок, шевелит на лбу коротенькую челку. В такие минуты Лашын блаженствует, пристроившись рядом с Адилем, на каком-нибудь замшелом камне, подставив, как и мальчуган, грудь дыханию степного ветра и грея спину на солнце.

В пору, когда начали вянуть кончики трав, однажды после обеда вместе с Беккали, выезжавшим в райцентр, в аул возвратился Казы. Адиль читал старому Омару свою книгу и как раз дошел до того места в поэме о Ер-Таргыне, когда батыр, искалеченный, брошенный своими сородичами, лежит в горах Булгыр... Заслышав голоса, мальчик выбежал из юрты. Отец, только что спешившись, обнял его, и Адиль заплакал, зарывшись лицом в отцовскую грудь.

Вечером весь аул собрался в четырехкрылой юрте Казы. И все были веселы, особенно старый Омар. Он с великим трудом сохранял степенность, приличную умудренному жизнью аксакалу. Но едва входил в юрту новый гость, как он поворачивался к Казы и громко, так, чтобы все слышали, говорил:

— Правда гнется, да не ломится... Нет, не зря сказаны эти слова!.. Если ты цел и невредим вернулся домой, избавился от напасти, значит, есть справедливость на свете. Видно, услышал аллах Адиль и его мать. Возблагодарим же создателя, всемилостивого, всемогущего! — и Омар то закладывал за губу комочек зеленоватого насыбая, то снова его вынимал, вспоминая при этом давние лишения, которые выпали на долю народа, а также совсем еще недавнюю страшную войну, и опять благодарил бога за то, что все эти беды остались позади.

Ну, а сам Казы говорил мало, больше молчал.. И только прижимал Адиль к груди, только гладил его по голове, ворошил отросшую

за лето челочку на лбу. Иногда Казы начинал душить кашель, и тогда на него становилось больно смотреть... Он очень изменился внешне, осунулся, побледнел. И отпустил черные смоляные усы. Они шли ему, но, кажется, еще больше подчеркивали худобу лица.

Казы так и не удалось оправиться от болезни после возвращения. Когда аул, меняя стоянку, перебрался к Суык-булаку — Студеному ручью, он коснулся щекой подушки, с которой уже не суждено ему было подняться. Умер он посреди ночи. В те дни над Суык-булаком лили дожди, работа в поле прекратилась, все взрослые мужчины были дома. Вблизи от стоянки, на которой расположился аул, на вершине пологого холма, что чуть ниже родника, вытекающего из ущелья, вырыли могилу глубиной в рост человека. Как положено обычаем, не мешкая долго, справили жаназу¹ по покойному, а на завтра с рассветом предали мертвое тело земле. Не было человека, который бы не прослезился. У старого Омара дрожал и срывался голос, пока он читал заупокойную молитву. Только Адиль стоял безмолвный, бледный. Когда обернутое белым саваном тело опустили в могилу, глаза его увлажнились. Как подсказали ему старшие, он зачерпнул рукой горсть черной отсыревшей земли, кинул в могилу и, не дожидаясь конца похорон, ушел.

Когда хозяин, уснув с вечера в своей постели, утром так и не проснулся, это не очень встревожило Лашына. И когда его унесли и зарыли в землю, Лашын не почувствовал особого беспокойства. Мало ли непонятного в людской жизни? Хозяин проспится хорошенько и очнется, пробудится от сна, вернется домой. Ведь и раньше он, бывало, уезжал, но всегда возвращался. А на этот раз он и вовсе не ушел далеко. Лежит прямо за аулом. И не сегодня-завтра поднимется...

Однако чем чаще навещал борзой могильный холмик, тем тоскливей делалось у него на душе. Что-то смутное начинало его тяготить. Что-то похожее на боязнь — а вдруг хозяин залежится надолго,

¹ Жаназа — поминки.

вдруг будет пустовать без него дом, как это случилось летом, когда пропадал он целых три месяца... Вспоминая то время, Лашын чувствовал себя одиноким, заброшенным. И когда Омар, посадив на запряженную быком арбу пять или шесть ребятишек, отправлявшихся в школу, выехал из аула, борзой увязался за ними. Как ни пытался отогнать его Адиль, пес не отставал. И только тогда повернул назад, когда тот, соскочив с арбы, запустил в него камнем.

Лашын был обижен, и обижен без всякой вины... Это он чувствовал. А понять, что чувствовал Адиль, уезжавший на трясковой арбе из аула, — это было ему, разумеется, недоступно.

10

Казы по-прежнему спал на вершине сопки. Спал, не просыпаясь. Не пытаясь хотя бы разок заглянуть домой. Между тем листья пожухли, помрачнело небо, сенокосный аул рассеялся — люди разъехались по своим зимовкам. Камила с Лашыном тоже вернулись к себе на ферму. А Казы как лежал в земле, так и остался лежать поблизости от старого становища.

Пустота была в доме, в каждой из трех его комнатенок. Бежать без оглядки хотелось отсюда, от жутковатой этой пустоты. Но и в степи было безрадостно. Зарядили дожди. Впрочем, и дождем-то это не назовешь. Так, моросит и моросит с утра до вечера, ни на минуту не перестанет. Хоть бы ливень пролился, что ли, или в небе прояснело, а то сыплет мелкими капельками, всю даль сплошным туманом затянуло — ни то ни се. А прервется ненадолго дождь — задувает ветер, промозглый, пронизывающий до самых костей...

Холодно. Тоскливо.

Да к тому же и голодно, если правду сказать. Не наедается теперь Лашын досыта, как бывало. Порой Камила и вовсе забудет, существует на свете он или нет. Как-то раз, когда борзой, чтобы напомнить о себе, стал путаться у нее в ногах, она даже пнула его, чего прежде никогда не случалось. Пнула, прогнала от себя, словно какого-нибудь попрошайку... Что ж, Лашын больше не надоедал ей. Он укладывал-

ся, свернувшись, в углу за печкой и терпеливо ждал хозяина. Стоило отвориться двери, как тут же поднимется с лап его голова, но в дом входит чужой человек. Послышатся снаружи мужские голоса — Лашын вскочит, распахнет дверь толчком, вылетит во двор... Но не видно хозяина среди беседующих.

Терпел, но не мог притерпеться, привыкнуть к такой жизни Лашын. Единственной надеждой для него было, что все-таки вернется хозяин.

Как-то в сумерках вошел в дом Есенжол. Камила, давно уже улыбчивая, хмурая, повеселела. В казане булькало, варилось мясо. Есенжол, переступая порог, что-то сказал, смеясь, и как ни в чем не бывало расположился на тёре. Камила торопливо накрыла стол и принялась выкладывать баранину на блюдо. Есенжол вынул из-за пазухи бутылку с прозрачной водицей, поставил на скатерку. Когда он смеялся, его рябое личико сморщивалось, сжималось в горстку. Едва перед Есенжолом оказалось блюдо, исходящее сладким паром, как он первым делом накидал перед Лашыном целую грудку костей. Да каких — мозговых, с кусочками не срезанного ножом мяса! Впервые с тех пор, как вернулись они с джайляу, пес мог вдоволь насытиться. И злая давнишняя обида, жившая у Лашына в сердце, исчезла, улетучилась, он был благодарен гостю за его доброту. От вкусной еды, наполнившей пустой желудок, Лашын всем телом расслабился и, умиротворенный, довольный, начал подремывать. Веки его будто склеились, он заснул.

Неизвестно, сколько он проспал, перед тем как очнуться от странного стога. Лампа была не потушена. Стол не убран. Блюдо с остатками мяса по-прежнему стояло посреди стола, и рядом — опустевшая бутылка. Лашын снова начал погружаться в дремоту, но слышались те же звуки. Он понял — это голос Камилы. Стон доносился из соседней комнаты. Казалось, кто-то душил женщину, она задыхается... Сон пропал в одно мгновение, и собака, прыгнув через стол, кинулась на помощь. При свете лампы, падавшем через открытую дверь, он увидел, что Есенжол подмывает под себя Камилу на посте-

ли. Борзой устремился к нему, рванул одеяло. Вслед за тем острые клыки по самые десны ушли в голый жирный зад.

Отчаянный вопль разнесся по дому. Оба в страшной суматохе соскочили с постели. Но когда собака вновь ринулась на Есенжола, Камила, в чем мать родила, вместо того чтобы помочь, набросилась па самого Лашына. В руках у нее в тот момент ничего не было, а пес, рычащий, с налитыми кровью глазами, не думал отступать. Наконец Камила схватила палку Казы, обычно стоявшую в ногах у кровати, и выгнала борзого на улицу. Первый раз в жизни Лашыну пришлось заночевать во дворе, а не у себя в доме, под крышей, в тепле...

С того дня совсем скверно жилось Лашыну. Миска его постоянно была пуста. Оставалось пробавляться отбросами на мусорной свалке, а иногда и голодать по два-три дня. Но в самые голодные дни не рыскал он, подобно Бардасоку, по дворам, не вынюхивал что-нибудь съедобное в вонючих помоях. Уж лучше промышлять мышами, чтобы не подохнуть с голоду. Однажды поблизости от аула ему повезло даже поймать зайца.

Куда труднее оказалось переносить осеннюю непогоду. Борзой искал прибежища, зарываясь в солому, сложенную кучей за сараем. Но плохо согревала она пса, выросшего в четырех стенах. Особенно под утро, когда белела от инея трава и еще злее задувал пронизывающий ветер, борзой, не зная, куда деваться, дрожал всем телом. Ну, а в дождливые ночи ему приходилось и совсем туго. Лашын усаживался под стенкой сарая с подветренной стороны и так встречал рассвет. Не пытаясь ни скулить, ни просить Камилу открыть дверь, зная, что все равно она не смягчится.

Один-единственный человек в ауле сочувственно относился к борзому. Старый Омар, заметив как-то, что пес ночует на улице, под открытым небом, пришел за Лашыном и увел к себе домой. И велел хорошенько покормить его. Надеялся Омар, что борзой переспит у него, но не тут-то было. Пес, похоже, только и дожидался, пока откроется дверь, чтобы вылететь опрометью на улицу. А затем вернуться на свое прежнее место, к сараю.

Не раз и не два Омар возобновлял свои попытки, но собака так и не прижилась у аксакала. Поест — и снова восвояси. Как можно — вдруг хозяин вернется?.. Лашын готов был теперь не отступаться от него ни на шаг. Бегать за ним повсюду, куда бы тот ни направился. Только бы не потерять вновь... Но так и не появлялся хозяин. Случалось, иногда через день, иногда через два-три дня, после полуночи или в предрассветных потемках, кто-то осторожно постукивал в оконное стекло, и Камила открывала. В первый раз борзой, уверенный в том, что явившийся в столь неурочный час человек и есть его хозяин, тут же вскочил с места и побежал было к нему, но увидел всего-навсего проскальзывающего в дом Есенжола. Вскоре негромкое постукивание в оконце и ответный скрип двери стали для Лашына привычными. Он оставался у себя на сене и не двигался. Душа к Есенжолу у него никогда не лежала, но все же, чувствуя, что его вмешательство здесь неуместно, пес, незлобивый по природе, затаил свое недовольство глубоко внутри.

Однажды среди ночи хлопьями повалил снег. Ночь выдалась безветренная и была теплее обычного. Отощавший пес провел ее в полудреме, зарывшись в солому. И раскрыл глаза, лишь когда стих снегопад. Все вокруг было белым-бело. В очищенном, прозрачном воздухе удивительно четко проступали очертания холмов, как бы отступивших за ночь от аула в далекую даль. Борзой потянулся, расправляя занемевшее тело, и шумно встряхнулся. Потом, вдохнув полной грудью свежий, бодрящий воздух, прыгнул на месте раз, другой... Что-то давнее проснулось в нем, и смутно захотелось прижаться, прилажаться к кому-то... Он обежал двор. Кто-то заходил в дом и не сразу, а спустя некоторое время вышел. Следы, которые вели к двери, успел припушить снег; те же, что тянулись со двора, отпечатались ясно, даже узоры на подошвах сапог были заметны. Это Есенжол. А от хозяина, видно, по-прежнему нет вестей...

Лашын постоял немного, вглядываясь в контуры отдаленной гряды сопок, затем неохотно, как бы против воли, медленным ша-

гом двинулся из аула. На окраине задержался, опять постоял. И уже решительно, не оглядываясь, затрусил напрямик в сторону Суык-булака.

11

Поверхность выпавшего за ночь снега успели испещрить следы множества зверей. Здесь все как на ладони. Кто прошел, когда, куда держит путь — Лашыну с первого взгляда понятно. Вот прорысила на трех лапках желтая ласка. Следы ее исчезают неподалеку, под кустом таволги, чтобы шагов через десять-пятнадцать снова обнаружиться на снегу... И в самом деле, они тут как тут. Теперь ласка повернула направо. Но Лашыну она ни к чему. Маленький зверек, какая ему цена?.. Ну, а тот след, что идет наперерез, — это хорек. Хоть и невелик, а силен и увертлив, и отчаянный — страсть! Любил его хозяин. Бывало, идут они по следу лисицы, а встретится хорек — непременно свернут за ним. Но сейчас Лашын торопится. Как-нибудь после, вместе с хозяином, будет случай сходить на хорька... Лисий след. Наверное, резво бежала, хвостом помахивала, пушистым, игривым... Тоже прошла стороной, и незачем ее преследовать. А это лисенок. Ну да бог с ним, пускай себе прыгает. И снова лиса. След свежий, недавно пробежала. По следу легко догадаться — самец. Эх, и стелется же сейчас где-то по снегу, сверкает на солнце рыжим огнистым языком... Где-то близко, один-два холма их разделяют. Жаль!

Но нет, не выдержала душа. И только пустился Лашын по следу, только взобрался на первый же гребень и взгляделся в даль, хоронясь за выступом, как увидел, что лисица и вправду бродит среди кустов караганника в низине.

Пес тут же устремился к ней, наискосок срезая пологий склон. И прежде чем лиса, застигнутая врасплох, услышала шорох и пустилась наутек, Лашын был от нее уже на расстоянии брошенного аркана. Он не дал ей далеко уйти и подмял под себя.

Но вот что странно. Не было у пса прежнего азарта. Зачем он погнался за лисой? Зачем поймал ее — для кого? Что за надобность

была убивать огнехвостую? Он не знал. Неподвижная, вытянувшись во всю длину, лежала перед ним лисица. Капелька крови скатилась у нее из носа в снег. Борзой огляделся по сторонам — нет ли кого поблизости? Нет. Никого. Хотя что значит никого? А хозяин? Ведь он-то совсем рядом... Лашын, вспомнив, зачем покинул дом, даже не взглянул больше на свою добычу и помчался веселыми длинными скачками к Суык-булаку. Ему была известна кратчайшая дорога. Оставалось обогнуть, двигаясь узкой лощиной, крутой отрог, заросший колючим шиповником и ушкатом.

Уже в лощине борзому почудилось, что кто-то со стороны следит за ним. Лашын обернулся назад, но никого не увидел. И не заметил ничего настораживающего, подозрительного. Не задерживаясь дальше, он побежал вперед. Но неприятное, тревожное ощущение возникло снова. Лашын передернулся всем телом, боязливо огляделся вокруг. Нет, ничего такого, что могло бы насторожить внимание... И все-таки словно таинственный обладатель какой-то непонятной, сверхъестественной силы все туже сжимал его в холодных, чудовищного размера тисках. Они охватывали Лашына со всех сторон — жестокие, невидимые... Борзой ускорил бег. Уже и отрог, покрытый кустарником, позади, теперь надо подняться к седловинке между холмами, а там уже неподалеку лежит хозяин... И вдруг Лашын замер на месте, остолбенел от неожиданности. Прямо напротив, облокотясь на серый валун, кто-то стоял. Кто-то расплывчатый, с пятном вместо лица, и контуры тела его были тоже размыты, неопределенны. Но это был Казы — на голове лисий тымак, на плечи наброшена хорьковая шуба. Кажется, смотрит на Лашына и улыбается. И зовет к себе — без единого слова или звука, но Лашыну все понятно... Радостный лай рванулся из собачьей пасти, одним скачком одолев пространство, пес прыгнул к хозяину. Но что-то лязгнуло. И Казы исчез. А то непонятное, сжимавшее Лашына со всех сторон чудовищными тисками, внезапно вонзило зубы в его переднюю правую лапу, в то место, откуда вырастает локтевая кость.

Кто-то из чабанов, задержавшихся до холодов на кузеу¹, наверное, поставил капкан на волка, да так и забыл о нем...

12

Лашыном овладело смятение. Он отчаянно вскинулся кверху — железные тиски не выпустили, не разжались. Он дрыгнул еще раз — но только выдернул из-под снега чугунное зубчатое колесо, скрепленное с капканом длинной железной цепью. Тяжелый груз рванул его лапу к земле, и борзой, перекувыркнувшись, грохнулся на прикрытые снегом камни. Локтевая кость хрустнула, переломилась. Кровь ударила в глаза Лашыну, он привстал и кинулся на капкан. Сероватая сталь, слегка порыжевшая от ржавчины, заскрежетала у него под зубами. Но собачьи клыки оказались бессильны: не им было разомкнуть железные челюсти... Борзой в исступлении кусал бесчувственный металл. Вскоре и капкан, и снег были залиты кровью. Тиски не разжимались — напротив, они сомкнулись как будто еще крепче. Выбившись из сил, борзой повалился на снег. И так лежал долго, ничего не слыша, не видя.

Наконец он открыл глаза. Прежние страх и смятение покинули его. Теперь он смотрел на капкан, вцепившийся намертво в его лапу, как на одно из опасных творений человеческих рук. Вспомнилось, что такой же капкан — только старый, поломанный — валялся и у них во дворе. Это взбодрило пса, внушило надежду.

Придя в себя, Лашын ощутил помимо боли сильнейший голод. Последние дни ему не перепало ни кусочка. Он подумал о пойманной лисе и, хотя ни разу в жизни не отвеживал лисьего мяса, пожалел сейчас, что не распотрошил свою добычу, не насытился ею. Случайно глаза его скользнули по пятнам крови, засохшим корочкой на снегу. Не только рядом с капканом, но и на расстоянии в два-три шага все вокруг было в крови. Тогда Лашын, приподнявшись, принялся

¹ Кузеу — осеннее пастбище.

плотать застывшую на морозе кровь. Спустя несколько минут па снегу не осталось ни единого пятнышка.

Голод чуть приутих, притупился, и борзой почувствовал себя бодрее. Он понял, что самостоятельно из железных тисков ему не вырваться, вызволить его мог только хозяин. И вызволит, лишь бы до него добраться. Лишь бы добраться...

Зубчатое колесо, прикрепленное к капкану как волок, оказалось неимоверно тяжелым. Лашыну со страшным трудом давался каждый шаг. Сломанные кости терлись друг о друга и похрустывали. Все упростилось бы, возможно, если бы зажатая капканом стопа так и осталась бы в железных зубьях. Но она не хотела расставаться с телом и прочно держалась на крепких сухожилиях и мышцах. При каждом шаге, когда Лашын припадал на правую переднюю лапу, в глазах у борзого кружились красные и зеленые всполохи и тонули в сером тумане. Тем не менее вершок за вершком Лашын продвигался вперед. Тяжеловесный волок то цеплялся за камни, то застревал в кустах. В такие минуты Лашыну казалось, что он уже не стронется с места. Но, порядком помучившись, он продолжал путь. Один раз волок защемило между стволами, его никак не удавалось высвободить. За время, которое ушло на тщетные попытки, в казане поспевает мясо... И все-таки борзой догадался оттянуть колесо назад, чтобы кое-как вытащить его и вырваться из чащи. Наученный опытом, он уже старался пробираться там, где не встречалось ни кустов, ни камней.

Но капкан становился с каждым шагом тяжелее. Каким бы ровным ни казалось место, по которому пес прокладывал себе дорогу, под предательски гладким снежным покровом то и дело обнаруживались неожиданные препятствия. Еще сложнее было взобраться на вершину сопки, где лежал хозяин. Раньше Лашын в несколько прыжков одолевал эту невысокую сопочку, но теперь она словно выросла, превратилась в крутую гору. Одно хорошо — раненая лапа застыла к этому времени, превратилась в ледышку. И, не причиняя боли, висела безжизненная. Собрав остаток сил, он тащился вперед.

Солнце клонилось к закату, когда наконец он добрался до заветного холмика...

13

Долго выл Лашын. Выл с короткими паузами, с жалобным всхлипом. Так воет аруана, потеряв своего верблюжонка, — с протяжным, надрывающим душу стоном. Эхом вторили ему окрестные сопки. Как было не выть, не рыдать Лашыну, когда ему открылась ужаснейшая из тайн... Человек, повелитель всего живого на земле, вдыхающий жизнь в бесчувственное железо и уподобляющий его то быстроному коню, то птице, взмывающей выше сокола; человек — всемогущий и всемилостивый — он тоже умирает! Как малый ягненок или как полевая мышь! Вот почему столько дней и ночей лежит на вершине холма хозяин. И нет в целом мире никого, кто помог бы Лашыну, истекающему кровью, ослабевшему, доживающему последние часы... Выл борзой, оплакивал хозяина. Выл, сам уже чуя собственную близкую смерть. Выл, прощаясь с белым светом, с простором земным и небесным...

А наступила смерть еще скорее, чем думалось, и не такая, как он ожидал. Голодная волчица с тремя волчатами, кружившая долгое время возле зимовок, вдыхая запахи дыма, жилья и сытной пищи, заслышав тоскующий собачий вой, тут же помчалась на голос. Вой безошибочно привел ее к цели. Еще издали, выбрав укрытие, она поняла, что поблизости нет людей и что перед нею одинокий, заплутавший в степи пес. Из опасения, как бы жертва, сама шедшая им в лапы, не причинила своим бегством излишних хлопот, все четверо, по безмолвному сговору, крадучись, ползком, окружили холм с четырех сторон и только после этого, с горящими огнем голодными глазами, обнажив в хищном оскале белые, длинные зубы, накинулись на борзого.

В тот день на долю Лашына выпало столько бед, такая ужасная тайна, не оставлявшая надежд, открылась ему, он уже так истомился от страданий и боли, что ничему не удивлялся и ничего не

страшился. Собственное существование утратило для него всякий смысл. Но он был еще жив, а у жизни свои законы. И борзой не сдался, не подставил покорно голову судьбе в ожидании смертельного удара...

Первое нападение волков, посчитавших одинокого пса легкой добычей, окончилось безрезультатно. Только волчица сумела, изловчась, рвануть Лашына за бедра. Клыки борзого, грозно клацая, с молниеносной быстротой мелькали в воздухе, не давая молодым хищникам даже коснуться его тела. Волки отступили, но тут же с удвоенной яростью устремились на свою жертву.

Он был один — их четверо. Он был скован в движениях капканом — им ничто не мешало атаковать пса, наращивая бешеный натиск. Чаши весов были неравны. Волчица, понаторевшая в жестких схватках, уже не сомневалась, что напьется вдоволь теплой крови, наестся свежего мяса. Осторожность покинула ее. Все смешалось, слилось в один яростно хрипящий, лязгающий ком, барахтающийся в облаке снежной пыли. Подмятый волками борзой был в самом низу. Но, упреждая мгновение, когда волки разорвут, растерзают его на части, неуловимым движением он успел вспороть волчице брюхо.

Свою мать, неистово кружившую на снегу, пытаясь ухватить _себя за бок, дотянуться до брюха с вываливающимися кишками, молодые волки заметили только тогда, когда с борзым было покончено и кости наспех обглоданы. Пес оказался не в меру истощавшим, пустые желудки так и не насытились. Напротив, терзавший их голод лишь увеличился, аппетит раздражился. И едва волки увидели кровь, хлеставшую из страшной раны, как немедленно набросились на волчицу.

Прошло совсем немного времени, и от волчицы, которая родила их, вскормила своим молоком, взрастила сильными и беспощадными, остался лишь кончик короткого хвоста и четыре затвердевшие, жесткие подошвы.

На вершине косо срезанной, похожей на тюбетейку сопки, стоящей над одним из глубоких оврагов, изрезавших предгорья Жауыр-тага, насыпан невысокий земляной холмик. Всякий раз, когда поблизости разбивает стоянку аул, кочующий по зеленому джайлау, аксакал, опираясь на крепкий сучковатый посох, ведет к этому холмику мальчика-подростка и, преклонив колени, читает гортанным голосом молитву. И оглаживает холмик ладонью, чтя память покойного. А в те дни, когда мальчику перепадает от матери, он приходит сюда и долго сидит в одиночестве, молча, вздрагивая иногда всем телом. Этот холмик — могила Казы, хотя бы и единственной ногой, но ступавшего по этой земле. А подросток — его сын Адиль.

Здесь, у самой могилы, пролилась кровь борзого пса по имени Лашын. Правда, об этом никто не знает. Все, что осталось от борзого, — это лисьи тымаки на головах у аульных мужчин. Но и они давно поизносились. Их сменили простые мерлушковые шапки, дешевые малахай... Ведь последним в этих краях псом из чистопородных борзых был Лашын.

Перевод Юрия Герта

Бексултан Нуржекеев

(род. в 1941 г.)



Окончил филологический факультет Казахского государственного университета в 1965 г. Его самая первая повесть — «Кінәлі махаббат» («Виноватая любовь») — была опубликована в 1968 г. в журнале «Жұлдыз». Первой его книгой стал сборник повестей и рассказов «Күй толғақ» («Раздумья о кюях»), которая увидела свет в 1972 г., далее отдельными книгами выходили другие сборники: «Күтумен өткен ғұмыр» («Жизнь, прошедшая в ожидании»), «Бір ғана махаббат» («Только одна любовь»), «Әйел жолы — жіңішке» («Тяжела ты женская доля»), «Бейтаныс әйелдің құпиясы» («Тайна незнакомки»). Им также были написаны романы «Бір өкініш, бір үміт» («Одно сожаление, одна надежда»), «Жау жағадан алғанда» («Когда враг стоит у ворот»), «Ерлі-зайыптылар» («Супруги»), «Әй, дүние-ай» («Эх, этот бранный мир»).

Одна из основных тем в творчестве Б. Нуржекеева — любовь, отношения между мужчиной и женщиной. В его книгах показана неиссякаемая страсть и беззаветная любовь, он с пронзительной правдивостью и тонкостью рассказывает о радостях жизни и трагедии человеческих судеб. Поражающий до глубины души лиризм автора позволяет назвать его «казахским Мопассаном», «певцом любви».

Еще одна излюбленная тема писателя — древняя казахская история отечества. Она отражена в историко-этнографическом эссе «Өзендер өрнектеген өлке» («Край, реками опоясанный»), вышедшем в 1982 г. После этого в республиканской периодической печати систематически публиковались его вдумчивые, значимые по содержанию материалы, посвященные древней и новой истории казахского народа, спорным ее моментам и белым пятнам. Исторический роман «Әй, дүние-ай» («Эх, этот бранный мир») — красноречивое свидетельство того, что писатель старается не оставлять белых пятен в отечественной истории, нераскрытых тайн. В 2018 г. за этот роман Б. Нуржекеева удостоен Государственной премии Республики Казахстан.

В 2002 г. увидела свет книга «Өнер құдіреті» («Впечатляющая сила искусства»), в которой Б. Нуржекеев собрал воедино познавательные статьи о выдающихся деятелях

БЕКСУЛТАН НУРЖЕКЕЕВ

искусства, таких как Куляш Байсеитова, Жамал Омарова, Мукан Тулебаев, Данеш Ракишев и других, а в 2003 г. вышла книга «Ойұшқын» («Искорки мыслей»), посвященные таким известным певцам и акынам, как Асет Найманбаев, Сара Тастанбеккызы, Торебай, а также знаменитым батырам: Кабанбаю, Богенбаю, Агынтаю.

В 2016 г. издано пятнадцатитомное собрание сочинений писателя.

Произведения Бексултана Нуржекеева переведены на русский, английский и турецкий языки.

Смерть души

Прежде говорили: «Умерла баба — сломалось кнутовище у кнута». Кем бы ни было сказано, видно, сказано было во времена, когда этот предмет был еще в большой цене. Человеку, который верхом на лошади промышляет скотоводством, кнут без кнутовища разве пригодится? Бесплезная вещь... Оттого и бобыля, живущего без жены, уподобляют кнуту без рукоятки. Кайран¹, похоронивший нынче жену, размышлял о глубине этого сравнения. Но для Кайрана жена была погребена не сегодня, а, казалось, гораздо раньше — семнадцать лет тому назад².

* * *

Тогда Кайран, занимаясь археологическими раскопками, более двух месяцев пребывал в Карагандинской области. И до смерти истосковался по старшему сыну Максату, младшему Мурату, сладенькой дочурке Орим, которой исполнилось девять, и по жене Ульдир³. Как же не стосковаться полному сил, сорокаоднолетнему мужчине по тридцативосьмилетней своей женушке?! Да к тому же донимала наступившая в октябре Аркинская⁴ бесснежная стужа. Бог

¹ Имя Кайран переводится как твердый песчаный грунт на дне, на берегах реки, озера, а также: мель, отмель.

² Кроме линии, которая здесь выстроена, напрашиваются более глубокие идеи, построенные на милосердии и прощении, современном рациональном мышлении, толерантности и др., что не является отступлением от непреложных догм.

³ Ульдир — женское имя, означающее изящная, нежная, сладострастная, а также что-то мягкое, пушистое.

⁴ Аркинская — имеется в виду Сары-Аркинская (Сары-Арка), регионы центрального и северного Казахстана.

ведает, был бы моложе, без оглядки самовольно, может, рванул бы в Алматы¹.

Руководителем был опытный, в годах человек. Возможно, уставший от семейных проблем, он не часто вспоминал о жене и детях. Да вроде бы и не тосковал по ним, подобно Кайрану. Тем не менее, человек кампанейский и неунывающий, он любил веселое застолье и шумный разговор. Оказываясь в компании, чувствовал себя как рыба в воде, мог свободно шутить даже с незнакомцами, а при случае и неплохо спеть. И так как родом был из самой Жана-Арки², то знакомые и близкие находились у него в каждом ауле. Обычно он говорил своим подшефным: «Так, ребятушки мои, сегодня быть нам гостями еще в одном замечательном домике...» — после чего увлекал их за собой. Старшим из троих был Кайран.

И вот, когда они лезли из шкуры вон, стараясь доделать нелегкую работу, руководитель снова потащил их к очередным своим знакомцам. Глава семейства оказался одного с их начальником возраста и притом схожим с ним по характеру. Дом вместе с хозяйственными пристройками находился на одном из протоков реки Сарысу, поросшем камышом и ивняком, неподалеку от основной проезжей дороги. Четыре сына, четыре снохи и одна взрослая дочь хозяина приняли гостей весьма радушно. В период всеобщей приватизации им удалось оформить на себя довольно приличную долю. Поручив отару овец одному сыну, табун лошадей — другому, стадо коров — третьему, а самого старшего поставив главой над ними, отец вместе со своими отпрысками держал в руках всю округу: разожмет руку — она на ладони, а сожмет — в кулаке. И летом, и зимой кумыс и айран

¹ Можно также рассматривать поведение героев не только с национальной, но и с социальной, физиологической, приземленно-бытовой и др. точек зрения, когда обстоятельство, положенное в основу идеи, возникает «сплошь и рядом», и многие жертвы не воспринимают его как неразрешимую трагедию или не доводят ситуацию до тупиковой.

² Жана-Арки — Жана-Аркинский (Жанааркинский) р-н Карагандинской области.

текли в его доме непрерывным потоком. Дружное семейство, подметил Кайран, построившее свой рай собственными руками. Его очень заинтересовало их знание дела и дедовских навыков животноводства, более же всего поразило, что и четверо сыновей, и четыре снохи, да и единственная дочь в том числе, — все имели прекрасные природой данные голоса и превосходно пели. Вначале спел свою песню старший из сыновей. Боже ж ты мой, и мелодичность ее, и протяжность — все в ней было гармонично и не коробило искущенного слуха. Иные композиторы, сочинив подобие песни, готовы лопнуть от бахвальства и при встрече, бог тому свидетель, если не похвалишь их творение, или глаз тебе подобьют, или всю душу вытрясут. Послушав же джигита-коновода, волей-неволей пришлось признать: «Ай, какой же мы все-таки талантливый народ, оказывается, но совсем не ценим своих дарований!»

Еще ни разу в гостях Кайран не чувствовал себя так легко и непринужденно. В пылу азарта, а может, потому, что и сам хозяин исполнил песню, Кайрану тоже захотелось петь. После старших братьев и снох две песни спела и Карлыгаш. Одна из песен была у всех на слуху, другая, полная тоски и печали, показалась Кайрану незнакомой. Кто его знает, о какой печали хотела поведать девушка, до сих пор незамужняя, хоть и исполнилось ей двадцать пять. Показалось, что песня — это намек на что-то давно тревожащее ее. И как только закончила она петь, полоснула быстрым взглядом по лицам всех присутствовавших, словно пытаясь понять — догадались они о чем-нибудь или нет. А может быть, ей было просто любопытно, какое впечатление произвела ее песня на слушателей. Как бы там ни было, но Кайран ясно почувствовал, что на сердце у девушки какая-то кручина. Впрочем, что же это за кручина такая: «Быть может, по юности обманулась в ком-то, может, не встретила джигита, любящего до беспамятства; или любила она — он не любил, или...» — воображение уводило его в неведомые пределы.

«Дом просторный, кроватей на всех хватит с лихвой!» — громыхал хозяин, уговаривая гостей переночевать. А раз надумали, то и

куырдак¹, и наваристый чай со сладостями поднесены были заново. Улучив момент и выйдя во двор, Кайран нос к носу столкнулся с Карлыгаш, ставящей самовар.

— Фу-ты, извини, милая! Не разглядел в темноте, — воскликнул он, погладив ее по плечу.

— Ничего страшного, ага!² А и нарочно заденете — не обижусь, — сказала Карлыгаш, засмеявшись.

— Нет уж, сердечная! Даже понарошку сбить такую сестренку, редкую певунью, как ты... Неужто мне жить надоело?

— Да вы и сами, ага, выходит, что певец!

— Не-е. Это я так, для поддержания компании... Почтения к публике. Ну, чего ты смеешься?

— Не-е, ага, я нисколько не смеюсь! Многие ведь только голосом поют, а вы — от сердца. Человека же, который поет от сердца, говорит от сердца, я выделяю из всех остальных по-особому.

— Сколько бы ты ни говорила мне комплиментов, я все же понимаю, что я не певец.

— Если именно так понимаете, то очень сильно ошибаетесь. Песни сочиняются не для того, чтобы их исполняли лишь певцы. Правду говоря, каждая песня создается для своего слушателя. Поэтому песню и по-настоящему понимает, и глубоко ее ценит только слушатель. А вы, судя по вашим словам, мне кажется очень чутким слушателем.

— Ну, опять, Карлыгаш, ты иронизируешь! Без всяких этих «очень», сказала бы просто — «слушатель».

— Ладно, будьте просто слушателем. Однако вы тот слушатель, который имеет какое-то представление о песне и об искусстве. Не правда ли?

¹ Куырдак — национальное блюдо из жареных на жиру свежих внутренностей: легких, печени, сердца, почек. Готовится обычно для гостей или при забое скотины.

² Ага — обращение к старшему по возрасту мужчине.

— Карлыгашечка, прошу, пожалуйста, не говори так! Я такой же, как все, и ничем особым не отличаюсь от других. Не ставь меня, прошу, в неудобное положение.

— Своеобразный вы человек! Впервые вижу казаха, который стесняется похвалы. Кстати, это вам к лицу. Видно, скромность у вас прирожденная. А я-то думаю, чем же вы мне сразу приглянулись?..

— Карлыгаш, ты опять иронизируешь?

— Никакой иронии, ага! Я вас действительно зауважала. Что ж вы мне раньше-то не попались на глаза?

Вдвоем они обогнули загон и удалились подальше от жара надворного очага и огнедышащего самовара. Карлыгаш оказалась довольно-таки открытой и смелой девушкой: не скрывает своих мыслей; спрашивает напрямую то, что хочет спросить; решительная и уверенная в себе, без ложной, как бывает, скромности. Кайран любовался девушкой и против воли ласкал глазами ее белоснежную грудь. В такие минуты он, точно призывая себя к смирению, вспоминал об Ульдир. Ее грудь ведь тоже по-особому бела. Даже при выключенном свете она белеет и завораживает.

— Ага, о чем это вы задумались? Соскучились, видимо, по своей семье? По жене, по детям?

— Да... Особенно скучаю по дочке. В ноябре ей исполняется девять. Начинаю думать о ней, вспоминаю запах ее волос. Слышу ее крики «папа, папа!», как будто она находится рядом. Баловники у меня и сыновья. Стараюсь не потакать им, чтоб не росли слюнтяями. Есть же у народа одно меткое выражение: «Одно имя хорошего человека — Злыдень! Одно имя никчемного человека — Слунтяй!»

— Не слышала и даже и не знала о таком. Сходу и не поймешь.

— И я не сразу понял, впервые услышав. Как это Злыдня, зловредного человека можно отнести к хорошим? Потом подумал: а ведь дотошного и взыскательного человека многие тоже относят к зловредному типу. Ну, а слунтяй — известно, никчемный человек, не способный встать между справедливостью и лиходейством. Видишь, какая у народа философия?

— Вы, ага, не похожи на казаха, выросшего в городе. Городской казах не умеет так рассуждать на родном языке.

— Ладно уж тебе, не надо огульно осуждать живущих в городе казахов! Я, положим, хоть и живу сам в городе, но мысленно постоянно брожу по аульным проселкам. В ауле у меня отец, которому за семьдесят, и мать, которой за шестьдесят. Я всегда помню о них, но, жаль, редко навещаю. И каждый раз, когда охватывает тоска по ним, я обнимаю своих детей. Тоску свою заглушаю, пусть хоть на время. Обманываю себя таким образом. Радуюсь, наблюдая за возней сыновей. Перевернут весь дом вверх дном — слова не скажу. То в одном радость свою ищем, то в другом, однако ж истинное счастье человека — дети. Все остальное преходяще. Любовь к детям — одно из вечных и самых глубоких чувств.

— В таком случае, уважаемый агашка¹, расскажите, а на каких задворках прячется любовь к вашей жене, которая подарила вам этих самых детей?

— Как это на каких задворках? Остается на своем месте. Разве любовь к детям и к их матери не чувства, идущие рука об руку?

— Если я у вас что-то спрошу, вы не обидитесь?

— Не обижусь.

— Вы все время говорите о детях, а о жене ни слова, вы что, не скучаете по ней?

— Почему не скучаю? Просто неловко говорить о ней с вами. Но, вспоминая о детях, я, конечно, вспоминаю и о ней...

— Вы, ага, простые вещи объясняете, мне кажется, чересчур подробно. Поэтому я всегда опасаясь лишнего наговорить.

— Карлыгаш, что-то я не совсем заметил, чтобы ты разговаривала с опаской.

— А я вообще такой человек — предпочитаю не утаивать своих мыслей и не скрывать своих желаний. Но в разговоре с вами из уважения пытаюсь подстроиться под вас...

¹ Агашка — от «ага», в наигранно-уважительной русскоязычной форме. Ср. «папашка, братишка».

— Ну и угораздило ж меня, а?! Я даже и не предполагал, что настолько харизматичен.

— Возможно, в вас есть неведомая сила, которая действует лично на меня...

— Возможно ли такое?

— Если нет, то как же вы сможете это объяснить?

— Карлыгаш, ты должно быть глумишься надо мной.

— Не над вами, ага, я над собой глумлюсь.

— Как же это понимать?..

— А никак и не понимайте!

— Это так ты подстраиваешься и считаешься со мной?

— Так, ага. Неужели этого мало? Я только сейчас начинаю понимать, насколько я все-таки нехороший, прямо-таки скверный человек.

— Брось, Карлыгаш, не придумывай! Что с тобой? Зачем такое говоришь? Пойдем лучше, вернемся домой. Нас, наверное, уже скоро искать начнут.

— Если будут искать, то скорее вас. Меня искать никто не будет.

В сознании Кайрана в этот момент промелькнуло какое-то сомнение. «Полно, — сказал он, внутренне себя успокаивая. — Она знает, что у меня семья и дети, вряд ли пойдет на такое. Или... Или ранее познала уж мужчину?» Устыдившись собственных мыслей, Кайран, под прикрытием темноты, мельком посмотрел на Карлыгаш. Словно почувствовав это, девушка в ответ смело взглянула на него.

— Карлыгаш, что-то ты переменилась... Что случилось?

— Утомилась я, ага. Хоть и живу рядом с родителями и родными братьями, одиночество меня окончательно измучило. До двадцати пяти лет ни один парень не взял меня под руку. Ни девичьей первой любви, ни взрослой у меня не было. Положа руку на сердце, скажите, разве это жизнь, ага?

— Возможно, ты сама в этом виновата? Если тебе никто не нравится, то...

— Нет, я не спесивая. Только нормального парня, который бы меня по-настоящему полюбил и которого я сама бы полюбила, до сих пор нет... К примеру, если бы встретился такой человек, как вы, я бы оценила сразу. Увы, но таких не было. Кто его знает, может, теперь и не будет.

— Не говори так, Карлыгаш. Вся жизнь у тебя ведь впереди.

— Вам, ага, не к лицу обманывать. Жизнь не может быть такой, как нам хочется. Боюсь, что в итоге придется соединить свою судьбу с вдовцом или разведенцем.

— Но это ведь тоже жизнь. Лучше, чем ничего.

— Если бы я искала лучше, чем ничего, то, наверное, давно бы нашла. Только мне не под силу сломить свой собачий нрав! Неужели вы не понимаете? Или не хотите понимать?

— Собачий нрав, верно, подскажет идти лишь к любимому. Чего здесь непонятного?

— Нрав этот потому и собачий, что не без подлости. И как же мне быть, если понравится тот, у которого и жена, и дети? Скажите честно, предположим, я полюбила вас, смогли бы вы тогда бросить семью и жениться на мне?

— Конечно не женился бы.

— Почему же?

— Потому как я женился на своей жене по любви. И она, в свою очередь, вышла замуж, полюбив меня. Вдобавок мы оба очень привязаны к детям. И получается, что чувства наши друг к другу слились с любовью к нашим детям...

— А как же быть с мнением, что постепенно любящие в супружеской паре охлаждаются друг к другу?

— Но год от года чувства могут и окрепнуть.

— Получается, врут, что со временем остывают?

— Кто его знает, жизнь не пишет строгих правил, от нее можно ожидать и того, и другого...

— Если взглянуть с научной точки зрения, хотите сказать?

Пока Кайран медлил, не понимая, как ответить на девичье ехидство, Карлыгаш, не промолвив больше ни слова, развернулась и пошла в сторону дома. Почему она так поступила, ведомо было ей одной. Обижаться на Кайрана она могла бы в том случае, если бы между ними существовала близкая и давняя связь. Однако этого не было. Тогда как объяснить ее поведение? Кайран тем не менее чувствовал себя провинившимся, не вполне понимая, в чем же заключалась его вина. Невольно поднял он глаза к звездному небу, где светила, хлопая ресницами и бесстрастно перемигиваясь, как бы отвечали ему: «Да откуда нам знать?!»

...В Алматы Кайран вернулся в середине октября. Утром, сойдя с поезда и впопыхах добравшись до дома, он вдруг вспомнил, что при отъезде не захватил с собой ключа от двери. Не подумал наперед и о том, что к его приезду дети уже уйдут в школу, а жена — на работу. Он заскочил в ближайший магазин и позвонил Ульдир на работу, однако ему ответили, что она сегодня отпросилась. «Хоть я и не предупредил, но, видно, сама, вычислила день приезда, готовится встретить», — подумал Кайран, и на душе у него потеплело. Оставив ручную кладь у соседей, он посчитал правильным подождать у друга Дегдара, дом которого стоял неподалеку. «А к тому времени и Ульдир, наверно, подоспеет», — рассудил он.

С той поры, как страна обрела независимость, занимаясь куплей-продажей на диком рынке, открывая сеть лавок и магазинчиков в разных углах города, Дегдар считался одним из самых продвинутых и деловых джигитов. У Кайрана возникала мысль собрать сбережения и, посоветовавшись с товарищем, открыть собственную торговую точку. Поэтому он рассчитывал за беседой обсудить и этот вопрос.

Подойдя к двери Дегдара, не успев еще нажать на кнопку звонка, он услышал, как в квартире что-то треснуло и свалилось на пол. Ясно, что внутри кто-то есть, но ему не открыли. Он давил на кнопку и отчетливо слышал возню за дверью.

— Дегдар, это же я, — сказал он в громко. И краем уха уловил сдавленный шепот какой-то женщины: «Не открывай!»

— Кайран! — подал голос Дегдар приблизившись изнутри. — Извини! Дома посторонняя душа. Когда ты успел приехать? Ох, так перед тобой неудобно. Но ты ж поймешь, я думаю.

— Э, да ладно. С поезда утром сошел. Ключ с собой не захватил. Ульдир нет ни на работе, ни дома. Поди, вот-вот подойдет. Извини, что побеспокоил не вовремя.

В ту секунду, когда он развернулся, ему опять послышался женский шепот. Казалось, что где-то он слышал этот голос. Не столько даже голос, сколько интонация показалась очень знакомой. Во время спуска по лестнице с третьего этажа у него вдруг зазвенело в ушах, спина покрылась испариной: ведь этот голос принадлежал Ульдир! Точно ей!.. Пальцы у него задрожали, колени подогнулись, и он чуть было не упал. Каким образом выбрался на улицу, не помнил и сам. Старался не глядеть на окно третьего этажа, не поднимал головы, чтоб не выдать себя, не показать своего беспокойства. «Лишь бы не Ульдир! Лишь бы это была не она!..» — молил он про себя.

В какой-то момент решил развернуться и направиться опять к подъезду Дегдара. «В щепки разнесу дверь заклятого безбожника, выставлю на позор перед всеми соседями!» — решил он. Но тут же взял себя в руки. «А если не она, стыда не оберешься... Скорее всего, не она... Ульдир, небось, сейчас дома сидит и ждет, пойду-ка я», — надумал он. С этой мыслью он быстрее зашагал к себе. Но по пути вновь передумал. Зашел за угол противоположного дома и огляделся. «Наверняка они видели в окно, как я уходил. Если это Ульдир, то она рано или поздно выйдет на улицу и отправится домой... Эх, чем всю жизнь мучиться сомнениями, лучше я сам во всем удостоверюсь», — решил Кайран и, обогнув противоположный дом, спрятался за угол, откуда хорошо просматривался подъезд Дегдара.

Через десять минут из подъезда вынырнул Дегдар. Он сразу же повернулся лицом к окну третьего этажа. Видимо, оттуда кто-то подал знак, и Дегдар, резко развернувшись, пошел по следу Кайрана

к противоположному дому. То, что это разведывательный ход, а не случайное совпадение, Кайнар почувствовал нутром. В горле пересохло, тело сотрясилось от дрожи. Чтобы не попасть на глаза Дегдару, Кайнар метнулся к крайнему подъезду.

Вскоре, озираясь по сторонам, возвратился Дегдар. Укрывшись в подъезде своего дома, он наблюдал какое-то время за улицей, периодически высывая голову наружу. Самые неприятные предположения Кайрана подтверждались. И когда из подъезда пулей выскочила Ульдир, Кайран застыл как истукан, да так и стоял с открытым ртом, не в силах сдвинуться с места. Челюсти свело, ноги не слушались. Она же, сохраняя осторожность, поспешила наискось к дому, где как раз прятался Кайран. Обозленный еще более женским плутовством, он вышел из подъезда и встал у нее на пути.

— А-ах! — вскрикнула она и отшатнулась.

Кайран хотел бросить ей в лицо самое мерзкое слово на земле, но, как назло, такое слово не попало ему в тот момент на пересохший язык. Вместо этого посмотрел он на нее самым презрительным взглядом, на какой был способен, плюнул в сердцах и, не обернувшись, направился к подъезду Дегдара. Колотя и пиная дверь его квартиры на третьем этаже, он орал: «Выходи, собачий ублюдок, убью! Негодяй! Продажная шкура!» И только когда соседи подняли крик, угрожая вызовом милиции, он решил, что, пожалуй, хватит; Дегдар ведь все равно не выйдет, а очутиться в отделении, не успев даже повидать детей, — не самый лучший вариант. Но как идти домой?! Как теперь он переступит через порог дома, где находится изменница? Что он скажет детям, в каком виде перед ними предстанет? Не легче ли покончить с собой, чем войти в этот дом?

Он побрел по городу, не разбирая дороги. «Как же мне быть? Что мне теперь делать?» — спрашивал себя Кайран, взбешенный и оскорбленный до глубины души. Старался взять себя в руки, но подлые мысли не давали успокоиться. Он уже рисовал в своем воображении, что жена давным-давно изменяла ему с его приятелем, что

они то и дело встречались за его спиной, посмеиваясь над наивным рогоносцем.

На западной окраине проспекта Абая располагалась небольшая забегаловка; Кайран зашел туда, заказал и выпил в одиночку целую бутылку водки. Ткнул пару-тройку раз вилкой в тарелку, но закуска вставала поперек горла. И водка не подействовала, и закуска не пошла — ни пьяным, ни сытым он себя не чувствовал. Выйдя из забегаловки, опять пошел пешком. «И что теперь делать? — крутилось у него в голове. — Развестись, что ли? Тогда как быть с моими жеребятками? Без них, в конце концов, я же сам изведусь! Без них какая будет жизнь для меня?»

Всего досаднее было Кайрану, что из-за предательства жены страдают их дети, что лишатся они отца, что уйдет из семьи мир, что разрушится она прямо на глазах, как уроненный на пол кувшин. Мысленно он обращался к своим ненаглядным чадам: «Жеребятунки вы мои! Разве я вас у Бога ради этого просил? Без вас мне и жизнь-то не жизнь! Как я скажу вам правду, ужасную правду, очернив вашу мать? А не расскажу — как тогда все объясню? Смертельная обида — смерть души. Как теперь мне с изменницей постель-то делить? А коль не делить, то зачем мне такая жена? Не то что быть с ней, но ее вид, тело и даже дыхание стало мне отвратительно... Что делать мне, убогому: как быть с вами, как быть с ней, как быть с самим собой, как дальше жить-то?»

Кайран, не зная, куда и по каким закоулкам его носит, — все только шел и шел и, словно малое дитя, безутешно лил слезы. Вперемешку со слезами словно выплескивались из груди желчь и боль, убавляясь и будто ослабевая. Осмотревшись по сторонам, он понял, что продолжает идти по проспекту Абая. Но куда двигаться дальше и зачем? — ответов у него не было. Да, он мог бы прямо сейчас махнуть на все рукой, но как же быть с детьми? Предать и не видеть своих детей из-за продажной жены? Покинув дом, он, Кайран, накажет самого себя. А разве это справедливо?

Сам он по-настоящему любил ее, но, видимо, ошибся, поверив, что и она его любит. Теперь его единственное счастье — это дети. Но она их мать. Ребенок, теряющий мать, — истинный сирота. Как же он может сделать сиротами собственных детей? Анафема такому отцу! А если так, то что же, снова броситься в объятия этой изменницы? Не видел бы и не знал, в чем-то бы сомневался — тогда другое дело, но увидеть своими глазами и пойти на попятную?.. Где в нем мужчина, где в нем человек в таком случае? В пылу страсти говорил он ей порой: «Мое золотце!» «Ах! Душенька моя!» — лепетала она в полуобморочном беспамятстве. Теперь ее слова не окутают его иллюзорным счастьем, а, скорее, вызовут отвращение... Продажная страсть — служанка того, кто владеет ею; нет гарантии, что жена не шептала таких же слов и Дегдару. Потому наказание за измену должно быть одно — развод. Однако будут ли счастливы дети, родители которых развелись? Вряд ли. Лишь пережив это и повзрослев, возможно, придут в себя и поймут причину стародавнего семейного раскола. Между тем простить жене измену из-за детей — все равно, что признать эту измену нормой существования. И нельзя смотреть на это, как на ошибку, потому что она может ошибиться еще и еще раз. Как же быть? Ну, если пожелает Ульдир развестись, то воля ее. Да и детям пусть все сама и расскажет.

Так бродил он по улицам до глубокой ночи, выбился из сил. И ноги обессилели, и голова начала гудеть. Даже мысли, рассыпанные в беспорядке, словно утомились. «Была не была! — решил он в один момент, скрежеща зубами. — Клянусь духом предков: пойду на это ради детей!»

Утвердившись в этой мысли окончательно, он подошел к своему дому. Несколько замешкался у двери, подавляя возбуждение. Два раза протягивал руку к звонку и оба раза опускал. Наконец, набравшись храбрости, нажал на кнопку. Прислушавшись, нажал снова. «Папа!» — услышал голос старшего сына. Затем до слуха долетело и нежное щебетанье младших сына и дочки. Борясь с навернувшимися слезами, Кайран растерялся. Скрежет отпирающегося замка,

ослепляющий свет из квартиры, мгновенно обвившая его шею рука старшего сына, звонкий визг малолетней дочки, которой не хватало роста обнять отца, едва не свели Кайрана с ума окончательно. Шагнув, он вдруг обо что-то запнулся. Оказалось, это его багаж. Сосед занес или дети сходили за ним, неизвестно. Главное — дети знали о его возвращении. Птенчики не спали, терпеливо дожидаясь его прихода.

Легонько отодвинув двух сильно соскучившихся и обвивших его с двух сторон сыновей, прижал к себе и расцеловал девятилетнюю дочь. Пока вздыхал ее запах, слезы текли по его щекам и капали на дочкины волосы.

— Оримтайка, моя! — шептал он, нежно прижимая ее к груди. — Ласточка моя!

— Папа, зачем ты плачешь? — спросила дочь, вытирая его лицо ладонью. — Тебя кто-то обидел?

— Нет, светик мой! Просто я соскучился.

— Я лягу рядом с папой! — заявил старший сын Максат.

— И я, — требовательно закричал Муратик.

— Папочка, а я?! — расстроилась Орим, громко захныкав.

Не помещаясь вчетвером на одну постель, расстелили на полу толстое одеяло и стали устраиваться все вместе.

— Чур, я лягу от папы справа! — воскликнула Орим.

— А я тогда слева! — сказал Муратик.

— Ладно, так и быть, я с краю пристроюсь, — бросил Максат.

Пристроиться-то пристроились, но до утра Кайран не смог сомкнуть глаз. Впервые в собственном доме он лежал отдельно от жены. На следующий день, не без расчета придя домой попозже, он, не притронувшись ни к чаю, ни к ужину, понюхал и погладил головки спавших детей и прошел в спальню. Ульдир зашла за ним вслед. Однако он даже не посмотрел на нее.

— Мне отдельно постели, сюда! — сказал он, указывая на пол возле стены. Пусть дети никогда не узнают, что мы спим врозь. Такова моя последняя просьба к тебе.

Так продолжалось неделю. Ульдир не перечила и выполняла сказанное мужем, наверное, предполагая, что в итоге он нарушит договор. Кайран по прежней своей привычке приходил с работы, ужинал вместе с детьми, наставлял их и спрашивал об учебе. Когда же подобная ситуация продлилась дольше месяца, Ульдир, проявляя женский характер, буркнула:

— И что, так и будешь вести себя до скончания века?

— Отныне я не для себя, а для детей своих буду жить. Ну, а ты, если нужна тебе другая жизнь и муж получше, можешь пойти поискать — дорога открыта и ты свободна! Мне отныне ни ты, ни другая женщина не нужны, — сквозь зубы произнес он.

Ульдир застыла на месте. Ее испугали не сами слова, а тон Кайрана, от которого, ей показалось, повеяло ледяным бесчувствием, жутью, не поддающейся объяснению.

* * *

Окончив исторический факультет и женившись на последнем курсе, Кайран устроился в институт археологии, этнологии и истории в Алматы и был безмерно рад тому, что удалось зацепиться за гриву «Конька-горбунка», который надежно будет кормить его семью. Невеста его Ульдир в тот момент была еще студенткой. Вдвоем они снимали «угол» в районе «Компота», как нарекли его люди. Времянка, в которой они обживались, узкие и темные улочки напоминали больше аул, нежели город. И, опасаясь ходить по ночам, Ульдир после захода солнца старалась оставаться дома. Ни в кинотеатр, ни вообще в театр не ходила ни сама, ни Кайрана не отпускала. «Весь мой театр — это ты, а твой театр — это только я!» — говорила она шутя. Ее манеру общаться без обиняков Кайран относил к издержкам русскоязычного обучения и потому не придавал этому особого значения. К тому же слова жены и в самом деле казались правдой. Шаловливая и нежная Ульдир не выпускала из объятий поджарого и игривого Кайрана. Но Кайрану не очень-то и хотелось освобождаться. Казалось, что счастливому сну не будет конца.

Вскоре в их лачужке на свет появились Максат и Мурат. Лишь когда Ульдир родила дочь Орим, институт выделил им сразу трехкомнатную квартиру. То было эпоха, как шутят в народе, всеобщего застолья. Спустя короткое время Кайран защитил кандидатскую. Уйдя с головой в науку, после назначения своего наставника руководителем раскопок принял его приглашение и взял соответствующую тему будущей докторской. Вначале все шло неплохо, но после распада Союза единая ткань науки стала расползаться, появлялись прорехи то там то сям, пока не наступил полный распад. Зарплата иногда выдавалась, иногда нет. Не без усилий завершив написание докторской, готовился Кайран защитить ее следующей весной, но поступок Ульдир словно лишил его сил. Однако, собрав волю в кулак, он старался не выставлять напоказ семейные неурядицы. И в какой-то мере это у него получалось.

Весной он все-таки защитил докторскую, в течение месяца было утверждено звание, и в Жана-Арку с наступлением лета Кайран уже отправился в роли руководителя экспедиции. В этот приезд Карлыгаш сама пригласила его в гости. Принимали его также хорошо, как и в прошлом году. И речи красивой девушки, и мысли ее ничуть не изменились. Впрочем, Кайран, дал себе зарок: «Если ради детей я способен скрыть от людей подлый поступок Ульдир, то неужели ради них же не смогу скрыть от Карлыгаш своих истинных чувств? Подниму детей, не их отрывая от матери, будто бы ничего не произошло, — считай, выполняю свой отцовский долг».

— Может, кто-то и не заметил бы, а я вижу, что у вас появилась какая-то тайна. Скажите, вы, случаем, не хвораете? — прямо спросила Карлыгаш, выйдя на прогулку после чаепития.

— С чего бы это?

— Мне кажется, что-то гложет вас. Вы вроде весело смеетесь, а глаза грустные, и думаете все время о чем-то своем.

— А ты что, установила за мной негласный контроль?

— Конечно!

— Для чего?

— А для чего устанавливают? Вероятно, влюбилась в вас! Вот нравитесь вы мне. Ну, а вы, естественно, не меня любите, а своих детей. На словах любите и жену, пытаетесь обмануть меня. То, что вы говорите неправду, я вижу по вашим поступкам и поведению. Допустим, и любите, но жена ваша вас, возможно, и не любит. Вы это знаете. Знаете, потому и мучаетесь все время... Но дети — как их бросишь? Простите, если ошибаюсь и лезу не свое дело!

А не выложить ли ей всю правды? — промелькнуло неожиданно у него в мыслях, но он тут же отказался от этого. Наговаривать на жену перед чужими — то же самое, что и наговаривать на себя.

— У жены проблемы со здоровьем, вот и переживаю, — нашелся он, подбирая более правдоподобную отговорку.

— Вон оно что! Ох уж эта немилосердная жизнь, каждому давшая какую ни на есть, да болячку! — сказала Карлыгаш, словно беседуя сама с собой.

...Возвратившись в Алматы в холодной осенью, взял Кайран за правило приходить домой как можно позднее. Со временем жену он стал воспринимать как домашнюю тень, или как привидение. Поначалу он старался ненароком не допустить слабину в отношении Ульдир, но потом стало легче. Постепенно в нем развилось устойчивое чувство брезгливости и, наряду с ним, росло опасение случайно выдать перед детьми болезненную неприязнь к их матери. Все это мучило и изводило Ульдир, и в один из дней она, не застелив ни своей, ни его постели, сидела, отвернувшись, словно выражая молчаливый протест. Кайран вознамерился было постелить себе сам, но она вскочила и вырвала одеяло из его рук.

— Хватит уже! — закричала она. — Я не собираюсь дальше терпеть твое издевательство!

— Не собираешься терпеть, так тебя никто насильно не заставляет. Иди, пожалуйста, куда хочешь.

— Почему должна идти я? Иди ты!

— Тогда зови детей. Расскажи без утайки о том, что случилось, пусть они и решат, кто должен уйти.

— Какой же все-таки ты злодей, а?!

Не сказав больше ни слова, Ульдир принялась и за постель Кайрана и за свою. И вроде бы с того дня она успокоилась, потеряв надежду на примирение. Научилась делать без лишних вопросов всю домашнюю работу. Иногда Кайран мог позволить себе перекинуться словом с Ульдир, не заглядывая в глаза и словно не замечая ее подавленного состояния. Лишь с детьми он беседовал подолгу, по-прежнему балуя их. По прошествии десяти лет, достигнув двадцатичетырехлетия, женился их старший сын Максат. По-видимому, надеясь, что это обстоятельство внесет в их жизнь какое-то разнообразие, Ульдир с головой окунулась в свадебные приготовления. Будто между ними и не существовало никаких недомолвок, держалась живо, светила радостью и много говорила, прилюдно обращаясь и спрашивая о разном. Но, как только свадебные церемонии завершились, в отношениях мужа и жены снова воцарился холод. Года через два на свет явился первый внучок. «Таким было одно из имен Аблая,¹ его дал ему бий Толе,² так пусть будет Манкеном!» — воодушевленно объявил Кайран. И сваты, и сородичи, как выяснилось, не имели ничего против. Кайран ликовал как истинно счастливый человек. Однако счастлив ли он был на самом деле или же только казался счастливым, не могли определить ни Ульдир, ни дети, ни даже он сам. Кайран и в самом деле не желал задумываться над этим. В голове его не было иной формулы кроме как «Счастье детей — мое счастье!». Вскоре женился в свои двадцать пять и второй их сын, Мурат. Семейную тайну супругов, перекинувших арку от свадьбы к свадьбе, от потехи к потехе, не разглядели даже сваты. Внешне вполне благополучное существование у посторонних не вызывало никаких подозрений. Но

¹ Аблай хан или хан Аблай — имя одного из казахских ханов, возглавивших национально-освободительную борьбу против Джунгарских завоевателей (XVII–XVIII вв.); известен как собиратель казахских земель и жузов (племенных объединений во главе со своим ханом).

² Толе би — имя одного из трех прославленных народных биев (судей, вершителей судеб).

Кайран, вместо того чтобы смягчиться, год от года становился все молчаливее, все черствее душой.

В один из дней его дочка, уже студентка, посмотрев на отца, спросила:

— Папа, у тебя ничего, случаем, не болит? Может, на работе возникли какие трудности?

— Нет, дочка. Все в порядке.

— Что-то я не уверена, папа. Иногда ты меня не слушаешь, будто бы думаешь о чем-то непонятном. Хоть и сидишь со мной рядом, а мысли твои далеко...

— Может я, Оримтай¹, хотел именно услышать, как ты об отце беспокоишься. Два сына моих женились, ты вот стала невестой, так что прибавили вы мне забот и хлопот. Однако это приятные хлопоты, сама поймешь, когда выпадет на твою долю. Я же ведь счастливый человек: у меня такая дочь, как ты, есть сыновья — Максат и Мурат, разве не так?!

— И жена есть — такая, как мама!

— Да, дочь...

— Мама, присядь-ка, пожалуйста. Послушай. Тебе не хочется разве послушать, какой папа у нас везунчик?

— Сейчас.

То, что к голосу Ульдир примешались слезные нотки, и Кайран заметил, и Орим почувствовала.

— Мама расплакалась, — промолвила Орим, грустно вздохнув. — Я тоже хочу заплакать, папа. Мы же на самом деле счастливы: и я, и Маскат, и Мурат — все мы, потому что у нас есть такой папуля, как ты, и такая мамуля!.. Наклонись-ка, папочка, дай я тебя за это поцелую. Ой, ну, ужас! Теперь и папа расплакался. От вас и у меня глаза мокрые. Но плакать от счастья — это ведь тоже счастье, да? Скажи, папа, да?

¹ Оримтай — к имени Орим (юная поросль, сплетение, девичья коса) добавлено слово «тай», что означает «жеребенок», т.е. родненький, любимый и др.

— Все так, милая! Чтоб это твое счастье не оборвалось на полдороге, бедный отец твой готов через свою жизнь перешагнуть, золотце ты мое!

Если кто и понял значение сказанных Кайраном слов, то только Ульдир, вернувшаяся из кухни; Орим же, конечно, не могла уловить их тайного смысла.

А жизнь так и шла своим чередом. На будущий год Кайран и Ульдир выдали замуж свою Орим, которой только исполнилось двадцать три. Им, определившим «сыновей по собственным гнездам, а дочку за синие горы», к тому времени обоим было за пятьдесят. Кайрану пятьдесят пять, Ульдир — пятьдесят два. На следующий день после расставания с дочкой у Ульдира подскочило давление, и она попала в больницу. Кайран, однако, ни разу не навестил ее. Ухаживать за ней представлялось ему кошунством после ее давнего предательства.

С той поры болезнь Ульдира стала проявляться все чаще. Сначала был один инсульт, затем второй... В итоге, из-за ухудшения ее состояния, Мурат с женой перебрались к родителям, чтобы ухаживать за матерью. Правда, Ульдир от этого не становилось лучше. Она тяжело передвигалась, связная речь давалась ей все труднее. В конце ноября она снова оказалась в больнице. И то ли пожелала объясниться с мужем, то ли душу свою облегчить, но просила свою дочь слезно, чтобы он пришел. «Пойдем!» — сказала Орим, взяв его за руку. Раз уж дочь сама собралась отвести его к матери, он не стал противиться.

Ульдир лежала на боку в отдельной комнате. Жестом дала понять дочери, что хочет остаться наедине с мужем. Потом попросила Кайрана сесть поближе:

— Т-ты... мен-ня... же-жес-стоко н-наказ-зал, — еле говорила она сквозь слезы. — Н-но, што н-не сказ-зал де-детям — т-бе спас-си-бо... Н-не гово-ли и после с-смел-ти, душа моя буд-дет пок-к-ойна...

— Не скажу. Но ты должна знать вот о чем: ты тоже меня наказала, и я, благодаря тебе, семнадцать лет жил в доме как гость, у которого здесь дети, но только нет жены.

— Д-да... Но...

— Запомни, грех совершила ты одна, а бремя наказания мы несли вместе. Ради наших детей. Потому и ты не суди меня!..

— Н-нет... — Ульдир удрученно покачала головой. Судорожно дернула подбородком, и плотно сомкнула веки. Сидел Кайран, ждал, пока откроет она глаза, но не дождался. То ли она уснула, то ли впала в забытие, что с ней теперь постоянно случалось. Он встал и тихо вышел из палаты.

Спустя двое суток, 27 февраля 2011 года, душа Ульдир покинула бренный мир. Говорят, еще в доисторические времена дети нашего предка Арыса¹, одного из которых звали Ак², а другого Пан³, волей жестокой судьбы погибли от холода в низовьях высокой горы Хан-Тенгри⁴. С той поры месяц именуется «Двумя Братьями», то есть «Ак-Пан»⁵. Однако месяцу придается и другое значение, означающее конец, завершение. Этим месяцем заканчивается зима. И жизнь Ульдир завершилась в этом месяце. Распутает ли смерть нераспутанный узел жизни, покажет само время.

Перевод Халиоллы Баймен

¹ Арыс — крепкая опора, остов.

² Ак — белый, благородный.

³ Пан — покровитель, защитник.

⁴ Хан-Тенгри — вершина в горах Алатау.

⁵ Ак Пан, Акпан — наименование февраля.

Софы Сматаев

(род. в 1941 г.)



Писатель и драматург – один из самых ярких и плодотворных представителей казахской литературы и искусства. Поступив в 1959 г. на филологический факультет Казахского государственного университета, он спустя год переводится в Московский институт стали и сплавов (МИСиС), учебу в котором успешно завершает в 1965 г. по специальности инженер-металлург.

Творческий путь начинается с поэтической стези. Первые юношеские стихи и баллады вошли в сборник «Астана оттары» («Огни Астаны»). В жанре прозы им написаны: роман-трилогия «Елім-ай» («Край мой родной»), романы «Ақжелең» («Белое платье»), «Бұлақ» («Родник»), «Мәңгілік бастауы» («Вечное начало»), «Біз құлмыз ба, кімбіз?» («Кто мы, если не рабы?»); сборники повестей и рассказов «Алау» («Пламя красное грез»), «Алғашқы асу» («Первый перевал»), «Қайран жастық» («Ох, уж эта молодость!») и др. Наряду с этим, его перу принадлежат либретто к операм «Жұмбақ қыз» («Девичья тайна»), «Жамбыл» («Джамбул»), «Жаяу Мұса» («Пеший Муса»), «Айбибі – Нарбота» («Айбиби и Нурбота»), «Бойдақтар» («Холостяки»); пьесы: «Сен кімсің?» («Кто ты такой?»), «Әзіл-әзәзіл» («Чертовская шутка»), «Жұлдызым менің жоғары» («Звезда моя высокая»), «Тағдырлар» («Судьбы»), «Алтын құндақ» («Золотая колыбель»), «Зар заман» («Скорбные времена»), «Далам-ай – панам-ай» («О, степь моя – о, кров мой!»), «Қазақша кек қайтару» («Мсть по-казахски»), «Қазақша көкірек керу» («Возгордиться по-казахски»), «Көгілдір такси» («Голубое такси»), «Той үстіндегі топалаң» («Свадебное столпотворение»), «Көрер ем күнім туса» («Посмотрел бы, будь я в силе»), «Тосқауыл» («Барьер»), «Үміт пен күдік» («Надежды и сомнения») и др.; написал киносценарии «Аймаңдай» («Луноподобный»), «Біржанның соңғы жұлдызы» («Последняя звезда биржана»), «Тағы да Еңлік-Кебек» («И вновь Енлик-Кебек»). Перевел на казахский язык произведения У. Шекспира, В. Короленко, Вс. Иванова, В. Солоухина, А. Лупана, П. Загребельного, Х. Абдуллина, Ю. Мухлисова, И. Добоши и др. Издано 17-томное собрание сочинений (2008).

Лауреат Международной литературной премии «Алаш» (2002).

Песня

До чего же печальна была эта песня!

...В такие минуты глаза ее подергивала синеватая, туманная дымка. Она незряче смотрела перед собою, медно-рыжие ресницы ее вздрагивали, и тогда казалось, что влага, заволакивающая размытый, остановившийся взгляд, вот-вот прольется. Но слез ее не видел никто. Бесприютная, оборванная девчонка, дрожащий голос которой вызывал озноб в наших мальчишеских душах, всецело подчиняла нас себе, не позволяя шелохнуться.

Эх, если бы хоть одно слово понять из ее песни! Мы робко и невпопад пытались подпевать, мы подбирали что-то близкое по звучанию из родных казахских песен — и вразнобой замолкали, стыдясь осипших от волнения, срывающихся голосов. Чуждая слуху, странная, узорчатая мелодия, возносящая к пасмурному небу непривычную картавость чужого языка, зачаровывала и вдруг больно отзывалась в нас, и уже говорила открытому сердцу о чем-то близком, родном и понятном.

До сих пор не могу понять этого чуда...

Девчонка всегда приходила с другой стороны арыка. Она шла вброд по студеной воде, зябко окуная багровые от холода босые ноги в темное ледяное течение, придерживая рукою обтрепанный подол, и только ступив на заснеженный берег, опасливо, искоса взглядывала на нас — и приближалась, боязливо сутулящаяся и недоверчивая. И сейчас, через много-много лет, идет она через мою память по той темной воде, идет вброд, идет по белому снегу, идет ко мне...

Стояла поздняя осень сорок восьмого года. Разве уставали тогда мы, ребятишки, носиться с криком и шумом меж домов аула! С самого бледного рассвета и до послезакатных сумерек не находили мы времени передохнуть в этой неумной беготне, забывая подчас вытирать носы рукавами выдавших виды курток. В такую вот шуструю и жадно интересующуюся всем пору детства мы повстречались с ней.

Я хорошо помню то далекое утро. Оно началось с ликующих криков, лавиной пронесшихся мимо окон вдоль нашей улицы.

— Алакай¹! Снег пошел! Ура!

— Вот это повалил! Снег! Снег!

Первые хлопья снега, первый дождь, первая трава... — всегда и повсюду радуется им детвора, и буйная эта радость одинаково беспредельна, где бы не жил человек по законам ясного мира детства. Эта радость не знает границ во времени, и нет для нее границ территориальных и прочих придуманных людьми в разные времена и по разным причинам.

Сверкнув черными пятками, выскакиваешь за порог — и вот он, первый пушистый снег! Невесомо кружащиеся, ослепительно белые бабочки опускаются с затянутого серой мглой неба. Торопливо тянешь вверх ладони — снежинки доверчиво опускаются в твои руки и тают, едва коснувшись их. Ты наклоняешься, хватаешь снег с земли и с силой сжимаешь его в горсти, смеясь от счастья. И поднимаешь к небу разгоряченное лицо, и широко раскрываешь рот — щеки и лоб обдает холодом, а кончик языка ощущает лишь пресную свежую влагу. Праздник детства — снегопад!

Кидая друг в друга снежками, мы забыли обо всем на свете, потому что на всем белом свете для нас царила одна-единственная, несказанная, сошедшая с небес радость — снег! снег! снег!

¹ Возглас ликования.

И вдруг слышалась песня. Внезапно и неожиданно. Голос, полный тоски, тонкий детский голос плыл издалека, но был различим и реален, и незнакомый напев не смолкал, а только набирал силу, и печалился, и томился.

Все так же щедро падали ослепительно-белые хлопья снега. Но в ту минуту мы уже не видели его. Игра остановилась. Беспокойно переглядываясь, мы замешкались на минуту — и кинулись со всех ног туда, откуда доносилась песня. Мы бежали, боясь не успеть и пропустить что-то важное. Боясь остаться обделенными. Мы боялись, как бы мелодия не смолкла. Как бы она не ушла куда. Как бы не пропала навеки для нас. Мы так боялись не успеть!

И вот мы обступили со всех сторон эту незнакомую девчонку. Она стояла в полной неподвижности. На плече ее был дорожный мешок. И подол ветхого платья висел ключьями. Девчонка стояла босая, что несколько нас не удивило: в ту пору наши крепкие пятки не касались ничего кроме земли, раскаленной под солнцем, или подернутой первой изморозью, или запорошенной снегом. Не удивила нас и ее одежда: в те послевоенные годы мы были одеты ненамного лучше. Но песня!.. В дрожи тонкого скорбного голоса вдруг пробивался знакомый сердцу ритм, и чуждые слуху слова выпевались-выговаривались и звенели как серебро, и высвечивали нашу собственную, еще не узнанную, но уже угадываемую предчувствием боль. Тогда-то я увидел заволакивающую ее взгляд подрагивающую влагу — и поразился. Будто захворавшая, страдающая детская душа стремилась вылиться из этих широко распахнутых напряженных глаз — и не могла, и оттого мучилась и звучала, звучала в прекрасной этой песне. Когда мелодия слегка замедлялась, по сероватому лицу девчонки словно пробегала тень, но вот песня взлетала вновь, и неумытое лицо певуны запрокидывалось и светлело.

Мелодия вознеслась до чистейшего звона. И сорвалась, будто отсеченная ножом.

Песню прервал Тлеукор. Задира Тлеукор. Наш храбрец и заводила. Мы не заметили, как он нагнулся, как зачерпнул снег ладонями.

Мы только увидели, как мелькнул этот крепкий снежный ком, который запустил Тлеукор в затылок девочке.

Недопетая песня оборвалась будто сама по себе — девчонка не шевельнулась.

Мы разом повернулись к Тлеукору. Мы исподлобья смотрели на своего жожака. Тлеукор опустил голову. И спрятал руки за спину. Но мы ждали объяснения. И все так же неподвижно стояла среди нас, раскосых и смуглых, она, бледная, с чуть подрагивающими рыжеватыми ресницами.

Тлеукор в ту же минуту поднял голову и усмехнулся.

— Я знаю ее! — сказал он и замолчал.

Он был старше нас всех, этот Тлеукор. И он знал всё и всегда. Он нарочно не торопился выложить то, что ему было известно.

— Эта девчонка — немка! — выкрикнул он наконец. — Я ее вчера видел... У Андрея. В доме у них. Это она!

Мы хорошо знали, кто такой «немец». Одноглазый, с кривыми клыками див. «Немец» — это война. «Немец» — это смерть. Это каждодневный плач, и причитания, и рыдания, среди которых мы выросли.

Бледное лицо девчонки с впалыми щеками, с выбившимися на висках бесцветными космами вмиг стало похоже на личину дивова отродья.

— Смотри-ка ты, выставилась! — цедили мы сквозь зубы. — Так вот ты кто такая? А-а, молчишь?!

Мы переглянулись — и разом поняли друг друга: рядом, в котловане, откуда брали глину на кирпичи, было много снега! Много снега, которого хватит на целую войну. Войну с этой немкой. Мы кинулись в котлован. И в висках у нас горячо билось одно и то же: «немка!» «немка!» «немка»!

Снег! Снег выше щиколоток! Снег почти по колено!

Но почему она не бежит? Дорожный мешок сполз с ее плеча. Девчонка стоит, и на ослепительно белом снегу багровеют два алых, как кровь, пятна — ступни босых ее ног.

И вдруг наш главарь, наш храбрец Тлеукор, махнул рукой. И вяло сказал:

— Пошли!.. Ну ее!

И первым вылез из котлована.

В тот же миг девчонка улыбнулась. Тряхнув головой, откинула со лба кудрявую челку и громко запела. Ту самую песню. Но только звонче стал ее голос. И неведомая тоска — нежнее и печаль — прозрачнее и легче. Мы стояли на краю котлована, раскрыв рты, и девчонка опять была с нами: мы уже не помнили прошлого.

Безотчетно я взглянул вправо — и наткнулся взглядом на Тлеукора, безмолвно стоящего рядом. Лицо его было мокрым от падающего снега. И в ту же минуту я понял. Что это не снег. Подбородок у меня задрожал. И я почувствовал, что вот-вот зальюсь слезами. Я не помнил отца Тлеукора, погибшего в первый год войны, и не знаю, отчего бы заплакал я — от жалости к Тлеукору, или от жалости к себе, или от песни этой бесприютной девчонки, но только, едва сдерживая себя, я потянул Тлеукора за рукав — и в тот же миг его кулак с треском врезался в мою скулу.

Свет схлынул, померк, голова пошла кругом. Я упал.

Когда я оторвал ладони от пылающего лица, то увидел, что кроме девчонки никого возле меня нет.

Девчонка стояла совсем рядом и теперь улыбалась мне. Я опускал тяжелую голову, поднимал — и ее лицо, синюшно-бледное от холода, все возникало и возникало перед взглядом и непонятно улыбалось надо мной.

Меня бросили все. Меня оставили с немкой. Я не плакал. А она улыбалась. Как будто вовсе не из-за нее досталось мне ни с того ни с сего. Смешно, конечно, смешно ей, немке...

Стараясь унять дрожь, я едва поднялся и со всего размаха ударил в маленькое лицо. Рука словно наткнулась на камень. В тот же миг — увиденное навсегда осталось в моей памяти — у девчонки из носу хлынула кровь. В бессмысленно расширившихся глазах — ни испуга, ни обиды. Только удивление. Тупое удивление. И сочащийся кровью

нос, и искривившийся неким подобием треугольника жалкий рот — все это было ничто в сравнении с глазами, в которых не было боли. Я понял, что человек с такими глазами никогда не сможет петь. Никогда! Никогда!

Плечи мои затряслись от громкого, безудержного вопля.

* * *

В тот день у меня поднялась температура. Я слег. Болезнь вцепилась в меня крепко: почти всю зиму я провел в постели. Взрослые — те, что помоложе, — решили, что у меня простуда. Старики же определили, что меня сглазил недобрый какой-то человек. В сумраке низкой комнаты было совсем тихо. Сверстники не бывали у меня. И только временами с улицы доносились едва различимые, приглушенные голоса ребят и разудалые выкрики катающихся на ледяной горке друзей.

Я до сих пор радуюсь тому, что в ту зиму я узнал, какая великолепная сказочница моя мать. Управившись вечером со скотиной, загнав и накормив ее, она подбрасывала угли в печь, ставила на плиту чугунок и, улыбаясь мне, спешила присесть на мою постель. И прежде чем начать новую сказку, неизменно затягивала потуже на затылке свой белый платок. До сих пор я помню этот милый сердцу жест и ее привычный, низкий, монотонный голос.

Конечно же, именно тогда садился я на верблюда-иноходца Желмая вместе со странником-мудрецом Асан-Кайгы; мы объездили с ним все страны: мы все искали и искали землю обетованную... Иногда я отправлялся на охоту с самим Куламергеном, не знавшим неудач. И еще была одна странная сказка у моей матери. Сказка про плач сироты Марии. И в этой сказке я понял то, чего не могла знать моя добрая мама: я понял, как звучит плач этой неведомой Марии. Он звучит на незнакомом языке оборванной девчонки. И плач этот — песня. Та самая, которую уже никто и никогда не услышит.

Но я ждал ее, жадно прислушиваясь к едва различимым детским голосам за окном. Эта песня слышалась мне во сне. Иногда мне сни-

лись глаза бесприютной девчонки. Я просыпался в испуге и подолгу смотрел во тьму перед собой, боясь сомкнуть веки и вновь увидеть ее равнодушно-удивленный, лишенный боли взгляд.

Но, сколько я ни вслушивался, мелодия не звучала больше на нашей улице. И девочка-сирота не переступала нашего порога и не появлялась рядом со мной.

Вместо нее всегда приходили другие. Приходили родственники, приходили соседи, приходила аульная медсестра-молодуха. Поначалу она осматривала меня и что-то говорила матери уверенным шепотом, а мама терпеливо слушала и кивала, покорно вздыхая. Но медсестра приходила все реже и реже, а потом и вовсе перестала появляться у нас. А я все лежал на скрипучей кровати и день-деньской смотрел в окно, перечеркнутое крест-накрест, — в покосившееся, давно не чиненное окно, затуманенное осевшей на стекло влагой.

И вдруг там, на улице, совсем неподалеку, послышалась песня. Я приподнялся. Тонкий голос поначалу все пытался унять дрожь, потом справился с ней и зазвенел громко и чисто.

— Апа-а-а! — закричал я в тоске, — Апа-а-а!

Но матери не было в доме.

Я не знаю, как мне удалось ухватиться за спинку кровати, за дутые металлические ее шишки. Едва передвигаясь на подгибающихся ногах, спотыкаясь и еле переводя дух, я стал искать одежду. Сунув босые ноги в подшитые резиной пимы отца, неверным шагом я направился к двери.

День ослепил меня. Я зажмурился. Чтобы унять головокружение. И, преодолевая слабость, сделал шаг. Я не упал.

И вот уже песня с неудержимой силой тянет, тянет меня вперед. Я обогнул угол дома и увидел ту же картину, что и прежде: я увидел тощую маленькую певунью в кругу своих сверстников.

Когда я, задыхаясь, с трудом волоча тяжелые пимы, подошел к ней вплотную, девчонка съежилась и смолкла. Дрожащими пальцами я взял ее руку. Она посмотрела исподлобья — и с силой толкнула меня в грудь. Я упал навзничь.

Одним прыжком подскочил Тлеукор к девчонке, но я закричал в ужасе:

— Не трога-а-ай! Не трога-а-ай! — и едва расслышал собственный крик.

Я вглядывался в лица столпившихся и поднимающих меня с земли товарищей — и смеялся. Как же легко мне стало теперь! Она толкнула меня! И я больше не был виноват перед нею! Это она избавила меня от поедавшей поедом вины. Я слабею от безудержного смеха, от предвесеннего солнца и вольного ветра, я уже не могу стоять, но сверстники крепко держат меня под руки. И я едва говориваю:

— Пой! Пусть она поет...

Девчонка опустила голову. Но вот губы ее дрогнули — и песня, медленно поднявшись, понеслась ввысь. И вдруг я увидел, как сильные мужские руки подхватили девчонку и подняли к небу. В больном моем воображении с отчетливостью необычайной явилось знакомое женское лицо, с материнской любовью и жалостью глядящее на певунью. Мне открылись незнакомые края, в которых не бывал я ни разу, а песня все увлекала в неведомое, все вела меня в никогда не виданные дальние-дальние дали...

* * *

Она всегда приходила с той стороны арыка. Мы издали замечали ее тонкую фигурку и мчались навстречу.

С того самого дня здоровье мое пошло на поправку. Я быстро присоединился к веселым, полным шума и крика играм ребят.

Взрослые решили, что организм мой справился с болезнью, старики же возблагодарили всевышнего за милость его, увидев в этом божье предопределение, но никто, кроме меня, не знал о могучей силе прощения, избавившей меня от болезни.

И пришло благословенное лето, золотом и голубизной безудержно сияло небо, и посреди неумного нашего веселья, в центре его, стоит, улыбаясь, в памяти маленькая поющая девочка — Эмма.

Мы уже знали, что ее отец, немецкий коммунист, героически погиб в битве под Сталинградом, а мать ранней весной сорок шестого года замерзла в степи, спасая отару овец, в жестокую пургу. И, наверно, вполне понятно то, что в трагические, тяжелые дни чаще раскрываются ласкающие людские ладони. В ауле привыкли к Эмме. Я вижу темные руки односельчан, гладящие белокурые волосы маленькой Эммы, я вижу руки чужих матерей, моющих ей голову, я вижу руки, протягивающие ей кусок хлеба, полгорсти зерна... С каждым ударом сердца я все больше осознаю, что до последнего своего вздоха я в долгу перед односельчанами — в бесхитростной простоте обыденной своей жизни они будут для меня вечным примером доброты и сострадания.

Мы никогда не вспоминали про сиротство Эммы — для нас она ничем не отличалась от других ребят, росших после войны без отцовской ласки. Такая доля выпала многим моим сверстникам...

Эмма уже не была той бесприютной, одинокой девчушкой, которую, будто перекаати-поле, гнал по степи послевоенный ветер сиротства. Лицо ее ожило, резкие тени на нем пропали, в глазах заиграли искорки, мы слышали теперь ее смех, звонкий и напевный. Она уже умела, не перевирая слов, петь казахские песни, и лучшими ее друзьями были мы с Тлеуком.

Однажды мы всей ватагой лежали на горячем берегу речушки Карасу, подставив солнцу пупырчатые от долгого купания медно-коричневые тела. Тлеукор ткнул меня босой пяткой в бок:

— Эй! Смотри, твой отец идет...

Я вскочил и кинулся бежать, подворачивая на ходу штанины длинных портков: отец мой — машинист паровоза, иногда он уходит в двух-трехдневные рейсы, и за это время я успеваю сильно соскучиться по нему.

И вот я кидаюсь отцу на шею и тычусь носом в его форменный китель, с жадностью вдыхая удивительный, крепкий запах угля и мазута, пропитавший его одежду.

— Хватит, сынок. Смотри, нос как измазал...

Отец всегда говорит мне эти слова, а сам утыкается лицом в мои вихры. Он заглядывает мне в лицо, карие глаза его смеются, но говорит он очень строго:

— Бегаешь день-деньской. Забыл, небось, что осенью в школу?

— Помню! Помню! В школу!

— Ну так вот, держи. Не потеряй.

И отец вытаскивает из кармана два удивительных карандаша — синих с одного конца и красных — с другого. Словно все богатства мира вручили мне одному! Даже простой карандаш было трудно купить в то время. Ошалев от счастья, я несколько раз высоко подскочил на месте.

— Ну, беги... — подтолкнул меня в спину отец. — Беги, купайся!

Боднув головой отца, я помчался к товарищам, чувствуя, как он смотрит с улыбкой мне вслед, но обернуться уже нет сил — и я кричу на бегу во всю силу легких:

— Вот! Вот! Карандаши-и-и! Красный-синий! Цветные-е!

Ребята все это время не спускали с нас глаз. И когда я подбежал, никто из них не выразил ни малейшей радости. Одни перевернулись на другой бок, даже не взглянув на удивительные мои карандаши, остальные поднялись, но не сразу, и подошли лениво, будто нехотя. Только Тлеукор протянул руку, осторожно потрогал красный конец карандаша и сказал ненатуральным голосом, по-взрослому прикашлянув:

— Ну вот, теперь учись хорошо.

Я обернулся к Эмме. Она вовсе не смотрела в мою сторону. Белокурые волосы ее были рассыпаны по плечам, не убирая пряди со лба, она неотрывно глядела в спину уходящему моему отцу и молчала. Только тогда я, кажется, понял их отчужденное молчание. Можно забыть про сиротство другого, можно не замечать его, однако много есть причин на свете, не позволяющих забыть об обездоленности своей самим сиротам.

Я обомлел от своей догадки. И, не зная, что делать теперь, робко потянул Эмму за плечо.

— Учиться будешь? — безразлично поглядев на меня, спросила она.

— Да! Я буду учиться! И ты будешь учиться! Все будем учиться! Скоро в школу пойдем. Сидеть вместе будем, ладно?

— У меня нет бумаги, карандашей... — равнодушно сказала она и отвернулась.

— На! Один твой! А один мой. Бери, Эмма!

Эмма, не веря своим глазам, зажала в руке карандаш, тряхнула головой и тихонько засмеялась. Она запела ту самую песню, но быстро и шаловливо и, задохнувшись вдруг, смолкла, подняв лицо к небу и улыбаясь. В бездонной небесной лазури кружила и кружила высоко над нами белая птица, совсем крошечная, едва различимая в вышине...

Вечером, когда мы уже расходились по домам, Эмма несмело приблизилась ко мне и, глядя в сторону, вложила в мою руку тот самый карандаш.

— Зачем? — не понял я.

Она стояла, не оборачиваясь. И наконец сказала:

— Пусть у тебя побудет. Я его потом заберу. А то потеряется еще.

— Ладно! Я их вместе спрячу. Твой и мой. Я беречь их буду! — пообещал я.

— Спрячь, — сказала она, так и не обернувшись.

* * *

Прошло десять дней.

Рано поутру, когда на середину парадной комнаты был выдвинут круглый стол и вся наша семья сидела за чаем, дверь распахнулась. Запыхавшийся Тлеукор кивнул мне и тут же скрылся в сенях. Я поставил пиалу, которую уже было поднес ко рту, и выскочил за ним. Таким растерянным Тлеукора я еще никогда не видел.

— Эмма уезжает...

— Куда?!

— Говорят, из города приехала какая-то м-м-м... — Тлеукор запнулся и с трудом выговорил русское слово, — ...ко-миссия. Вот.

Я ничего не понимал.

— Эмму забирают, в детдом.

— Сейчас... Я сейчас... — забормотал я, не трогаясь с места.

Когда я наконец вбежал в дом и в спешке раскидал одеяла, одежду, подушки, карандашей нигде не было. Я шарил под кроватью, на столе, кидался из угла в угол — все тщетно.

— Что ты ищешь, сынок? Случилось что?

— Ты можешь объяснить, что произошло?

О, я не в состоянии был вымолвить и слова в ответ родителям!

Наконец, зажав карандаш в руке, я опрометью выскочил на улицу, даже не закрыв за собою двери.

Мы побежали к станции. Она находилась всего в километре от нашего аула, но какое это было долгое расстояние в те минуты!..

У моего друга длинные ноги — умчится вперед на длину аркана и, видимо, из жалости остановится, ждет меня.

— Скорей! — кричит он, — Да не плетись же ты, быстрее! Эх, опоздали...

Ноги уже не подчиняются мне. Я задыхаюсь от бега. И соленый пот горячей волной заливает мне глаза.

Внезапно вдалеке, на фоне горбатого склона горы, показался поезд. Его зеленые, весело поблескивающие на утреннем солнце вагоны, все приближаются. Пассажирские поезда стоят на нашей станции не больше двух минут. В те две минуты я понял, что иногда человеческая жизнь измеряется мгновениями.

Поезд едва приостановился и промчался мимо, оставив на нашей станции лишь клубы черного паровозного дыма. Так и не добежав, я упал в бессилии на полдороге, царапая ногтями светлую степную глину. Я слышу растерянный, утешающий голос драчуна Тлеукора — и этот голос отдается у меня в ушах многократным эхом, я слышу пронзительный вскрик паровоза — и свое собственное прерываю-

Софы Сматаев

щееся дыхание. В какой-то миг происходит чудо — я слышу песню Эммы, она звучит во мне как тоска по мечте, которой никогда не суждено исполниться, как последнее «прости» неповторимому детству, и ее призрачный отзвук будет звучать в моей жизни долго-долго. Но песню Эммы я уже не услышу.

...Я буду садиться за свой письменный стол и всякий раз, выдвигая ящик, подолгу смотреть на карандаш — красный с одного конца и синий с другого, которым я за много-много лет не написал ни строчки. Это карандаш Эммы. И всякий раз буду думать одно и то же: смогу ли я когда-нибудь сложить песню, которую я бы посвятил маленькой певунье из моего детства, посвятил Эмме?..

Перевод Веры Галактионовой

Толен Абдик

(род. в 1942 г.)



Известный казахский прозаик. Окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби (1965). Трудовую деятельность начал сотрудником газеты «Қазақстан пионері» (нынешняя «Ұлан»), затем журнала «Жалын». Работал в республиканской газете «Қазақ әдебиеті» («Казахская литература») вначале заведующим отдела, впоследствии заместителем главного редактора и главным редактором. В 1979–1990 гг. был ответственным работником ЦК КП Казахстана. С 1993 г. до выхода на пенсию занимал ответственную должность в аппарате администрации Президента РК.

Книги, изданные за период творческой деятельности: «Көкжиек» («Горизонт», 1969), «Күзгі жапырақтар» («Листья осени», 1971), «Ақиқат» («Истина», 1974), «Айтылмаған ақиқат» («Невысказанная правда», 1979), «Өліара» («Равноденствие», 1985), «Ақшоқыда қыс қатты» («Суровая зима Акшоки», 1987), «Парасат майданы» («Разума пылающая война», 2002) и др.

Перевел на казахский язык письменный памятник древнегреческой мифологии «Мужи Эллады».

Писатель, придерживаясь реалистического направления в искусстве, удачно применяет в своем творчестве модернистские и постмодернистские приемы.

Лауреат государственной премии Казахстана (2004).

Лауреат Международной премии имени Франца Кафки и премии Казахстанского ПЕН-клуба (2003).

Разума пылающая война

Быть или не быть — вот в чем вопрос.
Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы
Иль нужно оказать сопротивление?
Восстать, вооружиться, победить
Или погибнуть, умереть, уснуть?
И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук
И тысячи лишений, присущих телу!
Это ли не цель, что всем желанна —
Умереть, уснуть, уснуть?
И видеть сны?..

*Уильям Шекспир. Монолог Гамлета
(пер. Б. Пастернака)*

Ты должен делать добро из зла, потому что
его больше не из чего делать.

Роберт Пенн Уоррен

Дневник мне передал один знакомый врач. Кстати, автор дневника тоже был мой давний знакомый. Вот уж поистине, как ни велик божий мир, все пути в нем пересекаются.

В молодости живем как на шумном, тесном базаре, друзей-товарищей вокруг хоть отбавляй, друг твоего приятеля становится твоим другом, а потом исчезает куда-то, — в суматошной круговерти юности забываются одни лица, появляются новые. Я вспомнил этого человека, с кем на недолгое время свела нас веселая суета жизни. В памяти всплывает скуластое бледное лицо... высокий

рост... худоба, нет, — какая-то «интеллигентная» хрупкость телосложения. И нрав у него был, очевидно, под стать обличью: чуть что — краснел, задетый каким-нибудь самым невинным замечанием или вольной шуткой приятелей. В компаниях, во время застолья, он сидел в сторонке, предпочитая отмалчиваться и не вступать в шумные споры. И все к нему относились как-то по-особенному, излишне деликатно, словно к гостю-иностранцу, к человеку не от мира сего, и старались его не задевать.

Меня он тогда совершенно не заинтересовал: несколько случайных разговоров за общим столом ничего в моей памяти не оставили, кроме ощущения, что это весьма деликатный, мягкий человек, изрядно начитанный, видимо, из образованной семьи. Сам он в беседу не вступал, и если не втянуть его в разговор, он мог часами молча просидеть рядом.

И по прошествии многих лет мое впечатление от встреч с этим человеком осталось таким, будто мы какое-то время вместе путешествовали на одном корабле, вынужденные вежливо общаться, но не сделавшие никаких взаимных попыток сблизиться. Путешествие закончилось, и впоследствии нам никогда больше не приходилось встречаться.

Теперь я читаю дневники, состоящие из нескольких тетрадей, и никак не могу представить себе, что именно он является их автором.

По записям невозможно составить хоть какое-то представление о его частной жизни, о чередѣ дней человеческих, веселых или грустных, — дневники выражают исключительно одни размышления и сложные чувства их автора.

Только в самой последней тетради прорисовываются смутные контуры его судьбы. Там некоторые события жизни изложены более подробно, тщательно перенесена на страницы дневника вся «переписка». Похоже, что автор записок все же предполагал: когда-нибудь они попадут в чьи-то руки и привлекут внимание другой души. Впол-

не естественно. Для чего же человек доверяет бумаге свидетельство своего великого одиночества на земле, — не для того ли, чтобы еще хоть один человек на свете откликнулся на его душевные переживания?

И я полагаю, что иду навстречу этому тайному желанию автора, предлагая читателю именно последнюю и, на мой взгляд, главную часть дневника, где выразились самые яркие приметы души незаурядной, захваченной трагическим роком тех, кто ищет в этой жизни истину и оказывается перед непреодолимыми и темными ее противоречиями.

Называть имя автора записок было бы, наверное, неуместным. Будем считать, что это один из многих неизвестных наших современников, один из тех, кто живет рядом с нами, так и не угаданный в своей сокровенной внутренней сути.

1

13 марта

Похоже, что-то в моей жизни изменилось. Но что именно, сам еще не знаю, и это беспокоит. Может быть, оно началось давно, а чувствовать стал только теперь — не знаю. Или нервы мои настолько сдали, нет порядка в мыслях, забываю то, о чем только что думал... И в дневнике — есть записи от 3-го марта, а следующие, от 4-го, 5-го и 6-го, почему-то отсутствуют. Только с 7-го марта они снова продолжают. А что делал в пропущенные дни — хоть убей, не помню. О провалах в памяти я слышал и раньше. Но с чем это связано — мне неизвестно.

Так ведь и происходит: чем дольше тянется жизнь, тем больше во мгле забвения исчезают люди, встречи, события. Уходят навсегда, словно и не было. И даже то, чему ты придавал когда-то большое значение, проваливается в небытие, забываются даже имена людей, близких в детстве, в юности. Не можешь припомнить старой дружбы; смутно, словно во сне, различаешь своим утомленным внутрен-

ним зрением размытые лица тех, с кем рядом прошли многие дни жизни, учебы, работы. И воистину жизнь наша как вода, которая бесследно уходит в песок.

Но вдруг всплывает из глубины памяти какая-нибудь мелкая штучка, нечто такое незначительное, чему ты не придавал никакого значения. Похоже на то, что память человеческая живет по своим законам, у нее своя система ценностей.

Спросишь у врача, отчего такие провалы памяти, — ответит, что от переутомления. Можно и так посчитать, и врач будет прав. Переутомиться жизнью — разве это не естественно? Ведь есть отчего и переутомиться. На белом свете чего только не приходится испытывать, узнавать. Нужного тебе и вовсе не нужного. Приятного и гадкого. Прimitивно простого и досадно невнятного. Задумаешься обо всем этом — и теряешься, словно путник, оказавшийся на перепутье дорог. Непостижимы тайны бытия. И кому пожаловаться на великую безответность мира? На кого обижаться? На Бога? На человека?

С Бога взятки гладки. С одной стороны, Он сотворил мир, людей в нем, напутствовал их на милосердие, веру и добро. Что еще нужно? Но, с другой стороны, как не сострадать человеку, который действует по Божьему велению, а последствия расхлебывает только сам.

И Добро, и Зло — о, это умелые спорщики! Вряд ли кого-нибудь из их представителей ты сможешь в чем-либо переубедить. Каждый выступит во всеоружии самых веских доводов и серьезнейших аргументов. И каждый из них выстраивает внутри великолепного Дома Господня свой маленький шалашик и удобно в нем располагается, провозглашая собственный рай в шалаше.

Но человеку, втиснутому в маленький шалаш, — как выпрямиться во весь свой рост? Согнутый и приниженный, я чувствую свое постоянное умаление, причины которого и названия не знаю. Маленькое, скверное шалашовое унижение!

И под этим гнетом всё, что навязано мне умными спорщиками, Добром и Злом, закрывает от меня великолепие Божьего мира: игру

Толен Абдик

солнечного света, прелесть природы, душистый настой трав в весеннем воздухе. Головная боль гасит волнение сердца. Погружение в шалашовый мир бесплодного умствования лишает меня остатков радости. Зачем мне все это?

«Наш бранный мир для мыслящих — тюрьма...»?

2

15 марта

Говорят, человек притерпится и к аду дня за три. Возможно, что так. И на самом деле, привыкнуть к муке жизни просто необходимо, иначе как существовать на этом свете? Но привычка ко греху, лжи, несправедливости и жестокости — благо ли для нас?

Мы, кажется, уже не обращаем внимания на то, что ежедневно в газетах публикуют о чудовищных мерзостях, творимых людьми, потерявшими облик человеческий. Чьи души смердят, сгнив заживо. Но еще больше меня пугает то, что рядом живут другие люди, не испытывая к этому особенного отвращения. Неужели в силу привычки? Или это то же самое, что и неразумие зеленых юнцов, которые ради жуткой забавы, доказывая друг другу свое бесстрашие, подбегают и трогают руками человеческий труп? Не ведают юные святотатцы, что творят, потому и безвинны?

Я давно перестал читать газеты. Открой любую, а там черным по белому:

Кто-то изнасиловал и убил свою мать.

Другой изнасиловал и убил свою дочь.

Та убила и выбросила на помойку свое новорожденное дитя.

Миллионерша вышла замуж за своего сына.

Маньяк убивал людей и поедал их мясо.

Мужчина официально женился на мужчине.

Некрофил совокуплялся с мертвецами.

Вот такие у нас делишки. По всему свету. Во всех краях матушки-земли, густо населенной людьми.

И я больше не могу — меня выворачивает от всего этого. Будто наглотался тухлятины. От омерзения в жилах стынет кровь, словно

я провалился в яму уличного сортира. И нет возможности отмыться от дерьма!

А мирные граждане, что рядом со мной, словно ничего не замечают, живут себе спокойно. Как будто посвящены в некое высшее знание, обладают философским камнем, превращающим все это дерьмо в хлеб насущный. И, владеющие тайной мудростью, готовы узаконить всю эту мировую мерзопакость.

Известны древние сказки про дракона, который требовал время от времени человеческих жертвоприношений. И драконьим подданным деваться было некуда: выбирали самую красивую девушку, чтобы чудовище осталось довольным, и скармливали ему. И так на какое-то время обретали для себя покой и безопасность.

Похоже, что и поныне вселенское чудовище довлеет над человечеством, потрясает его кровавыми войнами, грозными тайфунами и землетрясениями, насылает эпидемии страшных болезней, голод, мор, собирая с человеческого рода свою безжалостную дань. Но, словно не довольствуясь всем этим, дракон вселенский требует, чтобы принесена была ему в жертву сама человеческая духовность.

Прав Бальзак, заметивший: « На земле ничто не осуществляется в такой полной мере, как несчастье человеческое».

Ну да, газеты охотно сообщают о надвигающихся ядерных, экологических, космических катастрофах, предвещают даже возможность нового мирового потопа, причем все это преподносят не в виде дешевых сенсаций, а как вполне достоверные научные прогнозы. Точное время глобальной беды, как правило, не указывается. Так для чего нам все эти лишаяющие покоя предсказания?

Конечно, вполне можно предположить, что когда-нибудь солнце потухнет, жизнь человеческая на земле исчезнет, словно бы ее и не было, и высокие мысли человечества, чудесное дитя мироздания, — канут в Лету, унеся в хаос небытия свои радости и страдания, надежду и отчаяние, все то, что придавало Вселенной смысл и украсило ее разумной нравственностью. Однако как смириться с тем, что со-

бранная тысячами томительного ожидания и долготерпения — капля за каплей — доброта человеческая, милосердие, сострадание к чужой боли, любовь и самопожертвование исчезнут во тьме первоизданного хаоса? Все это уйдет в пустоту холодного космоса?

Впрочем, сколько бы ты ни ломал голову над этим, ничто в мире не изменится. И газеты зря суетятся, растрезвонивая о том же самом, всё о том же самом...

Одному лишь Богу известно, каким будет конец человечества. И когда он настанет. И по какой причине произойдет. Может быть, действительно повторится история с Ноем — будет всемирный потоп. А возможно, ничего такого не повторится. Что-нибудь другое нагрянет — и жизнь начнется сызнова от ничтожных бактерий. И вновь понадобятся миллиарды лет, чтобы появился человек с его высоким разумом.

И всё же, если этому миру суждено погибнуть и он доживает свои последние дни, — о, как хотелось бы уйти из него в огне космической катастрофы или унесенным великой горой водяного вала, сохранив, однако, в душе своей остатки того высокого человеческого достоинства и уважение к самому себе. А не быть стертым с лица Земли как ненужный, мерзкий биологический слизняк, изживший себя изнутри, опустошенный, истлевший от смрадных миазмов собственных грехов.

3

25 марта

Говорят, болезни тела от дурной пищи. От мрачных мыслей — болезнь души. Может быть, и так. Что бы там ни было, но я уже седьмой день в больнице, обнесенной высоким бетонным забором. Маленькая одноместная палата, приют для многих и многих, пребывавших ранее здесь, служит моим прибежищем. Больница выглядит столь же невзрачно и убого, как и казенная одежда, в которую меня вырядили. Весь вид на божий мир отгораживает стена высоченного многоэтажного здания, и только справа, в конце этого дома и перед торцом

следующего, узкой полосой светится кусочек вольного неба. И там, очень далеко, можно различить макушку горной вершины.

Зарекся, было, чтобы не тревожить душу воспоминаниями о безвозвратно уходящих днях, решил забыть про дневник и не брать в руки перо. Но сегодня не выдержал, и тому есть особенная причина. Довольно странный, необъяснимый случай заставил меня вновь обратиться к своим записям.

Утром, собираясь принять лекарство, я протянул руку к стакану с водой на тумбочке и вдруг увидел сложенный вчетверо лист бумаги.

Никогда не забыть мне этот момент... Лист желтоватой дешевой бумаги. Неразборчивая подпись на ней. В почерке что-то знакомое, словно принадлежит человеку, которого я знал. Но уже не вспомнить, кто это... С непонятым страхом, будто опасаясь взрывного устройства, я развернул бумагу и стал читать:

Мой незнакомый друг! Во-первых, извините! Я без вашего ведома читал ваш дневник. Но прочтение его невольно заставило меня взяться за это письмо. Вы меня буквально принудили — побудили к самым глубоким размышлениям, к внутреннему диалогу с вами. Еще раз прошу прощения, что без вашего разрешения посмел залезть в ваши бумаги.

Но к делу! Нетрудно понять, что вы отважно вознамерились заняться весьма рискованным делом, которое называется на языке скептиков поисками смысла жизни. Почему «на языке скептиков»? Да потому что дело это на самом деле очень рискованное, и неблагодарное, и безнадежное... Впрочем, не хочу вас сразу же огорчать, а, наоборот, пожелаю самого доброго и, главное, безопасного путешествия в грандиозный мир духа, где ждут вас весьма нелегкие испытания. Удачи вам, мой отважный друг!

На мой взгляд, существующее устойчивое мнение о том, что человеческая жизнь представляет собой вековую борьбу Добра и

Зла, отнюдь не бесспорно. Хотя бы и потому, что эти начала отделить друг от друга, расплести их, как аркан, и разложить по разным сторонам невозможно. Столь же невозможно, как и выхватить любого из уличной толпы и выяснить доподлинно, сколько в нем содержится «хорошего» и сколько «плохого». Такое представление о человеке, согласитесь, было бы наивно и вовсе не истинно. Для врагов он мерзавец, для любящей жены — дорогой и бесценный, для друзей — симпатяга и самый добрый мальи́й. Так каков же он на самом деле? А ведь даже любовь и ненависть избирательны по отношению к человеку не по признакам того, насколько он ближе к добру или злу. То есть в человеке мы принимаем не одно только хорошее и не отрицаем в нем всё только плохое. Сколько угодно примеров, когда «хороший» дружит с «плохим», добрый человек со злодеем, — и наоборот, когда два вполне порядочных, добродетельных человека смертельно враждуют друг с другом. Значит, жизнь — это не только противоборство Добра и Зла, но и столкновение добра с добром и зла со злом. Итак, мы вынуждены признать, что Добро и Зло суть понятия условные, субъективные, для разных людей совершенно противоположные. Однако это всего лишь незначительная часть поставленной мною проблемы.

Самое же главное и самое любопытное в том, что пресловутые Добро и Зло — как сиа́мские близнецы, неразрывно срослись между собою и не могут существовать один без другого.

Есть, вы знаете, в китайской философии понятия Ян и Инь, светлое и темное начала, небо и земля, верх и низ. И есть понятие цикличности, когда со временем одно переходит в другое. На круговращении этих переходов в противоположное и стоит мир, и если перевести эту философию на наш человеческий, мелкий, житейский уровень, то получается следующее.

Считается, что вода — основа жизни. Чтобы поливать сады, орошать поля и пастбища, люди возводят плотины, устраивают водохранилища — накапливают воду для использования ее во благо себе. В этом случае она проявляется как созидательное начало Ян.

Но та же самая вода в пору весеннего разлива рек сносит плотины, смывает дома и уничтожает на своем пути всё живое: те же сады и поля, диких и домашних животных, людей. И тут уже, достигнув критического момента, благая стихия превращается в разрушительную силу и выступает в противоположном качестве — Инь.

Но постепенно бурное половодье смирятся, успокаивается, реки возвращаются в свои берега — и живительная вода снова становится благом для людей. Однако надо подождать следующей весны, когда сила Ян вновь может обернуться губительным началом Инь. И так из года в год в бесконечном круговороте времен. А сама природная стихия, столь изменчиво предстающая то добром, то злом для жизни, одна и та же — вода. Все та же самая вода!

Какой же следует отсюда вывод? Не из одного ли и того же вещества состоят эти наши кажущиеся разными Добро и Зло? И возможно ли их разделить, разложить по разным сосудам? И насколько это необходимо? Подумайте как следует об этом.

Мой незнакомый друг! Не кажется ли вам, что мы еще о многом можем с вами поговорить? Считайте, что мое письмо — это всего лишь начало разговора. Было бы очень приятно и полезно сойтись поближе и поделиться своим сокровенным... Раскроем души друг другу! И пусть в этой унылой жизни заведется у нас маленькая тайна. Решитесь написать мне ответ — положите свое письмо в нижний ящик стола, что стоит в коридоре.

Ваш неизвестный сверстник

Удивленный и немного встревоженный, — не знаю чем, — я еще раз перечитал письмо от начала до конца. И, словно холодная струя, проник в мое сердце некий страх. За мною следят? Кто-то бесцеремонно читает мой дневник? Каким образом письмо попало ко мне в палату? Ведь никто, кроме медсестры, не входил ко мне. Значит, в мое отсутствие кто-то заглядывает сюда? Но если я кого-то интересую, то зачем эта слежка? Мог бы прийти открыто и познакомиться. Нет же, секреты какие-то, таинственное письмо...

В тревоге расхаживаю по палате, не чуя ног под собой. Будто плыву по воздуху, как во сне. Но — спокойно! Спокойно. Все обдумать. Взвесить. Пусть будет так. Мало ли какие бывают причуды у людей. И не забывай, что ты в психиатрической лечебнице. Тут чудачков разных хватает...

Успокоив себя подобным образом, я решил не придавать большого значения происшествию. Не стоит волнений... В 11 часов сходил на занятия по аутотренингу. Сеанс проводила молоденькая белолицая девушка, которой я раньше не видел. Очень приятная. Когда говорит, ее верхняя губа в уголках рта изгибается в милой ужимке. И серьезная вроде, и улыбается в то же время. Зубы жемчужные. Взгляд лучистый, светлый, ты словно омываешься в этих лучах, когда она задерживает взгляд на тебе.

— Вы расслабились... вас охватило приятное чувство блаженства... вы словно погружаетесь в легкий сон... вы погружаетесь в сон... погружаетесь в сон... — произносят эти улыбчиво-серьезные губы. Подключается музыка, вначале тихая, издалека, затем все более звучная, нарастающая, словно неземная, убаюкивающая — и уносящая в иные пределы, где нет места нашим тревожным человеческим чувствам. И только т а м начинаешь ощущать, освободившись от всей этой брентности бытия, что такое бесконечность, беспредельность, свобода...

И вот ты сидишь на мягком, зыбком берегу лазурного озера, а над тобой развернулась широкая многоцветная радуга. Позади тебя, обнимая душистыми запахами свежих трав, раскинулась зеленая равнина, цветущий джайляу, и дух теплой зелени щекочет твои ноздри.

Кто-то издали идет к тебе, призывно взмахивает руками над головою, — приближается несущий тебе счастье, вот уже совсем близко, почти рядом, можно коснуться его рукой...

— Теперь просыпайтесь... — раздался вдруг голос, словно просочившись сквозь длинный резиновый шланг. — Вы уже проснулись... вы наполнены бодростью... ваше тело стало легким, как воздух, ваши мышцы наполнились упругой силой, глаза полны блеска, вы готовы взлететь... Просыпайтесь! Просыпайтесь скорее!

Неохотно открываю глаза, зеваю и потягиваюсь и вижу перед собой девушку-психотерапевта с улыбочивыми глазами, которая смотрит на меня, как на маленького ребенка. Кажется, готова погладить по голове.

— Очень хорошо! Молодцом! — бодро произносит она, и непонятно мне: то ли она хвалит нас, уснувших на сеансе, то ли саму себя, успешно завершившую урок аутотренинга.

Поначалу мне было не по себе, как человеку, сконфуженному тем, что кое-какие интимные тайны его души стали доступны посторонним. Я даже стал потихоньку озиаться, подозрительно вглядываясь в соседей, но тут же и успокоился. Все, так же как и я, выходили из транса, зевая и потягиваясь, вид имели несколько смущенный. Значит, не один я оказался в таком положении. Ладно... Окончательно придя в себя, я поднялся с кресла и лениво побрел в палату.

4

26 марта

Что-то неблагополучно со мною. Ночью видел нехороший сон. Иду по темному коридору, лампочки не горят. На пути всякий хлам, ящики какие-то, железяки торчат. Продвигаюсь на ощупь. Похоже, куда-то спешу, стараюсь идти быстро. И внезапно чем-то острым полоснуло меня по шее. Едва успел заметить, что это мог быть кинжал, замурованный рукоятью в стену. Никакой боли я вроде не ощутил, но заметил, что голова стала мотаться из стороны в сторону, и машинально ухватился за ней рукой. Оказалось, что шея перерублена почти полностью, и голова держится на одной только полоске кожи. Ощущение было отвратительным. Далее пришлось продвигать-

ся вперед, одной рукой прижимая голову с макушки, а вторую руку вытянув вперед, как слепец, и прощупывая стену. Идти надо очень осторожно, чтобы ненароком не споткнуться обо что-нибудь, не то голова свалится с плеч и укатится в темноту. Попробуй, найди ее потом. А коридор тянется бесконечно. Неужели я обречен вечно брести по нему — и в таком положении? Беда!.. Но выхожу наконец в какое-то просторное помещение. Похоже на холл гостиницы. Потолок высокий, светло. Кругом полно народу. Осторожно присел в кресло. И, решившись, рывком оторвал голову напрочь. Отложил ее на соседнее кресло. Проходившие мимо люди удивленно косятся в мою сторону. Меня охватывает дикий конфуз, я подбираю какую-то газету и быстро накрываю свою голову. «Какой стыд! — думаю. — Как теперь выпутываться? Куда спрятать эту голову?»

Кажется, мне надо было куда-то спешить. А теперь что делать? Без головы-то... Я осторожно приподнимаю газетный краешек и вижу — *вижу!* — что она лежит на месте. Надо бы от нее скорее избавиться... Так и мучаюсь, сидя на месте, пока не просыпаюсь.

Некоторое время лежу, охваченный ужасом. Сердце бешено колотится. Наконец что-то начинаю соображать и думаю: как это я мог видеть свою голову, если она была оторвана и лежала в стороне? Да при этом еще и думал о чем-то. Чем смотрел, какой это *головой* я думал? Абсурд полный. Но ведь все происходило так явно, отчетливо! Помню каждое ощущение.

После долго не мог уснуть. Полумгла палаты и жиденький свет с улицы в окно, смешиваясь, создавали вокруг вязкий раствор бредовой тревоги. Но прополз сквозь завесу неживого света вполне настоящий, знобкий, колючий сквознячок, найдя какую-то неведомую щель в моем крепко запертом больничном каземате...

Кошмар оказался прилипчив, как надоедливая муха, которую никак не отогнать. Стоило только закрыть глаза, как тут же возникала в них запрокинутая на кресле голова с клочьями красного мяса на месте отсеченной шеи.

27 марта

Что может быть страшнее, когда человек начинает бояться самого себя? Твой внутренний мир становится дик и непонятен, как жуткий лес, в котором ты заблудился. Охватывает панический страх, и кажется, что тебе уже никогда не выбраться из него. И вдруг ты чувствуешь, что тебя уже нет, и это кто-то другой блуждает в дебрях дремучего леса. Ты стал посторонним по отношению к самому себе.

И однажды, словно мышь, ты испуганно выбегаешь из норки собственной души и с робким изумлением взираешь на мир внешний.

И какой бы на первый взгляд ни представилась жуткой наша жизнь, но есть, есть в ней что-то утешительное для нас. Смотрите — это солнце! А вот и толпы людей, таких же, как и я. Мы суеетимся, бежим куда-то, и нас сопровождает музыка бытия — многозвучие этого единственного для нас мира, в котором и бытуют все наши желания, страсти, надежды. И постепенно возвращается к тебе естественное чувство жизни, и представляется уже, что есть в ней и цель, и разумное начало, и причинность всего происходящего в ней.

А сейчас моя первоочередная задача — найти того человека, который написал мне странное письмо. Необходимо прекратить эту игру в мнимую таинственность. Для чего нужно ему затевать игру в жмурки?словно разведчик во вражеском стане, я крадусь по двору больницы и пристально, изучающе вглядываюсь в каждого, кто попадается мне навстречу. Я уверен, что стоит только заглянуть ему в глаза, как тотчас же он будет мною узнан.

Должен сказать, что во время поисков своего таинственного сверстника я сделал для себя следующее открытие. Мы проживаем жизнь, весьма поверхностно относясь к ней, и мало что знаем о людях. Ведь пока я только вглядывался в сумасшедших на нашем больничном двореке, которых видел каждый божий день, и то обнаружил столько разнообразных типов! А ведь раньше они казались мне все одинаковыми, все на одно лицо.

Вот этот рыжеватый, с жиденькими волосами, раньше казавшийся мне угрюмым молчуном, на самом-то деле оказался великим охотником поговорить о своей родословной. При знакомстве, прежде чем представиться, назвать свое имя, он ухватил меня за рукав и начал сыпать именами своих предков, хвастаться их великими подвигами, пространно рассказывать о том, кто из них во времена оные ездил к самому русскому царю, а кто стал выдающимся ученым. Достал меня своей болтовней основательно! Едва до нервного срыва не довел.

А вот этот лысый толстяк, старательно прилизывающий жалкие остатки волос с висков на плешистую макушку, при каждой встрече угрожающе надвигался на меня и неизменно разражался тирадой: «Эй, братишка, да знаешь ли ты, кто я? Не знаешь? Да в этой стране нет такого казаха, который не знал бы меня. Сам-то откуда взялся такой?»

Был еще один чудик, но это вовсе тяжелый случай. Говорил, что он Иисус Христос, спустился с небес, чтобы навести порядок на земле. Но злые люди, испугавшись, упрятали его в больницу. И организатором этого преступления является ООН, не желающая потерять свое влияние в мире. В общем, бедняга нес несусветную, жалкую чушь.

Тем не менее над скорбным нашим домом небо становится повесенному светлее. Хотя порой и задувает влажный, как дыхание больного, резкий ветер, пробирающий до костей. И в тени все еще властвует нешуточный холод.

Однажды перед самым обедом во дворе произошла драка. Здоровенный бородатый мужик внезапно набросился на длинноволосого парня и давай его мутузить пудовыми кулаками. С трудом удалось растащить их. По-разному объясняли свидетели причину возникшей драки. Версия медсестры: бородатого верзилу взбесило то, что главврач больницы, проходя по двору, остановился и поздоровался за руку с длинноволосым. Дождавшись, когда доктор уйдет, бородач накинулся на молоденького больного, грозно прорычав: «Почему с тобой поздоровался, а со мной нет?»

Когда насмотришься на все такое, то невольно задумаешься, а чем же отличается жизнь там, за бетонным забором, от нашей, во дворе этой психушки? Пожалуй, ничем. Те же тщеславие, гордыня, ревность, нетерпимость.

После обеда сходил на осмотр к лечащему врачу. Маленький очкастый мужик сидел на стуле прямо, ровненько, словно вбитый гвоздь. Голова откинута, сквозь стекла очков смотрит с прищуром, глаза страдальческие, как будто что-то у него болит. Но спрашивает все по делу, видимо, неплохой специалист. Измерил мне давление, прослушал сердце, легкие. После чего заговорил «про жизнь». Спрашивал у меня, что я делал до больницы. Было похоже, что ему все наскучило и он ищет подходящего собеседника. Поговорили даже о всяких мелочах больничной жизни. О том, что прошлой ночью отключили горячую воду, что погода неустойчива...

Далее разговор перешел на собственно на медицинскую тему. Целую лекцию прочитал по психопатологии. Особо сосредоточился на раздвоении личности. Привел пример. Живет человек, добрый семьянин, хороший работник. Но это днем. А ночью, после двенадцати часов, превращается в опасного маньяка. Убивает людей, насилует женщин. Еще пример: был известен некий летчик, уважаемый человек, который на протяжении нескольких лет заманивал и насиловал малолетних девочек, потом душил их. Был пойман на месте преступления после совершения очередного убийства. И кто бы мог заподозрить, что человек такой элитной профессии, командир авиалайнера, мог вести еще одну, потаенную, гнусную жизнь, полную самых страшных преступлений. И таким примерам несть числа. Выходит, что возникновение в человеке второй личности, столь резко отличающейся от первой по уровню и качеству жизненной установки, есть не что иное, как проявление глубокой патологии его психики.

Но лично я предпочитаю думать, что в наше время, когда столь неразлично перемешалось нормальное и выходящее за пределы нормального, совершенно невозможно определить границу меж-

ду болезнью и здоровьем. Рождается, допустим, шестипалый ребенок — это считается патологией. А когда предают пламенную любовь или кровное родство или дружбу — это называют не проявлением патологии, а обыденной жизненной практикой. Выходит, мы привыкли к этой несурaziце. Иначе что может быть хуже такой патологии, как предательство своих нравственных ценностей?

Сегодняшняя нравственная ситуация: иступленное себялюбие, зоологический эгоизм, звериная жестокость, бесовская завистливость, бездушие, бессердечие, хвастовство и бахвальство сильных мира сего — разве это не патология?

Встретишь ли сегодня человека, который хотел бы избавиться от своих пороков, будь у него их даже больше, чем волос на голове? Останови на улице хоть сто человек и разговори каждого — все они представят себя чуть ли не ангелами. И всякого обижают, обманывают или жестоко преследуют. Тогда кто их преследователи и где они?

6

31 марта

Сегодня опять подкинули письмо. Хотя и заклился не заглядывать в нижний ящик стола, стоявший в коридоре, но не выдержал — сунул руку туда и... Наверное, я из тех, кто упорно ищет себе погибели. Что-то безотчетное, зверски настойчивое гнало с самого утра туда. Я вначале сопротивлялся... Но к полудню так и ринулся по коридору к столу. И вот стою, весь обмякший, словно полузадушенный зверек, попавший в петлю-удавку. В руке моей — письмо.

Признаться, я очень боюсь этих писем. Они для меня как вызов на смертельный поединок. Не хочу я никакого поединка. Не было бы этого последнего письма — выпала бы хоть небольшая передышка в битве с той темной силой, с которой я постоянно борюсь и которую мне трудно одолеть. Я так желал этой передышки. Набрался бы душевных сил для противостояния. Но невидимый противник сделал коварный выпад. Вот оно, второе письмо...

Незнакомый сверстник! Я не дождался вашего ответа, поэтому вынужден был написать нижеследующее письмо. Еще раз прошу извинить меня, что без вашего ведома осмелился читать дневник.

Из него для меня стало ясно, что вы однобоко, так сказать, верите только в добро человеческое и не верите в зло. А по-моему, истинным и справедливым было бы верить и в то, и в другое. Неужели не видите, что наш мир держится на этих двух китах? Если телегу жизни тянут за две оглобли, одна из них непременно есть зло. Но у него не такая, как Вы полагаете, исключительно зловредная сущность, приносящая людям одни лишь неприятности. Возьмите, к примеру, смерть. Ее безо всяких сомнений причисляют к разряду абсолютного зла. Но подумайте, мой друг, что была бы наша жизнь, если не было бы смерти. Если бы не умирали старые и больные, не прерывалась жизнь злодеев, преступников, лютых тиранов, грозящих несчастьем всему человечеству?.. Какой на земле устроился бы страшный ад! Да ведь только наличием смерти и благодаря деятельности смерти крутится маховик «вечного двигателя» жизни, поддерживается ее обновление.

И наконец, если бы у людей не было воли к убийству, то как они защищали бы себя от кровожадных двуногих хищников? Вот мы боимся смертельного яда змеи, — но сколько же спасительных для нашего здоровья лекарств изготавливается из того же змеиного яда? Так что теперь извольте сказать мне: яд змеи — это «хорошо» или «плохо»? Нельзя, мой друг, навешивать на любую вещь только один из этих ярлыков. Сие будет неверно и неумно. Оценивать качество добра или зла мы можем лишь в том случае, если то или иное явление мира несет пользу или вред при соприкосновении с нами. В чистоте же, без вмешательства нашего своекорыстия, и то, и другое не существует, друг мой.

Теперь о лжи и обмане. У порядочных людей ложь не в чести, это мы знаем. Но если бы она, Ложь, могла заговорить, то мы услышали бы следующее: «Эй, дорогие мои! А не благодаря ли мне вы все еще живы-здоровы и чувствуете себя столь уверенно? Если бы вы всегда

говорили правду и одну только правду — да вы все давно уже перегрызли бы глотки друг другу! Сколько раз вы спасались благодаря только мне, и сколько еще будете спасаться мною! Да вы без меня и дня не проживете!» Вот так-то, мой незнакомый друг. Скажи свое слово госпожа Ложь, вам нечего было бы возразить ей. Потому что то, что вы могли бы услышать от Лжи, — это и есть сущая правда.

И еще в своем дневнике вы часто упоминаете о порядочности и чистоте. Расскажу специально для вас одну историйку, услышанную от знакомого человека.

Некая интеллигентная и недурная собою дамочка наставила мужу рога. Но вот незадача: бедняжка заразилась венерической болезнью. Не станем особенно отвлекаться на подробности, на прописную мораль, лишь скажем, что факты супружеской неверности в наши времена стали довольно обыденными. И, может быть, пойдя эта неверная особа самым простым, обычным путем, то есть все скрыв от всех и втайне пройдя соответствующий курс лечения, то вылечилась бы и на том история благополучно завершилась. Сегодня подобный выход из такой щекотливой ситуации вполне доступен и легко осуществим. Однако, тяжело переживая свое положение, дама сочла себя недостойной своего супруга, которого опозорила, и взяла да повесилась. В итоге без жены и без матери остались ее муж и ребенок. Вот так-то, дорогой... Обманутый супруг сильно горевал. И знаете что? Больше всего убивала его чудовищная ошибка покойной супруги, которая считала мужа самым чистым на свете человеком, перед кем невозможно было искупить свою вину и оставалось только одно — повеситься. А ведь муж любил ее настоящей большой любовью и способен был все простить. И за собою он знал кое-какие грешки, поэтому образцом чистоты себя никак не мог считать. К чему я клоню? Да ведь можно было жить счастливо со всей этой житейской неудобницей, с обывательскими недостатками — не стремясь вовсе к вершинам чистоты и порядочности. Теперь былого счастья не вернуть. Какое заблуждение! Какие предрассудки! Они-то и губят мир,

ТОЛЕН АБДИК

калечат жизнь на земле. Чего мы добиваемся, отравляя свое сознание представлением о некой возвышенной чистоте, какой и не бывает в природе вещей.

Такова была история, мой незнакомый друг. Нравится она вам?

Чтобы достичь счастья, человек должен вначале четко уяснить для себя, кто он такой и что он такое? И, как бы ему ни было неудобно, должен будет мужественно признать, что он — вовсе не святой, а самый обыкновенный смертный человек, рожденный в грехе, и, стало быть, изначально глубоко заражен пороками. Не признав смиренно всего этого, никто не будет избавлен от напрасных, глупых, безысходных мучений душевного самоистязания.

Вот думаю сейчас об этом, и мне грезится, что стоит лишь протянуть вперед руку, как прилетит птица счастья и, громко хлопая крылами, сядет на эту ладонь. Надо только быть свободным от предрассудков чистоты и беспорочного целомудрия.

Что ж, от всей души желаю прислушаться к моим словам — и пусть птица счастья слетит к вам в руки.

Остаюсь вашим доброжелателем и очень надеюсь на то, что вы все же ответите письмом.

Ваш незнакомый приятель

Помню, когда я дочитывал последние строчки письма, листок мелко задрожал в моих трясущихся руках. «Тихо! Спокойнее...» — скомандовал я самому себе. Но буря возмущенных чувств не давала мне успокоиться. Беспорядочные мысли, словно охваченное паникой зверье при землетрясении, разбегались во все стороны, и сосредоточиться на чем-нибудь одном я никак не мог. Но наконец все-таки справился с собой, суматоха в голове постепенно улеглась. Попытался трезво вдуматься в содержание письма.

Однако тень неясного страха легла на сердце, словно грозовая туча. Кто-то, похоже, основательно взялся за меня. Так и лезет в самую душу. Чего хочет? Поиздеваться надо мной?.. Или что-то задумал — темное, недоброе...

Вскоре я совсем успокоился и стал более внимательно вникать в содержание очередного послания незнакомца. И тут новое смятение охватило мою душу. Дело в том, что многое из письма не лишено было убедительности. Однако угроза таилась именно здесь. В мою душу был запущен зверь сомнения. Коварство его в смиренном облике, с которым выступает он как вещатель истины. Но это не истина, это ложь, прикрытая оболочкой правды. И тут великая опасность таится. Самый отъявленный мерзавец тот, кто хочет предстать в виде смиренного правдолюбца. С таким справиться труднее всего.

И все же для меня очевидно, что главное направление он выбрал для себя неверно. Если нужный объект находится на востоке, то человек, направляющийся на запад, сколько бы ни проявлял находчивости, изворотливости и упорства, никогда не обнаружит того места. А чтобы найти объект, необходимо сменить направление.

Разумеется, мне тоже известно, что всяк может быть и хорош, и плох в одном лице. Но это вовсе не служит доказательством нераздельности Добра и Зла. Эти два начала мы должны различать. И они всегда противоборствуют в нашем прекрасном и яростном мире.

Если лошадь пегая, ее масть состоит, скажем, из белого и черного цветов, — но разве понятие «пегая» исключает самостоятельное значение понятий «белое» и «черное»? Нет, разумеется. Просто в окрасе одного животного сочетаются два разных цвета. Так же с Добром и Злом. Как их не перемешивай — в любой комбинации они не смогут слиться в одно неделимое, единое понятие.

Имеются в письме и другие лукавые, заковыристые мысли, которые любопытны не тем, что содержат в себе какую-нибудь глубокую истину, а своей скрытой, едкой парадоксальностью.

В пылающей войне разума за постижение Истины нет места для художества и украшательства. Сурова, жестока эта война. Тут нужна голая, неприкрытая правда — правда без прикрас. А красота — не для войны. Она отвлекает от правды и, в сущности, враждебна ей. Красивый, но глупый человек. Красивая, но неверная жена. Красивые, но лживые слова... Сколько раз побеждала нас ложь, облачив-

шись в одежды красоты. И сколько изящно скроенных ложных мыслей, как легковесный путеводитель, вводят людей в заблуждение.

Р. S. Готфрид Бенн: «Гегель, Дарвин, Ницше — вот кто стал действительной причиной гибели многих людей. Слова преступнее любого убийства, за мысли расплачиваются герои и толпы».

7

1 апреля

Нет уже сил — меня одолевают бесконечные подозрения. Каждый день строю догадки: кто, почему, каким образом, где прячется? Безответность порождает чувство отчаяния.

Какой скверный человек этот мой «неизвестный сверстник». Он всюду пролезает, шпионит за мной. Мне кажется, когда я читаю его письма, он следит за мной через какую-то неведомую мне щелку. Уж слишком он информирован обо мне, словно читает мои мысли, которые я даже не успеваю изложить в своих записях.

Я уже несколько поостыл в своем желании поймать, изобличить его. Пытаться перехитрить того, кто заведомо хитрее и изворотливей тебя, — это совершенно пустая затея. Наверно, и сейчас он где-то поблизости. Очень возможно, что он в тесной связи или даже в сговоре с медсестрой, санитарками и даже самым лечащим врачом. Он знает всё обо всём. Его нет нигде — и он повсюду. Нет, мне с ним не справиться.

Дни и ночи напролет я только и думаю о нем. Прошлой ночью приснился мне. Заявился, наконец. Точно в такой же больничной одежде, как и моя. Даже тапочки такие же. Стоит спиной ко мне и говорит:

— Ну, вот и встретились.

— Да. Вот и встретились, — повторил я его слова, как бы пердразнивая его.

Хочу разглядеть его лицо, но никак не удается. Он все еще лицом к стене. Делаю вид, что ничем не удивлен. Жду втайне, что он все же повернется. Первым не выдержит и, выждав паузу, шагнет навстречу мне. Однако стоит как истукан и не шелохнется.

— Ну, довольно! Хватит играть в прятки! — мое терпение кончилось, и я протянул было руку, чтобы развернуть его за плечо.

Но что это? Рука моя отказала. Будто ее привязали к телу. Я делаю невероятное усилие. Не получается! Она словно не моя. И тут вселенская тяжесть навалилась мне на грудь, стала душить... Я застонал — и сразу же проснулся. Весь в холодном поту. Кошмар ночного удушья настиг меня глухой ночью.

Захотелось вернуть сон, вновь взглядеться в н е г о, запомнить хоть какую-нибудь отличительную черточку на лице «незнакомца сверстника». Но все напрасно. Я лежал в постели, крепко закрыв глаза, — и ничего больше не видел. А если бы что и увидел? Неужели же завтра, встретив кого-нибудь во дворе, я схватил бы человека за ворот больничной куртки и закричал торжествующе: «А-а! Так это тебя я разглядел во сне? Это был ты?! Не отпирайся!»

8

2 апреля

Я как охотник, который, преследуя зверя, сам заблудился в незнакомой степи. «Что делать»? — ума не приложу. Ночами не могу спать. Тупиковое положение доводит меня до депрессии. Утром встаю весь разбитый, в голове нехороший звон. Так не может продолжаться дальше. Я окончательно подавлен, готов капитулировать. Но как? И кому?

Эта затяжная война нервов не для меня. Наконец не выдерживаю и решаюсь написать ответное письмо.

Мой незнакомый сверстник! (Начало такое же, как и в его письмах.) Смею надеяться, что вы простите меня за то, что не ответил сразу на ваши письма. Но все дело в том, что вопросы, которые вы поднимаете, мне давно известны и на них я ответил самому себе тоже давно. Так что вступать в дискуссию с вами, показалось мне, нет никакой надобности. Уж извините. Я не любитель жарких дебатов, если по какому-нибудь поводу имею самые ясные представления. Тем более что многие из моих мыслей совпадают с вашими.

Однако впоследствии я обнаружил, что не во всем обстоит дело именно так. Многие ваши исходные позиции существенно отличаются от моих. Разумеется, это не имеет большого значения, ибо наивно полагать, что в нашем многолюдном мире все должны думать и поступать одинаковым образом. Но в то же время невозможно сидеть сложа руки, когда бесцеремонно задевают твои убеждения, пытаются развенчать их или извратить. Итак, я решился ответить вам.

Жизнь — это борьба. Простите за тривиальность. В этой борьбе человечество сначала принимало участие, как и все живое на земле, только физически, телесно, используя свою мускульную силу. Но потом изобрели всяческое оружие и стали истреблять друг друга намного успешнее, в массовом порядке. Теперь же, в наши дни, вступила в действие война умов, и она вспыхнула во всех краях земли, во всех пределах человечества. Это самая опасная война! От исхода ее зависит, сохранит ли человечество свое доброе начало или утратит его, побежденное духом зла. Если произойдет последнее и наступит эра всеобщего краха духовности — никому нет спасения.

Вот эту войну, пока локальную — один на один, вы, похоже, и объявили мне, уважаемый «незнакомый сверстник»! И я вынужден принять вызов.

А теперь перейдем к конкретному. Вот вы призываете меня верить в Зло так же, как верю я в Добро. Хитроумный маневр. Убеждая меня признать существование Зла, вы подводите меня к тому, чтобы я уверовал в него. Но дело в том, уважаемый, что я и на самом деле признаю существование зла человеческого — однако верую-то я в добро! Вера — это предпочтение, это выбор, это душевное слияние с тем, что ты видишь как высшую ценность. Достоевский сказал: «Где нет веры — там нет добра». Так что же это такое — ваша вера в Зло, к которой вы меня призываете? Вы чего хотите? Чтобы и я стал верующим Зла? Хотите, чтобы я возжелал его торжества над Добром, а не наоборот?

Вот вы настойчиво повторяете мысль, что не надо навешивать на всякую вещь ярлыки «хорошо» или «плохо», — подводите к тому, собственно говоря, чтобы не отделять доброго начала от злого. Но если бы человек не научился отделять одно от другого, чем бы он отличался от животного? И само понятие «гуманизм» не есть ли результат этого человеческого свойства — уметь отличать Добро от Зла? И законы человечности не от этого ли умения?

Ведь она, человечность, и есть основной кодекс межчеловеческих отношений во все времена и у всех народов, уважаемый мой корреспондент! Без этого главного закона существования невозможно устройство жизни как человеческого общества, так и отдельного человека. Правда, немало среди нас таких, кто дерзко и откровенно нарушает этот кодекс, но мы должны благодарить Аллаха за то, что мир наш держится не на подобных людях.

Не могу признать удачной вашу философию смерти. Если речь идет о смерти естественной, которая приходит к человеку по завершении жизни, подаренной ему Богом, чтобы уступить место в жизни следующему поколению, то на такое «зло» человечество давно научилось реагировать с пониманием.

Но ведь бывает смерть вовсе и не такая. Она безжалостно отнимает у кого-нибудь единственного любимого человека, оборвав его жизнь на полпути. А какому-нибудь злодею и маньяку она отдает на глумление, муку и погибель невинную жертву. Кровавому тирану, его злодейской клике — во имя их торжества и безумного упоения своей властью — смерть бросает в братскую могилу истории тысячи и тысячи насильственно умерщвленных людей... И все это многообразие несправедливых смертей никак не укладывается в вашу апологику смерти. Которая направлена лишь на одно — навести сомнение на понятие Добра. И даже — цель далеко идущая! — убить само это понятие.

Ваше мнение о Лжи тоже звучит парадоксально. Да, в человеческой истории были времена, когда люди жили во лжи и выживали благодаря ей. Возможно, и сейчас немало таких людей. Но это не от-

того, что ложь обладает таким достоинством, а потому, что само общество основано на лжи. Если бы это было основанное на правде справедливое общество, то госпожа Ложь была бы тотчас разоблачена — и она не посмела бы вести себя столь высокомерно и чванливо, как вы ее описываете.

В конце последнего письма вы привели душераздирающую историю женщины, которая повесилась из-за того, что изменила порядочному, верному, любящему ее мужу. А он далеко не был ангелом — бедная женщина оказалась жертвой своего заблуждения: она верила в существование нравственной чистоты. Но сей пример я восприимлю как ловкий софистический трюк. Как нечистую игру ума. Ведь сколько угодно можно привести примеров, когда после измены любимой жены как раз вешались мужья. Поэтому ваш вывод, что якобы причиной всех бед является нравственная чистота, которой нет в природе, не имеет под собой никакого основания.

Ошибочно предполагать, что соотношение сил добра и зла равновелико. И что, мол, нужно стараться лишь сохранить это равновесие, тогда все будет в порядке. Ничего подобного! Никогда не может быть равновесия зла и добра. Ибо добро избирательно, несвободно в средствах. Один мудрый человек сказал: «Есть множество способов творить зло, а способ не творить зла только один: это лишь не творить зло». И все. Старайся делать хорошее, а плохое само по себе получится — безо всяких твоих стараний.

И последнее. Я далек от мысли что-то доказывать вам или, тем паче, поучать и наставлять на путь истинный. И все вышеизложенное в моем письме лишь ответы в полемике, почти насильственно навязанной мне. В ваших взглядах на мир есть что-то глубоко оскорбляющее мою душу, задевающие мои лучшие чувства. И мне очень тяжело даже просто обмениваться с вами мнениями, и вовсе не хочется никакого сближения и дружеского общения. Поэтому советую вам найти для себя другого, более подходящего интеллектуального партнера, а меня прошу оставить в покое.

Незнакомец

3 апреля

Не мог даже предположить, что мой «незнакомый сверстник» так глубоко вгрызется мне в душу. Днем и ночью только и думаю о нем, словно о возлюбленной. Круглосуточное присутствие его я ощущаю всей шкурой своей, всеми нервами, и порою мне кажется, что я слышу близкий стук его сердца, ощущаю на затылке чужое дыхание.

Продолжаю следить кое за кем из прогуливающихся по двору, но в этой слежке я лишь напрасно теряю время. Каждую ночь провожу в бессоннице, утром встаю полуживым.

А прошлой ночью я вдруг услышал звуки шагов. Они как будто бы раздавались в коридоре, — но странное дело, приблизившись к двери моей палаты, не стали удаляться, а все шаркали и шаркали на месте. Я встал с кровати и осторожно выбрался в коридор. Там никого не оказалось. Шаги теперь звучали за окном, на улице. И я приник носом к стеклу. Но и снаружи я не заметил никого. Улица, слабо освещенная далеким светом, была пуста. Но стоило мне только отойти от окна, как шаги снова зазвучали. Порой их заглушал грохот проезжающей по улице машины. Но когда он стихал вдали, шарканье чьих-то осторожных ног вновь становилось слышным. И начинало тихо замирать сердце от какого-то неясного, темного страха. «Слышу ли я на самом деле или не слышу? — с великой тоской думал я, одиноко стоя в полутемном длинном коридоре больницы. — Слышу или не слышу? Живу — не живу? Я — не я?» И только бедное сердце со всей убедительностью жизни стучало в моей утлой груди. Мне захотелось немедленно на улицу, на свежий воздух, под звездное небо... Но двери отделений на каждом этаже на ночь были крепко заперты, ключи находились у дежурного врача.

Я вернулся в палату и снова лег в постель. Но стоило мне, жутко измученному, наконец чуть задремать, как невнятные шаги начинали приближаться, и я тут же просыпался.

7 апреля

Утром проснулся со смутным беспокойством, словно упустил очень важное для себя дело или опоздал то ли на самолет, то ли на поезд. Первое, что я увидел, приподняв с подушки голову, было письмо на тумбочке. Сердце мое екнуло. Страх зловещим огоньком пробежал по сосудам моего тела и, дымясь едким чадом, проникал в опустошенную душу. Я судорожными движениями развернул листок. Хотелось убедиться, тот ли самый почерк. Да, тот самый. Приступая к чтению, я поймал себя на том, что, кроме страха, испытываю любопытство к содержанию письма.

Разлюбезный незнакомец! Премного благодарен вам за ваш ответ. Я еще раз убедился в том, что вы человек традиционных гуманистических убеждений.

А ведь наша жизнь подобна огромному базару, на котором каждый может найти все то, что ему необходимо. И только этой необходимостью определяются его потребности. Приходилось ли вам хотя бы раз покупать совершенно ненужную, бесполезную для вас вещь? Здесь-то и кроется самая главная интрига. Ведь согласитесь со мной: если вам не нужно, чтобы менялись вековые каноны и представления, зачем стремиться к чему-то новому? Но ведь не станете же вы отрицать, что всякое развитие, прогресс невозможны без новаторства?

Охватывая взглядом всю мыслимую историю нашей цивилизации, невозможно прийти к выводу, что человечество хоть когда-нибудь было счастливо. Главные характеристики этой истории: бесконечные войны, голод, страшные эпидемии, природные катастрофы, человеческая нищета и насилие. Ко всему этому в наши дни добавились чисто техногенные бедствия: отравление воды, почвы и воздуха.

Но отвлекусь от глобальных обобщений и обратимся к судьбе отдельного человека. Возьмем хотя бы нас с вами. Счастливы ли мы?

Лично о себе не берусь утверждать этого. Как я могу быть счастлив, видя вокруг столько насилия и несправедливости и будучи бессильным противостоять всему этому. Но оставим личные мотивы и подумаем: уже сколько веков мы верим в добро и справедливость — и тем не менее всегда убеждаемся в том, что наша вера, сталкиваясь с реальной жизнью, разбивается вдребезги, как глиняная игрушка? И все равно тупо и безрассудно держимся своих старых убеждений. Говорят, слепой отчаянно цепляется за то, что попало ему в руки. Может быть, мы и есть слепцы, и слепота наша — духовная...

Нам нужна вера, и мы верили в мистическую силу огня и воды... не осталось стихии, которой бы мы не поклонялись. А сколько было у человечества богов! А пророков! Великих вождей и ораторов! И всем им верили. И что же? Облегчилась ли от этого наша печальная участь? «Верьте в торжество Добра!» — призывают к нам гуманисты. Сколько веков они нас обманывают? Наверное, столько же, сколько существует понятие гуманизма. Торжество это никак не наступает, вот незадача! Когда же, в каком веке это обреченное на успех Добро будет праздновать свою победу? По всей вероятности, никогда. И вы тоже знаете, мой друг: бывают у нас желания, которые не сбываются, как бы мы этого ни хотели. Возникает вполне закономерный вопрос: почему это невозможно? Да потому что в пределах своего интеллектуального пространства человечество давно заблудилось. И, неверное, с нарушениями строительных законов были возведены наши храмы Добра и Зла. И теперь остается только одно — всё это старье смахнуть с лица земли и совершенно заново, с чистого листа, построить новые представления о человечности, совести, справедливости.

«Величайшие эпохи наступают тогда, когда у нас появляется мужество переименовать все наше злое в наше лучшее», — заметил как-то Ф. Ницше.

Стереотипы прежних дней, привычек и представлений не дают нам всмотреться в лицо истины.

Известны многие имена, носители которых были когда-то преданы осуждению и казнены через сожжение, повешение, преданы по-

ТОЛЕН АБДИК

зору, изгнаны на чужбину, — а впоследствии признаны гениями и титанами человечества, некоторые даже причислены к лику святых. Сколько произведений художников и писателей в самых высокочивилизованных странах были объявлены аморальными, разрушающими устои существующего общества, а впоследствии, с приходом новых поколений, признаны лучшими творениями человеческой культуры. Все это происходит из-за того, что мы находимся в плену предрассудков и консерватизма. Стоит нам избавиться от них, как тотчас же наше сознание озаряется вспышкой высокого разума и перед нами открывается ясный, отчетливо зримый простор новой жизни.

Итак, наше сознание нуждается в раскрепощении. Необходима духовная свобода. Не должно быть никакой преграды на ее пути. Только безграничная духовная свобода способна принести человеку подлинное счастье!

С уважением,
ваш незнакомый коллега

...Любое зерно добра или зла возникает на земле вначале как слово. Потом прорастает делами, в которых содержится энергия веры. Что же касается идеи, насквозь пронизывающей письмо «незнакомца», то она сравнима разве что... с ядерной бомбой, сброшенной в мир нашей духовности. Каковы будут последствия от взрыва и радиации такой бомбы, Бог весть.

Дальше я не мог спокойно размышлять. Нервы мои напряглись, как перетянутые струны, вот-вот готовые лопнуть. Надвигался новый срыв. Уже не владея собой, я выскочил в коридор с криком:

— Да что это такое, в конце концов! Черт побери! Кто его пускает в палату? По какому праву?!

На мой крик прибежала медсестра.

— Вы куда смотрите? Для чего вас тут поставили? — грубо заорал я на нее, не в силах сдержаться. — Кто он такой и почему вы позволяете входить посторонним в мою палату?

Медсестра, как могла, принялась успокаивать меня. Спросила, что случилось. Я же, весь дрожа от негодования, никак не мог вразумительно объяснить ей, в чем моя претензия, и только махал перед ее носом письмом, без конца повторяя: «Вот вам... Вот! Какие еще нужны доказательства?»

В конце концов что-то стало доходить до нее.

— В мое дежурство никто к вам не заходил, — сказала она, глядя на меня с удивлением.

— Как же не заходил? Еще как заходил! Откуда же тогда это взялось? — возмущался я и тряс письмом.

— Ну, хорошо, — произнесла медсестра примирительно, словно соглашаясь в чем-то со мной. — Вам надо сначала успокоиться. Немного отдохнуть. А потом мы во всем разберемся.

Сестра завела меня обратно в палату и дала таблетку.

— Сегодня вам лучше не выходить на прогулку, — посоветовала она. — А вечером, если что-нибудь вас будет беспокоить, попросите дежурного врача, чтобы он вам сделал укол перед сном. Договорились?

— Вы меня извините, — заговорил я более спокойным тоном, дружески беря сестру за руку. — Я был рассержен, накричал на вас. Но поверьте мне, все это происходит на самом деле. Я не в бреду. Я чувствую себя как загнанный зверь. В последнее время получаю письма от какого-то неизвестного человека. Он играет со мной в прятки: подбросит письмо, а сам не объявляется. Вот, посмотрите, это последнее письмо. Я давно хочу его подловить, но все безуспешно. Это и выводит меня из себя.

Мои слова, кажется, произвели на нее должное впечатление. Она внимательно посмотрела на меня и призадумалась.

— Когда вы нашли это письмо? — спросила она потом.

— Да вот только что.

— Только что? — испуганно воскликнула медсестра. — Вы знаете, я здесь работаю недавно... Не во всем еще разобралась... Но я буду иметь в виду вашу жалобу. А пока что прилягте, отдохните.

Толен Абдик

С тем и поспешила к выходу. Бесшумно и плотно прикрыла за собой дверь.

А я еще долго не мог успокоиться. Часам к одиннадцати пошел на аутотренинг. Однако глухая тревога настолько овладела мною, что ни милые губки и жемчужные зубки молоденькой врачихи, ни ее гипнотические заклинания, призывающие к душевному блаженству, ни убаюкивающая музыка не могли отвлечь меня и вывести из состояния подавленности.

И вот вечером сел я писать ответное письмо.

Многоуважаемый незнакомец! Уже предостаточно времени мы с вами играем в жмурки. Дискутируем, не видя друг друга. Непоследовательно перескакиваем с одной темы на другую. Наваливаем в одну кучу все, что знаем, с единственной целью — доказать свою правоту. И если мы не определим параметров наших дискуссий и не установим правил корректного их ведения, нам с вами грозит опасность бесплодно проспорить всю оставшуюся жизнь.

Итак, вы утверждаете, что пройденный человечеством путь есть трагическое заблуждение, поскольку путеводная звезда, зовущая к добродетели, изначально была выбрана неверно. И поэтому, мол, понятия о добре и зле, любви и ненависти, чести и бесчестии были определены искаженно, а приоритеты установлены произвольно. Что же получается? Нам нужно отказаться от своих высоких идеалов и духовных устремлений? Конечно, вы не высказываетесь открыто и не применяете слово «отказаться», однако все у вас сводится к этому.

А ведь люди оказались несчастны в этом мире не потому, что старательно соблюдали все нравственные законы, но как раз наоборот, — потому что нарушали их. Несчастны не потому, что святилища духа были выстроены по неверным расчетам, а потому, что мы сами осквернили их и не содержали в надлежащей чистоте.

Каждое живое существо на свете стремится к свободе, и человек тоже — кто с этим спорит. Свобода по-вашему — это избавление

от всякого ограничения. Делай что хочешь — никто не должен тебе мешать. Но разве чувство долга перед другими людьми, милосердие, честность, совесть не должны ограничивать наши действия, удерживая их в рамках нравственного закона? Вы хотели бы меня убедить в том, что свобода не признает никаких рамок, даже чести и достоинства. Так получается, что человеческие поступки, не знающие границ, всяческое беззаконие и мошенничество, проституция, разбой и так далее не что иное, как проявление безграничной свободы. Согласно этой логике древнеримские цезари Нерон, Калигула и другие, дозволявшие себе любые гнусности разврата, крайнюю жестокость, кровожадность, бесстыдство и коварное предательство, окажутся самыми свободными людьми в человеческой истории. Они-то и не признавали никаких нравственных и моральных ограничений: сожигали с собственными матерями, приводили в сенат своих любимых лошадей и тому подобное. Но существует поговорка: у собаки — хозяин, а у волка — Бог. На всех найдется управа. Все преступившие границы дозволенного Богом рано или поздно предстанут перед судом Истории.

Возможно, человечество спасла от губительного разврата и духовного распада именно религия. И если ей не удалось окончательно победить Иблиса, беса соблазнов, то по крайней мере бес был изобличен и предан осуждению. Страх Божий отделил человека от животного — вы согласны с этим? И совокупляться с собственными дочерьми запретил людям закон шариата, а не закон беспредельной, разнузданной свободы личного произвола.

Но если, по-вашему, отделить свободу от реальной жизни и поклоняться ей, как идолу, то очень возможно, что мы вернемся к той сумасшедшей вакханалии.

Запертые в темницах нашего подсознания, охраняемые там, осужденные нравственным законом, вся низменная похоть, животная ненасытность порока, жестокость и подлость, неблагодарность и предательство — вся эта черная рать злого духа рвется на свободу и ждет часа, когда мы ослабеем, потеряем уверенность

в себе, утратим бдительность. И если такое случится — каких же страшных монстров, серийных убийц и разбойников выпустим мы из زندанов нашего внутреннего мира!

Увидев на улице красивую женщину, ты испытываешь чувство соблазна. Понять можно. Человек не ангел. Но немного выдержки! Возможно, она верная жена, такого же, как ты, добропорядочного человека. И заботливая мать таких же милых детей, как и твои. Такое представление о женщине разве совместимо с твоим похотливым влечением. Вот здесь-то ты обязан, проявив твердость, дать себе команду: «Стоп!» Ибо свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому. Если не сможешь остановиться, то ты попросту окажешься рабом своих животных инстинктов.

Когда у великого Сократа спросили: «В чем твое отличие от царей?» — он ответил: «Они рабы своих страстей, а я — их повелитель». Сократ во сто крат свободней этих царей-рабов.

Смысл и содержание жизни складывается из простых истин. Наша беда в том, что мы не воспринимаем эту простоту. Нам, по собственной нашей прихоти, нравится выбирать самые замысловатые пути и на них совершать разные немыслимые, ненужные подвиги и преодолевать всякие трудности. Скажем, кому неизвестно, как вредна привычка курить. От рака легких погибает больше людей, чем по какой-нибудь другой причине, вызывающей смерть не «прямую», обусловленную старостью, а «боковую», вызванную нашей глупостью, пороками или вредными привычками. И вот, чтобы победить рак, тратятся огромные национальные средства стран, работает мировая индустрия по борьбе с онкологией, в то время как проблема — очень проста. Ну, вредно и опасно курить — так не кури! Если куришь — брось курить. Так нет же! Пустяковая проблема, решаемая простым усилием воли, превращается для человечества в непреодолимую проблему номер один! Ну не чудовищно ли это? Маленькая букашка на глазах у нас превращается в громадного апокалиптического Зверя! («Самые великие страдания люди доставляют себе из-за того, что игнорируют простые истины» — слова вашего любимого

го Ф. Ницше.) Вы же, наверное, полагаете, что для решения данной проблемы нужно ввести законом всеобщее обязательное курение — это исходя из логики и диалектики ваших рассуждений о свободном выборе человека. Он должен отказаться от всякой попытки борьбы со своей вредной привычкой, ибо это выглядит насилием над свободой воли любителей табака. Вы, таким образом, тайно добиваетесь только одного — чтобы человек оставался жалким рабом своих желаний.

Свобода внутри человека, в его сознании. Сколько декларированных свобод ни предоставили бы «снаружи» человеку, но в том случае, если он подлец и подхалим, все свободы для него бесполезны, поскольку он изначально был клейменым рабом с обрезанными ушами — таким и останется вовек.

«Что такое свобода? Да это же чистая совесть!» — сказано Перикандром Коринфским, мудрецом, жившим за семь веков до нашей эры.

Признайте, а ведь прекрасно сказано! Это значит, что свобода достигается только через духовное совершенство! Перед такой свободой и должно снять шляпу и поклониться до земли.

Когда, в какой век наступит победа Добра, не без ехидства зададитесь вы вопросом. Было бы глупо и наивно предполагать, что она означала бы полное искоренение Зла на Земле. Торжество Добра там, где люди прочно осознают необходимость постоянно творить это Добро.

Необходимо ясно определить, что такое победа и поражение в этой вечной борьбе. Об этом мы с вами еще не говорили. В обывательском сознании победа представляется как удачный, мощный удар боксера, пославшего соперника в нокаут. Или как ловкость гангстера из боевика, который успел первым выхватить оружие и расстрелять противника. То есть погибшие считаются потерпевшими поражение. Однако поражение Иисуса Христа, убитого его врагами с невероятной жестокостью, не оказалось ли впоследствии величайшей победой для человечества? Да, бывают в этой жизни поражения, которые дороже победы.

Что может быть выше подвига встрепанной воробыхи, которая, желая защитить птенцов в гнезде, сама бросается в пасть громадной змее? Разве ее погибель не величайшая победа? И она достойна нашего восхищения.

А что такое «подвиг»? Что такое «храбрость»? Неужели самые жестокие, склонные к кровопролитию признаются нами храбрыми, а их способность убивать расценивается как подвиг? Еще Абай заметил с возмущением: «Почему это все вредоносные злодеи считаются отчаянными храбрецами?» Неужели это так? Но в таком случае — что же остается на долю тех, которые способны к духовному подвигу? Например, победить самого себя — разве не то же самое, что совершить подвиг? Ведь самый грозный лев не способен повторить подвига воробышки, у которого нашлась решимость броситься на заведомо более сильного и смертельно опасного врага. Наверное, то, что не по силам совершить человеку, но что он все-таки совершает, и можно назвать подвигом.

Ваши соображения основаны на том, что идеалы добра несовместимы с несовершенством людей и не соответствуют самой земной реальности, в которой нет ничего абсолютно совершенного. В последнем я согласен с вами, потому что несовершенство мира и является стимулом для его развития. А непрерывность жизни подчинена закономерности постоянного развития. Да, это так. Если было бы что-то достигшее полного совершенства, то это выпало бы из бесконечной цепочки развития и потеряло жизненность. Вот и художники: стремясь к совершенству в своем творчестве, они ясно отдают себе отчет в том, что оно недостижимо. Однако благодаря неистовой устремленности к идеалу, им удается создать прекрасные произведения искусства.

Лишь стремясь найти способ излечения самых страшных болезней, идя на штурм самых неприступных крепостей и терпя поражения, достойные великих побед, ставя себе недостижимые цели духовного совершенства, человечество способно расширить горизонты своих возможностей.

Следовательно, несоответствие высших идеалов земной реальности не есть их недостатки, а, наоборот, их преимущества.

Всевышний наделил всех нас добрыми чувствами, хорошими задатками и прекрасными условиями для жизни, чтобы мы совершенствовались и улучшали этот мир. Но мы не смогли использовать эти благие дары Господа. Теперь, вместо того чтобы искать причины ошибок в своем грешном безволии, слабости и непостоянстве, мы пытаемся разрушать созданное душой и совестью человека, хотим свести на нет всю духовность человечества.

Законы человеческого существования установлены самими людьми, следовательно, исполнение их зависит от них самих. Правда, законы природы намного суровее человеческих, и многие из них прямо попирают наши высокие чувства, священные установления и нравственность. Однако это вовсе не значит, что мы, будучи частью природы, должны подчиняться звериным законам существования.

В них нет и не может быть никаких нравственных норм — таких, как самопожертвование во имя Бога, во имя идеалов Любви. Нет и не может быть устремлений к духовному очищению через страдание. Представление о святости может быть только у человека и больше ни у каких земных существ. А если это так, зачем же нам с вами утверждать, что законы природы превыше человеческих и что только они истинны, а Богом данная духовность направлена лишь на то, чтобы определить, обнажить и подчеркнуть нашу безнадежную греховность? И тогда выходит, что мы отказываемся от нравственных принципов, подчиняемся животным инстинктам и, следуя природе своей, оправдываем все свои пороки. А саму нравственность подвергаем сомнению и считаем, что надо бы ее подправить, а не наши с вами грешные души.

Итак, мы с вами устанавливаем новый порядок ценностей: что считалось дурным, теперь становится хорошим. Убить человека — это вполне нормально, потому что соответствует закону природы, по которому любое убийство никакому суду не подлежит.

ТОЛЕН АБДИК

И вот перед нами безграничная свобода! Делай что хочешь. Все нравственные оковы сброшены. Хочешь — предавайся разврату, продавай жену, торгуй совестью, глумись над всем чистым и непорочным, лги и мошенничай. Ибо все это в природе вещей и является естественным правом каждого. Ты словно разбойник, вырвавшийся из темницы на свободу: режь, убивай, грабь. (Это и есть, видимо, ваша «птица счастья», опустившаяся на протянутую руку!)

О нет, мой незнакомый сверстник! Правила великой Жизни устанавливали не мы с вами. И нарушали их не сильные, а слабые. И невыносимы они для последних, а не для первых.

Да, кстати. Все преследуемые герои, сожженные на кострах, повешенные как еретики, праведники и пророки были осуждены на смерть не народом, а властью. Народ же спасал их от забвения и навсегда сохранял имена мучеников в своей памяти.

Прощайте

Спрятав письмо в условленное место, я вернулся в палату и, под впечатлением собственного послания, долго пролежал без сна.

Я стал вспоминать первое письмо незнакомца, в котором говорится о значениях «Ян» и «Инь», ключевых понятиях китайской философии. Переход первого вида явлений во второй и наоборот, единство двух противоположных составляющих — мне все это представляется ясным. Но почему два этих начала должны слиться и образовать что-то единое, причем каждое должно потерять свое самостоятельное значение? Почему белое должно обязательно перемешаться с черным, полезное с вредным, доброе со злым? Отбросив лукавую игру ума, нельзя называть вещами одного порядка огонь, скажем, разжигаемый в очаге для приготовления пищи, и губительное пламя пожара, в котором сгорает все нажитое добро человеческое? Хотя и в том и в другом случае действует процесс горения. Нет, это разные явления, хотя общим первоэлементом является огонь. Но кому тогда выгодно, чтобы столь разное наваливать на одну сковородку?

А выгодно это, черт бы их побрал, всяким нравственным уродам, духовным гермафродитам, скользким нравственным амфибиям, готовым пресмыкаться и служить сразу двум господам: лжи и правде. О, уроды мира сего всегда смотрят на жизнь недобрыми глазами, им хотелось бы отомстить всему миру за свое уродство.

И я обнаруживаю в своем тайном корреспонденте эти свойства. Словно безжалостный фанатик-террорист, он вынашивает планы, как бы ему взорвать общечеловеческий духовный храм, на возведение которого потрачено столько нравственных усилий. Он хочет, чтобы в одно мгновение были уничтожены результаты тысячелетних трудов человеческого духа. После чего нам пришлось бы, хотим мы того или нет, вернуться к звериному бездуховному существованию.

Духовному терроризму необходимо противостоять.

8 апреля

Одиночество — что это такое? И откуда оно берется? Можно вынести, мне кажется, все тяготы жизни, можно перетерпеть любую клевету, даже насилие. Но выдержать постоянное одиночество не под силу никому.

Слышал я, что самоубийства совершаются гораздо чаще в самых благополучных, развитых странах, а не в странах с низким уровнем жизни. Причины для суицида самые разные. Это и неизлечимая болезнь, и несчастная любовь, и разбитая мечта. Но самая основная причина — это одиночество. Разумеется, не всякий безнадежно больной человек решает кончать самоубийством. Были бы рядом близкие люди, которых он любит, вряд ли ему пришло бы в голову наложить на себя руки. Но если тебя постигло горе и тебе не с кем его разделить, то твоим господином становится Одиночество. Отныне оно, словно возлюбленная, завладевает всем твоим вниманием, сопровождает тебя по всем закоулкам твоего сумеречного бытия. Одиночество — твой единоутробный брат-близнец. Одино-

чество — твоя судьба. В конце концов ты хватаешь его за полу и покорно следуешь за ним до самого конца — и уходишь в туманную страну потустороннего мира.

Ученые открыли за далекими галактиками так называемые «черные дыры», поглощающие все, что к ним приближается, даже свет. И безвозвратно. Одиночество — черная дыра. Которая поглощает безвозвратно весь свет твоей души. Все твои силы, всю радость жизни. Душевной энергии, пожранной твоим Одиночеством, хватило бы тебе на совершение многих великих подвигов.

Оно подступило сейчас и ко мне. Оно очень близко. Я чувствую его прикосновение сердцем, которому стало вдруг больно, тесно, неуютно.

И я в страхе бегу — искать собеседника. Останавливаю в коридоре санитарок и медсестер, принимаюсь расспрашивать об их житье-бытье, выслушиваю их ответы, словно мне все это очень интересно, а сам про себя молю их, чтобы только они как можно дольше разговаривали со мной. И многие из них, глядя на меня, делают большие глаза, полагая, что я не в себе, а иные попросту не устаивают меня ответом и, насмешливо улыбнувшись, проходят дальше.

Дождлся, наконец, часа аутотренинга. Скорее бегу туда, где снова увижу симпатичную врачиху с детскими приоткрытыми губками, всегда готовыми прошебеть что-нибудь утешительное... Сел в кресло, а на душе все то же. В течение всего сеанса притворялся спящим, сидел с закрытыми глазами, не открывал их, даже когда уже все закончилось. Наконец сделал вид, что проснулся, и — о чудо! — прямо перед собой увидел врачиху, которая молча, изучающим взглядом смотрела на меня, и на лице ее сияла такая славная улыбка! Глаза были добрые, их лучистый свет мгновенно согрел мою душу. Как мало нужно человеку! Один добрый взгляд — и тебя можно сделать почти счастливым.

Однако меня привело в замешательство то, что она сказала: «А ведь вы не спали?» Я-то был уверен, что всех смог убедить, что по-

грузился в сладкий, глубокий сон. Сказано было дружелюбным, шутливым тоном, и смущение мое тут же прошло. Ах, ничего мне не надо — лишь бы смотрели на меня таким вот милым взглядом.

Вдруг она взяла меня за руку и задала совершенно неожиданный вопрос:

— Вы не могли бы отдать мне те мысли, которые мучают вас?

И снова я впал в замешательство.

— Как это — отдать? Каким образом?

От волнения у меня вспотела ладонь. Я осторожно высвободил свою руку. Молодая врачиха смотрела на меня по-прежнему благожелательно, как бы говоря: «Ну, что вы, успокойтесь. Ведь я ничего такого не сказала, что могло бы обидеть вас».

Ее глаза, бездонные, как море, сияющие, как утренняя степь, вливали в мое зябнущее сердце блаженное тепло. Эти глаза успокаивали, утешали, убаюкивали меня.

«Прошу прощения, если чем-нибудь обидела вас, — говорили ее добрые глаза. — Я не собиралась сделать вам больно. Мне всего лишь хотелось облегчить ваши страдания. Душе человека может помочь только другая душа. Смотрите, смотрите мне в глаза. Они не обманывают, они говорят только правду».

«Вы теплая, легкий ветер теплоты исходит от вас, — отвечал я, и тоже лишь одним своим взглядом. — Я заметил это с первого же раза. Но я не понял тогда, на кого направлена ваша теплота. Мне казалось, что ни на кого. А теперь вы обращаетесь именно ко мне. И я вам отвечаю. Да, меня мучают мои мысли. Но их так много... очень и очень много беспокойных мыслей. И я боюсь их вам отдать. Боюсь нанести вам непоправимый вред. Будет лучше для вас, если вы никогда не узнаете о них».

«Избавить вас от мучительных раздумий — это счастье и для меня».

Мне вдруг показалось, что последнюю фразу она произнесла вслух.

— Что? — спросил я, желая убедиться в достоверности услышанного.

— Избавить вас от мучительных раздумий — это счастье и для меня, — повторила она негромко.

Внутренний беззвучный диалог перешел во внешний, слышимый, и это не устраивало меня. Разговор взглядами был для меня более искренним и понятным. Слово изреченное зачастую звучит двусмысленно или невнятно. И я предпочел говорить глазами.

«Отдать вам гнетущие меня мысли означало бы вручить вам мою судьбу», — продолжил я немой разговор, ясно представляя себе, что сказать вслух такие слова, которые произносятся только раз в жизни, было бы для меня куда более сложной задачей.

«Я готова принять на себя... все», — ответили мне ее глаза, полные решимости.

У меня громко заколотилось сердце.

— Правда? — я не заметил, как снова заговорил вслух.

— Правда, — спокойно и твердо произнесла она.

Могучий поток животворящих чувств, словно вода, прорвавшая плотину, ворвался в мой полузасохший душевный мир. И невзрачная эта пустыня вмиг превратилась в цветущий оазис, утопающий в зелени. Да, есть на свете эта великая сила, поднимающая человека и наполняющая его жизнь высоким смыслом! Нужно только немного везения, чтобы встретиться с нею и взлететь...

Сухой, горячей ладонью я нежно охватил ее руки. Она покорно и как-то грустно и беспомощно потупилась, опустив глаза; слабым движением попыталась высвободиться, но я удержал ее, потому что сердце мое было наполнено уверенностью, дух мой преисполнился небывалой отваги и силы. Близкое торжество победы я ощутил в себе.

Но это, конечно, явное легкомыслие. Ведь всего минуту назад я, бедолага, весь измученный вселенским одиночеством, был избавлен от грозного страха перед ним вот этой нежной девушкой. А теперь, выходит, обретя небывалые силы, хочу направить их против своей милой благодетельницы.

Я привлек ее к себе. Нежным ароматом ее духов повеяло на меня. Ее повлажневшие ладони слабо вздрагивали. И, о боже, чем она трепетней, тем увереннее, агрессивнее стало вести себя во мне нагловатое желание, словно акула, учуявшая запах крови. Я не узнаю себя, меня словно подменили. И наконец доходит до моего сознания: да, это я, все тот же самый, но в своей славной звериной ипостаси, и зверь инстинктов моих воспользовался удачной минутой и выполз из глубокого тюремного зиндана моего подсознания.

— Нет! Нет! — обмирая, зашептал я. — Никогда! Ни за что!

Изрядно провозившись со своим зверем, я наконец-то снова загнал его назад в темницу и, подняв голову со вздохом облегчения, увидел... увидел ее растерянное, порозовевшее от румянца юное лицо.

— Это не вам. Это я себе говорю. Себе, — объясняю докторше, словно ребенку, и тычу пальцем в свою утлую грудь.

Она смущенно улыбнулась. Розовая заря на чистом лице человеческого — верный признак душевной чистоты и нежности. От людей, которые еще не разучились краснеть, можно ожидать, что они наделены внутренней красотой, обладают изначальной совестью и награждены любовью к правде...

Она присела рядом на стул и хотела что-то сказать, но я осторожно прикрыл ей рот рукою. Дивные мягкие губы коснулись моей ладони.

— Ничего не нужно говорить! Т-с-с... — зашептал я. — После разговоров наших душ — ничего не нужно говорить... Все будет лишним. И никаких слов не нужно.

Она заливисто рассмеялась и, как бы ставя последнюю точку в нашем немом задушевном разговоре, посмотрела на меня так ласково, так нежно — о, этими своими лучезарными глазами! И мне снова показалось, что в душе моей свежей зеленью распустился волшебный оазис.

Иногда реальная действительность как самая дивная сказка.

9 апреля

Я радуюсь как человек, долго находившийся в темном, душном помещении и вдруг выбравшийся на солнечный свет, на многолюдье и просторы деятельной жизни.

Навязчивая идея во что бы то ни стало выследить автора подметных писем стала, похоже, постепенно отпускать меня. И если не считать одного худющего молодого человека с длинной челкой, падающей на глаза, который всегда старался скрыться в своей палате, завидев меня, никого из пациентов я уже не подозревал. Да и тот малый, как я узнал вскоре, страдал редкой фобией прямого взгляда на себя и прятался не только от меня.

И все же... Прошло некоторое время, и мысли о «незнакомом сверстнике» снова стали возвращаться ко мне. И я стал обдумывать новые планы, как бы обнаружить его.

«Пойду-ка... А вдруг сегодня как раз и попадется...» — с этой мыслью я вышел во двор на прогулку. Несколько дней я не выходил сюда. За это время, оказывается, произошли кое-какие изменения в составе нашей дворовой публики. Не было ни здоровенного бородача, любителя подраться, ни его лохматого противника, который столь беспомощно дал себя накомылять по шее.. Исчез рыжий говорун, перечислявший всех своих знаменитых предков. Из старых знакомых лишь один смуглый «Иисус» сидел на угловой скамейке и что-то тихо, проникновенно проповедовал самому себе. Остальные были из новичков, и большая часть из них предпочитала с унылым видом расхаживать по дорожкам, ни с кем не общаясь. Все мои попытки вступить с ними в контакт не увенчались успехом. Да и мне вскоре стало неловко, что я заглядываю беднякам в лица, словно стараясь изобличить их в какой-нибудь подлости.

И напрасно прослonyaвшись до самого вечера, утомившись изрядно, я вернулся в свою палату, рухнул на койку и заснул.

13 апреля

Меня охватило равнодушие ко всему. Все последние дни постоянно болит голова, в мозгу саднит и ноет, я не могу даже работать над дневником.

И сверстник незнакомый словно сквозь землю провалился. Хоть бы прислал весточку о себе. А то забросил в мою голову свои коварные мысли и сгинул. Не беспокоюсь, что он взял да и помер, нет мне дела и до того, что он все еще жив. Однако злые мысли, которые он отдал мне, не дают покоя моей душе.

...Пустыня надвигается на плодородные земли, заметая их песком, подобна этому мировая экспансия зла, все более сужающая оазис человеческой нравственности.

Чем вульгарнее, безнравственнее становятся произведения искусства, книги и кинофильмы, тем больше за них дают денег на рынке сбыта. Не слушают больше Бетховена, а словно муравьи на мед сбегаются любители на самую грубую, шумную, примитивную музыку. Великий режиссер десятилетиями не может найти средств на создание новой картины, а ловкач, тискающий порнографию, купается в золоте, входит в мировую культурную элиту. О чем это говорит? О том, что безнравственность — лучший товар в наши дни. Если знаменитая кинодива в какой-нибудь высокоразвитой стране снимается голой для журналов и дает интервью, в котором делится с читателем, сколько оргазмов способна испытать за один половой акт, если парламент этой страны принимает закон, разрешающий однополые браки, и все это подается как достижение Демократии, то можно ли нам говорить о победе Добра над Злом? Скорее, мы имеем здесь поражение Добра.

Но нравы в эпоху упадка империй не являются отражением законов бытия всего человечества. В этих законах содержится математическая логика, свойственная жизненному созиданию, а в тотальном разврате современности такой логики нет. В нем есть только гибельность и прямая устремленность к самоуничтожению. Подоб-

но тому, как осознавший свою неизлечимость наркоман или вконец спившийся алкоголик кончают жизнь самоубийством, человечество сможет избавиться от духовного распада только ценою глобального суицида. Если в войне за душу и разум Добро на самом деле потерпит поражение, то других прогнозов быть не может.

Да, да, современное человечество непросто уничтожить внешними факторами, и ядерная катастрофа, прилетевший с неба астероид вряд ли станут причиной его гибели. Человечество издохнет в результате собственного разврата.

Но должна же быть какая-то главная причина всеобщего духовного распада? Несомненно, она таится в эгоизме. В нашем всемогущем, непреодолимом, необузданном «Я». Но считает ли человек необходимым обуздать свое чудовищное «Я»? Есть ли в нем что-то действительно высокое, способное преодолеть самого себя?

Взять хищного гепарда. Он отбирает у своих котят куски мяса, выхватывает их прямо из пасти. Но не потому, что проявляет животный эгоизм, как это думали поначалу биологи, а чтобы уберечь их от гибели: жадные котята от переедания могут умереть. Природа позаботилась о том, как спасти зверей от дикого эгоизма и жадности, а вот о людях с их высоким разумом, похоже, не подумала. Увы, люди во всем похожи на детенышей гепарда, но спасти их от губительной жадности никто не может — разве что сами себя... Скажем, путем объединения отдельных «Я» во всеобщее «Мы». Отказом от принципа «Мне». Мне должна принадлежать власть, считает правитель, — нет, мне, считает претендент на власть, — и начинается в стране междоусобная война. Семьи рушатся, потому что супруги не желают заботиться друг о друге и каждый думает только о себе. Там, где властвует «Я» и где отсутствует «Мы», не может быть ни любви, ни братства, ни доброго согласия. «Я» всегда безнравственно, это бессовестная особа. Живущие под ее властью всегда несчастны, хотя порой, на взгляд со стороны, кажутся вполне счастливыми. «Я» не может победить весь остальной мир — и терпит поражение. «Жизнь — это всегда кораблекрушение», — говорил Х. Ортега-и-Гассет.

Кораблекрушение?.. А вот случилось такое 14 апреля 1912 года. Затонул «Титаник». Все знают об этом. Столкнувшись с айсбергом, громадный, только что отстроенный роскошный лайнер быстро ушел на дно. Перед этим свыше двух тысяч людей, самых богатых и счастливых, в предсмертном страхе метались по палубе. Как «Мне» спастись? — думал каждый из них, каждый из этих потерявших от страха разум «Я». Миллионеры обещали несметные деньги за место в спасательной шлюпке. Но капитан приказал сажать в лодки сначала только детей и женщин. И все произошло так, как он повелел. Оказав помощь тем, которые могли быть спасенными, команда корабля во главе с капитаном и полторы тысячи пассажиров остались на тонущем корабле. Корабельный оркестр играл до последней минуты — музыканты стояли уже по колено в воде. Так и погибли они, исполняя величавый гимн торжествующего «Мы», которое на крыльях вечности взлетело над холодной океанской пучиной. Капитан корабля принял смерть вместе с экипажем и со всеми обреченными пассажирами.

Так произошло — в час великой катастрофы и перед лицом неминуемой смерти — объединение малых, жалких «Я» в великое и бессмертное «Мы».

14

19 апреля

Я попал в эту паутину, находясь в здравом уме и ясной памяти, и, похоже, начал свыкаться со своим существованием в подвешенном состоянии. И когда обнаружилось очередное письмо в ящике стола, я вынул его безо всякого страха в душе, распечатал конверт и начал читать, словно это было послание от старинного приятеля.

Дорогой друг! Некоторое время я не мог писать вам, потому что был серьезно болен. (Здесь я невольно усмехнулся: словно близнец, он и болеет в одно и то же время со мной.) Последнее ваше письмо порадовало меня, хотя, как вы сами понимаете, я не во всем со-

гласен с вами. Вы абсолютизируете значение Добра, хотя понятие Абсолюта применимо только к Богу. И потом — любой закон, не соответствующий истине вещей, неисполним. И законы Добра — по-вашему — неосуществимы, поэтому они суть мертворожденные законы. И если законы Добра невыполнимы, то они только провоцируют общество, углубляют в нем противоречия и вызывают в людях печаль несбыточных желаний, неудовлетворенность жизнью, смятенность и тревогу, бессмысленное соперничество друг с другом. Преодолеть же все эти негативные вещи поможет только компромисс между добром и злом, признание того и другого равными и необходимыми началами человеческой жизнедеятельности. А сложившиеся еще в древние времена представления о Добре и Зле — с большой буквы — уже не актуальны в наши дни. Вместо этих философских архетипных реликтов мы должны воспользоваться понятиями Отрицательной и Положительной силы, в равной мере необходимых для жизни, как и заряды со знаками «плюс» и «минус» в электричестве. Только тогда, когда мы примем равнозначность этих сил, мир наш перестанет раздираться на две части, на два непримиримых лагеря.

Еще задолго до нас с вами, мой друг, были умные люди, верно определившие внутреннее содержание Зла. Французский поэт Бодлер воспевал его в книге, которая так и называлась: «Цветы зла». А японский писатель Акутагава Рюноске написал: «Человеческая жизнь не стоит одной строчки Бодлера». И если бы всем нам стать столь же откровенными и последовательными в своих умозаключениях, мировое понятие «гуманизм» существенно изменилось бы и продвинулось к подлинному демократическому содержанию...

Мне почему-то хочется сейчас перейти на «ты». Надеюсь, ты не будешь против? Помнишь ли ты картину Пикассо «Минотавр на арене»? В ней посреди арены для боя быков раненый Минотавр завывает как волк, задрав морду к небу. И кто-то из-за щита барьера протягивает к нему руку (очевидно, еще не запуганный общепринятым понятием о Зле молодой человек), гладит чудовище по его бычьей голо-

ве, проявляя к нему жалость и милосердие. И этот молодой человек стоит на шаг ближе, чем вся оголтелая толпа зрителей, к идеалам истинного Добра.

Из этого следует, что только не разделяя людей на добрых и злых, возможно сострадание ко всем, а не только к своим близким. Презируемые тобой гомосексуалисты, которых ты и за людей не считаешь, — все-таки люди. И законы, которые пишутся под них, принимают не просто парламенты демократических стран, а сама жизнь. (Думаю, ты уже заметил, что я читал твои свежие записи в дневнике. Раньше ты прятал тетради, опасаясь, что в них ненароком заглянут, а теперь — смотрю, дневник лежит на виду, и даже раскрытый. Вот я и не удержался снова, прочел. Уж извини. И мои письма, смотрю, переписаны туда. И теперь смело можно сказать, что это наш общий дневник. Не правда ли, дорогой?)

И вообще, разве это не смешно, что ты вроде бы относишься ко мне с каким-то брезгливым презрением? Но как медику не пристало брезгливо относиться к больным, так и пламенным проповедникам добродетели негоже воротить нос от зловонных нечистот безнравственности. Не полагаешь ли, что таким, как ты, моралистам, апологетам Добра и нравственности, проявлять брезгливость неприлично?

Да, не забудем, друг мой, что и среди гениальных людей, столько потрудившихся во славу человечества, было немало гомосексуалистов.

Эх, хорошо бы нам встретиться наконец!
Жду ответных писем.
Твой незнакомый друг

Одному Богу известно, чего добивается от меня этот несчастный. Вернувшись в палату, собравшись с мыслями, я быстро написал ответное письмо.

Уважаемый незнакомец! Есть чувства и понятия, требующие по отношению к себе незапятнанной чистоты. Это любовь, честь,

справедливость, совесть. Им надлежит пребывать в чистом виде. Не бывает преданности пополам с предательством, честности с примесью обмана, любви с толикой измены. Либо да, либо нет. Идеал добра — это не правило для повседневной жизни, в которой может всё измениться на противоположное, смотря по обстоятельствам. Идеал — это путеводная звезда, указывающая не на место, куда надо прибыть, а дающая направление, которому надо следовать. Поэтому не стоит в блужданиях человека, попадающего не туда, куда надо, винить путеводную звезду в небе. Для того чтобы совершенствовать жизнь, не нужно менять идеалов — надо исправлять самих себя. Пересмотр законов Добра и Зла на руку только грешникам и злодеям. Только это может спасти их от позорного клейма на лбу. «Можете оправдывать, можете не наказывать, но называйте зло злом», — говорил Достоевский. И разве он не прав?

Не спорю, что любить надо всех людей, не разделяя их на достойных и недостойных. Но Минотавр, о котором вы напомнили, — это не символ самого Зла. И пожалевший его молодой человек, разве гладил он по голове и жалел Зло, а не страдающее, умирающее существо, жертву самого Зла? Наверное, истинный смысл картины в последнем. Такая любовь ко всему живому — погибающему — вполне понятна. Вам же в своих рассуждениях хочется стереть грань между добром и злом. Пожалеть безнадежно больного человека — это не значит пожалеть саму болезнь. Здесь жалость к тому, кто гибнет от болезни.

«Бороться надо не с грешником, а с грехом», — говорил Махатма Ганди. Не гнушающиеся греха и не будут никогда бороться с ним.

Воровство у всех народов считается позором и преступлением. Однако для того, кто привык воровать, это вовсе не позор. Для женщины, вкушившей сладость измены мужу, это не грех и не постыдный разврат. Для нее не грех страшен, а возможность быть уличенной в прелюбодеянии. Да, все зависит от привычки. И курение, и пьянство, и наркомания, и разврат. Привык — и дальше все пойдет как по маслу. Стоит раз перешагнуть через совесть, дальше нет для человека

ничего постыдного. Он уже под другим небом, в другой стране. Там, где уже все можно. И он сожалеет только о том, что не сделал всего этого гораздо раньше.

Переступить через совесть во сто крат легче, чем не сделать этого. Здесь больших усилий не требуется. Лишь дай волю животному инстинкту. А чтобы удержаться — нужны воля и сила нравственности. Но нравственность — это не пустой заброшенный дом, куда можно войти без разрешения в любое время. Нет, это скорее монастырь с суровым уставом, в котором можно быть только тому, кто со смирением и доброй волей принимает этот устав. И туда невозможно войти тому, кто полагает, что ничего страшного нет в том, что он всего лишь разок переступил через порог совести. Он не знает того, что, совершив это, он уже навсегда потерял совесть.

Говоришь, что не надо быть брезгливым. Это ты мне говоришь? Мол, это неприлично. Что, и для тебя тоже? Как видишь, я тоже перешел на «ты». Так вот, дорогой, чувство брезгливости есть категория этики. В этом смысле и врач может быть брезгливым. Знающий чистоту не может не испытывать отвращения к грязи. Очень хотелось бы тебе пожелать, чтобы и ты когда-нибудь испытал это чувство.

Твой незнакомец

Верно ли я написал ответ? Решил прочитать снова последнее письмо незнакомца. И тут заметил, что главную-то его мысль я выпустил из виду. Гомосексуализм, по его мнению, имеет право на существование, потому как это свойственно человеку, и презирать его нельзя. «Эх, хорошо бы нам встретиться наконец!» — бросилось мне в глаза. Подожди... подожди... И вдруг какое-то подозрение, взявшееся ниоткуда, обожгло меня, словно током, в страшной догадке: да этот паршивец — не гомик ли собственной персоной?! Тогда все понятно. Выходит, все его хитроумные доводы направлены лишь на то, чтобы оправдать его мерзкую наклонность. Вот для чего ему нужно

было смешивать на одной сковородке добро и зло и упорно доказывать, что грязь — это не грязь.

Припомнилось кое-что из прежних его писем. Надо же, потратить столько умственных сил для оправдания своего порока. Весьма неожиданной для меня самого оказалась моя догадка. А я-то так старался, напрягал свои мозги, чтобы достойным образом отвечать ему! Какой позор... Сволочь! Как оскорбительно его внимание! Меня тошнит от него. Такой мерзости душевной я не испытывал еще никогда. Ну, хорошо, ты хочешь встретиться со мной? Давай, я не против. Увидишь, какого ты зверя пробудил во мне своими оскорблениями. Мне бояться нечего — бойся ты, паршивец!

И тогда я приписал в конце своего послания: *«Жду завтра в 20.30 в хозяйственном отсеке подвального помещения».*

Письмо отнес в условленное место.

Теперь с нетерпением буду ждать встречи. Хочу увидеть его. Ибо нет опаснее врага, чем тот, которого ты не знаешь в лицо.

15

20 апреля

Лечащий врач назначил мне горячие уколы. Медсестра, которая стала делать их, была из болтушек, долдонила мне в самые уши: «Потерпите, ничего не бойтесь. Всего лишь будет немного жарко... Сейчас по всему телу пойдет горячая волна... Это не страшно... Быстро пройдет... Вот сейчас... сейчас...»

Ее болтовня не успокоила, а основательно напугала меня. Все тело охватила дрожь, кажется, подскочило давление. Вдруг навалилось тяжкое удушье, я заметался, вскочил со стула, упал назад.

— Уми-ра...ю! — сдавленно прохрипел я, не узнавая своего голоса.

Медсестра с перепугу молча выбежала из процедурной, бросив меня одного, но очень скоро вернулась назад вместе с какой-то женщиной в белом халате. Вдвоем они всадили в меня еще пару уколов, а потом, почти бездвижного, уложили на составленные в ряд табуретки.

Лишь через полчаса я стал приходить в себя. Почувствовал себя намного бодрее, попытался даже шутить с женщинами, рассказав им, как я был напуган словами медсестры и как, в свою очередь, напугал ее внезапным обмороком. Но медсестрички не очень-то поверили в мое бодрое состояние и, не отвечая на шутки, проводили меня в палату, уложили.

Перед обедом навестил врач — тот самый негнувшийся, прямой, как вбитый гвоздь, очкарик. Пощупал у меня пульс, затем, с видом великого одолжения, тронул липкой ладошкой мой лоб, молча встал и удалился, всем своим видом как бы говоря: все знал заранее, так и должно было быть, и дальше будет все так, как я и предполагал.

После обеда мне удалось уснуть, и я видел сон. Какое-то огромное здание с высоченными потолками, в нем скопище народу. Все стоят в какой-то очереди. И мне надо в очередь, но никак не могу найти ее конец. Пришлось выбираться на улицу — и там вижу, что очередь огромная: уходит куда-то за край города. Желая посмотреть сверху, где все же находится ее конец, забираюсь на какой-то небоскреб. И с его крыши вижу, потрясенный до самой глубины души, что черная цепочка очереди тянется до самого туманного края земли и теряется за горизонтом. С чувством глухой тоски и тяжести на сердце спускаюсь вниз и спрашиваю у кого-то: «Как бы мне встать в эту очередь?» На что человек отвечает: «Что ты, мой дорогой! До конца ее никто не добирался еще. Многие завещают свое место в очереди внукам и правнукам». Человек пожилой, приземистый. Лицо вроде бы знакомое, никак не могу припомнить, где встречался с ним. «Слушай, братишка, брось ты все это и ступай со мной», — говорит он. Голос мягкий, доброжелательный. Протискиваюсь за ним сквозь толпу, заходим в какое-то присутственное место. Похоже, там очередь разделилась на несколько потоков в разные кабинеты. «Мое место здесь, — говорит человек. — Садись и жди». Сам уходит. Сажусь на стул, и душу мою переполняет радость неожиданной удачи. Надо же, не придется выстаивать эту пожизненную очередь! Но тут пришло в голову: а что мне надо там, в кабинете? Ну, войду туда,

а дальше что? О чем меня будут спрашивать? Ведь и на самом деле, я даже не знаю, зачем встал в эту очередь. Неловко как-то... И тут увидел табличку на двери кабинета, куда я должен был войти, и на ней прочитал свою фамилию. «Миленькая, да ведь это же я!» — говорю секретарше, указывая на табличку. «А мне-то что? — отвечает секретарша с нескрываемой ехидцей в голосе. — Если это вы, так и входите к самому себе!» Стою в растерянности перед дверью. Сзади раздаются ободряющие голоса: «Смелее, парень! Входи, кто бы там ни был!» Но слышу и другое: «Будь осторожен! Не навреди себе!» Наконец решаюсь войти... О, Аллах! Навстречу... выходит из-за стола... выхожу я сам — весь напряженный, бледный, злой. В страхе я попятился назад. Он шагает ко мне. Вот уже совсем близко. Чувствую на себе его дыхание. Протягивает руку — рука твердая и холодная, как у мертвеца. Я вскрикиваю — и просыпаюсь от собственного крика.

Первое, что вижу, проснувшись, это лицо медсестры, стоявшей у моей койки. Оказывается, чтобы разбудить меня, она прикоснулась ко мне своей рукой. А ладонь у нее ледяная, видимо, только что мыла руки под холодным краном.

— Извините, — смущенно произнесла она. — Напугала вас. Я вам чаю принесла. Выпейте, пока не остыл.

— Спасибо, — говорю я, не выпуская ее холодной руки.

Как хорошо проснуться после кошмарного сна и вновь оказаться в реальном мире, в котором всё так понятно: пришла медсестра, принесла на подносе чаю.

К вечеру погода испортилась, на улице накрапывал дождь. Вдруг налетел порывистый шквал ветра, стал метаться и рваться по всему больничному двору. А я сидел в это время в палате, волнуясь, и ждал приближения назначенного часа свидания.

К ужину я почти не притронулся, пытался есть через силу, но ничего не получилось. Ходил взад-вперед по маленькой палате, потом вышел в длинный коридор. Вышел на улицу, побродил по больничному двору. Дождь давно прошел, теперь бушевал пыльный ветер. Ни-

кого уже там не было. Я прогуливался в одиночестве и шептал самому себе: «Ну-ка, соберись с силами! Выше голову!»

Неизвестно, сколько прошло времени. Но я постепенно успел привести свои чувства в порядок, укрепиться в своей уверенности — и скоро окончательно был готов к встрече.

В 20.30 я спустился в подвальное помещение хозблока. Но вот незадача: в той части, где хранились матрасы, одежда, мебель и прочий хозяйственный инвентарь больницы, не горел свет. То ли выключили его, то ли лампочки перегорели. Темень сплошная. Тут где-то должен стоять старый стул, но разве найдешь его в такой темноте. Неудачно выбрал я место встречи. А может быть, это о н специально выключил свет, пришло в голову подозрение.

Вдруг мне показалось, что слышу шорох чьих-то шагов. Я замер на месте. Да, это он! Прижавшись спиной к стене, я весь превратился в слух. Пытался определить направление звуков, но слышалось, что теперь они раздаются с противоположной стороны. Опять шалит мой незнакомец! Конечно, шалит — звуки теперь стали доноситься со всех сторон! Шорохи, шарканье, стуки.

Тут терпение мое кончилось, и я заговорил, стараясь придать голосу как можно больше спокойствия и твердости:

— Ну, хватит. Я все знаю. Ты здесь.

Голос мой в подвальной тишине прозвучал пугающе громко.

— Ты хотел встречи, вот я и...

Я хотел сказать «пришел», но не смог — не хватило дыхания.

Собрав все свои силы, произнес:

— ...пришел!

Совсем не мог представить себе, что голос мой прозвучит столь громко — с грохотом каменного эха в бетонной пустоте. Я сам впал в ужас от него.

Далее наступила могильная тишина. Она была намного ужаснее самого крика. И тогда я, широко раскинув руки, пошел на ощупь вдоль коридора — в полной темноте. Что-то засветилось впереди, когда я свернул за угол. И вдруг призрачная тень мелькнула мимо...

Дикий крик непроизвольно вырвался из меня, и я, размахнувшись, ударил кулаком в эту тень. Рука попала во что-то плотное, хрупкое, раздался звон разбитого стекла...

И вот, сижу на корточках в полной темноте. В подвальном помещении больницы. Я пропал, я несчастен. Вступил в драку с собственным отражением в зеркале... Из глаз моих полились невидимые миру слезы. О, Господи! За что мне такие мучения? В чем моя вина?

Рука сильно болит. Видимо, поранил ее. С трудом поднялся, побрел к выходу. Под ногами захрустели осколки стекла. Шатаясь, то и дело натываясь на стены, кое-как добрался до своей палаты. И как только вошел туда, следом вбежала медсестра. Видно, дожидалась моего возвращения.

— Какой ужас! Где вы были, что с вами?

— На улице... Там сыро... Поскользнулся и упал, — отвечал я невинно, и голос был незнакомым, чужим.

— Да на вас лица нет. Бледный какой! Пойду позову врача.

— Не надо... — с трудом выдавил. (Я так устал, что, казалось, последние силы покидают меня.) — Врача не стоит... — я глубоко вздохнул, чтобы собраться и сказал: — Перевяжите мне руку...

Медсестричка убежала из палаты и вскоре появилась вновь, привела дежурного врача. Пока она промывала раны и забинтовывала мне руку, а он измерял давление, прослушивал сердце, задавал какие-то вопросы, я не обращал на них никакого внимания, молчал, ибо душа моя была бесконечно далека от всей этой суеты. Кажется, врач немедленно назначил мне уколы, что-то еще советовал сделать со мною, медсестра шлепнула меня по ягодице и вонзила туда иглу. Но я смотрел на все их действия глазами постороннего, словно происходящее не касалось меня.

Как только они покинули палату, я мгновенно отключился — и проснулся в двенадцатом часу ночи. Сон был коротким, но бездонно глубоким. Очнувшись, я не сразу сообразил, где нахожусь. Но постепенно пришел в себя и снова стал соображать. Все последние события восстановились в памяти. Первая мысль, что пришла в голову,

была такая: «А все же почему он не явился на назначенную встречу?» Хотя, впрочем... «Да получил ли он мое последнее письмо?» — вдруг стукнуло мне в голову. Я вскочил с койки и пулей вылетел в коридор. Подбежал к столу, сунул руку в ящик. Нашупал там свернутую бумажку... Так и есть! Это оказалось мое письмо! Значит, не попало к нему. Почему-то не смог забрать. С колотящимся сердцем я упал на стул, стоявший рядом. Так вот в чем дело... «Не получил... не получил», — бормотал я себе под нос. Теперь все понятно. А я-то весь измучился, словно тот безумец, который сражался с ветряной мельницей...

16

21 апреля

Сегодня со всех сторон рассматривая вчерашнее свое поведение, нахожу в нем ряд несообразностей. Во-первых, разумно ли это: не получив от человека согласия, сломя голову бежать на свидание к назначенному тобою месту? Неловко мне, но я действительно не подумал об этом.

Во-вторых, я даже не удосужился поинтересоваться, откуда взялся незнакомец — из этой ли он больницы? А может, вовсе не из больницы, а откуда-нибудь со стороны? Так не глупость ли тогда назначать место встречи в больничном подвале, где сам черт ногу сломит? Видимо, настолько вбил себе в голову, что он всезнающий, вездесущий пронира и что очутиться в любом месте в любое время для него не проблема.

В-третьих, зачем вообще понадобилась мне такая встреча? Какое отношение имела бы она к разгоревшейся меж нами войне умов? Хотя кто знает... ведь психологическая сторона поединка тоже немало важна. Все это время правила игры диктовал исключительно он, а я лишь безропотно следовал им. Общение в форме переписки, тайник в коридоре, вторжение в мой внутренний мир, причиненное мне беспокойство и душевные травмы — всё это его инициатива. Пора и мне перейти в контрнаступление, выставить свои условия и принудить его выполнять их...

В 12.00 был на приеме у врача. Как всегда, он вначале сидел молча, изучающе глядя на меня. И я молчал. Смотрели друг на друга и молчали. Затем последовало:

— Как себя чувствуем? — он произнес это так, как мимоходом бросают формальное «здравствуйте», на что вовсе не надо отвечать: «Спасибо, чувствую себя хорошо».

Я и не стал ничего отвечать врачу, сидевшему передо мной прямо, не шелохнувшись, словно забитый в стул гвоздь.

Через некоторое время он молвил:

— Идите, отдыхайте.

Прием, значит, был окончен. Я поднялся и пошел. В своей палате достал письма от незнакомца и снова перечитал их по порядку.

Словно целая жизнь прошла между первым и последним его письмами. Чувствую, что во мне за это время произошли какие-то глубокие перемены. Нет, речь не идет о моих взглядах, они все те же. Но некая тяжкая, глухая печаль непрерывно грызет меня. Никогда я не подозревал раньше, до этих писем, что корни враждебных Добру темных сил уходят так глубоко.

Человеческие устремления направлены по двум путям. Путь низший — это мирское, плотоядное, потребленческое. По нему шагает толпа. Путь высший — это духовное, нравственное. Он доступен немногим. Избранным. Но мы в настоящее время развернули повсюду открытую пропаганду мирских ценностей, похоже, смирились с тем, что настало время толпы.

Мирские интересы основаны на житейских радостях, утехах и удовольствиях. Удовлетворение подобно вину: кто откажется вкушать доброго, вкусного, ароматного вина. Оно поднимает настроение, придает ощущение тепла и света. «А что еще нужно в этой короткой жизни, дающей только раз?» — законной и естественной кажется иногда эта мысль. Но немало скрытых угроз и опасностей таит в себе все то же сладкое вино. Самая распространенная из них — жалкая участь спившихся от вина людей. Удовольствие без пределов и ограничений рано или поздно приводит к духовному

алкоголизму и нравственной распущенности. Так же и прочие спутники безудержного «кайфа»: жажда наживы, хождение во власть по головам и трупам, прелюбодеяние и блуд, «поджог соседского дома ради того, чтобы приготовить яичницу», — всё это обширнейшие портретные галереи моральной деградации. Печально, что многие люди не замечают расползания этого зла, или не хотят замечать. Нет даже желания противиться, не говоря об активной борьбе. Поэтому опасный враг все еще не назван, масть его не помечена, место обитания не установлено.

Попирающая элементарную совесть, не знающая меры ни в еде, ни в сне, ни в желании, ни в зависти, одурманенная собственным эгоизмом, ненасытная сумасшедшая жизнь! Да, сумасшедшая жизнь! По-другому ее не назовешь.

Мой незнакомый современник перешел все мыслимые и немыслимые границы. Неверие в Добро, равнодушие к нему — облегченная версия потворства Злу; с этим еще можно как-то жить, как-то искать и находить общий язык. Открыто содействовать злу, быть его сообщником — это более тяжелая форма вражды, когда возможность примирения равна нулю. Но мой незнакомец не только поддерживает Зло — он еще активно пропагандирует и идеализирует его, поклоняясь ему. Какой вызов и какая угроза могут быть опаснее?

Хвастается тем, что запоем читает Бодлера, поэтизировавшего зло, смерть и темные силы. Но каким бы гением ни был сказавший, что человеческая жизнь не стоит одной строки Бодлера, согласиться с этим невозможно. Впрочем, я не читал самого Бодлера, хотя раньше встречал разные мнения о его произведениях.

После обеда, выходя на прогулку, по дороге зашел в библиотеку — просторную комнату, от пола и до потолка заставленную книжными стеллажами. Выходила она окнами на солнечную сторону, поэтому была особенно жаркой, душной, к тому же еще пахло там лаком и красками. Видимо, в соседней комнате делали ремонт. Библиотекарша-корейка, обалдевшая от духоты, выглядела сердитой и раз-

говаривала с посетителями так, словно за что-то дулась на них, и не желала даже смотреть в их сторону. На все вопросы отвечала скупой и крайне раздраженным тоном.

Усевшись за стол с газетными подшивками, полистал их, рассматривая только картинки и прочитывая заголовки. Даже по ним одним можно было понять, что государство процветает, что достигнуты крупные успехи в... что есть временные трудности... из-за рубежа сообщают, что... В полосы с пикантными объявлениями, с сенсационной хроникой даже заглядывать не стал: испугался, что стошнит от гадливости. Столько обычно там бывало мерзкого.

— У вас есть сборник стихов Бодлера? — спросил я у библиотекарши, подняв голову над газетами.

Надутая корейнка, помедлив всего секунду, выдала ответ, словно робот-автомат:

— Есть, но сейчас на руках.

Потом пошарив в ящичке картотеки:

— Срок возврата истек. Книга в десятой палате, — сказала тихо, будто разговаривала сама с собой.

Я вздрогнул:

— В какой? — спросил я заикаясь.

— В десятой, — сказала она и с удивлением посмотрела на меня.

— Как это так? — я задыхаюсь от волнения. — Десятая... это моя палата! Я там один. А такой книги я не брал. Даже и не видел ее!

— Смотрите сами, вот, — с обиженным видом протянула она мне карточку. — Читайте, если не верите.

Я метнулся к ее столу, выхватил карточку и внимательно всмотрелся в нее. Но ничего не могу разглядеть. «Да что это такое? Такого не может быть, никак не может быть, — бормотал я себе под нос. — Ничего не вижу... Не может быть...» И тут начинаю понимать: пришла настоящая беда. На меня обрушилась беда.

— Что с вами? — слышу встревоженный голос. — Вы плохо чувствуете себя? Сейчас врача позову. Присядьте и не двигайтесь...

Почему не двигаться? А что случится, если буду двигаться.

Поднимаю голову, смотрю: вокруг меня собрались люди. Узнаю среди них свою медсестру. Она спрашивает: «Голова не кружится больше? Сердце не болит?» Ничего не могу ответить, кроме «нет... нет», потому что и на самом-то деле ничего не чувствую.

Придерживая меня за плечо, медсестра ведет меня в палату, укладывает в постель. Приходит дежурный врач. Начинает расспрашивать, что произошло. Я кое-как, неохотно, путая слова, подолгу замолкая, начинаю рассказывать.

— Не брал я эту книгу, клянусь, даже в глаза не видел, — говорю я с каким-то упорством, словно, докажи я свою непричастность к этому, все встанет на свои места.

Врач как будто что-то стал понимать. Начал давать распоряжения сестре. Потом быстро удалился. Мне дали лекарство, я стал успокаиваться. Но мелкая отвратительная дрожь продолжала сотрясать мое тело. Только после ужина, к которому я так и не притронулся, мне сделали укол, и я уснул как убитый.

17

22 апреля

Похоже, меня решено было не будить, и я проснулся только к обеду, когда принесли еду в палату. Медсестра повела к врачу, я покорно поплелся за нею. Он сидел совершенно один и с таким видом, словно у него никакого дела, кроме встречи со мной, не было. Я давно уже сидел перед ним, а он все барабанил пальцами по столу и молчал.

— Хочу серьезно поговорить с вами. Если вы, конечно, готовы к беседе, — наконец произнес он угрюмо, словно приготовившись известить о смерти близкого мне человека.

— А что я должен сделать, чтобы быть готовым? — спросил я в недоумении.

Врач как будто не ожидал моего вопроса. Опустил глаза, задумался.

— Вот вы и начнете разговор, — сказал он наконец. — Расскажите мне. Хотите мне что-нибудь сообщить?

Он ожидающе посмотрел на меня поверх очков.

— Есть разговор! — выпалил вдруг я, решившись. — С тех пор, как поступил в ваше заведение, мне приходят письма от какого-то неизвестного типа.

— Вы только не волнуйтесь. Рассказывайте все сначала и не спешите. Хотите закурить? — он впервые на моей памяти улыбнулся и придвинул ко мне пачку сигарет.

Я покачал головой:

— Спасибо, не курю... Так вот, как ни старался я узнать про автора странных писем, все бесполезно. Он прячется от меня. И уже настолько обнаглел, что подбрасывает их прямо в палату. Но дело не в этом, дело в другом. Он очень опасен своими губительными идеями, как террорист, вооруженный взрывным устройством. Подобные идеи, как эпидемии, распространяются очень быстро. Потому что основаны не на нравственной ответственности, а на самых низменных инстинктах, и как нельзя лучше соответствуют побуждениям толпы. Ведь эпидемия, способная пожрать жизни миллионов людей, тоже начинается в организме одного конкретного человека. Никто не может гарантировать, что эта свившая гнездышко в одной голове идея завтра не обернется трагедией всего человечества. Вот почему я должен был обязательно встретиться с ним. И на его яд у меня найдется противоядие. Но он избегает встречи со мной. Самое чудовищное: в одном из своих писем он сообщает, что читает сборник стихов французского поэта Бодлера, которого называли певцом зла. Вчера я поинтересовался в библиотеке, и там мне сказали, что книга якобы находится в палате номер десять. Но «десять» — это мой номер! И никакой такой книги я не брал... — я снова разволновался и умолк, переводя дыхание. — ...Так вот что я хочу сказать. Как бы ловок и дерзок он ни был, все эти проделки человек не мог совершать один, без посторонней помощи.

Я поднял голову, чтобы взглянуть в глаза врача.

— Скажите, доктор, а не связан он каким-то образом и с вами?

В кабинете воцарилось гробовое молчание. Врач опустил голову, уставясь в столешницу и тихонько постукивая пальцами по ней.

— Связан, — коротко ответил он.

Я вскочил со стула. Ничего не мог сказать, словно язык отнялся. Мысли путались в голове. Я только бесшумно открывал и закрывал рот.

Но этот очкастый врач-гвоздик только улыбнулся загадочно и показал жестом, чтобы я сел обратно. Я невольно подчинился, но не сводил с него глаз.

— Я давно знаю обо всем, что с вами происходит, — спокойно сообщил он. — А теперь послушайте меня внимательно. Начну изда- лека. В медицине человеческая психика является самой загадочной и мало изученной сферой. Поэтому в нашей области больше, может быть, мистики, чем подлинной науки. Возьмите, скажем, явление раздвоения личности. Я вам как-то рассказывал об этом. Наука еще здесь далеко не во всем разобралась. Почему-то в одном и том же человеке как бы возникают два субъекта, во всем противоречащих друг другу.

Острый, внимательный взгляд на меня сквозь очки — понимаю ли я...

— Вот вам несколько примеров. Они уже давно описаны в истории психиатрии. В начале 1887 года некий пожилой мужчина прибыл в американский городок Норристаун. Он представлялся всем под фамилией Браун. Исправно посещал церковь. Время от времени ездил за товарами в Филадельфию. Он занимался торговлей. Откры- тый и приветливый человек, мистер Браун вскоре снискал доверие и уважение жителей городка.

Но однажды, 14 марта, обыватели местечка услышали от него, что он никакой не Браун, продавец канцелярских товаров, а некто пре- подобный Берн, священник из города Грин. Он умолял всех поверить ему, чем ввел в большое смущение обывателей провинциального го- родка. Они, конечно, ему не поверили. Но вскоре в Норристаун при- езжает супруга Берна, каким-то образом отыскавшая своего несчаст-

ного, пропавшего без вести мужа, — как оказалось, на самом деле священника, — и увозит домой. У этой истории есть продолжение, но для нас это уже не имеет большого значения. Важно то, что подобное происходит с человеком, — врач закурил сигарету, откинулся в кресле и с видом человека, провозглашающего в кругу избранных особое мнение, задумчиво продолжил свою речь. — По всей видимости, социальные корни этих явлений скрыты очень глубоко. Ведь несмотря на то, что медицина обычно относит их к разряду патологий, схожие вещи вполне наблюдаемы и в поведении абсолютно здорового человека. Совершив ошибку или неблагоприятный поступок, противный своей природе, человек, осуждая себя, раскаялся бы: «черт меня дернул», «бес попутал», «нечистая сила одолела»... А это в самом деле некий временный переход власти из твоих рук в руки твоего второго «Я». Говоря же по правде, мы все без исключения личности раздвоенные. Смена наших «я» происходит, впрочем, на каждом шагу. Ну, скажем, мы говорим «нет», когда нам ясно, что надо бы сказать «да». Говорим положенное «люблю» той, которую на самом-то деле ненавидим. Поддерживаем сомнительную инициативу властей придерживающих, в правильность которой сами не верим. Всё это — разве не доказательства нашей раздвоенности? Или скромный, любезный человек, разбогатев или добившись власти, становится совершенно другим — грубым, чванливым, но в отношениях с теми, кто выше его, вновь превращается в робкого тихоню. Назовите это двуличием или раздвоением личности — суть дела от этого не меняется.

Тут лицо врача приняло презрительное выражение, он стряхнул пепел с сигареты, затем посмотрел на меня, словно вспомнил о моем присутствии, и продолжил.

— Помните «После бала» Толстого? Про того полковника, который вечером на балу блистал как самый галантный кавалер, умиляя всех дам превосходными манерами, а наутро, на плацу, где совершалась казнь над солдатом, проявил себя как кровожадный зверь, лютый палач. Это ли не пример раздвоения личности?

Тут я не выдержал и перебил доктора.

— Хорошо, я согласен со всеми вашими рассуждениями. Но при чем тут «наш случай», и какое отношение имеет все это к моему вопросу?

— Только не подумайте, что свой долгий разговор я затеял для развлечения. Это не так. Незнакомец, с которым вы переписывались больше месяца, не прячется нигде. Он — у вас внутри. Он — это вы сами.

— Что это значит? — сказал я, не совсем понимая слова доктора.

— Да будет вам известно, что с интервалом в три, иногда в четыре дня вы просыпаетесь утром другим человеком — вашим оппонентом, таинственным «незнакомцем». По сравнению с вами — человеком, который сейчас сидит передо мной, ваш близнец — человек гораздо более открытый, коммуникабельный. Он давно уже осознал, в каком состоянии он находится, и диагноз свой знает. И решение переписываться с вами тоже принято им самостоятельно. И вы, не помня себя предыдущего, сами себе писали все эти письма. А мы вам ничего не говорили, боясь травмировать вашу психику, и тогда вылечить вас будет невозможно. Поэтому все это время мы предпочитали не вмешиваться, а лишь наблюдали со стороны. Теперь все дошло до крайней точки. Дальше отступать некуда. Помочь нам можете только вы сами — ваш разум и ваша воля...

Ужас грозным селевым потоком хлынул в мое сердце, в нем словно все было раздавлено камнями, завалено грязью. Молюсь, чтобы не сломиться окончательно. Однако как только меня осенила мысль, что эти губительные идеи находятся во мне самом, я не смог этого выдержать. О том, что потерял сознание, узнал, только когда очнулся.

Едкий, жгучий запах заставил меня затрясти головой. Мне под нос сунули нашатырь.

— Раскройте окно! — последовала команда врача, который шлепал меня по щекам ладонью...

Наконец я пришел в себя. Медсестра отвела меня в родную палату. Все происходившее после этого походило на смутный сон. Поя-

вился врач, рассказал о том, как трудно ему было сообщить мне о моем диагнозе, о критическом моменте, который уже позади, и о том, что он хочет применить гипнотерапию, и так далее, и так далее. Но я не вникал в его слова, будто все это он рассказывает кому-то другому. Лишь в тот момент, когда он начал описывать некоторые особенности моего незнакомца, что он, как правило, просыпается во мне утром, я опять начал задыхаться от страха.

— Когда... он теперь появится? — спрашиваю, невольно задерживая дыхание.

— Сегодня, кажется, четвертый день, — произносит он, возводя очи горе. — Да, четвертый. Получается, что завтра утром.

Мне так страшно... Надо бы взвыть, закричать на весь мир: «А-а-а-а!» — но нет дыхания, крик не идет. В голове никак не укладывается, что завтра вот на этом же месте, на этой койке проснусь не я, а какой-то циничный, более коммуникабельный, чем моя угрюмая персона, отвратительный «незнакомый сверстник». Нет, это невозможно.

Ночью, после отбоя, в палату ко мне пришла моя красавица врач — специалист по аутотренингу.

У нее, оказывается, ночное дежурство. Пришла бы в другое время, я бы ей искренне обрадовался. А сейчас для этого у меня не осталось ни сил, ни желания. Но я замечаю, что и она какая-то не такая. Не прежняя ласковая, нежная, обаятельная девочка, а словно выдавшая виды пожилая женщина с суровым, отчужденным взглядом.

— Все мы знали, что с вами происходит, — заговорила она виновато. — Чтобы полностью обследовать ваше состояние, пришлось и знакомиться с вашим дневником...

— А кто это — «все мы»? — спросил я настороженно.

— Все. Разумеется, кто работает здесь. Ведь все должны быть введены в курс дела, — оправдывалась она.

Я представил, как это забавно — наблюдать за конвульсиями подопытного кролика.

— Я искренне вам сочувствую. То, что произошло с вами, — это большое горе, — продолжала она печальным голосом. — Но должна признаться, знакомство с вашим дневником стало одним из самых светлых и значительных событий моей жизни. Все самое лучшее и благородное на земле уже давно обветшало. Это как руины древнего дворца, готовые вот-вот рухнуть на землю. И только благодаря таким людям, как вы, — а может, благодаря вам, единственному на этом свете, — я еще успела увидеть красоту и благородство нашего духовного мира. Надежность чистого человека. И я поверила вам. Вы святой человек. Увы, в этом мире святость уже считается аномалией. Вроде того, когда рождаются двухголовые мутанты. Но это же несправедливо! Святость человека — это не уродство. И оно, конечно, более естественно, чем появление мутантов.

Я не особенно вслушивался в ее слова. Я все думал о том давнем неслышимом разговоре между нами.

— Вы мне нравитесь. Но не теперешняя, а та, прошлая, похожая на юную белозубую фею, — говорю я с некоторой обидой. — С безмолвным разговором приходили вы, чтобы спасти меня в тяжелую минуту — и спасли. Сейчас вы слишком умны, образованны и деловиты. А я для вас всего лишь объект научного интереса. Вы причиняете мне боль... Вы не та. Той сейчас нет...

— Но она же во мне! Здесь! — горячо зашептала она, прижимая руку к своему сердцу.

Мне опять захотелось поговорить с ней без слов, как в прошлый раз, и своим взглядом задал ей вопрос: «Когда же увижу вас — ту самую дорогую, нежную и бесценную для меня?»

«Вопрос» мой она не поняла, словно навсегда разучилась понимать тот наш общий язык.

«Я буду тосковать по ней вечно!» — кричал я безмолвно.

Она «не слышала».

С тяжелым сердцем, понутив голову, я умолк.

— Мы все оборотни, — вдруг дошел до меня ее чуть охрипший неузнаваемый голос. — Мы оборотни, и никто из нас не сохранил в себе изначальной ангельской чистоты и непорочности. Словно Фауст, мы продали свою честь и целомудрие Дьяволу. И только изредка раздается в наших душах горький плач младенческой чистоты. Бывает, даже иногда мы тоскуем по ней. Но с болью в сердце придется признать, что нет ей места в этой грязной, полной превратностей жизни.

— О, Боже...

— Да... милый мой...

Я вздрогнул, заметив, как задрожал ее голос, и, подняв голову, увидел слезы, катящиеся по ее щекам.

— О, Боже... — вокруг меня все затуманилось, словно укрылось пеленой дождя.

Поднявшись с места, она постояла в растерянности, потом выбежала из палаты.

С ее уходом настали для меня самые тяжкие минуты. Я метался по узкой палате, не находя себе места. В зеркальце, что висело у двери, я увидел свое несчастное лицо. Давно я не смотрел на самого себя. Под глазами залегли тяжелые мешки, глаза опухли, меж бровей хмурая морщина. Вдруг я вздрогнул — показалось, что *по ту сторону* стоит и смотрит на меня кто-то другой. Сердце съежилось в комок — и там разлилась невероятная, бескрайняя боль... Мир сузился в крошечную точку... Я скорее перевернул зеркало на стене.

Свет потушить побоялся. Так и чудилось мне, что стоит только наступить темноте, как кто-то в ней заворочается и пробормочет: «А ну! теперь моя очередь... Выметайся отсюда!»

«Завтра вы проснетесь другим человеком» — так, кажется, сказал врач. Наутро, значит, меня здесь уже не будет, а в моем теле окажется тот бесконечно позорящий и унижающий меня.

«Нет. Нет! Нет! Никогда! — повторяю с ожесточением. — Никогда!»

Перевел дух и немного успокоился. Достал из тумбочки мочалку, чистое полотенце и мыло, зашел в ванную — в самом конце коридора. Вот так-то все должно быть — просто. Просто и понятно. Мыло, полотенце, мочалка. Надо ванну чисто вымыть. До белого блеска. Наполнить ее горячей водой. Чтобы как можно горячее была. Вернулся в палату, взял лезвие для бритвы. Распечатал. Просто и понятно. На душе ни сожаления, ни злости, ни обиды. Лишь одно на уме — скорее завершить задуманное. Какая великая простота! Сесть в ванну и аккуратно взрезать вену на запястье. Дальше — еще проще. Хорошо, что вода горячая. Чем горячее, тем лучше. Боли совсем не чувствуешь. Незаметно, исподволь наваливается дремота. Плавно отчалив от берега, плывешь куда-то в неведомое. Только надо покрепче зажмуриться, чтобы не видеть крови... И потерпеть немного. А после этого и ты, мой роковой братец, задумавший перепачкать грязью весь мир, окажешься и сам испачканным алой кровью и поплетешься в тот мир, в котором уляжешься поудобнее и будешь спать, спать — и никогда не проснешься, во веки веков. Что ж, пришлось-таки мне руку приложить к твоей судьбе. От нее, говорят, не уйдешь.

Есть у меня заветная мечта:
если однажды всемирным потопом
нахлынет Добро на нашу землю,
я загребу все зло на свете
в свои объятия
и унесу его с собой в могилу.

...Да, буду счастлив я
стать безымянной жертвой,
что, взяв вину людских пороков на себя,
с ликующей душой
избавит мир от тяжести грехов.

ТОЛЕН АБДИК

А ну, несите мне свои несчастья,
и в неприглядный мой багаж
грузите ваше злое барахло!
И коль оно погибнет всё
со мною вместе —
буду рад я
хоть сегодня умереть!

...Отправите меня в последний путь, —
и больше, люди, не ищите Зла на свете.
Живите без него!
И только не стучитесь никогда
в мой тесный гроб со злом.

* * *

Так заканчивается дневник — одним из самых мрачных стихов знаменитого поэта М. Макатаева.

...Мне неизвестна дальнейшая судьба этого беззащитного, бескомпромиссного человека, для которого нравственная чистота стала синонимом Бога. Если он каким-то чудом уцелел, остался жив, то от всей души желаю ему счастья. И пусть он никогда не потеряет свою веру в Добро. Пусть здравствует этот последний из могикан, который пытается сохранить угасающий луч человеческой надежды — во спасение своей души.

А если его уже нет среди живых, то... на все воля Божья. Пусть земля ему будет пухом!

Аминь!

Астана. 2002 г.

Перевод Анатолия Кима

Кажыгали Муханбеткалиулы

(род. в 1942 г.)



В 1965 г. с отличием окончил филологический факультет Казахского государственного университета. Первый его рассказ — «Жуке атай» («Дед Жуке») — был опубликован в газете «Лениншил жас» (ныне «Жас Алаш») в 1964 г. В последующие годы в свет выходили такие книги писателя, как «Звездные ночи», «Шелест тугая», «Эхо», «Где же ты, любовь?», «Разбитое окно», «Единственный племянник». Вместе с поколением писателей, пришедших в литературу в период оттепели начала шестидесятых годов (Дулат Исабеков, Толен Абдик, Бексултан Нуржекеев, Мухтар Шаханов и другие), привнес в нее стремление мыслить по-новому, новую форму, новый сочный язык, свежесть и особый ритм.

Рассказы и повести К. Муханбеткалиулы, благодаря своим художественным достоинствам, самобытной манере письма, природной правдивости автора, открытого для всего нового, не раз стано-

вились объектом литературоведческих исследований.

В 2012 г. вышел в свет очень крупный труд К. Муханбеткалиулы — исторический роман «Тар кезең» («Тяжелые времена»), над которым он работал более двадцати лет, а в 2016 г. были опубликованы избранные сочинения писателя в четырех томах. Отдельными книгами выходили также литературно-критические статьи и эссе.

Произведения писателя были переведены на русский, украинский, узбекский и туркменский языки. Да и сам К. Муханбеткалиулы является блестящим переводчиком. Он перевел на казахский язык избранные повести и рассказы Г. Мопассана, П. Мериме, Л. Толстого, С. Моэма, А. Рюноске.

Кажыгали Муханбеткалиулы является лауреатом Государственной премии Республики Казахстан (2014), обладателем премии Казахского Пен-клуба (2017).

Давние друзья

Нуралхан, которого недавно назначили начальником одной крупной строительной компании в отдаленной области, прибыл в столицу по вызову руководства треста. Впервые после окончания института ему выпала возможность побывать в городе, где учился.

После прилета он не без хлопот добрался до города и, устроившись в приличном номере гостиницы «Алма-Ата», довольно быстро разобрался с формальностями и, будто спрашивая себя, что еще не сделано, застыл посреди просторной комнаты, широко расставив ноги.

Подбодрив себя возгласом «Мм...да!», огляделся. Взгляд упал на большое настенное зеркало. Подойдя поближе, он принялся гримасничать, двигая лицевыми мышцами, то хмуря брови, то расплываясь в улыбке. Однако его суховатое смутное лицо нисколько при этом не преображалось. Одни только широко расставленные серые глаза весело щурились, выдавая внутреннее волнение.

— Осторожно, дружок! Это тебе не Семск, — сказал он и вслед за этим четко, по слогам произнес полное название города, откуда приехал, — да не скажут живущие в столице: «Что за чудо в перьях? Откуда свалился этот растрепаный, этот приبلудный косматый верблюжонок?!» — сказал и вдруг ни с того ни с сего заулыбался. Появись в этот момент долгожданный друг, которого он не видел тысячу лет и по которому сильно соскучился, он бы для него не просто улыбнулся, а расплылся в улыбке. Но никто появляться не спешил.

— Брось, что тебя так развеселило? Если хочешь болтать дальше, давай в душ и, вообще, приводи себя в порядок, — обратился реальный Нуралхан к тому Нуралхану, что отсвечивал в зеркале. — Как ни притворяйся веселым, но усталость не спрячешь.

Он не спеша снял кримпленовый костюм и повесил в шкаф. Затем, закатав рукава белоснежной нейлоновой рубашки, прошел в ванную и принялся крутить краны горячей и холодной воды, с трудом уравнивая их по температуре, немного повозился, чтобы укротить хлесткую струю, вернулся в комнату и разделся.

В этот момент телефон на тумбочке, будто испугавшись стоящего перед ним голого мужчины, разразился резкой трелью.

Нуралхан вздрогнул от неожиданности и поднял трубку:

— Алло!

— Это двести тринадцатый номер?

— Да, двести тринадцатый.

— Здравствуй, Юрик! — пропел жеманный женский голос.

«Мм-да!» Возможно, два человека, голоса которых были похожи, недавно жили в этом номере, сменив друг друга, но к Нуралхану они не имели никакого отношения, о чем он довольно внятно дал понять своим звучным баритоном. Но девушка, похоже, и не собиралась вникать в это обстоятельство.

— Алло, ты слышишь? Я говорю, здравствуй! — с прежней назойливостью сказала она.

— Девушка, если вам нужен Нурик, это я, а Юрика здесь нет. Вам, собственно, кто нужен? — ответил Нуралхан, стараясь свести разговор к шутке.

— Ах, мне?!

По тому, как поменялась интонация, было заметно, что девушку что-то отвлекло. Через некоторое время она добавила:

— Мне нужен Юра... Селезнев.

— Такого здесь нет. Не знаю, девушка, чем вам помочь. Кроме меня, грешного, здесь никто не живет.

— Да-а? Неужели? А вы кто?

— А вам какое дело?

— Стало быть, есть дело.

— Да неужели? Ну что ж, если я буду полезен обладательнице такого красивого голоса, то, наверное, могу считать себя счастливым человеком.

— А вы не разочаруетесь, увидев меня? — она прыснула со смеху. — Вы и в самом деле один в номере?

— Один, совсем один, голубка, как прародитель Адам — один.

— И вы сидите грустный в ожидании Евы? — она снова рассмеялась в трубку. — Кроме шуток, позвольте мне взглянуть и убедиться, что Юры действительно нет в вашем номере.

— И когда вы хотите нагряться?

— Я тут недалеко. Внизу, в фойе.

— О-хо-хо-хо! Что тут скажешь? О том, что Юры нет, я уже говорил. А я... стою раздетый, собираюсь принять ванну. Кстати, не откажусь, если кто-то потрет мне спинку...

— Вы, наверно, там совсем заскучали. А что если я перезвоню вам через полчаса? Вы не торопитесь?

— А по какому случаю я должен ждать вашего звонка? Я что, придурок?

— Дурак никогда не сознается в том, что он дурак. Так вы спуститесь в фойе или нет? Отвечайте точнее.

— Дорогая, пока я соберусь ответить обстоятельнее, ванна переполнится и вода польется через край! Извините. Ухожу! — и Нуралхан положил на место, почти вдавил, телефонную трубку.

«Первые шаги сделаны в верном направлении, товарищ начальник, — сказал он сам себе. — Стоит заиграться, вы, голубушка, еще и скандалчик закатите, мол, соблазнил и покинул... Кстати, если ванна действительно переполнится и вода польется, то потолок этажом ниже превратится в размокшую пеленку».

Нуралхан бросился в ванную и увидел, что вода дошла до краев и вот-вот хлынет на пол. Сунув наугад руку в горячую воду, он вырвал из стока пластмассовую затычку и закрутил оба крана.

— Елки-палки! — сказал он сам себе. — Фраер мутной воды!

Через две-три минуты Нуралхан, намылившись с ног до головы, сидел на корточках и напевал себе под нос: «Во-да, во-да, кругом во-да...»

Он думал о том, что сегодня пятница, конец рабочего дня, народ расходится по домам, поэтому если и искать давних знакомых, то у них дома. И решил: «Пора звонить!»

* * *

Понежившись в горячей воде, Нуралхан вышел из ванной с чувством бодрости и легкости. Надев брюки и свежую рубашку, подошел к зеркалу и поправил галстук. Поскольку других изъянов не нашел, он, как красавец аргамак, который, пролетая мимо девичьего аула, умеет и уши наострить, и бросить пренебрежительный взгляд на соперников, удовлетворенно присвистнув, остался вполне доволен собой.

— Всё, вволю я повалялся на траве! Пока на спину не набросили седло, не взнуздали, надо бы попастись в здешних овсах! — сказал он с легкой ухмылкой.

Однако при мысли, что сейчас спустится вниз и зайдет в ресторан, возникло какое-то гнетущее чувство. «Может, позвонить все же друзьям? Они, наверное, уже вернулись с работы? А впрочем, не стоит беспокоить людей в неурочный час, — подумал он, вновь обуздав себя. — И эта девица не звонит. Эх, наш Дон Жуан Ергазы не зря говорил: “Тех, кто упускает такие моменты, наказывают духи”. Уж он-то знал, что говорил!»

Нуралхан подождал, уставившись на синий телефон: позвонить сейчас или подождать для приличия? Прошелся взад-вперед... Наконец решительно вышел из номера и закрыл дверь на ключ.

В одиночестве человеку кусок в горло не лезет. Перед ним стояли несколько блюд, но он, потыкав каждое вилкой, есть не стал.

«Ну хотя бы один знакомый попался! Хотя бы отдаленно знакомый... — уныло подумал он, внимательно осматриваясь вокруг. — Но разве перед вооруженным воином враг предстанет? Ну, мучители, погодите, я вам покажу! Как бы то ни было, завтра я наверняка с вами встречусь. Вот тогда увидите».

Он подал знак официантке, подняв палец:

— Сестричка, еще сто грамм.

Не дождавшись, встал и сам подошел к девушке в белом фартуке, которая, опираясь на стойку, разговаривала с подругой.

— Дайте еще сто грамм!

— Не разрешается, уважаемый. Нас ругают за это, — она устремила на него испытующий взгляд, оценивая состояние клиента.

— Той малости я даже не распробовал, — усмехнулся Нуралхан. — Попробую ее, родимую, хотя бы на вкус...

На этот раз официантка улыбнулась. На лице читалось: «Такому джигиту и в самом деле сто грамм как слону дробина».

— Хорошо, я принесу. Но имейте в виду... — она на секунду поднесла указательный палец к губам.

— Да-да! — понимающе закивал Нуралхан.

Опрокинув стопку, Нуралхан рассчитался с официанткой и в качестве награды вручил ей плитку шоколада «Птичье молоко», вторую прихватил с собой и зашагал к номеру.

«Не хотите встречаться, не надо! Сейчас я вам покажу, — говорил он, поднимаясь вверх по лестнице. — Всех поставлю по стойке смирно!»

* * *

Он уже подходил к дежурной за ключом, как в голове мелькнула мысль.

— Апай, это вам, — сказал он, кладя шоколад на край стола. — Примите от рядового гостя, который будет на вашем попечении один день и одну ночь...

— Ой-бай, миленький, зачем ты так? Это же наша работа, обязанность. Не дай бог, кто-нибудь...

— Нет-нет! — перебил Нуралхан, сразу уловив притворно-испуганный тон дежурной, которой явно все это нравилось. — Я вам предложил от чистого сердца...

— Спасибо! Не знаю, что и сказать...

— Кстати, апай, кто жил до меня в двести тринадцатом номере? — спросил он безразличным тоном, придав себе вид человека,

который, узнав, кто жил до него в номере, сообщит что-то сродни государственной тайне.

— В двести тринадцатом, говоришь? Сейчас посмотрю, милоч.

Дежурная стала перебирать квитанции в стопке бумаг, вглядываясь в некоторые из них.

— Двести тринадцатый, говоришь, двести тринадцатый... Проживал гость Мусакулов Терлибек. Вот, пожалуйста, с семнадцатого по двадцать четвертое, то есть по сегодняшний день, ровно неделю жил у нас, — заключила она, показывая ему листок.

Он и так поверил бы, но, услышав «вот, пожалуйста», невольно заглянул в него.

«Мусакулов Терлибек! Терлибек... Одно дело сделать из него Терентия, но стать Юрой этому ловкачу было бы очень сложно. М-мм... да, загадка».

Нуралхан, чувствуя себя Шерлоком Холмсом, энергичным шагом двинулся к своему номеру.

* * *

На отдельной странице маленького красного блокнота были выписаны имена и фамилии трех человек. Напротив каждой из них значились псевдонимы, телефоны, адреса. Как бы ни были плотно исписаны остальные листы, эту страницу Нуралхан старался не трогать. Даже малейшее пятно на ней было бы кощунством по отношению к надежным, преданным друзьям. Если бы их имена и фамилии смешались с другими, если бы они случайно попали в гущу других имен и фамилий, он воспринял бы это как утрату самого заветного, дорогого сердцу периода жизни. И клеймил бы себя как последнего подлеца, предавшего далекие «деньки раздолья и юношеского задора».

Вот он, вот... Маленький красный блокнот лежит перед ним, открытый на нужной странице.

Он сбросил пиджак на кровать, уселся поближе к телефону, поглубже в кресло и призадумался: с кого начать?

Четыре года они держались вместе, а в начале пятого курса Бейсек стал первым, кто внес раскол в их единство. Именно его кровать (из четырех, стоявших в комнате) осталась сиротливо пустой, после того как он «прикоснулся» к однокурснице Куляйше. И Нуралхан решил, что правильно будет начать обзвон с Бейсека: «Что ни говори, а Куляйша при нас стала полноправной невестой».

— Итак, Кулымбетов Бейсек, он же д'Артаньян. Номер телефона... — сказал в приподнятом настроении Нуралхан и быстро набрал шестизначную цифру на диске. С бьющимся сердцем плотно приложил телефонную трубку к уху.

— Это квартира Кулымбетова?

— Да.

— Это Куляйша?

— Да!

— Здравствуй, милая невестка!

В памяти Нуралхана внезапно всплыл недавно услышанный разговор... Стараясь намекнуть на свою близость к семье, он специально добавил старомодное «невестка милая».

— Здравствуйте! — сказала Куляйша. — Кто это?

Но Нуралхан, вместо того чтобы дать вразумительный ответ, начал засыпать ее пустяковыми вопросами.

— Милая невестка, как ваши дела, как здоровье детей? Как самочувствие стариков?

— Все живы-здоровы... Вы, извините, кто? Я не могу припомнить, — в голосе Куляйши послышались нотки раздражения.

— А как поживают родные и близкие? И не очень близкие? Какие вести от сватов? Как у них работа? А друзья-товарищи как?..

— Все хорошо, хорошо! Извините, но я никак не могу узнать по голосу, кто вы?! Как ваше имя и отчество? — спросила Куляйша, явно теряя терпение и собираясь бросить трубку.

— Ой-ей-ей, я совсем упустил из вида! Я прихожусь вам дядей, прибыл издалека. Вот привез ребенка поступать в институт, надеюсь... Мы только что сошли с поезда, милая. Да... когда выезжали сю-

да, адресок прихватили, да вот неувязка — не знаем, где ваш дом. Сейчас стоим одни, на вокзале... Может, подъедете, заберете нас?

В трубке молчание. Куляйша, видимо, была в нерешительности, не зная, как поступить. В растерянности она начала тихо с кем-то переговариваться.

— Але, але! — сказал Нуралхан, заметно меняя голос. — А Бейсек дома, миленькая? Ну-ка, ну-ка, позови его к телефону!

— Сейчас... — передавая трубку мужу, она громко, не скрывая раздражения, проговорила. — На, говори сам! Покоя нет от всяких приبلудных!

Нуралхан, не выдержав, расхохотался. Он ясно представил себе, как изменились черты смуглого худощавого лица Куляйши, в гневе она всегда хмурила брови и опускала вниз уголки поджатых губ.

В трубке раздался густой баритон Бейсека:

— Алло!

Услышав голос друга, Нуралхан не удержался и голосом, каким на параде выкрикивают лозунги, воскликнул:

— Д'Артаньяну слава!

Бейсек, не ожидая такого поворота, вначале растерялся. Однако быстро среагировал и радостно ответил:

— Ар-тил-ле-рист!.. Салют! Слушай, ты откуда?! Где находишься?

— Здесь... в гостинице «Алма-Ата». Только что устроился, привожу себя, так сказать, в порядок.

— Как это понимать? Почему не сообщил? Надо же, устроился в гостинице...

— Сдаюсь, сдаюсь! Все четыре лапки поднимаю, повелитель! Вина моя! Когда заберете свои призы — чапаны, скакунов? Приходите, я всегда готов!

— Нет, ты это кончай. Сам, наверное, понимаешь, что теперь тебе бегством не спастись. Поэтому... — тут Бейсек, приглушив голос, о чем-то переговорил с Куляйшой. — Поэтому айда к нам! А иначе хуже будет. Вот и Куляйша обещает показать тебе, где раки зимуют. Слышишь?

— Эй, да что с вами? «Издали приехавший малыш в почете, идут здороваться к нему старики и тети». Так, что ли?

Последних слов Бейсек, по-видимому, не слышал, так как трубку вырвала Куляйша:

— Ну, разве не дурак?! — сказала она, закипая. — Что ты за маскарад устроил?

— Ой, байбише, чем я провинился перед богом? — Нуралхан не мог удержаться от смеха.

— Я тебе покажу! Ладно, это потом, когда приедешь. Как дома, все живы-здоровы?

— Живы-здоровы. Сами-то как, все благополучно?

— Слава богу. А ты все дурачишься, не можешь просто прийти, да?

— Зайти можно, но, боюсь, вам покоя не дают всякие приبلудные, в гости напрашиваются... — при этих словах Нуралхан опять рассмеялся.

— А ты всё такой же: за слово зацепишься — не отпустишь... — уже помягче сказала Куляйша. — У нас, дорогой, проблема с мясом. Если в гости приходят малознакомые люди, всегда боишься попасть впросак. Хорошо вам, сидите под боком у сельчан, вам и дела нет до наших забот. Кроме того, вы, мужики, вообще знать не знаете, что такое кухонные хлопоты.

— Стало быть... если я сейчас нагряну к вам, нечем будет угощать? И ты так смело приглашаешь: давай к нам?

— Кончай! — резко обрезала Куляйша по привычке поступать по-своему, сложившейся еще в девические годы. — И что, если я не сварю, не подам мяса, приходить не стоит? Ишь ты! Нет, пора из тебя дурь-то выбивать, пора посадить снова на черный хлеб с чаем. Забыл, как раньше жили?!

— О-о-о! Три раза «о!»: общага, очаг, общество. О, повелительница, грозная наша ханша Куляйша, наконец узнаю тебя. От страха аж поджилки затряслись. Провалиться мне на ровном месте! Ошибся я, бес попутал! Только прикажи, все твои повеления исполню. И все-

таки не слишком ли я припозднился, госпожа? Что, если утром вы сами приедете ко мне? Аульные, как говорится, деликатесы... а то внизу есть место, где дядюшка закатит обед по случаю.

Слышно было, как Куляйша быстро и возбужденно совещалась со стоявшим рядом мужем.

Снова взял трубку Бейсек:

— Эй, Артиллерист, ты хочешь сказать, что не можешь явиться? Чем ты так занят? Мы бы к тебе двинули, но не на кого детей оставить.

— Нет-нет. Не надо, сегодня поздно. А утром бери под ручку свою байбише и бегом сюда! Сейчас я переговорю с Дон Жуаном и Салажонком, — ответил Нуралхан.

— Мм... правильно! Короче, с Ергазы и Канатом ты поговоришь сам?

— Вот именно! Для начала хочу просто собрать вас, на большее меня уже не хватит, старик! Времени в обрез.

— Тогда... во сколько примерно подтягиваться? Кстати, ты в каком номере?

— В двести тринадцатом, к одиннадцати часам, без опозданий! Я очень жду встречи, братишка! Ты слышишь меня?

— Добро! Посмотрим.

— Спокойной ночи!

Положив трубку, Нуралхан замер от последнего слова Бейсека.

«Что еще за “посмотрим”? — подумал он и рванулся было перезвонить, но остановился. — Да ладно, всего лишь пустое слово среди множества других. Стоит ли из-за этого дергаться?»

Теперь он звонил Ергазы.

Но то ли в разговоре с Бейсеком исчерпался весь запас тоски по друзьям, скопившийся за долгие годы разлуки, то ли устал говорить порывисто, восклицаниями, но на этот раз он постеснялся вести себя вызывающе и шумно, как человек, который совсем не поумнел за прошедшие годы. К тому же Ергазы в конце пятого курса уехал к себе в аул и там женился, как раз накануне защиты диплома. Поэтому его

невесту Нуралхан и в глаза не видел. А ведь Куляйша и Ергазы были земляками, Ергазы женился на ее родной сестре. В общем, Нуралхан решил воздержаться от всяческих вольностей, опасаясь, что незнакомая, по сути, жена друга может неверно истолковать его выходки. Да к тому же они, как бывало в студенческие времена, могут запросто подколоть, поддеть друг друга, а он в пылу взаимных шуток не удержится и спросит вдруг о последних похождениях приятеля... Ну, а если подобные намеки случайно коснутся ушей жены-незнакомки, то это к добру не приведет.

Наконец издававшая протяжные гудки трубка подала признаки жизни. Прокашлявшись, будто прочищая горло, томный голос медленно произнес:

— Алло?

— Это квартира Ауесбекова? — неуверенно спросил Нуралхан.

Почему-то он вдруг засомневался в правильности набранного номера.

— Да!

— Ергазы?

— Да!

— Э, жив, жив, курилка! Прежние похождения, небось, все еще не дают покоя? С чего это ты застонал, а?

— А-а! Прилег на диван, да в сон потянуло. Кто это, простите?

— Один казах-простофиля, приехавший с периферии... Нуралханом зовут, знаешь такого?

— Артиллерист! Привет, привет! С приездом! И каким же ветром тебя занесло?

— Попутным, старик, попутным! Все живы-здоровы?

— Все в норме... Сам-то как?

— И так, и сяк... Начальство из треста вызвало, приезжай, мол, на четыре дня.

— А ты в каком тресте? Не поменял место работы?

— Да вот на днях назначили начальником строительной компании города Семска...

— Поздравляю, поздравляю! Так и говори: молодой начальник самой свежей выпечки! И ты все это время молчал? Ну, конечно, скажешь — скромность не позволяет, не хочу, мол, задевать самолюбие друзей, еще не поднявшихся выше рядовых инженеров. Ай-ай-ай!

— Надо же, как некстати я нарушил твой сон! Ну, погоди, друг! Ладно, где там твоя супруга? Надо же поздороваться.

— Отдыхает. Позвать ее? Я сейчас...

— Постой-постой! Как говорится, с заходом солнца все мы на бокую. Да что это с вами? Разве в столице свет не должен гореть сутки напролет?

— Столица, браток, есть столица! В условиях крупного мегаполиса живем, так набегаясь, что и сам не замечаешь, как отключаешься. Крутимся как белки в колесе. Дух перевести некогда...

— Ладно, ладно, не усугубляй. Завтра суббота. Стало быть, утром приходи вместе с женой в двести тринадцатый номер гостиницы «Алма-Ата», расслабишься.

— С ребятами переговорил? Ты, собственно, когда приехал?

— Недавно, можно сказать... Уже связался с твоим свояком. В одиннадцать утра он будет здесь.

— Х-мм... Добро. Как поется: много месяцев подряд не видал тебя. Мы и правда давно не виделись. Я тебя сегодня не приглашаю, ни к чему среди ночи демонстрацию дружеских чувств устраивать. Но завтра все чтобы чин чинарем! Первым делом ты окажешь уважение нам, алма-атинским босякам. Чтобы все увидели: вот он, новоиспеченный начальник из города Семска, прибыл в столицу собственной персоной!

— Кончай свои приколы! Просто я страшно соскучился, старина! Хочу увидеть каждого из вас, и по возможности скорее. Значит, заметано: встречаемся завтра утром, в одиннадцать. Не забудешь?

— Да что ты!

— Ну, тогда до встречи! Не буду надоедать, — Нуралхан машинально взглянул на часы. Было уже пол-одиннадцатого. С удивлени-

ем спросил себя: «Алма-атинское время десять часов, тридцать минут?» Несмотря на позднее время, он опять плюхнулся в кресло и с лихорадочной поспешностью схватился за телефонную трубку.

На вопрос: «Это квартира Байболова?» — ему ответил высокий нежный голос. Нуралхан извинился за звонок в неурочный час и спросил:

— А Канат дома? Пригласите его, пожалуйста!

— Он еще не пришел.

Тонкий голос, будто извинявшийся за то, что Канат «еще не пришел», звучал прерывисто, с какой-то дрожью.

Нуралхан едва не выпалил: «И где его черти носят?», — но спохватился и прикусил язык.

— А он вообще в городе или ненароком — в командировке? — спросил он, стараясь сгладить возникшую неловкость.

— В городе! Где-то с друзьями задержался... По работе, видимо... Как только вернется, я передам, что вы звонили. Вы что-то хотели?

— Я товарищ Каната, учился вместе с ним. Сегодня приехал из Семска, вот сижу, обзваниваю друзей, чтобы поздороваться.

— А-а... Вы, случайно, не Нуралхан?

— Да, Нуралхан! Как вы меня узнали?

Нуралхан почувствовал, как душу обдало теплом, возникло доверие к обладательнице испуганного, нежного голоса. Но тут же, неизвестно почему, он разозлился на Каната, оставившего супругу одну, как показалось ему, беспомощную и учтивую. Где этот тип шатается до глубокой ночи?

— Прошу прощения, — сказал он, чуть помедлив, — это получилось невольно, поскольку мы с вами незнакомы, я не стал с налета называть себя. Нехорошо получилось. Извините.

— Ничего. Если раньше не виделись, то, конечно, ваше поведение объяснимо. Не зря говорят: «Кто в неведение живет, и на яд нарваться может тот».

И обладательница трогательного голоса, будто сомневаясь, к месту ли привела поговорку, сказала с едва различимым смешком:

— Как прикажете вас понимать? И что же, вы не хотите зайти в гости? Канат про вас часто рассказывает, просто взалхлеб. А вы телефонным звонком ограничиться вздумали. Разве друзья так поступают?

— Апырай, вы совершенно правы! Но я только что с дороги, и решил передохнуть в гостинице, — скороговоркой стал извиняться Нуралхан. — Да и Каната нет дома...

— Ну и что же, что нет, зато мы есть! Приходите... Прошу вас... Канат очень обрадуется.

— Апырай, я чувствую себя кругом виноватым! — воскликнул Нуралхан в порыве искреннего смущения. — Не осуждайте! Сначала я хотел собрать всех вместе, посидеть, пообщаться, а после хорошего угощения погулять. Поэтому я и позвонил вам, так же как Бейсеку и Ергазы, чтобы пригласить на завтра к одиннадцати часам утра. Неплохо было бы нам собраться в гостинице «Алма-Ата».... Если вы не возражаете...

— Ну да... если вы договорились с друзьями, отменять будет просто неудобно.

Женщина, похоже, искренне приглашала в гости, заодно прощая невнятные отговорки.

— Однако вы тоже меня извините, — сказала она уже более откровенно, — завтра суббота, у меня по графику дежурство в больнице. Если не смогу отпроситься, не взыщите!

— Вот как! — Нуралхан растерялся. — Что же делать, апырай?!

— Нет-нет, вы не беспокойтесь, — тонкий голос опять задрожал. — Я не смогу прийти, но Канат обязательно будет. Он очень обрадуется! Видите, как удачно вы приехали!

— Тут и говорить нечего! — Нуралхан замолчал, с трудом подбирая подходящее слово. — Хорошо. Передайте ему наш разговор.

— Будьте здоровы!

Нуралхан, устав до изнеможения, откинулся на спинку кресла и пробормотал: «Спешка лишь чертям к лицу». Но все же он был рад, что переговорил с друзьями, условился о завтрашней встрече, и от

этого он, как добравшийся до ночлега путник, вновь почувствовал прилив сил. Его смуглое грубоватое лицо прояснилось, взгляд потеплел.

* * *

Он быстро и крепко заснул, как это часто бывает с молодыми здоровыми людьми. Проснувшись, протер глаза, взглянул на часы. Было ровно девять.

Ночью он перевел стрелки на алма-атинское время, но проснулся по времени города Семска, отстающего на час, то есть в восемь утра.

— Верно говорится, от болезней избавиться можно, от привычек — нет, — буркнул он. — Совсем как петух, который горланит среди ночи, вспомнив, видно, что он родом из Индии... Если полезно вставать до рассвета, что ж, поднимайся! И, как петух, кукарекай!

Он полежал еще, будто назло кому-то, уставившись в потолок.

Было слышно, как на верхнем этаже простучали каблуками по паркетному полу, а где-то сбоку закашляли и звякнул графин. Накрывшись с головой одеялом, он хотел снова погрузиться в сон, но в коридоре прямо у двери завыл пылесос.

— Ну, все, теперь уже не поспишь!

С этими словами Нуралхан откинул одеяло и встал.

Настежь распахнул стеклянную дверь балкона, и сон окончательно улетучился. Прохладное веяние утреннего ветерка мгновенно взбудрило его упругое, играющее мускулами тело.

— Ну, что, кто рано встает, тому бог дает?

Он начал заправлять постель, и на глаза опять попался синий телефон.

«Что-то вчерашняя не звонит, — усмехнулся он. — Ну да, как же, нашел дурочку, которая сама не спит и другим не дает. На рано встающих женщин бог наваливает больше дел!»

Небрежно накинув на шею полотенце, он отправился в ванную.

«Пам-па-пам. ... Не предвкушай, что будет хорошо, дружок, блуд один, погрязнешь в нем — безделье доканает. Пам-па-пам...» —

напевал он слова какой-то глуповатой песенки, вытираясь перед зеркалом.

В дверь постучали.

— Кто там?

Нуралхан сунул ноги в тапочки, подошел и открыл дверь. Канат! Он никак не ожидал его так рано.

— Са-ла-жо-нок! — закричал он.

— Ар-тил-лерист! — Канат бросился ему навстречу.

Друзья обнялись.

При встрече обоих охватила искренняя радость, они почувствовали какой-то настоящий восторг. «А он нисколько не изменился!» — подумал каждый. Хотя... Крупного телосложения, Нуралхан, смахивающий на борца, стал еще мощнее. Невысокий лоб перерезали неглубокие морщины, лицо с крупными чертами казалось бледноватым и усталым.

Канат тоже заметно изменился: ушла юношеская свежесть, в лице появилось выражение солидности, прежний блеск глаз сменился спокойной рассудительностью человека, который достиг зрелости и не подвержен мятежным волнениям. Не то чтобы это осталось незамеченным, однако в момент душевного порыва не осознавалось. К тому же радость встречи смягчила те новые черты, которые наложили на них прошедшие семь лет.

— Ну вот, наконец-то встретились! — сказал Канат, по свойственной ему прямооте сразу же открывающий душу. — Я уж решил, что ты к своему месту за пупок привязан.

— Работа, Салажонок, работа! Пока дети вырастут и встанут на ноги, — Нуралхан, улынувшись, ласково посмотрел на друга, — хоть кто-то же в семье должен пахать, а иначе как!

— Если под детьми ты подразумеваешь меня, тогда тебе придется еще немало пота пролить.

— Почему? С твоей головой, щелкающей любые научные проблемы как семечки, — Нуралхан поднял кверху указательный палец, — с потрясающе смелыми идеями о размещении населения целого

города в одном здании, нам, беднягам, ни к чему, кроме черновой работы, не способным, остается лишь из последних сил напрягаться. Сколько можно, товарищ научный работник, терпеть узость, ограниченность, застой — всё, что сродни мелкой водичке на солончаковом такыре? Ответь мне!

Оба дружно захохотали.

Слова про солончаки Канат частенько употреблял, еще будучи студентом. Он был беспощаден, если видел слабость и никчемность идеи, которую выдвигают как значительное открытие. Или замечал потуги ловкачей, которые присваивают чужие нереализованные достижения.

— Это была лучшая пора нашей жизни! — улыбнулся Канат, мысленно возвращаясь в эти времена. — В голове полно идей, мышление ясное, настроение чистое. Энергии столько, что места себе не находишь от готовности взорваться. Прикажут: «Сверни горы, обточи камни», — тут же не глядя бросился бы выполнять. Такое было время!

— Стоп, Салажонок! «К старому возврата больше нет» — сказал Есенин. Такова правда жизни — примитивная и суровая. Стоп! Впрочем, как говорится, на чужой каравай рот не разевай? Чем болтать попусту, не лучше ли откликнуться на зов бедного желудка? Пойдем, пока джигиты не пришли, малость перекусим. А там посмотрим.

* * *

«Уйметса ли голод в желудке, коль жирной не вкусишь еды», — учит нас Абай-ата.

Проглотив в буфете легкий завтрак, друзья вернулись в номер и уселись в кресла напротив друг друга.

— А теперь рассказывай, выкладывай все как на духу, — сказал Нуралхан.

— О чем рассказывать? — отчего-то смешавшись, ответил всегда находчивый и быстрый на слово Канат. — Ты спроси — и я отвечу.

— В нашем выпуске ты единственный, кто получил красный диплом. Ты сделал великий почин, собрался с духом и двинул с юга на север? Ну, и так далее...

— Великий почин, говоришь? Насмехаешься? Конечно, имеете право! Поскольку вы в сфере производства, и теперь каждый из вас может капать на мозги... — Канат криво усмехнулся.

— Стоп, ты нас оставь! — не заметив, что друг и усмехнулся с трудом, и не совсем одобрительно воспринял его слова, Нуралхан продолжал в шутовском тоне. — Что касается нас, брат, то мы те самые волю, которые давно уже перестали мыслить сложными научными категориями, бесконечно устали от всяких месячных, квартальных, годовых планов, э-э-э, нам тут нечего ловить! На что-то большее уже не годимся, только тем и живем, что вкалываем на полную катушку и по мере сил стараемся быть полезными. Иначе говоря, с какого такого жиру нам беситься?! «На пиру один красуется, как петух, а другой за овцами следит, как пастух»... Да, прорваться в ученые, двигать науку оказалось нам не по плечу...

Это была выстраданная правда Нуралхана, о чем он никому не говорил, но в тот момент ему показалось, что эти слова напрямую относятся и к Канату.

— Мы стараемся справляться только с посильными делами, — продолжил Нуралхан. — И ты хочешь нас, слабаков, успехи которых за пять лет колебалась от «удовлетворительно» до «хорошо», поставить на одну доску с собой?! Э, нет, дружок, что-что, а твой незыблемый постулат, — здесь Нуралхан добавил по-русски, — железная логика, твердый расчет плюс смелая фантазия, — мы хорошо помним. Поэтому нас оставь, расскажи о своей жизни.

Он сказал это так искренне, доверительно, так горячо, что у Каната не осталось ни малейших сомнений насчет тех надежд, которые возлагали на него и до сих пор возлагают друзья.

— Собственно, рассказывать не о чем, старик, — сказал он. — Если по правде, то... предложил три-четыре проекта по внедрению принципиальных изменений в эксплуатируемые железобетонные

конструкции... подготовил финансовые расчеты экономической выгоды... и все это уже несколько лет пылится в сейфе министерства. Если первые два-три начинания не находят поддержки, такая апатия наваливается... Сейчас я совсем смирный.

— И почему?

— Верить ли, Артиллерист, я здорово жалею, что перевелся в этот долбаный проектный институт... Если бы не ушел с прежней работы, перспективной, кстати, то, пожалуй, стал бы хорошим, уважаемым спецом. А что я имею сейчас? Попусту время трачу: «проверни-ка вот это дельце», «проведи проверку вот этого проекта» и прочая дребедень. Нескончаемые бумаги, бумаги, бумаги. Такое зло берет, что хочется взять их по одной, с краешка начиная, и сжечь все. А потом, задравши нос к небу, сесть и завывать. В такие минуты часто тебя вспоминаю. Как подумаю, сколько тебе пришлось отпахать, какие стены пробить лбом, какой ты хомут тянул день-деньской! И это меня, знаешь, зажигало! Вот это выдержка! Но что может быть лучше ощущения усталости после того, как, весь выложившись, доведешь до конца толковое дело! Какая радость вдруг нахлынет...

— Вот тебе на! Оказывается, были такие чудачки, которые тянулись к нашей вечно кричащей, спорящей до хрипоты братве, к нашей кипучей деятельности?! Ха-ха-ха... Впервые вижу человека, который плачет от того, что ему шею хомут не натер.

— Нет-нет, ты не смейся! — сказал Канат, хотя сам невольно усмехнулся, худощавое лицо его порозовело. — По правде говоря... Если вскоре куда-то не сбегу, то, знаешь, Артиллерист, могу даже принять героическую смерть на своем рабочем месте. Если же дальше терпеть, то в лучшем случае стану неплохим, исполнительным чиновником. Но какая от этого польза мне, обществу, так сказать? Сам подумай. Никакой серьезной работы нет, одно бумагомарательство. По звонку приходишь, по звонку уходишь. И хорошо если домой. А то засядешь за преферанс... Или выпьешь... Э, разве всё расскажешь! Ко всему еще я человек азартный, заводной. Устал я, старик, безумно устал!

Нуралхан поднялся, хотел было что-то сказать, но промолчал, потеряв мысль. Потом посидел, с теплотой глядя на приунывшего Каната, и ворчливо, совсем как родному брату, буркнул:

— Между прочим, где ты был вчера? Звоню, а тебя допоздна нет дома. Снова в карты резался?

— А ты думал что?

— Ты чем-то раздражен. Уж не проигрался ли в дым? — Нуралхан, лукаво глянув на товарища, рассмеялся.

— Да пропади всё пропадом! Порой разрываешься от злости на себя за то, что впустую время транжиришь... — Канат тоже рассмеялся.

— Я смотрю, столичный климат на таких вспыльчивых, как ты, неважно влияет, — сказал Нуралхан с хитрой улыбкой. — Не слишком ли ты рано смирился?

— Неудивительно, что твои прогнозы подтверждаются. К таким прежним установкам, как «спокойствие», «хладнокровие», прибавилась и «холодная рассудительность».

— Да, это так, старик! Хорошо, что ты это понимаешь.

— Толку от этого «понимаешь»? Каждый год тысячи таких, молодых и резвых, как мы когда-то, кончают учебу и покидают вузы. Но как только они попытаются применить свои знания в жизни, перед ними тут же появляется толпа хладнокровных ветеранов, которые, посмеиваясь, поучают: «Набирайся опыта, малыш!» Молодой специалист карабкается, карабкается... А потом однажды, махнув на всё рукой, пускается вместе с другими в свободное плавание. И тогда чего ради он учился? Не-ет, Нуралхан, к дерзким исканиям молодежи, к поиску новаторских идей надо относиться со вниманием и терпением, а еще лучше — с пониманием! Мне жаль тех хладнокровных умников, у которых раньше времени погас душевный пыл.

— Ого! Очень уместное замечание, конечно, если не считать небольшой раскачки. Вот только, я это уже говорил, не мешает ли тебе горячность характера? В чем? Да хотя бы в том, что надо учитывать, контролировать свои опасения.

— Какое там учитывать, я вообще не отступлюсь от своего мнения. Нет-нет, горячность характера здесь ни при чем! Не отступлюсь, потому что верю в это.

— Ну, хорошо... Ты же от своих убеждений не отступаешься. А теперь скажи пару слов о Бейсеке и Ергазы, как у них дела?

— Что я могу сказать... Вот они сейчас подойдут, у них и спросишь.

— Вот тебе на! Пока мы с тобой рассуждали, уже половина двенадцатого, — сказал, взглянув на часы, Нуралхан. — Они, похоже, опаздывают.

— Половина двенадцатого, говоришь? На подходе, наверное. Ты им сказал, с кем договорился о встрече или собираешься договориться?

— Сказал.

— Сам сказал? Или... они спросили, кто будет кроме них?

— Что значит, «спросили»? — Нуралхан в недоумении посмотрел на друга, по лицу которого скользнула скептическая ухмылка. Он опешил.

— Чему удивляешься? Не удивляйся, старик! В наши дни это вошло в обычай, — ответил Канат, то ли шутя, то ли серьезно.

Нуралхан растерялся, не понимая, о чем идет речь: о Бейсеке и Ергазы? Может быть, по своей смолodu известной привычке Канат делает из мухи слона и крохотный пустяк представляет некой проблемой?

— Ты, Салажонок, стремишься меня загадками засыпать? — спросил Нуралхан. — Не к добру всё это, чует моя душенька.

— Я понимаю так: любой поступок или событие имеет свойство меняться, а вот к добру или не к добру — это целиком зависит от людей! Внутренний мир человека, старик, я думаю, зависит от чистоты его душевных устремлений...

— Мудрено говоришь. А что касается наших друзей, то, похоже, они точно заблудились, — сказал Нуралхан, стараясь поменять тему разговора. — Вчера мы вроде бы четко договорились.

— Брось, куда спешить. Давай подождем, — и Канат с безразличным видом откинулся на спинку кресла.

Сначала время текло в беспокойном ожидании: «Должно быть, идут, вот-вот появятся». Но чем дольше оно тянулось, тем короче становились реплики. Друзья просидели в ожидании до двух часов дня. Но от Бейсека и Ергазы никаких вестей не было.

Наконец, Нуралхан не выдержал.

— Да что с ними стряслось?! — сказал он в сердцах, в который раз бросая взгляд из окна на улицу и мысленно кроя их матом.

Все это он выдавал для оправдания перед Канатом, мол, заставили ждать, негодяи, но неловкость только усугублялась... Был момент, когда он собрался позвонить и спросить: «Эй, почему не приходите? Не случилась ли какая-та беда?» Но его удержала здравая мысль, что, возникни такая ситуация, разве они сами не сообщили бы?

Наконец, потеряв всякое терпение, он сказал:

— Ну, как бы там ни было, для этого есть, видимо, причины. Стало быть, выбраться не смогли. Так что идем, Салажонок, сами сядем...

И первым поднялся с места.

По правде говоря, он совершенно не ожидал, что так получится.

То, что друзья, которых он так давно не видел, не явились на дачу стархан, его не на шутку расстроило. Не отпускала сердитая мысль: «Одно дело, если бы не приглашал или не поняли. Нет же! Я обоим все четко разъяснил!» Желая скрыть свою досаду, усаживаясь за стол, он с деланным весельем и смехом скомандовал:

— Ну, Салажонок, давай жажнем! За нашу встречу в добром здравии... За все добрые дела, которые свершились за семилетний период. За прибавление в наших семьях! За здоровье наших жен, за детей...

Так, один за другим, они перебрали немало застольных тостов. Одно было хорошо: Канат то ли сразу понял состояние приехавшего друга, то ли в силу своего открытого, простодушного характера старался взять на себя тяжесть сложившейся ситуации.

Возможно, благодаря этому Нуралхан понемногу справился со своей досадой и перевел разговор на откровенный, душевный лад.

— Как только решил, что еду сюда, сразу потерял и сон, и покой; разволновался, как перед первым свиданием. Так истосковался по вашим рожам!..

— Издержки периферийной жизни! — Канат, который легко пьянел, никогда не упускал возможности съязвить — Замедленное течение времени, старик. Поэтому ты ближе нас к ушедшей эпохе. Меток тех дней в тебе должно больше сохраниться. Закономерно!

— Ну, ты тоже порой невесть что несешь! — и Нуралхан по собственной людям крупной комплекции привычке затрясся от смеха.

— Собственно, чему удивляться? Попробуй, поживи в этом городе, где время мчится быстрее, чем колесо машины времени. Слетят ли тогда с твоих губ такие сентименты: «скучаю, тоскую»?

— Вы, значит, нисколько не скучали по мне? Хоть разочек-то обо мне вспомнили? Какие, однако, черствые! Да еще хватает наглости признаться в этом.

— Ну, это другая тема! Об этом вслух не говорят. И тот, кто костерит тебя молча, костерит долго, и тот, кто любит молча, любит искренне. Всё внутри, — нахмурился Канат.

— Вот как... Если у вас и впрямь плохо с памятью, то не знаю, чем вам помочь. А я, со своей стороны, не смогу вычеркнуть из памяти золотые годы, и все!

— О! Если так сильно веришь в святое и вечное — это прекрасно, старик! Только такие люди, как ты, — Канат, любуясь, оглядел борцовскую фигуру друга, — бывают очень устойчивы, не поддаются унынию, они прямые и честные.

— Спасибо, спасибо! Ты так меня превознес, прямо до небес! У-х-х-х! Ну-ка, ну-ка, давай мы за это поднимем еще по одной...

— Нет-нет, не подумай, что я шучу. Многих людей видел, у большинства слова расходятся с делами. А вот тебе я верю, верю, что ты, идя напролом, своей широченной грудью смахнешь любое препятствие! Пусть ты и немногословен, зато ничего сверх меры не обеща-

ешь. Вот так, старик! Говорят, что каждый тянется к тем качествам, которых у него нет или не хватает. Это правда, сам убедился, потому что в последнее время моя вера в себя и людей порядком пошатнулась, а увиделись — и, кажется, снова прихожу в себя. Вот недавно — ты помнишь? — я сказал: «Ты совершенно не изменился». Я и правда так думаю. Самое главное, не изменилась твоя внутренняя установка, твой боевой настрой. А большинство наших, боюсь, совсем растеряли ее. Поэтому давай выпьем за большую веру в друзей, за то, чтобы эта вера переросла в наш жизненный принцип!

— Прекра-а-асно!.. Однако твоя манера расхваливать человека в глаза... мягко говоря, ошарашивает. К ней привыкнуть трудно... Да погоди ты, дай мне осушить эту емкость, — сказал Нуралхан. — Ха! Мы, Салажонок, давно уже перестали нарезать такие крупные темы. Может, сказанное тобой сидит в наших печенках, но у нас нет времени явить его миру. С раннего утра до позднего вечера мы заняты по горло. Вы, вероятно, из-за отсутствия других занятий крепко заразились недугом нарезать темы по-крупному, с исчерпывающей полнотой, и заработали хроническую усталость.

— Ничего себе — выводы!.. Со многим не согласен, но кое-что в этих словах есть! Ты в точку попал, когда вспомнил про «хроническую усталость». Но ты пробовал доискаться до причины? Назвал бы вещи своими именами... — при этих словах Канат замялся.

— Как это будет называться по-твоему, я не знаю, — сказал Нуралхан. Его покрасневшее лицо застыло в улыбке, — но я же тебе сразу сказал, что времени на детальное обдумывание у нас нет.

— Нет-нет, теперь ты не уклоняйся, и не надо ссылаться на занятость. Очень точно ты сказал. Но если ты раньше не обдумывал, тогда слушай, — Канат подался всем телом вперед. — По моим наблюдениям усталость появляется от нанесения человеком вреда самому себе... Как это происходит? — Канат подвигал тонкими пальцами, словно пианист. — Взять ситуацию, когда стоящий перед завершением большого дела человек вдруг всё бросает и бежит вдогонку за мелкой, пустяшной забавой, поддавшись азарту, а то и страху. Боже

мой, да эта мелочовка яйца выеденного не стола! А в результате все ломается от стойкого неприятия своей работы, злости на собственную ошибку и промах. Порой ощущаешь самого себя каким-то манкуртом, бездумным, пустым, немощным. Очень на это похоже! Говоря по-русски, это и есть настоящая «духовная неудовлетворенность». Походи-ка вот так, втемяшив себе в башку одно: ох, ничего не сделал, ничего не сделал. И ведь это не та усталость, которая наваливается после тяжелой работы, когда ноет все тело, но ноет в радость! А душевная опустошенность — это недуг. И никто его не избежал.

— Вообще-то, твоему мозгу, энергии которого хватит, чтобы вскипятить казан с большим бульжником, требуется куда больше нагрузки, чем теперь, — сказал Нуралхан с хитрой улыбкой. — Уж очень горько ты жалуешься, на то, что шею не натер хомут.

— Я и сам твердо настроен на это, старик. Да подвернись место, я немедленно перевелся бы на любую здешнюю стройку! Наука не волк, в лес не убежит.

— Ммм-да! Это твое окончательное решение или, может...

Подшучивая, Нуралхан незаметно бросил на друга оценивающий взгляд. И хотя главным его назначили недавно, исподволь в нем крепло эгоистичное намерение заполучить толкового инженера на свой объект.

— Окончательно и беспо-во-рот-но! А то, пока мы рассуждаем, жизнь пройдет мимо, — твердо сказал Канат, резко качнув головой. И хотя это было сказано так же запальчиво, как в прежние годы, уверенность в голосе подтвердила серьезность его намерения.

— И какие цели ты наметил? Станешь начальником одного из ведомственных строительных объектов? — спросил Нуралхан, опасаясь задеть самолюбие друга, назвав менее значимую должность по сравнению со своей.

— Какой там начальник?! Кто нас назначит? Разве ты не знаешь русской пословицы: свято место пусто не бывает? Плюс ко всему это столица, старик! Если найдется должность инженера — хорошо, не

найдется — можно устроиться начальником участка. Это мой сегодняшний потолок. До того как поступил в проектный институт, я два года отпахал на стройке. И меня не пугают трудности, а, может быть, я их сам ищу. Начиная свой путь со сменного мастера, я ничего не приобрел, но и не потерял. Если мой труд не уйдет бесследно, как вода в песок, а вышестоящие начальники, то ругаясь матом, то хваля, не будут бить по рукам, я добьюсь цели и стану отчитываться сам перед собой.

— Вот под этим можно уверенно расписаться. Производство есть производство, как ни верти, а все твои дела и поступки каждый день на виду у людей, — примеряя ситуацию на себя, сказал Нуралхан.

— Согласен, — ответил друг.

— Слышу голос не мальчика, но мужа, чему очень рад. Или, по-нашему: «крылья у птенца окрепли, перышки опушились», — добавил Нуралхан, вновь переходя на шуточный тон.

— Ой, да брось ты! — вскипел Канат, скорчив гримасу. — Когда человек выкладывает все по правде... ты совсем как Бейсек и Ергазы, тут же начинаешь насмехаться!

Нуралхан с недоумением глянул на друга. Канат сидел, свесив голову. Нуралхан вдруг понял, что нечаянно задел какой-то воспаленный нерв в душе товарища. Но спросить о причинах этого не решился.

Канат тоже почувствовал возникшую неловкость и не выдержал тяготившей собеседников паузы.

— Да нет же, Нуралхан! — почти вскрикнул он, словно выстрелив пробкой шампанского, со всей своей горечью и обидой, которая все это время копилась и бродила в глубине души. — Когда кто-то, доверившись тебе, выкладывает сокровенную правду, как можно эти признания превращать в шутку, замазывать смехом, чтобы быстрее забыть о них?! Порой пытаешься высказаться, выложить то, что уже не вмещается внутри, как наши Бейсек и Ергазы тут же делают из тебя посмешище. Но что особенно противно и вызывает злость, так это их нравоучения: «Ты еще не отошел от школярства. Ребенок ты... не

сечешь хитросплетений жизни. Пока не набьешь синяков и шишек, не достигнешь ни шиша». Слушай... мы что, не учились вместе? Или они с высоты своей государственной колокольни не подгоняют под этот уровень свои дела и поступки? Наши с тобой друзья сегодня в той колоде, где и по авторитету на работе, и по званиям никто никому не уступает. Все роли расписаны. И наши «дорогие товарищи» считаются самыми ценными специалистами. И мы порой искренне гордимся и хвалимся такими друзьями. А захочешь поговорить наедине — в ответ слышишь одни нравоучения.

— Чему они, интересно узнать, учат? — спросил Нуралхан.

— Учат тому, как не надо делать неосторожных движений. Они говорят: «Не надо по-крупному нарезать тему, как это делаешь ты, Салажонок. Это прилично лишь тогда, когда выступаешь перед народом, с трибуны. Но мы же не на торжественном собрании сидим», — учат они.

— Хмм... — Нуралхан не нашелся, что сказать, и нервно застучал пальцами по кожаной обивке кресла.

Наступила довольно долгая пауза.

— Кстати, Канат, — сказал Нуралхан через некоторое время, — когда ты пришел сюда, я спросил: «Как самочувствие джигитов?» Ты сказал: «Почему не спросишь у них самих?» Я тогда промолчал. А сейчас интересно было бы услышать об их житье-бытье...

— Какие тут могут быть рассказы? — Канат, поспешно придвинув тарелку, стал нарезать остывший гуляш на кусочки. — Не пришли — и все!

— Что за кошка между вами пробежала? — спросил напрямую Нуралхан, покосившись в сторону входной двери.

— Вообще-то, я предполагал, что они не явятся. Но подумал, что на твой приезд, возможно, и отзовутся: целых семь лет не виделись. Мое первое предположение подтвердилось, — сказал Канат таким тоном, будто и сам боялся, что такое может случиться.

— Предполагал, что не явятся? Каким образом? Или они тебя известили, что не придут?

— Да нет! Просто... тут есть одно «но», старик.

— Что за «но?» — Нуралхан сердито насупил брови.

— Ты помнишь... — Канат заговорил несколько растерянно и сбивчиво, — я спросил вчера, сообщил ли ты заранее, что пригласил или намерен меня пригласить?

— Да, спросил.

— А если так, то всё понятно. С некоторых пор Бейжан и Ергазы стали уклоняться от встреч друг с другом: куда приходит один, там нет второго. Особенно на застольные встречи. Как-то я их тоже пригласил в гости — не пришли оба. Обиделся я, да что толку. Говорят: «Свою руку разве отсечешь?»

— Что же между ними произошло?

Канат только пожал плечами.

Нуралхан какое-то время посидел, нахмурившись, не проронив звука. Затем заметно осевшим голосом сказал:

— А был ли резон свою обиду громоздить на мой или твой дастархан? Мне как-то не по себе стало. «Рычать рычи, но не кусай. Лучше меня не найдешь». Ведь эти джигиты пять лет делились куском хлеба, неужели мы разбегаемся друг с другом из-за какой-то мелочи?

— Станный ты, Нуралхан... — Канат наморщил лоб. — Одним такие вещи причиняют страдание, а другие на это даже не обращают внимания... А вообще, в этом нет ничего удивительного. Если старинный друг начинает отворачиваться, если найдется человек поинтереснее, чем ты, то можно ли упрекать неверного друга? И при этом выкладывать козыри: пять лет вместе учились, делились куском хлеба?.. И вообще, можно ли эти святые понятия марать мелкими бытовыми дрызгами? Что притягательного останется в дружбе после этого? Есть же лежащие в глубине души человека святые чувства, закрытые до поры до времени...

Точно так же к врожденному понятию товарищества должны примыкать такие бесценные качества, как честность и верность. Не бегать же с возгласом «Мы же товарищи!» за тем, кто сторонится тебя? Цепко держаться, как селезенка за желудок?

— Много же загадок ты передо мной поставил. Наверняка между вами вырос какой-то барьер. Зачем темнишь? Кто это сторонится тебя? Скажи открыто.

— Да нет же, я не собираюсь скрытничать... Весь сыр-бор начался с твоих слов: «Неужели пять лет вместе учившиеся друзья расстаются друг с другом?» Поэтому я и не выдержал.

— И что из этого?

— Говоря откровенно, старик, сейчас встречи джигитов друг с другом ограничились лишь приветствием, вопросами о здоровье, и всё. Шумные, многолюдные застолья изжили себя. Да и просто встречаться, навещать друг друга люди стали все реже и реже. Каждый в наши дни озабочен лишь собственными интересами. Бейсек, например, крепко задружил с одним джигитом из Облсовпрофа. С самым близким, кровным родственником так не дружат! Кстати, этого парня ты тоже знаешь. Он учился курсом ниже нас. Один из активистов... Да ты помнишь, крепкий такой, круглолицый, с вытаращенными глазами, очень шустрый джигит!

— Да-да... Припоминаю. Он еще ни одного собрания не пропустил, все рвался на трибуну.

— Во, он самый. В настоящее время держит все путевки в дома отдыха, лучшие санатории на морском побережье. Мечта нашего Бейсекена — хоть на время заполучить теплое местечко, где можно воткнуть ложку в густое масло. Что скажешь? Тот тоже рад, что задружил с начальником СМУ. Чтобы построить хоромы на даче, он через Бейсека достал красный кирпич. А Бейсекену выделил путевку. «Баш на баш!» Кто знает, сколько продлится их дружба. Словом, не мы в итоге, не те, кто пять лет вместе учились, делились, как ты сказал, куском хлеба, хозяева жизни, а другие. По выходным семьями пакуются в свои «Жигули» и отправляются в горы. Умом всё понимаешь, но душу обжигает ревность, будто кто-то, заманив или запугав друга, забирает его себе. Вольно или невольно начинаешь рвать и метать. Ты сам не имеешь ничего, чем можешь поделиться с другом или, на худой конец, пригодиться в каких-то срочных делах. А когда

видишь, что друг сторонится тебя именно по этой причине, то ломаешься окончательно.

Вдобавок ко всему мы не избавлены от расчетливых мелких обид. Не знаю, куда подевалось наше снисхождение к глупости, к баловству любого из нас. И каким образом, когда замутился наш чистый источник? Не могу понять. Если сегодня мы, приходя друг к другу в гости, стараемся не выпить лишнюю рюмку водки, кончиками губ обозначив свое уважение, чопорно и чинно общаемся, это еще ничего, терпимо. Но если, расслабившись на минуту, вспомним, как беспечно жили в тесной комнатухе, то сразу осаживаем себя: кончай, в гостях у людей сидим.

И тут же начинаем подтягивать ослабевшую подпругу. Скажи, разве эта фальшь продиктована органическим неприятием души? Что хорошего в том, что теперь ты не можешь в доме у друга по-свойски восседать на почетном месте и вести себя, как тебе заблагорассудится...

Пока Канат не завершил свою тираду, Нуралхан, нахмурившись, сидел неподвижно.

— Ладно, — сказал он тихим, но посуровевшим голосом. — Видишь ли, Салажонок, так ли уж необходимо копаться в мелких обидах между джигитами? Мужиков это не красит. Разве ты сам час назад не сказал: «Каждый поступок и событие в итоге приводит к добру или злу, куда попадешь — зависит от самих людей, от чистоты их мыслей и побуждений»? Теперь мы не те люди, которые разойдутся навек, давай замнем. Иди сюда, мне кажется, нам лучше сейчас вмазать по одной за здоровье отсутствующих здесь джигитов.

Канат равнодушно чокнулся. Затем перевел глаза на широкую грудь Нуралхана, который, взяв толстыми пальцами крохотную рюмку, разом опрокинул ее, показав дно.

— Да нет... Уж не думаешь ли ты, что я горю желанием копаться в язвах? Во-первых, ты сам поинтересовался, я скрытничать не стал. Во-вторых, ничего в этом нет такого, чтобы скрывать от тебя, — сказал он по-свойски откровенно и вместе с тем обиженно. — Хорошие

мы сейчас или плохие, неважно, мы когда-то были просто не разлей вода! Кому же мне рассказать, как не тебе? Однако мое отношение к ним, по большому счету, не изменилось, только это эгоизм заявляет о себе: «Почему лучшие друзья не относятся ко мне так же, как я к ним?» А может, виной всему вбитое в детстве убеждение, что друзья — это почти пуповиной сросшиеся, навек неразлучные души? Словом, наше расхождение, начавшееся в последние годы по разным причинам, сегодня меня угнетает так, будто мы сделали друг другу подлость. Вероятно, решив высказать всё, что в душе накопилось, я слишком разболтался. Но если совсем промолчать, то это тоже было бы нечестно.

В груди у мрачно застывшего Нуралхана снова шелохнулось сиротливое чувство, которое, как отставший от кочевья щенок, начало было подвывать, но сразу осеклось.

— Как насчет того, чтобы закрыть эту тему? — предложил Нуралхан, пересиливая слабость. — Давай еще кое-что закажем, а? Если немного не взбодриться, то поплывем, пожалуй.

— Нет-нет! Этого хватит. Бодриться будем, когда выйдем на улицу.

Поднявшись с места, оба почувствовали, что они хоть и не опьянели вдрызг, но набрались порядочно. Однако, стараясь не выдать этого, ступая как можно тверже, увереннее, они тихо вышли из зала.

* * *

Дневная жара немного спала, тени стали длиннее. Со стороны гор веял прохладный ветерок. Фонтаны, недавно лежавшие под солнцем, угрюмо насупившись, сейчас оживились. Из труб и трубочек, шипя и свистя на все лады, лилась вода.

— Пай-пай! Вот где, оказывается, райский уголок, — сказал Нуралхан, подставляя грудь и лицо под влажную пыль, которую с фонтана разбрызгивал в его сторону горный ветерок. — Подойди поближе, освежимся.

— Я и так близко стою. Ты думаешь, этот фонтан я в первый раз вижу? — Канат, любуясь по-детски развеселившимся другом, чуть усмехнулся. — Но будь осторожен, смотри, не заболей. Один наш дядя, поехав на родину, бросился в родную реку, на которой вырос, с возгласом «О, как я скучал по тебе!» И, нахлебавшись воды, едва не утонул. С тоски чего только не вытворят? Поубавь свой пыл, не то воскликнешь: «О дорогая столица!» — и бухнешь в фонтан!

— Как, как ты сказал? «О, как я скучал по тебе!» Любить надо только так. Безумно и без оглядки! Молодчина твой дядя.

— Слушай, старик, я все-таки хочу разобраться с одним важным делом.

Канат стал выгребать из кармана мелочь.

— Что ищешь? — спросил Нуралхан.

— Двухкопеечную монету.

— У меня, наверное, найдется...

Лицо Нуралхана не утратило свежести, но вокруг глаз появились круги, глаза полузатянуты дремотой, как у человека, страдающего бессонницей. Таким показался он Канату, когда, повозившись, едва выудил из кармана двухкопеечную монету и протянул ее другу.

— Держи! Для чего она тебе понадобилась?

— Сек-рет... — заговорщицки прошептал Канат, быстро занырнул в телефонную будку и, чуть погодя, вышел — рот до ушей.

— Итак, старик, — проговорил он, — моя хозяйка давно пришла с работы, с нетерпением ждет нас с тобой и приказывает — дуйте домой!

— Ничего себе! Не мог заранее сказать? Как нам в таком виде заходить, мы ведь выпили...

— Не беспокойся! Ты же у себя дома! — Канат, не давая опомниться, крепко подхватил друга под руку. — Пошли!

— Подожди ты, сначала поговорим, — сказал Нуралхан в смятении. — Отпусти меня.

— Какое «отпусти»! Да, я забыл сказать, она еще утром предупредила. И сейчас напонила: «Не приведешь друга — домой не возвращайся!» Так что пойдём, посидим, поговорим по душам.

— Ох, хитрец... ты что, хочешь прикрыться мною? Ты боишься жены! — рассмеялся Нуралхан.

Он вдруг представил себе облик обладательницы нежного, запинающегося голоса. Вспомнил, с какой теплотой, чуть ли не родственным вниманием и заботой она сказала ему: «Вы хотите ограничиться одним телефонным звонком? Разве друзья так поступают?» Не говоря уже о том, что она, не видев его ни разу, все-таки узнала его по каким-то приметам... Перебрав в памяти всё это, он понял, что теперь уклониться от ее приглашения просто невозможно.

— Подожди, Канат, ты можешь постоять не дергаясь... Давай все обсудим, — сказал он скороговоркой.

— Но я же сразу сказал, обсуждать тут нечего. Обо всем остальном можно поговорить на ходу. Вон, таксист повернул сюда. Как бы не упустить... Прибавь ходу!

— Что ж, так и быть, — сказал Нуралхан, садясь в такси. — Но должен предупредить, приедешь в наши края, я тебя тоже возьму и приведу домой, невзирая на твое любое состояние. Увидишь, специально так сделаю!

— Согласен! Видит бог, отказываться не буду, — и лицо довольного Каната расплылось в улыбке, как бы говоря: «Буду рад, если это случится».

— Предчувствие и ожидание застолья слаще самой гулянки. Ну, посмотрим, чем это кончится.

— А что тут такого? Тоже мне, невидаль! Не знаешь, чем это кончается?

Оба рассмеялись. Вскоре они подъехали к дому Каната в микрорайоне «Коктем». Вальяжная «Волга» с желтой полосой медленно, чуть переваливаясь, подкатила к подъезду серого пятиэтажного здания.

* * *

Наружная дверь была не заперта.

Едва перешагнув через порог, Канат проговорил нараспев:

— Жан-на-а! Душенька, вот и пришел наш гость, встречай...

Из смежной комнаты вышла худощавая светлокожая женщина с повязанным передником. Смущенно улыбаясь, она подошла к Нуралхану и протянула руку.

— Здравствуйте, — поклонившись, сказал Нуралхан.

— Здравствуйте. Как ваше самочувствие? — вчерашний нежный голос с едва заметной дрожью было чень приятен на слух. — Проходите в дом, на почетное место.

— Ну, вот наше место жительства, — хозяин провел гостя в квартиру. — Будь как у себя дома. Это наша гостиная.

Из зала выходила еще одна дверь. На миг показалась кудрявая голова смуглого мальчишки, который, приоткрыв дверь, подсматривал, выглядывая из щели.

— И как звать-величать этого джигита? — спросил Нуралхан.

Курчавая голова тут же исчезла.

— Светик мой, Саматжан, это же ага пришел, — позвал ребенка Канат. — Иди сюда, иди!

Поскольку тот не отзывался, он сам пошел в соседнюю комнату и принес трепыхающегося мальчишку в зал.

— Ну вот, поздоровайся с дядей! Ух, ты, неслух, поздоровайся, говорю...

Но мальчик и не собирался слушаться, пыхтя и беспрерывно дергаясь, он умудрился вырваться из отцовских рук и убежал в свою комнату.

— Это наш баловень Самат, — представил Канат, — маменькин сынок. Есть у нас старший, зовут Булатом, поехал к бабушке.

Оглядывая освещенную яркой люстрой комнату, Нуралхан по порывистой манере говорить, уверенному тону в голосе друга, по опрятной обстановке и светлой ауре в доме почувствовал, что в этой семье царят согласие и стабильность. У него как будто тяжесть свалилась с плеч. Да, он приехал сюда, но чувство стеснения перед незнакомой, по сути, семьей не покидало его до последнего. «Нет. Не плохо у них. Слава богу». В сложившейся ситуации он обрадовался этому не меньше, чем стабильности в собственном доме.

— Что сначала, ас приготовить или чай подать? — спросила Жанна, занимаясь сервировкой стола.

— И ты спрашиваешь это у гостя? Гость смирнее овцы: ему хоть сала подай, все подчистую съесть должен. Сделай что-нибудь! — распорядился Канат. — И все-таки, что бы ты предпочел, старик?

— Сначала скажешь одно, затем отменяешь. «Гость смирнее овцы», — Нуралхан расплылся в улыбке, и тут же добавил: — Я пошутил! Начнем с чая.

— Жанна, ты слышала? — гость жаждет чая, — сказал Канат и присел рядом с другом на диване.

Обеденный стол был раздвинут, и на него хозяйка начала выставлять все новые и новые закуски.

— Нуреке, извините, кажется, будет правильно называть друг друга по именам, — сказала Жанна. — Наш Канат, когда приходят самые близкие друзья, начинает баловаться, изображая из себя феодала. Видите, даже помочь мне не хочет.

— Ой, Жанночка, душенька, совсем вылетело из головы. Помогу, конечно, помогу... — Канат вскочил с места.

Нуралхан и вправду сидел удивленный тем, что его шустрый друг, находчивый на слово, скорый в делах, палец о палец не ударил, чтобы помочь жене. Невольно рассмеялся. «Ну да, известный мне Канат в своем репертуаре. Но сегодня не только ты, Салажонок, но и мы начинаем бегать».

Канат неловко внес пару ваз с фруктами, и Жанна сразу отпустила его на волю:

— Ладно, хватит. С остальным сама разберусь.

— И в самом деле, ты уж сама... Впервые за столько лет приехал друг, и на тебе! — Канат повернулся к Нуралхану и подмигнул.

— Не жалея его, Жанна, не жалея! Смотри, как он моргает мне, — уже по-свойски сказал Нуралхан.

Может быть, Жанне по душе пришелся веселый нрав гостя, а может быть, она давно уже была наслышана о нем, но с дрожью в голосе она проговорила:

— Нуреке, в первые годы я сама разбаловала его так, что крохотная услуга, которую он оказал вам, не стоит выеденного яйца. Кроме того, мне совсем не нравятся мужчины, которые то и дело суют носы в кухонные дела. Пусть сидят себе.

— Вот как! В таком случае, ты очень продвинутая жена! — громко сказал Нуралхан вдогонку Жанне, уходящей на кухню.

От обладательницы нежного и одновременно уверенного голоса такого признания он не ожидал, но, оказывается, она высказывается вполне свободно.

«Очень нежная и вместе с тем прямая... Интересно!» — подумал Нуралхан.

— Э, ты еще не встречал таких неподдающихся! Своим тихим говорком наша госпожа кого угодно может довести до белого каления, — хмыкнул Канат. — Когда-то у нее было неважно с казахским языком, она городская. Я стал с ней заниматься и накликал на свою голову! Порой так сыплет пословицами и поговорками — я диву даюсь.

— Так тебе и надо. Вечно лезешь в жаркие споры, никому не уступаешь. Именно такая жена тебе и подходит! — сказал Нуралхан.

— Ей первой всегда слово предоставляю, — засмеялся Канат, оглядываясь на Жанну, занятую сервировкой стола.

— Что тебе остается, как не предоставить? Нуралхан, знаешь, что твой друг... — Жанна чуть замешкалась и не смогла сдержать подступившие к горлу жалобные слова, — твой любимый друг до глубокой ночи не спешит возвращаться домой, любит бродить по улицам, а есть еще карты, бильярд, шахматы... Словом, оправданий много, бог знает, где его носит! И кому же, как не мне, говорить об этом? И к кому обращаться, как не к тебе, Нурлахан? А если Канат в самом деле тебе друг, то он не станет отрицать своего наплевательского отношения к семье.

Канат лишь по-глупому скалил зубы. Было предельно ясно, что ему нечем крыть. Нуралхан растерялся и, опасаясь, что из искры возгорится пламя, поспешно проговорил, гроззя указательным пальцем:

— Я тебе покажу, долг нарушать... В кандалы закую!

Да где там! Канат, ничуть не смутившись, еще шире расплывался в улыбке. Ведь в словах Жанны не было обиды. Сказала, и всё. Без лишней жалобы или просьбы. Видимо, уже с первых лет совместной жизни он так приспособился к складу ее характера, что, похоже, не заикливался на этих жалобах: мол, поворчит, поворчит, да успокоится.

«Вот что значит “жену держи в узде”! Ты смотри, что вытворяет наш Салажонок, всем нос утер... А мне стоит на часок-другой задержаться где-то — жена поедом съест!» — подумал Нуралхан.

Невольно всплыло в памяти, как вчера, заступаясь за мужа, Жанна сказала, что он где-то с друзьями задержался. В голосе ее не было и тени беспокойства.

В родном ауле он с детства слышал немало рассказов о легендарных женщинах, которые способны были не только заменить погибших мужей, но и достойно встать на их место, сделать то, что по силам только мужчинам. Некоторых из них он видел собственными глазами. Но после своей женитьбы почему-то решил, что таких женщин можно встретить только в аулах или в сказках. Современное течение жизни, запросы времени и среды стали иными, и ему казалось, что женщины, заявляя: «А чем мы хуже вас», — старались идти наравне, ни на шаг не отставая от своих мужей. Неизвестно, как у других, но жена Нуралхана уж точно не отставала. И вот, пожалуй-ста, чудо из чудес... в самом центре столицы возникает перед ним такой наглядный пример. И что интереснее всего — совершенно не похожа она на амазонок, которые витали в его воображении. Те девы виделись ему вспыльчивыми, дерзкими по характеру и крупными по комплекции. Она была совершенно другая — худощавая шатенка, жидковатые волосы красиво убраны на затылке, на переносице едва различимы веснушки. Изящная молодая женщина.

«Ай да Салажонок! Ну и хитер! Зная, что она готова заменить и защитить тебя всегда и во всем, ты позволяешь себе непозволительные вольности, — подумалось Нуралхану. — Настоящий феодал, ничего не скажешь...»

— Прошу к столу! — нарушила ход его мыслей Жанна.

Нуралхан много раз слышал, да и сам неоднократно замечал: принятую дозу горячительного можно контролировать лишь хорошим настроением. Он был навеселе уже тогда, когда подъезжали к этому дому, и все еще находился в этом состоянии. Вино — по настроению, но настроение тоже поднимается от вина... И никакой похмельной тяжести.

Делясь воспоминаниями о том о сем, они засиделись до глубокой ночи. За таким радушным дастарханом, казалось, можно было сидеть хоть до рассвета. Нуралхан и впрямь взбодрился душой и телом, отрешился от всяких бытовых дразг и переживаний.

* * *

Перед тем как лечь спать, они вышли на улицу проветриться. По настоянию Каната посидели на кухне, пропустив по рюмке коньяка.

— Итак, чем завтра займемся? — спросил Нуралхан. — Что скажете, друзья?

— Чем займемся! Лежать будем, отдыхать...

— Постой, постой! На этот раз я не у тебя, я у Жанны спрашиваю, — сказал Нуралхан, с улыбкой взглянув на Каната. — Жанночка, скажи, пожалуйста, чем нам лучше всего завтра заняться?

— Откуда мне знать? — Жанна, мывшая в кухонной раковине посуду, оставила свое занятие и повернулась к ним. — Сами-то что задумали?

— Мы с Канатом еще ничего не наметили. Поэтому я и советуюсь с вами в первую очередь...

Жанна, не ожидавшая такого вопроса, замялась.

Канат вдруг стал напевать: «Коль разум в женщину вложил, коль слушаться ее решил, е-е-еу...»

— Вот, бестия! — Нуралхан невольно рассмеялся. — Да погоди ты!

— А что такое? Один хочет правдиво высказаться, а второй все его слова переводит в шутку.

— Э, нет, ты, кажется, неисправим! Хорошо, один — ноль в твою пользу.

— Вот, только теперь ты образумился. Если при каждом своем посещении ты, друг мой, будешь настраивать жену на ветреные порывы, то, боюсь, скоро она сядет мне на голову. Не правда ли, Жанночка?

Жанне, конечно, хорошо была известна эта привычка мужа — шумно, предельно раскованно изливаться перед тем, кто пришелся по сердцу, поэтому, видя, что сегодня Канат в ударе, от души радуется и ликует, чего с ним не случалось уже многие годы, и сама заговорила горячо и приветливо.

— И правда, Канат, не устроить ли нам завтра настоящий отдых? Говорю это не в шутку, а всерьез. Не каждый же день к нам Нуралхан приезжает. Поднимемся на Коктобе, посидим в «Ауле». Свезем гостя на Медео. Ведь это первый его приезд после окончания вуза, не так ли? Прекрасные места, перестроенные по высшему классу. Наверно, еще не видел?

— Мне-то зачем рассказывать? Нуралхану говори, Нуралхану!

— Она и так говорит, не гони коней! — Нуралхан начал беспокоиться, что друг, сводя все к шутке, может скатиться к нулевому результату.

— О других мне откуда знать, а вам с Канатом вдвоем... — Жанна замялась и добавила, — надо посоветоваться, что ли.

«И опять Канат!.. Ты смотри, с каким постоянством она упоминает Каната!» — подумал Нуралхан с восхищением.

Именно в этот момент друг, сидевший рядом с ним вплотную, глуповато расплывшись в улыбке, показался ему самым счастливым человеком на свете. Его даже охватило чувство зависти.

— Я и сам думал примерно так. Ты попала в точку, Жанна! Полагаю, завтра нам нужно отправиться в путешествие, — отозвался Нуралхан, поворачиваясь на этот раз к Канату.

— Наша Жанна всегда знает, что на душе у человека. Поэтому я даже не пробовал слово сказать поперек. Я — «за», — и Канат, как ученик в школе, поднял руку.

Теперь Нуралхан взглянул на простодушного друга с искренним уважением. Ему подумалось: «Ни досаде, ни капризам нет места там, где царят истинное почитание и уважение друг к другу!» При этом он вовсе не чувствовал, что заново знакомится с банальной истиной, которая известна всем испокон веков.

* * *

Выйдя из дома ранним утром, они не поленились обойти все те места, которые наметили для посещения. Порядком намаявшись, они вернулись в город далеко за полдень. Спустившись с Коктобе по канатной дороге, Канат подвел всех к памятнику Абаю и сказал:

— Теперь наша задача — поймать такси и напрямик двинуть домой, не так ли, байбише?

— К чему такая спешка? Бегая как угорелые, мы, кажется, совсем утомили Жанну, — сказал Нуралхан. — Мы же вернулись в город, теперь, видимо, можно сбавить темп.

— Вы, может, и утомились, а я нисколько не устала. Мне так хорошо с вами, ребята! Вот живем в Алма-Ате, а благодатной ее природы не ценим, — сказала Жанна, не скрывая приподнятого настроения.

— Если моя байбише довольна, значит, все на мази! И все-таки не лишне подумать про наше дитя, которое ты оставила соседям, — сказал Канат, хмыкнув по своей привычке.

Нуралхан, с любопытством наблюдая за другом, который держался с женой шутливо, как с приятелем-сверстником, незаметно отвел взгляд. Затем, желая узнать, как супруги поведут себя, он продолжил щекотливую тему:

— Похоже, проблема ребенка больше донимает тебя, чем Жанну.

— Ой, и не спрашивай... Это тоже правда! Беда с женщинами, предоставь им волю хотя бы на три дня, то — как это называется? — и крупа лошадиного не дадут погладить... Стоило один раз погулять, как вся вселенная вылетела из головы.

В это время они по ступенькам спускались в подземный переход на пересечении двух проспектов. Идущая впереди Жанна, ско-

рее всего, не слышала их, если не считать удивленного взгляда через плечо.

Уже на проспекте Абая Жанна сказала мужу:

— Канат, и в самом деле, поймай такси. Я уходила, пообещав скоро вернуться. Перед тетей Полей неудобно.

— Сию минуту, байбише! Когда было такое, чтобы я не исполнил вашего приказа? Сию минуту.

Канат решительно направился к дороге, намереваясь тут же поймать такси, но его придержал Нуралхан:

— Салажонек, стой! Если вы не возражаете, я хотел бы вернуться в гостиницу. Завтра прием, надо немного передохнуть, как говорится, навести марафет. Это мое первое появление перед руководством треста.

— О бог мой, ничего страшного, до завтрашнего дня еще полно времени. Скоро вернешься.

— Нет-нет, спасибо! У Жанночки мы еще успеем попить чайку. Считаю это самым правильным решением. Вы тоже отдохните.

— Поступай как знаешь. Лишь бы ты не сказал: «Вернулись с гор, чуть не падая от усталости, а они даже на чай не позвали».

Канат, в глазах которого снова заиграли озорные искорки, не преминул подпустить колкость.

— Над этим обстоятельством я подумаю в гостинице, — сказал Нуралхан в продолжение шутки. — А теперь, действительно, останови такси!

— Давай, отсюда недалеко до гостиницы. Мы тебя подбросим и поедем дальше.

— А что, можно и так добраться. Поехали.

У гостиницы Нуралхан попрощался с друзьями и вышел. Как человек, который освободился от обязательных дел, он сделал глубокий вдох и, широко шагая, направился в сторону гостиницы. Теперь его мечта сводилась к тому, чтобы хорошенько выспаться. Хотел лишь одного — ни на что не отвлекаясь, добраться до номера и броситься в постель.

Поднимаясь на второй этаж, он услышал шум-гам, налетевшую волну криков и гиканья, от которых его разбитое, изнемогающее тело невольно встрепенулось и ожило. Оказывается, по телевизору из Ташкента передавали встречу между «Кайратом» и «Пахтакором». Фойе было заполнено зрителями. Как будто оглушительного свиста многотысячных болельщиков с обширного стадиона было мало, к ним присоединилась и эта разгоряченная кучка людей, устроившихся в углу гостиницы.

«Можно и посмотреть!» — подумал Нуралхан, неотрывно глядя на экран. Но когда он протянул руку за ключом, прямо над ухом раздался хорошо знакомый голос: «Ой, а я не заметила, когда он пришел!» Резко обернулся на голос: Куляйша! Она, вскочив со стула, уже подходила к нему. А за ней поспешал Бейсек.

— Вот тебе на! Как вы тут оказались? — растерянno произнес Нуралхан первое, что пришло в голову.

На глазах у чужих людей неудобно было обниматься, но и совестно было не здороваться, причем нараспашку, не скрывая радости. Он успел только протянуть руку для торопливого, крепкого рукопожатия.

— Ну, что стоим? — спросил он растерянno. — Пойдемте в комнату!

— Пойдемте! — сказал Бейсек, усмехнувшись.

— Ну вот, с благополучным прибытием. Ого, да у тебя!.. — воскликнула Куляйша, еще не перешагнув через порог номера. — Почему, думаю, вчера не пришел, а у него тут целые хоромы в распоряжении.

— Э, построив домик, наш отец его оставил деткам...

— Итак, ты прибыл к нам с официальным визитом? — Бейсек, сняв с головы легкую фетровую шляпу, по-свойски бросил ее на кровать и, будто приступая к основательному разговору, прокашлялся.

— Как видишь, старик... Как видишь! — сказал Нурлахан и сам удивился тому, что голос его прозвучал довольно холодно. Неужели

пыльные осадки прошедших после учебы лет приглушили свежие, простодушные порывы молодости, а возможно, душевный жар и азарт студенческой жизни теперь просто не соответствовали их солидному статусу. Короче говоря, представлявшееся в мечтах желание легко и непосредственно пообщаться в нынешней ситуации показалось вдруг неуместным, излишним.

— Ну, и как вы, живы-здоровы? — спросил он все тем же спокойным голосом, к которому добавилось немного волнения. — Как твое здоровье, Кулеке? Слушай, ты замечательно выглядишь! Пай-пай, молодец наш Бисекен! Посадив на ладони, он прямо-таки взлелеял тебя...

— Ой, ненормальный, ты это брось! Смотри, не сглазь! Слышала я, твоя женушка тоже загляденье? Как ее самочувствие? Как детишки?

— Слава богу. А ваши малыши, небось, подросли? И сколько их у вас? — спросил Нуралхан, поглядывая по возможности теплее на мужа с женой.

— У нас городской стандарт. Один сын, одна дочь. А у тебя? — зачастила Куляйша совсем по-свойски.

— Полагаю, на сегодня четыре-пять наберется...

Этими словами он попытался осадить молодую женщину, которая и выражением лица, и уверенным поведением показывала: «Все, что касается ребенка, — это наша сфера».

— Частенько ошибаюсь, надо бы по приезду пересчитать, когда эти щенята будут лежать под одним одеялом.

Бейсек, сохраняя мужское хладнокровие, скупое усмехнулся.

— Брось придуриваться! — обиделась Куляйша, принимая его шутку за чистую монету. — Еще и семи лет не прошло, как вы поженились, откуда такому выводу взяться?! Или твоя жена пятерню родила?

— Но это сугубо женское дело. — Нуралхан, заложив руки за голову, расправил плечи и грудь. — Как там: кол из войлока ты в землю можешь вколотить, коль крепка колотушка...

— Ой-ей-ей, совсем из ума выжил! Как был придурочным, так и остался! Ну, я тебе сейчас покажу... — Куляйша схватила его за шиворот и стала понарошку душить. — Когда перестанешь из себя умалишенного корчить?

— Уже, перестал, перестал...

Куляйша отпустила бедолагу.

— Нет, старик, непостижима все-таки женская природа! Как можно требовать — давай, отказывайся от истины, а? — сказал Нуралхан, оглядываясь на Бейсека.

— Тут и говорить нечего! — Бейсек криво усмехнулся. — Спасешься одной лишь отговоркой: «Ты во всем права, дорогая». Иначе пропадешь.

Видимо, оттого, что настроение их совпало, мужчины, будто сговорившись, заулыбались и уставились на Куляйшу.

— Эй, а тебе-то что неймется?! Сегодня, кажется, ты не вернешься домой, — понизив голос, сказала Куляйша, легонько ткнув кулачком мужа в бок. — Сойдись с Нуралханом, ты прямо на глазах дуреть начинаешь!

— Ну, а как же, как не выговориться, когда нас в полку прибыло, в другое время ты разве волю дашь?

— А, так и скажи! Иначе, знаешь...

Мужчины, посмеиваясь, с любопытством наблюдали за Куляйшой. Только теперь молодая женщина поняла, что стала предметом розыгрыша, любое сказанное ею слово может обернуться против нее, и постаралась перевести разговор в другое русло.

— Слушай, — сказала она, глядя на Нуралхана, — сколько ты будешь морочить нас пустословием и держать впроголодь? Где твой хваленый дастархан, о котором ты вчера все уши прожужжал? Не пора ли отведать?

— Ой, я, кажется, и впрямь разболтался! — Нуралхан, внезапно покраснев, мельком взглянул на часы. — Айда, вниз!

— Нет-нет! Зачем тебе лишние хлопоты, постой. — Бейсек снова прочистил горло. — Вчера к нам совершенно неожиданно нагрянули

гости, и мы сегодня пришли, чтобы не остаться в долгу. Немного поговорим и пойдем обратно.

— Ау, как же так, в первый раз видимся через столько лет, и на тебе? Нет, перестаньте!

— О-ой, а теперь ты скажешь, что приехал с периферии, — сказал Бейсек, — и жить не можешь без дружеского застолья. Сознайся — тебе это надо? Или ты полагаешь, что мы по-прежнему, как в молодости, мечтаем завалиться в ресторан и сидеть, болтая разную чепуху? Сегодня все эти забавы уже не для нас.

Нуралхан, поглядывая на красивое, начинающее полнеть светлокожее лицо друга, на высокий лоб, иссиня-черные кудрявые волосы, видя насмешливу улыбку и волной взметнувшийся хохолок (не зря же его прозвали д'Артаньяном), отметил, что это лицо стало еще привлекательнее, чем прежде, и мужественнее. Бейсек и раньше слыл солидным джигитом, а после нескольких лет закалившей его работы заматерел еще больше. На малознакомых людей он производил неотразимое, даже подавляющее впечатление как внешним обликом, так и весомо сказанным словом. И, как некоторые люди, он не мог избавиться от манеры говорить с апломбом там, где этого не требовалось, напирая на хозяина застолья, будто пришел в дом не друга-однокашника, а своего подчиненного. Вот это злоупотребление властью несколько покорило Нуралхана.

— Интересно, кто тебе сказал, что в ресторан ходит только зеленая молодежь? — сказал он, через силу рассмеявшись. Но голос его прозвучал как-то уныло.

— Мы этой городской едой сыты по горло, — сказала Куляйша. — Коль ты собрался угощать, лучше подавай домашние угощения! От твоих вчерашних обещаний у меня уже слюнки текут.

— А, тогда я пас! Кулекен повелела, я подчиняюсь! — сказал Нуралхан с видом человека, потерпевшего поражение. — Но должен предупредить: если что-то будет не по душе, не взыщите!

И с этими словами он стал вытаскивать из гостиничного холодильника жирные казы, банку черной икры, сваренную на пару курицу, две бутылки коньяка и заставлял всем этим стол.

— И все-таки есть у меня предчувствие! Когда выходили из дома, не знаю почему, но я закашлялась, значит, к застолью готовилась, — сказала Куляйша со смехом.

Она боком выбралась из-за стола и подключилась к сервировке дастархана.

— Э, тебе изначально суждена была богатая жизненная доля, — сказал Бейсек жене. — И вообще, ты везучая!

Нуралхан вздрогнул, вспомнив давние пророческие слова: «Ну, надо же, какая везучая девушка! Видно, немало постаралась, чтобы отхватить такого видного джигита, как д'Артаньян!» — сказал Канат, когда услышал о том, что эти двое решили пожениться, имея в виду ее необыкновенно шустрый, пробивной характер.

Бедный студент, разве он думал, что позже будет много раз бегать к другу, переехавшему на съемную квартиру, где Куляйша под веселые шутки-прибаутки станет подкармливать его. Да и сами они, если случалось чем-то разжиться, прямиком направлялись к Бейсеку и Куляйше. Пылкая высокомерность юности тогда не позволяла думать об этом.

А в тот момент общежитские джигиты, лежащие в разных углах полутемной комнаты, завернувшись в простыни, от души расхохотались и дружно вскочили на ноги.

— Эй, вы, свихнулись, что ли, почему смеетесь? — беспокойно повторял Канат. — Нет, что нашел наш д'Артаньян в этой шустрой смуглянке, ей-богу, не могу понять. Если вы знаете больше меня, скажите!

Ергазы и Нуралхан, насмеявшись до слез на глазах и колик в животе, ответили тогда:

— Слушай, ты точно уморишь нас. Не красавица красна, а любимая красна, молодой человек. Дело даже не в этом. Если хочешь до-

копаться, почему понравилась, что он нашел в ней, ты должен взглянуть на эту девушку глазами Бейсека! Теперь тебе понятно, друг Горацио?

— Да ну вас, перестаньте! Только тронь, тут же нараспев начинаете читать нотации, — сказал тогда Канат, разгорячившись. — Разве я не ставлю вполне закономерный вопрос: «Что привлекло нашего Бейсека в этой девушке?» Будь у нее притягательная красота, это одно. Или что-то такое, чего не увидишь у других, я бы еще подумал... Единственное, что похоже на истину, — это последнее высказывание, которое можно признать толковым. Но, по большому счету, ваш довод «Не красавица красна, а любимая красна» — чушь собачья! Ложь! Это пустая отговорка таких, как я, невезучих парней, кто не сумел дотянуться до настоящих красавиц. То есть это слова ретивых защитников ложной чести, которые, не осмеливаясь открыто признаться в том, что истинные красавицы даже не посмотрят в их сторону, выдумали себе утешение для подъема настроения, оправдания той девушки, что им досталась. Поэтому давайте замнем для ясности! Здесь весь разговор, по-моему, должен быть ограничен лишь везением, удачливостью Куляйши, которая сумела прибрать к рукам такого джигита, как д'Артаньян.

Кто знает, почему тогда замолчал Ергазы, но тот факт, что сам Нуралхан задумался самым серьезным образом, отрицать нельзя.

И теперь, когда долгие годы легли между этими событиями, Нуралхан не мог не вздрогнуть и не прислушаться к словам Бейсека, даже если прозвучали они иначе.

— Я и сама постоянно говорю, что мне на роду написано быть избранницей, — приговаривала Куляйша, едва сдерживаясь от смеха.

И, глядя на ее восторженное, радостное лицо, в котором не было и капли притворства, он все больше удивлялся тому, как вчерашняя изящная смуглая девушка чудесным образом превратилась в солидную молодую женщину.

Сильно же она изменилась. Сразу бросалась в глаза ее приятная полнота. И небольшой второй подбородок наметился... Сызмала она

отличалась независимым, открытым характером, а теперь и говорит, и двигается уже совсем свободно. Вероятно, хороший достаток, выдержанный и веселый нрав мужа, тесное общение и уважение людей своего круга (как-никак, Бейсек начальник СМУ), всё это способствовало расцвету в ней качеств байбише. По одной уже манере говорить угадывалось ее упрямство, твердая установка: «Неоспоримо всё, что я ни скажу».

Кроме того, Бейсек тоже, будто распаляя ее, сказал:

— А теперь разрешите нашей жене похвалить себя!

— А что тут такого? Пока что боженька не обделяет, я на свою судьбу не обижаюсь. И сегодня, вот... разве не видишь? — и Куляйша снова засмеялась.

Нуралхан, посчитав, что молчать дальше уже неудобно, сказал, переходя на другую сторону баррикады:

— Значит, так предписано... Если Куляйша довольна судьбой, то какое тебе дело до ее высказываний? Слушай, старик, с какого перепуга ты так упорно насакиваешь на нее, а?

— Ну, вот, наконец-то! Не один Бейсек учился с тобой, я тоже рядом была. Вот так, хотя бы иногда меня поддерживать не забывай!

И, от души расхохотавшись, Куляйша показала свое явное расположение к Нуралхану.

— Обязательно! — сказал Нуралхан по-русски, делая акцент на каждом слове. — Если мы оставим в одиночестве тебя, единственную оставшуюся в наших рядах, то зачем мы вообще что-то делаем? Остальные девушки, — тут он, взглянув на Бейсека, подмигнул, — ушли к джигитам сельхозинститута и зоовета! Единственная, кто осталась верной политеху, — это ты! Ты наша ко-ро-ле-ва! Итак, королева, почему бы нам не сесть за дастархан?

— Какое там сесть, теперь ее из этой комнаты и метлой не выгонишь! — расхохотался Бейсек. — Ладно, оставим все это и присядем за стол поближе к почетному месту.

Вот так, в шутовском и приподнятом настроении они уселись за стол.

— Да, это было замечательное застолье!

Прощальные слова Бейсека то и дело всплывали в памяти Нуралхана, когда он, проводив своих гостей, возвращался в гостиницу по широкой улице, ярко освещенной чашами неоновых фонарей.

«Почему Бейсек сказал: “Да, это было замечательное застолье?” — недоумевал Нуралхан. — Может показаться, что они до сегодняшнего дня вообще не собирались, не сидели вот так...»

Он вспоминал слова Бейсека, но постичь глубинный их смысл не мог.

У себя дома Нуралхан, с утра до ночи занятый на работе, не придавал значения таким бытовым мелочам. Да что там говорить, когда ехал на встречу с друзьями, с которыми не виделся многие годы, он был далек от мысли следить за каждым своим словом. Напротив, хотел обо всем забыть и безоглядно окунуться в освежающий омут радости, отдохнуть душой и телом. Кроме того, дело, по которому он прибыл сюда, не было таким уж значительным. Как вновь назначенному начальнику, ему нужно было всего-навсего доложить руководству треста о нынешнем состоянии дел, рассказать, какие объекты и в какие сроки будут сданы в эксплуатацию, какая помощь ему нужна, а также выслушать указания руководителей. Все остальное время он намеревался посвятить друзьям. Однако именно сейчас к его ногам будто кто-то прицепил тяжелую свинцовую гирю, и на него не облегчение и веселье снизошло, а опустился новый груз мучительных мыслей.

«Почему Бейсек отметил некую исключительность застолья? Не потому ли, что уже давно в нем копилось желание высказаться и он наконец-то осуществил его? — спрашивал Нуралхан себя. — Или он хотел так искупить свою вчерашнюю вину? Когда возникает острое желание высказаться, когда появляется тоска по хорошо выстроенной, умной беседе, не говорят: «Нет-нет, мы зашли, только чтобы увидеться с вами». Почему он не пришел вчера? Интересно! И после

этого восхищается стихийным застольем на троих. Ничего не понимаю!»

И в самом деле, в этом вечере была недосказанность.

На первый взгляд, все казалось нормальным, даже замечательным. Друзья в веселом настроении очень даже неплохо провели время. Шутливо поддевали друг друга, упорно ловя на слове (можно подумать, что оба они всю жизнь только и выслеживали друг друга). И как только один из них начинал проигрывать, он в отчаянии просил второго взять на себя роль третейского судьи, стараясь соблюсти равновесие... Словом, жаркие споры были столь динамичными, словно над ними поработал талантливый режиссер. После того как выпили по рюмке коньяка, хозяин дастархана пришел в очень веселое расположение духа. Но после этого говорили только гости. Восхвалялись привезенные угощения. «Замечательно, это же казы ручного приготовления! Ах, какой у них чудесный вкус, особый вкус!» Не обделили вниманием и черную икру, которую сбывали за границу за золото.

— У тебя, шайтана, видимо, крепкие связи с местным руководством, — сказал Бейсек.

— Кило этой диковинки стоит пятьдесят рублей... И все равно в магазинах ее не найдешь, вот так... — сказала Куляйша.

Потом завели речь о том, какие длинные руки у местных дельцов. Если у тебя есть какие-нибудь властные полномочия, то провоцировать взаимовыгодные дела, наверное, в тех краях проще? А как можно достать дефицитные вещи или продукты? Да, они обсудили практически всё.

«Не ты ли недавно так расхваливал, теперь ешь!» — препирались Бейсек и Куляйша, вызывая смех.

В тот момент Нуралхан думал: «Да нет... все это лишь легкие, безобидные шутки живущих в согласии супругов, их откровенный разговор». Вместе с тем он с нетерпением ждал, что разговор вот-вот перекинется на друзей. Неизвестно почему, однако до самого ухода гостей и слова не было сказано ни о Канате, ни об Ергазы.

Нет, было! Но это слово как внезапно вспыхнуло, так же внезапно и пропало.

И как бы Нуралхан внутренне ни сопротивлялся, он снова стал воспроизводить в памяти тот неприятный эпизод.

Бейсек, невзирая на его разрешение курить в номере, все же вышел на балкон. Оставшись за столом вдвоем с Нуралханом, Куляйша, пару раз бросив в сторону балкона беспокойный взгляд, тихо, почти по-заговорщицки спросила:

— Кстати сказать, эти... Ергазы с Канатом вчера приходили?

— Вас ведь не было, к чему теперь эти расспросы? — ответил Нуралхан, тоже нагоняя загадочность.

Он не должен был так отвечать, непроизвольно сорвалось с языка. Желая как-то сгладить впечатление, он зажмурился в усмешке.

Хорошо, Куляйша на это не обратила внимания.

— Не Бейсек виноват, что мы разошлись! — сказала она, будто прося прощения. — На то есть свои причины. Что скрывать от тебя, Нураш, стоит только им сойтись вместе, сразу тянет на подвиги. Один одно говорит, другой — другое. А состояние хорошо выпившего человека сам знаешь, особенно Каната... Когда он дойдет до кондиции, он уже не смотрит на человека. Вся его накопившаяся агрессия выплескивается наружу, и он срывает злость именно на друзьях. Он и в лицо принародно залепить может.

Как говорится, «нрав лошади хозяину знаком», Нуралхан не мог вынести такого поношения за глаза. Он тут же перебил собеседницу, не забыв прыснуть от смеха:

— Вот такого за ним я не замечал!

— А, пропади всё пропадом! — махнула рукой Куляйша, заговорила, не останавливаясь. — Да и не это самое страшное, и хорош, и плох он для себя, в конце концов. С семьей Ергазы у нас тоже не все ладится.

— И что случилось? Он же твой зять, а Бейсеку свояком приходится?

— Ты опять придуливаешься!.. Человек тебе всю душу выкладывает, — Куляйша, будто обидевшись, надулась. — Что за манера!

— Всё, всё, молчу! — поспешно сказал Нуралхан. — Слушаю внимательно.

— О чем это я?.. В прошлом году двоюродный братишка Ергазы приехал поступать в вуз. Абитуриента поручили одному хорошему товарищу Бейсека. В наши дни разве что-то бесплатно делается? Сухая ложка рот дерет. Мы думали, они хотя бы этого преподавателя отблагодарят. Какое там, он как накинется на нас: «А, теперь и вы от нас чего-то ждете?» Да, у Бейсека, слава богу, есть возможность пристроить ребят к учебе. И все-таки неужели он верит, что кто-то должен быть должником вместо самого тебя?! Какие-то странные они. Ладно! Зачем тебе буду морочить голову, ведь тот мальчик в итоге провалился. Ясно по чьей вине. А мы из-за этого до сих пор не разговариваем...

— Мм... да?!

— Что с этим поделаешь, мы тоже уперлись, не стелемся перед ними. Ергазы — мужчина, пусть считает себя правым. Я говорю об этой чертовой девахе... от нее тоже никакого понимания! Коль скоро они так повели себя, как можно с ними за одним дастарханом сидеть?

— Вон оно что...

Изучающе глядя в лицо молодой женщины, Нуралхан вдруг строптиво сказал:

— Знаешь, ты почти в настоящую байбише выросла. В би-правильницу превратиться у тебя есть все данные!

— Да брось ты, я же правду говорю!

— Нет-нет, я тоже правду говорю!

— Тсс... — Куляйша, будто чего-то испугавшись, поджала губы и быстро оглянулась на балкон.

Он тоже оглянулся и увидел входящего Бейсека. На этом разговор оборвался.

Вот, пожалуй, и все, о чем они успели перемолвиться.

Нуралхан только сейчас заметил, что уже давно ходит туда-сюда перед гостиницей.

«Стало быть, из-за всего этого они пытаются привлечь меня к себе, возвысить мои заслуги и тем самым рассорить меня с Канатом и Ергазы? — напряженно думал он. — А может быть, поскольку дружба джигитов распалась, они хотят найти во мне духовную опору? И вообще, как бы сильно человек ни обиделся, его разрыв с давними друзьями, по-видимому, проходит очень даже нелегко... Должно быть, это равносильно началу новой жизни! И когда он ходил, мучаясь этим, когда тосковал по давней привычке изливать все, что на душе, при встрече со мной он хотел открыть свою душу? Что бы там ни было, всё, всё от плохих отношений между моими джигитами, черт побери!»

Нуралхан сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Сердце внезапно пронзила колющая боль.

«Вот тебе на, что делать?! — в растерянности подумал он. — Когда вчера Канат намекнул о расколе, я всё свел к холодной рассудительности. Завтра надо во что бы то ни стало переговорить о происходящем раздоре в нерушимой, казалось бы, дружбе со всеми джигитами!»

* * *

Однако и завтра, и в последующие дни Нуралхан никому и ничего сказать не смог.

Решив, что самое подходящее место, где можно будет поделиться своей обеспокоенностью в деликатной форме, — это дом Бейсека, он, испытывая порядочное волнение, пошел к нему, рассчитывая перемолвиться с Бейсеком с глазу на глаз. А тот, оказывается, устроил дома целый прием.

— Вот, прошу любить и жаловать, начальник соседнего СМУ, а вот — председатель профсоюза строительных организаций; все эти товарищи наши ближайшие друзья, — представлял он своих гостей.

«И я собираюсь что-то сказать человеку, у которого столько уважаемых друзей-товарищей?» — подумал Нуралхан.

Ни с одним из них он не был знаком. Вероятно, поэтому на протяжении всего вечера он и словом ни с кем не перемолвился, так и просидел, замкнутый и отрешенный.

Теперь все надежды он связывал с Ергазы. Но и тут случилась осечка. На следующий день после их разговора тот в срочном порядке был отправлен на объекты в соседний район. Они не смогли даже увидеться.

Только Канат к вечеру заглянул к нему в гостиницу. Суется, он не отходил ни на шаг, держался рядом, однако Нуралхану показалось излишним что-то говорить другу, который с самого начала их встречи выложил ему всё, что накопилось в душе.

Таким образом, небольшой срок его пребывания в столице промелькнул в суете и волнениях. Так и не получив освежающей встряски, Нуралхан перед отъездом пожелал остаться один. Но вечером опять нагрянул Канат и почти силком утащил его к себе домой. Оттуда он уже глубокой ночью проводил Нуралхана в аэропорт.

Возможности побыть одному, осмыслить происходящий разлад у него не было. Нуралхан ходил с другом по аэровокзалу, ведя разговор на разные пустячные темы. Однако он уже не был джигитом — душа нараспашку, каким был в первый день своего приезда. Ни слова не сказал ни о друзьях, ни об оставшихся далеко позади дорогих днях студенческой жизни. Канат, видимо, почувствовал его замкнутость и не лез в душу ни с вопросами, ни с предложениями.

Кто-то ушел.

Кто-то остался.

И у тех, кто ушел, и у тех, кто остался, на душе было тоскливо и муторно.

Перевод Мурата Ергалиева

Дулат Исабеков

(род. в 1942 г.)



Видный казахский прозаик и драматург. В 1966 г. окончил филологический факультет Казахского университета (ныне — Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби). В 1966–1967 гг. являлся старшим редактором программы «Шалкар» на Казахском радио, в 1971 г. стал заведующим отдела редакции журнала «Жулдыз», а затем издательства «Жалын». Впоследствии работал в должности главного редактора репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Республики Казахстан, генерального директора Казахского телевидения, директора издательства «Жазушы» и Казахского института культуры и искусствоведения. Сегодня он издатель и главный редактор журнала «Мадениет» («Культура»).

В 1963 г. был напечатан его первый рассказ — «Жолда» («В дороге»), который вошел в сборник рассказов писателей Казахстана «Замандастар» («Современники»). Но широкую известность принесла молодому писателю повесть «Шойынкулак», напечатанная в том же году в трех номерах газеты «Лениншил жас».

В 1966 г., когда он учился уже на последнем курсе университета, его повесть и несколько рассказов вышли отдельной книгой. Начиная с того времени опубликован десяток прозаических книг писателя. Самые известные — «Бекет» («Станция»), «Ащы бал» («Горький мед»), «Гауһар тас» («Гаухар тас¹»), «Дермене» («Дармина²»), «Қара шаңырақ» («Храни свой очаг»), «Тіршілік» («На свете белом»), «Өкпек жолаушы» («Угрюмый путник»), «Біз соғысты көрген жоқпыз» («Мы не видели войны»), роман «Қаргын» («Паводок») и другие сборники повестей и рассказов.

Рассказы Д. Исабекова «Шойынкулак», «Ақырамаштан наурызға дейін» («От студеных холодов до Наурыза³»), «Ескерткіш» («Памятник»), «Социализм зәулімі» («Высо-

¹ Бриллиант — так называется известная казахская песня.

² Растение; полынь цитварная, дармина.

³ Первый день Нового года (по восточному календарю, 22 марта); название месяца «март».

ДУЛАТ ИСАБЕКОВ

ты социализма», «Конфронтация», «Талахан-186», «Бонапарттың үйленуі» («Женитьба Бонапарта»), «Ай-Петри ақиқаты» («Правда об Ай-Петри»), «Кемпірлер» («Старушки»), «Шалдар» («Старики») и другие являются яркими образцами этого жанра.

Известно свыше двадцати произведений писателя, написанных в жанре драмы. Все они прошли на сценах казахских театров, а самые лучшие были поставлены за рубежом. Среди них такие, как «Ректордың қабылдау күндері» («Приемные дни ректора»), «Әпке» («Старшая сестра»), «Ертеңді күту» («В ожидании завтрашнего дня»), «Мұрагерлер» («Наследники»), «Кішкентай ауыл» («Маленький аул»), «Ескі үйдегі екі кездесу» («Две встречи в старом доме»), «Тор» («Сеть»), «Актриса», «Акку-Жибек», «Әнші құстар фестивалі» («Фестиваль певчих птиц»), «Мунлык-Зарлык». А постановки по пьесам «В ожидании завтрашнего дня», «Приемные дни ректора» и «Сеть» идут на театральных подмостках республики по сей день.

Отдельные повести издавались на немецком, чешском, венгерском, болгарском, китайском и турецком языках. Несколько книг вышло на русском языке.

Д. Исабеков является лауреатом Государственной премии Республики Казахстан (1992) и Независимой премии «Тарлан» (2006).

Порог взросления

Тяжелые свинцовые тучи октября заволокли всё небо и, словно желая еще основательнее, свирепее обрушить гнев на грешную землю, то начинали в ярости хлестать крупными хлопьями снега, то барабанить дождем. Пересохшая, потрескавшаяся земля на улицах вмиг превратилась в непролазную грязь.

Именно на такой день пришлось семидневные поминки Курмаша и Айсулу, погибших при скорбных обстоятельствах. Суеверные аульчане, привыкшие в переменчивом характере погоды видеть только хорошие приметы и знаки, перешептывались между собой: «Даже небо оплакивает смерть еще совсем молодых людей», «И солнце проливает слезы, печалась о судьбе единственного ребенка, оставшегося после них».

Все, кроме близких родственников, начали приходить в себя, боль утраты чуть притупилась, но громкое рыдание Таната в последнюю минуту прощания на похоронах, когда начали засыпать землей могилу, у всех вновь вызвало слезы, пробудило у каждого воспоминания о своем прошлом. И вместе с тем дало понять, насколько дорого, насколько бесценно чувство дружбы.

Танат несколько дней пробыл рядом с Аулетом. У покойного Курмаша в этом ауле проживали два родных брата и много других родственников. Танат вместе с ними перенес всю тяжесть случившегося, вместе с ними участвовал и в проведении семидневных поминок.

После проведения поминок, остались только родственники покойного, среди них был и Танат вместе со своей женой.

— Спасибо, — поблагодарил Таната от лица всех родственников Турсын, старший брат Курмаша. — Ты сделал то, что не под силу

многим из родственников. Теперь не грех заняться и своими делами. О времени проведения сороковин дадим знать.

Танат всё еще продолжал сидеть, у него не хватало смелости озвучить одну свою мысль, которая волновала его, и наконец, выждав момент, он решился:

— Извините, у меня просьба к вам, потому и сижу до сих пор, не уйду, — начал он, — вы все знаете, что мы с Курмашем дружим, по воле Всевышнего, с самого детства. Мы с ним родились в один день, в один и тот же час, в одном роддоме. Мы выросли и выучились, сидя за одной партой. И шоферские курсы закончили вместе. Мы и женились в один и тот же день, и свадьбу провели вместе. Вы все это знаете. И вправду говорят, что можно вместе родиться, но нельзя вместе идти по жизни. Действительно, после женитьбы наши пути разошлись, но мы по-прежнему были близки душой. У меня двое детей, а у Курмаша — вот только он, — сказал он, поглядев на сидевшего рядом Аулета. — И у него вскоре было бы двое детей... пусть земля ему будет пухом... Айсулу... — он сглотнул слюну, поперхнулся, не смог выговорить и вытер платком глаза.

— Не надо, Танат, крепись, — сказали родственники обычные в таких случаях слова поддержки.

— Да и пусть земля будет пухом Айсулу... скончалась, будучи беременной, — еле закончил он свою речь.

— Боже мой, что он говорит! Сноха была беременной?! — Вскричала, уронив пиалушку, жена Турсына, разливавшая чай...

Услышав неожиданно, что сноха была беременной, родственники опечалились еще больше. Турсын, которого задело за живое, что такую весть услышал пусть и от ближайшего друга брата, но все же от человека чужого рода-племени, тяжело вздохнул:

— За повседневной суетой нам не стало дела друг до друга. Старики нас объединяли, но они давно лежат в сырой земле. Оказалось, правда. То, что мы не знали о беременности снохи, наверное, начало того, что разбредаемся в разные стороны. Наверное, когда-нибудь не будем знать, где и кто из нас протянул ноги.

— Я хотел бы забрать сына своего близкого друга в свой дом и воспитать Аулета, — сказал Танат. — Конечно, у Аулета много родственников, но если я доведу до совершеннолетия сына лучшего друга, то я выполню свой долг перед ним.

Родственники молча сидели, опустив голову. Молчание затянулось. Хотя за этим предложением стояло истинное человеческое благородство, трогательное чувство привязанности настоящего друга, сострадание, которые стали уже редкостью, самолюбие не позволило им согласиться, они посчитали для себя унижительным отдавать в чужие руки родного человека, словно у него никого нет, тогда как полным-полно родственников.

У Таната не было другого выхода, он был беспомощен, не мог ни огорчаться, ни соглашаться с ними, поэтому был вынужден уехать ни с чем.

— Может, надо было отдать? — заметил средний, Алибек, когда гул мотора машины стих вдали, — обиделся, наверное?

— Что ты болтаешь? — прикрикнул двоюродный родственник с негодованием. — Разве твой брат — ягненок на привязи, чтобы отдавать только из-за того, чтобы кто-то не обиделся!..

— Прекратите, — стал успокаивать их Турсын. — Что плохого в том, что друг высказал свое желание. Он предложил, мы отказались. Разговор на этом окончен!

Действительно, вопрос был исчерпан, и в семье наступил покой.

Аулет остался в одиночестве среди множества родственников, со многими из которых он не был даже знаком.

* * *

Началась привычная, ничем не примечательная повседневная жизнь. У родственников постепенно ослабла к племяннику первоначальная, подогретая самолюбием любовь, не позволившая им отдать Аулета чужим людям. Благоклонности и внимания, переполнявших родичей вначале, заметно поубавилось, как иссякает к осени сезонная арычная поливная вода. Аулет перешел жить к Турсыну,

самому старшему и наиболее близкому среди родственников, и все имущество, оставшееся после родителей, перенесли в дом Турсына.

Прошло полгода. Эти полгода провели незримую межу, отделяющую Аулета от членов семейства, в котором ему довелось остаться, да и от другой родни тоже, дав толчок нездоровым, никогда не произносившимся вслух, глубоко потаенным чувствам, мол, «трудно, если не родной». Чувства те с каждым днем незаметно вызревали, словно цыпленок внутри яйца, и однажды достигли такого состояния, когда не могли уже уместиться в скорлупе.

Вместо того чтобы привыкнуть к этой семье, стать одним из детей этого дома, Аулет с каждым днем всё больше замыкался в себе. Все чаще искал повод возвращаться домой попозже, когда стихал беспечный детский гомон. Ему нравилось проводить время вне дома, вместе с аульскими ребятами он играл дотемна, или же один бродил по садам, прогуливался по берегу реки, предаваясь своим потаенным мыслям. Турсын, его жена Сафура и дети, наблюдая такое поведение, стремились уделять ему больше внимания, ласки, но их старания не действовали на Аулета, а, наоборот, пробудили в его детской душе обостренное чувство самолюбия, чувство достоинства, досаду и стали толчком для быстрее его взросления. Невидимая трещина в отношениях между Аулетом и семьей Турсына всё так же незаметно увеличивалась.

Однажды он пришел из школы поздно. Семья уже поужинала, посуда была уже убрана, все занялись своими делами. Никто не уделил ему должного внимания. Он разделся, поправил было подушку, чтобы прилечь, опершись на нее, но вдруг вздрогнул, будто кто-то ткнул его пальцем. До сих пор он спал на одной из кроватей родителей, перевезенных из его дома. Сегодня вместо нее стояла другая кровать. Аулет приоткрыл дверь комнаты напротив. Турсын с женой, оказывается, поменяли свою на кровать его родителей.

Аулет потушил свет и лег. Всю ночь он проплакал. Ему приснились отец с матерью. Рассердившись, они освобождали и забирали свою кровать. Аулет не мог нарадоваться, от наплыва чувств у него

перехватило горло и наворачнулись слезы на глазах. «Говорили, что вы умерли, а вы живы, живы!» — кричал он. Улыбаясь, отец отвечал: «Как мы можем умереть? Как мы можем умереть, оставив тебя одного в этом мире? Мы вернулись с дальней дороги. Помнишь, когда я был живой, я искал своего без вести пропавшего отца, но, так и не добившись ничего, прекратил? Мы получили весточку от него. Он упрекает нас за то, что мы не ищем его, да и не собирались искать, если бы он сам не дал знать. Вот мы и съездили к нему», — сказал отец. «Папа, почему дедушка сам не приедет?» — спрашивает Аулет. «Он не может приехать. Бомба, разорвавшаяся рядом с ним, засыпала его землей, только одна голова выглядывает из-за холма», — отвечает папа. «А нельзя его теперь выкопать?» — «Нет, нельзя. Земля затвердела, засохла, как камень». — «Папа, мама, но ведь и камень можно раскопать!» — «Нет, нельзя. Отец сам не разрешил. Когда упала проклятая бомба, его тело рассыпалось на части, еле-еле собрали. А сегодня получили от тебя вот эту телеграмму». Отец протянул Аулету бумажку, где было написано:

«Ваши кровати забрали. Быстрее возвращайтесь. Аулет».

«Я не давал такой телеграммы, — удивленно глянул Аулет на отца. — Но все равно хорошо, что пришли. Умоляю вас, не уходите! Почему ты молчишь, мама? Почему не улыбнешься, почему не подойдешь, не обнимешь меня? Пообещай, что ты не уйдешь!» — настаивал Аулет. «Нет, — сказала она все такая же хмурая. — Уйдем. Вот только что получили телеграмму от твоего дедушки, то есть папы твоего папы. Вот!»

Она показала такой же листок бумаги. На бланке буквами теле-тайпа было написано: «Мое тело рассыпается. Скорее возвращайтесь. Отец».

Аулет испугался. «Вот так, — сказал отец по-прежнему улыбаясь. — Выхода нет, сынок. Мы уходим. Ты не огорчайся. Если твою кровать снова заберут, дай снова телеграмму». «Нет, нет! — закричал он. — Никуда вы не уйдете! Я скучаю по прежнему дому, я хочу вернуться в свой дом. Не отпускайте вас, не отпускаю!..»

Задыхаясь, он проснулся. Долго лежал, глядя на сероватый потолок, сожалея, что это всего лишь сон.

А сон пропал. В последнее время у него вошло в обычай просыпаться в полночь или же перед рассветом. Как и раньше, он попытался снова заснуть, прикрыл глаза и долго лежал неподвижно. Но всё равно сна как не бывало. То ли в четыре, то ли в пять лет, в то время, когда папа был жив, он забирался к нему в постель и просил рассказать сказку. Отец рассказывал одну, другую, третью. А ему всё было мало. Потом сказки у отца кончались, и он говорил: «Все, спи». Под впечатлением тех сказок сон улетучивался.

«Аулет, спи, мне утром рано идти на работу», — говорил отец. «Не спится», — отвечал он. «Тогда считай до ста», — советовал тот. Он начинал считать. Вначале — вслух. «Аулет, считай, пожалуйста, про себя», — просила мама, лежащая рядом на кровати, то смеясь, то нервничая. Он начинал считать про себя. Сто, двести, триста... «Папа, я посчитал по сто пять раз», — говорил он, разбудив похрапывающего отца. Папа, повернувшись: «Ты не просто называй числа, а ты закрой тысячу гусей в сарае и по одному выпускай и каждого считай. Смотри, не ошибись», — учил отец не сердясь, не раздражаясь. А Аулет с усердием и фантазией увлеченно принимался за новое развлечение. В воображении загонял гусей и, выпуская по одному, начинал считать. И действительно, так считать гораздо интереснее, чем впустую тараторить числа. Он старался не ошибиться, аккуратно считал гогочущих гусей, выходящих из маленькой двери двора, но не замечал, как вдруг сбивался со счета, повторяя одно число два-три раза. Начинать считать заново. После двадцати-тридцати гусей чувствовал, что воображение вновь начинает затуманиваться. Еле-еле добирался до двухсот, трехсот и, истомившись, засыпал.

На этот раз испытанный прием не смог усыпить Аулета. Он досчитал до пятисот, потом до шестисот гусей. Начинало светать. Он вышел на воздух. Десяток кур, вяло поклевав что-то из отбросов перед домом, отдалялись от двора. Октябрьская ночь была, видимо, слегка

морозной, разлитая вчера вода в маленьких ямках-впадинах во дворе покрылась тонким ледком. Аулет подошел к арыку перед домом и, раздвинув густо разросшиеся кусты мелкой мяты и молодые всходы камышовой заросли, опустил руки в воду. Вода была совершенно прозрачной и ледяной. Текла тихо, беззвучно, лишившись напористости и летней резвости. Вблизи от нее на краях вытоптанной коллеи, где проходит арба, появился белесый налет льдинок.

Аулет умылся, набрав полные пригоршни холодной воды. Прополоскав рот, почувствовал душистый запах мяты. Повторил несколько раз. Пальцы замерзли и не слушались. Он выпрямил спину и присел на корточки. И только тогда понял, что замерз, что слишком налегке вышел из дома.

Почувствовав чье-то дыхание за спиной, он обернулся. Это был Актос. Пес тоже пришел вместе с ним и остался жить у Турсына. Словно желая понять, почему бывший хозяин так рано пришел к арыку и умывается, он теперь стоял за его спиной, потягиваясь.

Аулет обнял его за шею, погладил по лбу, по холодной морде. Пес тоже не имел ничего против, приблизил свою морду к виску мальчика и молча стоял, мигая. Затем облизнулся своим длинным языком и с недовольным видом отвернулся. Казалось, воспользовавшись случаем, он открыто выражал свое отношение к нынешнему их положению, давая хозяину понять, что ему не нравится, что он не понимает, почему отреклись от прежнего жилья, почему бросили теплое гнездо, почему находятся у чужого порога и куда делись взрослые хозяева. Бедный пес, откуда было ему знать, что через несколько дней придется расстаться и с юным хозяином.

Чтоб родственники не истолковали превратно, Турсын посоветовался с ними и отправил племянника в городской интернат.

У Аулета началась совсем незнакомая, таинственная новая жизнь. В первое время родичи один за другим навещали его. Но это — только в первое время. Постепенно визиты стали редкими, и наконец никто не стал к нему приходить.

Дулат ИСАБЕКОВ

* * *

Вся прежняя жизнь осталась позади. Аулет стал чаще задумываться о своем житье-бытье, о родственниках. Только один-единственный человек на свете, друг отца Танат, не забывал его, не давал почувствовать горечь окончательного сиротства.

* * *

Аулет с нетерпением ждал, чтоб скорее прошли каникулы, самое мучительное время одиночества. Казалось, ни конца ни края им не будет, никогда они не закончатся. Он чувствовал себя заточенным в тюрьму. Но человек склонен ко всему привыкать, смиряться; помимо всего остального Аулет усвоил и эту закономерность и через две-три недели стал избегать шумной компании своих сверстников. Он желал спокойствия и уединения. Набрав в библиотеке полную сумку книг, стал с упоением, захлеб читать.

Иногда со страниц взволновавших его книг его уносило в далекие дали. Вспоминал мать, белоснежную улыбку отца. Ему виделась высокая, с гору величиной, отцовская машина. Виделись картины безликой, серой, безрадостной жизни после смерти родителей. Он вспоминал печальные глаза осиротевшего пса и переживал по поводу его собачьей доли. Не перелистывая следующую страницу книги, долго лежал в забытьи, не замечая течения времени. Бесконечно длинная, нескончаемая, как путающийся аркан, мысль в какой-то момент сама собой резко обрывалась, и в тот момент вдруг представала новая картина, врвалось совсем иное дуновение... В воображении возникал образ обаятельной незнакомой девочки, похожей на солнечный весенний день, щедро рассеивающий вокруг радость. Неизвестно почему, она бежит под голубым небом по степи, алой от цветущих маков и тюльпанов. Большие белые бантики плывут над зеленым лугом, будто белые бабочки летят. Аулету очень нравится лежать в сладком плену упоительной мечты об этой девочке. Под влиянием

восхитительной мысли он испытывает несказанно блаженное чувство и, улыбнувшись, прикрывает глаза. Подольше бы эту сладостную мечту не нарушила какая-то случайность, думает он. Иногда желание сбывается, и, пока туман сна не окутывает мечту, никто не чинит препятствий.

Но иногда, вдруг вздрогнув, приходит в себя и начинает сворачивать слишком вольно размотанную нить фантазии. При чем тут девочка? И кто она? А он уже представлял, как, взявшись за руки, они бегут рядом по зеленому лугу. Иногда хочется остановиться и погладить белоснежные, будто белые бабочки, бантики. Иногда ему хочется открыто сказать ей, какая она хорошая. Ему представлялось, что большие красивые глаза этой девочки, глядящие на все в мире с удивлением, ее чистая дружба, невинная улыбка излучают особое нежное чувство и особенную близость.

* * *

Аулет перестал надеяться на обещание Таната приехать и забрать его на зимние каникулы к себе. Тот обещал приехать к вечеру, значит, что-то случилось. Не видно было и кучки ребят, иногда околачивающихся во дворе. Наверное, и они, как Аулет, сидели взаперти одни: если родственники запаздывали, они скрывались, старались не показываться на глаза.

Два раза приходил воспитатель, всё с таким же вниманием, с такой же улыбкой на лице, как и в прошлом году. Сказал, что завтра поведет на стадион кататься на коньках.

Аулету стало досадно. Ему захотелось вскочить с места и выбежать на улицу. Через полчаса он так и сделал — вышел за ворота, сел на маленькую деревянную скамейку прямо под вывеской «Школа-интернат № 4». Время близилось к полудню. Утренний холод еще держался. Может, потому, что он сидел в теневой стороне, его стала пробирать дрожь.

Немного погодя перед воротами остановились красные «Жигули», и из них вышел высокий, крупный усатый мужчина в новой ду-

бенке. Он приблизился к сидящему одиноко на скамейке мальчику и участливо спросил:

— Папу ждешь?

— Да, — ответил нехотя Аулет на бестактный вопрос.

В это время выбежал мальчишка, учившийся классом выше Аулета, и кинулся на шею высокого мужчины.

— Папа, почему опоздал? Уже два дня как мы вышли на каникулы, — он и улыбался и в то же время чуть не плакал.

Рослый мужчина похлопал по спине сына и поцеловал его в лоб.

— Я опоздал, потому что ездил за твоими бабушкой и дедушкой. Они тоже ждут тебя дома, — ответил он.

И прибавил, оправдываясь:

— Я купил тебе новый велосипед. А еще, — остановившись, он поднял вверх палец, будто хотел выдать какой-то секрет, — чтоб ты мог проверить ход велосипеда, я расчистил бульдозером снег перед воротами. Получилась дорожка длиной триста метров, шириной пятьдесят метров!

— Ура-а-а! Спасибо, папочка!

Отец и сын обнялись и залились смехом.

Уход Аулета они заметили позже.

— Его отца тоже, наверное, работа задерживает, — сказал мужчина, сам себе отвечая на свой вопрос.

Мальчик молчал. Он знал положение Аулета.

— Ну, давай, собирайся, — велел отец сыну.

— Я готов. Я готов был два дня назад, — ответил мальчик и побежал к корпусу.

«Надо уходить», — подумал Аулет, после того как устроился на привычном месте у окна. «Надо уходить, но куда?» — воспротивился внутренний голос. «Хоть куда! — ответила, заартачившись, непокорная мысль. — Куда глаза глядят! В общем, надо бежать отсюда, лишь бы не видеть жалость воспитателя».

Он представил цветы, постоянно алеющие на пересечении улицы перед аулом и около моста повыше. Это могила родителей.

«Надо уходить».

Только он встал со своего места, как незаметно приоткрылась дверь и показалась голова того мальчишки.

— Если хочешь... поедem вместе с нами, — сказал он несмело, стараясь не обидеть, не задеть самолюбие Аулета. — Покатаемcя на катке... драку собак посмотрим...

— Нет, дядя должен приехать.

Услышав с уверенностью сказанные слова о том, что должен приехать дядя, мальчик радостно улыбнулся.

— Тогда будь здоров! До встречи! — ответил он весело и, громко хлопнув, закрыл дверь.

Комнату вновь накрыла тишина. Выглянув в окно, Аулет увидел, как воспитатель Мансуров и мужчина в дубленке разговаривают. И надолго задержался у окна. Вот они попрощались. Воспитатель направился к конторе. Через минуту он вошел в контору, а оттуда вышел дворник и начал сразу же грести снег.

Пока дворник не расчистит всё вокруг — не сделает ни одной передышки и даже головы не поднимет. Эта его привычка дает Аулету удобную возможность выйти за ворота и незаметно скрыться.

Дворник даже взгляда не обронил, когда Аулет прошел мимо него в четырех-пяти шагах.

* * *

Автобус из города в родной аул ходит два раза в день. Аулет успел к первому автобусу. Следующим рейсом вернется. Воспитателю можно сказать, что прогуливался в городе.

Когда он пришел на автостанцию, нужный ему автобус уже готовился к отправке. Аулет устроился в углу на последнем сиденье и взглянул в окно.

Каждые каникулы, каждый праздник он всё больше убеждался, что он сирота. Если ему когда-нибудь будет совсем плохо, если он будет умирать, на этом свете не осталось ни одного человека, кто мог бы защитить его. Он убеждался, что любовь воспитателей и

учителей не любовь вовсе, а внимание, оказываемое в равной степени всем и каждому. И если они думают о нем, о его положении, то не из-за какого-то милосердия, а из чувства ответственности. Если они будут знать, что за него не надо отвечать, никому дела не будет, жив ли он. В последнее время у него изменился характер, ему никто и ничто не нравилось, он перестал верить кому бы то ни было.

Может быть, поэтому какое-то тяжелое предчувствие вытеснило, словно осенний хмурый воздух, свойственные ребенку беззаботность, веселость и добродушный смех. Может быть, потому в последнее время он прежнему общению с людьми предпочитал одиночество, прогулки по глухим местам, а придя усталым, ложился калачиком в свою постель в углу.

За эти два года, проведенные в интернате, он тем не менее успел не только подружиться с учителями школы и сверстниками, но и нажить себе врагов. За эти два года его способности к учебе, его понятливость и дисциплинированность были оценены и заслужили всяческие похвалы. В те мгновения он по-особенному бывал веселым, по-особенному радостным. Он внимательно, увлеченно слушал рассказы учителей о честности, благородстве, доброте, рассудительности и верил всему сказанному. Но неожиданно вся его вера исчезла.

А на самом деле, так ли уж неожиданно? Разве не берет она начало в доме родственников, — с той минуты, когда не мог уснуть в чужой для него постели? Как может забыться то, что на его глазах родичи шумно делили между собой все имущество, оставшееся после смерти матери и отца, не считая за человека его, единственного наследника? Даже пес, который пришел с ним, и тот ощутил сиротство и кормился тем, что оставалось после собаки дяди Турсына.

Могила родителей оставалась неухоженной. На кладбище зарастали травой два холмика. С надмогильной тумбы струпьями отпадала краска, успел облупиться и полумесяц и превратился в какой-то безликий знак.

Аулет на могиле родителей побывал впервые, когда учился во втором классе. Ходил вместе с псом. Тогда он ездил к родственникам

Дулат ИСАБЕКОВ

каждые каникулы. Каждый раз Актос выбегал навстречу, на расстояние, где можно было услышать зов. Радости его не было предела. Не в силах выразить накопившуюся тоску, Актос повизгивал, махал хвостом и с разбега кидался на грудь. А потом скачками мчался обратно к дому и, пробежав метров двести, вновь поворачивал назад, словно приглашая в гости, и опять прыгал вокруг настоящего хозяина и друга. А тот гладил его по лбу, по загривку и бережно нажимал, словно сигнала, песий нос, холодный даже в летнюю жару.

Во время каникул Актос ни на шаг не отставал от друга. Когда Аулет уезжал, он провожал его до автобуса, до последнего момента не веря, что хозяин вновь исчезнет и бросит его. А когда автобус с пестрыми боками, ревя, сдвигался с места, доказывая, что радость обманчива, что правда жизни жестока, Актос, отказываясь понимать предательство, оставался одиноко сидеть среди незнакомых людей, ожидающих следующий автобус.

Только повзрослев, Аулет понял смысл казахской пословицы «Бог собаку пытается хозяином».

* * *

С высоты птичьего полета центр аула у подножья горы кажется таким аккуратным... Толстый слой снега нынешней зимой полностью накрыл улицы и дома аула, сравнив его с белой равниной. Только по клубящемуся дыму из едва видневшихся труб можно понять, что внизу живут люди.

Центральная улица аула проходит среди белоснежных, как сахар, домов, построенных по современным образцам. Колеса проезжающих туда и обратно многочисленных машин вытоптали снег и окрасили его в темный цвет.

На восточной стороне улицы перед дверью одноэтажного большого дома стоит грузовая машина с включенным мотором, из трубы валит дым. Незаметный в обычное время дым из-за сильного мороза поднимается столбом, словно казан лопнул.

В доме мужчина лет сорока бреется перед зеркалом. Это Танат. Он собирается в город. Вчера надо было съездить и забрать Аулета, но Танат не смог вырваться с работы.

Через открытую дверь кухни видна фигура жены, которая, сердясь на что-то, ворчит на мужа. Ее отражение просматривается в зеркале.

— Своих детей некогда отвезти к бабушкам. Что они, все каникулы будут сидеть дома? — ворчит она, гремя посудой.

— Сказал же, что отвезу, зачем без конца повторять, — спокойно отвечает муж.

— Когда повезешь, спрашиваю?!

— Завтра. Или же послезавтра.

Жена еще больше сердится.

— Тогда сама отвезу на автобусе! Не можешь жить без этого мальчишки. У самого двое детей, а его все тянет к чужому ребенку!

— Какой же он чужой? — резко обернувшись, Танат посмотрел на жену. Хотя она и заметила вспыхнувший гнев в его глазах, но хватку не ослабила.

— Да, сын друга! — сказала она насмешливо, ставя на стол сковородку с оладьями. — Может, он... твой сын!

Танат сердито посмотрел на нее долгим взглядом. Жена замолкла, почувствовав, что в сердцах брякнула лишнее.

Когда Танат снял с вешалки полушубок и направился к двери, из кухни раздался виноватый голос жены:

— Завтракать не будешь?

Вместо ответа Танат хлопнул дверью.

* * *

Грузовая машина Таната остановилась перед школой-интернатом, расположенной в районном центре. Когда он вошел в здание, воспитатель Мансуров, испуганный исчезновением Аулета, увидев Таната, поспешил навстречу.

— Аулет здесь? — спросил Танат, заметив панику в глазах воспитателя.

— Я надеялся, что вы что-нибудь знаете! — вздохнув, ответил Мансуров, — утром еще был здесь. А сейчас сбились с ног — не можем найти.

— Я во всем виноват, — сказал Танат после небольшой паузы. — Я давал ему слово приехать еще вчера. Может, уехал в аул к родственникам?

— Нет. Он не поедет к ним, — ответил воспитатель, покачивая головой. — Родственники перестали приезжать. Люди черствеют. В другое время терпимо, а вот на каникулах... В большинстве случаев он один остается в интернате. Если бы не вы, бедный ребенок... Он очень тонко чувствует всё. Лишь бы не случилось что-нибудь. Да еще сильный мороз.

Навстречу им вышел дворник.

— Что случилось, аксакал? Вы что-то хотите сказать? — спросил воспитатель

— Да, скажу. Чистил новый туалет и нашел четыре окурка. Вот! Что за срам?

— Надо бы еще посмотреть. Может, еще что-то найдете, уважаемый.

— Не смейтесь. Ребята курят. Их надо правильно воспитывать.

— В туалет заходят всякие люди. К тому же в туалете мы не проводим воспитательную работу. Если увидите курящего ученика, приведите его ко мне.

Воспитатель закрыл дверь за вошедшим вслед за ним Танатом.

* * *

Аулет склонил голову перед могилой, молча всматриваясь в надписи на дощечках, расположенных рядышком. «Вечная память героям, пожертвовавшим своими жизнями ради спасения детей от пожара».

Этот аул — родной аул Аулета. Его родители здесь родились, здесь и погибли. Все близкие родственники отца тоже живут здесь.

В минуты острого одиночества Аулета влекло на могилу родителей. В его глазах не было печали и подавленности, наоборот, проблескивала искорка серьезной мысли и чувствовалась сдержанность взрослеющего мальчика. Возможно, он только сейчас осознает, что его родители прожили иную, чем у большинства, жизнь и умерли ради людей.

Он вытер рукавом фотографии матери и отца, припорошенные снегом.

«Не переживайте, я же все-таки джигит», — сказал он, успокоив родителей. Потом, улыбнувшись, помахал им рукой и направился к остановке. Хотя родителей здесь все знали, самого его уже никто не помнил. Раздумывая о данном только что обещании, он шагал в хорошем расположении духа.

Буран, начавшийся недавно, похоже, усиливался. Знакомый автобус, на котором он и приехал сюда, подъехал к остановке. Вышли люди с чемоданами, мешками, у некоторых были елки в руках, в ожидании Нового года. Когда Аулет входил в автобус, кто-то положил ему на плечо руку. Он резко обернулся.

— Аулет! Это ты? — спросил мужчина среднего роста с черными усами, глядя на него с улыбкой.

— Или садись или выходи! Не загораживай дорогу, — раздались недовольные голоса из толпы.

Может быть, потому, что перед Новым годом родственник отца был немного навеселе, он потянул мальчика за плечо и не дал сесть в автобус. Затем склонился и поцеловал в лоб.

— Что это ты во время бурана разгуливаешь? И почему уезжаешь, не зайдя в мой дом? — затараторил он. — Почему такой сердитый? Отказываешься узнавать меня?

— Здравствуйте, Турсын-ага. Я вас не заметил.

От утрюмого вида и холодного тона мальчика Турсын пришел в замешательство.

— Ну-ка, пошли домой. Я уж было обрадовался, что пришел с визитом к дяде. А он, оказывается, назад едет. Нынешняя молодежь растет черствая.

Мальчик не хотел идти, но Турсын крепко ухватил его за руку и повел. Он всю дорогу болтал, не закрывая рта.

— Извини. Не смогли приехать к тебе. Всё работа да работа.... Конца ей нет! Ты не обижайся. Ты уже взрослый, сам должен был додуматься и приехать. Как учеба?

— Неплохо.

— Наши тоже неплохо закончили четверть. Сегодня мы хотели младшему сделать обрезание. Вчера закололи стригунка. Пиршество будет. Хорошо, что ты нашелся. Соберется вся родня, — он закричал кому-то, шедшему впереди. — Эй, Оташ! Стой! К нам пришел Аулет.

Мужчина обернулся к ним и остановился.

— Кто? — спросил он громко.

— Аулет, говорю. Сын Курмаша!

— А-а! Мороз-то какой!

— Он тоже твой дядя, — сказал Турсын Аулету. — Наши отцы были братьями. Работает на птичьей ферме. На себя работает — фермер.

— Ай, это сын Курмаша? — спросил Оташ, когда они приблизились к нему. — Надо же, уже взрослый джигит. В каком классе учишься?

— В пятом, — пробурчал Аулет.

— Молодец! Вечером, когда приду к Турсыну, поцелую тебя в щечку.

Улыбнувшись, он посмотрел на Турсына:

— Вот, несу запчасти для машины, взял у экспедитора соседнего аула. Сколько ящиков водки взял?

— Тебе один ящик, остальным два ящика.

— Если не хватит, докупим, — рассмеялся он, посмотрев на Турсына. — Ну, до вечера.

— Хорошо. Счастливого пути!

Они повернули в разные стороны.

— Интернат! Зачем нужен интернат?! — возмущался выпивший Оташ, сидя вечером у Турсына. — Мы что — не казахи? Мы что — без роду, без племени? Как закончатся каникулы, заberi документы, пусть живет у нас.

Родные и близкие, сидящие за столом, дружно поддержали Оташа.

— Современная молодежь растет равнодушной. Когда у тебя, Аулет, будут дети, они совсем не будут узнавать нас. Даже сейчас вы не знаете толком друг друга. Скажи-ка, сколько детей у дяди Турсына и у меня? — разгорячился Оташ.

Аулет молчал, глядя перед собой.

— Вот, видишь, не знаешь, — надменно подытожил Оташ. — Ты даже не знаешь моего имени.

— Хватит, оставь в покое мальчика, — вмешалась его жена Шолпан. — Как выпьешь, так становишься добреньким, а в обычное время и отца родного не узнаешь. Где ты был до сих пор, если такой сердобольный. Если современные ребята становятся чужими, то это ваша вина.

— Ой-бай, я сказал то, что знаю, что повидал... — он не успел закончить свою речь: только собрался что-то сказать, как жена сунула ему в рот толстую куриную ножку и спокойно продолжила чаепитие.

Народ рассмеялся. Когда смех стал стихать, другой родственник, Алибек, взял слово. Он был низок ростом, волосы зачесаны назад, будто приглажены языком. От него так и несло высокомерием и напыщенностью.

— Сегодня пиршество, — проговорил Алибек, причмокивая губами, словно сообщил новость. — Да, пиршество! Большое торжество. Я хочу поздравить с этим обрядом. У нашей традиции есть и плохие стороны, и хорошие. Обрезание... в наше время, товарищи...

— Не товарищи, а родственники, — поправил с досадой Оташ.

— Товарищи и родственники, — продолжил Алибек, не отступая от своих слов. — В наше время это неловкий, устаревший обряд.

Во-первых, опасно для жизни ребенка, во-вторых, ребенок попросту напрасно проведет время в постели. У этой традиции...

— Суть! — потребовал Оташ, разливая водку.

— Если подойти с точки зрения современной медицины...

— Эй, деверь, оставь в покое медицину, говори, что положено на тое, — прервала его Сафура — жена Турсына. Остальные женщины тоже загладели.

— Интересно, какие у него дети?

— Что там дети, ты на него самого посмотри!

Алибек продолжил свою речь.

— Короче, я против обряда обрезания.

Женщины разразились громким смехом.

— Росточек-то вон какой, а уж остальное неизвестно какое... — перешептывались они. — Что там обрезать-то...

Наступила пауза.

— Короче, — сказал Алибек сердито. — Все равно — за пиршество!

— Так бы и сказал!

— Так бы и сказал, а то всё попусту болтал что попало! — заявил Оташ, берясь за рюмку.

— Эй, ты что говоришь, что за «болтал что попало»? — возмутился Алибек, еще не успевший сесть на свое место.

— Можно же было не высказывать свое несогласие на пиру! Если так уж хотел сказать, где ты был до торжества? Толокном что ли набил рот?

— Ты, парень, честь не затрагивай! Что ты умеешь, кроме того как водку пить! Давай, пей! Только не надо спешить. Успеешь.

— А чем ты, непьющий, лучше? Из-за того, что кое-как кое-что наскреб и купил «Мерседес»?

— Родичи! — вмешался в перепалку Турсын. — Давайте не будем хвастаться богатством. У каждого из нас есть машина. Через два дня наступает Новый год. Так давайте успокоимся и поднимем за это тост!

Дулат ИСАБЕКОВ

— Молодец! Вот стоящее слово! — обрадовался Оташ. — А я хочу добавить: добра хватает. Сейчас хорошее время. Будем же внимательно друг к другу. За родичей!

* * *

Турсын с Сафурой разговорились наедине, глядя, как елочные игрушки в зале сверкают при свете ночной лампы.

— Аулет завтра уезжает. Надо бы ему дать денег, — заметил Турсын.

Жена вяло ответила, выразив несогласие:

— Зачем ему деньги. У него ведь и одежда, и еда бесплатные.

— Бесплатно-то бесплатно. Но все равно...

— Оташ ведь тогда бахвалился, чтоб жил у него. Где он теперь? Пусть он и даст.

Турсын, нахмурившись, отвернулся.

— И что, теперь ребенка отправим с пустыми руками, ссылаясь на Оташа-пьяницу? Ведь сын родного брата! Если не деньгами, то хоть одежду давай купим.

— На летних каникулах купим. Сейчас все равно у него украдут.

— Тебе все вокруг видится в черном свете, — он махнул в сердцах рукой.

— Нашел же он родственника ближе нас. Мальчик уже тянется к чужим. Сейчас и денег нет...

— Верно, — вздохнул Турсын. — Тебе трудно что-либо объяснять. У тебя на всё есть ответ. Всё, молчу. И ты молчи.

Турсын вышел из комнаты.

* * *

Аулет вышел из турсыновского дома в подавленном настроении. На автобусной остановке вновь накрыло одиночество. Аулет глубоко задумался.

И вдруг рядышком раздался голос:

Дулат ИСАБЕКОВ

— Ау, парень, очнись и здравствуй! — он резко обернулся и, увидев улыбающегося Таната, кинулся ему на шею. Прижавшись, долго не мог оторваться.

— В этот раз ты порядком соскучился, — сказал Танат. — Я рад, что нашел тебя. Ты что, не в настроении?

— Танат-ага, у вас много родственников?

— Родственниками не богат. Но есть.

— А вот у меня много родственников.

— Очень хорошо. Пошли в машину.

* * *

По дороге Аулет вдруг сказал:

— Танат-ага, скажите, как погибли папа с мамой?

Танат с удивлением посмотрел на него:

— Ты же хорошо знаешь это.

— Еще раз. Мне хочется услышать снова.

— Хорошо, — ответил Танат, покачав головой. — Мы с твоим папой вместе учились в школе. Сидели за одной партой. До восьмого класса были неразлучны. Мы вместе окончили шоферские курсы. Что удивительно — и в армии были вместе. Люди смеялись, говорили, что мы как девушка с парнем. В одно и то же время женились. После женитьбы, оказывается, жизнь идет по-другому.

— А правда, что вам нравилась моя мама?

Танат резко нажал на тормоз. Машина, скользя, остановилась на обочине дороги.

— Кто это тебе сказал?! — спросил Танат, посмотрев на мальчика.

— Слышал.

— Донес, значит, кто-то из аульчан... — он вздохнул. — Ты уже не маленький, Аулет. Может, оно и к лучшему, если будешь знать. С твоей будущей мамой первым познакомился я. Потом... твой папа познакомился. Я почувствовал, что ему она понравилась. Знал, что и ей понравился твой папа. Остальное известно... я не встал у

них на пути. Все равно мы поженились в одно и то же время и свадьбу сыграли вместе. После окончания учебы твоя мама вернулась в аул, устроилась воспитательницей в детском саду. Здание детского садика было ветхим, из каркаса. Когда дети в обеденный перерыв уже спали, вспыхнул огонь. До сих пор никто не знает причину пожара. Пожар вмиг распространился. Курмаш, увидев, что горит садик, помчался туда. Сразу же вбежал в здание. Конечно, были и другие. Сначала не могли найти пожарных. Говорят, у них был выезд в другое место. Бывает так. Когда огонь охватил все здание, началась паника, никто не осмелился войти туда. А внутри еще находилось несколько детишек, они не могли выбраться и задыхались. Курмаш с женой побежали за оставшимися детьми. Немного погодя здание с грохотом обрушилось. Они успели последних двоих детей выбросить в окно. У мальчика не было никаких ран, а другой ребенок, девочка, попал в больницу с переломом ноги.

Танат, разволновавшись, замолчал.

Оба долгое время не проронили ни слова.

— Кстати, та девочка живет в том городе, где ты учишься, — сказал Танат. — Если не изменяет память, она того же года, что и ты. То есть сейчас учится в пятом классе. Фамилия... фамилия Серикбаева. Да, Серикбаева. Ее отец был у нас механиком. Позднее они переехали в город.

Аулет пристально, не отрывая взгляда, смотрел на Таната. Почувствовав себя неловко от такого взгляда, Танат отвел глаза.

— То есть... Вы меня... любите потому, что любили мою маму.

Танат резко повернулся к нему и посмотрел. И вдруг ударил его по щеке.

Аулет не заплакал. Он так и сидел, не отрывая от него глаз. Не зная, что делать дальше, Танат тоже замер.

Мальчик открыл дверь кабины и потихоньку стал выходить.

— До свидания! — попрощался он, выходя.

Танат сильно ухватил его за полу:

ДУЛАТ ИСАБЕКОВ

— Нет! Поедешь со мной! — потом, склонив голову на баранку, прошептал, — прости, Аулет!

Мальчик посмотрел на него и сказал:

— Хорошо, поехали.

Машина тронулась с места.

* * *

Аулет прошел вдоль длинного-предлинного коридора школы и остановился перед дверью с табличкой «5 А».

Зазвенел звонок. Дверь пятого «А» открылась, и вышел учитель. За ним следом повалили дети.

Аулет внимательно присматривался к каждому. К окну подошли девочки и горячо стали что-то обсуждать. Аулет приблизился к ним. Девочки настороженно посмотрели на незнакомца.

— Скажите... у вас... учится девочка по фамилии Серикбаева?

— Да. Учится. Она отличница! — бойко ответила одна из них.

— Не могли ли бы вы позвать ее?

— Конечно, — девочка бегом подбежала к двери и крикнула. — Дана! Тебя тут спрашивают.

Чуть погодя из класса вышла Дана с белыми, словно крылья бабочки, бантиками. Улыбка и сомнение чередовались на ее лице. Аулет, увидев ее, не знал, что и сказать.

— Это вы меня искали? — спросила она строго.

— Да, я.

— Я не знаю вас...

— И я...

Девочки, стоявшие рядом, разразились смехом. Аулет еще больше смешался.

— Ваш папа раньше в нашем ауле работал механиком, так ведь? — спросил он сдержанно.

— Да, — ответила девочка, удивленно посмотрев на него.

— Мой папа работал шофером. А мама... была воспитательницей в детском саду.

С лица Даны исчезла ироническая, горделивая улыбка, она во все глаза посмотрела на него.

— Ты — Аулет? — спросила она нетерпеливо.

— Это я...

— Ау-ле-т! — девочка, не сдержавшись, всплеснула руками, обняла его за шею, но, тут же отпрянув, прикрыла лицо ладонями и побежала в класс. Ребята и девочки, ничего не поняв, кинулись вслед за ней. Дана, уронив голову на парту, плакала.

К Аулету примчались двое мальчиков, двое «защитников».

— Зачем обидел девочку? — петушась, спросил наиболее бойкий и задиристый.

Аулет не ответил.

— Отвечай, говорю! — он схватил Аулета за воротник.

— Ты все равно не поймешь, — ответил тот спокойно.

— Че-во?! Смотри-ка, какой умный! Маратик, ну-ка проучи его, а то я не хочу руки марать.

Марат ударил Аулета в подбородок. Аулет не дрогнул. Когда тот собирался еще раз ударить, откинул его кулак, свернул ему за спину руки, да так, что тот рухнул вниз лицом. При этом Аулет не терял присутствия духа.

— Ты что, самбист? — спросил забияка испуганно. Спокойные действия Аулета вмиг остудили его горячность.

— Тебе не должно быть дела до этого. Быстро убирайтесь оба! Ну! — когда те двое уже собирались бежать, Аулет громко остановил их. — Эй! Не туда, подойдите к Дане.

Мальчишки побежали в комнату, где плакала Дана.

Аулет не знал, что делать, когда из дальнего угла пустого коридора вышел учитель и позвал его:

— Эй, мальчик. Подойди сюда!

* * *

Они сидели в кабине грузовой машины, что стояла перед школой-интернатом.

— Значит, говоришь, стал джигитом, — выговаривал Танат. — Драка — не признак взросления. Как нашел девочку?

— В городе не так много школ, — Аулет ответил степенно, словно взрослый. — К тому же это была не драка. Я защищался...

— Я чувствую себя... ответственным за твою судьбу. Но у меня ничего не получается. Ты уж прости меня... Ты ведь все понимаешь.

— Я в прошлое воскресенье был дома у Даны. Родители, оказывается, очень хорошие люди. Летом они решили взять меня с собой в Анталию.

— Вот как, — тихо произнес Танат, посмотрев на Аулета. В его голосе скорее прозвучала ревность, нежели вопрос. — А я... в Дом отдыха, поблизости. — Он чуть разжал губы в улыбке: — Конечно, Анталия лучше.

Оба с минуту молчали.

— Дядя Танат, — обратился к нему Аулет немного погодя. — Скажите, вы... Вы любите свою жену?

Танат резко глянул на него, как и в тот раз.

— Аулет, — сказал он спокойным голосом. — Прошу тебя, не задавай больше таких вопросов.

— Хорошо, — его голос тоже прозвучал тихо.

В это время к кабине подошли двое мальчишек. Их лица едва виднелись сквозь запотевшие стекла окон. Аулет открыл окно — оказалось, это были те двое задиристых пацанов.

— Ой, Аулет, здорово! — тот самый забияка, подбежав, запрыгнул на ступеньку кабины.

— Здравствуйте, — поздоровался он с Танатом. — Мы пришли сказать, — обратился он к Аулету: — В ближайшее воскресенье... день рождения Даны. Пойдем?!

— Пойдем! — обрадовался Аулет. — Вы что дарите?

— Не знаю.

— Что тут не знать, — вмешался Марат. — Моя кошка принесла пятерых котят. Каждый из нас подарит по котеночку.

Дулат ИСАБЕКОВ

— А у меня есть три лотерейных билета. В ауле в тот раз подарили, — добавил Аулет.

— Прекрасно! Три котенка, три лотерейных билета! — Марат радостно захлопал в ладоши. — Ну, мы пошли. До встречи.

Мальчишек словно ветром сдуло.

— Вместе, что ли, учитесь? — спросил Танат.

— Нет. Деремся вместе, — улыбнувшись, ответил Аулет.

* * *

В доме Алибека нет ни одной лишней вещи. В комнатах чисто и опрятно, как и принято у делового человека, крепко знающего свое дело. На кухне жена чинно пьет мясной бульон. Дверь тихонечко приоткрылась, и в комнату вошел Алибек. Он в смятении, растерян.

— Что случилось? Почему опоздал?

— Жамал, что теперь будем делать?

— На тебе лица нет. Что с тобой?

Алибек огляделся по сторонам, словно хотел убедиться, не подслушивает ли кто.

— Иди сюда!

— Никого нет, говори же.

Он еще раз посмотрел по сторонам и что-то прошептал ей на ухо. Глаза жены вышли из орбит, и она застыла. Потом поднялась с места и бросила:

— Одевайся!

— Сама одевайся. Я... не раздевался...

* * *

В доме Турсына все смотрели телевизор. Они растерялись, когда Алибек с женой неожиданно нагрянули к ним.

— Приветствую вас, дорогие гости! Проходите, — сказал Турсын, обрадовавшись. — Дети, убавьте звук. Ну, какие новости?

— Нормально, да не совсем — ответил Алибек, взглянув на жену.

— Эй, что с вами? На вас лица нет.

— У нас? Наверное, влияние весенней страды, — ответила Жамал, заставив себя через силу улыбнуться.

— Оказывается, и на работников конторы действует страда. Сафура, — окликнул хозяин жену. — Поставь вариться мясо!

Из кухни слышались громыхание посуды.

— Ой, не беспокойтесь. Мы ненадолго, — одновременно ответили Алибек с Жамал.

— Нет, так не пойдет. Маден, сбегай в магазин.

— Папа, через десять минут начнется хоккей... Пусть Серик сходит, он все равно ничего не понимает.

— У тебя совесть есть? Ты ученик пятого класса. А он во втором классе, еще мал, чтоб ходить в магазин. Беги, успеешь.

— Успеешь, — обрадовано рассмеялся маленький Серик. — Пока ты ходишь, я выключу телевизор — тогда хоккей начнется позже.

Маден дал ему щелбан по макушке и поднялся.

— Ой, мы спешим... — проговорил Алибек.

Жена нажала на ногу мужа.

— Тогда... давайте съездим на машине. Тогда успеешь, — сказал он, поняв.

— Не лучше ли тогда самим съездить? — спросил мальчик, сделав логичный ход.

— Ммм... Конечно... можно...

— Разве можно гостей посылать в магазин. Отправляйся сам! — прикрикнул отец.

* * *

Алибек, возвращаясь из магазина, остановил машину и спросил:

— Помнишь, Маден, я когда-то тебе... подарил что-то...

Мальчик почесал в затылке:

— Что-то не припомню.

— Зимой. На пиршество по случаю обряда обрезания.

Мальчик дернул плечом, мол, не знаю.

— Забыл, что ли?.. Лотерейные билеты?

— Точно! — шлепнув себя по макушке, обрадованно ответил Маден.

— Вот молодец! Ты очень умный парень! Скажи, где сейчас эти билеты?

— А... а... А я отдал их.

— Отдал?! — испарина выступила у него на лбу. Наклонился к мальчику и заговорил умоляюще: — Скажи, кому отдал?

— Дядя... Что с вами?!

— Кому отдал?

— Аулету. Подарил в тот же день.

— Как жаль... — вздохнул огорченно Алибек. Но, стараясь, чтоб мальчик ничего не заподозрил, выдавил из себя подобие улыбки.

— Дядя, вы о чем-то жалеете?

— Вовсе нет. Почему я должен жалеть. Была целая пачка билетов... Жалею, что всю пачку не отдал.

— А-а... Тогда поехали, опоздаем на хоккей. Сегодня играют Россия и Канада. Вы болельщик?

— Да. Еще какой болельщик! — громко ответил Алибек, хотя его занимали совсем другие мысли.

Маден с недоумением посмотрел на собеседника.

* * *

— Не могу понять! — сказал Турсын, разводя руками. — Зачем пришли, зачем ушли?

— Даже перекусить не остались, — удивленно добавила Сафура.

— Даже не позволил открыть водку, — продолжал Турсын, поглядев на три бутылки, стоящие на столе. — Маден, что он тебе сказал?

Маден был полностью поглощен зрелищем. Хоккейная битва была в самом разгаре.

— Маден, он у тебя что-нибудь спрашивал? — спросила Сафура, ткнув его в плечо. Сын, не отрывая глаз от телевизора, ответил:

— Да.

— Что спросил?

— Про лотерейный билет. Мама, отойди в сторонку! Давай, давай! Молодец! Гол!

— Лотерея?

Муж и жена переглянулись.

— Какая лотерея? А... а! — жена вроде о чем-то догадалась. — Это неспроста. Он же без надобности и шагу не ступит. Постой, постой... Маден, как ты ответил ему?

— Мама, не мешай.

— Нет, что ты ему сказал?

— Сказал, что лотерею отдал Аулету.

— Аулету? Правда, что ли?

— Да. Давай, давай... Эх?

Сафура подала знак и увела мужа в другую комнату.

— Ты что-нибудь понял? — спросила она у Турсына.

— Ничего.

— А я поняла.

* * *

Возле магазина стояли несколько человек, оживленно разговаривая.

— Говорят, билет не у него самого.

— Говорят, отдали племяннику, который учится в городе.

— Пожалели дать денег. Так им и надо!

— Как же теперь он вернет их?

— И всё-то им везет! Машина есть. Еще и «Мерседес» с неба свалился. А я вот в жизни ни одной копейки не выиграл. Удивительно!..

Показался Оташ, родственник Турсына, с камерой от колеса на плече.

— Эй, Оташ! Почему не обмываешь?

— Что?

— Камеру, — мужик рассмотрел камеру, погладил. — Хорошо залатали, — отметил он, причмокивая губами.

— Да. Очень хорошо залатано! — поддержал второй, не видя камеры.

— Чего же в таком случае стоим! — ответил Оташ, сразу поняв их.

— А когда будете обмывать выигранный «Мерседес»?

— Он не наш. Аулета. Лотерея была подарена ему. Он выиграл. Он получит. Но и его выигрыш можно обмыть.

— Это ты так говоришь. А что говорит человек, подаривший лотерею? Вот в чем вопрос!

— Все-таки, значит, это не брехня про выигрыш, — сказал грустный мужик. — А я никогда ни одной копейки не находил ни на дороге, ни в автобусе. Просто удивительно!.. Почему так?

— Значит, ты никогда ничего не терял. Для того чтобы найти, надо потерять, брат! Потерять!.. — Оташ вошел в магазин. Следом вошли и остальные. Грустный мужик, ничего не понимая, остался стоять с открытым ртом.

— Интересно!.. Что я должен потерять?.. А? Если у меня нечего терять!

* * *

Алибек с женой с утра сидели в кабинете воспитателя школы-интерната Мансурова. Воспитатель обрадовался, что родственники пришли навестить Аулета.

— Понимаю, понимаю, — кивал он головой. — Сейчас всё диктует время, у всех нет времени. Работы много, некогда. Спасибо, что пришли. Трудно ожидать от ребенка, не видевшего в детстве ничего хорошего, милосердия и доброты, когда он повзрослеет.

— Конечно, — ответил Алибек, улыбнувшись. — Мы Аулету не чужие. Наши отцы были братьями друг другу. Если не мы, то кто его будет искать? Только вот всё дела, дела...

— Когда были живы его родители, они больше с нами общались, чем с другими, — вмешалась в разговор Жамал. — Друг без друга мы не садились за трапезу. Бедняги, рано ушли из жизни. Оба были благородными людьми. Аулет растет похожим на отца, такой же отчаянный.

— Это правда, — сказал довольный Мансуров. — С товарищами честен, если видит несправедливость, не стерпит. Однажды, чтобы защитить девочку, даже подрался.

— Подрался?! Почему подрался?! — забеспокоились гости.

— Да, так. Не пугайтесь! — воспитатель улыбнулся. — Вскоре выяснилось, что ребята сами нарвались. Вообще, он самый дисциплинированный мальчик в своем классе.

— Да, это заметно. На каникулах он был у нас дома, — соврал Алибек, незаметно взглянув на жену. Жамал тоже поддакнула.

— Он занимался с нашими детьми, объяснял им, чего они не знали. Он ласковый: все «тетя» да «дядя». Всё время спрашивает: «Чем помочь, что сделать?» — что особенно трогательно. В вашей школе-интернате очень хорошо поставлена воспитательная работа.

— Спасибо! — ответил воспитатель, не сумев скрыть, что доволен похвалой. — Кажется, все родители довольны. Не забудьте про следующие каникулы, чтоб Аулет опять не остался в интернате один.

— О, о чем разговор! — Алибек, словно обиравшись, развел руками, откинув голову. Жена тоже вроде как обижено надула губки. — До каникул еще не раз приедем. Сейчас, слава богу, у нас все нормально. Не то, что раньше.

— Извините, иногда и учитель ошибается, — сказал Мансуров, почувствовав себя неловко. И, желая загладить свою вину, отрывисто рассмеялся.

— Верно говорите, — ответила Жамал, пытаясь продолжать разговор в том же оживленном духе. — Ошибается. В нашем ауле есть один учитель. Он ведет урок и вдруг в середине урока спрашивает: «Ребята, а это какой класс?». Мальчишки шумят и отвечают «Седьмой». «Что вы говорите! Почему до сих пор не сказали?» — заявляет он и уходит в нужный для него класс. Все ошибаются, — женщина громко рассмеялась, но, увидев директорскую натянутую улыбку и мужа, посмотревшего на нее грозно, прикусила язык.

Дулат ИСАБЕКОВ

— Мм-м. Мы можем сегодня встретиться с Аулетом? — спросил Алибек, направив разговор в другое русло.

— Конечно, конечно, — ответил Мансуров, посмотрев на часы. — Через час закончатся уроки. Пойдемте, покажу его комнату.

* * *

Оташ шел по аулу с песней и с камерой на шее. Грязь хлюпала под ногами. Песня его состояла из трех слов и одной мелодии:

Любимая, бесценная моя...

Любимая, бесценная моя...

Навстречу выскочила жена.

— Ужас! — простонала Шолпан, увидев пьяного мужа. — Эй, с какого пира ты идешь?

Муж вздрогнул, но, сдержавшись, принял степенный вид.

— Просто. Мы с друзьями, — сказал он, пытаясь не шататься, — обмывали.

— Что обмывали?

— Вот... камеру...

— Чтоб ты вместе со своей камерой утоп!

— Камера в воде не тонет.

— Утоплю! — ответила жена, рассвирепев. — Других причин, видно, не было!

— Был и другой повод. Обмывали машину Аулета.

Шолпан, посмотрев на него, сначала потеряла дар речи, а потом спросила:

— Машину сможешь вести?

— Мм... Конечно! Еще как! Где машина?

— Садись! — передумав, велела жена, когда подошли к машине, стоящей у обочины дороги. — Нет. За руль сяду сама. Ты только испортишь дело.

Шолпан села за руль и завела мотор.

— Что ты выпучил на меня глаза. Назад смотри, назад! Нет ли кого?

— Нет.

Только машина тронулась, как сзади что-то загремело и послышался отборный мат. В тот же миг на крышу упало сено, и в машине стало темно.

Немного погодя они выбрались из западни. Оказывается, сдавая назад, они перевернули запряженную арбу с сеном.

— Ах ты, подлец, пьяница! — разразилась криком жена. — Я тебе что сказала? Я же спросила тебя, нет ли сзади машины.

— Да, говорила, — ответил муж, взяв на себя вину, — но это не машина, это арба...

Шолпан, вытаращив глаза, потеряла дар речи.

Потерпевший арбакеш выбрался из-под сена и коршуном налетел на виновников аварии:

— В суд подам!

— В суд на него подай, на него! — указала Шолпан на мужа.

— Это вы дома между собой выясняйте. Но за рулем был не муж, а ты! Ты будешь отвечать, женщина!

Арбакеш развязал лошадь и сел на нее охлябью.

— Если... заплатишь штраф... могу не пойти в милицию, — сказал он, обернувшись.

— Сколько?

— Пять тысяч тенге.

— Вот тебе! — женщина показала фигу.

Арбакеш сдвинулся с места.

— Тысячу тенге, — предложила Шолпан.

— Пять тысяч, — ответил он, заупрямившись.

— Полторы тысячи тенге...

— Если разозлишь, подниму до десяти тысяч, — отрезал арбакеш.

— Эй, подойти-ка сюда, — позвал Оташ упрямца. Арбакеш приблизился. — Сюда, сюда.

Оташ увел его на другую сторону телеги, за сено. Оба вскоре вернулись. Арбакеш теперь выглядел довольным, веселым.

— Ладно, — сказал он, приблизившись к женщине. — Две тысячи.

Женщина отсчитала деньги.

А еще через пять минут машина с супругами уже неслась по асфальтовой дороге в город.

— Ничего не пойму. Что ты сказал ему. Развеселился что-то, — проговорила Шолпан.

— Надо уметь находить общий язык! — ответил самодовольно Оташ.

Женщина взглянула на него с сомнением.

— Эй, куда мы вообще едем? — спросил Оташ, чуть придя в себя.

— К Аулету.

— Зачем?

— Сиди спокойно. Потом объясню. А то вторую аварию совершишь.

Оташ, увидев, что стрелка спидометра дошла до ста сорока, прикрыл глаза. «Агуззи биллахи мина шайтен эрражим»¹ — пробурчал он, проведя ладонями по лицу.

* * *

— Сегодня ты заночуешь вместе с нами, — ласково сказала Аулету жена Алибека. — Директор разрешил. Утром покажем город. Потом отвезем в школу на машине.

— Большое спасибо, — обрадовано ответил Аулет.

— Ради тебя мы взяли самый лучший номер в самой лучшей гостинице города.

— Вы в отпуске?

— Нет. Отпросились на один день, чтоб навестить тебя, — ответила женщина и обратилась к мужу. — Алибек, сходи в буфет и купи что-нибудь нашему Аулету.

— Не надо, тетя. Мы ведь только что покушали.

— О-о, до тех пор, как ляжем спать, времени еще много. Проголодаешься. Я сейчас... — она вышла в коридор.

¹ Цитата из Корана.

Дулат ИСАБЕКОВ

- Тетя Жамал, а завтра пойдем в парк?
- Да, куда ты захочешь.
- Здесь... есть девочка, которая учится в другой школе. Ее зовут Дана. Вы, наверное, не знаете. Это та девочка, которую спасли мои папа и мама.
- Да, да... помню.
- Давайте ее тоже возьмем с собой.
- Конечно! Какой разговор! Нам для тебя ничего не жалко. Завтра же заедем и заберем девочку. Как уроки?
- Хорошо.
- Молодец. И директор тебя хвалил.
- Вошел Алибек со свертком.
- Надо же, как быстро ты вернулся. Ну-ка, что ты принес? Жареный цыпленок, икорка, сок манго, даже киви! Где это ты отрыл?
- При желании и горы можно свернуть! — Алибек хвастливо рассмеялся.
- У Аулетжана есть, оказывается, девочка, которая ему нравится... Решили завтра взять ее с собой на прогулку.
- Отлично!
- Дядя Алибек! Почему вы раньше не приезжали ко мне?
- Извини, Аулетжан, — ответил Алибек, смягчив голос, — теперь это не повторится. Ты вправе быть в обиде на нас.
- Нет. Я не обижаюсь, — по-взрослому ответил мальчик.
- Теперь будем приезжать. Не хотел бы ты этим летом поехать на Иссык-Куль?
- Правда, что ли?
- Именно так, — важно произнес Алибек, постукивая кончиками пальцев по столу. — Мы заберем тебя на Иссык-Куль с собой.
- Долгое время они сидели в молчании. Алибек включил телевизор.

* * *

В это время во дворе гостиницы остановилась помятая машина Оташа...

Алибек с женой в другой комнате коротко переговорили меж собой.

— По-моему, он ничего не выиграл, — сказала Жамал.

— Не может быть. Вот же, здесь все написано, — ответил муж и показал запись в блокноте. — Может, он не знает? Давай потихому расспросим. Сходи к нему. У женщин это лучше получается.

— Охо-о, Роза Рымбаева поет, — заметила Жамал, подойдя к Аулету.

Аулет промолчал, не отрывая взгляда от телевизора.

— Аулет... если ты... вдруг... — начала Жамал, деланно усмехаясь, — если бы ты вдруг выиграл «Мерседес», чтобы ты сделал?

— Я? — Аулет искренне, по-детски рассмеялся. — Тетя Жамал, за всю вашу доброту я бы подарил машину вам.

Жамал покачнулась, обмякла, ноги ее подкосились, и она упала на ковер.

— Дядя Алибек! Дядя Алибек! — испуганно закричал мальчик, поддерживая тетушку.

Алибек вбежал в комнату.

— У нее больное сердце. Не бойся, не бойся! Сейчас, сейчас! — растерявшись, Алибек начал успокаивать Аулета, перенося жену на кровать.

— Дядя Алибек, я вызову доктора!

— Не надо. У нас есть лекарство. Принеси-ка воды!

Алибек набрал полный рот воды и брызнул в лицо жены.

Ресницы больной вздрогнули, и она начала приходить в себя.

* * *

Оташ с женой взяли номер на первом этаже той же самой гостиницы, прямо под номером Алибека и Жамал.

— Да выбрось ты эту дрянь. Прилипла, что ли, она к шее? — проворчала Шолпан, когда они входили в номер.

— Дырка есть. Сейчас буду латать, — ответил Оташ. — Вот и клей захватил.

— Да уж, дома толком ничего не делаешь, а здесь вдруг возьмешься! Вот опоздали по твоей вине!

Они вошли в двухкомнатный люкс, такой же в точности, как у Алибека.

— Зачем ты это всё затеяла ? — проворчал муж. — Стыда не обещешься.

— Он родственник нам? Родственник. Почему должно быть стыдно! Куда они, интересно, увезли мальчика? Все из-за твоей бестолковости! Всё равно я сделаю так, что им ничего не достанется.

— Пошли, сходим в буфет. Есть хочу.

— Сиди. Сама принесу. А то опять напьешься.

Оташ снял с шеи камеру, еще раз закрутил колпачок и задвинул под койку.

* * *

В люкс, в который вселились Оташ и Шолпан, неожиданно-негаданно нагрянула другая семейная пара во главе с Турсыном.

— Добрый вечер, дорогие родственнички! — торжественно произнес Турсын. Оташ вздрогнул и поднялся с места.

— Откуда вы? — спросила Шолпан.

— Да детям хотели купить одежонку, — ответила Сафура. — А вас каким ветром сюда занесло?

— Приехали отремонтировать машину. Вчера ночью кто-то задел крыло.

— Прямо на том месте, где стояла машина? — удивился Турсын.

— Где стояла, там и врезались, — сказала Шолпан.

— Что за люди пошли! — вздохнула жена Турсына.

— Скажи честно, — обратилась вдруг Шолпан к жене Турсына. — Вы в город приехали только для того, чтобы купить детям одежду?

Та взглянула на нее пристально.

— Да, — ответила Сафура, не желая говорить правду. Но по глазам и всему облику видно было, что лжет.

— А не сходить ли и нам, подружка дорогая, в буфет? Не закупить ли нам продуктов на нашу дружную компанию? — предложила Са-

фура. — А то мы как-то позабыли, что не дома, а поужинать не мешало бы. Да и о мужьях надо позаботиться.

— Предложение принимается, — согласилась Шолпан. — Только давай запрем на замок наших джигитов, не то их на подвиги потянет.

Женщины тихо покинули номер и, звякнув ключами, закрыли за собой дверь.

— Алибек с женой тоже, оказывается, здесь, — сообщила жена Оташа. — Они забрали Аулета. Корыстолюбивые пройдохи! Какие же они хитрюги!

— Знаю, — ответила Сафура.

— Что?

— Что Алибек забрал Аулета. И зачем вы приехали, тоже знаю.

— Если сказать по правде, — сказала Шолпан, — по степени родства нет никого ближе нас для Аулета.

— Да, — насмешливо ответила Сафура, — каждые каникулы он приезжал и жил у вас! Вы истоптали все пороги интерната, навещая его!

— А вы?

— В последний раз на каникулах он жил у нас. А через ваш порог даже и не переступал. Теперь вот представляетесь самыми близкими. Не стыдно вам? Это мы устроили его в интернат, мы собирали документы, мы его отвозили и оформляли.

— А мы собирались взять его к себе в дом. С нынешнего сентября он будет жить у нас!

— А почему в прошлом году в сентябре не взяли его к себе?

— Не было времени.

— Все понятно, — сказала Сафура после паузы. — Пока мы тут с тобой спорим, жена Алибека уже, наверное, усыновила мальчика. И как они узнали раньше всех!

— Они плуты еще те. Во дворе даже их машины не видно. Наверное, оставили там, где никто не заметит. Такие на всё способны.

— Итак, цели определились, — сказала Сафура. — Теперь надо обойти Жамал, надо перейти ей дорогу.

— Правильно! Так мы и сделаем!

Они подошли к номеру гостиницы, где оставили своих мужей. Жена Оташа дала поддержать Сафуре еду, завернутую в бумагу, и ключом открыла дверь.

— Дави. Дави сильнее! — раздался голос Оташа из дальней комнаты, когда они вошли.

Обе женщины застыли, не веря глазам своим: Турсын и Оташ были пьяны, оба, покачиваясь, еле стояли на ногах.

Жена Оташа посмотрела вокруг, желая убедиться, нет ли другого выхода. Подошла к окну, посмотрела вниз. Третий этаж! С балкона не выбрались бы.

— Эй, где вы взяли спиртное? — спросила Шолпан.

— А кто сказал, что мы пили? — попробовал возмутиться Оташ.

— Да не пили мы! — поддакнул Турсын.

Шолпан вошла в другую комнату и вынесла оттуда болтающуюся камеру и стакан.

— Вот твой секрет! — сказала она злобно. — То-то, думаю, почему он эту гадость с шеи не снимает! «Заклею, заклею». А я, дурочка, поверила! Сафура, принеси-ка стаканы!

Сафура поставила стаканы на стол. Жена Оташа, выдавила из камеры два полных стакана водки.

— Надо уметь находить общий язык! То-то я думаю, как он так научился находить общий язык со всеми. Ну, вот, теперь ищи общий язык.

Она выплеснула оба стакана водки за окно.

* * *

Утро выдалось на славу! Слабое солнце ранней весны еле выглядывает из-за ветвей деревьев.

Алибек с женой, Аулет и Дана успели совершить на машине круг почета по городу. Повернув на главную улицу, машина остановилась перед магазином «Детская одежда».

Танат перед калиткой менял заднее колесо своей машины. Двенадцатилетний сынишка помогал отцу. К Танату подошла жена. Положила ему руку на плечо.

— Ты чего? — спросил Танат.

— Просто, — ответила Айнур, улыбнувшись. — Ты перестал ездить к мальчику в интернат.

Танат взглянул на нее удивленно:

— Сон тебе какой приснился, что ли?

— Вчера... я съездила в аул, где живут родственники Аулета. Заходила и к своим сверстницам.

— Ну, и как там?

— Плохо. Думаю Аулет в опасности.

Танат резко обернулся к Айнур:

— Почему?

— Он еще совсем ребенок. Он не знает цены вещам.

— Ты бредишь?

— Нет. Аулет выиграл по лотерейному билету «Мерседес».

— Во дае-ет? Правда, что ли? — спросил сынишка, вытаращив глаза.

— Да, — ответила Айнур, будто и вправду беспокоилась за мальчика. — По-моему, надо как можно быстрее к нему поехать и уберечь от беды. Или же привезти его к нам. Так будет безопаснее.

— Возможно, — ответил Танат, и вправду забеспокоившись. — И родственники не ищут его. Надо же, именно сегодня у меня нет времени!

— Молодец Аулет, — сказал мальчик радостно. — Теперь-то я уж точно прокачусь в «Мерсе»! Эх, прокачусь!

Танат посмотрел на сына неодобрительно. Мальчик сразу же стер улыбку с лица.

— Нельзя сидеть сложа руки, надо выкроить время и съездить, — настаивала жена. — Он еще ребенок, может попасться в чьи-нибудь сети...

Дулат ИСАБЕКОВ

Танат недоверчиво посмотрел на жену. Но в ее облике, в ее словах ему почудилась истинная озабоченность.

* * *

— У Аулета, оказывается, много родственников! — сказал воспитатель Мансуров, с улыбкой оглядывая две супружеские пары. — А мы думали, что у мальчика нет никого... Человек, оказывается, ошибается.

— Конечно, ошибается, — ответила Шолпан.

— Скажите-ка, а не день ли рождения у Аулета? — воскликнул воспитатель, не скрывая своего удивления. — Все вы со вчерашнего дня словно сговорились.

— Скоро начнутся весенние полевые работы. Вот и надумали приехать перед этим, — поспешила ответить Сафура.

— А какими родственниками вы приходитесь Аулету?

— Я старший брат отца Аулета, — ответил Турсын.

— Мы самые близкие родственники, — добавила Сафура.

— А Оташ — родственник по линии матери. Рядом — Шолпан, жена этого человека, — пояснил Турсын.

— Приятно познакомиться, — сказал воспитатель Мансуров и спросил: — А вчерашние люди, кто они?

— Они просто родственники. Не ближе нас, — ответила Шолпан.

— Насколько мне известно, — сказал воспитатель, — вчерашние посетители забрали Аулета в гостиницу. Но сегодня обязательно приведут его в школу. Если желаете, можете встретиться со своим племянником на большой перемене.

— Нет, мы хотели один день провести вместе, — сказала жена Оташа.

— Ничто не мешает и этому, завтра выходной. Но все равно надо увидаться уже сегодня и обо всем договориться.

Попрощавшись, посетители вышли из кабинета. Оташ остановился около двери и обратился к жене:

— Я не могу больше, поехали домой. Приедем потом и во всем разберемся.

— Поддерживаю деловое предложение, — сказал Турсын.

— Понятно, что вам не терпится выпить! — птицей вскинулась жена Оташа. — Вы все о ресторане думаете! Потерпите.

Женщины чуть приотстали.

— Воспитатель ничего не знает, — сказала Сафура. — Если и впрямь выигран «Меседес» — давно бы уже весь интернат шумел.

— Верно, — пробормотала жена Оташа. — А может быть, он потерял билет?

— Билет дал Алибек. Этот пройдоха всё держит под контролем.

— Если билет дал Алибек... Значит, он претендует на подаренную им самим лотерею?

— О чем и речь! Люди забыли, что такое здравый смысл. Алибек подарил этот билет сначала нашему сыну. Значит, эта лотерея должна быть нашей? По закону!

Шолпан косо посмотрела на Сафуру и возразила.

— Но твой сын подарил билет Аулету. А Аулет — по материнской линии считается ближе, чем двоюродный брат по линии отцовской.

— Откуда взялся такой закон?

— Испокон веков. Так было, и так есть! — твердо сказала Шолпан.

— Нашлась законница! Я думала всё поделить поровну, а у тебя, оказывается, нечистые помыслы, — обиженно произнесла Сафура.

— Нечистые у тебя! Почему ты собралась делить? Если кто и поделится, то это буду я.

Переругиваясь, они вышли на улицу. Турсына и Оташа не было видно.

— Эта парочка опять исчезла, — всплеснула руками Шолпан.

— Пропади они пропадом, — ругнулась Сафура.

— Какой ты все-таки равнодушный человек. Ты даже своего мужа не жалеешь! — съязвила подруга.

Дулат Исабеков

* * *

Алибек с Жамал и детьми обедали в ресторане парка.

— Костюмчик хорошо сидит, — отметила Жамал, посмотрев на новенькую одежду Аулета. — Дана тебе нравится?

— Очень нравится, — девочка кивнула головой.

— Аулет, какие еще у тебя новости? — спросил Алибек, пытаясь выудить что-нибудь.

— Собираемся на экскурсию на Казыкурт.

Вновь все принялись за еду. Алибек направил разговор в другое русло:

— В нашем ауле один ученик выиграл по лотерее мопед.

Дети молчали. Они не обратили внимания на это. Алибек с женой, посмотрев друг на друга, пожали плечами.

— Мне пора домой, — заторопилась Дана. — Мама отпустила меня всего на два часа!

— Хорошо, — сказал Алибек, расплачиваясь с официантом. — Едем!

* * *

Дану отвезли. Аулет проводил ее до дверей квартиры.

В машине остались Алибек с женой и Аулет. После продолжительного молчания Алибек потихоньку начал:

— Аулет, помнишь про лотерейные билеты?

— Лотерейные билеты?.. — Аулет глянул вопросительно.

— Да-да, билеты, — вступила в беседу Жамал. — Помнишь, как Маден подарил тебе лотерейные билеты?

— А-а, да-да! — сказал Аулет, засмеявшись, — действительно, было дело.

— Молодец, что вспомнил! — обрадовался Алибек. — А где эти билеты?

Аулет задумался над ответом.

— Неужели потерял? — испугалась Жамал.

— Нет. Не потерял...

— Ой, умница. Конечно же, Аулет не мог потерять такую вещь, — сказала Жамал, ласково похлопав его по плечу.

— Почему вы спрашиваете об этом?

— Знаешь, — сказал Алибек, перейдя на степенный тон. — Я допустил большую ошибку. Те билеты принадлежали фирме. Выпив однажды лишнего, я подарил их Мадену. А он, оказывается, отдал тебе.

Аулет не проронил ни слова.

— Если хочешь, я дам тебе сотню таких билетов, — предложил Алибек.

— А вы отдайте их фирме, и дело с концом?

— Нельзя, Аулет. Там записаны номера.

— Да, нельзя, — вздохнула Жамал. — Дядю твоего собираются судить.

— Судить?! — Аулет испугался.

Воспользовавшись этим, Жамал сгустила краски:

— Да, судить. А то зачем бы вообще заводить речь про эти три злополучных билета.

— Я их... Я подарил их Дане. На день рождения, — тихо проговорил Аулет.

— Дане?! — переспросила Жамал: — Поехали, — велела она, ткнув Алибека в плечо.

— Тетя Жамал. Я не могу забрать обратно то, что подарил.

Подъехали Турсын и Оташ на своих машинах. Алибек с женой глянули на родственников уничтожающими взглядами, готовые испепелить конкурентов!

Турсын выбрался из машины и подошел к машине Алибека.

— А мы уже отчаялись в своих поисках, — сказал Турсын.

— Где мы только не искали вас, — поддакнула Шолпан. — Куда сбежали? Да еще и Аулета с собой прихватили.

Алибек с женой вышли из машины.

— Что это вы ходите толпой? — спросила Жамал, оглядывая подъехавшую родню.

- А вы зачем и как здесь оказались? — спросила Сафура.
- Мы приехали навестить Аулета, и вот — гуляем.
- И всего лишь? Не хитри, дорогуша! — выпалила Шолпан.
- Если не верите, спросите у него самого, — ответил Алибек.
- Да что с вами! При ребенке затеяли тяжбу? — сказал Оташ. — Хотя бы отошли подальше. Нет, в самом деле, надо отсюда побыстрее сматываться.
- Давайте честно признаемся в том, что весь сыр-бор разгорелся из-за лотерейных билетов. Но эти билеты Аулету подарили мы! — сообщила Шолпан.
- Билеты изначально принадлежали нам! — отпарировала Сафура. — Как можно это отрицать? Где совесть?
- Аулет ближе к нам по роду и племени, — ответила Шолпан, жена Оташа. — Закон на нашей стороне.
- Ничего ты не получишь! — зло заявила Жамал. — Скажи-ка прежде всего: Аулет вообще видел твой дом?
- Эй, родичи, — воскликнул Оташ. — Что с вами? Вас стыд не заедает?
- Если тебе стыдно, то закрой глаза и заткни уши и стой спокойно! — отрезала Шолпан. — Если им не стыдно, почему должно быть стыдно нам?
- Турсын, скажи что-нибудь, — Оташ поглядел на него. Турсын постоял и нерешительно произнес:
- Я бы поддержал Оташа.
- В это время, добродушно улыбаясь, подошел Аулет.
- Дядя Турсын, здравствуйте, — поздоровался он простодушно.
- О, Аулет, как ты? — воскликнул тот, поздоровавшись с ним. — Ну-ка, дай я тебя поцелую.
- Я смотрю — все кому не лень, забирают ребенка из интерната, а мы чужие, что ли? — возмутилась Шолпан. — Сегодня побудешь с нами, Аулет.
- Я должен пойти на уроки, — ответил Аулет, удивленно и вместе с тем с сомнением глядя на собравшихся гурьбой родственников.

Алибек с женой переглянулись и незаметно удалились.

— Ничего страшного, если один день пропустишь уроки, не каждый день приезжают родственники. Завтра выходной, — пожурела ласково Сафура.

— Скажите, пожалуйста, вы для чего все съехались в один и тот же день? — спросил испуганно Аулет.

— Весной самая страда. Всем будет некогда. А сейчас ничто не мешает, — ответил Турсын.

Мальчик внезапно повернулся в сторону дороги и громко закричал:

— Дядя Турсын! Дядя Турсын! Куда они поехали?! Остановите их! Остановите! — Аулет пустился бежать в сторону, куда скрылись Алибек с женой.

Турсын и Оташ догнали мальчика:

— Аулет! Что с тобой?!

— Дядя Аулет и тетя Жамал поехали к Дане. Я рассказал им о том, что подарил билеты ей! На день рождения!

Женщины онемели от удивления.

— Аулет! Успокойся! Сейчас мы их догоним! — пообещал Турсын.

Они расселись в две машины и пустились вдогонку за Алибеком. В первой машине Турсын, его жена и Аулет. Мальчик был расстроен до слез.

— Настоящие аферисты, — заключила Сафура. — Аулет, ты же знаешь дом Даны?

— Конечно! Быстрее. Дядя Турсын! Быстрее!

* * *

Обе машины одна за другой с визгом притормозили перед воротами частного дома. Аулет, выйдя из машины, сразу вбежал в дом.

Алибек с женой уже разговаривали с матерью Даны.

— Тысяча извинений с нашей стороны! — говорила Жамал. — Нам очень неловко и стыдно, но мы просим вернуть эти билеты.

Все находившиеся в комнате всполошились, увидев Аулета.

— Где Дана? — спросил он. Глаза у него были влажными от слез.

— Аулет! Ты... что с тобой? — спросила мама Даны.

Из другой комнаты вышла, улыбаясь, Дана с красивыми бантами. Она удивленно остановилась, увидев Алибека с женой и расстроенного Аулета, с которыми только что вместе обедала.

В открытые двери вошли родственники Аулета во главе с Турсыном. Это насторожило Дану и ее мать.

— Аулет, что с тобой? — спросила девочка.

— Дана, я тебе всё потом объясню, а сейчас верни мне, пожалуйста, лотерейные билеты, которые я тебе подарил!

— Которые подарил на день рождения?

— Да, да! — проговорил Аулет.

Девочка удивленно посмотрела на Аулета. Вдруг разрыдавшись, вытащила из сумки книги и стала их перелистывать. Затаив дыхание, вся нагрянувшая компания жадно следила за ее действиями.

— Вот! Забирай! — проговорила Дана, наконец найдя билеты. Она бросила билеты Аулету и, плача, кинулась в свою комнату.

— Ужас, какой позор! — тихо прошептала неприятно пораженная мама Даны.

Аулет, взяв билеты, разорвал их на части и бросил в сторону Алибека и Жамал. И, присев, разрыдался.

Алибек дрожащими руками собрал разбросанные клочки и быстро сунул их в карман.

— Уйдите, уйдите! — с обидой в голосе закричал Аулет.

Алибек с женой хотели вновь ускользнуть, но Турсын с Оташем преградили им дорогу.

— Родичи! — произнесла мама Даны, посмотрев на них сурово. — Наверное, вы подумали, что билет выиграл. Ничего подобного! Дана не выбрасывала их только потому, что это подарок от чистого сердца.

Непрошенные гости остановились как вкопанные.

У Алибека лицо начало подергиваться, дрожащие пальцы он засунул в карман плаща. Жамал, вытаращив глаза, уставилась на мужа.

Дулат ИСАБЕКОВ

— Вот, убедитесь, если не верите! — сказала хозяйка дома, вытащив из выдвижного ящика стола газету.

Алибек с женой сличили номера порванных билетов с номерами в газете. Любопытствуя, остальные тоже подались вперед.

Алибек снова и снова сверял эти три билета. Немного погодя, заглянув в свой блокнот, медленно поднял голову. На лбу у него выступили крупные капельки пота.

— Номера сходятся, а серия... серия другая, — пролепетал он.

Из глаз Жамал закапали слезы.

Оташ подошел к Аулету.

— Аулет, вставай, — сказал он, похлопав мальчика по спине.

Аулет резко стряхнул его руку:

— Уходите! Уходите! Никто, никто мне не нужен! — он поднял голову и гневно посмотрел на них. — Дядя Турсын, уходите все!.. Все!

Он заплакал, вздрагивая.

На глаза Сафуры и Шолпан тоже набежали слезы.

* * *

В кабинете директора интерната в кресле сидел воспитатель Мансуров. Директор, заложив руки за спину, прохаживался по кабинету.

— Да, так оно и было, — говорил Мансуров. — В жизни бы не поверил, если бы не беседовал с каждым из этих аульчан. Какой позор!

— Они приходили извиняться? — спросил директор.

— Приходили. А что толку-то. Дети, которых они воспитывают, завтра станут взрослыми. Какие они будут?

— Согласен с тобой, — произнёс директор. — Семья прививает добро и находит вакцину от зла, а школа направляет ребят в нужное русло.

— Мы не отказываемся от воспитания, — добавил Мансуров. — Но оно должно действовать везде: и дома, и на улице, на вокзале, в самолете, вагоне, везде... Каждый взрослый человек — воспитатель.

— Как там Аулет? — спросил директор.

— Еще не вставал с постели.

— Не беспокойте его. Пусть отлежится, пусть успокоится. Такое и взрослому трудно перенести.

— Двое родственников, что пришли позднее, вроде бы понятливее, — сказал Мансуров.

— Посмотрим, — произнес директор, давая понять, что беседа окончена.

Аулет сидел один на скамейке, что стояла посреди двора. Слезы высохли, но печаль не отпускала его. Горькое событие, с которым он лицом к лицу столкнулся впервые в жизни, похоже, выбило его из колеи.

Из грузовой машины, остановившейся перед воротами, вышел Танат и, сразу же заметив одиноко сидевшего мальчика, осторожно направился к нему. Негромко окликнул:

— Аулет!

Аулет не оглянулся. Танат, не поняв причину молчания, остановился, замешкался.

— Аулет, — сказал он несмело. — Ты меня не узнал?

— Вижу, — ответил холодно Аулет. — Зачем пришли?

— Как это зачем? Аулет, ты не заболел случайно?

— Я спрашиваю, зачем приехали?

Танат, чуть выпрямив наклоненный к мальчику стан, посмотрел на него с опасением.

— Я выиграл по лотерее «Мерседес», — заявил Аулет с досадой.

— Слышал, — сказал Танат. — Значит, правда.

— Да, правда! Я жду вас, чтоб подарить его вам.

— Нет, не говори так, Аулет!

— Почему не радуетесь?

— Я обижусь на тебя.

— Ложь! — ответил мальчик, резко обернувшись. — Ложь! Все вы говорите неискренне. Притворно. Всё вы лжете!

— Ты слишком раздражен. Ничего не случилось? Или я опоздал? Извини... — Танат хотел приобнять Аулета, но тот отпрянул.

— Уйдите! Уйдите! Мне никто не нужен! Никто!

— Ауле-ет! — Танат повысил голос, приблизился к нему. Мальчик попятился назад.

— Не подходите! Не подходите ко мне!

— Из-за таких слов я не только приближусь к тебе, но и задам тебе взбучку! — Танат, ринулся к нему, хотел схватить за грудки, но мальчик, пятась назад, споткнулся об дерево и упал. Танат помог ему встать.

— Что случилось, а ну-ка, скажи! — приказал он.

Несколько мальчишек, проходивших мимо, увидев незнакомца напавшего на Аулета, свистнули. Из здания выскочило еще несколько мальчишек постарше. Они вмиг окружили Таната и, не вступая в разборки, принялись пинками отгонять его. Аулет, увидев, что мальчишки всерьез бьют Таната, хотел заступиться, но бойцов уже невозможно было остановить.

Из-за угла появился дворник с метлой. «Курят. Дерутся. Вот воспитание!» — ехидно проворчал он. В это время настежь открылась дверь кабинета директора...

— Атас! — раздался предупредительный крик.

Мальчишки вмиг исчезли.

Танат остался сидеть, держась за голову.

* * *

В углу маленького ресторана сидели Турсын и Оташ со своими женами.

— Да, с нашей стороны это была самая настоящая низость, — открыто признал Оташ.

— Мы больно ранили ребенка. Он не простит нас никогда, — добавил Турсын, вздохнув.

— Какой черт дернул меня, — вздохнула Шолпан, вытирая платочком глаза.

— Ничем, наверное, не загладится наша вина, — всплакнув, заметила Сафура.

Все вчетвером снова замолчали.

— Родичи, — начал Оташ, по-настоящему разволновавшись, — я никогда не думал, что именно с нами случится эта беда. В спокойной, без потрясений жизни мы все хорошенькие. Но при одном лишь намеке на богатство из нас выплескивается грязь и подлость, глубоко спрятанные внутри, и мы можем легко начать грызться, как чужие друг другу собаки. Если бы не этот случай, мы прожили бы всю жизнь, не почувствовав, сколько дерьма таится в нас. До самой смерти не забыть этого ни нам, ни Аулету.

— Что же теперь делать? — спросила Сафура, у нее снова навернулись на глаза слезы. — Как исцелить эту рану в его сердце? У всех у нас есть дети. Если бы они были, как Аулет, сиротами, и родственники бы поступили с ними так же... — Сафура не смогла дальше говорить и разрыдалась. Жена Оташа присоединилась к ней.

— Прекратите, стыдно перед людьми, — сказал Турсын. — Откуда им знать, почему вы плачете!

— Пусть, пусть смотрят, — ответила Шолпан, шмыгая носом.

* * *

За городом на обочине дороги остановилась машина Алибека. Рядом сидит жена.

— Всё это начал ты, — упрекнула Жамал мужа. — У тебя на лбу глаза или наросты?

— А если бы всё оказалось правдой, что бы ты сказала?

— Не знаю. Как теперь смотреть людям в глаза?

— Может быть, переедем куда-нибудь?

— И это не спасет... От этого так просто не отделаешься.

* * *

Танат с Аулетом мчались на машине. Голова Таната была забинтована.

— Таким образом, я выиграл на лотерейный билет чалму на голову, — пошутил Танат, улыбнувшись.

Дулат ИСАВЕКОВ

Аулет тоже улыбнулся, посмотрев на него.

— Болит?

— Шум в правом ухе.

— Шум в ушах стоит обязательно, если наши ребята заступаются друг за друга.

Танат, поглядев на Аулета, вновь улыбнулся.

— Мы строим большое водохранилище. Когда строительство закончится, не понадобятся ни Черное море, ни Каспийское. В нем будут разводить разные породы рыб. Вместе с нашими детьми все лето будешь ловить рыбу.

Аулет задремал. Он не расслышал продолжения рассказа Таната. Как только смежились веки — наплыло туманное сияние. Оно все больше и больше прояснялось и превратилось в белоснежные банты, похожие на крылья бабочки.

В следующее мгновение через поле алых цветов навстречу ему бежала Дана с белыми бантами. Но неизвестно, почему она бежала и плакала. Следом за ней показался радостно несущийся Актос.

2012 г.

Перевод Умит Тажкен

Оралхан Бокей

(1943–1993)



Писатель, драматург, журналист. Заочно закончил в 1968 г. Казахский государственный университет. Первый сборник его рассказов и повестей «Қамшыгер» («Мотиватор») сразу же привлек к себе внимание. Вышедшие позже «Үркер» («Звезда Уркер», 1971), «Қайдасың, қасқа құлыным?» («Где ты, мой жеребенок с отметиной во лбу?»), «Мұзтау» («Ледяной пик», 1975), «Ән салар шағылдар» («Поющие барханы», 1978), «Үркер ауып барады» («Закатилась звезда», 1981), «Біздің жақта қыс ұзақ» («Длинные зимы», 1984), «Ұйқым келмейді» («Бессонница», 1987) и другие сборники рассказов и повестей, в которых суровая и прекрасная природа Алтая и судьбы людей описывались в лирико-романтической манере, особо ярко были обрисованы их характеры, свидетельствовали о том, что творчество писателя представляло собой знаменательное явление казахской прозы.

О. Бокей написал также пьесы «Құлыным менің» («Мой жеребенок», 1974), «Текетірес» («На горной тропе», 1976), «Қар қызы» («Снегурочка», 1982), «Зымырайды поездар» («Несутся поезда», 1984), «Жау тылындағы бала» («Мальчик в тылу», 1987), «Мен сізден қорқамын» («Боюсь вас», 1987) и другие, которые были поставлены, на казахском и русском языках, в республиканском, областных театрах, а также в театрах соседних стран. По произведениям писателя «Кісікіік» («Человек-олень», 1985), «Сайтан көпір» («Чертов мост», 1986) были сняты художественные фильмы.

Произведения переведены на русский, английский, французский, немецкий, японский, арабский, китайский, словенский, болгарский, венгерский и десятков других языков.

В 1994 г. был издан однотомник его произведений, в 1996 — двухтомник, которые впоследствии переиздавались.

В 1976 г. за пьесу «Құлыным менің» («Жеребенок мой») был удостоен премии ЛКСМ Казахстана. В 1978 г. за книгу «Найзағай» («Молния») получил Всесоюзную литературную премию имени Н. Островского. За книгу повестей и рассказов «Біздің жақта қыс ұзақ» («Длинные зимы») в 1986 г. стал лауреатом Государственной премии Казахской ССР имени Абая.

Кербугу

А-аууа!

Мощный серый олень Кербугу — так в этих местах зовут вожakov оленьих стад — не пил и не ел сегодня. Ему очень хотелось пить, но стоило только коснуться губами студеной воды родника, льдистых краев его, тонких и узорчатых, словно кружево, как его бросало в дрожь, а ноги слабели так, что, казалось, вот-вот он рухнет прямо на рога.

Тогда он отступал.

Но жажда была сильнее его — она гнала, требовала, жгла его внутренности, и он трижды тихо подходил к роднику и трижды отступал. Он и сам не мог понять, как же так: он хочет пить, вот возле его ног бурлит, кипит и смеется веселый родничок, а он все не может набраться решимости и погрузить в него морду.

Нет, это правда, что он, видно, постарел и ослабел, а это уж такое горе, горше которого ничего и не придумаешь.

Однако через несколько минут он уже думал иначе: нет, нет, это еще не аул его старости, будут, будут еще у серого оленя-вожака дни веселого базара. И совсем не от старости он ослабел. Просто во время брачного гона три дня ему не пришлось сомкнуть глаз, он не давал отдыха ни ногам, ни рогам — вот и выбился из сил.

Он вспомнил, что и в прошлом году тоже был гон, но тогда он так не выбился из сил, а в позапрошлом году даже с целым стадом самок справился, ни одну из них не обошел. Так что же с ним случилось? Или ранняя осень в этом году была особенно холодна и ветрена, и он просто промерз до костей? Да, но за осенью идет шестимесячная зима, лютый дракон этих мест — не переносил ли он ее всегда, как

комариный укус? Правда, нынешняя осень была очень ранней, и солнце сейчас постоянно в тучах, тяжелых и плотных, как льдины во время паводка. Небо стало низкое, серое, с утра до ночи идут дожди. Мелкие, косые, холодные, такие, что, кажется, самую землю они заставят завывать от тоски.

А ветер воет и воет, тоже холодный, пронизывающий, и вместе с ним летят куда-то полосы дождя. Но всего печальнее слышать, как воет лес. Его голос сливается с голосом дождя, ветра, и кажется, это не вой, а песня-плач об утраченных надеждах, и Кербугу — серый олень — испустил протяжный долгий зов:

— Аааа-ууу-аааа!

Голос его уже не был таким, как прежде, но все равно в нем еще чувствовался отзвук былой мощи. Но только отзвук! А раньше эхо разносило его могучие призывы на много километров окрест, и всё, что было вокруг, — снежные горы, ущелья, затаившие в себе смерть и ужас, — подхватывало его трубный глас и повторяло стократным эхом. А сейчас его никто не слышал. Просто стоял старый олень над ручьем, взбухшим от дождей, и ревел, не то жалуясь, не то призывая кого-то на помощь. Но никто не откликнулся на его запоздалый призыв. Где же ты, бывшая быстрота? Где сила и отвага? Ведь ради них он всегда был готов пожертвовать всем. Нет ни одного момента в его жизни, при воспоминании о котором он не вздрагивал бы от восторга. И вот они улетели, и он стар, одинок, и слезы струятся из глаз.

И все-таки олень не сдается. Нет, он еще далеко не стар. Это просто молодые маралы своей егозливостью да суровая осень подточили его силы. А так он еще ничего. Так он еще вполне держится. Отступив от ручья, он крикнул еще раз, призывая свое стадо, но это был не победный крик самца, могучего Кербугу, а зов отставшего оленя. Ответа не было, и, подождав еще немного, он стал подниматься в горы. Но и горы, как назло, стали не те — выросли, что ли, — он лезет, лезет, а все нет конца уступам и перевалам. Он еле карабкается по камням. У него перехватывает дыхание, першит в горле. Его что-то

давит и не пускает. Он остановился, чтобы передохнуть... голова его была опущена. Да, пожалуй, это если не самый конец, то уже сдача, покорность судьбе. Его гордая голова поникла, грудь, некогда высоко вздымавшаяся, обессилела, и все в нем пусто, немо, как в могиле. Дикое упрямое животное, которое каждый год отдавало рога, но никогда не позволяло хотя бы погладить себя, стало тихим и кротким, а это означало высшую ступень унижения. Удар в бок, полученный им в последней схватке (это был сильный удар), снова дал о себе знать, да так, что он чуть не упал.

И подумалось ему тогда, что теперь он только во сне увидит тенец юной самки и что никогда не сможет ласково коснуться бока или спины маралихи-матери, гордо проходящей перед ним, что заблудился он в каком-то густом тумане, потонул в омуте быстрой реки и из этого омута уже более не выплыть. Всё это ему подумалось, припомнилось и пронеслось перед ним, и он поднял голову и, содрогаясь от боли и напряжения каждым мускулом, затрубил:

— Аааааа-уууууу-аааа!

Вчера рано утром, когда Кербугу, как обычно, сбил маралих в стадо и повел их в горы, олени-самцы окружили его, и вид у них был такой, что они умрут, а не отпустят с ним самок. Но недаром Кербугу столько лет был вожаком и каждый год одерживал верх в поединках. Он разогнал маралих и, раздувая ноздри, прокричал «аауууаа». И сразу стадо разделилось. Самки разбежались, а самцы, вздымая рога и взрывая копытами землю, сомкнулись и приготовились к бою. Стали друг против друга и, всхрапывая, косились на Кербугу, каждый надеялся на победу.

Молодой крепкий олень, стоявший против Кербугу, отвел глаза: он дрожал всем телом. Еще бы! Нелегкое это дело — выступать против самого вожака. Но и Кербугу чувствовал себя не лучше. Он и без того знал, что нынешний год для него будет особенно тяжелым, потому и хотел угнать стадо спозаранку. Но молодые олени заступили ему путь. Кербугу взглянул на своего противника: молоденький, с пятнадцатью мягкими отростками на рогах, а Кербугу перед ним

робеет! Что же будет, когда в конце схватки он останется один на один с самым сильнейшим? Противники постояли, поколебались, преодолевая минутную робость, и вдруг изо всех сил рванулись друг на друга.

Трах!

Начался бой!

Один мощный удар следовал за другим. Крепкие, уже начавшие ветвиться рога со свистом разрезали воздух. Казалось, искры сыплются на землю из рогов и голов. Битва шла не на жизнь, а на смерть, за право быть первым. Прекрасные, словно выточенные руками искусного мастера, головы оленей взмывают вверх и остревенело обрушиваются друг на друга. Видны лишь силуэты, потому что всё обволакивает такой густой туман, какой бывает только на Алтае. Но вот, волоча подол, туман пополз в низину, тогда становится видно, что на желто-зеленой поляне остались только Кербугу и его соперник — молодой олень Жасбугу. Остальные, потерпев поражение, словно растворились в тумане.

Поединок! Кербугу знал — таков закон мужества и силы могучего племени оленей. Но он не знал того, что этот закон существует и у разумных сыновей Адама и что они даже более кровавы и жестоки. Ведь люди не могут, как олени, отбушевав раз в году, мирно потом жить бок о бок. До Кербугу никаких сведений об этом не доходило, хотя он иногда и задумывался, почему люди держат диких животных в загонах и питают непонятную страсть к полым оленьим рогам.

Где поединок, там и справедливость! Минутное забытие прошло. Перед старым вожаком, взрывая землю, стоял Жасбугу. Взор у Кербугу затуманился, он с трудом поднял гудящую от тяжелых ударов голову и только тогда понял, что устал по-настоящему. Но Жасбугу все косился на него и все всхрапывал, огромное тело его было напряжено до предела, и он каждую секунду мог ринуться в бой. И в эти считанные секунды он вдруг увидел в Жасбугу не врага, не соперника, а себя самого в дни молодости. И от этого ясного понимания своего

конца он закрыл глаза, и в висках у него заломило. Может быть, он в этой позе упал бы, да так и остался на земле, если бы не раздался мощный, призывающий к схватке зов. Молодой олень видел, что вожак ослаб, он мог бы одним сильным ударом в бок расправиться с ним, но был по-оленьи честен. Кербугу почувствовал себя пристыженным. Собрав всю свою гордую волю — наследие диких предков, никогда не подводившее их, — поднял голову и откинул рога. Широко раскрытые влажные глаза его одновременно и уничтожали противника, и молили о пощаде: «Уступи один раз свой черед, у тебя в жизни все впереди. Уступи... Ведь следующей осени у меня, может, и не будет».

Жасбугу попятился назад и с налитыми кровью глазами приготовился к схватке. На мгновение Кербугу показалось: это не олень стоит перед ним, а жестокий бородатый старик с ножовкой, и вот сейчас он начнет пилить его драгоценные рога с восемнадцатью ветвями. И, словно морозным железом, прожгла его обида. Он задрожал от ярости. Вот он, его смертельный враг! Они стоят друг против друга, а в стороне мирно щиплют траву другие маралы, и им безразлично, кто падет, а кто станет вожаком. Кербугу всхрипнул, выбил волосатыми копытами ком земли, отступил. И вдруг молнией метнулся на врага.

Трах!

На секунду он потерял сознание, а когда очнулся, увидел, как, пошатываясь и ковыляя, уходил Жасбугу. Из глаз его брызнули слезы, и он мощно, как в молодости, затрубил:

— Ааааааа-ууууу-ааааа-ууууууууууу!

...Кербугу поднял голову, сорвал пожелтевший лист березы и впервые за утро стал жевать. Туман еще не рассеялся. Пробивая его то там, то сям, падали дождевики-сиротинки. В воздухе было очень сыро. И на земле и на небе — всюду текла вода, стоило тронуть березу, как с нее тоже сыпались капли. Чего ни коснешься, всюду слезы. В мертвом лесу ни души, похоже, что на свете остался только один несчастный Кербугу. Не слышно даже его зова. Он один, стада нет.

Да и сил у него не хватило бы для всех этих юных, этих жадных молодых маралих. Потому сразу же, почувствовав его бессилие, они бросились бежать. Это же непорядок, когда старый дряхлеющий олень разгоняет молодых самцов. Но Кербугу поддавал их рогами, и они бежали туда, куда он их направлял. И молодой олень, проигравший сегодняшнюю битву (он еле волочил ноги и вообще походил на пса, проглотившего иголку), не отставал тоже. Кербугу несколько раз оборачивался, угрожающе наклонял рога, и побитый соперник его сразу же шарахался, убегал, чтобы через минуту снова заковылять за стадом. А стоило Кербугу отвернуться, как все молодницы подсакивали к Жасбугу и начинали его обнюхивать. А тот не зевал. Кербугу, одержавший с таким трудом эту свою, вероятно, последнюю победу, понимал, что ни сил, ни желания на все дальнейшее у него нет. И все-таки, раздувая ноздри, обхаживал пахучую озорную молодницу с иссиня-черной шерстью, от которой так и разило крепкой оленьей плотью. А кости у него ломило, и все суставы как бы налились тяжелой желтой жидкостью и нестерпимо ныли. Ведь бой продолжался целый день. Где ты, его сила и ярость? Куда девались те дни, когда он сбивал в кучу десятков маралих и не забывал ни одной из них... И сейчас он тоже насккивал на молодницу, терся о нее боком, ласкался, прыгал, но в груди его словно лежал черный тяжелый камень, и он ничего не мог, ровно ничего. И замученная молодница, тоже уже лишившаяся покоя, только безмолвно и жалобно обращала прекрасные глаза свои на молодого Жасбугу, который, не рискуя подойти, все время держался поодаль. У молодницы кружилась голова, она вздрагивала всем телом и, вконец ослабев, жалобно и кротко мычала, покорно поглядывая на своего мучителя. Но — увы! — Кербугу был бессилен. Ничего, кроме желания выстоять, не оставалось в его некогда могучем теле. И тут Жасбугу не выдержал — его мучило от этой возни, от этой горделивой стариковской немощи, от того, что старик этот не в силах даже как следует тряхнуть рогами. И он, словно молодой барс, прыгнул на старика. А тот вдруг тяжело рухнул на колени подле молодницы. И тогда Жасбугу с ревом и свистом

налетел на него («Сдыхаешь, старый пес, а лезешь туда же!») и нанес такой страшный удар в бок, что от него старый вожак, десять лет не знавший поражения, упал навзничь. И жалко торчали его бессильно шевелящиеся ноги. А молодичи, увидев это, подбежали к победителю, закружились вокруг него, стали лизать его губы. И в следующее мгновение Жасбуту уже гнал все стадо через перевал. Кербугу тоже еще мог вскочить на ноги и догнать стадо. Если не молодичи, то любая другая сильная крепкая олениха-матка не отвергла бы его. Но уже все желания погасли в нем. И было непонятно, зачем он рвался в этот бой, что хотел доказать, когда отлично знал, чем все это кончится. Эх, старость, старость, почему ты не видишь себя! День, проведенный на базаре юности, обязательно принесет тебе тысячу дней муки и страдания.

Кербугу долго лежал, собираясь с силами. Поначалу, видимо в горячке, он не ощущал боли. Сейчас все нутро его ныло. Ноги не слушались его, и он едва дотащился до края леса, там, углубившись в чащу, он лег и пролежал, не шелохнувшись, до самого утра. И только когда забрезжил рассвет, медленно подошел к ручью.

Напившись, он стал подниматься на гору. Жухлый березовый лист, проглоченный недавно, очень мешал ему, похоже, он прилип к нёбу, и Кербугу никак не мог освободиться от него. В животе заурчало — перед гоном он не сорвал ни единой травинки. Бока его впали и словно слиплись изнутри. Глухо ныли ростки вновь пробивающихся рогов. Эти рога принесли ему столько боли и несчастья, что он разуверился во всем белом свете. И сейчас он решил отыскать где-нибудь густые заросли кедровника, лечь в них, свернуться и до следующего водопоя или до конца жизни — а до него и осталось не больше вороньего шага — лежать, думать и вспоминать. Но первое, что он услышал, это ликующий голос покалечившего его Жасбуту. Он донесся из-за дальних отрогов белой горы. Ему был знаком этот ликующий рев. Когда-то, раскrojив лоб старому вожаку и завладев стадом, он тоже пел эту громогласную песнь победы. Но мир переменчив, и всему на свете бывает конец.

— Аааа-ууууу-аааа!

Возможно, Жасбуту его плоть и кровь, его сын. Только у него рога не из восемнадцати ветвей, а из пятнадцати. И может быть, Кербуту последний из той редкой породы оленей, что имеют рога с восемнадцатью ответвлениями. И еще может случиться, что от этого молодого глупца, который своим «ауа» оглашает сейчас все предгорья, родится олененок с тринадцатью ветвями, а от того — с одиннадцатью, а потом с десятью и восемью... А в конце концов народится что-то совсем безрогое, комолое, и оленем назвать нельзя будет. Все возможно. И Жасбуту должен был уважить раскидистые, восемнадцатиконечные рога старика, потому что у самого никогда таких не будет. Но вот не уважил, а вступил в бой и отобрал стадо. А у бесстыжих маралих какой разум? Кто сильнее, тот их властелин, за тем они и следуют покорно. У маралих ни ума нет, ни рогов, недаром они комолые.

В свое время важенька¹ родила малыша Кербуту в густом караганнике. В полном уединении — сюда ни люди, ни звери не заходили — она дождалась, пока он встал на ноги, и только тогда привела его в стадо. С тех пор чего он только не перевидел: и доброго и худого, чему только не радовался, о чем только не печалился. Но до сих пор он не в силах забыть свое первое страдание.

Олени тогда мирно паслись на склонах холма и в ложбинах, но вдруг раздались крики и улюлюканье — из-за кустов выскочили всадники с куруками в руках. Кербуту, ошарашенный, стоял, не зная, что происходит. И вдруг он увидел, как на вороной со звездочкой на лбу лошади прямо на него мчится бородач. И не успел он даже опомниться, как на его рога набросили аркан. Он видел, как олени ринулись в низину, и рванулся вслед за ними. Но люди на быстрых конях, покрикивая и тесня со всех сторон, загнали его сначала в большую ограду, потом в другую, поменьше. И так он переходил от загона к загону, который все уменьшался и уменьшался, пока не

¹ Самка оленя.

заскочил в маленькую калитку, и она за ним тут же захлопнулась. Кто-то, тыча его длинной палкой, погнал вдоль частокола, потом заставил вскочить на деревянный помост и отгородил поперечным заслоном. Кербугу стоял и испуганно перебирал ногами. Как и для чего он оказался в этом маленьком помещении, он не понимал. Хотел спастись, а попал в ловушку. И вдруг что-то словно клещами стиснуло его виски, и резко оборвалось, ухнуло сердце, помост провалился куда-то в подземелье. Клещи давили все сильнее, небо упало на землю, лес и горы повисли вниз вершинами, человек вверх ногами, вся вселенная перевернулась в повлажневших глазах оленя. А человек, хозяин этой вселенной, ходил вокруг, держа наготове пилку-ножовку, и в его ненасытных, алчных глазах олень увидел свое отражение. Кривые зубья пилы вгрызлись в мохнатые основания рогов, и тут Кербугу показалось, что целый миллион муравьев набросился на его обнаженные мозги и пожирает их, и ох как занули тогда его ровные, белые, как жемчуг, зубы. Огромные, испуганные, молящие глаза его налились кровью и чуть не вылезли из орбит. Вот так впервые олень, гордый, вольный, носившийся с холма на холм, из низины в низину наперегонки с ветром, постиг горькое и сладкое начало жизни и вкусил ее.

Его высвободили из тисков, он выскочил прочь, прыгнул, хотел тряхнуть рогами, но комолая голова словно опустела и рассохлась, как пустой бочонок. И тогда ярость, будто лава из вулкана, забила в нем. Кербугу одним махом перепрыгнул через вороного со звездочкой коня — он стоял у коновязи — и помчался как вихрь.

Куда глаза глядят. Подальше от людей. Он бежал не переводя дыхания, не останавливаясь, и готов был так бежать, пока хватит сил, но перед ним вырос заплот — забор из нарезанных жердей. Кербугу побежал вдоль него в надежде скорее добежать до конца, но забор не кончался. И когда он, обежав все горы и низины, воротился на прежнее место, он понял, что они, олени, живут в загоне. В пространстве, окруженном кольями. Летом загон просторен, они в нем ходят к водопою, пасутся, а когда приходит зима, их сгоняют в загон потеснее.

Зимой из незамерзающего ручья они пьют воду, а едят чуть припахивающий силос. Летом же их загоняют в узкий коридор. Настоящей воли для оленей, видно, не было и не будет...

Так и лежал Кербуту под густыми зарослями самырсына¹ и вспоминал о том, как он тосковал по воле, когда у него впервые срезали рога. Сколько с тех пор прошло зим, сколько весен пролетело, столько раз он лишался рогов... Эх, за всю жизнь ни разу не было случая, чтобы он сам, как наступит срок, сбросил свои рога в восемнадцать ветвей. Да, восемнадцать ветвей — это и счастье, дарованное природой Кербуту, и горькое горе его... Недаром люди накидывались па него, словно вороны на кровь, и ставили его в станок раньше всех.

Он долго лежал, дрожа как забитый пес. Никто не пришел к нему. Куда-то исчезли даже люди, обычно в разгар сезона налетающие, как пчелы, не подошла и ни одна из тех маралих, что во время гона осаждали его и не давали прохода. А куда девались те друзья оленя, что ранней весной пускали его первым разбивать лед и послушно следовали за ним. Все ушли, все покинули старого оленя. А ведь самое страшное и горькое — это знать, что умираешь всеми забытый, одинокий и ненужный. И он опять вспомнил, что, когда он был в расцвете сил и могущества, маралы не давали даже птице задеть его крылом. Он был всегда в центре. И в дни гололеда и при любой опасности маралы не давали ему быть ни впереди, ни сзади, только в середине стада — так безопаснее! Лучшие травы, самая чистая, прозрачная вода — все предназначалось ему. И вот он, их бывший вожак, лежит униженный и обессиленный. И никто не подойдет к нему. Уныние и отчаяние снова овладели Кербуту.

Хоть бы глоток воды! Тяжелый, свинцовый туман рассеялся, и наконец сквозь деревья проглянуло солнышко. Оно словно бы ласково спрашивало Кербуту: как, мол, себя чувствуешь? В низине с грохотом неслась по камням горная речка. Только природа-мать не забыла

¹ Кедровник.

его. Кербугу поднялся из-под зарослей самырсына, подставил отяжелевший лоб лучам солнца и натужно и хрипло, даже самому страшно стало, коротко крикнул:

— Аааа-ууу-ааа!

Вместе с ним самим угасал и его голос. Он взглянул на снежные вершины невысокой горы, белевшие сквозь дымку.

В детские годы, когда он был маленьким олененком, эта вершина казалась невозможно высокой, а когда он повзрослел, она вроде бы стала ниже, а вот теперь опять высоко упирается в небеса и вновь недостижима. Эта белоснежная вершина казалась Кербугу волшебной мечтой. Он тосковал по ней, глядел на нее с надеждой и верил, что однажды его копыта коснутся ее чистой белизны. В трудные минуты жизни стоило ему только прикрыть глаза, как сквозь голубую дымку выступала всей своей громадой белая гора, его мечта — Акшоки¹ — манила его и звала трубными звуками «аууа». Он не знал, что далекие предки его раньше обитали у подножия этого хребта Акшоки. Свободные стада оленей не знали курука, выбирали самые тучные и самые зеленые луга с ароматными травами, ходили на водопой к самым чистым и вкусным родникам. Они не спеша переходили от холма к холму, от одной лощины к другой и засыпали, укутавшись в бархатные летние ночи, там, где заставляла усталость. А в иные ночи, когда с небес лила яхонтовый свет полная луна, тысячные стада, пасущиеся там и сям, казались беспечными полчищами таинственного воинства. Позже олени лишились родных мест, и их уже никак не радовали чужие травы и воды, и с тех пор оленья племя год от году стало постепенно вымирать...

Полежав и отдохнув, Кербугу встал и медленно направился к ограде. Деревянная лестница, набухшая от дождя и воды, как всегда, бледно серела вдали. Так было в прошлом году, было нынче и будет всегда... всегда... Кербугу робко протянул морду и почесался о лесенку. До ноздрей его донесся кисловатый запах мертвечины. Кербугу

¹ Букв.: Белуха.

всхрапнул и покачал головой. Потом отступил на шаг. Он еще раз взглянул на Акшоку, и опять она, словно белая чайка его мечты, белела сквозь голубую дымку. С вершины тянуло легким ветерком. Он был свежим и теплым, как парное молоко, и так же, как молоко это, вливал новые силы и бодрость. И всем тем, кто был долго тут и дышал воздухом вершин, казалось, что они слышали трубный олений глас, это мощное «аууа», древний боевой призыв силы и дерзания. Вольная, беспечная жизнь! Только здесь, около белых гор, и была она возможна. Но белые горы заграждала мертвенно-неподвижная, скверно пахнущая, состоящая из кольев, но все равно непоколебимая ограда эта. Не было бы ее, и Кербугу тут не было бы. Он давно бы умчался к белой горе, сунул бы морду в снег, жевал бы его, хрустел, пока не охладил пылающее нутро свое, свое могучее сердце, сожженное горем и жалостью к себе. Так он стоял за проклятой оградой, глядел на белую гору столь долго и пристально, что гора начала колебаться и расплываться, как марево. Кербугу набрал воздуха, чтобы испустить такой крик, такой неистовый рев, от которого бы снега поползли с вершины, а его иссохшая, словно бочка, грудь разорвалась бы на части. Это был прерывистый, надсадный и, если уж говорить честно, жалкий крик: «Аааауу-ууааауууаааа!»

Но серые слепые скалы даже не удостоили старого оленя своим ответом: как стояли, так и остались стоять, и никто не откликнулся.

А солнце пекло все сильнее и сильнее, и роса, блестящая на синих листьях, как бусинки, опадала и исчезала. Но земля была ненасытна и жадно впитывала каждую каплю.

Раньше здесь пели птицы, а сейчас никого из них тут не было, и только из далекой вышины слышался их крик:

— Прощайте, прощайте, прощайте!

Откуда-то очень далеко, из ложбины, послышался брачный крик молодого оленя, вдруг прозвучал выстрел, и он умолк.

Да, вот так все и происходит — молодые сходятся, старые уходят, слабых убивают, а жизнь все равно продолжается.

Где-то близко сел вертолет: человеку все чего-то не хватает, и вот он залез уже на небо.

Ни во что уже Кербугу не верил, ничего не ждал, во всем разочаровался.

И тут к нему пришли великое бесстрашие и решимость. Ему надо покинуть эту проклятую ограду и вырваться на свободу. Его тело было разбито и расшатано, у него ломило грудь и схватывало сердце, но он напрягся и зарядил надеждой каждый свой мускул. Этот подвиг мог быть только последним. Сейчас он освободится от всего, что тяготело над ним, — от человека, от его хватких рук, от бесстыдной молодой оленихи, от унижения перед молодыми соперниками, от старости и, наконец, от изгороди.

Глаза у него горели, изо всей силы он рванулся головой вперед — вот она, свобода! Несколько секунд стоял неподвижно, не понимая, что произошло, а потом, поняв, что ограда позади, что здесь он на вольной земле, что никто ему больше не хозяин, помчался к белой горе.

Он бежал и боялся оглянуться, он не мог видеть эту проклятую ограду! И вот она, мечта его, белая гора! Перед ней стоял какой-то столб, он обнюхал его, потерся носом, потом боком, оглянулся и, содрогаясь всем телом, вдруг затрубил:

— Ааааа-ууууу-аааааа-ууууу-аааа!

И снова в этот миг он был молодым и сильным, и не было в стаде оленя сильнее его. И, наверное, понимая это, все скалы повторили трубный звук, и долго он перекачивался по горам, потому что вся жизнь его закончилась этим «ааууаа».

Да, так оно, вероятно, и было. Он стоял, он смотрел: молодой, сильный, готовый на любой подвиг, и в это время две пули впились в его рога, в те две горящие пульсирующие точки боли, которые остались от рогов. И старый олень Кербугу, вожак, не знавший до этого поражений, рухнул на землю.

Он даже ногой не шевельнул, он был мертв, и все.

ОРАЛХАН БОКЕЙ

Непонятно, как это случилось, но выстрелили с разных сторон, и, наверное, сразу же испугались друг друга, поэтому никто не приблизился к мертвому оленю. Так он и остался лежать под белым столбиком, на ничейной поляне, могучий и не знавший поражений до этого дня вожак Кербугу.

Никто к нему не подошел, никто не взял на себя этот выстрел на вольной земле в вольного оленя. А между тем из загона, над деревянными жердями, гремел ликующий трубный глас, и все покорное стадо, все молодые самцы и самки сбегались на него.

Это торжествовал свою победу новый вожак. Жасбуту.

Перевод Юрия Домбровского

Мархабат Байгут

(род. в 1945 г.)



Первый его рассказ под названием «Күн астындағы Күнікей қыз» («Солнечная Куникей») был опубликован в районной газете в 1967 г. М. Байгут окончил филологический факультет Казахского государственного университета. В разные годы увидели свет сборники его рассказов «Шілде» («Июль»), «Ақпандағы мысықтар» («Февральские коты»), «Ауыл әңгімелері» («Рассказы аула»), «Оқу залы» («Читальный зал»), «Алмағайып» («Алмагайып»), «Бұла бұлақ» («Щедрый родник»), «Әпкемнің аулы» («В гостях у сестры»), сборники рассказов и повестей «Сырбұлақ» («Сырбулак»), «Интернаттың баласы» («Мальчик из интерната»), «Нәуірзек» («Наурызек»), «Қорғансыз жүрек» («Беззащитное сердце»), «Машаттағы махаббат» («Любовь в Машате»), «Салқын масақ» («Холодные зерна»), четырехтомник прозы, трехтомник избранных произведений.

Писатель особенно много работал в жанре рассказа. В своих интервью и литературных обзорах М. Байгут часто говорит о том, что рассказ является святым жанром. По его мнению, при небольшом объеме, рассказ требует от писателя особого мастерства — подобно тому, как в капле отражается море, по рассказу можно оценить уровень литературного мастерства автора; М. Байгут говорит о том, что литература, не уделяющая внимания жанру рассказа, не имеет перспектив. И читатели, и литературные критики высоко ценят Мархабата Байгута как прекрасного рассказчика. Рассказы писателя, вошедшие в сборник «Дауыстың түсі» («Цвет голоса»), были переведены на турецкий язык, отдельные повести и рассказы — на русский, узбекский, кыргызский, саха, каракалпакский, украинский языки.

Рамзышления Байгута, писателя и общественного деятеля, представлены в его книгах «Сағыныш саздары» («Я скучаю по тебе»), «Күнгей көңіл» («Полуденное настроение»). Его литературные эссе о творчестве мастеров казахской словесности (Такена Алимкулова, Аскара Сулейменова, Шерхана Муртазы, Насреддина Сералиева, Дулата Исабекова, Бексултана Нуржекеева, Кажигали Муханбеткалиева, Несипбека Даутаева, Нурғали Ораза

МАРХАБАТ БАЙГУТ

и других) публиковались в республиканской печати. М. Байгут также много работает как переводчик, он перевел на казахский язык произведения У. Ирвинга, Ч. Айтматова, В. Шукшина, А. Кима, Ю. Покальчука.

Рассказ писателя «Алмастың ағашы» включен в хрестоматию по литературе для учащихся начальной школы.

Мархабат Байгут — лауреат Международной литературной премии «Алаш» (1996) и Международной премии «За заслуги перед тюркским миром» (2016).

Гамбургские казахи

Зима девяносто пятого года лишь пару раз показала свой характер, напоминая обманчивые уловки женщины со скверными привычками. Куцые метели толком и разгуляться не успели, как суховатая весна дала о себе знать.

Жители аула Коктерек, расслабившись, теперь вспоминали о заготовке сена с пренебрежением. Овцы и коровы в загонах сунули было головы в неограниченные запасы сухой травы, но вскоре тоже стали высокомерно морщиться. В воздухе пахло весной, пробивающейся из земли молодой травой — и кучи сена лежали нетронутыми.

Между Коктереком и Гамбургом было ровно шесть километров и шестьсот пятьдесят метров. Это расстояние вычислил, отчеканивая цифры по-немецки, Натибек, житель первого дома аула Коктерек, когда вдоль новой асфальтовой дороги прокладывали арык.

О том, что несколько семей местных немцев уезжают из Гамбурга, Натибек слышал не от кого-нибудь, а от своей жены Патимы.

Стояли последние дни сухого, не видевшего дождя апреля. Закончив с утренними хлопотами, Натибек вместе с Патимой устроились пить чай. Неожиданно чай быстро остыл. Заподозрив, что это случилось, потому что Патима вместо кускового сахара насыпала в чашки сахар-песок, Натибек внимательно посмотрел на нее. Она сидела, немного склонившись набок, чтобы была возможность смотреть в сторону далекого аула, где проживала ее родня.

— А Немеребай и Шоберебай в Чимкенте взяли каждый по квартире, — проговорила Патима.

Пару минут назад она сообщила о немцах, уезжающих из Гамбурга, но тогда муж на ее слова не отреагировал.

— Взяли так взяли, — буркнул он, не в силах больше молчать. — Накопили денег, значит, когда один работал парторгом, другой — бухгалтером.

— Они уже торгуются с Гансом за дом в Гамбурге, — добавила Патима.

Натибек чуть не выронил синюю пиалу с изображением цветущего хлопка, в которую он только что налил чай. Он поднес ее к губам и судорожно сделал большой глоток. Чай был горячим, но он не хотел, чтобы это заметила его вражья половина. А чай-наглец двинулся дальше, все обжигая на своем пути.

Слезы брызнули из глаз.

Патима, словно разглядев родных по ту сторону Туркестана, застыла, уставившись в одну точку.

Учителя-историки из местной десятилетней школы через год после обретения Казахстаном независимости убедительно доказали, что аул Коктерек получил свое название две с половиной тысячи лет назад.

Немцев доставили сюда холодной осенью сорок первого года. Как и везде, в Казахстане их называли «переселенцами». В один из тех морозных дней ближе к полудню центральное место на станции заполнили ступенчатые и крытые повозки. В них посадили всех немцев, и пожилых, и тех, кто был с семьями, а затем по распоряжению руководителей райкома отправили в отдаленные аулы.

И по сей день люди удивляются, слушая рассказ местных казахов. Пощелкивая языком в знак восхищения, они вспоминают, что и при высадке из поезда, и при погрузке на повозки немцы, сколь много их ни было, а точнее, сколь много ни было обремененных детьми семей, все сохраняли поразительную тишину и взаимопонимание. Никто ни разу не нарушил установленного порядка. Ни звука не проронили они тогда!

Конечно, казахи, когда что-то рассказывают, чуть-чуть присочиняют, немного бахвалятся или передергивают факты. Однако одной из крытых повозок в то время владел Несипбай, покойный ныне отец еще не родившегося тогда Натибека. Этот человек был одним из тех,

кто оказался тогда на станции. Вот он и качал головой выразительнее всех и прищелкивал языком. По его словам, слышались лишь приказы начальников да слабое фыркание изможденных коней. Вокруг стояла тишина. И когда поезд остановился, и когда немцы стали выходить из вагонов, и когда их повезли в сторону аулов, тишина сопровождала обоз. Слышался только скрип да дребезжание повозок.

И ничего больше.

Переселенцев, как и повсюду, расселили по домам казахов, поделив на группы. Так как Коктерека был крупнее и жизнеспособнее, чем другие аулы, туда и немцев привезли больше, чем в другие селения. Приезжие жили в тесном общении с казахами до самого наступления весны. А в сорок втором году, добившись большого надела в Коктереке на склоне горы и во впадине на равнине, переселенцы начали обустраиваться по-своему.

В дома Коктерека похоронки сыпались прямо как снег в бурную погоду. Жители аула и в годы войны ходили, плача и причитая, и в послевоенный период никак не могли выйти из горестного, полуобморочного состояния. Поселок официально назывался «Бирлик»¹, а казахи между собой называли его «Гамбургом». С головой погружаясь в свои переживания и в работу, казахи даже не заметили, как вырос, расширился и преобразился до неузнаваемости немецкий аул.

Будем справедливы, немцы Гамбурга оказали Коктереку большую помощь. Спешное возведение домов, строительство молочных и прочих ферм с мудреным оборудованием, разведение свиней и птицы, ремонт тракторов, комбайнов и прочей техники — всецело решалось немцами. Немцы Гамбурга, да и переселенцы других мест, всегда избегали сплетен и лжи, не били себя в грудь, а пустого чванства знать не знали. Одинаково ровно, с толком и расстановкой справлялись они как с колхозным хозяйством, так и со своими домашними делами.

¹ Единство.

Коктерек тоже сильно изменился. По сравнению с другими аулами он заметно выправился и много что приобрел. Налицо было если не внутреннее, то внешнее подражание немцам. Когда несколько семей из Гамбурга переехали в Алматы, в их дома заселились другие немцы.

Только теперь Натибек узнал, что государство, называемое Германией, некоторые путают с Албанией. Но Албания совершенно другая страна. Многие люди до сих пор не понимают этого. Мгновенно прокрутив все эти обстоятельства в разгоряченном мозгу, Натибек, так и не справившись с ошпаренным языком, пробормотал:

— Это правда? Ганс Вайслер действительно переезжает? В Албанию?

— Еще какая правда! Да, твой дружок Вайслер собирается уехать. В Германию или Албанию, откуда мне это знать? — грозно сказала с прежним ожесточением его жена-язва, которую зовут Патима.

Ганс Вайслер жил не просто в низине старого Гамбурга, он жил в самой глубокой ее части. Как известно, в горно-холмистой местности участки в долинах бывают особенно живописными.

И вот как-то вечером прошлого года Натибек ехал на машине, недавно доставшейся ему от старшего сына, который по службе часто отлучался в районный центр, где успел неплохо зарекомендовать себя, ехал-ехал и повернул к дому Ганса, чтобы поздороваться. Ганс, по наблюдению Натибека, будучи не красивым, отличался крепким телосложением, косой саженью в плечах и имел сильные руки-ноги. Он вместе с радостно улыбающейся женой Хильдой, стройной, как тополе, приветливо встретил гостей. Еще бы не радоваться! В давнюю суровую осень сорок первого года среди тех, кого привез в крытой арбе аксакал Несипбай, находились отец и мать Хильды. Они в ту памятную зиму перезимовали в его доме.

А много позже, ближе к сегодняшним дням, ныне покойный Несипбай и родители Хильды чуть не стали сватами. Да и Натибек не прочь был заключить брак. Но длинноватый, несколько заостренный нос Хильды частенько шелушился и краснел. Только это сдержи-

вало его. И пока Ганс ходил в задумчивости, на глаза ему попала Патима, которая приехала к старшей сестре из дальнего Кыргызстана, осилив перевал Туриктау. То, что лицо и фигура нынешней жены показались ему неотразимыми, чистейшая правда. Девушка Хильда тоже не была против общения, но после одного-единственного танца на вечере она раз и навсегда выбрала Ганса. Он бросал на нее пылкие взгляды и бесконечно приглашал на танец. Как можно было перед этим устоять?

Когда Натибек со старшим сыном вошли во двор, Ганс и Хильда сидели на шикарных, как в кино, креслах около стоявшего посередине двора красивого столика, словно взятого со старинной картины. Оба встали и учтиво встретили гостей.

Натибек с сыном присоединились к чаепитию. Конечно, им предложили не только чай с сахаром. Натибека бросило в пот от нескольких чашек, а старший сын, постеснявшись, отказался от угощения. И не забыл Натибек, что он тогда подумал: «А как выглядел бы мой первенец, если бы рядом со мной оказалась не Патима, а Хильда?»

— Я только что купил новую машину, — возвестил Натибек, вволю напившись чая. — Предлагаю на нее глянуть. Гони, Хильдажан, подарок за смотрины!

— А что твоя душенька желает? Объяви во всеуслышание, а уж мы расстараемся! — парировала Хильда, вытирая руки передником. — Что выберешь, то и возьмешь.

— Мой выбор — тонкий слух, зоркий глаз и золотые руки Ганса, — сказал Натибек. — Пусть твой муж прослушает молодое сердце «Жигулей», прощупает печень, легкие... И пусть это будет вашим подарком.

— Тогда почему ты не скажешь ему об этом сам, а спрашиваешь меня? — ответила Хильда.

— Разве Ганс не в твоём подчинении? Или не ты главная в доме?

— Ой, не надо! Твой сверстник нынче тоже поет: хочу токал, хочу младшую жену!

— У нашей Патимы есть две сестренки, которые не могут выйти замуж. Давайте породнимся, станем свояками! — воскликнул Натибек.

— Предлагаешь это ради обслуживания машины или от души? — спросила Хильда.

— В наше время без расчета не обойтись.

— Это правда, что Натибек чуть не женился на тебе? — со смехом вмешался в разговор Ганс Вайслер.

— Почему только в наше время? Натекен рассчитывать начал давно, — сказала Хильда. — Рассчитав, он женился на Патеке.

— Мы, кажется, далеко зашли. Не будем злоупотреблять терпением Ганса, все, замнем для ясности, — сказал Натибек.

— Ох, хитрец, боишься, что Патеке услышит?

Все вышли на улицу, чтобы осмотреть новую машину. Ганс и Хильда искренне радовались. Натибек, растягивая удовольствие, снова и снова вдыхал запах новой легковушки.

— Стоп, по такому случаю грех не принять по сто грамм, — сказал Ганс.

Все снова зашли во дворик. На первый взгляд, там не было ничего лишнего. Натибек с сыном вновь огляделись и опять искренне удивились. И двери изящные, будто сказочные. И окна украшены золотой резьбой. Тут и баня, погружающая вас в такое удовольствие, которое и во сне не приснится. А вот кладовая. Рядом пристройка — склад, поблизости еще пристройка для чего-то, чуть в стороне хорошо оборудованный сарай для скота. Между домом и одной из пристроек вверх тянется ровно высаженный виноград, у которого даже обильная листва соблюдала порядок. Плодов на садовых деревьях пока не было видно, похоже, их тоже посадили, рассчитав ожидаемый урожай.

Люди утверждали, а личный опыт и общение подтверждали это — у немецких поселенцев сараи для скота и хозяйственные пристройки выглядели представительнее, чем свое жилище. Балагуры Коктобе говорили так: «Перед дверью немецких домов стоят коро-

вы, овцы и козы, свиньи и другая живность, а от соблюдаемой в доме чистоты невозможно отвести удивленного взгляда». Особенно повезло коровам: и вода, и измельченное сено, и комбикорм — все это в строго положенных порциях, в автоматически точно рассчитанное время через специальные приспособления разливается, рассыпается и выкладывается перед скотом.

К примеру, стоило нажать на сероватую кнопку, как тихо-мирно, без треска и шума и вообще без какого-либо звука насыпался корм в нужном количестве. Если нажать на голубую кнопку, то в продолговатую баклажку сразу наливалась исключительно чистая вода. А на розовую — в воздухе начинал витать не самый приятный запах, потому как свежий коровий помет тут же автоматически быстро и аккуратно выметался и сразу удалялся из помещения. Не удивительно, что шкура у этих коров, хоть белого, хоть черного окраса, блестела чистотой, к ним и пылинки не приставала. Овцы, козы, свиньи, утки и гуси — все выглядели как-то по-особенному. Воспитанные были, что ли? Или породистые? Словом — необычные.

Так вот, все только что сказанное у Вайслера проявлялось с особым шиком.

В тот раз Ганс с Хильдой и Натибек с сыном, полюбовавшись новой машиной и снова вернувшись во двор, распили бутылку замечательного вина. Немцы, особенно односельчане из Гамбурга, не отличались пристрастием к водке, даже вино пробовали по чуть-чуть, да и то очень редко. Могли пригубить только проверенный напиток собственного приготовления. Натибек налил себе вина и, наплевав на условности, залпом осушил фужер. Затем обвел окружающих испытующим взглядом.

— Ты чего, дружок, уставился на нас, как будто в первый раз видишь? Глаз у тебя недобрый, сплюнь, — сказала Хильда с присущей ей привычкой подмечать всякие мелочи.

— Какое имя у вашей коровы? А-а-а... как ее зовут?

— Эра.

— Говорят, что твоя Эра знает языки. Это правда?

— Еще как знает! Три раза отелилась, и три языка знает наша Эра, — ответила Хильда.

— Ой, да что ты говоришь? Хотя с тобой спорить или что-то доказывать бесполезно! — Натибек поднялся с места.

— Ты же сам спросил. Не отвечу, обидишься, — сказала Хильда. — Наша Эра ведет родословную от казахской белоголовой коровы! Поэтому хорошо понимает казахский язык. Но ее бабушку купили у русских жителей. Как ей не понимать и этот язык тоже? Верно я говорю? А с рождения она получала только немецкое воспитание. Поэтому ее сегодняшние способности вычисляй сам. Разве ты не силен в расчетах? Если не можешь, то Патекен попроси о помощи.

— Хочешь сказать — отправляйся к Патиме?

— Э, не-ет! Я никого никуда не отправляю. Если хотите, то можете заночевать здесь. Решай сам. А твоему другу я хочу сказать, что пришло время давать корм скоту.

— Нет-нет, мы уходим, — сказал Натибек. — Пока эта ведьма нас не съела, надо уносить ноги! Спасибо тебе, Гансик, друг мой!

— Идем, идем, поздоровайся с Эрой, — предложила Хильда. — Заодно посмотрим тебе в глаза. Так ли они злы, как говорят? Нас не напугаешь, достаточно сплюнуть — и сглаза как не бывало!

— Что же, посмотрим, — согласился Натибек и твердо зашагал по сверкающей бетонной дорожке, ведущей к ферме. Приблизившись, он по указанию Хильды несколько раз вытер ноги. А Ганс накинул на плечи Натибека белый халат. Только после этих процедур вошли в коровник.

Вошли. И Натибек застыл на месте, не в силах отвести от красавицы коровы прищуренных глаз.

Это была не корова, а картинка.

То есть корова с картинки.

У нее блестели бока, словно яхонтовые. Таких коров можно было увидеть только в телевизионной рекламе или на сверкающих обложках глянцевого журналов, но никак не в Коктереке.

— Эра, это наш друг, которого зовут Натибек, мы тебе о нем рассказывали, — сообщила Хильда корове. — Он живет в Коктереке. Прошу познакомиться. Ну, смелее!

Эра на полном серьезе обернулась и посмотрела, будто бы кивнув. Не ограничиваясь этим, она с довольным видом тихо промычала.

— Ты понял, это она поздоровалась по-казахски, — добавила Хильда, еще больше разжигая интерес Натибека.

Ему ничего не оставалось, как согласиться.

...Именно об этом он вспомнил сейчас, поставив пиалу на стол. Жена, управившись с делами, молча удалилась.

«Что затевает мой дружок Ганс? Почему Немеребай и Шоберебай узнали о переезде раньше нас? Почему они начали торговаться раньше меня?» — подумал он. Вначале он хотел поговорить обо всем решительно, но, во-первых, побаивался Патиму, во-вторых, она и не собиралась держать язык за зубами.

Перебрав в уме события последних дней, он понял, что совсем перестал видаться с Гансом и Хильдой. Молока на ферме почти не оставалось. Управление частным сельхозпредприятием перешло к другим людям. Бывший секретарь парткома Немеребай, так же как и бывший главный бухгалтер Шоберебай, оставили работу и стали часто выезжать в город. А бывший главный экономист Натибек пристроился к молочной-товарной ферме. Недавно появившиеся здесь новые люди не позволяли вмешиваться и во внутренние дела сельхозпредприятия, и в работу его конторы. Уж очень сильно поменялся этот мир!

И все-таки именно Натибека, Немеребая и Шоберебая считали самыми богатыми баями, которые сумели всех опередить. Они смогли подняться на вершину благополучия, отыскав более выгодный путь в сумбурной неразберихе тех лет, правильно всё рассчитав и распределив силы. Все трое. Конечно, как сказала Патима, оценивая перспективу, если двое из них уже купили новые квартиры в Чим-

кенте, то, значит, они опередили Натибека. Пускай это его не волновало, но он не собирался сидеть и смотреть, как поместье Ганса Вайслера выкупит кто-то из этих двоих. Ни в коем случае. Что ни говори, не станет Патима просто так выходить из себя, ожесточаться, какой бы конфликтной ни была она по характеру. «Гонора и гордыни в ней достаточно, как и у всей ее кыргызской родни по матери» — так бормоча про себя и охлаждая слюной обожженный язык, Натибек глубоко задумался.

До Гамбурга он добрался только ближе к вечеру. Прошло полтора дня, как Ганс вернулся из дальней поездки. Хильда приболела.

— Мы, Натибек, и вправду переезжаем, — вздохнув, сказал Ганс. — Ты же знаешь, моя дочь в Москве работает на большой должности. Все-таки она нас уговорила. Переезжаем, браток. Нам надо срочно упаковаться до конца этой недели. Хорошо, что ты пришел, поговорим немного. С завтрашнего дня и минуты покоя не будет.

Чувства Натибека закружились как вихрь.

Казалось, без Ганса жизнь в Гамбурге потеряет всякий смысл. А Хильда, неужели она уедет навсегда? Они ведь стали друг для друга ближе самых близких родственников. И вот они, надо же, уезжают?! Как же без них сладится работа на молочно-товарной ферме? Он вспомнил, сколько комбайнов оказалось не у дел, когда всего лишь одна семья немцев уехала из села.

За этим вихрем чувств, за смятением обозначился и холодный расчет, но, отодвинув его на время, он спросил:

— Скажи по правде, Ганс, не собираются ли наши немецкие односельчане в конце концов все до одного уехать отсюда?

— Неизвестно, — ответил Ганс. — Скажу тебе то, что знаю. Говорят, после нас уедут Франц и Эрих с семьями. В будущем году собираются переезжать Андрей и Давыд. Оба Цихлера согласились уехать раньше, а может быть, вместе с нами. А разные там уличные недоумки, вполне вероятно, совсем не уедут. Хочешь пересчитать тех, кто останется? Тебе это надо?

— Нет-нет, я просто так спросил. В позапрошлом году переехали всего два-три немца, а сколько комбайнов осталось стоять без дела? Да что там комбайны, такая пустота образовалась вокруг.

Ганс снова сокрушенно вздохнул.

Своевольный ветер стих, наступила вечерняя тишина. В иссушенном небе как будто виделись сомнительные вестники близкого дождя. Оба приятеля то и дело с надеждой посматривали вверх. Где-то в районе Казыкурта, а может, чуть ближе возникла серовато-сизая туча с фиолетовым оттенком.

— Мне надо быстрее продать дом и все хозяйство, — сказал Ганс.

— Что?! — вздрогнув, спросил Натибек. Он растерянно встал и снова сел, пытаясь взять себя в руки. Даже улыбнулся для приличия.

— Ко мне приезжал Немеребай, — сообщил Ганс.

Натибек снова встрепенулся.

— Шоберебай тоже заходил, — добавил Ганс.

Натибек прямо-таки всполошился. Дернулся — как рыба, попавшая в сети. Ловя ртом прохладный воздух вечернего ветерка, он часто задышал, чувствуя под лопатками то озноб, то жар.

Ганс Вайслер выложил все как на духу. Стало ясно, что он не ставит целью специально накручивать до небес цену на имущество, ссылаясь на Немеребая с Шоберебаем в придачу.

Немцы — люди организованные и дотошные. Они всегда поддерживали друг друга. Фальшиво не лебезили, ни перед кем не заискивали. Что ни говори, а его друг Ганс, искренне сочувствуя ему, как близкому человеку, раскрыв все карты, настойчиво подводил к мысли — найди средства и возьми всё это себе, стань хозяином образцового жилья и добротного хозяйства.

Лицо Хильды всегда казалось дружелюбным, но сегодня на нем угадывались следы печали. Как ни пыталась она это скрыть, но сегодня у нее ничего не получалось. Чай она подавала медленнее, чем обычно.

Принесла она вино и другие напитки. Ганс быстро разлил спиртное. Натибек не заставил себя уговаривать, быстро выпил, потом добавил еще.

— Дорогой Ганс! — сказал он, подождя, пока качественное вино, приятно пощипывая и согревая душу, растеклось по телу, щекоча мозги. — Ты меня понимаешь с полуслова, я тебя тоже. Признаюсь, я нигде не видел такого шикарного дома, как у тебя. За излишек богатства никого не упрекаю и не завидую. Никому. И ты меня понимаешь. Но я не очень приветствую, когда такие людишки, как Неме-ребай, считают себя хозяевами жизни. Уловил мою мысль? А если на твою сказку уже наложил лапу ненасытный Шоберебай, то я могу серьезно затосковать.

Ганс усмехнулся. Чувствуя себя неудобно, он слегка поскреб затылок.

— Ты понял, к чему я веду? — спросил Натибек. — Наверное, понял, раз по-казахски чешешь затылок.

— Вы же три родственника! — сказал Ганс. — А мне, видишь ли, не очень-то нравится обсуждать кого-то за его спиной.

— Этого я тоже не люблю, просто поделиться хочу своими мыслями.

— В принципе, вы все трое для меня одинаковы. Но если вы с Патимой возьмете мой дом, то я, конечно, обрадуюсь. И на новом месте тогда буду жить со спокойной душой.

— Ой, хороший ты человек! — сказал Натибек Несипбайулы Гансу Вайслеру и расцеловал в обе щеки. — Где ты, Хильдажан! Дай я тебя поцелую от чистого сердца! Вы же уезжаете, совсем скоро уезжаете...

— Летний грипп жутко заразный, — промолвила Хильда, сев несколько поодаль. — Ты не видишь — я гриппую. Иначе я бы свою симпатию к тебе не утаила. Да, в таком взволнованном состоянии я видела тебя, пожалуй, лет пятьдесят назад.

— С моей языкастой язвой лучше на эту тему не говорить и не спорить, толку не будет, — заявил Натибек. — Итак, дружище, скажи-ка окончательную цену своего дома.

— Тебе известно, что мы работаем без хитрых уловок, — сказал Ганс Вайслер, жуя зеленый лук. — Не забываем про свои интересы,

всегда вовремя платим долги. Я называю тебе свою окончательную, точно выверенную цену: семь тысяч долларов.

В затылке у Натибека что-то екнуло. Мгновенно переведя в тенге, он мысленно представил себе, сколько получилось. Для такого роскошного дома это было вроде бы не так уж и дорого.

А Ганс продолжал говорить.

— У дорогих мне казахов плохих пословиц нет. Особенно мне запомнилась эта: «С каждым воздержанием достатка больше». Жаль, времени у меня не осталось, а то можно было бы тут развернуться.

Натибек знал, что Вайслер держит слово, никогда не вступает в пустые споры. Он надолго задумался, погрузившись в молчание.

Цветы карагача уже начали сохнуть. Тем не менее от их крепкого благоухания стала кружиться голова. Он подумал о старшем сыне, затем вспомнил младшего, который имел свое малое предприятие. Мысленно представив себе родственников жены, перевел глаза в сторону Туркитау. Пришло еще одно видение, которое перенесло его за Ташкент и помахало крыльями. И Натибек сделал вывод, что разумно будет предпринять кое-какие меры, чтобы потом не раскаиваться. Пока немота не осилила, многое еще можно сделать.

Ганс, почувствовав, что нужно чем-то разрядить молчание, стал напевать песню Шамши Калдаякова «Моей матери». Натибек, сразу ожив, почти выкрикнул:

— Ганс! Хватит ли твоего терпенья на три дня и три ночи? Подождешь?!

— Подожду. Если ты и вправду намерен решить вопрос, почему не подождать? — твердо ответил Вайслер.

— Слушай, Натибек! Вы что, правда, берете наш дом? Если да, тогда, знаешь, я нашу Эру никому не продам. Я подарю ее Патиме, — сказала Хильда и покашляла в сторону.

— Всё, всё! От души благодарю вас, дорогие мои! Если через три дня не достану денег — буду сам виноват. Значит, не судьба! Если Немекен или Шобекен посулят тебе что-то сверху, а ты согласишься, то вспомни, что ты обещал мне, а слово надо держать!

Сказав это, Натибек скрылся в темноте.

Той ночью покапал небольшой дождь. Совсем немного, так что надежды на далекую тучу, видимую в безлунной ночи, не оправдались. Зато по ту сторону Туриктау, в Кыргызстане, он полил как из ведра.

Спозаранку Патима, затянув пояс потуже, отправилась за помощью к младшему брату, работавшему в Кыргызстане на руднике, что находился в ведении Таласского управления.

Старший сын, занимавший небольшую должность в районном центре, отправился к зятю, который владел заводом в городе Чиназ Сырдарьинской области независимой Республики Узбекистан.

Словом, когда миновали три дня и наступил четвертый, Натибек, собрав сумму в семь тысяч долларов, поспешил к Гансу Вайслеру.

Проводы немецких односельчан оказались трудным делом. Не было там человека, кто не расчувствовался бы, не приложил платок к глазам, вытирая слезы. И как тут диву не даваться, если вспомнить, как холодной осенью далекого сорок первого года на множество повозок, заполнивших станцию, сажали сотни и сотни немцев, среди которых было немало стариков, детей, и никто из них не издал звука! А теперь вот всего три-четыре семьи переезжают, но они совсем по-казахски плачут, шумят и обнимаются. Нелегкой оказалась разлука.

— Вот, видите, вам тоже, кажется, кое-что передалось от казахов! Видите?! — кричал Натибек и плакал навзрыд.

Патима и Хильда так обнялись, что их насилу смогли оторвать друг от друга.

После проводов по истечении трех-четырех дней Натибек и Патима вместе с кучей своих внуков перебрались из Коктерека в Гамбург. Чуть раньше Натибека в Гамбурге поселились Немеребай и Шоберебай. Как известно, Натибек приобрел дом Ганса Вайслера со всеми пристройками. Немаребай стал хозяином дома Адольфа Цихлера, который не очень уступал гансовскому, а Шоберебай вселился в дом Андрея Цихлера.

Купить корову-красавицу Эру пожелало немало и немцев, и казахов, и русских, и даже турок. Однако Хильда осталась верна своему слову. И доверила Патиме свою любимицу, свою ведерницу, чье молоко лилось рекой, а сама она блистала, как алмаз. Кажется, Эра раньше людей почувствовала, что Хильда собирается уезжать. Когда она, взмахнув ресницами, опустила глаза, из них покатились крупные слезинки. Патима, обычно замкнутая и невозмутимая, не сдержалась и заплакала в три ручья.

Переехав в Гамбург, Немеребай и Шоберебай изменились, стали не так, как прежде, а намного чаще навещать к Натибеку.

— Натибеку Вайслеру пламенный привет от большого Цихлера, — сказал Немеребай, открывая калитку дома.

— Гутен абенд, херр Нати-бек Вайслер! — воскликнул Шоберебай. — Их хабе Шоберебай Цихлер!

Патима старалась подражать своей обожаемой подруге и ровеснице Хильде. Не впуская Немекена и Шобекена вовнутрь дома, она поставила во дворе изящный столик, куда перенесла всю чайную посуду. Все три хозяина, копируя немецкую выдержку, тоже не стали соваться туда, куда не звали. И ели чинно, и пили в меру.

На первой встрече обсуждали, как нужно содержать приобретенные дома, и, как пишут в газетах и говорят по телевизору, обменялись мнениями по ряду других вопросов.

На следующую встречу Немеребай и Шоберебай примчались в возбужденном, несколько растерянном состоянии. Немекен сообщил, что три его яблони начали засыхать. А Шобекен поведал о том, что аккуратно высаженный в ряд виноград весь покрылся чем-то белесым. Да и Натибек сокрушенно вздохнул, как бы говоря этим, что и его двор потерял былую привлекательность.

— А вчера мой младший взял и испортил что-то на ферме, — с горечью сообщил Шоберебай. — Когда телевизор начинал барахлить, он обычно приводил его в «порядок» кулаком. А тут на ферме вышел из строя аппарат для нарезки сена, так он двинул по нему обухом то-

лора. Вот и превратил механизм в кучу мусора. Ох, стервец, не зря говорят, «отцовский скот не станет добром для сына». Так и тут!

— Кстати, мне вспомнился один разговор десятилетней давности, — сказал Немеребай.

— У немцев слово краткое, а дело не шаткое, как бы твой разговор не затянулся, — перебил его Шоберебай. Но Натибек поддержал:

— Говори, говори.

— Краткий у меня сказ, а вы перебиваете, — проворчал Немеребай. — Дай бог памяти, точно, десять лет назад в аул Нурлысу заехал Дулат Исабеков, который стал сегодня известным писателем Казахстана. Он же в этом ауле родился. Во время войны они поселились в Нурлысу, а после того, как Дулат родился, они, не задерживаясь, снова перебрались в Монтайтас. Словом, наш живой классик побывал в гостях у кумысодела Касымбека. Как положено, районное начальство явилось, я тоже там был на подхвате.

— О ком говоришь? — спросил Шобекен.

— О Дулате Исабекове речь. Писатель такой, драматург. Среди пишущих — один из самых известных, — пояснил Натибек. — Не знаешь, что ли?

— Еще как знаю! С журналистом Даулетом Исабекулы я хорошо знаком, — торопливо сказал Шоберебай.

— Да не-ет, Дулат Исабеков — это один человек, а Даулет Исабеков — совершенно другой! — начал пояснять Немеребай.

— Разве эти двое не одно и то же лицо?

— Ну-у, брат, ты, оказывается, книг не читаешь?! Разве можно Дулата Исабекова с кем-то спутать?

— Постой, постой! Давай не будем говорить «с кем-то». Что это еще за выражение «с кем-то»? Даулет Исабеков тоже небезызвестный деятель. Он сейчас не просто кто-то, а видный хаджи-паломник! Хаджи-и-и! Понятно?

— Понятно. Подписывается он как Даулет хаджи Исабекулы. Что еще? Характер неумный, издал несколько календарей. Вполне вероятно, что он хороший человек, и хаджи стоящий. Но речь не о нем! Мы говорим о драматурге Дула-те Исабекове!

Спор между Немекенем и Шобекеном переходил в нескончаемое словопрение. Нитибек, не выдержав, спросил:

— Немеребай, о чем ты собирався рассказать в самом начале?

— Хотел привести одно устное замечание Дулата Исабекова, сказанное им по прибытии в аул Нурлысу. Но вы же не дадите мне возможности высказаться.

— Ладно, говори.

Шобекен замолчал.

— Не будем приплетать сюда хаджи. А ты можешь хвалить своего Дулата.

— Итак, — сказал Немекен, — Дулат Исабеков в доме кумысодела Касымбека выразился так: «Немцы — особенный народ. Много лет назад в верхней части Алматы мы купили дачу у одного немца. За три последующих года мы еле-еле смогли казахизировать эту дачу». Вот и весь сказ.

Шобекен разразился оглушительным хохотом, Натибек тоже затрясся от смеха.

— За три года мы еле-еле смогли казахизировать, ух, ха-ха! — не унимался Шобекен.

— Прошу прощения, я, оказывается, действительно не знаю этого писателя. О-хо-хо, с сегодняшнего дня я становлюсь почитателем его творчества! Видите, как глубоко таится смысл в слове?!

К концу третьей недели Патима, разделив всех женщин Коктерека на три группы, трижды приглашала их в гости и угощала. Только после этого она почувствовала облегчение, будто тяжкий груз сбросила с плеч, обрела свободу и хорошее настроение. Приходившие на эти три застолья женщины, где-то по десять-пятнадцать человек за один раз, всему удивляясь, обходя дом, любуясь обстановкой, пробуя предметы на ощупь, а угощения на вкус, поглаживая и примеряясь, впадали в блаженное состояние.

При виде Эры некоторые женщины едва не падали в обморок. Немного нарушено было указание Натибека — никого не подпускать к

целиком механизированной ферме. К тому же не хватало халатов, чтобы надеть их на всех женщин. Словом, за три посещения женщины Коктерека существенно казахизировали дом и хозяйственные дворы Ганса Вайслера, а нынче Натибека Несипбайулы.

Четвертая неделя прошла спокойно, без каких-либо заметных приключений. Беда пришла на пятую неделю. Внезапно Эра заболела. Ее замучили запоры, и, как ветеринары ни бились, какие лекарства ни давали, всё было бесполезно.

Красивая корова стояла на ногах, будто проглотившая скалку. Она выглядела неухоженной, скоро ее облик стал такой же невзрачный, как у коктерекских коров. Шли пересуды: «Сглазили, однако», «Может, по прежним хозяевам сохнет?», «Уж не съела ли что-то непотребное?»

Натибек прямо заявил Патиме:

— Ты виновата!

На что жена ответила:

— Ты сам не ухаживал за ней так, как Ганс, — несмотря на решительный, взрывной характер, Патекен не выдержала, горько заголосила, как верблюжонок в горе: — Боже милостивый, не бери Эру мою, меня возьми! Не отдавай нас на посмеянье людям, не бросай на растерзание, о всемогущий Аллах!

На пятый день сразу после полудня Эра покинула белый свет. Черные ресницы ее, не двигаясь, застыли навек.

В Коктерек послали сообщение. Женщины пришли большой группой, выразили соболезнование. Патима, сев в прихожей, уперев руки в бока, скорбно раскачиваясь, начала голосить, напевая.

— Ой-ы бо-о-ой! Ой-о-ой!

А-а-ай-ай!

От тех шлепков лишь веет сильный ветер,

Беспомощнее нет меня на свете,

Голубушка, чья шерсть нежнее шелка,

Какой недобрый глаз тебя приметил?!

МАРХАБАТ БАЙГУТ

В раю ты, в Гамбурге росла вначале,
Росла привольно, не узнав печали,
Ко мне ты, Эра, перешла от Хильды,
Кто погубил глазливыми очами?
На Сайрамсу не камни, а точило,
Не молоко, сметану ты сочила!
Три языка ты знала, наша Эра,
Какая злыдня душу омрачила?!
Ойы-бо-о-ой! Ой-о-о-ой! А-а-ай...

Прибывшие из Коктерека женщины, слушая этот плач, вдруг за-
смущались. Пощипывая себе за лицо, стали перешептываться между
собой.

— Какой позор! Ведь женеше траурный плач заводит, а мы, захо-
дя в дом, не удосужились голос подать!

— Действительно!

— Какие черствые мы стали, какие немилосердные!

Услышав, какими репликами обменялись растерянные женщи-
ны, Натибек, пройдя к выходу, вдруг вскипел и сказал:

— Что за причитание ты устроила здесь, что за глупости? — и хо-
тел добавить: «Если кому-то надо умирать, то пусть умирает скот,
пусть скот все напасти заберет с собой».

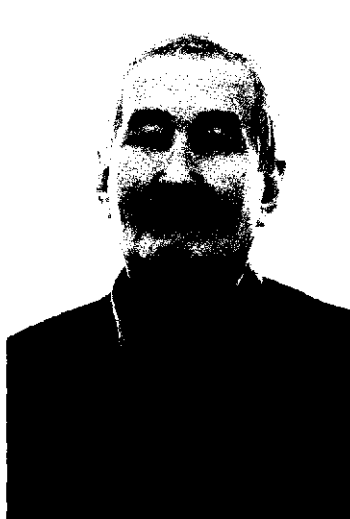
Но сказать не решился.

В последний раз переночевала на полностью механизированной
ферме корова Эра. А наутро была захоронена среди холмов и густых
зарослей кустарника.

Перевод Мурата Ергалиева

Смагул Елубай

(род. в 1947 г.)



Родился в Туркменистане. В 1961 г. переехал на историческую родину. В 1971 г. окончил факультет журналистики Казахского государственного университета. В 1974–1975 гг. обучался на Высших курсах по подготовке сценаристов в Москве. В 1976–1995 гг. работал в должности редактора на киностудии «Казахфильм». В 1992–1995 гг. был главным редактором республиканского журнала «Парасат». В 1995–2004 гг. — сотрудник казахской редакции радио «Азаттык» («Свобода»). В 2004–2008 гг. — вице-президент Казахского ПЕН-клуба. В 2008–2010 гг. — главный редактор киностудии «Казахфильм». С 2010 г. по настоящее время является профессором Национальной Академии искусств имени Т. Жүргенова.

С. Елубай — автор сборников рассказов и повестей «Ойсылқара» («Покровитель верблюдов»), «Саттар соқпағы» («Проселок Саттара»), «Білте

шамның жарығы» («Свет керосиновой лампы»), «Жарық дүние» («Светлый мир»); романов «Ақ боз үй» («Одинокая юрта»), «Мінәжат» («Молитва»), «Жалған дүние» («Бренный мир»); духовной «книги-предупреждения» «Қиямет-қайым ғасыры» («Век страшного суда») и др.

В 2016 г. роман «Ақ боз үй» («Одинокая юрта») переведен на английский язык под названием «Lonely Yurt» и издан в Нью-Йорке. В том же году под названием «Arasat Meudapı» опубликован в Анкаре на турецком языке; в 2018 г. роман вышел в свет и в Мадриде в переводе на испанский язык. Роман повествует о Голодоморе в Казахской степи в 1932–1933 гг. и о геноциде 1937 г.

В качестве кинодраматурга С. Елубай написал сценарии десяти художественных полнометражных фильмов, экранизированных в разные годы. Последний вышедший по времени фильм — «Алмас қылыш» («Алмазный меч»). Киноэпопея посвящена историческому становлению Казахского ханства в середине XV в. В 2018 г. писатель завершил работу над сценариями «Яссауи» и «Хан Касым».

Подарок для внука

Крупного телосложения, сутулый, смуглолицый, высокий старик Шонай был одет в длинный чапан¹, подпоясанный платком, как принято у почтенных старцев не только в его родном, но и в окрестных аулах. Сейчас Шонай ехал в поезде и без конца поглядывал в окно. Он явно терял терпение. А когда состав проехал станцию «Отар», оно его и вовсе оставило. Глаз не спускал с мелькающей за окном местности, нервно поглаживая аккуратно подбритую белую бороду. Вытягивал из ворота чапана худую жилистую шею, беспокойно ожидая, что вот-вот появятся предместья Алматы. Нехитрые пожитки в корзин² уже были сложены. Всё готово.

А вот его юная спутница, Аймжан, всё еще лежала на верхней полке купе и, под стук укачивающих сознание колес, продолжала читать какую-то, видимо, очень интересную книжку. Это была дочь его земляка аксакала Улмана, очень благовоспитанная девушка, учившаяся теперь в Алматы. Всю дорогу она угощала Шонаю чаем и вообще была к нему весьма почтительна и внимательна. Как и положено в традициях рода. Славную дочь вырастил Улман!

Сам Шонай родился на плато Устюрт³, но вырос и возмужал в Шоманайском и Коныратском районах Каракалпакии⁴. А ехал он отсюда в Алматы к своему сыну, которым можно было гордиться: выбился в люди. Но, честно говоря, соскучился Шонай не столько по нему,

¹ Халат.

² Переметная сума — саква, обычно вытканная и с двумя отделениями.

³ Плато на полуострове Мангышлак, на западе Казахстана.

⁴ Каракалпакская автономная республика входила в состав тогдашней Узбекской ССР.

сколько по семилетнему внуку Едиге. Вот уж настоящий постреленок! Кажется, что и сейчас он бежит рядом с поездом и машет деду рукой. Прослезиться можно. Вспоминая его милые сердцу проказы, Шонай вытер глаза и ласково подумал: «Ну и щенок¹... Батыем вырастет». А когда летом он собирался ехать в свой родной аул, то Едиге без конца донимал его «Ата², возьми!» и что-то засовывал ему в нагрудный карман. При этом надувал щеки и капризно выпячивал губки.

— Что это, пострел?

— Это мешочек! Привези мне из аула альчики!

Ай да щенок!.. С тех пор они не виделись. Но Шонай просьбу внука не забыл. И все шесть месяцев разлуки, гостя у родственников и близких друзей в Конырате, Ходжейли, Шоманае, Нукусе³, угощаясь там конакасы⁴, он каждый раз аккуратно складывал альчики в подаренный мешочек. И тот ближе к лету наполнился доверху. А сейчас он лежал на самом дне коржина и дожидался внука. Шонай представил себе, как он передаст мешочек с альчиками Едиге, и тот будет буквально на седьмом небе от радости. Ради этого стоит жить. Но почему поезд так долго и томительно тянется? Ничего, конец пути скоро. Недолго осталось. И вновь нахлынули воспоминания...

С тех пор, как Шонай переехал жить в Алматы к своему единственному сыну Токтасыну, прошло не так уж много времени. А почему это произошло? Два года назад его старуха умерла от рака пищевода, и он остался совсем один-одинешенек в опустевшем четырехкомнатном доме в Конырате. Для старика настала нелегкая пора. Как говорят в народе: «Разве хотел я дожить до девяноста пяти,

¹ В переносном смысле так уменьшительно-доброжелательно говорят о маленьком мальчике.

² Обращение внука или внучки к деду, буквально — дедушка.

³ Города и населенные пункты в Каракалпакии.

⁴ Угощение, устраиваемое в честь приезда уважаемого человека, когда режут барана.

чтобы есть буламык¹?» Но не успели пройти сороковины старухи, как сын со снохой устроили настоящий скандал по поводу того, чтобы увезти его с собой в несусветную даль — в Алматы... А как поется в песне: «край неведомый станет ли сердцу мил!» Разве мог он себе представить, что под конец жизни переедет в чужой и незнакомый город? Нет, не мог. Уперся изо всех сил, только повторял про себя, как заклинание: «Эх, Шонай, где же ты будешь скитаться на старости лет, как бросишь родные места, земляков, близких, на кого оставишь скот и добро, нажитое по крупицам с покойной Рауиш, куда денешь добротный дом?» Как только его не агитировали, не уговаривали. Оставался непреклонным, как скала. И лишь когда сын со снохой стали уводить из аула маленького Едиге, старик не выдержал. На глаза навернулись крупные слезы, он не мог сдержаться и только в эту минуту понял, что дом его опустел окончательно.

Ведь внука-сорванца они со старухой растили сызмальства. Казалось, от сердца оторвали и уносили вдаль самое дорогое. Мокрой стала его седая борода от слез. Три дня он не вставал с постели, обняв опостылевшую подушку. Уже и слез не было, одна горечь в сердце. Нет, не зря говорят: «родные края — золотая колыбель». Спасибо друзьям-сородичам, соседям по аулу, которые постоянно навещали его, ухаживали, присматривали. Кто чаем напоит, кто печку натопит, кто подметет-приберет в доме. А если где по соседству готовят угощение, то первым делом несут Шонхаю или самого в гости зовут. Эх, что ни говори, а ничего нет лучше, когда в твоём доме или вокруг тебя кипит-бурлит жизнь. Тогда и самому жить хочется...

Рауиш ушла из жизни в шестьдесят три года. С тех пор он постоянно думал о ней, да еще об Едиге, которого они берегли как зеницу ока. Шонай переживал так сильно, что совсем пал духом. Друзья-соседи, его ровесники, твердили ему:

¹ Болтушка, вид жидкой похлебки из дробленого зерна или муки; готовилась когда-то для стариков, у которых не осталось зубов, или для тех, у кого было плохое пищеварение.

— Хватит горевать, надо тебе жениться на какой-нибудь старухе, будет, по крайней мере, кому воду согреть и напоить чаем. Как ни печалься, но Рауиш уже не вернешь... А живые должны продолжать жить...

Он понимал, соглашался с ними, но едва снова оставался один, то вновь и вновь вспоминал покойную Рауиш. Ведь Шонай никогда и в мыслях не допускал, что переживет супругу и на старости лет останется один-одинешенек. Кто мог подумать, что Рауиш, на плечах которой держался весь дом с тех пор, как они поженились, так рано уйдет с этого света? А что делать? С судьбой не поспоришь.

Так продолжалось, пока его не поразил недуг. Всё чаще стало подсакивать давление. Однажды даже потерял сознание, когда встал с постели в своем холодном доме. И вот тогда только осознал, насколько же ему тяжело жить в одиночестве. А осознав, ужаснулся. А кто будет присматривать за коровой с телятком, конем, десятком овец? Они ведь ждут ухода и корма. Да и зима не за горами.

Соседи отправили телеграмму сыну. Тот, приехав из Алматы, почти силой заставил отца продать по дешевке дом, оптом всё имущество и скотину. А куда деваться? И хотя Шонай вначале заупрямился, но времени размышлять не было. Хорошо еще, что хоть покупатели нашлись. Те же соседи и близкие. А потом старик, не успев и глазом моргнуть, оказался в Алматы, у сына. В самом городе он прежде никогда не бывал, не доводилось. Квартира Токтасына находилась на пятом этаже. Спускаться и подниматься Шонаю было в тягость. Но ничего не поделаешь — привык.

Единственное утешение и радость — Едиге. С утра до вечера он разговаривал с ним. Душа оттаивала. Без устали рассказывал внуку сказки, а тому только того и надо, не уставал слушать. Весь день сын и сноха на работе, вся семья собиралась лишь к вечеру. По правде говоря, такая жизнь казалась Шонаю чуть лучше добровольного заточения в тюрьме. Вскоре всё наскучило, и он прямо изнывал от тоски. С трудом выдержал, пока не прошла зима и дождливая весна, а с наступлением погожих деньков, когда земля наконец высохла от

влаги, он, несмотря ни на что, отправился в родной аул. Случилось это в середине мая.

Вот уж радости-то было! А земляки встретили Шоная с таким шумным восторгом, словно он возвратился из ссылки. Друзья-ровесники крепко обнимали, старухи аж прослезились. И все наперебой приглашали его к себе в гости, потчевали, угощали. Так продолжалось всё лето, Шонай даже устал от этого, не смог как следует отдохнуть. Иной раз и одиночество требуется. И вот теперь — возвращается в Алматы... Поезд уже подъезжал к окраинам города. Вечерело. А нетерпение достигло высшей точки.

— Ну, наконец-то! Неужели добрались, доченька? — то и дело спрашивал он у своей спутницы.

Аймжан только деликатно смеялась в ответ, смущенно опустив долу свои прекрасные, блестящие от радости глаза. Да, Бог не обделил эту девушку красотой, щедро наградил ее своими дарами. Во время их пути немало джигитов¹ крутилось-вертелось вокруг нее, заигрывали, шутили, пытаясь понравиться. Однако никого из них она не удостоила своей чудесной улыбки. Никто не добился ее благосклонного взгляда. Шонай в глубине души был доволен своим земляком Улманом, воспитавшим такую правильную дочь.

На вокзале они сели в такси и поехали по назначению. Перед тем старик подал шоферу клочок бумажки.

— Что это, аксакал?²

— Адрес, — пояснил Шонай.

Пока старик гостил в своих родных краях, из Алматы пришла телеграмма. Дело в том, что сын и сноха еще раньше говорили ему, что хотели бы совершить квартирный обмен, переехать в какой-нибудь тихий, «спальный» район города. Вот Токтасын и написал: «Коке³, мы переехали», — и дал в телеграмме новый адрес. Она и перекочевала в руки таксисту. Поехали!

¹ Юношей, парней.

² Обращение к уважаемому и пожилому мужчине.

³ Отец.

Шонай весь сиял, чувствовал себя превосходно. Стоило ему за-видеть на улице какую-нибудь стайку мальчишек, как он вытягивал шею, провожал их взглядом, словно пытался углядеть среди них любимого сорванца Едиге. Нынче он должен был пойти в школу. Всё думал: «Про альчики ты вряд ли забыл, даже если теперь на уме одни уроки».

— Доченька, а почему бы тебе перед общежитием не заехать к нам? — любезно предложил он своей спутнице. — Чайку с дороги попьем. Ты заслужила это. Такая славная девушка!

— Рахмет¹, ата, уже темнеет, поздно, — смущенно запротестовала Аймжан.

Или же стесняется, что учится у Токтасына, он ее преподаватель. Да и сын хорош! В позапрошлом году долго мучил девушку, не поставил ей на экзамене оценку. Нет чтобы поддержать землячку, начал придирааться, а на вопросы отца ответил: «Пусть учится как следует. Поблажек не будет». Ох, и как же возмутился тогда Шонай, услышав о таком безобразии, в сердцах сказал сыну: «Да она ведь учится заочно, всего-то раз в год приезжает в Алматы, к тому же девушка, откуда у нее взяться знаниям?»

А сообщил об этом старик Улман из соседнего аула. Вот Шонай и позвонил сыну в Алматы, крепко обругав его. Можно сказать, даже наорал, поскольку тот как бы забыл о своих корнях и традициях края. Потребовал:

— Поставь ей нужную оценку! Ее отец хоть и не родня нам, но все же не чужой человек. Земляк.

А девушка, выходит, эту его доброту не забыла: три долгих дня в пути ухаживала за ним. И Шонай подумал: «Ой, айналайын², пусть же ты будешь счастлива!» Сбавив скорость, шофер остановил машину возле одного из высоких домов, выстроившихся в ряд на западной стороне города.

¹ Спасибо, благодарю.

² Милая, милый.

— Приехали! — сказал водитель.

— Ну, калкам¹, надумала зайти в гости? Мы уже дома, негоже тебе теперь отказываться! — старик вновь обратился к девушке с настойчивой просьбой, чуть ли не умоляя ее.

— Нет, ата! Можно я лучше на этой машине до своего общежития доеду? — отказалась Аймжан, а ее тонкие красивые бровки слегка нахмурились. — Рахмет!

В чем дело? Может быть, это из-за Токтасына, все еще обиду держит на него? Жаль, жаль, такая хорошая спутница, целых три дня кряду делили вместе хлеб-соль, имела полное право зайти сюда в гости... А вот не зашла все же. Ну, Бог судья. А нам пора дальше двигаться.

Старик поглядел вслед отъезжающей машине, помахал на прощание рукой. Потянулся, разминая старые кости. Чутьочку передохнул, осматриваясь в чужом, залитом сумерками дворе. Возле подъезда на лавочке сидели рядышком такие же, как он, старики и старухи. Вокруг бегали и галдели ребятишки. Все они были Шонаю незнакомы. А как хотелось увидеть среди них Едиге! Пристально всматривался, но сорванца не было. «Ай да щенок! Где же ты носишься?» Взвалив на плечи свой корзин, он приблизился к сидящим на лавочке обитателям дома. Были среди них и русские, и татары, и казахи.

— Шонаев здесь живет?

— А какая квартира?

— Сорок семь.

— Вон там, на третьем этаже.

Старик, сутулясь под ношей, стал медленно подниматься по лестнице. Прежний-то дом был кирпичный, а этот, кажется, каменный². Тяжело было. Наконец добрал до нужной квартиры. Оттуда до него похоже доносился чей-то тоненький детский голосок. Уж не Едиге

¹ Ласковое обращение: дорогая.

² В значении железобетонный или крупнопанельный; считается среди жителей многоэтажек менее престижным и дорогим, чем кирпичный.

ли? Сердце в груди забилося сильнее, словно внучек уже выскочил из-за двери и повис у него не шее. Шонай постучал, но дверь оказалась открытой. Переступив порог, старик с гулким стуком бросил свой корзин на бетонный пол. И прокричал:

— Едиге-е!

— Кто это? — раздался из гостиной голос Токтасына.

— Я это, я!

— О, коке!

В коридоре показался Токтасын, в халате и с растрепанными волосами.

— Ау!¹ А где же Едиге?

Шонай стал рыться в корзине, намереваясь первым делом вытащить на свет Божий мешочек, набитый асыками. Токтасын молчал.

— С новосельем, сынок. А тут потолки повыше будут. А где сноха? Где внучек? — повторил вопрос отец.

— Нету дома... Проходи в комнату!

— Да где же они?

— Сейчас... Едиге с матерью.

Сын как-то осекся, в растерянности почесывая затылок, словно скрывал в душе какую-то тайну. Да так оно, по сути, и было. Но Шонай еще ничего не понимал. Или не хотел понимать, верить в дурные предчувствия. Однако радостное возбуждение погасло разом. Его словно ушатом холодной воды окатило. Скуластое серое лицо, изрезанное сетью морщин, стало угрюмым. Он внимательно присмотрелся к гостиной. А других комнат-то и не было. «Однушка», что ли? Сердце Шоная тревожно заныло. Ясно: тут приключилась какая-то беда...

Старик зажал в кулак свою седую округлую бородку и задумался. Посмотрел на сына. Токтасын был таким же темнолицым и долговязым, как он, но более тщедушным. Он подхватил корзин отца и

¹ Частица, употребляемая в многофункциональном значении — удивления, сомнения, предположения, сожаления и пр.

направился на кухню. А Шонай, охваченный внезапной дрожью во всем теле, снял калоши и прошел до середины насквозь прокуреной комнаты. А потом застыл на месте как вкопанный. Глаза раскрылись еще шире, наполнились неподдельным ужасом. Что это за квартира такая бедняцкая? Только одна кровать и стол, а больше ничего такого из мебели, за что мог бы зацепиться взгляд. На этажерке возле стены всего лишь несколько книг. А из кухни стало доноситься громыхание чайника. Старик, даже не присев на колченогий стул, направился туда. Грозно спросил:

— Эй, ты, собачье отродье, враги, что ли, напали на этот дом? А ну, не юли, выкладывай всё как есть!

Токтасын рассеянно провел рукой по своим растрепанным куш-рям, повернулся к отцу, сверкнув глазами. Затем не спеша закурил сигарету, выпустил дым, скукожился на стуле. А отец ждал ответа. И услышал:

— Коке! Сам же видишь, чего спрашивать?

— Что я вижу? Вижу, что тут что-то неладно, собачье отродье!

— Не ругайся, мне и так плохо.

— Говори начистоту, где сноха, где мальчонка? — не выдержав, заорал отец.

— Да потише ты, отец, соседей перепутаешь! — огрызнулся, насупившись, сын. — Короче говоря... развелись мы с ней...

— Как это «развелись»?

— Эх, коке, долгая эта история...

— Где Едиге? Трижды собачье отродье! Почему вы тогда просто развелись, а не перестреляли друг друга? Где мальчонка?

Глаза Шонай угрожающе заблестели, а он сам, сжав кулаки, приблизился к сыну. Тот поспешно отозвался:

— Оставила у себя... От матери ребенка не отрывают до совершеннолетия. Таков закон.

— Вот тебе закон! — крикнул Шонай и гневно ударил Токтасына прямо в ухо.

Сын забежал кругами по комнате, уклоняясь от преследующего его отца. А Шонай норовил вклепить ему еще и еще, но промахивался, при этом возбужденно кричал:

— Свиныя! И это всё ты мне устроил на старости лет? Собака!

Наконец он остановился, задыхаясь от одышки. Сняв свой старый, выдавший виды калпак¹ и розовый шелковый чапан, старик повесил их на спинку кровати. Сын замер у окна.

— Вот что, — немного успокаиваясь, начал Шонай, — найди Едиге. А иначе буду с тобой разговаривать по-другому.

И присел на краешек кровати. Токтасын нервно закурил новую сигарету. Ответил:

— Коке, к чему искать, время тратить, она все равно к нему близко не подпустит.

Пришлось Шонаю вновь грозно гаркнуть:

— Ты, собачье и свиное отродье, засунь себе этот закон... сам знаешь куда! Мой тебе сказ: найди Едиге! Других слов не будет.

— Да она поклялась, что даже следов Едиге мне не покажет! Чертова баба!

— А мне? Мне тоже не покажет?

— Нет.

Шонай задумался.

— Вот, значит, как... Что за душа у этой богоотступницы? Нет, не верю. Брось. Если она рассердилась на тебя, так какое ей дело до меня и Едиге?! Отведи меня к ним!

— Нельзя, коке. Хуже будет. Только тебя еще ни за что ни про что обидит. Нет, не уважит.

— Эх, собачье отродье... — в сердцах повторял Шонай, словно других слов на ум не приходило. — Эх! Лишил любимого внука, а что теперь мне прикажешь делать? Сидеть тут и обнимать свои го-

¹ Легкий, сшитый из белого войлока или сукна старинный мужской головной убор с загнутыми вверх краями.

лые колени?¹ А может быть, Едиге в это самое время, как бывало, ждет меня с нетерпением и спрашивает мать: «Когда же придет дедушка?» Эх! Разлучили меня с Едиге! Лучше бы перестреляли друг друга...

Проглотив последнее слово, старик вытащил из кармана платок и вытер заслезившиеся глаза. Токтасын жадно затянулся сигаретой.

— В ладу и согласии ведь жили, что же за беда такая с вами стряслась? Почему взяли и собственными руками свое семейное гнездышко разорили? А?

— Коке, долгий про то сказ.

— До чего же я был глуп, что переехал к тебе жить. Думал, ты человеком стал! Глупа и вся родня наша: поверила, что ты опорой мне будешь... А вышло всё наоборот...

Старик замолчал и тяжело вздохнул. Силы оставляли его. Он почувствовал себя совсем скверно. Больше не сказал ни слова, накрылся своим чапаном и, отвернувшись к стене, закрыл глаза. Даже к чаю не притронулся, который заварил сын. А ночью у него повыскочило давление, начался сильный жар и Токтасын вызвал «скорую помощь». Врач сделал старику укол, ему немножко полегчало, и он успокоился. Уснул. Но сон был тревожным.

А очнулся Шонай где-то в пору саске². Его разбудил какой-то посторонний звук. Когда открыл глаза, комнату заливал яркий свет. Похоже, Токтасын уже давно встал и ушел на работу. Постель его была заправлена.

— Ку-кук! — послышался из коридора женский, высокий голос.

«Это еще что такое?» — испуганно подумал старик.

— Ку-кук! — раздалось вновь. А обладательницы голоса видно не было.

— Кто это? — жестко спросил Шонай.

¹ Фразеологический оборот: так говорят о человеке, когда он остался без семьи, детей и внуков, т.е. без самых близких и дорогих сердцу людей.

² Позднее утро; предполуденное время, где-то около девяти, десяти утра.

В дверях возникла стройная незнакомая девушка в брючках. На плече — сумочка. Челка спадала на лоб, сама была симпатичной и ладно скроенной. Но смотрела на старика широко распахнутыми от удивления глазами, даже рот приоткрыла.

— Здравствуй, доченька, проходи! — вежливо сказал Шонай, накинув на плечи чапан.

— З-здравствуйте! — заикаясь от неожиданности отозвалась девушка, даже слегка покраснев. — А где... Токтасын дома? Или его нет?

— Наверное, на работе.

— Тогда... извините... До свидания!

И юная незнакомка, развернувшись, быстро ретировалась к двери. И исчезла, словно боялась, что ее могут поймать. Шонай ничего не понял, так и сидел на кровати, предельно озадаченный. Только разные мысли теснились в его голове. «Что это с ней, Творец-Создатель? С чего вдруг застеснялась и убежала? Кто она вообще-то? Либо студентка, которая искала Токтасына, чтобы зачет сдать, либо... Уж не надумал ли этот проклятый, не успев развестись, заново жениться?»

Голова старика совсем пошла кругом от этих мыслей. А как еще можно объяснить приход незнакомой девушки? И ему вдруг вспомнилась нежная и легкая, как шелк, колышущаяся на ветру, Аймжан, с которой он вчера вместе приехал в Алматы. «Эх, ежели ему уж до того невтерпеж снова жениться, то вот она бы ему подошла как раз. А эта с такими длинными, как у коня, ножками вряд ли сможет ему стать хорошей женой». Черт-те что в голову поутру лезет...

Усталость взяла свое, и Шонай вновь уснул. На сей раз спокойно и ровно, сон был оздоравливающий. А когда встал в обед, тут как раз и сын появился.

— Приходила тут к тебе одна, — сказал отец, — с длинными, как у ахалтекинца¹, ногами, и спрашивала тебя.

¹ Ахалтекинская порода лошадей. Здесь в значении «длинноногая».

— А-а... — равнодушно отозвался Токтасын и неопределенно махнул рукой. Затем надел фартук, закатал рукава и направился на кухню, готовить обед.

— А кто она такая? — все же любопытствовал отец, прочистив горло.

— Да моя студентка... По делу, видно, заходила...

Кухня наполнялась чадом, сын что-то жарил, стараясь угостить отца, как мог. За обедом Шонай продолжил свои расспросы:

— Итак, ответь мне напрямик. Разводы бывают разными. У тебя какого вида развод? Тот, который можно уладить миром, или же такой, что окончательно и бесповоротно?

Помедлив, Токтасын, сказал:

— Этот окончательный. Через суд. И дело на том закрыто. Всё точка.

Шонай сидел как в воду опущенный. А Токтасын впервые видел отца таким беспомощным и несчастным. Ему стало жалко посиротски обиженного родного старика. Ну, что теперь поделаешь... Он не хотел разрушать семью... Так уж вышло. Просто характер у жены оказался слишком скверный, упрямый. Да и у него самого молодецкая кровь разыгралась, бес попутал. Вернее, ведьмочка одна. Стовом, нашла коса на камень, как говорится в русской пословице. Да пропади оно всё пропадом! Чтобы там ни было, то прошло — и ушло. А от зарвавшейся жены — избавился.

Спустя некоторое время Шонай, будто невзначай, произнес:

— В поезде я ехал вместе с дочерью старика Улмана, которая здесь учится. Да ты ее знаешь. Это Аймжан. Ох, какой же она стала славной, как красива, точно цветок! Долгих лет ей жизни.

Сказал это с каким-то потайным смыслом, намеком. Токтасын промолчал. Его смуглое лицо цвета спичечной головки оставалось таким же мрачным, как и было. Шонай продолжал пить чай. Выпил больше, чем обычно, так как у него сильно болела голова. После обеда сын вручил отцу запасные ключи от квартиры, а сам вновь ушел на работу. Старик развязал корзин, вытащил мешочек с алычиками.

положил его в просторный нагрудный карман своего бешпента¹, запер входную дверь и вышел на улицу. Нашел остановку такси, подошел к выстроившимся в ряд машинам и открыл дверцу первой из них. Знал, что если дать денег, то тебя и отвезут куда надо.

— Куда? — зевая, спросил таксист.

— В казахскую школу, сынок.

— Их, ата, в этом городе много.

— Ну-у... — подумав, ответил старик, — в ту, где учат в первом классе.

— Хм-м... — шофер задумался. — Ладно, садитесь.

Сын не сообщил отцу новый адрес снохи. Поэтому Шонай подумал и решил, что найдет внука в школе. А вот в какой? Задача не из легких.

Кружили они по городу, потом остановились возле одной из школ.

— Восемь рублей² нацелкало, — сказал шофер.

Шонай решил, что тот вполне заработал такую сумму и в порыве щедрости дал ему десятку. Время было киши бесина³. Во дворе школы бегала целая куча смуглых детишек, гоняли туда-сюда мяч. Старик очутился прямо в их гуще. Некоторые курносые малыши кричали ему:

— Здравствуйте, ата! — и, смеясь, пробежали мимо.

А Шонай довольный кричал им вслед:

— Здравствуй и ты, родной! И ты тоже, здравствуй!

А сам внимательно всматривался в их лица, оборачивался, искал Едиге. Наконец ухватил одного мальчугана, спросил:

— Сынок, погоди, не спеши, ответь: есть здесь дети, которые учатся в первом классе?

— Есть!

¹ Легкая приталенная одежда на подкладке до колен.

² Большие по тем временам деньги при средней месячной зарплате в 120–140 рублей.

³ После полудня, приблизительно между тремя и четырьмя часами.

— Знаешь Шонаева Едиге?

— Нет!

Тут одна девочка постарше возрастом решила ему помочь, вошла в его безвыходное положение. Взяла его за руку и, как маленького, повела прямо в первый класс. А Шонай чуть не засмеялся от этого. Надо же, беу¹, айналайин², ведет его за руку! А урок должен был вот-вот начаться. Учительница в классе оказалась женщиной в возрасте, с посеребренными волосами и спокойным, степенным голосом. На прямой вопрос старика она ответила:

— Нет, ата, такого мальчика у нас не было.

— Ну, в таком случае, есть ли где-нибудь поблизости другая казахская школа?

— Как же, есть. По этой же улице Кирова, ата. Тут недалеко.

Шонай выбрался из школы, стал спрашивать у прохожих дорогу. Вскоре нашел. Там этих первых классов оказалось несколько. Так ему объяснил один мальчик.

— Ваш внук в каком учится? В «А», «Б»? А есть еще «В», и «Г». ■ «Д».

— Точно не знаю. Фамилия его Шонаев. Зовут Едиге. Он такой рыженький, полненький, с пухлыми щечками, похожий на своих нагаши³.

Мальчуган лишь руками развел. Шонай нашел учительницу, у которой уже начинался урок, она отправила его к другой, та — к третьей. Так старик блуждал по коридору из класса в класс. Всё без толку. Малышня при виде его, когда он бесцеремонно открывал дверь и заглядывал в очередной класс, шумела на все голоса, словно ягнята, блеющие в загоне. Еще бы! Высокий аксакал в длиннополном чапане, полн

¹ Междометие, выражающее: сожаление, сострадание; удивление, восхищение; в данном контексте — всё вместе.

² Миленький, голубчик — так обращаются к младшим с чувством любви, восхищения, благодарности и т.п.

³ Родственники по линии матери.

которого волочатся следом, производил странное впечатление. Не до уроков тут. Они кричали:

— Это Шопан ата! Салеметиз бе¹!

А Шонай вмиг забывал об учительницах и всё внимание сосредотачивал на детях. Искал среди них Едиге, но всё безрезультатно. Пришлось покинуть и эту школу. Стал искать другие. Хорошо еще, что в городе было не так уж много казахских школ. Но он вынужден был снова взять такси, так сподручней. А уж если его завести, то не остановить. Задуманное дело выполнит до конца. Пусть хоть до самого вечера будет искать. Таким образом он объехал школы на проспекте Ленина² и на перекрестке улиц Байзакова и Чапаева³. Выяснилось, что и в них нет такого ученика. Пришлось возвращаться домой не солоно хлебавши. Пришел поздно, совершенно выбившись из сил. А сын даже не спросил у него, что же он целый день делал, чем занимался? Бессердечный какой. А Шонай и рассказывать не стал, лишь стрелял в него сердитыми взглядами. Но поскольку от усталости впал в раздражение и вспыльчивость, еще и начал бранить Токтасына ни за что ни про что, пока не уснул.

На следующий день поиски продолжались. Деньги еще имелись, а такси свезет куда надо. На этот раз Шонай очутился в казахской школе, подведомственной железной дороге. Назойливый старик, ищущий Едиге Шонаева, поставил и тут всех «на уши». И опять напрасно. Не было внука, словно сквозь землю провалился. Ничего, разыщет и под землей. Долго еще ездил старик по Алматы, оставалась одна школа, считай, последняя. Она, по расспросам, открылась совсем недавно. И находилась в шестом микрорайоне⁴.

¹ По народной мифологии — покровитель овец; изображается как старик в чапане с бородой и посохом в руке.

² После обретения Казахстаном независимости переименован в проспект Достык — Дружбы.

³ Теперь носит имя героя одноименного киргизского эпоса — Манаса.

⁴ Один из крупных жилых массивов так называемого «спального» района Алматы.

— Хорошо, проверим и ее, — сказал сам себе Шонай.

И отправился на такси туда. А пока ехал, думал: «Все-таки если она находится в этом городе, то ни за что не успокоюсь, пока не найду и ее тоже». А таксист, долгих лет ему жизни, попался сердечный, и хотя они раз сорок кружили в поисках школы, но всё же отыскали. Чуткий, отзывчивый водитель, получив хорошенькую сумму на руки, сам лично с особым рвением проводил Шоная в школу. Как раз шли уроки. В коридоре ни души. Лишь из-за закрытых дверей доносились голоса детишек, словно ягнятки блеяли. Таксист остановился возле одной из дверей, стал подсматривать в замочную скважину.

— Идет урок, — сказал он старику. Затем тихонько постучал в дверь. Она открылась и оттуда показалась дородная, рыжая, милостивая женщина. Поздоровалась по-казахски. Оказалась татаркой.

— Извините, — угодливо обратился к ней таксист, — вот этот аксакал ищет своего внука. Зовут мальчика Шонаев Едиге.

— В этом году он должен был пойти в первый класс, — добавил старик. — Нет ли у вас такого?

— Шонаев Едиге, говорите? — переспросила женщина и остановила взгляд на Шоке¹. — Да-да, такой мальчик был...

Тут сердце старика взволнованно забилося. Как птичка в груди. Он смог только вымолвить:

— А?!

И всё, точно онемел или окаменел. А учительница тут же продолжила:

— Но где-то около месяца назад мальчика отсюда забрала его мать.

Разгладившиеся было на лице старика морщины вновь стянулись в глубокие складки. Он едва лишь воскликнул:

— Ой, Аллах! — а затем весь скрючился, словно его пронзил копьем. И медленно опустился на скамейку, стоявшую рядом.

¹ Краткая уважительная форма к имени Шонай.

Женщина от растерянности и испуга посмотрела на него, потом перевела взгляд на таксиста.

— Аксакал, у вас где-то что-то болит? — сочувственно спросил парень, склоняясь над ним.

Тем временем прозвенел звонок на перемену. Шонай постепенно приходил в себя. Когда он поднял голову, то увидел, что таксист что-то объясняет учительнице. Лицо женщины было нахмурено, она молча покачивала головой. А по коридору уже бегали и галдели детишки, дождавшиеся переменки.

— Пойдемте на воздух, аксакал!

Учительница и таксист, поддерживая Шоная с обеих сторон, вывели его во двор школы. Там он немного отдышался.

— Ата! — сказала женщина. — Вы напрасно искали своего внука здесь. — Мать Едиге решила отдать его в русскую школу. Сама мне о том заявила. Я не хотела с ним расставаться, он очень способный мальчик. Долго ее уговаривала, но — ни в какую.

— Ой, Аллах! Ой, Аллах! — только и повторял старик, без конца качая головой. — Кто мне подскажет, где его теперь найти? Отца и мать Едиге кто-то проклял, вот они и живут ныне порознь... А я, несчастный, мытарюсь между ними в поисках внука!..

Шонай умоляюще смотрел то на учительницу, то на таксиста. Женщина предположила:

— Я думаю, его отдали в одну из ближайших школ. Потому что Едиге всегда приходил к нам как будто пешком. Да и новый дом его должен быть где-то неподалеку отсюда.

Таксист поддержал ее:

— Я уверен в этом. Ата, садитесь в машину, продолжим поиски.

Проехав две улицы, они затормозили возле еще одной школы. Таксист сказал старику, чтобы он оставался в машине, а сам выбежал и вошел внутрь здания. Спустя некоторое время вышел оттуда, огорченно качая головой.

— Нет, — сказал он. — Я попросил посмотреть в классных журналах. Едиге в списках нет.

После этого старик решил отпустить участливого таксиста, а сам пошел пешком, обходя весь район, дом за домом. Он думал, что если будет просто ходить по улицам туда-сюда, то может ненароком встретить Едиге. А попутно останавливал каждого встречного-поперечного и расспрашивал. Всё безрезультатно. Но хоть названия улиц выучил. И бормотал себе под нос: «Ничего, найду... Он живет где-то поблизости, так сказала учительница... Не будете же вы всю жизнь отсиживаться в одном из этих домов с множеством окон, прятаться от меня, старого Шоная... Когда-нибудь же выйдете да и попадетесь мне на глаза... Найду, встречу...»

У него даже появилась твердая уверенность в этом. А огромное желание, как известно, рано или поздно обязательно материализуется. Так, по крайней мере, уверяют мудрецы. Но пока что никак не везло. И к вечеру он вернулся домой, уже совершенно обессиленный и разбитый. Пришел и сразу же рухнул на кровать. Даже не стал отвечать на вопросы сына:

— Коке, где же это вы ходили весь день? Куда подевались?

Укрывшись с головой своим чапаном, он отвернулся к стене. Поспав немного, Шонай встал и за вечерним чаем объяснил сыну, что весь день напролет ездил по школам в поисках Едиге. На что Токтасын с испугом воскликнул:

— Ойбай¹, коке, почему же у меня сразу не спросил, чем понапрасну так себя изводить! Да ведь на следующий день после развода она изменила фамилию! Сделала это для того, чтобы нас к нему не подпускать...

Тут Токтасын удрученно опустил глаза вниз. Потом промолвил:

— Когда Едиге учился в прежней школе, я встречался с ним, но это было слишком тяжело и для него, и для меня... Поэтому я посчитал, что уж лучше будет совсем не видеться... Что поделаешь, коке!

На что отец твердо сказал:

¹ Междометие, выражающее страх, удивление, восторг.

— Пусть даже память сожжет, а не то, что фамилию вычеркнет, — я всё равно не отступлюсь! Прах оставит, а я всё равно его найду.

Нервы Шоная не выдержали, он закипел и запустил пиалой, которую держал в руках, в своего сына. Чашка пролетела над головой Токтасына, ударилась о стенку и разбилась вдребезги.

После этого он перестал посвящать сына в свои поиски. Вообще не говорил, что он делает и чего хочет. Так прошло несколько дней. Потом недель. Вот уже и осень подходила к концу, выпал снег. А Шонай всё искал Едиге, обходя квартал за кварталом. На такси денег уже не было. Бродил седой аксакал по Алматы, шлепал калошами по слякотным улицам, высматривал Едиге, бережно храня в кармане мешочек с альчиками. Что ему пройти десятки километров? В молодые да лишние годы он пешком спускался с плато Устюрт величиной в пять городов, а тут-то всего один город... Ничего. Даже полезно для здоровья.

По пути он расспрашивал прохожих, многих людей останавливал, у каждого интересовался. А хороших людей не счесть. Не осталось почти ни одной школы, в которую он бы не заходил. А когда слишком уж уставал, то доставал припрятанные заветные сомы¹, которые держал на свои похороны, и транжирил их на такси. Чаше всего Шонай бывал в том районе, о котором учительница сказала, что «Едиге должен жить где-то поблизости». Теперь он уже знал здесь каждый дом, каждый закоулок, двор. И всегда ощущал тут щемящую сердце радость, надежду на встречу, словно того и гляди выскочит вдруг из любого подъезда Едиге и закричит: «Ата!» И оба они обомлеют от неожиданного счастья...

Но, Боже, как много в этом городе детей! Глаз старика был наметан в поисках маленьких мальчиков приблизительно одного с Едиге возраста. Любой из них мог быть знаком с внуком, ежели учился с ним в одном классе. Вот Шонай и расспрашивал каждого, если удавалось. Дети не все могли ответить на заданный вопрос, с трудом договаривали:

¹ Так в советское время на казахском назывался рубль.

— Я... не знать.

Сторонились и убегали. А Шонай убеждался в мудрости предков, изрекших: «За пятьдесят лет обновляется народ, а казан — за сто». И шел дальше, сутулясь всё больше и больше. Он чувствовал себя в толпе невысоких горожан, разодетых в разноцветные, до ряби в глазах, одежды, словно бельмо на глазу, чужим на этом «празднике жизни», наследием прошлого, которое если не сегодня, то завтра будет предано забвению. Иногда встречались старики одного с ним возраста. Выслушивали его, качали головой, говорили на прощанье:

— Эй, кария¹, счастливого пути!

А по большому счету все они, люди преклонного возраста, лишь гости в этом густонаселенном городе с его многообразной и во многом необъяснимой жизнью. Так было, так будет. Во всем мире.

Однажды в вечерний сумеречный день произошло следующее. На одной из улиц Шонай остановился на обочине, решив поймать такси и возвращаться домой. Устал. Машины проезжали мимо старика. Он вдруг подумал о том, что хорошо бы найти Аймжан, чтобы та помогла ему в поисках Едиге. Она ведь грамотная, добрая. Размышляя об этом, Шонай глядел на остановившийся автобус, похожий на кебеже² своими синими поперечными полосками. В него стали садиться пассажиры. Те, кто не успел втиснуться, спрыгивали с подножки. Автобус натужно двинулся дальше. А взгляд Шонай упал на подъехавшее свободное такси. И тут он услышал детский крик:

— Ата-а! Ата-а!

Старик резко повернулся, огляделся по сторонам. Он узнал этот знакомый до боли голосок. И тут вдруг увидел наконец Едиге. Мальчонка кричал ему из отъезжающего автобуса, стуча обеими кулачками по заднему ветровому стеклу.

— Ата-а-а!!

¹ Форма вежливого обращения взрослого человека к более пожилому; старец.

² Деревянный сундук для хранения продуктов, посуды; короб для перевозки вьюков на верблюде.

О, сколько отчаяния было в этом крике! А автобус, подобно некой живой образине с сундукообразным животом, уносил внука, всё увеличивая скорость, пока не исчез за поворотом.

— Едиге! Тохта! Эй! Едиге! Тохта! — кричал Шонай что есть мочи, поспешая за автобусом. Ветер раздувал полы его шубы. Прохожие расступались перед ним. А он несся вперед, уповая лишь на святого Барака-ата. Бежал, заклиная про себя: «О, поддержи меня! Не дай упасть! Помоги догнать!» Тут, на его счастье, полосатый автобус затормозил перед перекрестком. Шонай прибавил еще ходу, вознося славу Аллаху! Невольно из уст вырвалось:

— Эй, зеленая железяка, попадись мне только в руки!

Бежал и кричал:

— Едиге-е-е!!.. Едиге-е-е!!.

Голос срывался, хрипел, в ушах стоял сплошной шум и больше ничего. А весь огромный мир вокруг словно бы наполнился и сотрясился ответным криком маленького внука. Народ с удивлением оборачивался на бегущего по улице аксакала. Кто это? Уж не сумасшедший ли старик? Или одержим бесом? Некоторые просто испуганно шарахались в сторону. Другие в изумлении застывали на месте, как каменные изваяния. А пестро-зеленый автобус вновь тронулся с места на зеленый знак светофора. И расстояние между ним и стариком опять стало увеличиваться. А Шонай уже терял остатки последних сил. Он понял, что не догнать...

— Тохта! — закричал старик, тужась и подняв на бегу свой асатаяк¹.

И в то же мгновение ноги его скользнули по мерзлomu стоптанному снегу, руки беспомощно разметались в стороны и Шонай грохнулся всем телом на асфальт. Правой стороной сильно ударился то ли об лед, то ли о камень. Палка отлетела прочь. Рассыпались из мешочка и альчики. Но он уже не обращал на эту потерю внимания. Глаза его продолжали неотступно провожать удаляющийся автобус.

¹ Посох, палочка, тросточка.

Собрав последние силы, Шоная начал подниматься с тротуара, но тут же снова упал навзничь. Правая нога больше ему не подчинялась. Из глаз брызнули слезы. От досады старик уперся обеими руками о землю. Всё теперь вокруг как-то затуманилось. Автобуса он больше не видел. Какой-то молодой парень нашел его палку, стал помогать подняться. Шонай, стиснув зубы, еле-еле встал, однако боль в пояснице была настолько сильна, что он застонал.

— Сможете идти, аксакал? — спросил парень.

Старик покачал головой. Закрыв глаза.

— Не трогайте его! — услышал он чей-то голос. — Кажется, у него перелом таза. Надо вызвать врача.

— Верно, правильно! — послышалось вокруг.

— Позвоните в «скорую помощь»! Быстрее!

Столпившиеся люди громко переговаривались. Шоная бережно уложили на край тротуара. Его губы беззвучно шевелились. Глаза были по-прежнему закрыты. Он не хотел больше смотреть на этот мир.

— Он что-то говорит. Тише! — сказал кто-то из людей.

Другой человек склонился над ним и подставил ухо, пытаясь разобрать слова. А Шонай тихо шептал: «Ух, какая досада...» Но разве могли они услышать голос стонущего и умирающего старика, когда туда-сюда с ревом проносились машины? А тишины не было. Она наступит потом.

Перевод Романа Токбергенова

Дидахмет Ашимханулы

(1950–2015)



Заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии «Алаш», Дидахмет Ашимханулы родился 10 июня 1950 г. в ауле Жанаулги Катонкарагайского района Восточно-Казахстанской области. Трудовой путь начал в областной газете «Коммунизм туы» (1975–1976). После окончания факультета журналистики Казахского государственного университета (1978) работал корреспондентом газеты «Лениншил жас» (ныне «Жас Алаш»), затем до 1980 г. являлся заведующим отдела газеты «Казахстан пионери» (ныне «Улан»), в течение 12 лет (до 1992 г.) в той же должности работал в газете «Казах әдебиеті». С 1992 по 1993 г. работал заместителем главного редактора газеты «Заман-Казахстан» и на той же должности до конца жизни работал в международной газете «Түркестан». С 2003 по 2015 г. одновременно являлся президентом общественного фонда «Ел-шежире»

и директором издательства «Алаш».

С 1986 г. член Союза писателей и Союза журналистов Казахстана.

В разные годы выходили в свет такие сборники повестей и рассказов писателя, как «Аққабаның толқыны» («Волны Аккабы», 1981), «Он бірінші күз» («Одиннадцатая осень», 1987), «Каменная падь» (1990), «Жер аңсаған сары атан» («Рыжий атан¹, скучающий по земле», 1998), «Самырсын сазы» («Мелодии кедра», 2000), «Әңгіме емес әңгімелер» («Рассказы, не похожие на рассказы», 2004). Одна из особенностей мастерства писателя — умение рассматривать национальные проблемы с позиций общечеловеческой парадигмы. Писатель, в совершенстве знавший лексику казахского языка, особое внимание в своих произведениях уделял ее богатству, удовлетворяя вкусы самых взыскательных читателей.

Его произведения были переведены на узбекский, киргизский, китайский, монгольский, русский, украинский, марийский языки, сам он перевел на казахский язык книги таких писателей, как А. Курчаткин, А. Аширов, Х. Абдуллин, П. Пурзверу и других.

¹ Холощенный верблюд.

Бабушкин самовар

Прошло уже более двух месяцев, как маленькую Айжан родители привезли из аула. За это время впору растаять льду отчуждения у чужого ребенка, не говоря уже о родном чаде, однако, несмотря на отчаянные попытки родителей, приговаривающих ласково «айна-лайын», «жеребеночек наш», маленькое сердечко упрямой девчушки оставалось неприступным. За эти два последних месяца неузнаваемо изменилась и жизнь дома. Если раньше каждый довольствовался парой бутербродов и чашкой чая, то теперь завтрак становился неразрешимой подчас проблемой: выросшая в далеком ауле девочка привыкла к свежему молоку, так что — хочешь не хочешь — вставай спозаранку и бегай по магазинам, пока его не раздобудешь. Эту заботу взял на себя Тельжан, но и Гульсан не знала покоя. Едва открыв глаза, она с самого раннего утра начинала метаться по квартире: умывает, одевает, обувает ребенка и всё не перестает нервничать, выходить из себя, пока не появится у порога муж с молоком. Затем на скорую руку приготовив завтрак, берет дочку за руку и мчится как угорелая на работу.

Вечером повторяется та же картина, правда, только в обратном порядке: таща за собой притихшее, бессловесное дитя, она успевает обойти по дороге магазины и, нагрузив хозяйственную сумку продуктами так, что подгибаются колени, приходит домой.

— О господи, что ты за человек, ни детсада выбить не можешь, ни няньки хотя бы нанять, сколько же придется мне мучиться?! — взрывается она порой, не сдержавшись. Причина всех бед в таких ситуациях — Тельжан: — Все это из-за твоей прихоти, ты же, а не

кто иной, настоял отдать крохотного ребенка на воспитание матери. А теперь вот расхлебывай кашу.

В подобные минуты Тельжан бессловесен. И молчит он потому, что прекрасно понимает причины расстройства Гульсан. Срывается она вовсе не потому, что устала ждать растянувшейся очереди на детсад: в конце концов, это проблема нескольких месяцев, только терпение нужно. Ее мучает и терзает другое: родное чадо до сих пор не желает признать ее матерью, более того — с каждым днем пуще чувствуется ее, словно чужой. Чувства жены знакомы и Тельжану, так как и его душу грызет та же беспокойная мысль. Поначалу они успокаивали себя, думали, мол, так и должно быть, ведь ребенок на новом месте, вот пообвыкнет, обживется, а там, глядишь, и... Только что-то не видно, что Айжан начинает привыкать, откликаться на ласковые обращения родителей. Прошло немало времени, а все встречает их настороженным взглядом, хмурая, постоянно чем-то озабоченная. Да и редко увидишь, чтобы она отвлекалась, играла бы или ходила по комнатам. И за столом не добиться у нее слова, нехотя отщипнет хлеба, ткнет для виду пару раз вилкой в тарелку и так же молча, не поднимая опущенного взора, тихо выскальзывает из-за стола и готова целый день в одиночестве просидеть, не шелохнувшись, на диване в гостиной. И, что удивительно, слова не дождешься от нее, спросишь о чем-нибудь — ответит, попросишь пересесть — молча исполнит. По утрам Тельжан довольно часто замечал у нее странно покрасневшие глазки. Видимо, по ночам, оставаясь наедине с собой, она втихомолку плачет. И вот на днях ему довелось стать свидетелем, как она тихонько плачет.

В тот вечер он немного задержался на работе; едва ступил на порог, как услышал голос плачущей дочери. Второпях, еле сбросив обувь, вбежал в гостиную. Там на диване ничком лежала Айжан и тихо всхлипывала, сотрясаясь время от времени маленькими плечиками.

— Что случилось, солнышко мое? Кто это обидел тебя? — спросил он растерянно и погладил девочку по голове. Но Айжан с обидой

оттолкнула его руку и, хлюпая маленьким носиком, заревела еще сильнее.

Растерянный, впервые он почувствовал свою беспомощность перед родным ребенком. Хотел было успокоить — никак не перестает съезжиться в комочек, даже дотронуться не позволяет. Да и Гульсан как назло запропастилась куда-то. Обежал все комнаты, но, не найдя жены, вынужден был беспомощно кружить вокруг дивана, словно бабочка, обезумевшая от яркого огня. Самое ужасное — он даже не знал, из-за чего плачет Айжан. Вскоре сквозь тихие всхлипы ему удалось услышать единственное слово «расческа!», а затем и «моя расческа». Соображая, что бы это значило, Тельжан в растерянности остановился посреди комнаты, но в этот миг хлопнула входная дверь и в комнату торопливо, с испуганным видом вошла Гульсан.

— Это ты ее обидела? — спросил он ее с порога. — Почему она плачет?

Но жена молча прошла мимо него и, вытащив из раскрытой сумочки новенькую зеленую расческу, торопливо сунула ее в руку плачущей дочери.

— Родненькая моя, и стоило из-за этого плакать, вот тебе и расческа... Новая расческа... Только что купила, ну посмотри. Только перестань плакать, ты же ведь у нас умница.

Айжан на мгновение успокоилась, внимательно рассмотрела расческу, затем резко отодвинула ее от себя.

— Моя расческа... — вдруг начала снова повторять она всхлипывая. — У меня она черная!

И только тут дошло до Тельжана. Он вспомнил: действительно, у дочери была старая черная расческа, привезенная ею из далекого аула. Одно лишь название, что расческа. Выточенная некогда из воловьего рога, она была совершенно иссохшая, с выщербленными зубьями. Хорошо помнит, как она пуще глаза берегла ее, не выпуская из рук. И, что странно, Айжан почти не расчесывалась ею, время от времени, словно бы вспомнив о чем-то важном, она торопливо подносила ее к своему носику и с удовольствием вдыхала ее запах. Хоро-

шо помнит он и выражение лица Гульсан при этом. Она неизменно брезгливо морщилась. Выходит, ребенок плачет из-за этой старенькой расчески.

— Где она? — спросил он, поворачиваясь к жене. — Где ее черная расческа?

— Я ее выбросила, — ответила, мрачняя, Гульсан. — На работе перед людьми неудобно. На ней столько грязи, а она ее в нос сует.

— Найди ее!.. Где хочешь найди, хоть из-под земли достань!

Ни разу не слышавшая подобных слов от мужа, Гульсан не на шутку испугалась. Она как тень выскользнула на улицу и вскоре, вернувшись, молча бросила на кресло рядом с мужем знакомую старую щербатую расческу.

В ту ночь супруги впервые легли спать отдельно. В эту же ночь они впервые, кажется, почувствовали, как дорого для них это маленькое живое существо — их родное чадо. Ясно осознали, что оно для них значит...

Ощущая живое горячее тельце, нежное дыхание сопящей рядом дочери, он почувствовал, как его переполняет какое-то странное, доселе неизведанное чувство. Отчего это может быть? Он и сам не понял. Осторожно дотронувшись, Тельжан понюхал зажатую в руке Айжан старую иссохшую роговую расческу. Ему показалось, что почуял какой-то до странности родной и близкий с детства ему запах. И запах этот удивительно напоминал запах то ли айрана, то ли парного молока вперемешку с душистым ароматом свежескошенного сена. С удовольствием вдохнул еще раз, боясь, что он может разом исчезнуть. В горле почему-то запершило.

Стоило лишь оторваться от расчески, как вдруг им овладел непонятный страх, появилось какое-то ощущение невозвратности того, чего не следовало бы терять. И это нечто, представляющееся ему очень важным и дорогим в его жизни, казалось утерянным безвозвратно. Но что же это было, чего же он лишился?.. Мучаясь в раздумьях и догадках, он не заметил, как заснул. А ночью — удивительно! — приснилась ему большая черная саба, которая неизмен-

но стояла у порога их дома. Это была чудная саба. В ней никогда не кончался кумыс, даже если бы к ним пришли в гости целым аулом. Снилось, как мать наливает ему в большое кесе свежего кобыльего молока — саумала. Саумал — это еще не кумыс, он нежнее, да и молоком отдает. Чтобы превратиться в настоящий кумыс, саумал должен отстояться в сабе, побродить. Только поднес было до краев наполненное кесе к губам, как кто-то грубо выхватил его из рук, расплескав на одежду прохладный напиток: «Хватит! Остальное допьешь в интернате!» — «Ну дайте еще немного отпить, ну чуточку!» — захныкал он и проснулся. Его мучила страшная жажда. Глотнув пересохшим ртом, он облизал сухие губы. Неподвижно лежа в залитой голубоватым лунным светом комнате, в темноте он явно ощутил запах саумала. Настолько ясно, что защекотало в ноздрях. Ах, вот оно что! Чтобы увериться в своей догадке он наклонился и понюхал волосы безмятежно сопящей рядом дочери. Запах исходил от них... Боясь разбудить спящую Айжан, Тельжан осторожно слез с дивана и направился на кухню. Отвернул кран, тотчас ударила струя воды, обдавая резким запахом хлорки. То ли от резкого запаха хлорки, то ли от холодной воды у него перехватило горло. Стряхнув с лица брызги, он поднял голову и увидел в дверях взлохмаченную Гульсан. По лицу было видно, что вчерашняя обида на мужа не прошла.

— Так вот! — сказала она после некоторого замешательства. — Если я мать, то ты отец ребенка. Не мне одной мучиться. С завтрашнего дня твоя очередь, попробуй, поводи ее с собой! — и, круто повернувшись, удалилась с кухни.

Что ж, может, это к лучшему. Утром они с дочерью вышли из дома очень рано. Девочка была неузнаваемо весела. Как ни странно, сегодня она улыбалась и смеялась, вела себя, как все дети, раскованно. Тельжан не мог нарадоваться, глядя на нее. А какая у нее чудесная улыбка! Отчего бы это?! Тому были причины.

В мастерской Тельжана давно уже стоял почти готовый портрет, который он подумывал выставить. Назывался он «Аже». Это был портрет

трет бабушки Айжан, из рук которой он пил сегодня во сне кумыс из черной сабы. Едва они успели переступить порог мастерской, как взгляд дочери упал на этот портрет.

— Бабушка! — закричала она, остановившись заворуженно. — Моя бабушка! — затем, подбежав к портрету, она, вся сияя, погладила его и повторила: — Бабушка! Это моя бабушка!

Какая красивая была она в своей неподдельной радости! Тельжан подхватил дочь под мышки и, подняв ее, скорее инстинктивно понюхал ее пахнущие саумалом черные, как смоль, волосы, поцеловал в лоб и опустил на пол.

— Да, — сказал он после некоторого молчания, растроганный. — Это действительно твоя бабушка. Только она сейчас далеко-далеко от нас с тобой. За высокими горами, ищет елика с золотыми рогами для тебя, доченька.

— Нет, нет, не елика, папа, — надула губки Айжан. — Она вовсе не елика ищет за высокими горами, а кийка с золотыми рожками. Она сама говорила мне об этом.

От неожиданности Тельжан даже прикусил язык. Как же он мог забыть? Ведь тысячу же раз слышал в детстве эту самую сказку. Обидно, что маленькое его дитя еще не знает, что не за высокими горами ходит ее бабушка, а покоится в сырой земле под маленьким холмиком, недалеко от родного аула. Наивный ребенок, откуда ей знать, что бабушка ее ушла на вечный поиск кийка с золотыми рожками.

После этого случая Айжан словно подменили. Наутро она проснулась раньше всех в доме, словно бы боясь опоздать на свидание со своей бабушкой. И, что удивительно, за завтраком доела всю кашу. И так каждый день.

Потом они вместе выходили из дома, садились в автобус и ехали на окраину города, в мастерскую. Спешку девочки можно было понять. Она торопилась на свидание к любимой бабушке. Целыми днями не отходила от портрета: то попросит отца установить его на

подрамник, то, пыхтя, подтащит его к окну, то задумчиво умолкнет, вглядываясь в родные черты, то подолгу ведет разговор со своей бабушкой. Иногда, когда ей становилось скучно, она заговаривала с Тельжаном:

— Папа, а когда мы поедem в аул? — спрашивала она нетерпеливо.

— Осенью, — отвечал удивленный вопросом отец.

— А когда эта осень наступит?

— Когда на деревьях пожелтеют листья.

Девочка непременно смотрела на растущие за окном высокие, в буйной зелени тополя и, догадываясь, что не скоро пожелтеют на них листья, умолкала и грустно вздыхала...

В такие минуты, радуясь, что дочь наконец-то заговорила, Тельжан с нетерпением ждал новых ее вопросов. Порой им удавалось поговорить по душам, и подолгу. Казалось, что Айжан начинает привыкать к своим родителям, новой обстановке. Но вскоре девочка снова заупрямилась.

Случилось это в воскресенье, когда всей семьей они пили чай на кухне. Айжан, по обыкновению, отломилa кусочек хлеба, но не стала есть, а как-то странно глядя на стоящий перед ней круглобокий чайник, вдруг неожиданно спросила:

— Папа, а когда мы будем пить чай из настоящего самовара?

Вопрос дочери застал Тельжана врасплох. Он даже вздрогнул от неожиданности. В слове «самовар» ему послышалось что-то далекое, знакомое с самого детства, родное, теплое, напомнило ему отчий дом. Повернулся было к жене, чтобы поделиться с ней самым сокровенным, неожиданно разбуженным в нем дочерью, но, увидев невольное лицо Гульсан, он запнулся.

— А что, тебе не нравится чай из чайника? — спросила она, не скрывая своего раздражения.

— Из такого чайника чай не пьют, — вполне наивно отрезала Айжан. — В чайнике только греют воду, чтобы ходить... э-э... — запнулась она.

— Что это ты мелешь? Где это ты видела? — испуганно взвизгнула Гульсан.

— У бабушки, в ауле... Бабушка сама говорила, если человек ходит во двор без чайника, он нечистоплотный — арам.

Тельжан не стерпел, проговорил в сердцах:

— Вот и услышала, чего желала, — и молча поднялся из-за стола.

Хотя и привели в замешательство обоих супругов слова маленькой Айжан, но к вечеру они забылись как-то, и все снова пошло своим чередом. Однако девочка, как ни странно, помнила все. На следующее утро, за завтраком, она снова, но уже с какой-то неприязнью покосилась на чайник и спросила снова:

— Папа, ну когда мы будем пить чай из самовара?

— Доченька, ну чем чайник хуже самовара? Какая разница, в чем кипятить воду? — ответил ей Тельжан, еле сдерживая свое раздражение.

— Нет, пить чай из самовара лучше, настоящее удовольствие получаешь. А еще бабушка говорила, что к самовару гости приходят, с гостями в дом — достаток и благополучие.

— Тельжан, пожалуйста, найди этот самый самовар. Достань хоть из-под земли. Может, и к нам гости зачастят, глядишь, веселее станем жить, — не без иронии сказала Гульсан.

В тот же день, обежав почти полгорода, Тельжан все-таки достал злополучный самовар. Увидев отца, торжественно поставившего на стол новенький, сверкающий никелем самовар, Айжан от радости захлопала в ладошки. Однако это длилось недолго. Едва приоткрыв крышку самовара, девочка умолкла, удивленно подняв глаза на отца.

— Папа, а где в нем труба, ну, где топят?

— Доченька, так ведь это же электрический самовар, и воду в нем кипятят током, — сказал Тельжан и суетливо стал разматывать пестрый шнур и вытирать пыль с самовара. — Сейчас мы сюда зальем воду, подключим его. Вот увидишь, не пройдет и пяти минут, как самовар закипит. А потом заварим и втроем будем пить душистый чай в свое удовольствие!

Как и было сказано, вскоре в самовар была залита вода, размотан шнур и включен в розетку. Довольный тем, что он сумел вроде бы успокоить дочь, Тельжан повернулся к Айжан. Девочка сидела с таким видом, будто ее лишили самой последней надежды. Она с рыданием бросилась в объятия отца.

— Бабушка!.. Наш самовар!.. — все твердила она сквозь плач.

В эту ночь в доме никто не мог сомкнуть глаз. Каждый думал о своем... Причиной тому был старый медный самовар бабушки Айжан.

Айжан и так не переставала думать о своей бабушке с первого дня своего приезда из аула в город. А сегодня о ней напомнил желтый старый самовар бабушки, из которого они не раз вместе пили чай. Стоит ей лишь закрыть глаза, как видит свою бабушку. Вот она, раскрыв свои объятия, бежит ей навстречу. Ей кажется, что бабушка тихо и ласково шепчет в ухо: «Ненаглядная моя, набегалась, умаялась, походи, пойдешь чаю попьюшь». От теплого дыхания бабушки Айжан щекоотно. Стоит ей вспомнить о чае, как ужасно хочется пить. Но она вытерпит, все равно, как бы ни хотелось, больше не станет пить чай из этого куцеого пузатого чайника. Тоже мне чай! Вот у бабушки был чай так чай. Какое удовольствие! Пей сколько тебе захочется — никогда не напьешься. Потому что чай из самовара всегда горячий и ароматный. Когда пила чай из бабушкиного самовара, у нее непременно потел носик, ей становилось жарко-жарко. Но самое главное — это рассказы бабушки за чаем. Бабушка не такая, как тетя Гульсан, которая сидит себе, словно истукан, только и знает, что чай вовремя разливать. Терпения не хватает. Бабушка — другое дело, она всегда разговаривала с ней, как со взрослой. Эй, старая, о чем это ты говоришь с внучкой? Ей ведь всего шесть лет, а тебе — шестьдесят шесть, интересно, — смеялся дедушка, порой вмешиваясь в их разговор.

— А с кем, как не с ней, разговаривать мне, кому, как не внучке, говорить? Поди, она только и осталась, остальные же разбрелись

разбежались по белу свету. Думаю, что разговоры мои не напрасны, может, что и останется в ее душе, может, что и запомнится. Ведь дитя же еще несмышленное, кто знает, кого ей доведется слушать после нас, — задумчиво отвечала бабушка и, сняв трубу, заносила в дом пыхтящий пузатый самовар. Старый желтый самовар с торчащими в разные стороны лопухами-ушками и затейливым узорчатым краником всегда стоял по правую руку бабушки. Он не переставал шуметь, беспокойно жужжать, словно шмель, и дома. Порой он так начинал пыхтеть клубами пара, что, казалось, вот-вот он затопает своими коротенькими ножками и сбросит дребезжащую крышку. Бабушка по привычке отворачивала краник и, добавив ложечку густого молока, начинала наливать в пиалу душистый чай. Ах, какое блаженство — пить чай из бабушкиного самовара!

— Настоящая наследница, ты посмотри, старушка, как она пьет чай! — восклицал в такие мгновения дедушка с неподдельным удивлением на лице. — Вот кому мы оставим самовар.

— Да, кто думал-гадал, что не найдется наследника на наш самовар, — горестно вздыхала в ответ бабушка. — Думала, вручу его в надежные руки, кому-нибудь из невесток порасторопнее, да, видать, не суждено сбыться моей надежде. Больно уж все современные, им по нутру все новое — самовар в тягость, тянутся туда, где полегче. На старое они носы морщат, не нравится им. В толк никак не возьмут, что настанет время, когда и старое пригодится. Да что это я говорю, сам же не раз видел, как невестка доит кобыл этим самым «апыратом». И название-то какое ужасное! Включит его, и сосут молоко до тех пор, пока не появится кровь. С коровами, бог с ними — они к этому как-то привыкли, а вот лошадь жалко. А я, глупая, им еще сабу свою отдала. А на кой она им? Разве могут они оценить ее по достоинству?! Выбросили, мол, за ненадобностью, а вместо сабы пользуются алюминиевыми кастрюлями. Да кто же будет пить кумыс, ежели он отдает железом? Спрашиваю: «Родненькие вы мои, что же это делаете? Да кто же так готовит священный напиток? А они смеются

надо мной, старой, отвечают, растолковывая, словно маленькому не-
смышленому дитяти: «Бабуля, времена сабы прошли, рады бы поль-
зоваться ей, но как же нам выполнять наперстками план?!» Самовар
боязно оставлять им. Ты думаешь, они сохранят его? Надейся на них!

Как бы ни вздыхала и ни охала, а самовар бабушка берегла, пуше
глаза лелеяла. «Самовар — падишах любого дастархана», — говори-
ла она. Ежедневно драила его, вытирая сверкающую огнем медь чи-
стой белой тряпочкой. Не раз гости дома узнавали, видя отливаю-
щие золотом отчеканенные на пузатом боку самовара пять золотых
медалей, какая честь выпала им — пить из легендарного самовара!
Однако никто в доме, даже и бабушка, не знал, когда и по какому
случаю он появился у них. Зато и бабушка, и даже маленькая Айжан
знают, что таких медалей нет ни на одном самоваре в их ауле. Айжан
уверена: самовар без медали — это плохой самовар. А из плохого са-
мовара и чай никудышный. Может, потому и частенько приходили к
ним в дом гости, чтобы попить чаю из самовара.

Действительно, что верно, то верно. Гостей в их доме всегда бы-
ло полно. Они никогда не переводились. Живущие в ауле приходили
пешком, кто издалека — приезжали верхом, на лошади. Одни при-
езжали, другие уезжали, третьи даже ночевать оставались. И всех в
этом доме привечали, будь то стар или млад. С утра и до позднего ве-
чера порой приходилось пыхтеть во дворе желтому самовару бабуш-
ки. «Гость в доме — уважаемый человек. Гостю оказывают почет, его
гнать нельзя. Таков обычай наших предков», — говорила бабушка.
Иногда разом съезжались дяди и тети Айжан, чтобы провести ста-
риков. Они еще с порога, бывало, кричали, что соскучились по ба-
бушкиному чаю из желтого самовара.

— Пейте, родимые, пейте на здоровье, — всё приговаривала до-
вольная и радостная бабушка, разливая в пиалы гостей душистый
чай, в который она не забывала положить щепотку гвоздики якобы
для лучшего вкуса. — Вот не станет меня, кто вас напоит? Остане-
тесь одни-одинешеньки.

Выпив пару пиалок, разомлев от бабушкиного чая, гости заводили неторопливый разговор, шутили, смеялись. Как всегда, тему разговора держала в своих руках тетя Кульзипа. И в этом не было ничего странного, ведь она же была самой старшей из невесток. В пылу разговора она порой забывалась, иногда даже набрасывалась шутливо на саму бабушку:

— Уйду да уйду! Что это ты вдруг нас пугаешь, старая, — хохотала она, заражая смехом и остальных. — Посмотри, сколько народу останется после тебя — целый лес. И если не желаешь, чтобы он высох на корню от жажды, передавай без раздумий самовар прямо сейчас в мои руки.

— Ишь, еще чего захотела! — осаживала ее бабушка. — И не стыдно тебе такие речи заводить? Живешь одна, бирюком, за целый день ведь никто не заглядывает в твой дом. А случись кто переступит твой порог, так у тебя же волосы дыбом встают. Зачем, спрашивается, тебе большой самовар, он только обузой будет. Тебе, милая, хватит чая и из чайника.

— Ой, ладно уж, мама, даже пошутить с вами нельзя. И зачем поднимать шум из-за какой-то рухляди? — обычно примирительно говорила тетя Кульзипа. — Одного я все не могу понять, почему это вы так вцепились в этот самовар?!

— Эх, красавица ненаглядная, тебе ли, не испытавшей холода и голода лихих годин, судить об этом, — распалялась бабушка. — Чего мы только не перевидали, не пережили за свой долгий век! А ведь были времена... Благодарю этот старый самовар, что в нем не затухал огонь, а то бы и мы с вами угасли. Помню, покойная мать когда-то вынуждена была продать за горсточку пшеницы все, что было в доме, однако самовара не тронула. К самовару приходят гости, а с гостями в дом приходит благополучие и достаток, говаривала моя мать. Слова мамы напомнили мне один случай.

...На дворе стояла весна. В доме у нас шаром покати, только и остались одни стены. Вся надежда была на возвращение из города

отца, уехавшего в середине зимы. Мы, трое голодных детишек, только и сидели с утра до поздней ночи у порога, вглядываясь в дорогу, по которой должен был возвратиться отец. Поставив самовар, мать, тоже молча, присоединялась к нам. Все глаза проглядели. Время от времени мама не забывала и о самоваре, подбрасывая чурки. И делала она это не затем, чтобы приготовить чай, а чтоб самовар дымил как можно больше. Ведь дым виден издалека. Однажды мы увидели на дороге одинокую фигуру путника. У всех у нас была только одна мысль: кто бы ни был этот человек, только бы свернул в нашу сторону, только бы зашел к нам!.. Почему-то я была уверена, что за пазухой у этого путника должна лежать горячая лепешка, и если он не завернет к нам, то будет очень обидно и больно. Человек, видимо, заметил дымок нашего самовара, остановился, немного постоял, опершись грудью на свою палку, как бы раздумывая, как ему поступить, а затем уверенно зашагал в нашу сторону. Был он ужасно худым, весь почерневший, с окладистой бородой. Его запавшие глазницы со сверкающими, словно из черных воронок, живыми зрачками говорили только об одном — о голоде. Встретившись с ним взглядом, мать молча смахнула ладонью набежавшие слезы и, поднявшись с места, пошла готовить ужин. Ужин состоял из двух ребрышек да старых костей, хранившихся еще с зимы. Все это мать положила в казан. Пока варился ужин, гость не произнес ни слова, все продолжал сидеть молча, с потухшим взором. Лишь когда ему подали пиалу сорпы, он востропел, на его запавших щеках заиграл слабый румянец. Затем, выпив пару пиалок чая, на самом деле кипятку, он молча поднялся и, опираясь на свою палку, ушел. Ушел, оставив нас без какой-либо надежды на завтрашний день. Отдав гостю последнее в доме, мать так и осталась сидеть неподвижно, уставясь взглядом в потухший самовар. На другой день у нас не было ни маковой росинки во рту. Казалось, что это конец... И когда мы уже вовсе потеряли всякую надежду и собрались спать, укрывшись старым полушубком, на пороге вдруг неожиданно появился человек. Спотыкаясь в тем-

ноте о порог, он шумно вошел в дом и с грохотом опустил на пол что-то тяжелое. Это был тот самый путник, что заходил к нам. «Ах, сестричка, если бы у всех было такое сердце, как у вас... Ох, доброе у вас сердце... Да ставь же казан, сестричка», — бормотал он, словно потеряв рассудок. Затем со слезами на глазах он начал обнимать нас, детей, дрожащими руками, целовать в лоб. Оказывается, повезло нашему гостю, в степи ему попался пойманный в петлю елик, и, благодарный, он принес его к нам...

Вот так, мои ненаглядные, всякое приходилось видывать на своем веку этому самовару. Потом наступили хорошие времена. Под этим шаныраком мы чтили, как подобает, наших предков, старших, не раз принимали и гостей, — словом, немало было радости и веселья. Но, как говорят в народе, нет тулпара, целого на все копыта, случались и печаль, и горе: провожали в мир иной родных и близких своих, дом оглашался плачем. Все-таки счастливых мгновений было много, вот и невестки ступали в дом через этот порог. Отмечали появление внуков и внучек. И свидетель всему этому — старый самовар. Для меня это самая дорогая вещь на всем свете, потому что он слышал не раз голос моего деда, из него наливали чай своим гостям моя бабушка. Почему же мне не ценить ее как священную реликвию? Сумеете обращаться с ним как подобает — он еще немало послужит и вам!

— Но ведь времена-то самовара ушли. Каждому времени к лицу свои вещи, — не сдается тетя Кульзипа.

— Э-эх, наступят и такие времена, когда серебро потеряет свою ценность, — всё может быть, не спорю. Неумно смеяться над старым, отжившим свой век. А то можно и не заметить, как со старым уйдет то, что может не прийти с новым. К чему я это говорю, дети мои? Чтобы вы научились отличать хорошее от плохого, прежде чем разбираться, что новое, а что старое. Вот чего бы я хотела пожелать вам! — закончила свой рассказ-притчу бабушка и, словно благословляя нас, выразительно провела ладонями по лицу: — И, пожалуйста,

не подумайте, что я поучаю вас. Я же ведь не ворона какая-нибудь, чтобы триста лет жить. Настанет время — и мне придется уйти на покой в мир иной. Человек на старости что дитя несмышленое, он становится не в меру болтлив, так и я. Так что, если не то сказала, не обессудьте, — добавляла бабушка.

Айжан особенно нравилось, когда бабушка брала ее за руки и говорила: «Идем». Потому что стоило только сказать бабушке эти волшебные слова, как они садились в маленький синий автобус, который один раз в день останавливался в их ауле. Айжан с бабушкой ехали в гости к родственникам. В гостях хорошо, а еще лучше, когда уезжаешь домой, — родственники дарят тебе подарки. Кто платье подарит, а кто игрушки. А сколько всяких конфет в красивой обертке! Просто глаза разбегаются. Да что там говорить! Ездить с бабушкой в гости — одна благодать. Но вот беда, почему-то бабушка в последний раз ушла, даже не предупредив ее. Папа говорит, что ушла искать ей елика с золотыми рожками. Так тоскливо становится у нее на душе, когда Айжан вспоминает свой последний разговор с бабушкой. Это было всего лишь за несколько дней до того, как бабушка ушла за высокие горы искать ей елика.

Они сидели за аулом, на зеленом холме. Над головой стояло синее-синее небо. В сизовой дымке были видны крыши домов, расположенных в низине аула. Издалека доносился шум реки. В руках у бабушки было веретено и комок белоснежного козьего пуха. Айжан сидела тут же рядом, чистила пух от грубых волосинок, а бабушка пряла. Невдалеке, на склоне холма, паслась их любимая белая коза, которую они с бабушкой каждое утро выгоняют с ранней весны пастись здесь.

— Апырай, неужели и в этом году не приедет? Нет, нет, должен приехать! Обязательно приедет!

— О ком это ты, бабушка?

— Да о твоём же отце, жеребеночек мой ненаглядный! — грустно говорила она.

Айжан знает, ее отец — это дядя Тельжан. Удивительный человек бабушка, раньше она все ругала дядю Тельжана, все говорила, что он растяпа, размазня и слабовольный человек, а теперь почему-то вспоминает о нем каждый день и ждет его с нетерпением, никак не дождется всё. Маленькой Айжан становится как-то не по себе, когда бабушка говорит про дядю Тельжана «твой отец», «твой папа». И видела-то она этого «папу» всего лишь раза два: первый раз он приехал зимой, один. Все куда-то спешил. Переночевал у них и утром уехал на синем автобусе в свой далекий город. Во второй приезд он уже был не один, а с какой-то тетей Гульсан. Она хорошо помнит: это было в позапрошлом году — гостили у них с бабушкой целую неделю. Весь день гости ворковали возле Айжан и положили ее вечером спать возле себя. Согласиться-то она согласилась, но среди ночи проснулась, расплакалась и стала искать свою бабушку.

— Эх, старая, напрасно я взяла тебя... Напрасно, напрасно, выходит... — вдруг начала бормотать бабушка.

С кем же она разговаривает? Айжан обернулась — кроме них, на холме не было ни единой живой души.

— Бабушка, это вы о ком? Обо мне, да?

Но бабушка всё молча продолжала крутить свое веретено, словно бы и не слышала недоуменного вопроса своей внучки. Затем снова начала вслух разговаривать сама с собой:

— Несчастное дитя, что же будет с тобой, когда закроются мои глаза? Как же признаешь мать и отца родными? Ведь толком-то и ласки родительской не знала.

Видать, твой удел — страдать до тех пор, пока все сама не поймешь сердцем. Бедный ребенок...

— Бабушка, о ком это ты жалеешь? — теряясь в догадках, маленькая Айжан крепко обняла бабушку.

— Да это я так, моя ненаглядная, просто так... Вспомнила ненароком о твоём отце... Ой, какая ты лохматая! Иди ко мне, верблюжонок ты мой, заплету-ка волосы я тебе, — сказала задумчиво бабушка и,

усядив ее на колени, неторопливо расплела распутившиеся косички, начала расчесывать волосы старой роговой расческой. Она уже не помнит, сколько времени длилось это приятное для нее занятие. как вдруг почувствовала: рука бабушки остановилась и расческа в мгновение скользнула вниз.

— Что случилось, бабушка? — обернулась в испуге Айжан и увидела, что бабушке плохо. Она сидела, опершись о землю, а другая ее рука покоилась на груди, на ее лице блуждала какая-то странная, виноватая улыбка. Вскоре, переведя дух, она слабо покачала головой. словно бы успокаивая внуку: мол, не пугайся, пройдет, только дай отдышусь немного.

— Не бойся, внученька, это просто дает знать о себе мое старое сердце, — проговорила она, глубоко вздохнув. — Семьдесят пять лет, няге, вот и умаялось, видимо. Тоже состарилось, порой так начинает стучать, что, кажется, вот-вот выскочит из груди. Наверное, неспроста, скоро уже... Пора, пора, наверно, в дальний путь собираться...

— Это куда же, бабушка?

Раньше бабушка как бы не замечала этого вопроса, но на этот раз она легонько положила свои руки на плечики Айжан и ласково протянула к себе.

— Помнишь?... Помнишь сказку о кийке с золотыми рогами?

— Да, бабушка, помню.

— Так вот, рано или поздно я, наверное, пойду искать для тебя этого кийка. Из города приедут твои папа и мама. Привезут тебе гостинцев: много-много конфет. Ты, пожалуйста, только не плачь и не ищи меня, хорошо, внученька?

— Не нужно мне никого, кроме тебя, и конфет не надо никаких!.. — заплакала в испуге Айжан, и бабушка, виновато улыбаясь, обняла и крепко прижала ее, маленькую, к своей груди.

На следующее утро Айжан проснулась от шума и гама... С улицы доносились чьи-то голоса, в доме хлопали беспрестанно двери... Откуда-то доносился женский плач... Спрыгнула было в испуге с постели и по-

бежала к выходу, чтобы узнать, что же это случилось, как на бегу ее подхватили чьи-то сильные руки. Незнакомец только и успел сказать: «Ребенка, ребенка унесите!» — как в дверях появилась их соседка — маленькая толстая тетенька, которая увела ее на улицу... Последнее, что она успела увидеть из-за широкого порога соседки, — это был их желтый самовар, валявшийся на боку возле самого порога дома.

...В окне, сверкая, словно начищенный бабушкин самовар, появился круглый месяц. Не спится Айжан. Уткнувшись в мокрую подушку, она лежит с открытыми глазами возле отца. Не спит, кажется, и он. А его какие мысли одолевают?..

«Чему суждено — того не миновать» — гласит народная мудрость. Видимо, не зря сказано. Да кто же думал-гадал, что мать их покинет именно этим летом? А ведь и не болела, да и никто не припомнит, чтобы она жаловалась на здоровье.

Всё он помнит, до сих пор стоит перед глазами эта картина... Когда они с женой наконец-то добрались до родного аула, дом был погружен в траур. Обе маленькие комнаты были полны народу: сидели старики-аксакалы, были здесь и пожилые — карасакалы, женщины и молодежь стояли. Когда они появились в дверях, тесноту многолюдья словно рассекло невидимой камчой — в толпе образовался узкий коридор. Сидевший на почетном месте в окружении аксакалов отец тяжело встал и, уткнувшись ему в грудь, сурово, по-мужски заплакал. Выплакавшись, он кивком усадил сына подле себя.

— Не исполнил всевышний моей просьбы, — сказал старик после некоторого затишья, не замечая своих слез, стекавших по седой бороде. — Только об одном и просил я создателя, чтобы не оставлял меня одного на склоне лет. Но не внял он моим молитвам. Бедная моя головушка, вот и остался один-одинешенек. Сорок лет прожили бок о бок со старухой, ни разу не называла меня по имени. А теперь вот ушла навеки...

Люди тяжело вздохнули. Плаксиво заплакала Кульзипа, сидящая в конце дастархана возле желтого самовара. Затуманились глаза

и у Тельжана. Частенько говорила мать: «Когда золото на руках — его не ценят». Прислушивался ли кто к словам матери в то время, вдумывался, какую мудрость они несут в себе? А какая мудрая была сама мать! Ведь каждый ее поступок, каждый шаг был наполнен глубоким смыслом. Даже одно то, что она обращалась к мужу не по имени, а звала его ласково то «старик», то «отец Тельжана», было неподдельным, искренним уважением ее к отцу. Но только ли этим одним отличалась от других его мать? Разве кто видел ее с непокрытой головой? Да и гость не покидал порога их дома с тяжелым сердцем! Разве повышала она когда-либо свой голос, проходя возле дома в трауре... Да, достойную жизнь прожила его мать! Только вот для одних это старые обычаи, а для других — воспоминания, щемящие до боли сердце.

— Смерть — это тяжелое горе, но у каждой своя печаль, сынок, — прервал тяжкую тишину дома сидящий рядом с отцом аксакал Нургали. — Случается, что погибает и юность в расцвете сил, так и не познав радостей и тягот жизни. Это, конечно, обидно до боли. Но в том, что человек отживает отмеренную ему жизнь, обиды нет. Таковы законы жизни и смерти. Но смерть не только уносит родного человека, но и приносит с собой горе и печаль. Что поделаешь, так уж суждено. видно, нам, грешным. Поплачем, погорюем, но мертвых не возвратит. И все же не так уж горестен уход расцветшего дерева, успевшего принести свои плоды, как и человека, достойно прожившего свой жизненный путь. С легким сердцем покинула твоя мать этот бранный мир. Как-никак сама свидетелем была, как сыновья встали на ноги, обрели свой дом, а дочери улетели в свои гнезда. Успела она понынчить и внуков с внучатами. Вот так-то, сын мой! Не печалься. Так уж суждено, всевышний забирает людей, а хорошие дела их и память о них остаются навечно с нами. Достойную жизнь прожила мать твоя. А потому и пользовалась любовью, почтением людей. Все здесь в ауле от мала до велика обращались к ней уважительно «апа». А раз так, то пусть доброе, что осталось после нее, будет в радость людям...

— Правильные слова говорит аксакал... — слышались возгласы.

— Пусть сбудутся твои помыслы, сынок... — Кульзипа принялась разливать чай, и вскоре по кругу пошли пиалы. С шумом отхлебнув чаю из очередной пиалы, Нуреке продолжил:

— Апырай, кто бы мог подумать, что за какие-то полчаса человек может закрыть глаза навеки. Как раз в тот день я спозаранку собрался искать свою серую кобылу. Поднялся было на холм, что за аулом, — гляжу, сидит старуха. Пригляделся — а это она, моя сверстница, хозяйка этого очага. «Эй, что это ты так рано взобралась на высокий холм? Небось своего старого ждешь не дожدهшься, больно уж на дорогу посматриваешь?» — говорю ей шутя.

«Да что там старик! Пропажу ищу... Все жду сына своего из города и овцу откармливаю для этого случая. А она, бестолковая, словно нарочно сегодня с утра запропастилась куда-то, — и так трудно, с передышками. — Состарились, видать, мы с тобой, Нуреке. С каждым днем тяжелее становится осиливать этот холм. Вот и сейчас никак не приду в себя, сердце чуть не вырвалось из груди, пока поднялась сюда». Не прошло и получаса, возвращаюсь назад верхом — вижу: она все на том же месте, только вот лежит как-то беспомощно, сердешная, да рукой все за грудь держится. Бледная, лица на ней нет. Не помню, как уж и сполз с коня, подбегаю к ней, а она только и успела пошевелить губами: «Старика... Позови...» Только и всего. Вот она какая, жизнь-то...

— И просьбы своей последней так и не успела высказать, эх, апа... — захлюпала Кульзипа, утирая слезы кончиком съехавшего на затылок черного платка.

В доме воцарилась мертвая тишина.

— Видно, догадывалась, что смерть близка, — нарушил ее отец. — Да, была у нее последняя просьба — похоронить на кладбище, что на вершине Каратумсука, рядом с предками нашими.

— Это дело нетрудное, — сказал аксакал Нургали, поглаживая седую бороду. — Кстати, и начальник сидит среди нас. Разве расстая-

ние — эти пять верст, если он даст нам машину?.. Верно я говорю, Султан?

Тельжан исподлобья украдкой посмотрел на рябого, располневшего не по годам джигита, оказавшегося почему-то на самом почетном месте среди аксакалов. Когда-то они с этим Султаном учились вместе. А теперь его и узнать-то трудно, так растолстел безобразно, что стал смахивать на торсык, набитый маслом.

— Значит, Каратумсук? — многозначительно переспросил Султан, нахмутив брови. Лоб его прорезала глубокая складка. — Каратумсук... Гм-м... На машине туда трудно будет добираться.

— Не машина, так трактор, может быть? Подцепим сзади тележку. Делов-то...

— Так-с, завтра рабочий день... Да, сложную задачку задали вы мне, однако.

— Э-э, милый, догадываюсь, о чем это ты вдруг задумался, — прервал его размышления вслух Нуреке. — По твоему разумению — зачем тащить старуху на гору, когда можно похоронить ее на кладбище, что рядом с селом. Конечно, с одной стороны, ты прав — ведь мертвому все равно, где лежать, везде одна и та же земля, но не забывай, что мы дети народа, который умеет испокон веков чтить умерших своих, уважать мать, прислушиваться к старшим. И покойная да будет земля ей пухом, была одной из тех, кто свято чтит и хранит обычаи предков. Поэтому просьбу ее последнюю мы, оставшиеся в живых, должны обязательно исполнить. Это не религиозный обряд, так что не бойся, это уважение памяти умершего, его потомков. Это наш святой долг.

— И что же вы хотите от меня?

— Дай нам трактор с тележкой завтра к полудню да джигитов двух-трех выдели — копать могилу. Только и всего, милый.

— Ладно, посмотрим, утро вечера мудренее, — буркнул Султан.

Пока закончили с мясом, прочли молитву и убрали дастархан, успели сгуститься сумерки. Остались лишь близкие родственники, да стариков-аксакалов пять-шесть. В правом углу, за красной шелко-

вой занавеской, — тело покойной матери. Чуть поодаль, поудобнее расположившись, старики повели неспешный разговор. В доме тихо, лишь временами потрескивает керосиновая лампа на печке. Разговор аксакалов печален и тих, как эта темная ночь: о старости, немощи, болезнях, о смерти и о том, что молодые забывают обычаи предков. Все почтительно слушают Нуреке. Аксакал, помянув еще раз о печальном событии, постигшем этот очаг, почему-то неожиданно завел разговор о далеком прошлом, о тех временах, когда народом правил хан Аблай:

— История эта произошла давно, когда земля наша была черна от пыли, а солнце стояло так же высоко, как ныне. Случилось, что скончался знаменитый бий Казыбек, прозванный в народе за поэтической дар и красивый голос Каздаусты — «Голосистый», — начал аксакал. — По обычаю в те времена наши предки хоронили своих знаменитых ханов, биев аж в далеком Туркестане — у мавзолея святого Ходжи Ахмета Яссави. Решено было доставить к этому благословенному месту и останки бия Казыбека. Но как? А произошло это в середине лета, в самый зной и жару — шильде. Расстояние от бескрайних степей Сарыарки, где скончался почтенный Казеке, до Туркестана покрывалось караваном лишь за полмесяца пути. Как же провезти в сохранности весь этот путь останки умершего? Но у народа, веками кочевавшего по необъятным степным просторам, не могло не быть своих секретов. Тело покойного было завернуто в свежую дубленую кожу, поверх нее обмотано белоснежной кошмой, водружено на носилки — зуза, и в сумерки, с вечерней прохладой, похоронная процессия во главе с батыром Болеком тронулась в далекий путь. Так они и шли всю ночь без остановок, а наутро, чуть забрезжила заря, караван остановился. Была вырыта глубокая яма, куда до вечера и схоронили труп покойного.

Днем караван отдыхал, набирался сил для ночного перехода, а в это время джигиты беспрестанно поливали кошму холодной водой... Э, вряд ли кто знает ныне об этом. Помню, как в молодости, когда пасли лошадей, день-деньской находились на солнцепеке. Обмотаем

посудину куском белой кошмы, смоченной в воде, до самого вечера вода в ней оставалась холодной как лед... Так караван батыра Болека, одолев бескрайние желтые степи Сарыарки, благополучно миновал знойные такыры Бетпакдалы и в один из дней достиг наконец подножия Каратау. Как всегда, была вырыта яма, куда опустили тело покойника. Не успели утомленные тяжелым ночным переходом люди расположиться на отдых, как раздались возгласы дозорного:

— Враг, враг идет!..

Действительно, из-за гребня ближайшего холма показались около ста всадников, несущихся на стоянку каравана. Людей охватила паника: кто бросился к коню, а кто начал искать свое копье. И в этой суматохе раздался зычный голос:

— Стойте!

Это был батыр Болек.

— Нечего бояться, возьмите себя в руки! Я немало видывал на своем веку. Пусть это даже разбойники ненасытные, что грабят караваны. Однако не припомню, чтобы даже и они могли переступить через тело покойника. Сохраняйте спокойствие, сидите и не двигайтесь.

Спокойствие людей на стоянке ошеломило, видать, нападавших, подскакавшие, осадив коней, затоптались, сгрудившись. Вскоре вперед выступил один из непрошенных гостей, видимо главарь, и, вздыбив жеребца, грозно крикнул:

— Эй, кто такие будете? Откуда и куда направляетесь?

И только тогда батыр Болек спокойно, с достоинством встал со своего места и ответил:

— Мы люди, сопровождающие бранные останки Каздаусты Казыбек-бия в места его вечного покоя.

— Эй, несчастный, что это ты мелешь, хочешь прикрыться именем бия? Нам все равно, кто у тебя там лежит в зуза, — Казыбек или кто другой. Сказал бы, что хороните человека... — и, круто развернув своего беспокойного жеребца, всадник из всех сил хлестнул бедное животное. За ним с гиканьем пустились и остальные всадники...

Вот какие были времена! Даже разбойники чтити умерших, а ведь у них ничего святого не было, однако и они не смели переступить через прах покойного... — закончил назидательно свой рассказ аксакал Нургали.

За окном прокричали первые петухи, начало светать. Ушедший просить трактор в конторе совхоза дядя Тельжана вернулся лишь к полудню. Вернулся он ни с чем. Оказалось, что Султана срочно вызвали в район, без его разрешения никто не посмел выделить под свою ответственность трактор. Да что трактор — и людей-то копать могилу едва нашли! Все на работе, все заняты, горит план.

Не ожидавший такого поворота, отец с глубокой тоской в глазах смотрит на вершину Каратумсука как на недостижимую людям высоту...

Там, на вершине Каратумсука, покоятся останки их предков.

До Каратумсука всего лишь пять верст...

Тело покойницы похоронили на ближнем к селу кладбище. Однако на похоронах побывали все, правда, кроме женщин и детей, — благо кладбище рядом.

В опустевшем дворе остался кипеть старый медный самовар с сиротливо торчащими в разные стороны ушками

Гульсан и не подозревала, что самовар успел весь выкипеть. Вместо того чтобы убедиться в этом и долить воды, она разожгла его. Затем, вспомнив о чем-то важном, она пошла домой и начала приводить себя в порядок. Не удержалась от соблазна: оттенила опухшие от слез и недосыпания глаза. Оторвал ее от этого занятия истощный голос Кульзиы — словно ее кто-то резал:

— Ойбой! Ойбой! Расплавился же, расплавился! — визжала она и, всплескивая руками, не переставала кружить вокруг самовара. — Потеряли самовар бабушки... Недоглядели. А где эта городская растяпа? Дура несчастная, разве понять ей, что она натворила. Ой, темнота дремучая! Да что она видела в своей жизни!

ДИДАХМЕТ АШИМХАН

— Сама дура! — вырвалось невольно у Гульсан, до сих пор подглядывавшей за ней в щелку двери. — Будто сама видела много в этой жизни? Да ты что видела кроме коровьего вымени?! Дура!..

* * *

На горизонте, сверкая золотом, словно начищенный желтый старый самовар, начало всходить огромное солнце. Тельжан, взяв в руки бидончик, торопливо засеменил в молочную, что за ближайшим углом. Сонная еще Гульсан прошлепала босыми ногами на кухню и воткнула в розетку шнур самовара. Потом, постояв в некотором раздумье, перелила воду из электрического самовара в чайник. Так будет лучше!

Перевод Алтынбека Сарсенбаева

Жумабай Шаштайұлы

(род. в 1950 г.)



Жумабай Шаштайұлы, прозаик и журналист, в 1989 г. заочно окончил филологический факультет Казахского государственного университета. Первая его повесть «Қияда» («В глуши»), которая позже переименована в «Аспан қора» («Небесный загон»), была включена в коллективный сборник ««Таң нұры» («Утренний свет»). Эта повесть свидетельствовала о том, что в казахской литературе появился новый талантливый прозаик. В первом его самостоятельном сборнике повестей и рассказов под названием «Қызыл қар» («Красный снег»), вышедшем в 1984 г., жизнь чабанов была изображена без прикрас, а характеры героев выписаны очень правдиво, за что автор был подвергнут резкой критике как искаживший «правду социалистической жизни». В вышедших позже сборниках повестей и рассказов «Жала мен нала» («Клевета и горе», 1987), «Біздің заманның Аязбиі» («Аязби нашего времени», 1997),

романе в двух томах «Жаңғырық» («Эхо», 2004) присутствовал всё тот же бескомпромиссный реализм, подтверждавший своеобразие почерка писателя, особенность его стиля. Этим объясняется то, что произведения писателя получили высокую оценку как литературных критиков, так и читателей. «Біздің заманның Аязбиі» («Аязби нашего времени», 1997) – это одно из тех редких произведений, где четко и убедительно показаны период застоя советской империи, образы представителей мелкой и крупной партийной номенклатуры накануне декабрьских событий 1986 г.

Помимо художественной прозы, писателем написано много публицистических статей и очерков, эссе, литературных портретов и воспоминаний. Все эти оригинальные труды автора вошли в книги «Жыр жолбарыс» («Песнь как тигр», 1996) и «Сарғайған парақтағы сағыныш» («Ностальгия пожелтевших страниц», 2016).

Ж. Шаштайұлы лауреат Международной премии имени Жамбыла и Международной литературной премии «Алаш».

Лауреат премии Президента Республики Казахстан.

Заслуженный деятель Казахстана.

То ли явь, то ли сон

Миллионер черного рынка — тезка хана Абылая, спавший крепким сном, — внезапно проснулся темной ночью от испуга. Комом подкатило к горлу сердце, готовое вот-вот выпрыгнуть из груди, дыхание сперло, на лбу выступил пот, и тело стало влажным. Он нажал кнопку настольной лампы, накрытой шелковым абажуром, и в глаза ударил яркий свет: крохотная часть, оторванная от копошащегося в своей мелочной суете и разбежавшегося врассыпную мира, не зная где укрыться, в суматохе спряталась в его зеницах. Не в силах поспеть за этой бешеной скоростью, от которой звенело в ушах, он порывисто вскочил с места. Словно пытаясь найти что-то, за что можно было бы уцепиться, чтобы успокоиться, он испуганно стал озираться по сторонам.

Вероятно, миллионеру — тезке хана Абылая — раньше не приходилось так пристально всматриваться в столь яркий свет, поэтому он долго еще пребывал в полной растерянности. Больше всего пугали замуренные глаза этой лицемерной особы с выпуклыми увлажненными веками. Все его тело пробила крупная дрожь от необъяснимого предчувствия: открой она глаза именно сейчас — он наверняка увидит в них пурпурно-огненные искорки злобы. К ощущению подавленности и одиночества присоединился холодок опустошенности, резким порывом повеявший из смутных глубин души.

Женщина лежала ничком, в чем мать родила, под откинутым ниже пояса покрывалом. Ее иссиня-черные волосы, спадавшие до плеч и белое тело бросались в глаза, но он лишь на мгновение скользнул по прелестям бесстрастным взглядом.

Не трудно догадаться, что тезку хана тоже звали Абылаем. Супруга Камилан недремно следила за каждым мужним шагом, не упуская из виду любую мелочь. Он, словно оставшийся ночевать с вечера гость, отчужденно осматривал мебель и обстановку вокруг себя. Свисавшие по всей окружности абажура мелкие, нанизанные друг на друга треугольные бусинки словно вырастали на глазах в своих габаритах и, казалось, спустя некоторое время могли обратиться в ледяные сосульки. Вдруг он вздрогнул, словно чистые, большие, красивые глаза его круглолицей с пухлыми щечками жены, выражавшие отчаяние и мольбу, с огорчением смотрели, вперились в него сзади.

Абылай беспокойно заерзал на месте и огляделся. Безмятежно спавшая женщина внезапно показалась ему дьяволом-искусителем, и он невольно бросил взгляд на стену, где висела волчья шкура, и терялся в догадках, не в силах различить: арлан¹ это или волчица. Волчья голова с ослабившейся в ехидной усмешке пастью словно с укором говорила ему: «Какой же ты слепец, никчемная двуногая тварь, какая от того выгода, если ты будешь знать об этом». Казалось, еще мгновение — и волчья шкура превратится в лисью. У него внезапно испортилось настроение. Не было желания даже выглянуть в окно. Вне всяких сомнений, там, в одной из иномарок, стоявших в просторном дворе, спал, на всю округу издавая мощный храп, его бритоголовый телохранитель, кряжистый, квадратный, с шеей, вросшей в чугунные плечи. Стоило заиграть хотя бы одному мускулу на мрачном, без единого проблеска теплоты, плоском лице бритоголового, как напрашивалось сравнение с кабаном, готовым с отчаянной смелостью наброситься на любого обидчика. В тот момент, когда большие карие глаза качка, вперились, смотрели на хозяина, возникало ощущение нарастающего смятения в душе. То, как этот невозмутимый от природы прохвост с хмурым выражением

¹ Самец, матерый волк.

выслушивал его распоряжения, глядя в одну точку, Абылай поначалу истолковывал как упертость и несогласие. Гораздо позже хозяин понял, что бедняга, привыкший смотреть смерти прямо в лицо, просто пытался скрыть свое внутреннее состояние. Да и не слишком ли въедливо копается он в привычках какого-то там охранника, пытаюсь тем самым успокоить растравленную душу. И вообще, если разобраться, какой он, к черту, телохранитель — обыкновенный мордоворот. Придя внезапно к такому выводу, миллионер — тезка хана Абылая, — как ему показалось, на миг развеял свои сомнения. Нажав кнопку пульта телевизора, он принялся переключать каналы. На одном из них кокетливо извивались в танце статные, как лани, похотливо-страстные женщины, готовые на любые плотские утехы. Но и эти страсти не только не возбудили его, а даже не взбодрили и не вывели из того жалкого состояния, в котором он сейчас пребывал. Тезка хана Абылая, по-кошачьи беззвучно ступая, подошел к круглому зеркалу, висевшему над тем углом, где лежала женщина, и столкнулся со своим собственным отражением, не очень-то похожим на внешний облик казаха. Его иссиня-черные волосы местами были тронуты легкими белыми мазками, а кончики его свисавших с усов поседали. Удлиненное овальное лицо выглядело уставшим. Глубоко посаженные карие глаза без крохотной искорки милосердия были почти безжизненными. И без того крупный нос с горбинкой делал его лицо несколько выпуклым. Хуже всего, что безупречную некогда темно-коричневую кожу проклятые морщины избороздили так, словно по лицу прошел плуг надвигающейся старости. Не в силах далее терпеть это зрелище, он выключил свет, и, когда снова невольно глянул в темное зеркало, то там загадочно, как на негативе, проступили очертания контуров его лица.

Абылай переключился на другой канал и как будто оказался в зазеркалье: на экране на широченной постели безмятежно спала обнаженная женщина. Толстопузый тип, с бычьей шеей, в темном костюме, в белоснежной рубашке, при галстукe, явно спешил удалиться по

своим срочным делам. Подойдя к двери, он замешкался, взялся было за дверную ручку, оглянулся на женщину, вернулся к постели и поцеловал спящую в ягодицу.

«Мать твою! Что за свинья!» — брезгливо скривил губы Абылай и выключил телевизор.

Тревожное биение бешено бьющегося сердца в этой установившейся гробовой дремотной тишине показалось ему похожим на громкое тиканье часов. Облик экранного героя, целовавшего ягодицу, внезапно совпал в воображении с внешностью телохранителя и моментально вызвал в нем смутное сомнение: «Возможно, и он проделывает такие же фокусы?» Абылая вдруг охватило непреодолимое желание испытать, а не является ли это неким знаком близости для баловней судьбы. А почему бы и нет? Он пониже приспустил одеяло. Округло выступавшие, подобно двум верблюжьим горбам, упругие ягодицы пышнотелой особы отнюдь не являлись запретным плодом. Из-за возникшего желания миллионер, тезка хана Абылая, ощутил себя нарушителем неведомых границ. Что за дикая прихоть? Да еще в тот момент, когда его тошнит от всех самок до единой! Разве у него не имеется в каждом ауле, в районе, в городе по собственному дому. Стоит лишь молвить — и в каждом из них поселится нежное создание и по первому зову станет исполнять все твои капризы с сучьей готовностью. Рановато ему лишать себя привычных сладких удовольствий, не собирается он менять свои желания и привычки. Но если бросить всё к чертям собачьим — вновь окажешься в плену прошлых лет, зацikliшься на образах силуэтов минувших дней, проходящих перед мысленным взором, и потонешь в угрюмом безмолвии.

* * *

Лежа на спине, потомок хана принялся рассматривать резные узоры на потолке, пытаясь сосредоточиться на какой-нибудь мысли. А по достоинству ли был оценен им труд художника, с которым он рос вместе с детских лет? И как только он раньше не замечал скру-

пулезно и столь детально выполненные фигурные орнаменты. Богатство как приходит, так и уходит. Даже после его смерти эти гармонично сочетающиеся узоры так и останутся в неизменном виде. Думал ли, гадал ли он когда-нибудь прежде, что художник, пугливо смотревший на него вечно хлопающими глазами, оставит после себя такой впечатляющий след. Однако настолько ли этот умелец достоин его благосклонности, даров и ласки? И что за мысли стали приходиться в голову миллионеру черного рынка? Где сон, где явь? Он тяжело вздохнул, как человек, которому всё надоело и он смертельно устал.

С тех пор, как из-за пагубного влияния Бахуса Абылай сбежал от жены, от детей и разом очутился в Алматы, прошло чуть более десяти лет. Поначалу водил такси. Это были времена, когда каждый Божий день требовалось — кровь из носа — выполнить план. Коренастый, квадратного сложения амбал — начальник таксопарка — оказался ненасытным малым. Аппетиты его росли не по дням, а по часам, и вскоре он перестал удовлетворяться перепадавшей от ежедневной выручки мздой. Мог рявкнуть по рации среди ночи: «Буду там-то, свяжешься во столько-то, отвезешь домой». Абылай обижался: «Да пропади оно пропадом, такое родственное участие ко мне!» — но старался свыкнуться и не выдавать своего недовольства. «Если угодишь — выделю новую машину», — талдычил начальник.

Не обращая внимания на успевшие набить оскомину вечные обещания, Абылай продолжал крутить баранку.

«Эй, голова твоя садовая, ты понял меня?! Говорят, пращурь мои твоим предкам немало обид причинили когда-то. А не копишь ли ты на меня свою злобу, не держишь ли камень за пазухой?» — съехидничал как-то начальник и расхохотался при этом. А таксист толком-то и отца своего не помнил, не говоря уже о прадедах, чуточку менее удачливых, чем предки этого коренастого ублюдка, позлорадствовавшего: «Ты даже сына родить не смог. А без наследника — конец вашему роду!»

* * *

Но с чего бы это миллионер, тезка хана Абылая, лежа рядом с молоденькой женщиной в отдельно выстроенном особняке, спустя столько времени загорелся вдруг чувством мести за брошенную начальником городского таксопарка с пренебрежением насмешку? Сейчас он даже представить не мог, что какой-то амбал мог столь высокомерно унизить его: «Эй, а был ли у вас в роду кто-нибудь, кого добрым словом помянули в народе?!» Ему бы плюнуть и уйти, но Абылай почувствовал себя совершенно никчемным среди сородичей человеком. «А ну-ка, гони своему старшему родичу сегодняшнюю выручку, всю до копейки! Обрадую свою женге, что ждет меня дома, подниму ей настроение». Абылай обернулся. «Смотри вперед, собьешь кого-нибудь», — злобно крикнул ему коренастый увалень. «Клиентов нет, брат. Как бы бензин сегодня оправдать», — пробурчал таксист. «Вот оно что! Вывернулось твое гнилое нутро наружу. Не пытайся перечить и приbedняться! Спрячь привычки своих предков! Не я ли тебя на улице подобрал, когда ты скитался здесь в поисках работы. Таких слоняющихся без дела казахов, как ты, в Алматы полным-полно». Абылай попытался было дать волю своему гневу, но вновь малодушно промолчал в ответ.

«Тормози! — заорал в этот момент амбал. — Слушай меня внимательно. Любой таксист в нашем парке при любом удобном случае готов мне услужить. Но не знает, как подойти ко мне. Я тебя пожалел, как родственничка, а ты, оказывается, тварь неблагодарная, добра не помнишь, исчезни с глаз моих, чтобы духу твоего здесь не было!»

* * *

Миллионер, тезка хана Абылая, насторожился, словно до ушей его вновь явственно донесся тогдашний крик начальника таксопарка, который бывший таксист снес молча. Сейчас жизнь того начальника стоит дешевле собачьей. Вряд ли с тех пор дела амбала пошли в

гору. Отправь он к нему сейчас пару нукеров¹, при одном лишь упоминании имени которых дитя в колыбели плакать перестает, как тогда этот упырь запоеет? Залепечет, мол, лукавый попутал и слезно взмолится перед смертью или разом обломится, подобно развесистой сосновой ветке? Однако едва ли сейчас встретишь таких земляков. Многие из его окружения похожи на лошадей, вырвавшихся из конной упряжки. Работать толком не работали, с женами разведены, одни судимы, другие еще те пройдохи, прошедшие Крым, рым и медные трубы. Не раз ему за них приходилось краснеть под придиричивыми взглядами окружающих. Этот неотесанный мужлан, что сейчас охраняет его, сидя в иномарке, стоящей во дворе, отпеченный конокрад, не знавший меры и угонявший лошадей у незащищенных степняков. Попади хозяин завтра в какую-нибудь серьезную переделку, все они готовы будут наброситься на него и растерзать в клочья. Если подумать, он сам познал нужду, но ведь не умер, а если нажитое им — есть богатство, какой же тогда от него прок, когда оно постоянно причиняет ему одно беспокойство. В сознание закрадываются тревожные мысли, от которых на душе становится зябко, и кажется, что весь мир наполнен вероломством и подлостью, и хочется сломя голову бежать туда, где его никто не увидит и никто не услышит. Неужели все денежные люди чувствуют то же самое или они из другого теста слеплены?

Взять того же Жорабая, который пытается доказать свое превосходство и ходит вечно довольный собой. К тому же и мать родная все уши прожужжала, не уставая подливать масла в огонь и постоянно твердя: «Ты не пытайся обскакать Жорабая. Его предки без угрызений совести ели околевшую скотину, приговаривая: «Пусть и поганой смертью подохла, но паслась-то она на чистом пастбище². Если

¹ Воин личной охраны; человек из свиты; здесь употреблено в значении «громила».

² Здесь идиома, означающая «ничем не брезговали на пути достижения богатства».

хочешь знать, им на роду написано всегда выбиваться из грязи в князи¹». В такие моменты он пристально всматривался в лицо матери, словно видел ее впервые. Несчастливая мать стояла, затаив дыхание, и, робея перед грозным видом своего сына, отводила глаза. Хотя всё у сына, казалось бы, шло благополучно, но отчего же тогда лица матери и жены постоянно выражали неизбывную печаль, будто предчувствовали что-то недоброе? Или это была не печаль, а затвердевшая, заледеневшая обида, прочно засевшая в сердцах? Стоит лишь вдруг на исхудалом морщинистом лице матери на миг проблеснуть светлому выражению нежности, как он тотчас чувствовал некое облегчение, будто вся грязь смывалась с души.

Мать долгое время проработала учительницей начальных классов, может быть, поэтому в облике самого близкого на свете человека порой появлялось укоризненное выражение, с которым обычно сверху вниз смотрят на двоечника с плохим поведением? Выгоревшая рябь от оспинок на ее лице, казалось, покрылась красными пятнышками, словно от недавно заживших мелких волдырей. У всех ее родственников, которых стороной обошла оспа, лица были бледными, без единой кровиночки. Говорят, отец был весьма видным мужчиной. И как только незабвенного родителя могла прельстить рябая женщина? Хотя потомку и претили грешные мысли, но не было сил сдержать нахлынувшие мысли, и он лишь усмехнулся про себя. «О, несчастный плебей, разве у тебя самого жена лицом пригожа?!» Неожиданно в нем пробудилось недоброе предчувствие, которое привело его одинокую, неприкаянную, оторванную от людей душу в полное смятение. Ему почудилось, что в спину вперились теперь уже полные горечи глаза матери. Мурашки от этого у него по спине не поползли, но казалось, что потерявшие живой блеск материнские очи были залиты слезами разочарования. «Сынок, тебя

¹ Применена идиома на казахском: «Олардың тұқымына білсең, қарақазандық жаққан», что в прямом переводе означает: «Им всегда приходилось перебиваться с хлеба на воду, но они всегда выбивались в богачи».

поддерживает и направляет аруах¹ деда твоего Шикила. Да не в обиду твоей самодовольной душе это будет сказано. Хотя покойный и пользовался большим влиянием среди людей, но был человеком простодушным и никогда не зазнавался». Странно то, что, являясь учительницей в эпоху безверия и безбожия, она имя Сарыбая все не произносила, дав ему прозвище Шикил. Благодаря этому дед представлялся внуку рыжим стариком с багровым от возбуждения лицом, со вздувшимися венами. Да и все без исключения сторожили никогда не называли его Сарыбаем, но по сей день с почтением отзываются как о Серекене².

Если бы все, кто нажил богатое состояние, обладали святостью, то, наверное, и предок Жорабая, имеющего табуны лошадей и отары овец, тоже был бы отнюдь не простым человеком? Но пусть он оглохнет на оба уха, если слышал, чтобы о нем отзывались с уважением. Недаром сказано: слухами земля полнится. Говорят, если в дом к ним случалось нагрянуть гостям, молодухи из числа домочадцев начинали хлопотать: наполняли большой чайник водой и разжигали огонь в очаге, — дед Жорабая хмурил брови и грозно прикрикивал на них: «Вы что, хотите им водопой устроить?!» Иногда тезка хана Абылая испытывал полную растерянность, не зная, верить или не верить такой вопиющей скупости в роду Жорабая. Стоило тезке хана испытующе глянуть на Жорабая, как у того губы вытягивались в трубочку, а крохотные барсучьи глазки начинали поблескивать из-под припухших век. Даже выказывая свое расположение, Жорабай поворачивался всем телом, словно коварный хищник, становясь приземистее и уменьшаясь в росте, при этом сверкающий в темно-серых глазах лучик долго не рассеивался. И вдруг лицо собеседника озарялось улыбкой, словно он собирался рассказать нечто занятное. Слегка зажав между двумя пальцами кончик сигареты, словно это был

¹ Духи святых, духи святочитимых предков.

² Уважительная форма обращения к старшему по возрасту человеку с оттенком почтения и благоговения перед ним. Буквально «наш Сарек».

ЖУМАБАЙ ШАШТАЙУЛЫ

очень дорогая для него вещь, Жорабай с деликатной аккуратностью подносил ее к губам. С изящной неторопливостью затянувшись, он с наслаждением выдыхал дым и становился багровым, будто наливался решимостью. Именно в такие моменты Жорабай заводил один тот же разговор: «Помяни мое слово, я еще попытаюсь отсудить у нынешней власти тысячу-другую лошадей, отобранных у моего деда проклятыми большевиками. Если начнут продавать землю, я приватизирую принадлежавшие моему роду жайляу и кыстау¹». Сам при этом был подчеркнуто сдержан и спокоен. Во всем его самодовольно-упитанном облике сквозила абсолютная уверенность, не омрачаемая тенью сомнений и переживаний. Похоже, этот тип не имел привычки всю ночь ворочаться, страдая от бессонницы, и слоняться из угла в угол, не находя покоя, подобно ему, Абылаю.

«Ты собрал вокруг себя всех своих бывших собутыльников. Стоит тебе отлучиться, как все уходят в загул. Никто из них не сочувствует тебе и не хочет помочь, пока ты не прикрикнешь. А ты посмотри на сверстника своего Жорабая, вроде бы ничем не лучше тебя, зато деньгами не разбрасывается и никому не угождает. Ничего не скажешь, крепок и тверд джигит, как камень», — со вздохом и горечью укоряла мать.

* * *

Сказанные некогда слова о «бывших собутыльниках» всё еще щемящей болью пронзают сердце. Поедом ест не то, что он когда-то, бросив жену и детей, подался, надеясь на авось, в Алматы, а то, что опустился ниже плинтуса. Когда Абылай выезжал на очередную смену, то вновь и вновь старался забыть о самодурстве несносного амбала. В условленное время заводил мотор и спешил, как влюбленный на свидание, туда, куда стекались люди. Но и там находились *свои* амбалы, которые устанавливали *свои* законы. К тому же законы эти

¹ Жайляу — летние пастбищные угодья, кыстау — зимнее становище и зимние пастбищные угодья.

были непредсказуемы, мягко стелили — да жестко было спать. Особенно тот рыжий нахал. Ну чем не айгыр-саурык¹, ревниво стерегущий свой косяк. Когда рыжий начинает материться, мешая казахские и русские бранные слова, то молит Бога, чтобы в этот момент он никому из односельчан на глаза не попался. «Эй, колхозник, — раздувая ноздри и вытаращив глаза, обращается он к таксисту, — твое место с левого краю, а не “где хочу, там и стою”. Здесь наглость не прокатит и потакать твоим капризам никто не собирается. Вали отсюда!» Когда рыжий орет на него, как на прилюдного пса, и встает над ним на дыбы — глаза Абылая становятся холодными, как клинок. Встретясь ему этот отморозок где-нибудь в уединенном месте — он на раз-два разобрался бы с ним по-мужски, а сцепись сейчас — стая прихвостней порвет правдолюбца, как тузик грелку. Ничего не поделаешь, придется встать в конец очереди.

А из репродуктора со стороны вокзала доносится песня: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»

* * *

Миллионер, тезка хана Абылая, лежа в одной постели с молодой девицей, уже ставшей для него еще одной обузой, вспоминал о той поре, когда был таксистом, и совершенно расчувствовался, еще раз ощутив свою тогдашнюю беспомощность. А тут еще и сомнение, закравшееся в душу оттого, что не смог удовлетворить свою неумную похоть. Как-то Камила не выдержала сжимавших душу тисков разочарования и отчаяния, ее волоокие глаза набухли от слез, выражая мольбу: «Чем продолжать любви отраву пить, не лучше было б юной умереть». Горячая волна впервые вспыхнувшего чувства волной захлестнула сердце, и глаза его повлажнели, словно их омыла роса.

«Дородную ты выбрал себе жену! Даст бог — нарожает тебе кучу пухленьких детишек». Кто же произнес эти слова? Не мать ли? Нет.

¹ Молодой жеребец, впервые используемый как производитель.

с чего бы это матери, находясь в здравом уме, завидовать собственной снохе. Наверное, ляпнул это с бухты-барахты тот, у кого язык без костей? То ли по молодости, то ли по неопытности, он надолго уверовал в эти слова. Сейчас ему до боли стыдно за самонадеянность. Смотреть на женщину столь пренебрежительно ...

Три или четыре года спустя он в шутку брякнул: «Смотри, какая стайка девушек кругами ходит! Видно ждут, когда я их в жены позову». Его уже зрелая к тому времени жена не растерялась и, бросив на него исподлобья недобрый взгляд, сказала: «Вот о чем, оказывается, ты мечтаешь. Тогда чем я лучше бабы, живущей без мужика. У детей, глянь, вся обувь изнасилась. Мы — в долгах, как в шелках. Ты это хотел узнать, так выслушай меня до конца».

Он готов был провалиться сквозь землю. Он замер и застыл, по-нуро склонив голову. Хотя и не удивился резкой прямоте ее слов. Больше всего испугало возникшее между ними отчуждение, недопустимое в отношениях супругов. «Чем прозябать так, словно находясь ни среди живых, ни среди мертвых, лучше раз и навсегда остаться вдовой», — выдала она ему по полной. И разве станет Камила после всего этого молиться богу за его здоровье?

Доброта бескорыстного друга — бедняги Берегена¹, много раз протягивавшего руку помощи в тяжелые времена, — в конце концов поросла быльем и была забыта. Друг стал рабом, выполнявшим всю тяжелую работу по дому, а жена друга — служанкой. И вроде бы неловко теперь перед Берегеном, с которым рос вместе с малых лет. А с другой стороны, разве может быть иначе в это бешеное время? Когда Береген бывает здесь, хозяин поздоровается с ним второпях и делает вид, что спешит по неотложным делам. Не обращая на него никакого внимания, Камила с недовольным выражением

¹ Имя «Береген» в переводе означает «щедрый», «безотказный» и фигурирует в этом произведении не случайно, ибо несет определенную смысловую нагрузку. В конечном счете, щедрость Берегена так и не была оценена его другом — главным героем рассказа Абылаем.

на лице находит любую причину послать подручного куда-нибудь: «Приведи-ка ребенка из школы». Абылай скажет, бывало: «Эй, Беке, подожди чуток, чаю вместе попьем. Мурат с друзьями поиграет», — Камила покосится на мужа злыми глазами, явно намекая: не встревай не в свои дела, сиди да помалкивай, — и скажет: «Сания в школу может опоздать, в этом доме еды на всех хватит, вот вернется и потом сядет за стол». И Береген, как бы извиняясь перед другом, промямлит: «Абеке, ну, я пойду», — и словно школьник, поглаживая голову, проворно выбежит из дому. А Камила ворчит да выговаривает: «На всем готовеньком живут: в этом доме для них все задарма — питье и еда, обувь и одежда. У них, видать, нутро бездонное, сколько ни давай — все мало».

«Как тебя разбирает! — в свой черед думает муж. — Только послушать несчастную, с каким гонором она говорит об этом! Забыла, видать, как в голодные годы жевала вареную кожу с бараньей головы».

«А эта козьеголовая берегеновская баба даже уборку в доме толком сделать не может, чтоб ей пусто было!» — продолжает ворчать Камила, вытирая рукою пыль со стола и размазывая ее вдоль и поперек.

Миллионер, тезка хана Абылая, давно решил про себя, что это со стороны жены настоящий грех. Бывало, если он на худой конец пытался пристыдить зарвавшуюся супругу, она по устоявшейся уже привычке гневно обрывала его попреком: «Ты вначале со своими бабами разберись!»

* * *

Сон в руку — вспомнилась родная мать. В непроглядном мраке безмолвной до звона, жуткой ночи громко и четко прозвучал из прошлого ее бесноватый крик: «Эй, кейкуат¹, всего лишь семь дней, как

¹ Здесь имя положительного героя — доброго пастуха Кейкуата, помогающего батыру Алпамысу из одноименного эпоса, — используется как имя на-

ты достиг совершеннолетия!¹» Как только бедная женщина, плача и причитая, начинала заводиться, насылая проклятья, ему казалось, что именно он, единственный, является бичом божьего мира. Когда он возвращался домой после недельного загула, мать сетовала: «Да лучше бы я была бездетной, чем возиться с этой оравой придурков». И тут наступала очередь покойного мужа. Начиналось перемывание сгнивших в гробу костей. «Заставил меня нарожать кучу детей, а сам взял да и умер. Бедная моя золотая головушка, кто только надо мной не потешался, не измывался, а я в люди хотела вывести этих оглоев, выучила-воспитала их! Желала, чтобы они ни в чем не нуждались, были ничем не хуже других. Напрасно, выходит, унижалась да кланялась. Даже курносому Жакану во всем потакала, делала все, что он велит, исполняя любые его прихоти».

Тут миллионер, тезка хана Абылая, невольно вздрогнул. «Как это понять, что она курносому Жакану во всем потакала, делала все, что он велит? Выходит, мать мою никто ни во что не ставил, вплоть до курного Жакана?»

Он задохнулся от того, что именно сейчас надумал отречься от всего мирского и суетного.

* * *

Пронзительно заныло сердце, будто непроглядный мрак поклялся не проливать в его душу ни единого проблеска света и сотворил все, чтобы никогда не забрезжил рассвет. Вся выпитая до этого времени водка, все выкуренные сигареты уже не раз доводили Абылая до больничной койки. Хотя с акмагамбетом² он распростился уже раз и навсегда, но как ни пытался, а с куревом не завязал.

рицательное. Камила говорит это в упрек своему мужу, который, по ее мнению, облагодетельствовал Берегена.

¹ Камила так дает понять: ты, мол, волен теперь поступать, как тебе заблагорассудится.

² Так в шутку именем нарицательным называют в народе водку.

Удивляясь тому, что выдержал столько времени и до сих пор еще не задымил, Абылай включил лампу. Стоявшие на журнальном столике бокалы с налитыми в них гранатовым и апельсиновым соком, отливали золотистым и пурпурным цветом. Он вытащил сигарету из пачки, на которой изображен бредущий по безлюдной пустыне нар — одногорбый верблюд. Прикурил и тяжело вздохнул. Умеренно терпкий вкус табака, казалось, сдерживал поднимавшийся из груди дух опустошенности.

В тот день, когда он слился телом к телу и прикоснулся лицом к лицу с этой женщиной, он так и не смог сорвать невидимую ширму холода и отчужденности, вставшую между ними. Хотя ему и нравились женщины длинношеие да стройные, он невольно подумывал, что уж больно они молодые да ранние. Из-за таких, на его взгляд, можно было потерять последние проблески чистоты, сохранившиеся в этом вероломном мире, поэтому чувство внутренней безгласности овладевало душой и вызывало сопротивление.

И впрямь, он до чертиков обрадовался встрече с обладательницей задумчивого белого лица с поблескивавшими черными глазками, выражавшими печаль и трепетную нежность. Поначалу она стеснялась, робко сопротивлялась, почти теряя сознание, пока не уступила его желанию, и заставила поверить, что сгорает от стыда. И вот тогда, поддавшись слабости, он растрогался так сильно, что попытался выплакаться вволю и напроочь забыть обо всем на свете. Помнит только неодолимое желание излить на это создание, показавшееся беззащитным, словно детеныш елика¹, всю скопившуюся нежность. Через некоторое время она чуть ли не плача простонала «жаным²», и вибрирующие колебания ее голоса огласили всю комнату и аукнулись по всем углам. Вначале пламя страсти в нем горело не затихая, потом вдруг в сознание проник некий холодок и стали неметь виски, будто к ним приложили крохотный кусочек льда.

¹ Косуля.

² Душа моя.

Перевалив за сорокалетний рубеж и разменяв пятый десяток, он так и не поумнел, и вновь обманулся в своих ожиданиях. Объездить столь ненасытную кобылицу могла лишь необузданная сила. Она металась, словно собираясь погибнуть в огне, и покрывала поцелуями его грешное тело. Хотя партнер и сдерживался, чтобы не перейти незримую грань, отделяющую человека от животного, но голова закружилась, и ему показалось, что он стремительно падает в пропасть.

Наконец они обессилели и отпрянули друг от друга. Фурия силилась отдышаться, грудь ее вздымалась, словно кузнечные меха, тонкие ноздри трепетали, огненно-красные искорки гасли, и глаза затуманивались пеленой.

«А ты, случаем, не шлюха?» — подумалось ему, а вслух сказалось: «Но ты даешь!» И заметил, как у неподвижно лежавшей женщины слегка задрожали ресницы, ее бескровное лицо застыло. Похоже, она была огорчена тем, что ненароком выдала себя, и теперь лежала, словно умершая, не говоря ни слова в ответ.

В последнее время его стала беспокоить бесцеремонная назойливость девицы, и он не мог избавиться от чувства, что осквернил не столько свое тело, сколько душу. Его постоянно тошнило, и першило в горле.

* * *

Абылаю стала сниться сказочная искусительница-пери¹, она являлась по ночам и принималась щекотать горло неведомой былинкой. Тотчас перед мысленным взором возникала склонившаяся над ним Камила и, печально глядя своими волоокими глазами, шептала: «На тебя навели порчу, ты заболеешь не только сам, но и меня погубишь, сходи к мулле». А былинка, без конца шевелившаяся у него в

¹ В мифологии народов Востока фантастические существа в образе прекрасных девушек. Эти сверхъестественные существа оказывают помощь своим земным избранникам, с которыми могут вступать в брак и рожать от них детей, и наделены такой силой, что в схватке могут победить демонов и джиннов.

гортани, в тот же миг будто превращалась в кишащий червями клубок, и мерещилось: стоит ему только открыть рот, как ползущие твари начнут, извиваясь, вываливаться из нутра.

* * *

И вот, после того как амбал вдоволь откатался на костях его самолюбия и чести и отправил его по непечатному адресу, Абылай, дав волю своему гневу, нажал на газ и помчался с бешеной скоростью. Возникавшие, словно призраки, то там то здесь люди махали руками, мелькали перед ним и тут же исчезали. Он миновал крутой спуск с возвышенной части города и невольно сбавил скорость. Эх, как в этот миг ему хотелось заехать в уединенное место, напиться водки и отоспаться как следует, распластавшись на траве всем телом. Но если он сдаст смену, то придется идти пешком, чего ему очень не хотелось.

Душила обида: кем себя возомнил этот амбал? Сжимая баранку все крепче и крепче, он представлял себе, как берет за грудки этого упыря, впивается пальцами, словно когтями, в его горло и душист, душист его до умопомрачения!

Когда Абылай увидел в зеркале обзора, как мышцы на его скулах заиграли-забегали желваками, а горящие огнем зрачки заискрились, — он горделиво усмехнулся. В глазах блеснул свет, и ему подумалось, что таким смуглым, таким мужественным лицом могут обладать только бывалые люди. Гнев придал лицу воодушевление, исполненное дерзости и развеявшее его первоначальную робость. Но выражение излишней заносчивости и показного бахвальства словно он и вовсе не бросал жену и детей и не был проклят незабвенной матушкой, заставило его взглянуть на себя трезво и ощутить беспокойство от собственной бравადы.

Покойная мать все уши прожужжала о том, что самолюбование и желание причинить кому-нибудь зло и вред ни к чему хорошему не приведут, потому что такой человек когда-нибудь обязательно пострадает и сам.

Миллионер, тезка хана Абылая, горько усмехнулся: сон правду скажет, да не всякому. Удивительно, насколько же прочна и нерушима надежда. Ведь кем он был когда-то? Всего-навсего водителем такси. Наверняка разбогатевших на этом и наживших себе состояние днем с огнем не найдешь. Виданное ли дело — извлечь выгоду, копя копейки. Он прикурил еще одну верблюжью сигарету. Легкая вещь, запыливается сразу же, словно конский кизяк, и выкуривается очень быстро. Внезапно подумал о том, что прошло два-три дня с тех пор, как он не видел своих тазы¹. Он явственно представил себе вздувшиеся разветвленные красные вены гончей, что была пегой по окрасу, представил ее круглые черные зрачки с застывшей в них безысходной тоской от недостатка внимания к себе. Достойно удивления то, что даже в собаках есть некая притягательность, сродни праведности. Ну до чего же мы бестолковы, когда не хотим и не можем воспитывать их по описанным в книге инструкциям. Породистым собакам положено давать говядину, но разве это может понять жена Берегена, если наливает им помой и кидает остатки еды с куриными костями. Неловко всякий раз напоминать об этом взрослому человеку. Он вспомнил и о том, что раздражительна и уныла не только пегая, — состояние других собак оставляет желать лучшего. «Как зэки за колючей проволокой», — подумалось спохватившемуся хозяину. Раз в неделю он, конечно, заезжает погладить собак, но они не выказывают ему прежней преданности, не выбегают с радостным лаем навстречу. Хоть бы встряхнулись бодро, нет, лежат себе и даже не шелхнутся. В их безразличных, отчужденно застывших глазах даже не мелькнет проблеска каких-нибудь затаенных чувств. Ну до чего же бесчувственные твари. А впрочем, почему они должны его любить? Это же собаки, а не валютные девицы!

И опять вспомнился момент, когда нестерпимо захотелось напиться. Захватил по дороге пассажира. Скажешь казах — ведь само-

¹ Тазы — среднеазиатская гончая; борзая — охотничья собака.

го же и коснется. До чего прижимистым оказался, будто не камни считает, а каждую песчинку. Стоило свернуть на улочку, где движение машин не столь оживленное, как тот сразу же заявил:

— Эй, тут до места рукой подать, а ты нарочно километраж накручиваешь? Все равно лишней копейки не заплачу.

Но таксист смолчал. Пассажир, выпятив губы, набылчился:

— Я знаю город как пять своих пальцев. Ты думаешь, зря я тут четыре года в техникуме и пять лет в институте проучился?

Водитель пару раз испытующе посмотрел в зеркало обзора на пассажира. Да по мне пусть он хоть еще двадцать лет проучится, все равно останется таким же несуразным: засаленные и зачесанные назад стриженные под полубокс волосы придавали лицу пассажира довольно занюханный вид.

В пору детства таксиста молодые парни носили именно такие прически... И в тот же миг этот факт показался Абылаю следом, веющим в родное прошлое, и сердце его овеяла теплая волна. Но когда клиент начинал говорить — рот его наполнялся слюной, а глаза сердито таращились, — вкрадывалось подозрение, что этот человек не просто со странностями, но и не в своем уме. Несмотря на то что голос его был черствым и грубым, в нем, однако, явственно проступали нотки нерешительности и неуверенности в себе:

— Баурым¹, возьми влево, останови возле той машины с красной полосой на кузове.

Абылай намеренно не сбавил скорости и проехал дальше указанного места.

— Да останови же! — заверещал пассажир, но водитель уже нажал на тормоза.

Клиент едва не врезался лбом в переднюю панель. Его подбросило вверх и резко опустило на мягкое сидение. Он вытаращил глаза ■

¹ Так в третьем лице говорят о кровном родственнике, родиче, брате. ■ в данном контексте это сердечное, вежливое обращение мужчины к мужчине: брат.

ошалело посмотрел на таксиста. А тот как ни в чем не бывало неподвижно застыл на месте, безмолвно уставившись в одну точку и выражая всем своим видом полное равнодушие.

— Ма¹, — пассажир робко протянул два рубля мелочью.

— Мой начальник предупредил меня, мол, если тебе встретится пассажир, десять лет проучившийся в Алматы, никогда не бери с него денег, — произнес таксист.

У прижимистого типа от удивления отвисла челюсть. Он почувствовал в этом какой-то подвох, и лицо его покраснело.

— Хороший, видно, человек? — проблеял клиент.

— Откуда, к чертям собачьим, мне знать, какой он человек, просто сказал: если встретится тебе пассажир, проучившийся десять лет, будь осторожен, у него, наверное, не все дома.

А когда тип, задыхаясь от возмущения, попытался было вступить с ним в словесную перепалку: «Ах, ты...» — таксист угрожающе процедил сквозь зубы: «Сделай милость — скройся с глаз. Не доводи меня до белого каления! Как бы чего не вышло!»

У многоумного типа позеленело лицо, и душа ушла в пятки. Не успел он ступить ногой на землю, как машина резко рванула с места и умчалась. В зеркале Абылай увидел, как зануда с трудом удержал равновесие, чтобы не рухнуть.

И вновь накатила безысходная апатия с привкусом сиротливости. Амбал, которому он поверил, оказался полным ничтожеством, а пассажир — червивой сволочью. Так что же происходит с этим миром? Сбежав от жены и детей, слонаясь без дела, нанялся к амбалу и теперь возит всяких хамов. Ну за что ему такое наказание, почему он такой бедовый и неудачливый.

* * *

«Недаром говорится: и от хорошего плохой рождается. Отец их умер не от водки, а своей смертью. Настоящим был джигитом, спуску никому не давал, ни перед кем не пресмыкался. Да и бедолаг

¹ На, возьми!

в роду не было», — изливала мать по привычке свою горечь любопытным соседкам, когда Абылай, приехав ночью на выходные, проснулся утром от ее вздохов и ахов. И дела нет до того, что сын спит. Нарочно говорит громко, чтобы слышал. Но дрожь огорчения и обиды в ее голосе были неподдельны и искренни. Как он ни старался не слушать причитаний, закрыв голову подушкой, но слова матери тревожили его. Хотя и чувствовал свою вину перед матерью, но в то же время сам же и удивлялся своей непробиваемой толстокожести. «Эх, Батима, он ведь еще совсем молод, а мужчине остепениться и стать человеком не так-то уж просто. Есть такие, кто в молодости ни рыба ни мясо, но, повзрослев, окрылялись». «Да пусть он раньше срока сгинет!» — сердито кричала мать, словно ругаясь с кем-то. Он остолбенел до умопомрачения, будто на голову ему ушат ледяной воды вылили. Выходит, он окончательно и бесповоротно пропащий человек? Вены на висках напряглись и зазвенели, словно от удара током, в глазах потемнело, все в доме затуманилось и закрутилось колесом. Голос матери неестественно усилился и, сотрясая собою стены, завибрировал в воздухе. «Еще давно, уже после смерти Аскара, курносый Жакан ходил за мной по пятам и просил выйти за него замуж. А я, горемычная, думала, а каково детям моим придется? Выходит, зря. Недаром одна несчастная старуха в прежние времена сетовала: “Чем до конца дней кормить ненасытный выводок, уж лучше жить с каким-нибудь старым пердуном. Жаль, что на худой конец не поцепила кого-нибудь курного Жакана”». Мать сказала это, подражая гунявому жакановскому голосу, а потом что-то зашептала на ухо соседке и тут же громко рассмеялась. Бестолковый смех еще больше унижил сына, усугубив и без того дрянное состояние. Горечь от всех сказанных до этого слов показалась малостью. Однако голос ее вновь зазвучал еще жестче, заставив забыть про нахлынувшее было на него желание пойти на мировую со сварливой матерью.

— Хорошо, когда дети, повзрослев, живут отдельно, сами по себе. А у этих, что у старших, что у младших, ни капельки ума в голо-

ве. Вконец измучили. И постирай, и приготовь, и убери, в магазин сбегай. Недавно сходила к сыну Нурлыбека — кладовщику Берегену. «Сынок, говорю, друг твой ушел от жены, от детей. Помоги, если можешь, мясом и мукой». Так он без лишних слов принес целого барана. Я растерялась было, не зная, когда смогу рассчитаться с ним, а он улыбается во весь рот и говорит: «Считайте, что заплатили». Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

* * *

Стоит хоть в чем-то провиниться, как трудно, оказывается, вернуть себе доброе имя. При каждом своем приезде в аул он давал матери денег, которых хватило бы на десяток баранов, но почему же она в своих жалобах ни разу об этом не вспомнила? А о туше, принесенной Берегеном, твердит как заведенная, будто ничего хорошего в своей жизни больше и не видела. А ведь именно от таких бестолковых вещей, назойливо всплывающих из памяти и донимающих душу, которые и мыслями не назовешь, так устает и мается, не сомкнув своих глаз до рассвета, тезка хана Абылая. Иногда ему хотелось уйти в безлюдную, безводную степь...

В тот момент, когда он задержал взгляд на обнаженной женщине, ему показалось, что если сейчас перевернуть ее на спину, то она даже не попытается прикрыть свою наготу. «Все одно, что мужчина, что тобет¹, который мочится чуть ли не под первый попавшийся куст».

Когда-то Камила, чувствуя, что его явно потянуло налево, произнесла именно эти слова незадолго до того, как он стал работать таксистом. «И как только судьба свела меня с тобой? Чего уж говорить о ровне, я бы и за тракториста замуж вышла». Ссора между мужем и женой была короткой, но горячей. Он, вздрогнув, обернулся к ней, и его словно обожгло: жена своими калмыцкими чертами неуловимо напоминала по образу и подобию всех старух разом. Но и это было бы забыто, и жил бы он с ней сейчас в ладу и согласии. Так ведь мало

¹ Казахская порода псов-волкодавов; здесь применено в значении «кобель».

того, что супружеское ложе их давно остыло, она стала относиться к нему непреклонно враждебно. Ко всему прочему смотрела подчеркнуто надменно, высокомерно. С чего это старики в прежние времена с горькой насмешкой восклицали «О, где же ты, моя козель!¹»? Когда на язык невольно подвернулось созвучное этому русское слово «козел», он сам того не заметил, как громко пропел вслух: «О, козлы² мои!»

Он невольно бросил свой взгляд на неподвижно лежавшую рядом женщину. Испытывая чувство неловкости за нервный и довольно громкий свой смех, он снова ощутил нечто похожее на легкую изжогу, и на смену гневу и ярости, забурлившим было в его груди, вернулось ленивое равнодушие. Опять подумалось: хвали сон, тогда он сбудется.

Среди его дружков-приятелей, постоянно упоминаемых матерью под общим определением «собутельники», был и один проклятый нокай³, который ему презентовал висевшую на стене волчью шкуру с оскаленной мордой. Вручая, сказал: «Абеке, пусть висит на стене вашего нового дома», — а он, подумав про себя, что данная вещь обладает священными свойствами, посчитал это хорошим предзнаменованием. Человек, преподнесший подарок, показался ему достаточно энергичным, за что и был принят в одну из его дочерних фирм. А в скором времени тезка хана Абылая передал новичку в управление склад. Когда нокай сообщил, что склад обворовали, то особого сожаления не испытал и гнева не выказал. Но когда через неделю услышал, что на складе вспыхнул пожар, примчался моментально. Пред ним предстала страшная картина: один конец длинного строения, обгорев почти дотла, обвалился и дымился; а драконий язык красно-зеленого пламени уже начинал жадно поглощать середину склада. Глядя, как в объятиях огня гибнет добро, накопленное в результате

¹ Поэтическое слово: красивая, прекрасная.

² Вообще-то здесь более уместным словом было бы слово коза.

³ Глупец, невежа, придурок, тупица.

обмена баш на баш, хозяин нутром и кожей ощутил тщетность затраченных на все это трудов и усилий. Вдруг среди беспорядочно носившихся в панике людей приметил этого, растерянно стоявшего втянув голову в плечи, нокая. Кровь ударила в голову, а дальше Абылай не помнит, как очутился рядом. Завскладом оказался в стельку пьяным. При этом плачущим голосом тупо бормотал: «Абеке, абеке...» Осмотрев беднягу с ног до головы, увидел, каким же отвратительно жалким тот оказался, и пожалел, что не разглядел в нем эту гниль раньше. Да и он сам, выходит, ничем не лучше. И, как хозяин добра с черного рынка, он не стал судиться и рядиться, не стал докапываться до истины, покрыл ли нокай собственное воровство этим пожаром, или произошло возгорание по стечению обстоятельств? Вот только жаль, что не спросил у этого негодяя, чья эта шкура — арлана или сучки?

Комната была освещена тускло. Казалось, волчья шкура, привязанная к стене за морду, ожила и медленно ползла вверх. Когда он представил себе, что за всем происходящим в этом доме с едва заметной улыбкой на кончиках губ неотрывно следят со стороны ясные очи бывшей жены, то вместе с чувством тревоги стали слипаться и его глаза.

* * *

Говорили, что его тазы ошенилась. Боже мой, а разве это была не сучка тобета? Головы неподвижно лежавших, словно во сне, слепых щенят, вытянувшихся всем телом в шеренгу и клещами впившихся в соски борзой, едва заметно подергивались. Их было с полдюжины. Говорят, хорошая собака приносит не больше четырех. Если хорошо заботиться и ухаживать, выводок можно приучить к дрессировке. Но разве добьешься чего-нибудь путного от этой козьеголовой бабы. Ничего не понимает, хоть кол на голове теши! Однако будет лучше, если дело перепоручить Берегену.

Помнится, тот щенок с серым окрасом спинки и с пестрой шейкой — кобелек. У бедняжек, скулящих и тыкающихся мордочками в

поисках сосков, глаза еще не открылись, вид у них такой печальный, словно скрывают в себе все горестные тайны. Ему стало жаль и их, и своей собачьей жизни.

Заныло сердце, и не в силах смотреть на это дальше, он сел в машину. Нажав по газам, промчался между высокими, в несколько этажей, домами, выехал на широкую улицу и вот уже стал подниматься зигзагами вверх. Перед глазами всё еще стояла трогательная картина с лежащими и скулящими слепыми щенятами, пытающимися ощупью найти соски. Вдруг сбоку он увидел бегущего изо всех силенок мальчика лет пяти-шести, который что-то отчаянно кричал, размахивая при этом руками, и удивленно подумал: «С чего это он вдруг!» И увидел впереди чью-то вытянутую в струнку и очень быстро удалявшуюся мужскую фигуру. Желая узнать, что кричит мальчик, прислушался и уловил полный мольбы голос, окликавший отца. «С ума сошел, что ли, этот проклятый мужик, почему не обернется? Он что, глухой?» — подумал Абылай и стал внимательно следить за действиями малыша. Тот, пытаясь перешагнуть через бетонный арык, возникший на его пути, вдруг оступился и упал. Мальчонка заревел еще горше, отчаянно протягивая руки к тому, кто, не оборачиваясь, уходил все дальше и дальше. Застывшее на лице ребенка отчаяние щемящей болью пронзило сердце Абылая. А бездушный сумасброд свернул на другую улицу, просочился между стоявшими там домами и исчез...

* * *

Миллионер, тезка хана Абылая, проснулся в скверном состоянии. Ах, если бы подставить сейчас свое тело под холодный ветер бабьего лета и полной грудью вдохнуть разок-другой свежего целительного воздуха, он бы тотчас взбодрился. Он только что вернулся, съездив за три моря за границу. Оказывается, руководители дочерних фирм с нетерпением ожидали его приезда, чтобы провести совещание в одном из старинных городов. Хотя всю дорогу сверлила упрямая мысль: «Могли бы обойтись и без меня». Но, пораскинув мозгами.

решился и поехал. А когда все стали уговаривать его поклониться святым местам, прежде чем приступить к делам, он согласился и на этот вояж.

Итак, пришлось сразу же посетить гробницу с высоким куполом, построенную между IX–XI веками. Сероватое здание с давно облупленной краской имело четыре двери. Вход находился с восточной стороны. Стоявший в самом центре в форме большого казахского бесика¹ кулпытас² был накрыт белой материей. Сидевший напротив, подобрав под себя ноги, ширакши³, закрыв глаза, испытывал блаженство от собственного напевного чтения заунывной молитвы из Корана. Полное округлое лицо коренастого отагасы⁴ по своему типу больше подходило бы не ширакши, а базарному торговцу. Но не успел гость с сожалением подумать о том, что лучше было бы приставить к такому месту человека с одухотворенным обликом, как ширакши, завершив молитву, окинул усталым взглядом окружающих его людей. Он только один раз ответил на дружные, посыпавшиеся со всех сторон приветствия и продолжал сидеть в том же положении. Прихожане начали бросать на накрытый белой материей поднос деньги и бесшумно покидать святилище. Ширакши вновь монотонным голосом принялся читать суры из Корана. Люди из свиты миллионера тоже стали один за другим бросать купюры. Наследник хана Абылая подумал о том, что выйдет отсюда совершенно чистым, и, избавившись от своих грехов, он почувствовал себя причащенным к благодати. Он вынул из портмоне все содержимое и деликатно положил деньги на поднос. Он заметил, что ширакши тут же бросил взгляд на щедрые дары, и уловил лукавую улыбку нескрываемого удовлетворения. Упомянув в самом конце молитвы аруахов, смотритель произнес:

¹ Колыбель, люлька, зыбка.

² Надгробие, надгробный камень.

³ Смотритель при святых местах.

⁴ Вежливое обращение к старшему по возрасту мужчине: «хозяин», «почтенный».

— Дорогие мои, благодарю вас не за подношения, а за то, что пришли. А теперь отведайте хлеб-соль в доме нашего святого, в честь которого возведена гробница.

Миллионер черного рынка робко переступил порог дома, все комнаты которого были открыты, в углу одной из них сидела женщина, вся с головы до ног укутанная в белые одежды. Покачиваясь под ритм звучания намаза¹, как прилежная ученица, она беззвучно бормотала, повторяя про себя слова из сур² и непрерывно шевеля при этом губами. В тот момент, когда он посмотрел на одухотворенное привлекательное лицо женщины с глазами, выразившими состояние сильного переживания и волнения, он почувствовал, как в нем пробудилось греховное желание, и невольно смутился, подумав о том, что в священном месте недозволительны греховные мысли, вызванные шайтаном-искусителем.

Но уже через пару минут женщина закончила свою молитву, поздоровалась с гостем и провела его к почетному месту — торю³. Стали рассаживаться по местам и остальные его спутники. Вскоре пришел ширакши и присел по-турецки во главе стола.

— Мы — рабы Божьи, умбеты⁴ пайгамбара⁵. Царем можно стать за тысячу дней, а рабом всего лишь за один. Отчего люди так стремятся к святым местам. Для того, кто понимает, нет ничего зазорного в том, если один день побываешь рабом возле того, кто тысячу дней побывал царем.

— Выпейте чаю! — раздался за плечом то ли голос, то ли приказ. Гость обернулся — женщина смотрела на него пристально, не отводя взгляд. Ей было явно за сорок, но она ничем не уступала тем статным, как породистые кобылицы, королевам подиумов и зрелищ. Только лицо у нее было бледным как мел и резко контрастировало со

¹ Молитва.

² Сура — глава Корана.

³ Место в глубине главной комнаты напротив входа в нее.

⁴ Последователи мусульманской религии.

⁵ Пайгамбар — Пророк.

смоляным цветом волос. И этот пронзающий насквозь взгляд... Чаепитие едва началось, когда женщина прижала руку к виску, словно у нее случился приступ внезапной головной боли, словно она разглядела нечистого в свите тезки хана Абылая. Яства на столе остались нетронутыми, когда бледнолицая хозяйка, вдруг спохватившись, произнесла трагическим тоном: «Простите, люди добрые, я не всем успела разлить чай!» Гости тут же засуетились, засобирались... Самый старший по возрасту возблагодарил Всевышнего за ниспосланную благодать и угощение. Правоверные потянулись к выходу.

— Каргам, задержись немного! — прошептала женщина, и сердце Абылая встрепенулось в груди пойманной птицей.

— Прежде чем дожить до возраста прозрений, — сказала женщина на прощанье, — я претерпела много мук и страданий. Таких неприкаянных, как ты, я вижу насквозь. Ты не от мира сего, но и миру не до тебя, потому что ты слеп. Четыре месяца назад ты совершил большой грех. Ты безмерно обрадовался новым щенкам от породистой суки, но когда за тобою следом, тщетно умоляя вернуться, бежал и падал, разбивая в кровь коленки и локти, твой родной сын, — ты остался глух и непоколебим в своем бессердечии.

— Боже мой! — воскликнул миллионер, тезка хана Абылая. — Да ведь это был всего лишь сон! Мой кошмарный сон! И не более того...

— Тогда откуда эта весть дошла до меня? — ледяным голосом произнесла женщина. — Каргам, это весть свыше.

Перевод Романа Токбергенова

Алибек Аскаров

(род. в 1951 г.)



Окончил Алма-Атинское художественное училище и факультет журналистики Казахского государственного университета. Первый рассказ А. Аскарова «Түлкі аулай барғанда» («Когда выехали охотиться на лису») был опубликован в районной газете в 1967 г. Спустя двенадцать лет после этого вышла в свет первая его книга «Құтмекен» («Обитель счастья»). Опубликованные в разные годы сборники рассказов и повестей «Тайга толғауы» («Думы о тайге»), «Ерте түскен бозқырау» («Ранние морозы»), «Социализм әңгімелері» («Социалистические рассказы»), «Социализм хикаяты» («Социалистические повести»), «Кешегі күннің хикаясы» («Повесть о вчерашнем дне»), «Батар күннің бояуы» («Краски уходящего дня»), «Көңілдің көк дөнені» («Души быстроногий скакун»), «Әйел парасаты» («Женская мудрость»), «Қойға шапқан қара аю» («Черный медведь, напавший на овец»), «Қығаш

хикаясы» («Повесть Кигаша»), «Алтайда алтын күз еді» («На Алтае стояла золотая осень»), роман «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді» («Гордый Алтай, что мне делать с твоей высотой») и шеститомник избранных произведений (2016) были встречены литературно-культурной общественностью с большим интересом и вниманием.

Вместе с тем А. Аскаров является известным путешественником. По мнению литературоведов, он «является первопроходцем жанра “сафари” в казахской литературе». Дважды совершив восхождение на самую высокую вершину Алтая — на гору Музтау (так называют казахи гору Белуха), он написал книгу эссе «Музтау, или Путешествие к пупу земли» (2016). Совершив путешествие к самой холодной точке Казахстана — в село, которое находится на краю Алтая, где в свое время была зафиксирована температура минус 62 градуса, — он опубликовал в 2017 г. эссе «Шанагаты». Воскресив трагические страницы казахской истории, когда земли, населенные испокон веков казахами, были силой захвачены в конце XIX в. царской Россией, он предложил вниманию современных читателей эссе «Шабанбай», а на основе материалов своего путешествия к пик Хан Тенгри написал эссе «Аспантау» («Небесная гора»). По преданиям казахского на-

АЛИБЕК АСКАРОВ

рода, в древние времена, когда произошел всемирный потоп, Ноев ковчег оказался на горе Казыгурт. А. Аскаров, опираясь на новейшие документальные свидетельства, внес свои коррективы в историографию о всемирном потопе и глубоко исследовал казахский фольклор («Казыгурт, или же Размышления о всемирном потопе», 2017).

Совершив путешествие к самой южной оконечности Африки – к мысу Доброй Надежды, он познакомил широкую читательскую аудиторию с невероятными приключениями, происшедшими на этом мысе, в которые просто невозможно поверить («Мыс Доброй Надежды, или же Путешествие на край Земли», 2017). Произведения писателя переведены на русский и латышский языки.

Его роман «Гордый Алтай, что мне делать с твоей высотой» и повесть «На Алтае стояла золотая осень» были выпущены отдельными книгами в Пекине издательством «Ұлттар» («Нации») на основе арабской графики, адаптированной к казахскому алфавиту.

Упомянутый выше роман и повесть «Адаққан ұрпақ» («Заблудившееся поколение») вышли отдельной книгой в серии «Жасөспірімдер кітапханасы» («Библиотека подрастающего поколения») и рекомендованы учащимся школ для внеклассного чтения.

Алибек Аскаров – лауреат Государственной премии Казахстана (2001).

Мона Лиза

Шла середина шестидесятых...

После четвертого курса студентов факультета журналистики ~~на-~~правили на шестимесячную практику.

Толеужан получил распределение в Караганду, в областную газе-ту. Прибыв на место и отметившись в редакции, сразу же приступил к поискам общежития, поскольку не мог себе позволить жить ~~пол-то-~~да в гостинице. Сел за телефон и принялся трезвонить во все концы по номерам, подсказанным сотрудниками редакции, и в конце ~~кон-~~цов нашел крохотную комнатку в трехэтажном саманном доме ~~на~~ окраине, где обитали строители. Взяв на спину торбу с ~~пожитка-~~ми, подхватив связку привезенных с собою книг, Толеужан тут же ~~от-~~правился по указанному адресу.

Выгреб мусор и привел в порядок комнату, вытер повсюду пыль, устроил поудобнее спальное место и по своей заведенной традиции повесил над изголовьем портрет Моны Лизы, который, как ~~всегда,~~ тоже прихватил с собой.

Да, это была знаменитая картина Леонардо да Винчи, в золоченом багете, под стеклом. Конечно же, не оригинал и даже не специально выпущенная репродукция, а просто большой лист, вырванный из обычного альбома по изобразительному искусству. Это уже сам Толеужан оторочил картинку белой каймой из бумаги и старательно вставил в красивую раму.

Поступив в университет, Толеужан, выросший на самом отшибе Бетпакдалы, почувствовал себя так, будто попал в другой мир, и с огромной охотой отдался постижению знаний. Словно путник, только что вышедший из пустыни и испытывающий неумную жажду.

окунулся в учебу, не пропуская ни одной лекции, ни одного семинара или дополнительных занятий, днем и ночью не отрывая головы от книг. Если другие студенты с трудом осваивали учебную программу, то Толеужан, кроме учебников, усердно знакомился и с массой другой, совершенно новой для него литературы. Изучил произведения многих выдающихся европейских авторов, начиная с античной эпохи и до наших дней. Пусть и не одолел всё до дна, но прочел основное, не пропуская ничего, что может пригодиться в дальнейшем. Помимо художественной литературы, он, насколько мог, стремился познать и общественные науки, историю, открыл для себя наследие философской мысли. Старался по возможности глубже погрузиться в недра прославленной европейской культуры. Хорошо понимал, что без этого настоящим интеллигентом ему не стать, не поспеть за караваном цивилизации.

Душа Толеужана не знала покоя. Когда приятели по общежитию, пригласив девушек, шли развлекаться в парк или на танцплощадку, он, тоже принарядившись и даже нацепив галстук, отправлялся на симфонический концерт. После спешил посмотреть балет или послушать оперу. И хотя, если честно, все эти симфонии, балет и опера были ему не очень-то и понятны, хотя диковатая его натура, сформировавшаяся в стороне от культурных изысков городской жизни, и не принимала их, он не отступался. Золотая арка мировой культуры — это Европа, считал он. И какую бы серьезную книгу не принимался листать, всё в итоге приводило его к такому умозаключению. Со временем Толеужан всё больше укреплялся в своих выводах и, как околдованный, всё больше усердствовал в своем, как он считал, самосовершенствовании.

...В ту пору, когда он частенько заходил в художественную галерею, на глаза ему как-то и попался большой альбом Леонардо да Винчи. Он загорелся его приобрести, но книга оказалась невысимо дорогой. Тем не менее Толеужан, обойдя знакомых и выпросив в долг необходимую сумму, все-таки выкупил ее. Разглядывая альбом, узнал, что гениальный Леонардо среди тысяч своих работ

особенно ценил «Джоконду» — загадочный портрет девушки с таинственной улыбкой. Оказалось, зовут ее Моной Лизой. Великий художник, куда бы не забрасывала его судьба, повсюду брал с собой Мону Лизу. Конечно, не саму девушку, а собственноручно написанный им ее портрет. И тут Толеужана осенило: если уж так поступал сам Леонардо да Винчи, почему бы и ему не сделать то же самое?! Воспитывай себя на примере гениев!.. Толеужан аккуратно вырезал Мону Лизу из альбома, вставил в шикарный багет и повесил на стену над своей кроватью. Сколько комнат сменил он за эти четыре года! — но с Моной Лизой не расставался. Едва переехав на новое место, первым делом водружал над своей постелью любимую картину. Лишь на летних каникулах, когда уезжал со стройотрядом, поневоле оставлял ее, пристроив на общежитский склад.

Нынешняя же производственная практика должна была растянуться на целых полгода, поэтому Толеужан привез Мону Лизу с собой в Караганду. А когда въехал в крохотную комнату строительной общаги, привычно повесил ее над изголовьем постели.

Прошло дней десять.

Как-то, зачитавшись накануне до двух ночи, Толеужан проспал. И когда с опозданием явился в редакцию, заведующий отделом уже поджидал его, сидя как на иголках.

— Как прикажешь это понимать? — сердито ворчал он, качая головой. — Решил поручить тебе срочное дело, думал, журналист молодой, на перо скорый... А ты вон что вытворяешь!

Толеужан извинился и дал понять, что готов выполнить любое поручение.

— Ла-а-адно, — миролюбиво протянул заведующий, тут же успокоившись. — Сегодня на шахте Кузембаева должны поставить рекорд. Поезжай туда, а потом срочно садись и пиши, — чтобы утром материал был на моем столе! Договорились?

А куда деваться, как не согласиться? Толеужан прихватил с собой фотокорреспондента, и на редакционной машине они рванули по указанному маршруту. Спустились в глубокий штрек и практически

весь день провели под землей. Толеужан впервые попал в забой, поэтому всё вызывало искреннее любопытство. Собрав необходимую информацию, переполненный впечатлениями, к вечеру вернулся домой.

Но только вошел в свою комнату, как обнаружил, что в углу, съезжившись, едва заметная от своей худобы, сидит... мать. Ну и дела! Их аул находится аж под боком Бетпакдалы! — как же Гуляйим-шеше из такой дали добралась сюда, в Караганду? Как нашла в большом городе эту богом забытую общагу?

Подозревая неладное, Толеужан тревожно смотрел на мать.

— В газету ходила тебя искать... Там и подсказали адрес, — призналась та. Голос непривычно холодный, точно разговаривает с чужим.

— Тате, зачем приехала? — спросил Толеужан, не сумев скрыть беспокойства.

— До аула долетел слух, будто ты квартиру получил в Караганде. А весточка неверной оказалась, ошибка вышла, мне об этом твои друзья в газете сказали.

— Видимо, узнав, что еду в Караганду, кто-то решил, будто я здесь получил квартиру. И позавидовал...

— Пес его знает... Поверила, что ты новоселье справил... Вот и примчалась, чтоб собственными глазами увидеть, а тут...

Только теперь Толеужан заметил, что глаза у матери опухли и покраснели, похоже, она всё это время проплакала. И теперь, устав от слез, сидит в изнеможении. Даже морщинок на лбу как будто прибавилось, и стали они глубже и заметнее. Поверх длинных узловатых пальцев выступили набухшие вены. Да и цвет лица совсем не такой, как прошедшим летом, — побледнело оно, подсохло под солнцем, словно опаленная зноем ковыльная степь.

— Тате, да что это с тобой? Дома всё нормально?

— Всё хорошо, жеребеночек мой.

— Тате, почему ты плакала? Как там дедушка, жив-здоров?

— Жив-здоров твой дед.

— Что же тогда случилось? А как Айша-апа?

— И Айша-апа здорова, жеребеночек мой.

Не зная, что и предпринять, Толеужан бесцельно крутился возле матери. Поколебавшись, взялся приготовить чай. Вскипятил воду, выставил на стол нехитрое угощение.

— Ну, а теперь выкладывай! — попросил он, обеими руками протягивая матери пиалу с крепким чаем. — Что стряслось, тате? Не томи душу!

Гуляйим-шеше сделала пару глотков, и из ее глаз снова потекли слезы.

— Единственный мой, жеребеночек мой! — сказала наконец, расправляя спину. — В семнадцать лет я осталась вдовой. Чтобы ненароком не обидеть тебя и всю себя посвятить твоему воспитанию, так и не вышла больше замуж. Что теперь скрывать — столько достойных людей делали мне предложение. Ни одного из них даже взглядом не удостоила, а в душе выла от тоски. Все силы отдавала, потом в три ручья обливалась, но вырастила-таки, вывела тебя в люди. Нет страданий, которых я не испытала, нет мук, через которые не прошла, жеребенок мой... От такой жизни и превратилась до срока в старуху, а ведь мне нет еще и сорока... Вот так-то!

— Тате, неужто ты думаешь, что я этого не знаю?! Я всё понимаю. Буду жив-здоров — оправдаю твое молоко!

— Жеребеночек мой, я вовсе не попрекаю тебя материнским молоком. И не набиваю себе цену... Вообще не хотела ничего говорить, но ты сам меня к этому принуждаешь.

— Тате...

— Твой отец был лучшим из джигитов. Если бы не проклятая война, он бы, почтенный, стал видным человеком, украшением и гордостью народа. Но что делать, эти надежды сгнули, растаяли, словно сон. Как бы там ни было, после него хоть ты остался, в тебе нашла я свою опору... Мы и прожили-то с твоим отцом вместе только три месяца, но всю свою жизнь я провела в почтении к его памяти. Возносила хвалу Создателю, и на том, и на этом свете буду благодарна

ему за то, что дал мне в супруги такого благородного человека, как твой отец. И тебя лелеяла, баловала, надышаться не могла, чтоб и ты вырос таким же упорным и нестигаемым, с таким же гордым, как у отца, характером...

— Тате, я знаю. Спасибо тебе за всё. Но чего это ты так разошлась? Скажи наконец, что же все-таки стряслось?

— Когда отец твой уходил на фронт, ты еще в утробе был. Он тогда наказал мне: если родится сын, назови Толеужаном, если дочь, выбери имя сама. Выполняя этот завет, и нарекла тебя Толеужаном. Когда ты заболел тифом, я день и ночь молила Аллаха о твоём выздоровлении, даже на могиле святого, что в дне пути от нас, в одиночку переночевала: ведь ты наш единственный наследник, единственный продолжатель рода. Бог услышал мои мольбы — ты оправился от тифа. А я стала лелеять новую мечту: чтобы не оставил творец моего единственного, чтобы вырос ты хорошим человеком. Слава Всевышнему, и эта моя мечта осуществилась. Не хуже других, без особого труда поступил на учебу. Вот и до ее завершения осталось совсем немного...

— Тате, да говори же прямо, чего ты всё вокруг да около: я что-нибудь натворил? Что, в конце концов, происходит?

— Разве такого я от тебя ждала, сынок?!

— Ойбай-ау, тате, да что случилось?!

— Забудь обо мне, но как понять твое неуважение к памяти отца, как же так, сыночек?

— Тате!..

— Я ведь жила мечтой, что мой единственный обрстет наследниками, продлит жизнь своего отца, а мой супруг, ушедший двадцатилетним, тысячу раз возродится в своих потомках. Что и я после стольких страданий буду наслаждаться сладким запахом долгожданных внуков и обрету наконец покой и блаженство...

— Тате...

— Постой, сынок! Мечты твоего отца, надежды матери теперь вот, похоже, разбились в прах!

Глубоко впавшие глаза Гуляйим-шеше вдруг строго блеснули, и она сурово посмотрела на сына.

— Выходит... выходит, ты на всё наплевал и собираешься жениться на этой... Мало того, что иной веры, так еще и пузатая?! — ледяным тоном выговорила и кивнула в сторону Моны Лизы.

— Тате...

Толеужан так и сел, даже речь отнялась.

— И лицо всё в конопушках... Да что тебе за дело до этой женщины, ведь она старше тебя лет на пять, а то и на десять?

Толеужан всем телом повернулся к висящей на стене картине. Возможно, потому что повсюду таскал портрет с собой, лицо девушки и впрямь усеяли едва заметные пятнышки, напоминающие конопушки, — или стекло давно не протирал, мухи его засидели? Да и живот как будто округлился — надо же!.. Ну и мать — какая приметливая! Вконец растерявшись, не зная, плакать ему или смеяться, он вновь с удивлением уставился на Мону Лизу, словно впервые ее видел.

Ну и дела!

«Ладно, но почему же этот образ, наделавший столько шума в мире, не взволновал по-хорошему мою матушку?» — подумал он... «Я преклоняюсь перед картиной, а она даже всей своей магией не сумела всколыхнуть душу той, что родила меня на белый свет и в муках вырастила?» — опять мелькнуло у Толеужана.

А Гуляйим-шеше, вытирая набегавшие слезы, снова о чем-то нашептывала сыну. Но Толеужан ее уже не слышал, ему будто уши заложило. Тяжело поднявшись, снял со стены картинку, аккуратно вынул из багета изображение Моны Лизы, дважды сложил пополам и... Потом обернулся к матери:

— Тате, и всё дело в этом?! — протянул ей четвертинку бумаги.

Весело взглянул на бледное, морщинистое лицо Гуляйим-шеше — оно будто немного смягчилось.

— Многое еще хотела сказать, да в горле пересохло. Давай свой чай, сынок! — удовлетворенно произнесла мать и, словно завершив

АЛИБЕК АСКАРОВ

какое-то большое важное дело, явно повеселев, принялась разглядывать комнату.

А картинку незаметно, но надежно-таки спрятала в карман своего просторного пестрого байкового платья.

Да! — невольно усмехнулся про себя Толеужан. — Вот вам Европа, а вот — Азия. Не все так просто, однако...

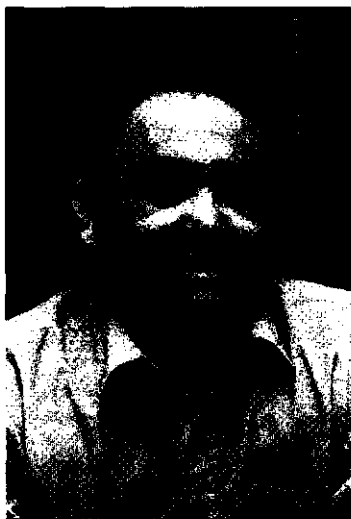
И крепко обнял мать за плечи: Господи, пусть все наши с нею недоразумения останутся такими!

Все мы помаленьку взрослеем — даже юный, но весьма самонадеянный стажер областной газеты.

Перевод Георгия Пряхина

Таласбек Асемкулов

(1955–2014)



В литературной и культурной среде известен как талантливый музыкант, писатель, переводчик, кинодраматург и исследователь искусства. В 1985 г. в журнале «Жалын» увидел свет первый его рассказ под названием «Атайы» («Дедуля»). Автор рассказов «Кәрі ат» («Старая лошадь»), «Арылу» («Освобождение»), повести «Шымдан» («Дерн»), романов «Талтұс» («Полдень»), «Тәттімбет сері» («Степной рыцарь Таттимбет»), отобразивших жизнь и деятельность народных певцов и композиторов прошлого. Автор киносценариев: «Көкбалақтың өлімі» («Гибель Кокбалака»), «Біржан Сал» («Биржан Сал»), «Жезтырнақ» («Колдунья»), «Алматы – Астана», «Тұмар падиша» («Царица Томирис»), «Құнанбай».

Наряду с этим, особый интерес читателей вызвали его литературоведческие и культуроведческие статьи, выходившие в периодической печати

на казахском и русском языках. В 2016 г. издательством «Казахская энциклопедия» был издан пятитомник его произведений.

Как домбрист и композитор Т. Асемкулов внес заметный вклад и в развитие национального искусства. В 1973 г., когда автору исполнилось только 17 лет, Всеююзная фирма «Мелодия» выпустила персональный гранд-диск «Бәйжігіт күйлері» («Кюи Байжигита»). В национальную антологию кюев «Маңгілік сарын» («Вечная мелодия») в его исполнении вошло более 20 музыкальных произведений; в антологию «Қазақтың мың күйі» («Тысяча казахских кюев») – более 40 кюев (2009). В 2010 г. в Париже выпущен CD-диск «Тәттімбеттің мұрасы» («Наследие Таттимбета»). В 2015 – CD-альбом «Талтұс» («Полдень») с записью 73 музыкальных кюев в исполнении Т. Асемкулова и его наставника Ж. Стамбаева.

Призер литературного конкурса фонда Сорос-Казахтан.

Старый Кюйши¹

Он долго рассматривал военный билет, будто впервые увидел его.

— Надолго приехал?

— Около месяца буду здесь, — ответил Аджигерей.

Комиссар откинулся на спинку кресла и рассмеялся.

— Это первый случай в моей жизни. Я уже двадцать лет как военком в Баршатае. Я приехал сюда молоденьким лейтенантом, а сейчас я капитан, — он небрежно кивнул на погон. — За эти двадцать лет впервые вижу, чтобы человек, приехавший всего на месяц в отпуск, к тому же рядовой запаса, встал на военный учет. Вот это дисциплина! Наверное, был хорошим солдатом. Спасибо, брат, — он выдвинул ящик стола, взял оттуда четырехугольную печать, слегка коснулся ею чернильной подушки и шлепнул печать на документ: — Свободен! Отдыхай. Перед отъездом потратишь еще один день. Если меня не будет, тебя снимет с учета секретарша.

Выйдя наружу, Аджигерей посмотрел на часы. Полдесятого. До автобуса еще полтора часа. Он направился к центру села — женге² попросила его кое-что купить. Когда он распахнул тяжелую, покрытую толстым слоем зеленой краски дверь, светлоликая, грузная продавщица, отмахнувшись от умолявшего ее о чем-то мужчины, с интересом посмотрела на него.

¹ Кюй — инструментальная пьеса в казахской традиционной музыке. Кюйши — композитор, создающий кюй, а также иногда исполнитель кюя высокого уровня.

² Жена старшего брата или старшего по возрасту родственника.

— Что будешь брат, деверек¹?

Аджигерей взглянул на полки.

— У вас есть перец?

— Есть, — продавщица положила на чашку весов несколько пакетов. — Выбирай. Есть украинский. Есть узбекистанский.

— Гарм-до-ри, — прочитал на упаковке стоявший рядом мужчина и подчеркнуто уважительно спросил: — Что это за слово, хозяйка?

— Это значит «красное зелье», — ответил Аджигерей. — Так узбеки называют перец. Некоторые казахи тоже так говорят.

— Ну надо же, — сказала продавщица, — сколько лет торгую, а этого слова понять не могла. А ты, деверек, за минуту объяснил.

Почувствовав, что продавщица немного расслабилась, мужчина быстро проговорил:

— Ханшайым, дай же пол-литра.

— Не дам, — продавщица моментально посуровела.

Мужчина, сжав ладонями виски, страдальчески промолвил:

— Голова вот-вот лопнет.

— По мне, так пусть совсем отвалится, — сказала продавщица, поворачиваясь к Аджигерею. — Ну, будешь брат? Чего и сколько?

Аджигерей присмотрелся к человеку, с раннего утра оказавшемуся в незавидном состоянии. Среднего роста, сухощавый. Тонкое, бледное лицо. Сизая щетина. Глаза будто выпцвели. Ветхий синий пиджак, черные грязные брюки с отвисшими коленями. Руки дрожат. В душе Аджигерея пробудилась непонятная жалость.

— Женеше², у вас есть разливное? Я заплачу, — сказал незнакомец.

— Зачем тебе это, деверек? — продавщица с досадой посмотрела на Аджигерея.

¹ Кайны — младший брат (родственник) мужа, деверь, деверек (уменьш.).

² Женеше — уважительное обращение к жене старшего брата, к старшей по возрасту женщине.

— Эй, Ханшайым, молодой человек хочет меня угостить, что ты цепляешься? — оживился мужчина. — Твое дело — продать.

— Это не ресторан, где море разливанное, — продавщица взяла гирику весов и зло рассмеялась в лицо страдальца. — Эх, не грешно было бы стукнуть тебя по пустой башке, да руки марать не охота.

— И все-таки, будьте добры, дайте бутылку красного вина, — Аджигерей положил на прилавок трехрублевку. — За мой счет.

— Везет дуракам да пьяным, — сказала продавщица. Плавню ступая, она подошла к ящику, достала из ящика бутылку и со стуком поставила ее на прилавок перед назойливым просителем: — На, пей свою предсмертную чашу.

— Спасибо, брат, — мужчина, будто взвешивая в ладони бутылку, направился к окну. В магазине установилась тишина. Вот он открыл бутылку, вот с бульканьем полилось вино. Наконец мужчина крикнул: «Кха!»

— Накатил, высокочтимый, — сказал Аджигерей едва слышно.

— Горбатого могила исправит, — сотрясаясь от смеха всем своим грузным телом, сказала продавщица.

— От опять раздалось «кха!».

— В высоком темпе пьет, — сказал Аджигерей.

— Мы ведь с этим проходимцем вместе в школе учились, — сказала продавщица. — Был султаном среди джигитов. А теперь посмотри на него. Горемыка. Жена его каждый день приходит и богом молит не продавать ему водку. Разве против судьбы пойдешь? Если суждено упасть лицом в грязь, так оно и случится.

Она взвесила и упаковала покупки Аджигерея.

— Шесть рублей пятьдесят две копейки.

Аджигерей бросил на прилавок семь рублей.

— Где он работает?

Продавщица махнула рукой:

— Нигде. Вот это и есть его работа. Прежде он заведовал Домом культуры. Был незаменимым музыкантом, домбристом.

Адджигерей оторопел:

— Подождите, подождите... Вы сказали домбристом? А как его звать?

— Жуман.

Адджигерей едва не выронил сверток из рук:

— Какой Жуман? Тот... который... Господи, помилуй! — он с недоверием и удивлением повернулся к окну. Мужчина обернулся. Их взгляды встретились.

— Да, голубчик. Я тот самый Жуман, — он подошел, прихрамывая на правую ногу. — А ты — Адджигерей. Я тебя сразу признал.

— В добром ли вы здравии? — растерянно спросил Адджигерей.

— Вот, негодник! — повеселел мужчина. Его лицо вспыхнуло, глаза налились слезами. — Разве кюйши так приветствуют друг друга? — он откинулся назад и распахнул объятия: — Да буду я жертвой за твоего деда. Да буду я жертвой за твои пальцы, айналайын¹!

Когда Адджигерей обнял исхудавшую, с выпирающими позвонками спину кюйши, душа его обмякла от нежности и сострадания. А когда отпрянул, то содрогнулся, как от внезапного холода.

— Не горюй, голубчик, — сказал Жуман, похлопав его по плечу. — Так уж получилось. Ты встретил старшего брата не в лучшие времена.

— Чего на свете только не бывает! — растрогалась продавщица.

— Пойдем со мной, — сказал Жуман. — У нас есть о чем поговорить!

— Когда они вышли из магазина, солнце уже поднялось над горизонтом на высоту копья².

«Я уже разучился удивляться, и вдруг такая встреча!» — размышлял про себя Адджигерей, идя с Жуманом по извилистым улочкам.

¹ Айналайын — букв. «да буду кружиться вокруг тебя» (доисламский ритуал), т.е. «буду жертвой за тебя», ласковое обращение к младшим.

² Күн найза бойы көтерілді — старинная мера времени, букв. «солнце поднялось на высоту копья» (т.е. на 5–6 м над горизонтом).

— Прости, родной, — сказал Жуман, глядя на него с мольбой. — Я, дрянной человек, даже домой не могу тебя пригласить. Не хочу, чтобы ты видел мой позор. Не сердись, голубчик.

— Не казись и не винись, брат, — успокаивал Аджигерей. — Я все понимаю.

— Это Дом культуры, — сказал Жуман, когда они подошли к большому зданию с синей крышей. — Здесь и посидим.

Они прошли по коридору, Жуман открыл боковую дверь. В центре просторной комнаты были свалены в кучу музыкальные инструменты. Аджигерей взял одну из домбр и начал рассматривать ее.

— Это районный оркестр, — объяснил Жуман, ставя два стула друг напротив друга. — В этом ауле лишь два человека не брезгают мной. Тыныштык — руководитель оркестра. И знакомая тебе Ханшайым.

Аджигерей взял в руки еще одну домбру.

— Они ни на что не годятся, — сказал Жуман. — Оставь их. Здесь есть домбра, которую я выбрал, — он открыл ключом стоявший в углу шкафчик, взял из него завернутую в ткань домбру и протянул ее Аджигерею: — Вот, эта получше.

Было видно, что инструмент хоть и фабричного производства, но ухожен и в прекрасном состоянии. Эластичный лак нанесен тонким слоем. Длинные, крупные колки сделаны из твердого дерева. Аджигерей тихонько коснулся струн. Оказалось, домбра настроена на лад алкоңыр¹. Он всей горстью ухватил струны, скользнул по ним, оттягивая в сторону так, что они скрипнули, и отпустил. Опять тронул. Настройка не изменилась.

— Не расстроится, — сказал наблюдавший за каждым его движением Жуман. — Алқоңыр, или, по-вашему, по-казенному, настройка ля-ре.

¹ Алкоңыр — традиционное название настройки домбры ля-ре. Буквально «алқоңыр» — красно-коричневый цвет. Красный символизирует кровь, жизнь, это цвет древнего воинского знамени.

— У Абикена¹ настройка выше ля-ре, — сказал Аджигерей.

— Абикен играл не на тонких струнах из козьих кишок, а на толстых, овечьих, — сказал Жуман, — поэтому и настраивал домбру чуть выше, чем алконыр. Честно сказать, я доволен тобой. Только у старых мастеров я видел эту манеру встряхивать струны, ухватив в горсть.

— Ведь так проверяют, готовы ли они, — Аджигерей опять щелкнул по струнам. — Струны все еще возбуждены.

— С богом, голубчик! — сказал Жуман, вдохнув полной грудью. — Давно хотел услышать твое исполнение. Пусть эта мечта сбудется. Играй!

Аджигерей задумался. Какую тему выбрать? Он поднял настройку домбры. В нижней части грифа снял четвертьтоновый лад² кашаган — необъезженная лошадь и сиротливый лад. Ласковый лад отодвинул на ширину пальца.

— Bravo! — сказал довольный Жуман. — Ты не притронулся к струнам, а я как будто уже слышу кюй.

«Ну, с богом», — сказал про себя Аджигерей, и опустил пальцы на деку домбры.

Жуман насупил брови, да так и застыл, не отрывая от домбры налившихся слезами глаз. Он слушал кюй не только ушами — глазами и всем своим существом; инструмент затих...

— Нет слов... — сказал Жуман хриловато. — Оказывается, и страдание можно пить как воду. Спасибо, голубчик. У меня будто крылья выросли.

¹ Абикен Хасенов (1897–1958) — кюйши, актер, который первым в конце 40-х начал исполнять на официальной сцене традиционную музыку Центрального Казахстана, шертпе-кюй.

² На традиционной домбре лады были подвижными. Музыка характеризовалась микроинтонированием, что было уничтожено в 1930-е гг. в официальном варианте музыки. Фактически, каждый кюй имел собственную систему тонов. Кашаганперне, жетім перне, еміреліперне — традиционные названия ладов на грифе домбры.

Он поднялся и прошелся по комнате туда и обратно. Опять присел. Обратил к Аджигерею просветлевшее лицо.

— «Косбасар¹ горестного плача», который Таттимбет исполнил, утешая Кушикбая, потерявшего единственного сына, кюй на все времена, — задумчиво произнес Жуман. — А ты играй, айналайын, играй...

Аджигерей исполнил на одном дыхании три «Смятенных Косбасара». Давно ему не встречался такой ладный, такой выразительный инструмент. Через какое-то время струны и пальцы сроднились так, будто срослись воедино, будто звук лился не из струн, а из кончиков пальцев.

Он собрался в завершение сыграть «Пылающий Косбасар», название которому дал оранжевый степной цветок, сгорающий за два-три дня, но не отважился. Зазвучал кюй «Идущий из сердца», имеющий и другое, более острое название — «Рассекающий грудь». И все-таки кюй закончился, наступила тишина, но Жуман, не шелохнувшись, продолжал смотреть в окно. Наконец он откашлялся. Голос его прозвучал как-то глухо.

— Сыграй «Пылающего».

Аджигерей поправил ослабшие лады, затянул их покрепче. И, отнесясь от грешного мира, исполнил кюй, о котором попросил Жуман, вложив в него все свое искусство, не упустив ни одного оттенка, не позволив ни одному звуку отбиться от стада.

В комнате установилась всё растворяющая щелочная тишина. Два только что встретившихся человека молчали, будто знали друг друга всю жизнь, понимали без слов в этой длившейся долгие годы и непрерывающейся беседе.

Позже Жуман проводил Аджигерея на автобус и крепко обнял.

— Я ошибался. Нет, я богохульствовал, — сказал он со вздохом. — Оказывается, кюй есть. Кюй не умер... Не мне поучать, но все-таки

¹ Косбасар — цикл из 62 философских кюев о жизни и смерти кюйши XIX в. Таттимбета.

скажу. Аджигерей, голубчик мой, не сворачивай со своего пути. Не разлучайся с домброй.

Аджигерей робел, не решаясь ответить. Битый жизнью человек бывает обидчивым и скрытным.

— Не думал, что встречу вас... в таких обстоятельствах, — проговорил он наконец.

— Не мучайся, голубчик, — сказал Жуман. — Я понимаю, что ты хочешь сказать.

Он закурил. Помолчал, задумавшись.

— Еще одна просьба, — сказал он после паузы. — Не ради меня ради тебя. Даже и не ради тебя, а ради общего для нас дела всей жизни. По дороге домой придержи коня в Сарыкамысе. В этом ауле живет кюйши Атыгай. Я слышал, что он еще жив. Вот уж кто домбрист от бога. Познакомься с ним. Сохрани то, что он знает. И не сердись, что я не сыграл тебе, — сказал он, протягивая руку: — Я бы не осмелился сейчас прикоснуться к домбре. Если судьба подарит случай, если наступят для меня лучшие дни и мы встретимся... тогда я покажу всё, на что способен.

Водитель дал знак.

— Удачи тебе, голубчик! — сказал Жуман.

— Берегите себя, кюйши! — растерянно проговорил Аджигерей. — До лучших времен!

Когда автобус доехал до конца улицы, Аджигерей обернулся. Жуман стоял понуро, опустив плечи. Сердце Аджигерея дрогнуло. Он больше не оглядывался.

* * *

Автобус уже почти доехал до открытого всем горячим суховеям Сарыкамыса, и тут черная туча накрыла небо и начал моросить мелкий дождь.

— Наконец-то полегчает, — сказала пожилая женщина, изнемогавшая от духоты.

Она утерла с лица обильный пот и расстегнула на горле зеленое платье.

— Поразительно, разве осенью бывает так жарко? Зной пострашнее, чем в июле.

— По радио сказали, что будет 38 градусов, — сказал какой-то парень.

— Распорядок на небе поменялся, — сказал сидевший рядом с Аджигереем старик. — Раньше все шло своим чередом и этот сезон назывался «летом без мух». Благодатная, дарящая усладу душе осень, и длилась она до первых морозов в ноябре. Но все же осень, а не сущее пекло.

Когда автобус остановился на круглом пустыре в центре аула и люди потянулись к выходу, ливень обрушился на землю. Мгновенно потемнело. Вскоре автобус уехал. Оставшийся в одиночестве Аджигерей, не выдержав напора пронзающих насквозь железных спиц дождя, сгорбился, втянул голову в плечи и огляделся. В всполохах молний неясно видны дома маленького аула. Вокруг вскипает и пенится глинистая вода. Очередная вспышка молнии освещает стоящий совсем рядом дом. Чьим бы он ни был, Аджигерей решил укрыться в нем. Но на двери дома с квадратной жестяной вывеской «Столовая» висел замок.

Аджигерею послышалось, кто-то окликнул его. Когда мир опять высветился зеленоватым светом молнии, он увидел под навесом сарая машущего рукой человека и, спотыкаясь и оскальзываясь, бросился к нему.

— Заходи, сынок, — сказал Аджигерею мужчина средних лет, пропуская его вовнутрь. — Ну и ну, ты промок до нитки! Говорят, отошедший от своего дома на один шаг человек сразу же становится горемыкой — странником, нуждающимся в помощи. Давайте переждем дождь вместе. Он вскоре затихнет.

В глубине маленького сарая какой-то парень курил, сидя на корточках. Стряхивая пепел, он с усмешкой сказал Аджигерею:

— Зря ты дергал дверь столовой. Эта дверь, похоже, не открывалась после Второй мировой войны.

— Откуда едешь¹, сынок? — спросил человек средних лет.

— Я ездил в Баршатас встать на военный учет, — ответил Аджигерей. — Теперь возвращаюсь в Айгыз.

Мокрая рубашка прилипла к телу, и он начал зябнуть.

— А зачем ты сошел здесь?

— У меня в Сарыкамысе есть дело. Кстати, ведь вы из этого аула? В какой стороне дом аксакала² Атыгая?

— Атыгай, говоришь? — мужчина задумался, опустив глаза. — Ну, не знаю. Я живу на ферме. А вот Кадыржан — из самого Сарыкамыса. Он должен знать.

— Кем работает этот старик? — джигит потушил окурочек и встал.

— Не знаю.

— Если так, то и я не знаю, — улыбнулся джигит. — Знаю одного Атыгая. Он рано состарился. Но не старик. Моторист этого аула.

— Он играет на домбре? — спросил Аджигерей и сразу же почувствовал неуместность своего вопроса.

— Пойду попрошу подарок за добрую весть, за ответ на твой вопрос у мужа моей старшей сестры, — рассмеялся джигит. — Неудачник, которого даже на верблюде собака укусит, а вот, поди ж ты, ■ его кто-то ищет.

Джигит достал из пачки сигарету, подошел к Аджигерею и протянул руку:

— Будем знакомы — Кадыржан.

— Брат, если ты ищешь этого Атыгая, тогда ты сбился с пути. Насмешничаю над ним потому, что он мой, действительно мой, свояк. Но он никогда не держал в руках домбру. Истинная правда.

— Может, у него есть тезка?

— Что-то не припомню, — ответил Кадыржан.

¹ «Откуда едешь?» — у казахов нежелательно спрашивать «куда едешь», это по поверью может спугнуть удачу путника.

² Аксакал — букв. «белобородый», старец, уважаемый человек преклонных лет.

Завеса дождя стала редеть. В разрывах хаотично кочующих облаков показалось солнце, серая хмарь отступила, и мир вновь засверкал.

Из-за угла сарая показалась старуха с коровой на веревке.

— Это же тетя Батикан, — сказал Кадыржан. — Если кто и знает, то она.

— Здравствуйте, бабушка, — поприветствовал Аджигерей.

— Что тебе, светик? — спросила старуха, озадаченно глядя на него. — Не признала, чей ты сын?

— Он приезжий, тетя Батикан, — прокричал Кадыржан, — он с вами поздоровался.

— О, он приехал из Айгыза поздороваться со мной? — сказала бабушка. — Пусть потомство твое множится, сынок.

— Все жители этого аула — шутники, — сделал вывод мужчина.

— Тетя, этот парень приехал в поисках человека по имени Атыгай, — снова прокричал Кадыржан. — Говорит, что этот старик — домбрист. Вы знаете такого?

— Бешеного Атыгая? — бабушка подставила Кадыржану ухо. — Что, что? Объясни хорошенько. Он говорит, что сумасшедших собирают в Айгызе? Что с ними будут делать?

Аджигерей, не сдержавшись, рассмеялся ядовитой шутке старухи.

— Наверное, они сверстники, — произнес мужчина. — Только сверстники могут так зло шутить друг над другом.

— Кто же не знает этого пришибленного Небом, — вздохнула старушка. — Ты приехал в удачный день, сынок. Прошу, вместе с Атыгаем увези отсюда всех помешанных. И за это пусть бог исполнит твои желания.

— Где мне найти его? — спросил Аджигерей.

Бабушка наконец ответила серьезно:

— Я шутила, сынок. Не обижайся на бабушку. Твой Атыгай живет в стороне от аула, в старом отцовском доме. Пойдешь вот так, наискосок, — она показала на запад, — пройдешь около километра и выйдешь к дому Атыгая. Пусть легок будет твой путь, сынок. Передай привет от меня.

Вот он, вытянутый саманный дом с плоской крышей. Вокруг множество пристроек и сараев для скота. Ограды нет. Умиротворенная, распластавшаяся под небом прелая степь дышит влагой. «Быть дождю», — подумал Аджигерей и вошел в дом.

Какое-то время постоял в коридоре, пока глаза не привыкли к темноте. Потом пошел вдоль стены. Стал слышен громкий разговор. Рука нащупала дверную ручку. Он дважды дернул ее, тяжелая дверь насилу открылась. В полутемной комнате находились двое. На торе¹ в глубине комнаты, на толстой меховой подстилке, восседал рыжеватый старец с мощным, как сама дверь, корпусом. Спина к Аджигерею разливала чай старушка. И она, и старик с удивлением посмотрели на гостя.

— Ассалаумагалейкум², — сказал Аджигерей.

— Аликсалам³, сынок, — сказал старик. — Проходи, садись на тор.

Аджигерей разулся, опустил перед старцем на колени и протянул для уважительного рукопожатия обе руки.

— В здравии ли вы, дедушка, как вы себя чувствуете? — спросил он, потом повернулся к сгорбленной старушке: — Здоровы ли вы, бабушка?

— Хорошо-о-о, — сказал старец с довольным видом, оглаживая бороду. — Старуха, завари свежего чаю. Наш гость, кажется, озяб.

Он отхлебнул из стоявшей перед ним чашки.

— Откуда идешь, сынок, расскажи о себе.

Чаепитие затянулось. Старец все время пододвигал к Аджигерею небольшое блюдо с куырдаком⁴, масло на тарелке, разложенные на скатерти курт⁵ и баурсаки⁶, простодушно радуясь аппетиту гостя, а

¹ Тор — почетное место за столом в глубине комнаты, лицом к двери.

² Ассалаумагалейкум — мусульманское приветствие.

³ Аликсалам — казахский сокращенный вариант ответа.

⁴ Куырдак — жаркое из внутренностей (сердце, легкие, печень и пр.).

⁵ Курт — сушеный сыр.

⁶ Баурсак — жареные в большом количестве жира кусочки теста.

сам пил чай, то и дело протягивая жене опустевшую чашку. Когда Аджигерей, насытившись, огладил лицо и отсел подальше от стола, хозяин как ни в чем не бывало опустошил подряд еще несколько чашек. Затем достал из кармана коричневого плюшевого пиджака огромный, как одеяло, носовой платок и неторопливо отер пот со лба — в знак того, что трапеза окончена.

— Ну, сынок, наверное, ты не просто так навестил живущего вдалеке ото всех Атыгая. Какая у тебя просьба?

Аджигерей помолчал, глядя на спокойно ожидавшего ответа старца. Потом, решив не ходить кругами, сказал:

— Дедушка, я слышал, что вы — домбрист. Пришел, чтобы учиться у вас.

— Кто это сказал? Откуда он знает, что я домбрист?

— Сказал человек по имени Жуман.

Брови старца дернулись. В следующий миг он взглянул на Аджигерея с насмешкой.

— Эх, милый мой. Я уж давно расстался с домброй. Жуман правду сказал. Прежде я пощипывал струны. Гулял по всей степи, выступал перед народом. Но это прежде. А сейчас... сейчас силы уже не те. Скажу тебе, я не держал в руках домбру лет двадцать.

— Тебе жалко поделиться своим искусством с ребенком? — сказала до этого молча разливавшая чай бабушка. — Он же с просьбой пришел.

— Ай, старуха, — сказал хозяин, — снова взять в руки домбру — это все равно что вызвать духов покойных предков. Я одной ногой в могиле, собаки уже обглодали кости после моего пира и вернулись по домам, а ты хочешь, чтобы я развлекал публику?

От слов старика Аджигерея затошнило, будто он выпил жира. Глянул в окно. Уже стемнело. Перевел глаза на старика. Оказалось, тот, поглаживая усы, задумчиво смотрит на гостя. Аджигерей опустил голову.

— Не знаю, — сказал он, задыхаясь. — Не знаю. Казахи — это бескрайняя, выгоревшая степь. Все иду и иду. Достигну ли цели, не

знаю. Конца и края дороги не жду. Бог меня сотворил, наполнив грудь просторной песней, и потому, наверное, надежда не оставляет меня. Эта надежда ведет вперед. Я поверил влюбленному в кюй старшему брату и пришел к вам. Он говорил о высокой осине с трепещущей, даже без ветра, листвой. А нашел я высохший пенек, который годится только на дрова. Кюй покинул казахов. Я обманут. Кюй существует только в моем сознании.

Он опять посмотрел в окно. Хоть глаз выколи — ни зги не видно.

— Довольно. Спасибо за чай, за угощение — сказал он, вставая и направляясь к двери. — Пора возвращаться домой.

— Постой, сынок, — сказал старик, когда Аджигерей уже взялся за дверную ручку. — Подожди.

Аджигерей обернулся. Атыгай, скрипя костями, поднялся с места и, тяжело ступая, подошел к нему.

— Подожди, сынок, — сказал он, взяв Аджигерея за запястье. — Садись. Поговорим.

Аджигерей сел.

— О, господи, как хлестко ты сказал, — сказал Атыгай, усаживаясь. — Ладно. Ради тебя, ради твоих слов попробую еще раз, как в детстве, промчаться на неоседланном стригунке.

Он повернулся к старушке.

— Салиха, где моя, та самая, домбра? Принеси ее. Да зажги... Зажги свет, а то дома совсем темно стало.

Вскоре комната была залита светом. Атыгай развернул завернутую в тряпку домбру и внимательно осмотрел ее. Струн нет. На грифе восемь ладов.

— Прибавь света.

Из угла хозяин достал нечто размером с чурбан. Оказалось — точильный камень.

— Я ездил за ним специально на берег реки Баканаса, — похвастался Атыгай, открывая лезвие складного ножика. — Только там можно найти настоящий мягкий оселок. Лезвие ножа просто плавится на нем.

Он долго точил ножик, смачивая камень водой из чайника. Время от времени пробовал лезвие, надрезая листок бумаги.

— Готово, — наконец сказал он, поднеся лезвие к светильнику. — Иди сюда, сынок, теперь надо почистить гриф под ладами.

Он попросил постелить на стол белую тряпку. Положил на нее домбру.

— Сынок, у моих пальцев нет прежней сноровки. Срежь все лады.

Адджигерей, снимая лады с грифа, удивился искусству мастера, создавшего инструмент. Смола из дерева вытоплена. Между корпусом домбры и верхней декой не видно и следа клея. Адджигерей присмотрелся. Да, верхняя дека вырезана из того же куска дерева, что и бока, вместе с ними.

— Дедушка, здесь нет стыка, — сказал он, не сдержавшись.

— Да, обычно из куска дерева выдалбливают корпус, а потом к нему приклеивают верхнюю деку. Корпус моей домбры вырезан не спереди, а сзади, — сказал старик, довольный наблюдательностью Адджигерея. — Крышка на корпус приклеена сзади.

Адджигерей удивился гениальной идее мастера, придумавшего, как лучше передать вибрацию струн через верхнюю деку всему корпусу.

— Ну, всё, — сказал Адджигерей, возвращая домбру.

Атыгай, поглаживая гриф, срезал ножиком все неровности. Потом лукаво глянул на Адджигерея. — Смотри сюда. Ты такое когда-нибудь раньше видел?

Он начал наливать холодную воду из большого желтого чайника в отверстие на деке домбры. Вскоре вода стала выливаться из дырки.

— Что это вы делаете? — спросил пораженный Адджигерей. — Разве клей не размякнет?

— Малыш, ты еще многого не знаешь, — хвастливо сказал старик. — Ничего не будет. Объясню. Это не обычный клей, который сейчас продают в магазине, а сделанный по старинке казахский клей,

который схватывает намертво. Даже если эту домбру сварю в казане. швы не разойдутся. Это раз. А воду я налил потому, что домбра рас-сохлась. Ты не заметил одну вещь. В будущем старайся помнить о ней. Настоящая домбра даже без струн резонирует, издавая печаль-ный гул. Ты давеча даже не пробовал щелкнуть по корпусу. Это твоя оплошка. А я щелкнул. Домбра не гудит, а верещит. Ты этого не заме-тил. Дерево, особенно выкупавшееся в вытопленной смоле, никогда не впитает лишней воды. Выпьет ровно столько, сколько нужно. Вот твой первый урок.

— И сколько она будет стоять с водой внутри? — спросил Аджи-герей.

— Сколько угодно простоит, — сказал Атыгай. — Теперь нужно найти для нее струны.

— Эти не подойдут? — Аджигерей достал из кармана и протянул ему сверток капроновой лески.

Атыгай тщательно рассмотрел струну, намотал на кулаки около полсажени и попробовал растянуть. Взгляд его упал на рисунок ры-бы на упаковке.

— Это же рыболовная леска, из магазина, — он вернул моток Ад-жигерею. — Можешь бросить в огонь. Ни на что не годится.

Он посмотрел на жену.

— Салиха, ничего не осталось из тех струн, которые ты когда-то свила на веретене.

Он полюбовался струной, которую ему нашла жена, и дал Аджи-герее.

— Вот так выглядят настоящие струны, сынок. Это струна из кишки шестилетней яловой козы. Красноречивая. Говорит по-человечески.

— Кажется, теперь все готово, — сказал Аджигерей, отмеряя дан-ную стариком струну по длине домбры.

Атыгай не ответил. И только когда на стол было подано блюдо с горой мяса, он, неторопливо нарезая его складным ножиком, мед-ленно сказал:

— Я послушался тебя. Теперь ты уступи мне. Завтра возвращайся в свой аул. Приблизительно через две недели я буду готов. Тогда и приезжай.

Осенний проливной дождь не утихал всю ночь. Всю ночь старец ворочался и вздыхал.

* * *

День сумрачный, но в роще душно и жарко. Неспешно ступая по мягкой подстилке из птичьего помета, сухих листьев, сломанных веток, он вышел на полянку. На востоке задумчиво синеют горы Саги, душа раскрывается навстречу ласкающему окрестности благоуханному прохладному дуновению с далеких вершин. С одной стороны — горный отрог, переходящий в бескрайнюю степь, с другой — густой лес, в котором вперемешку растут березы, осины, боярышник, черная джида, жимолость. Посередине — просторная долина реки Айгыз. Красный клевер, цветок которого похож на малыша с лохматой головой на тонкой шее, купоросного цвета пырей, мышатник, который также называют калмыцким горохом, названий которых Аджигерей не знал, — и всё это разнотравье плавно колышется на прозрачном осеннем ветру. Подошел к одинокому боярышнику, верхушка которого виднелась среди высокой травы. Он с детства помнил это дерево с особенно сладкими ягодами. Сорвал одну и раскусил. Вкус все тот же. Положил на ладонь сухой лист.

Будто вырезан из тонкой латуни. «Милый листок, сгоревший на ветру, — сказал он про себя. — Завтра... нет, через два дня обрету счастье, которое искал много лет. Буду учиться у настоящего күйши.

Почему осенью дым очага поднимается вертикально? Вон с холма скачет кто-то. Рядом с маленьким кладбищем он натянул поводья и стал спускаться вниз по косогору. Поднятая копытами пыль так и осталась стоять, будто вонзенное в землю копьё. Красиво. Кажется где-то здесь была пасека аксакала Газиза, вспом-

нил он. Ульи оказались на прежнем месте, на полянке среди деревьев джиды.

Пасечник с сеткой на голове окуривал ульи. Услышав шорох, он обернулся и снял сетку. Это был сам Газиз.

— Ассалаумагалеikum, — сказал Аджигерей, обеими руками пожимая огромную, как лопата, руку старика.

— Аликсалам, — Газиз улыбнулся ему. — Я давеча видел тебя издалека. Подумал, что ты на обратном пути заглянешь. Собираешь джиду?

— Хотел, но ваши пчелы не подпустили, — ответил Аджигерей. Газиз рассмеялся.

— Да, они становятся злыми, если рассердить. Шутки не переносят. Недавно несколько сорванцов разломали улей, хотели мед взять. Пчелы погнались за ними. Дети бросились в реку. Пчел я едва успокоил, брызгая на них водой.

Старец взмахнул рукой, указывая на дорогу:

— Что мы стоим? Пойдем, будь гостем в моей лачуге.

Они расположились в маленькой хибарке на краю пасеки. Газиз снял с треноги над очагом закопченный чайник, пододвинул к Аджигерею большую миску с ароматным красноватым медом.

— Это свежий осенний мед.

Нарезал крупными ломтями холодное мясо, разломал испеченную в сковороде на углях лепешку и положил на скатерть.

— Ну, ешь. Попьем чай вдвоем. Хозяйка с утра уехала на телеге в аул, повезла кадушку меда.

— В детстве, помню, вы перевозили пчельник на телеге на джайлау. И сейчас так делаете?

— Нет. Состарились мы. Устали. Дети, кажется, не хотят продолжить это дело. Последние годы отсюда не трогаюсь. Оказывается, можно, живя здесь, под джидой собрать мед. Мед, что ты кушаешь, — джидовый.

Они засиделись, молча прихлебывая чай.

— Твой покойный дед недолюбливал мое увлечение пасекой, — прервал Газиз молчание, — дразнил меня «домбристом, пасущим мух». Пару раз отругал за то, что неправильно исполняю кюй. Характер у незабвенного покойника был вспылчивый.

— Кстати, я хотел у вас спросить, — Аджигерей с надеждой посмотрел на старика, — вы знаете домбриста по имени Атыгай?

— Атыгай? — Газиз задумался. — А-а-а-а, да. Помню, помню... Когда-то давно Абралинский район распустили, и нас присоединили к Аягузскому. Осенью сорок девятого года. В Аягузе был какой-то праздник. На грузовой машине устроили сцену, на которой выступали музыканты. И Атыгай тоже играл. Настоящий мастер. Тогда он был на пятом десятке. Хоть уже и в возрасте, он полыхал как пламя пожара. Огромного роста. Домбра в его руках была, как ложка в твоих. Да, он был виртуозом. Настоящим.

Газиз покачал головой, будто удивляясь.

— Он был кузнецом в Сарыкамысе. Однажды ему выпала дорога в Айгыз. И он гостил в нашем доме. Он посмотрел на наш топор и посмеялся: «Хоть ты и знаешь язык пчел, но, оказывается, с металлом не умеешь обращаться». Он снял топор с топорщица, пошел к нашему аульному кузнецу и закалил топор. Ради всего святого, веришь ли, иногда я этим топором рубил железо, и на лезвии даже маленькой трещинки не было. Случалось, что я рубил кости, и топор, разрубив кость, вонзался в камень. Я так и не понял, что это за чудо. Самый обычный заводской топор из простого железа.

— Значит, он подобрал раствор для закаливания, — сказал Аджигерей.

— Почему ты про него спросил? Жив ли он? — спросил Газиз.

— Да, в здравии.

— Пусть будет благополучен почтеннейший, — сказал Газиз.

Он достал с полки банку меда и поставил перед Аджигереем. — Вот, отнеси этот мед своей жене.

— Что вы, не хлопчите! — сказал Аджигерей.

— Какие там хлопоты, — старец нахмурился. — Скажи ей, дедушка Газиз передал привет. Ты сам-то надолго приехал?

— На месяц.

— Мальчишкой ты был черным, как дэв¹, а теперь побледнел с лица. Говорят, в Алматы плохой воздух. Хоть раз в год надо приезжать в аул, прочитать молитвы на могилах предков, отдохнуть, попить кумыс², — он задумался. — По тилбизору я видел, как ты играл на домбре. Так играя, ты можешь заставить людей расплакаться. Но не успокаивайся на этом. Продолжай учиться. Я — как опоенная, обезножевшая лошадь, которой больше никогда не скакать. Ваше поколение обогнало нас. Так поднимитесь на вершины, куда нам не удалось взобраться.

— Вершина, кажется, впереди, — сказал Аджигерей.

— Не забывай и обо мне, — шутливо сказал Газиз. — Я тоже твой учитель. Хоть два-три кюя, да перенял от меня. Упоминай и мое имя.

— Конечно, — Аджигерей протянул старцу руку. — Разве я забуду... Грех-то какой!

— Прощай, — Газиз обнял Аджигерея и поцеловал его в щеку. — В следующий твой приезд буду ли я здесь или вон там... — он указал подбородком на кладбище. — Один бог знает. А ты будь здоров, пусть святой Кыдыр³ благословит и убережет тебя на трудном пути.

* * *

— А теперь, свет мой ясный, слушай.

Атыгай взял домбру и сел поудобнее.

¹ Дэв — сказочный великан. В оригинале «Жүнт» — мифологическое существо, проводник в иные миры, который может иметь облик лошади, рыбы, человека и пр.

² Кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока.

³ Кыдыр, Кызыр — святой покровитель путников, дарующий благословение музыкантам и пр. Обычно его отождествляют с мусульманским Хизром-Зеленым.

— Давным-давно, еще до того, как были созданы заповеди Прямого пути и Древнего пути¹, жил хан по имени Чингис. У него был батыр по имени Кет-Буга. Как-то раз Чингис, сидя в своей ставке, задумался и сказал приближенным: «Сдается мне, покорил я все четыре стороны света и семь государств». Тогда один из визирей сказал: «Нет, господин, вы еще не победили одного врага». «Говори!» — приказал Чингис-хан. «Владыка, непокоренной осталась страна Миср². Отправьте туда войско. Лишь когда вы завоюете Миср, все четыре стороны света будут полностью вашими». Чингис немедленно послал за Кет-Бугой и объявил ему приказ. И многочисленное войско с развевающимися на ветру знаменами и флагами отправилось на закат солнца.

Атыгай дробно щелкнул по струнам. Раздался звук, будто волна ударила по скале.

— Долго-долго скакало войско, и когда кони уже выбились из сил, они достигли цели. Но царь Мисра оказался строптивцем. «Чингис хочет воевать со мной? Посмотрю я на его силу», — сказал он. Сказал так и вызвал своего полководца. «Под нашими воротами стоит батыр Кет-Буга, иди и скажи ему, пусть возвращается домой, пока цел, не то я отправлю на него своих отважных воинов, родившихся во время парада планет, и все они будут верхом на слонах», — велел ему царь. Египетский полководец вышел за ворота и сказал: «Батыр Кет-Буга, давай не будем проливать кровь, возвращайся на родину».

Кюйши сыграл короткую мелодию из одной темы. Удивительно! Будто прозвучало благородное слово, произносимое лишь единожды. В напеве, звучащем как лебединый крик, отразилась вся суть полководца. Аджигерей поразился мудрости кюя, уместившего в семи-восьми звуках столько смысла.

¹ «Прямой путь» и «Древний путь» — средневековые законодательства казахов.

² Мысыр (Миср) — казахское название Египта.

— Но Кет-Буга не согласился. «Десница моего хана мощна, а ук-рюк для ловли необъезженных лошадей достанет любого. Пусть твой царь добровольно сойдет с трона и бросит свою корону под ноги моего хана».

Послышалась леденящая душу зловещая мелодия, встречающаяся в калмыцких кюях.

— Кто стерпит такое. Ворота открылись, и войска Мисра под звуки огромных труб и барабанов вышли из города. Началась битва, затмившая солнце.

В этот раз прозвучал целый кюй. Неловкие, на первый взгляд, пальцы кюйши ливнем пролились на деку домбры. Аджигерей затаил дыхание.

— Но разве закаленные воины Чингиса отступят? Победили они врага и бросили под ноги Кет-Буги голову царя с короной на ней. На этом пока оставим их и вернемся к себе в степь. У Кет-Буги был единственный сын Батыл. Он тоже был бесстрашным героем. Как-то раз пришел караван из Китая и начал торговать. В караване была девушка, сиянием сравнимая с солнцем и месяцем. Отрок увидел красавицу, пламя вспыхнуло в нем, он влюбился — и молодые сговорились. «Если ты отважен, приходи вечером в камыши, встретимся там», — сказала девица. Когда смерклось, Батыл, не взяв никакого оружия, пришел в назначенное место со своим другом Аргынсеитом. Но красавица, в которую он влюбился, оказалась водной пери. Она попыталась утащить джигита на глубину. Они долго боролись. Когда Батыл уже прощался с белым светом, ему удалось вырваться из железных когтей, и он вброд пошел к берегу. И тогда девушка-пери со словами: «Раз мне не суждено быть с тобой, так умри!» — выстрелила ему в спину из лука.

Атыгай отхлебнул чаю и продолжил:

— На другой день Чингис собрал приближенных: «Погиб сын моего любимого батыра. Найдите убийцу и приведите ко мне». У

хана был главный визирь по имени Мукали¹. Он допросил Аргынсеита, отправил погоню и вернул китайский караван в ставку. Хан приказал казнить всех. И тогда главный караванщик упал на колени перед Чингисом и сказал: «Владыка, можно отрезать язык, но нельзя отрезать слово, сказанное этим языком». «Говори!» — закричал Чингис. «Господин, мы люди подводной страны. Сын нашего царя вышел на землю и пропал бесследно. Нас отправили на его поиски», — сказал караванщик. «Если так, то зачем вы убили единственного сына моего батыра?» — спросил хан. «Господин, — сказал караванщик, — вместе с нашим караваном поехала дочь царя. Разве дочь царя будет прислушиваться к моим словам? Когда я отвлекся по делам, она успела совратить несчастного юношу. Что я мог сделать!» «Если так, отправь одного из своих людей за ней», — сказал Чингис. Делать нечего, главный караванщик отправил посыльного за девушкой.

Прозвучал горестный кюй, напоминающий кобызовый² напев. Это мольбы девушки, когда ее бросили под ноги Чингиса.

— Но Чингис-хан не разжалобился. Приказал казнить девушку. Оставим его пока и вернемся к Кет-Буге. Настало время, когда он захватил Миср, посадил повсюду своих наместников и предался блаженству. И вот однажды ему сообщили, что приближается караван с родины, и в нем сорок человек в траурных одеяниях. «О святые покровители, что там случилось? Пусть Аллах бережет нас от зла!» — взволновался батыр. Караван пришел в город. Кет-Буга встретил его. Те сорок человек, сняв свои пояса и накинув их себе на шею в знак того, что отдают себя на милость полководца, упали в ноги Кет-Бути. Рыдая и вырывая бороды, они сообщили батыру о смерти его сына. И

¹ Мукали, как и Кет-Буга, — реальный человек, полководец Чингис-хана, завоеватель Вьетнама, Кореи, Южного Китая.

² Можно отрезать голову, но нельзя отрезать язык — поговорка, выражающая право любого человека высказаться. Кобыз — древний смычковый инструмент, особенно любимый шаманами.

тогда Кет-Буга со словами «О, о мой Батыл, зрачок глаз моих, зачем ты связался с дочерью пери! Я остался один!» — горько застонал и заплакал.

Всколыхнулся, зарыдал неведомый ранее кюй. Атыгай долго играл, раскачиваясь, подобно тополи. Как будто вот сейчас умер единственный сын давнего предка-батыра, как будто вот сейчас кюйши, как печально гудящий бронзовый колокол, извещал отца о смерти сына. Казалось, древний, забытый голос мужества и гордости ожил, разыграл вновь в неистово разъяренном звуке отхлынувшей от скалы волны.

Кюй затих. Аджигерей, Атыгай и сидевшая ближе к двери сгорбленная старушка замерли, словно окаменели. Будто вернувшиеся из мира иного призраки стародавней жизни, прежде чем вновь раствориться в прошлом, торжественным кочевьем прошествовали перед ними.

Молчание прервала бабушка.

— Ой-бой, старик, — сказала она хрипло. — Сегодня ты стал самим собой, будто заново родился.

Атыгай рассмеялся:

— А ты думала, легко ли разменявшему девятый десяток Атыгаю вновь сесть в седло?

В очаг добавили углей из сухого овечьего помета. Бабушка заново вскипятила чайник и разлила свежего чаю.

— Дедушка, что это за кюй?

— Это кюй Кет-Буги «Сломленный Буга», свет мой, — сказал Атыгай. Он вытянул затекшие ноги и подсел поближе к столу. Чинно, одну за другой выпил несколько чашек чая.

— Уф-ф, жена, — сказал он, довольно глядя на старушку, — какой вкусный чай ты заварила!

Аджигерей покачал головой.

— Я раньше слышал от разных домбристов обрывки этого кюя. Но не видел человека, который бы исполнил его целиком и так страстно.

В этот вечер Атыгай сыграл больше тридцати кюев, один лучше другого. В этот вечер Аджигерей еще раз убедился в безграничном богатстве кюя. Самонадеянной теперь выглядела его уверенность в том, что уже слышал и знает достаточно. Оказалось, что ему неведомы многие секреты.

Оседлавший вдохновение старик долго не выпускал из рук домбру. Лишь когда совсем стемнело, он прислонил ее к стене.

— Ну, свет мой, на этом остановимся.

Он прилег, опираясь на локоть, на постеленное рядом со столом одеяло и с наслаждением вытянул ноги.

— Устал я что-то, — он полежал некоторое время, с хрустом разминая пальцы, сгибая и разгибая их. — Я играл для тебя. Ради твоего пути, твоей цели. Вот уже двадцать или тридцать лет казахи не вспоминают об Атыгае. Никто и не спрашивает, жив он или нет. Один лишь раз из Алматы приехала группа людей. Наспех поговорили со мной, пока прогревались их машины. Разве оживет кюй для людей, приехавших в сумерки и не расседлавших лошадей? А когда начали допрашивать, как энкавэдэшники в прежние времена, мол, в каком году родился, как звали родителей, кто твой учитель? — я их прогнал.

Аджигерей рассмеялся.

— Дед твой таков, — засмеялась и старушка. — Если разговор не заладится, поколотит и выгонит.

Поздно ночью, уставший от дневных впечатлений, но чувствующий себя бодро, Аджигерей вышел на свежий воздух.

«Почему осенью звезды кажутся такими огромными? Это одна из тайн природы», — подумал он, глядя на ночное небо. В степи даже в летнюю ночь бывает так холодно, что масло замерзает. А осенью и вода застывает. Он с наслаждением дышал, подставив лицо и грудь под ледяной поток воздуха, текущий над степью.

— Сынок, осторожнее, — сказал сидящий перед дверью Атыгай, — не простудись.

Он включил радиолу, которая была у него в руках.

— Это привычка с войны. Слушаю, что происходит в мире.

ТАЛАСБЕК АСЕМКУЛОВ

«Эта договоренность — огромный политический успех советского руководства. Мировые СМИ оценивают его как самое значительное событие последних лет».

Атыгай заинтересовался.

— Что говорят?

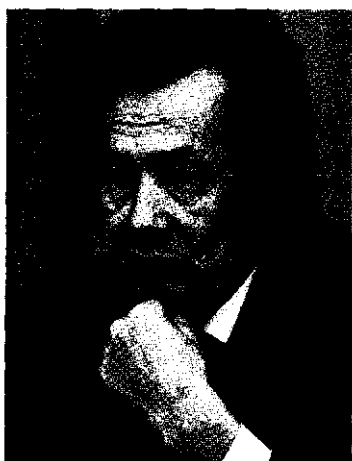
— Говорят, добились еще одной политической победы, — Аджигерей, блаженствуя, потянулся. — Но они сильно ошибаются. Самое значительное событие последних лет произошло здесь, в сердце Арки¹, в этой мазанке. Ничего важнее в мире сегодня не случилось.

Перевод Зиры Наурзбаевой

¹ Сары-Арка, Арка — это степь центрального, восточного и северного Казахстана.

Рахымжан Отарбаев

(1956–2018)



В 1977 г. окончил Уральский педагогический институт. Первый рассказ Р. Отарбаева был опубликован в 1976 г. в областной газете «Орал өңірі» («Уральский регион»).

Первый сборник Р. Отарбаева под названием «Құпия түн» («Тайная ночь») увидел свет в 1987 г. В последующие годы были изданы такие книги, как «Жұлдыздар құлаған жер» («Место звездопада»), «Шер» («Печаль»), «Жайық жыры» («Песнь Жайика»), «Қараша қаздар қайтқанда» («Возвращение перелетных птиц»), «Дауысыңды естідім» («Услышал твой голос»), «Аспандағы ақ көбелектер» («Белые бабочки в небе»), «Біздің ауылдың амазонкалары» («Амазонки нашего аула»). В казахстанской прессе были опубликованы исследования литературоведов о художественных достоинствах рассказов

и повестей, представленных в этих книгах. В 2011 г. избранные рассказы Р. Отарбаева под названием «Отверженный мир» увидели свет в издательстве «Художественная литература» и были по достоинству оценены российскими литературоведами.

Отарбаев плодотворно работал и в области драматургии. Такие его пьесы, как «Бейбарыс сұлтан» («Султан Бейбарс»), «Бас» («Голова»), «Нашақор жайлы новелла» («Новелла о наркомане»), «Нұржауған-ғұмыр» («Счастливая жизнь»), «Сырым батыр» («Батыр Сырым»), «Мұстафа Шоқай» («Мустафа Чокай»), «Нарком Жүргенов» («Нарком Жургенов»), «Ғабит» («Габит»), «Мен сізді сатқан жоқпын» («Я не предал вас»), «Әміре» («Амре»), были поставлены на сценах республиканских и зарубежных театров. В ряде областных театров (в Атырау, Шымкенте, Таразе) прошли фестивали, посвященные пьесам Р. Отарбаева.

Избранные произведения Р. Отарбаева были изданы в Пекине издательством «Ұлттар» («Нации») в виде двух книг, на китайском и казахском языках. Наряду с этим произведения писателя были переведены на турецкий, арабский, английский, французский, итальянский, болгарский, узбекский, кыргызский языки.

Р. Отарбаев лауреат Международной премии имени Чингиза Айтматова (2009) и Литературной премии имени Махамбета Утемисұлы (2013).

Белые небесные бабочки

Не тревожьте муравья,
он же тоже жаждет жить.
Фирдоуси

Снова гоняясь за белыми бабочками, обессилев, иссушив зев, он проснулся.

* * *

Долго шел по правой стороне прямой улицы, пропадая-появляясь, возникая-исчезая, среди трущихся друг о друга спешащих прохожих. Шел по направлению к базару. Каждый день так. И каждую ночь — жажда не дает покоя.

Утренняя заря, разыгравшись, будто полуденная жара, жжет висок. Повернув белую кепку набекрень, прикрыв ею зачесавшийся висок, взглянул, широко раскрыв глаза, на огромное небо. В голубом пространстве, словно неостриженный верблюжонок-сирота со свисающими клочьями шерсти, бесцельно паслось одинокое облако.

Ленивые воробьи, освежившие клювы утренней августовской росой, то взлетая, то приземляясь, беспокойно суетятся возле людей. Наверное, и эти несчастные ищут свою судьбу на базаре.

— Ой, дауренай!¹ — раздалось неподалеку, и он повернулся на голос. Но никого обращавшегося к нему по имени не заметил. Мимо проходила бабуля, осторожно ступая на правую ногу, видимо, измученную ревматизмом. Похоже, давала советы-пожелания сопровождавшей ее молодой девушке:

¹ Эх, время, время!

— И я была такой, как ты.

Попутчица ее, будь она неладна, гримасничала и окидывала всё вокруг игривым взглядом. Оглядывает, будто обыскивает. Между блузкой и поясом юбки выглядывает пупок, он словно третий глаз прицельно бьет в идущих навстречу людей. Даже до противоположной стороны улицы достает.

Пристально-пристально осматривает прохожих.

— Да, и ты станешь такой, как я...

Только тогда, когда пропали из виду старуха с девушкой, собрался с мыслями. Разве он один тонул в своих печальных мыслях, неся на себя бремя скорби в бесконечность?.. Вон, все такие же...

Даурен, о ком зашла речь, торговал брюками на огромном базаре большого города. Огромном базаре, но на маленьком пяточке, куда еле-еле влез бы таз худенькой торговки помидорами. Раскладывал стопками, вызывая рябь в глазах, белые, синие, черные штаны...

— Жаке, вам здорово идет...

— Тетя, они на вас как влитые, — приговаривал, расхваливая свой товар. Покупатели, да не убудут они, такие разные! Юркие, как юла, юноши, серпом согнувшиеся старцы, упирающиеся ввысь исполины, кривоногие коротышки, суетливые скороходы, талию с бедрами сравнивавшие толстяки... Щедрые, не считающиеся с ценами, и скупые, слезно просящие скидку... Только и скажешь — ну и ну! Однако звонких монет, накопленных за день в кармане, всё же хватало кудрявому, смазливому парню и на аренду квартиры, и на приличное пропитание, иногда на застолья, и на поддержание одинокой матери, проживающей в ауле Жарбай.

Как радовалась мать, решившая во что бы то ни стало сохранить домашний очаг своего покойного супруга, его ежемесячным посещениям — куда больше, чем дарам, которые он привозил. Бедная, провожая его в обратный путь до самой проселочной дороги, в колышавшемся, широком платье, в подоле которого кружились золотые солнечные лучи, как будто она и несла их, зачерпнув тем самым по-

долом, всё приговаривала: «Жеребеночек мой!» Расставаясь, оставляла ему — тоже как будто извлекая из своего материнского подола — душевное спокойствие и даже благодать.

Вернувшись в город, он тут же вливался в чрезмерно стремительный, суетливый, рваный ритм своей городской жизни. Тут торговали даже душами, и он по своей воле никогда не вступил бы в эту трясину... Но здесь была Алима. Та самая девушка, продающая воду у входа на базар, между бровями которой ровно посередине прячется родинка величиною с просяное зернышко. Да, да, она! Всякий раз, продав брюки, пил ее воду по несколько стаканов кряду.

— Прибыл из солончаков Доссора или из песков Жассора? — как-то спросила, застенчиво улыбаясь.

— Нет, прямо из чужих штанов... — Раздался звонкий смех. Не просто смех, а звон разбитой стеклянной посуды, наполнивший собою воздух. С тех пор стал искать не воду, а этот звон, радующий его слух. Звон! — Вот и сейчас, невидимый глазу, он разбрызгался в воздухе.

Она была сиротой, выросла на руках у брата и его жены. Из-под ее по-детски невинного облика, сквозь ее путливую натуру всё время робко выглядывала какая-то надежда. Наверное, именно эта надежда и сберегла ее исцеляющий смех.

Договорились справить свадьбу осенью. Перевезти мать из Жарбая, жить вместе. Только вот жаль...

— Сровняв с землей древнее кладбище, построили на нем «Дворец бракосочетания». «О Аллах, да прервутся их дни», — услышав это, он опять обернулся на знакомый голос. Оказалось, та самая старушка, осторожно ступающая на правую ногу, пораженную ревматизмом, но уже вспотевшая. Идет, непрерывно двигая худыми лопатками.

— Сегодня свадеб ужасно много, — растягивая, словно жвачку, слово «ужасно» и получая от этого явное удовольствие, проговорила девушка, демонстрирующая всем свой одноглазый пупок.

— Э, скот отучнел, овощи-фрукты поспели. Как же не быть людскому достатку, — обронила старуха. А шедшая с нею девушка почему-то

притихла, приуныла: — Увы, нет лада у нынешней молодежи, — продолжила старуха свой речитатив. — Уговор, данный ночью, утром уже забывается... Где же он, этот чертов базар, пропади он. Вроде бы на расстоянии броска камнем, да никак не дойти.

Еще бы: если заглядывать в любой попавшийся по пути магазин, мелькая то спереди, то сзади, никому не давая прохода...

Только вот жаль...

В разгар торговли чужими штанами вдруг звонко выкликнули его.

— Вызывает хозяин базара! Живо, иди!

Удивленно замер. К чему бы это? Краснолицего, с зелеными глазами хозяина видел только раз. Базарные женщины, пуская слюну, никак не могли достать дна в своих пересудах о его баснословных богатствах.

— Что и говорить, в день по два раза меняет костюмы!

— Глупая, что ты всё о тряпках — да он каждую неделю садится за руль новой машины! Купил своей жене виллу в Париже. А та, говорят, уже купается только в «Шанели».

— У него единственная дочь. Не сходит с джипа. Сидит себе и сидит. Вроде, замуж хочет, — нашла хоть чем-то уколоть.

— Ой-бай, да она выбирает себе мужа сидя. Бестолковая, разве она крутится, как ты или я?

— Тоже мне. Посмотрела бы ты на нее, когда она, выйдя замуж за негра и разругавшись с вождем племени, была выставлена из африканской заграницы. Как же после этого не сидеть. Будет сидеть!

Жужжали, как пчелиный улей.

Что за нужда, какие услуги от него хочет получить хозяин базара, сыром катающийся в масле? Не на шутку встревожился парень. Приезжих много, как бы не потерять свой пяточок. И мать в каждый его приезд причитает: «Жеребенок мой, не верь слишком высокому возвышению». Будто ее сын, торговец брюками, сидит на каком-то почетном месте, которого все домогаются.

Когда с предательской дрожью в коленках вошел в просторный кабинет, краснолицый и зеленоглазый, улыбаясь, встал со своего места.

— Входи, родной, входи. Давно обратил на тебя внимание, хотел приблизить к себе.

Паренек растерянно моргал. А хозяин, как портной, пробежался взглядом по его худым плечам, по всему телу.

— Ассаламалейку! — приветствовал хозяина, еще больше теряясь в догадках.

— Уалейкум. Садись. Успокойся. К черту штаны. Избавься! С сегодняшнего числа будешь моим помощником. Вдвоем с дочерью...

— Но еще много непроданного товара...

Хозяин громко рассмеялся.

— Э, родной, никто без штанов не останется, не бойся, продадут другие.

Даурен долго не мог опомниться.

* * *

...Пропадая-появляясь, возникая-исчезая, шел долго. По направлению к базару. И каждый день так. Неутолимая жажда не давала покоя. Прислушивался к бестолковым разговорам уличных казахов. Маленький старичок своим гнусавым, свистящим голосом, обходя шипящие, сердился на своего прыщавого длинноногого сына.

— Продав в прошлом году красного кастрированного вола, устроил тебя на усебу. Усителя залуются, говорят, до сего дня не знаес букв. Вот это да! Мать твоя убеждена, сто светик ее будет судьей. Мы в наше время книги проглатывали. Замарал мое, Зылкыбая, имя, селудивая собака!

— Туф, пап, прекрати.

* * *

Оба помощника-советника хозяина базара оказались примерно одинакового возраста. Сыргалы, дочь, как говорили базарные женщины, да останутся они непутевыми, — та самая, «разругавшаяся с вождем племени», розоволицая, балованная. Поведения вольного. Глаза не такие зеленые, как у отца, а цвета неба. Когда останавливается, попавшись навстречу, ее колыхающиеся парные гранаты упираются ему прямо в горло. Не захочешь, а проглотишь.

В день его «назначения» Алима сострила с улыбкой:

— Хорошо, если советник станет пить нашу воду.

— Что бы ни было, всегда буду падать у твоего водопоя! — выпалив это, он, как обычно, залпом осушил граненый стакан. — Да, кстати, давай завтра пойдем в театр. Слышал, идет интересный спектакль.

— Пойдем. А в «Мерседес» свой меня посадишь? — спросила осторожно, шепотом.

— Конечно.

Раздался звон. Крошево разбитой посуды, разбрызгавшись, наполнило воздух.

Зашел после в кабинет хозяина. Тот сидел молча, понурился. Дочь, покрасневшись, стояла рядом с ним, как вбитый кол. И вид ее был грозен, словно у остриженного холощенного козла. Глаза цвета неба метали небесные молнии.

— Что-о?! — с ходу набросилась она на Даурена. — Да ты что! Ты же большой начальник. Второй, после папы. А стоя у ворот, пьешь желтую, как моча коровы, воду. Какой торговец после этого будет уважать тебя? А?!

Вобрав голову в плечи, стал виновато оседать.

— Холодильник твой переполнен, вот-вот уже лопнет. Что-о?

— Ладно-ладно, — приподняв понурюю голову, попытался успокоить ее отец. — Хватит уже. Даурен, дорогой, общаться с людьми надо. Но не подпускай этих казахов слишком близко к себе. Ухватят за штанину — конец. Считай, тут же вспрыгнут на голову. Да пропадут они... Будьте с дочерью друг дружке опорой, поддержкой. А я со стороны буду любоваться и гордиться вами.

— Извините... Случайно...

— Что-о!?!

— Сыргалы, хватит уже! Послушай, Даурен, у меня вот какие планы. Не будем вариться в собственном соку, довольствоваться тем, что имеем базар. В соседних областях, в Алматы, в Астане много новых современных торговых центров. Надо изучить их достижения,

если есть опыт, мы должны его использовать. Дикий рынок сегодня есть, а завтра его не будет. Наш долг — безусловно обслуживать народ. Это дело хочу поручить вам, двоим.

— Хорошо, дядя, — выказал он покорность.

— Ну, и отлично! Тогда сегодня же вылетайте. Вот билеты.

— А на какой срок? — к дочери снова вернулся розовый лик и цвет прояснившегося неба в глазах. — Погуляем не спеша, с месяц...

* * *

...Пропадая-появляясь, возникая-исчезая, шел он долго. По направлению к базару. И ежедневно так. Жажда, неутолимая жажда не дает покоя...

Гнусавый тщедушный старичок продолжает и продолжает втолковывать своему прыщавому длинноногую сыну:

— В твои *дзигитские* годы я не сходил с коня. *Несчастливая* моя молодость, *позертванная* вам. Сказал *зе*, не *мозесь* *уситься*, *зенись*. Хотел посвататься к *досери* соседа Кудайбергена. Заупрямился, *зирная*, мол. *Сто* в этом плохого? *Не знаешь* своей выгоды, *пес*. Зимой — тепло, летом — тень...

— Туф, пап, прекрати, — всё так же защищался сын.

— Ой, беда! Милovidная была она...

* * *

...Останавливаясь в каждом городе, просыпались в одной постели. В первые дни, когда боязливо отстранялся от нее, слышал уже привычный возглас:

— Что-о!?! Вся эта манна небесная, наверное, не упала, свисая, с небес. Благодаря мне. До смерти люблю тебя. Что-о?

— Ладно, хорошо. Я тоже, — мямлил он.

Грива его обвисала.

— Если ладно, то избавься от торговки водой. Сразу по приезде!

— М...

— Что-о-о?!?

— Да сказал же уже.

После этого... На кого он похож? Обхваченный мягкими коленями, уткнувшийся между ними, стал ли он тем, кто укрощает строптивую лошадь? Или тем, кто на кузне, без устали поднимая и опуская кузнечные меха, раздувает добела раскаленные угли? Или он тот, кто расчетливо путешествует не по базару, а по самой сладкой неге? Нет, что-то не давало одинокому выходцу из Жарбая натянуть мужские удила.

Едва вернулся из поездки, мигом помчался к Алиме. Еле дождался, пока рассеется беспорядочная очередь к ней.

— Живой? — улыбнулась ему навстречу. Улыбнулась, но стеклянная посуда не разбилась. Окружила себя невидимой глазу грустью. Родинка между бровями, напоминавшая просяное зернышко, как будто размножилась. По лицу пошли еле заметные муравьиные следы.

— Приезжала из Жарбая твоя матушка. Искала тебя. Ноют, сказала, руки и ноги. Разве удержишь в руках сына, ставшего начальником? — сетовала она.

— Разве удержишь? — повторила то ли матушкины слова, то ли уже свои.

— Г-хм... Когда ее перевезем? — пробормотал после паузы.

— И в театр не сходили, Даурен.

— Интересные спектакли уже прошли...

* * *

...Пропадая-появляясь, возникая-исчезая, шел долго. По направлению к базару. И ежедневно так. Жажда, нестерпимая жажда не дает покоя.

— Сгинь! — отмахивается от гнусавого старичка старушка: они на пару так и преследуют его изо дня в день. — Смотри-ка, говорит, решил в городе найти вторую жену. Да не то что другие, даже я, хромая, не дам тебе себя догнать!

— Не *сути* так! Заставлю *сипать* траву. До сих пор пью кумыс, сам хозу, ем конину. Э-э... Давай свой адрес.

— Отстань, грешник! Перед детьми стыдно. А длинноногий прыщавый юноша и, будь она неладна, девушка с одноглазым пупком,

тоже ежедневно преследующие его, впившись и пожирая друг друга глазами, зубоскалили и лизали мороженое...

* * *

...В тот день они вместе с сияющей Сыргалы посетили «Дворец бракосочетания», подали заявление о браке.

— Скорее бы прошел этот месяц, устроилась свадьба, чтобы поехать за границу, — размечталась Сыргалы.

— В Африку, что ли?

Астахфыраллах!¹ — надо же, в здравом уме такое сказать. Будущая супруга, как будто ее окунули в закат, покраснела.

— Нет, в Жарбай. Слышала, расстояние между ними небольшое.

Оба неожиданно рассмеялись, опережая друг друга и избавляясь от напряжения.

После обеда, не найдя успокоения в душе, впопыхах прибежав на работу, услышал:

— Алиму забрала «Скорая помощь»!

— Выпила воды и упала, говорят.

— Какая вода — яд! Вынудили выпить, ой-бай, вынудили!

— Носила в себе семимесячного ребенка! — голосили женщины, сотрясая поднебесную и без того перевернувшегося мира.

Перед глазами пошли круги. Тут же повернул обратно. Возле входа в больницу чуть не столкнулся с Сыргалы. Что она здесь делает?

— Что-о?! — воскликнула, резко остановившись. Утренний румянец побагровел, глаза цвета неба вновь побелели.

— Пропусти!

— Что-о-о?! —

Пробился к операционному столу. Пожилой хирург, весь покрытый белым, смотрел на него посеревшими глазами. Две медсестры рядом с ним, словно въявь увидав Газраила², заверещали:

— Остановитесь!

¹ Дословно — О Аллах, прости.

² В восточной мифологии Газраил — ангел смерти.

- Будьте терпеливы.
- Мы сделали всё, на что были способны.
- Примите соболезнования...

Вдруг... только что накрытое белым саваном поднялось светлым сиянием. Самая настоящая его Алима! Воспарив, словно видение над водой, остановилась рядом с ним, перепуганным до смерти. Недолго посмотрев на него с тоской и укором, стала улетучиваться — тоже как пар. Вокруг нее и вместе с ней улетали, порхая, бабочки, похожие на цветы весенней яблони.

* * *

...Пропадая-появляясь, возникая-исчезая, идет долго. По направлению к базару. И ежедневно так. Совсем измучила неуголимая жажда.

Люди пренебрегали им, как тенью. Совсем обнаглели они, толкаясь и перерезая дорогу! Нет старушки, ноги которой одолел ревматизмом, и старика-коротышки след тоже наконец простыл. Длинноногий и прыщавый юноша крепко-накрепко обнимает девушку, да превратись она в кувшин, за обнаженную талию, как будто кто-то намеревается отнять ее. Да, он-то отстоял свое. Не поддался.

— Хочешь, съем тебя? — спрашивает малый у ветреной подружки, поглаживая ее одноглазый пупок и намереваясь углубиться дальше.

— И будешь сыт? — игриво шепчет она, стреляя глазками по сторонам.

— Проголодаюсь — так снова буду есть.

Жаль кастрированного красного быка, зарезанного в «прослом» году во благо этого голодного пса! До сих пор толком не различая букв, тем не менее оставил отца своего на обочине дороги...

Светлое видение, в момент бракосочетания никем другим, кроме Даурена, не замеченное, паря, остановилось между ними и Сыргалы. На этот раз смотрело без тоски и укора. В печальном облике вместо угасшей прежней робкой надежды плескались тревога и беспокойство.

— Не-ет, — умоляло, прикусив губу и покачивая головой. — Не-ет!

Стайка белых бабочек, похожих на цветы весенней яблони, порхает и порхает между Дауреном и светлым видением, пришедшим из другого мира. В глазах зарябило, как будто и они покрылись яблоневыми цветами. А музыка гремела и гремела. И Бекболат всю голову исполнил песню «Мой народ».

Упал без сознания...

С тех пор, гоняясь во снах за белыми бабочками, просыпается, обессилив и иссушив зев. Врачи говорят: диабет. На нервной почве.

— Незаконнорожденный ребенок в поисках своего отца не находит себе места в обоих мирах, — слышал наставительный голос у входа на рынок. Пристально оглянулся вокруг, в сплошном потоке мешочников никому нет дела ни до голоса, ни до него: плывут, как бараны в воде. Э, надо же, вспомнил: да ведь это голос матери, побывавшей на свадьбе единственного сына, а затем с плачем вернувшейся в свой Жарбай.

Ожили в ушах ее слова, сказанные об их с Алимой ребенке. Или он слышал их когда-то давно, еще в детстве?

Придя на то место, где Алина продавала воду, — хозяин базара давно закатал его асфальтом, — уселся, словно ребенок-инвалид.

— Дайте воды. Воды! Воды!

Просьба-жалоба, повторяемая им всегда на этом месте. Только неясно, к кому же он обращается. Да он и не ждет ответа. До самой глубокой ночи не сдвинется с места. Молчаливое сиденье превратилось в привычку, стало его каждодневным делом. Завтра он вновь придет сюда.

Белые бабочки... Порхающие белые бабочки...

Перевод Георгия Пряхина

Турсынжан Шапай

(род. в 1957 г.)



Критик, прозаик, литературовед. Кандидат филологических наук. Окончил государственный педагогический институт им. Абая (1979). В середине 80-х гг. прошлого века в республиканской печати были опубликованы рецензионные статьи. В 1989 г. вышла первая книга «Ой түбінде жатқан сөз» («Мысль, порождающая слово»), посвященная художественно-эстетическим особенностям казахской поэзии. Впоследствии, в 1999 г., отдельной книгой «Шын жүрек — бір жүрек» («Истинное сердце всегда одно») были изданы литературоведческие исследования по современной казахской лирике и проблемам создания лирико-романтических образов, а также подборка эссе («Кемеңгер», «Абайдың дидагьры», «Абайдың Қиясбайы», «Абайдың досы», «Абай мен Дулат», «Махаббат пен ғадауат», «Тыныштық метафорасы» и др.) под общим названием «Анық

Абай» («Подлинный Абай»), посвященных произведениям классика.

Прозаические произведения Т. Шапая, опубликованные до сегодняшнего дня, большей частью представлены в жанре рассказов и эссе лирико-психологического и сатирического содержания. Художественный поиск, легший в основу подобных произведений, вошедших в книгу «Қазақтың жаны» («Душа казаха»), изданную в 2001 г., писатель продолжил и в следующей своей книге «Күлкі және көз жасы» («Смех и слезы»), увидевшей свет в 2015 г.

В 2017 г. опубликован двухтомник избранных произведений. На казахский язык автором переведены отдельные прозаические произведения русских, немецких, японских, грузинских писателей, а также тексты ряда документально-исторических и национальных раритетов.

Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1990). Награжден премией имени Толегена Айбергенова (1986) и Международной литературной премией «Алаш» (2000). Заслуженный деятель Казахстана.

Зеркальный Замок

Века прошли верблюжьим караваном с тех пор, как Старец увел меня за собой, и я забыл, откуда и когда он явился и кто он есть. Мы проходили через перевалы и хребты, через царства и государства, переправлялись через синие моря, пробирались через безводные пустыни, палимые нещадным солнцем. И однажды нам открылась бескрайняя степь. В ее сердцевине, в серебристом мареве, преломлялись лучи, высвечивая зыбкий мираж дивного пританцовывающего замка.

Чем ближе мы подходили, тем отчетливее вырисовывался загадочный дворец, тем резче проступали его очертания в беспрестанном движении, то взмывая в поднебесье, то опускаясь ниже травы.

Из последних сил плелся я за Старцем, стараясь не отстать и не упасть замертво. Босые ступни нестерпимо жгла раскаленная земля, невыносимо пекло непокрытую голову, сердце билось, словно молот о наковальню, глаза застилала туманная пелена, обожженное горло пересохло, язык превратился в провяленное мясо и, не умещаясь во рту, не в силах был издать ни возгласа, ни звука.

Проваливаюсь в забытие и вижу: Старец как ни в чем не бывало идет бодрым шагом, переходя на бег, подол грязного белого одеяния стелется вслед за ним, развевается и парит. Черные-пречерные мозоли на заскорузлых босых ногах смотрятся как надетые сандалии из сыромятной кожи вола. Смуглые до черноты ноги, опаленная кожа сливаются в единое целое с черной землей, и потому кажется, будто старик не шагает, а плывет по темной глади воды. Осанка его горделива. Высокий лоб, греческий профиль, словно высеченный из кам-

ня, его негибемая стать, его воля — слиты воедино и устремлены вперед, на восток. Серебристый мираж отражается в его глазах белесым блеском...

Отворяются ворота замка, отражаются на куполах изумрудные блики, играют-переливаются все краски вселенной, открываются райские кущи с тучными лугами, пьянящими прохладой ручейками, ветвями тенистых яблонь, прогнувшимися от обилия плодов. Я погружаюсь в мох успокоения...

Больно укололо руку. Я поднимаю небольшой, величиной с ладонь, осколок разбитого зеркала, смахиваю рукавом пыль с поверхности, пристально вглядываюсь...

Дрожь пробрала до мозга костей, смутный страх застудил нутро. Зыбь прошла по осколку — и зеркальная гладь превратилась в зияющий бездонный колодец. Мое тусклое, мутное изображение, отраженное в черном глянце, заворожило и пронзило меня змеиным взглядом со дна бездны, словно призрак потустороннего мира. Еще мгновение — и взгляд станет более ядовитым, и мое сердце рассыпется на зеркальные осколки... И чем больше я вглядывался в провальную бездну, тем глубже оно затягивала меня. Нет сил отвернуться, нет сил смотреть, нет собственной воли. Бездонный колодец приковывает взгляд и завораживает. И плоть, и мысль, и воля капля за каплей истекают во мрак и иссякают. Вот-вот ненасытное Чудище засосет и проглотит меня целиком и полностью. Оборотень жаждет остаться вместо меня!.. И я еще крепче цепляюсь за край маленького, с ладонь величиной осколка бездны.

И вдруг во сне я понял, что это сновидение. И тогда я закричал отчаянно и пронзительно, пытаюсь проснуться и наяву избавиться от бредового кошмара.

Зеркало выпало из рук...

Мне казалось, будто мой раскатистый крик подобен грому... Когда я очнулся от удушья, от усилия выдавить наружу свой страх, то еле слышал свой слабый голос, похожий на жалкие всхлипывания и скулеж.

Я увидел над собой Старца, впившегося в меня взглядом. Плутуватый блеск его бесцветных, вылинявших глаз, похожий на скопившуюся стоячую воду, таящую в себе тысячелетние таинства, пролился в мое нутро, быстро растекаясь по всем жилам и постепенно впитываясь. Глаза старика вновь покрылись серебристой дымкой и заблестали мириадами зеркал. Я почувствовал себя нагим и беззащитным существом, выставившим на всеобщее обозрение собственную душу и сердце... Кинжально поблескивали два глаза, обволакиваемые клубом серебристого пара, вливая в мою плоть невидимые волны, которые растекаются по моим жилам и читают мою суть, как раскрытую книгу. Я невольно зажмуриваюсь и стыдливо прикрываю одной рукой — лицо, а другой — срамное место.

«Довольно! Вставай!» — замогильным голосом повелел старик. С опаской сквозь приоткрытые веки я посмотрел на Старца. Стоя не вдалеке, он потирал голени своими черными, заскорузлыми ступнями, похожими на лапки ворона, и смотрел на Зеркальный Замок, на стенах которого свет и тень перемещались, меняясь местами, словно облака. На расстоянии вытянутой руки была расстелена белоснежная скатерть. На расписных блюдах громоздились горы фруктов и сладостей. В чашах из жженой глины призывно томила родниковая вода... Вода... Я потянулся к ней, облизнув пересохшим, припухшим языком потрескавшиеся губы. «Стой!» — резко крикнул Старец. И как бы сильно мне ни хотелось пить, несмотря на чуть ли не полубморочное состояние, я повиновался суровому властному голосу и отдернул руку.

Старец кивнул головой в сторону Зеркального Замка. Еле-еле волоча ноги, я поднялся. Из последних сил доплелся до Старца. На зеркальных воротах смутно отразился мой силуэт. Сколько бы я ни вглядывался, четкие черты лица, однако, не проступали сквозь туманную дымку... Но поразило другое: на зеркальных воротах рядом с моим силуэтом не было старика, стоящего рядом со мной бок о бок!..

— Учитель, вы где?! — испуганно спрашиваю я.

— Слепец, я рядом с Богом, — отвечает мой спутник.

— Но я вас не вижу!

— Лик святого не отражается в зеркалах, — говорит Старец.

Он еще крепче подхватывает меня под руку и властно подталкивает к воротам.

И чем ближе мы подходили, тем глубже утопало мое отражение в зеркальной перспективе. Я терялся в догадках: неужели стены, купола, ворота Зеркального Замка, открывающиеся, раскрывающиеся вовнутрь, постепенно углубляясь и отдаляясь, — это некое пространство без конца и без края?

Когда мы приблизились, блеск зеркал потускнел и мгновенно потух... Мрак загустел, затвердел и превратился в черный мрамор. Подойдя к воротам, Старец обмахнул рукавом вспотевший лоб... Греческий профиль, словно высеченный из камня, высокий лоб Сократа...

Старый маг взмахнул правой рукой, словно саблей, и ворота отворились, будто рассеченные надвое. Навстречу хлынул поток света, вспыхнувшего, словно сверкнувшая молния. Я ослеп от полыхнувшего огня — и прозрел уже на подмостках согнутого дугой амфитеатра. На восходящих ввысь рядах, на выдолбленных в скале зрительских сидениях были плотно расставлены тысячи сверкающих, искрящихся рябью зеркал. Как только мы вышли на освещенную сцену, я распался, раскатился, рассыпался горохом, отражаясь в бесчисленных зеркалах. Мои двойники расселись по изогнутым, как натянутый лук, рядам, словно перемешанные, перетасованные, сложенные веером карты в руках фокусника... Весь амфитеатр был полон мною — актером перед избранной публикой...

— Все, кто знает тебя в этом мире, находятся здесь, — сказал Старец, указывая руками на зеркала вокруг. — Ищи себя здесь!..

Промолвив это, Старец подвел меня к выдолбленным в скале рядам и встал за моей спиной. Отражения дрогнули и стали принимать очертания моего изумленного и добродушного образа, запечатленного в сознании тех, кто знал и знает меня. Проглянули лица родных, близких людей, друзей и подруг, своих учителей и учеников, то-

варищей и случайных знакомых. Без которых я не стал бы тем, кем стал. В устремленных навстречу взглядах я увидел Себя... Вот облики детских лет... Возможно, это друзья, с которыми не встречался с тех пор, как повзрослел... Вот моя семья, мои родители, глядя на меня нынешнего, грустят, однако, по моей детской, по ангельски невинной поре. Вот девушки, в которых был влюблен. Что-то я выгляжу не особо рядом с ними... Вот одно из зеркал подернуто плотным туманом...

— Она давно забыла тебя!.. — произнес стоящий над душой Голос. В нем слышится насмешка.

Я задержался, пока не проступил милый лик, по-прежнему прекрасный... Она была моей первой любовью...

В каком только обличье я не открылся?! Я и благодушный, и бесчувственный, и ленивый, и жадный, и хитрый, и вредный. А вот я и пройдоха, и маразматик, и капризный упрямец, и невежда, и.... Каких только версий не оказалось в этом ряду!

— Разные люди видят тебя по-своему!.. — Старик не отстает от меня, стрекоча как сорока. — Если ищешь истину, ты должен это признать и принять.

Но я не хочу оглядываться назад. Страшусь... Как страшусь и ледяного дыхания Старца за спиною.

Осмотрев поблескивающие ряды, дошли до середины и встретились лицом к лицу с мерзким типом на одном из беспросветных и мрачных то ли от грязи, то ли от копоты зеркал... Это в чьем воспаленном воображении я предстаю таким ненавистным? Упаси Аллах, столь гадким я не был и не буду никогда!..

— Это твой враг, представленный во множестве личин. Запомни их! — сказал Старец суровым повелительным голосом. Его леденящее дыхание обдало затылок до дрожи, до зубовного скрежета...

— ?!

— А ты думал, у тебя нет врагов? Наивный человек, есть такие двойники, которым в тягость даже то, что ты ступаешь по этой земле...

Широким жестом сеятеля старый маг предложил осмотреть амфитеатр, и я потерял счет черным зеркалам. Мне осталось лишь горько выдохнуть: «Бренный мир!»

Одно из зеркал, проблеснув, заставило меня подойти поближе. Отражения в нем беспрестанно менялись, то бледнея, то краснея... Оно стеснялось меня! Оно не смело смотреть прямо, оно виновато опускало голову, отводя взгляд. Не иначе, ясновидящий Старец, стоя за моей спиной, испускает незримые волны внушения, устанавливая связь между мною и зеркалами. И предо мною предстают все прегрешения, осознанные или бессознательно допущенные в этом бренном мире.

Человек слаб, но были попутчики послабее меня, и не один пострадал от моих деяний. Они хотели бы увидеть в зеркалах волчье отражение. Да разве же я против такого желания? Хуже другое, я не испытываю ни малейшего угрызения совести. Жестокий мир! Мне жаль наивные зеркала...

— Кругом — ложь! — усмехнулся Старец с присущей ему гнусной издевкой и холодным взглядом, ничего не пропускающим, бросающим то в жар, то в холод. — В этом мире нет ни справедливости, ни истины. Это даже не мир, это песок, ускользающий сквозь пальцы. И больше ничего!..

Старец, похоже, решил окончательно разочаровать меня, грешного. А может быть, поглумиться надо мной... И почему я боюсь возразить этому вздорному старику?

Наконец мы добрались и до улыбчивых рядов. Раздались приветствия и восторженные крики, похвалы и приглашения на званый ужин. Подумалось, здесь бы я задержался надолго, а может быть, и навсегда, забыв усталость, голод, смертельную жажду, помноженную на издевки Старца. Я всматривался в обманчивые зеркала, во множество милых отражений, любовался своим... Знаю, все зеркала лгут. И плохие, и хорошие. И разбитые, и целые. Но перед этим рядом зеркал я невольно выпрямлялся, расправлял плечи, высоко держал голову, и хотелось своротить горы! А одно из зеркал я бы заключил в золотую оправу. В нем я точь-в-точь похож на себя. И ни в

коем случае — на образ того, каким хотелось бы мне быть. Это — не изображение, это — я сам. Потому что в этом зеркале отразилась любовь... А кто не любит себя? Кто себя любимого не чтит?

— Это твой самый лучший друг, — усмехнулся за спиной Старец. — Он смотрит на тебя глазами своей тоски по совершенству и идеалу. Однако он еще не идеал и вовсе не ты!..

— Пусть! — ответил я, не выдержав, чуть не взорвавшись от негодования. — Друг — это второе «я» человека!

— Хм... Кажется, ты заговорил языком недалекого грека Зенона... Ты и вправду веришь этим словам? Знаешь, у меня тоже было когда-то много друзей. Овец было еще больше. Что интересно, люди хорошо знали количество овец у меня, но... ха-ха... никто не знал, сколько у меня друзей... Вот такие никчемные друзья...

— Это не относится к моим друзьям, — сказал я, не отрывая взгляда от зеркала. — Мой друг...

— ...не стоит одной овцы, — сказал Старец уверенным тоном. — Прошло два с половиной тысячелетия с тех пор, как я странствую между двумя мирами... Два с половиной тысячелетия! Мне можно и должно верить.

Спина моя содрогнулось от его могильного дыхания.

— В конце концов, — сказал я, повысив голос, — этот мир, эти люди, эти зеркала, в конце концов, — всего лишь производные моей независимой воли! В мире есть только Я! Остальное — ложь... И ты, старик, тоже ложь...

— Хе-хе-хе... Да у тебя гречневая каша в голове! Нахватался ты случайных мыслишек от мелкотравчатых бедняг философов. У тебя есть своя голова на плечах? А ну-ка, подойди вон к тому отдельно стоящему зеркалу.

Всё еще невольно повинаясь Старцу и лелея в душе надежду на чудо, я глянул в указанное зеркало и увидел самого себя. Настоящего. Не больше, не меньше; без ретуши и без прикрас. И волчья тоска взяла меня за горло: бесспорно, это я! — предсказуемый, всегдашний, опостылевший себе самому!..

— Это я...

— Нет, это не ты, — ответил снова Старец. — Это всего лишь твое представление о себе... Посмотри в зеркало, с какой стороны находится твое правое ухо?

— Справа.

— С какой стороны правая рука? Подними-ка руку!

— Справа.

Старец... расхохотался.

— В зеркале ты стоишь напротив себя. Так ведь? То есть правая сторона твоего тела отражается с левой стороны. Не так ли?

Мне нечем было крыть, и я смолчал в бессильной ярости.

— Всё — обман, — произнес с тоской старый маг невнятным голосом, отдающим сыростью могильного дна глубиной в два с половиной тысячелетия. — И твое представление о себе тоже обман. Тебя здесь нет!..

— Тогда зачем ты привел меня в этот замок?! — воскликнул я, задыхаясь. — Где обещанное постижение самого себя?

Только я произнес свою тираду, как зычный возглас Старца раскатился окрест, и эхо разбилось о скалы:

— Несчастный, смотри на меня!

Зеркала амфитеатра загрохотали, зашатались. Их блеск погас, их лоск исчез.

Оцепенение сковало и мышцы, и сознание.

— Смотри на меня и только на меня! — зарокотал Старец.

И в этот миг я ощутил за спиной не стариковское дыхание, а режущий нервы холод зеркального стекла. И не друг и не враг, а недремное око зияющей могилы глянуло на меня из мрака глубиной в два с половиной тысячелетия. Оно смотрело равнодушно и бесчувственно. Потустороннее око просвечивало насквозь всё мое нутро, выставляя на всеобщее обозрение всю подноготную. Мое отражение зависло надо мною, над моим затылком, над моим темечком. Оно и не плохое, и не хорошее. Отлакированное бесстрастно-мертвенным блеском, оно зависло и над душой, подобно призраку со

стылыми глазами, тускло поблескивающими, как ртуть. Как сострадательны мои враги! Неприглядные изображения в зеркалах моих врагов были не безжизненны. Как справедливы друзья! Красивый обман в их глазах оказался на удивление живучим. Нет! Мертвый в мертвом зеркале — это не я! Я — живой обман, нашедший отражение в бесчисленных зеркалах амфитеатра.

— Всё это — фальшь! — воскликнул маг, читающий мои мысли (теперь я в этом несколько не сомневался). — Истина спрятана за твоей спиной. Стоит только повернуть голову.

Но я всё еще не решаюсь посмотреть на старика: боюсь вновь потерять от страха.

— Я не хочу встречаться с собой, — говорю я дрожащим голосом. — Эта ложь — моя ложь, мое спасение, мое пристанище!

— Тогда ради чего ты искал истину? — спросил Старец, его глаза зеркала вновь подернулись белесым маревом.

— Истина в этом мире отражена в этих грешных зеркалах, — сказал я, придавая голосу уверенность. — Я есть то, о чем они свидетельствуют. А запечатлевают они сущую ложь... Но все это — я. И мне не нужна другая истина.

— Ты заговорил своим голосом! — удивленно произнес Старец. — Но ты ошибаешься. Сильно ошибаешься! В этом мире есть только одна истина. Единственная истина, которую ты ищешь в этом мире, самая первая истина и самая последняя — ты Сам. В тот день, когда ты окончательно поймешь себя, ты столкнешься лоб в лоб с Абсолютом... Если не веришь, повернись. Посмотри на меня!..

— Не верю, — сказал я, — и не буду смотреть!

— Это еще почему? — нетерпеливо прошептал-прошелестел Старец. — Вспомни про яблони в раю, про плоды на расстеленной скатерти, воду Зям-Зям в чаше из жженой глины. Все это ждет тебя!

Зря он напомнил о прохладной, о родниковой воде...

— Не верю! — вскрикнул я, чуть было не оглянувшись назад, подавшись дьявольскому искушению. — Знаю, за тобой безводная, пе-

ресохшая земля, там горят в аду... Знаю, из того ада живым не выйдешь. Знаю, забрав мою душу, ты вмиг исчнешь.

— Посмотри сюда, говорю! — прошипел по-змеиному Старик, обдав мой затылок своим ядовитым дыханием, так что у меня мурашки побежали по всему телу. — Повернись и посмотри в глаза!

Меня затрясло так, будто я не успел выпрыгнуть из арбы, катящейся в пропасть.

Старец в очередной раз собрался выкрикнуть свое грозное «Посмотри!», но голос его сорвался на вой раненого волка, и спорщик мой неожиданно-негаданно заплакал.

— Почему-у-у?! — напряженным от безысходности голосом страдальчески заголосил старик. — Почему я два с половиной тысячелетия впустую скитаюсь между двумя мирами! Почему никто не хочет обрести Себя истинного и стать самим собой? Ты, моя последняя надежда, повернись ко мне! Спаси меня от смертных мук! Заступи на мое место — и станешь бессмертным, и будешь бродить между двумя мирами веки вечные. А я устал... Уста-а-а-л...

Нет, не прост оказался мой спутник, прозорливый маг, ясновидец и искушитель. И не напрасны оказались мои опасения.

— Я останусь здесь, в кругу друзей и врагов, — ответил я решительно, показывая на окружающие меня зеркала.

Словно в ответ на мое решение подмостки амфитеатра высветил солнечный луч, поверхности зеркал засверкали, ожили и расцвели всеми красками мира.

— Сгинь с глаз моих! — громко, по-прежнему не оборачиваясь, прикрикнул я нависшей надо мной и тихо скулящей Смерти.

— Глупец! — пробурчал старик ослабленным, лишенным надежды голосом ...

Глупец? Старец сказал «глупец»? Он ошибся! Это — не истина! За спиной истины нет! У истины нет языка. Истина таких слов не ведает. Она бесстрастна. Ее можно только переживать, читать в сердце. Или, увидев ее, умереть.

ТУРСЫНЖАН ШАПАЙ

Я почувствовал, что зеркало Старца ожило, и сейчас оно охвачено смятением, потому как дало волю чувствам, не выдержало своего горя, своих страданий. Оно отклонилось от истины.

Я резко обернулся назад и успел увидеть тонущего в зеркале мага. Земля под ногами задрожала, зеркало, задребезжав, с грохотом обрушилось и рассыпалось на мелкие осколки, превращаясь в груды хлама.

Амфитеатр засверкал, тысячи отражений поднялись со своих мест, и раздался уже иной гром — гром рукоплесканий родных и близких людей, друзей и подруг, учителей и учеников, товарищей и добрых знакомых, без которых я не стал бы тем, кем я стал. Мои родные, друзья утирали слезы радости. Враги в знак признания бросали охапки цветов к моим ногам.

Старец исчез бесследно, как будто его и не было никогда...

...Я открываю глаза и вижу жену, присевшую на край дивана у моих ног. Она смотрит по телевизору репортаж по случаю Дня независимости. Идет торжественное собрание. Люди, поднявшись со своих мест, хлопают в ладоши, рукоплещут, затем потихоньку усаживаются. Большой человек, сделав глоток воды из стакана, стоящего перед ним, продолжает свою речь... Мне показалось, что позади оратора, прямо за его затылком, мелькнул луч холодного зеркала. Пока я протер заспанные глаза, поднял голову и внимательнее взгляделся, камера перешла на крупный план.

Перевод Умит Тажкен

Нургали Ораз

(род. в 1960 г.)



Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Первый его рассказ был опубликован в 1979 г. в газете «Лениншіл жас» («Ленинская смена»), ныне «Жас Алаш». Первый сборник его рассказов под названием «Соқпақ жел» («Буйный ветер») вышел в 1985 г. В последующие годы были изданы книги «Бақыршаның балалары» («Дети из Бакыршы»), «Қазығұрт оқиғалары» («Истории Казығурта»), «Аяқталмаған ертегі» («Незаконченная сказка»), «Биіктегі сұлулық» («Высокая красота»), «Сиқырлы көл» («Волшебное озеро»), «Түнгі жалғыздық» («Одиночество в ночи»). Произведения автора были тепло встречены читательской аудиторией. И не только читатели, но и коллеги-писатели высоко оценили его творчество. Так, об изданном в 1985 г. сборнике рассказов «Қазығұрт оқиғаларындағы» («Истории Казығурта») известные писатели, мастера жанра рассказа Шерхан Муртаза

и Дулат Исабеков написали статью, в которой глубоко проанализировали писательское мастерство и достижения Н. Ораз.

Наряду с художественной прозой Н. Ораз пишет статьи на актуальные темы, литературные очерки, эссе, зарисовки. Произведения этих жанров также были представлены в его книгах «Даладан қалаға келгендер» («Новые горожане»), «Жылқының көз жасы» («Слеза коня»).

Н. Ораз известен также как драматург. Его пьесы «Адасқан жұлдыз» («Потерявшаяся звезда»), «Таудағы түн» («Ночь в горах»), «Дөп-дөңгелек дүние» («Земной шар») были поставлены на сцене Государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова. А на киностудии «Казахфильм» по мотивам рассказов Н. Ораз в 2007 г. был снят художественный фильм «Әурелең» («Суэта»).

Прозаические произведения Н. Ораз были переведены на русский, турецкий, узбекский, саха (якутский) языки. Рассказ писателя «Кулық» включен в программу по лиетратуре в начальной школе.

Нургали Ораз — лауреат Международной премии «Алаш» и премии имени М. Кашгари, присуждаемой тюркоязычным писателям.

Гнездо белых журавлей

Неожиданная новость облетела округу: Акмырза бросил пить. Завязал окончательно и бесповоротно. Казалось, сама природа благоволила такой перемене. Вот уже который день в чистом небе ярко светило солнце. Плотный снег, который лежал почти шесть месяцев, стал быстро таять, освобождая место для молодой зелени. Почки деревьев с каждым днем набухали всё больше и больше, готовые вот-вот полопаться под напором нарождающихся листьев.

После работы Акмырза часами сидел на тахте возле дома. Был он маленьким, тщедушным человеком. Всегда в стареньком ватнике, будто бы доставшемся ему по наследству от богатыря-прадеда. Акмырза сидел на тахте в глубокой задумчивости, и мысли его были тяжелы, как свинцовые тучи. Он пытался вспомнить годы совместной жизни с Камар. Но кроме пьянок и ругани ничего не всплывало в памяти.

Акмырза не расслышал курлыканья, но радостный крик среднего сына Келесбая вывел его из оцепенения.

— Коке, смотрите, смотрите — журавли летят!

Акмырза поднял голову. Высоко над аулом плыли журавли, даже взмахи крыльев не были заметны. Они летели так медленно, будто желали пристальнее разглядеть и понять далекую жизнь внизу...

Душу Акмырзы омыло теплом, подкатило к горлу, и глаза его наполнились слезами. «Откуда вы летите, святые птицы? — подумалось ему. — В какие места?.. Боже мой, как долго вас не было!»

— Коке, почему вы плачете?

Акмырза поспешно смахнул набежавшую слезу.

— Да так... Наверное, потому, что долго смотрел на небо.

— А я хоть сколько могу смотреть и не заплачу, — похвастался Келесбай.

— Глаза заболят, не надо!

Ташкенбай, возившийся с велосипедом, отложил в сторону колесо и вполголоса сказал:

— Коке, не запрещайте вы ему. Он у нас поперечный — сейчас еще больше завредничает.

— Вот оно как... — Акмырза сокрушенно покачал головой и подумал: «А я ничего и не знаю об упрямстве сына?..»

— Позавчера над аулом тоже журавли летели, — Келесбай испытующе посмотрел на отца. — Арысбек говорит, что бывают еще и белые журавли. Это правда, коке?

— Да, белые тоже бывают.

— Вы сами видели?

— Нет. Я не видел, но так люди говорят.

— А где они живут, белые?

— Не знаю. Далеко, наверное.

Пролетевшие журавли всколыхнули что-то в душе, заставили Акмырзу вспомнить босоное детство, зеленую траву, которая так мягко щекотала пятки...

И вдруг он увидел вконец разбитые, изношенные ботинки на ногах Келесбая. Акмырза и раньше их замечал краем глаза, но впервые сердце его сжалось от боли.

— Ты в них и в школу ходишь?

Келесбай растерянно посмотрел на полуоторванные подошвы и пожал плечами. Неожиданно он склонился к отцу и прошептал:

— Коке, у Ташкенбая совсем нет ботинок. Он в ботах ходит.

Впалые щеки Акмырзы от глубокой затяжки провалились еще больше. Он закашлялся от густого дыма и отвернулся, ничего не ответив. Вспомнив о приближающейся получке, Акмырза оживился. Теперь он не пьет, и денег должно хватить на покупки. И жене нужно что-то купить... От таких мыслей на душе Акмырзы стало легче, и он облегченно перевел дыхание.

Работал он механиком в гараже. Заработки были неплохие. Но вот сколько пропивал и сколько приносил домой, этого он не помнил, не знал и знать не хотел. Пьяным Акмырза бывал часто, если не всегда. При этом любил себя показать, распевая песни и пытаясь побеседовать с каждым встречным. Жена встречала Акмырзу с отчаянием в глазах и клялась, что бросит его... «Эх, Камар, Камар, ты-то в чем виновата? Поднять пятерых сыновей, да еще за мужем-пьяницей приглядеть...»

Во двор вышла Камар. Она вынесла все корпе¹ и подушки. Акмырза глянул на жену, и впервые за последние годы сердце его радостно забилося. Ему захотелось приобнять ее. Но он постеснялся это сделать на глазах детей.

До вечера Акмырза ждал, пока Камар управится со всеми делами, толкался по комнатам, не зная, куда себя деть. Он хотел полюбопытствовать, что читает Арысбек. Но тот, почему-то покраснев, прикрыл ладонью книгу. Акмырза ничего не сказал. Потоптался на месте и пошел в большую комнату, где только что резвившиеся непоседы Задария и Монтай расцарапали друг другу носы. Камар беззлобно отшлепала обоих, и младшие братья, наревевшись всласть, уснули быстро и безмятежно. И только Келесбай, сидевший у телевизора, с трудом удерживался от дремоты, чтобы и завтра ему позволили посидеть подольше. Наконец во всех комнатах потух свет. Камар еще раз обошла детей, поправила одеяла, убрала железки, которые с улицы принес Ташкенбай, и устало легла в постель.

¹ Корпе — лоскутное одеяло, подушка, зачастую набитые верблюжьей или бараньей шерстью.

Акмырза придвинулся к жене и осторожно тронул ее за плечо.

— Камар, я пить совсем бросил, слышишь, капли в рот не возьму. Ты веришь мне?

Не поворачивая головы, Камар чуть слышно ответила:

— Не знаю.

— Ты верь, — горячо зашептал Акмырза, — я слово даю, детьми клянусь.

Камар повернулась к мужу и уже более уверенно спросила:

— Акан, неужели это правда?

Акмырза вздрогнул от неожиданности. Давно она его так не называла... Он уткнулся в ее густые, темные волосы, пахнущие легким запахом кислого молока. Его руки нежно касались жены, ласкали тело, и она доверчиво тянулась к нему, как когда-то в первую свадебную ночь...

Камар приподняла голову и внимательно всмотрелась в лицо Акмырзы.

— Ты и в самом деле бросил? Ты серьезно?

— Клянусь тебе!

Камар прижалась к щеке мужа. Их охватила сладостная истома. Давно уже не знавшие друг друга, они, словно влюбленные, встретившиеся после долгой разлуки, лежали крепко обнявшись.

Немного осмелев, Акмырза спросил:

— Камар, скажи правду, что ты думала обо мне?

По лицу жены проскользнула горькая усмешка, но тут же сменилась на добродушную улыбку.

— Не было у меня для этого времени. Подрабатывала где придется, чтобы прокормиться. Мечтала, вот Арысбек подрастет, женю, может, легче станет.

— Ну, до этого еще дожить нужно...

— После восьмого решил в училище идти.

— Брось, неужели восьмой заканчивает? А мне казалось шестой, — удивился Акмырза.

— Ну уж шестой... Вчера смотрю — у дома Макана стоит и насвистывает. За дочкой его ухаживает, — Камар горделиво взглянула на мужа и вдруг рассмеялась. — Старики мы с тобой...

Акмырза улыбнулся неожиданной радости жены, но, вспомнив разговор с Келесбаем, нахмурился.

— Одежда у детей совсем износилась. Ты напиши завтра на бумаге, кому что нужно. Как зарплату получу, вместе пойдем и купим.

Он долго не мог заснуть. Смотрел на спящую Камар, на едва заметные в темноте морщинки и жалел ее...

С этого дня поселилась в доме Акмырзы радость. Камар словно помолодела, разрумянилась. Ее звонкий смех разносился в весеннем воздухе, вселяя в сердце Акмырзы покой и уверенность. Дети стали меньше спорить между собой и сами искали работу по дому.

Ташкенбай рыл кизяки в стойле, с важным видом поглядывая на отца. Рядом Задария и Монтай спорили, кто повезет тележку. Акмырза, наблюдая за Ташкенбаем, довольно улыбался и, стараясь подбодрить, пообещал:

— Как получу деньги, куплю тебе ботинки.

Ташкенбай сдержанно улыбнулся:

— Коке¹, Арысбек хотел брюки вельветовые. Они дороже. Вы лучше ему возьмите, а я в его старых ботинках похожу.

Акмырза от растерянности только головой кивнул:

— Всем куплю. Денег на всех хватит.

Он хотел обнять сына, но Ташкенбай уклонился и, стесняясь смотреть в глаза Акмырзе, тихо сказал:

— Коке, давай вернем деньги за муку.

— За какую муку?

Но тут Акмырза вспомнил эту историю и замолчал.

Случилось это еще зимой. Завезли в пекарню муку, а разгружать некому. Пекарь Икрам и попросил проходившего мимо Акмырзу по-

¹ Коке — уважительное обращение к старшему.

мочь. Подвыпивший Акмырза согласился сразу. Всю машину перетаскал.

Икрам бежит рядом, похваливает:

— Долгих тебе лет! Слава Аллаху!

Акмырза снесет очередной мешок и, довольный, спрашивает:

— Ну как?

И снова в ответ слышит:

— Ой, молодец! Живи тысячу лет!

«Мне и ста лет хватит, — думает Акмырза. — Лучше бы сто грамм налил». Не выдержал, сам намекнул:

— Горло бы промочить...

Засуетился Икрам:

— Ой, Акмырза, магазин закрылся, а дома ничего нет.

— У Калмена можно взять.

— Да где там, — жалостливо запел Икрам. — У меня и денег нет.

— Тогда давай мешок муки, — рассердился Акмырза.

Икрам растерянно захлопал глазами:

— Нельзя ведь.

— Мне можно.

Сказал так Акмырза, взвалил мешок на спину и пошел к дому.

— Эх, Акмырза, Акмырза, — покачал головой Икрам, но не стал догонять, так и остался стоять у пекарни.

Камар слишком поздно узнала об этой истории, когда муки и полмешка не осталось. Поплакала, а делать нечего, денег все равно нет долг отдать.

Акмырза смотрел на Ташкенбая, и краска медленно покрывало его бледное лицо.

— Ты не думай, я не украл. Получу зарплату, все деньги верну.

Наступил день получки. С утра, под диктовку Камар, был составлен список покупок. На листе ученической тетради крупными буквами Келесбай записал: Арысбеку — вельветовые брюки, Ташкенбаю — ботинки, мне — рубашку, Задарье и Монтаю — машины, Але — ...

— Эй, меня оставьте до следующего раза, — засмеялась Камар.

— Идите лучше играть.

Задария и Монтай не нужно уговаривать. Они тут же выбежали на улицу и оказались в мутных облаках пыли от проносившихся машин.

Бегая друг за другом, они кричали:

— Мне купят машину!

— И мне тоже!

Келесбай, слушая гвалт, неодобрительно покачивал головой и усердно подметал двор, поднимая пыли не меньше проезжающих машин.

Ташкенбай время от времени выезжал на велосипеде посмотреть отца, но в гараж ехать стеснялся, останавливался на полдороге и возвращался обратно.

Солнце все ниже спускалось к горизонту. Ташкенбай, не вытерпев, ушел на школьный двор играть в футбол. Задарию и Монтая позвала Камар. Они, почувствовав грустное настроение матери, похныкали немного и поплелись домой. Только Келесбай упрямо стоял у калитки в ожидании отца.

Скоро закроют магазин, а Акмырза все не появлялся. Келесбай начал терять терпение, как вдруг увидел бегущего Ташкенбая. Радость перехватила горло, и Келесбай, не имея сил крикнуть, выбежал с раскрытым ртом навстречу брату.

— Коке идет? — спросил он задыхаясь.

Ташкенбай, вытирая рукавом слезы, молча плакал.

Ничего не понимая, Келесбай переспросил:

— Что с тобой? Подрался? Папа где?

— Коке... Коке пьяный. Возле дома Макана, у забора стоит.

Келесбай непонимающе вытаращил глаза.

— Не может быть, он обещал... обещал зайти в магазин... за покупками...

На глазах Келесбая навернулись слезы. Ему вдруг захотелось бросить все и убежать из аула куда глаза глядят!

Нурғали Ораз

На его вскрик во двор выбежали Задария и Монтой. Увидев слезы старших братьев, сами чуть не разревелись.

С трудом добравшись до дома, Акмырза увидел своих детей, гуськом выстроившихся возле калитки. Сыновья с недоумением, обидой и страхом смотрели на отца. Он, пошатываясь, также уставился на них.

«Чего они стоят?.. Или плывут?.. Как журавли, как журавли выстроились», — подумал он затуманенным рассудком.

Ему показалось, что дети его неуловимо похожи на белых журавлей и вот-вот расправят крылья, взметнутся ввысь и улетят! Акмырзу бросило в дрожь, сердце его екнуло и перевернулось...

— Куда... куда вы летите? Это же ваше гнездо! — раскинув руки, закричал он, ринулся было навстречу детям... И рухнул.

Перевод Салтанат Ермековой

Жусипбек Коргасбек

(род. в 1961 г.)



Прозаик, публицист, эссеист, сценарист, журналист. В 1984 г. окончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Его рассказы начали публиковаться в республиканской периодической печати в середине восьмидесятых годов. Вышедшие сборники повестей и рассказов «Көгілдір керуен» («Голубой караван», 1985) и «Жансебіл» («Стойкий», 1995) показали, что он является одним из талантливых представителей современной казахской прозы. Драматизм, динамичный сюжет, ярко выписанные характеры героев со сложными судьбами в его произведениях часто привлекают деятелей кино: на киностудии «Казахфильм» по повести «Жансебіл» («Стойкий») был снят одноименный фильм, а по повести «Қасқыр адам» («Человек-волк») фильм «Талан» («Удача»). оба полнометражные. В последующие годы вышли роман «Үлпілдек» («Воздушный»), вызвавший в

СМИ противоречивые мнения и отзывы, а также книги «Жынды қайың» («Сумасшедшая береза»), «Көкжалдар» («Матёрые волки») и другие. Вместе с тем Ж. Коргасбек является автором многих публицистических материалов и телевизионных передач, посвященных актуальным проблемам жизни общества, национальной культуры и литературы. Им написан ряд литературных эссе в форме художественных очерков и творческих портретов известных личностей и современников, оставивших яркий след в казахском искусстве и литературе. Среди них такие, как «Аңыз Абай» («Легендарный Абай»), «Қыш адам» («Человек-глыба»), «Мукағали и Фариза¹», «Легендарный Оралхан²», «Легендарный Бексултан³», «Туранга и Турсынжан» и другие.

Обладатель литературных премий издательства «Жалын» (1987) и журнала «Ақ Жайық» (2015).

Лауреат Независимой литературной премии «Тарлан-Умит» («Тарлан-Надежда») учрежденной меценатами Казахстана.

¹ Выдающиеся поэты Мукағали Макатаев и Фариза Онгарсынова.

² Великий писатель Оралхан Бокеев.

³ Писатель Бексултан Нуржекеев.

Искусство

Далеко не каждый день человеку выпадает встреча с таким чудесным видением, которое сравнимо лишь с радугой, разлившей все свои краски по горизонту. Такое видение само вошло в его светлый, широкий кабинет, ослепительно белея икрами ног ниже коротковатого сине-зеленого платья. И эта вошедшая в дверь девушка, двигаясь так плавно, что, поставь на ее макушку кувшин, полный воды, и капли не прольется, медленными и изящными шажками приближалась к нему. Подойдя вплотную и не дав опомниться, с вызовом села напротив него.

— Имея такую внешность, зачем тебе мучиться, как нищий писака?!

Сказаны были эти слова с каким-то гневом, обидой на что-то. Его, еще не достигшего значительных вершин славы, охватила злость на безостановочное, с непостижимой быстротой мчащееся течение жизни. Рядом с этой девушкой-белянкой, от которой веяло тонким ароматом нетронутой еще земли, ранней весной, он почувствовал себя уязвленным до глубины души, чуть ли не униженным и насупился, как стареющий злой беркут. Но он успел подметить, что волосы у нее были¹ густыми, как взошедшая после пожара трава, черными, как уголь, длинными настолько, что если их обвить вокруг шеи, то затянутся они накрепко.

На глаза ее, казалось, опустились тени, лицо стало сумрачным, потемнело, как поливная вода на лугу. Пушистые, загнутые вверх

¹ Густые, нежные и длинные волосы — у казахов исстари один из критериев девичьей красоты.

ресницы и поблескивающие черные брови придавали ее красивому лицу несколько суровое выражение. Хоть он и не стал поэтом, но тут вспомнил одно стихотворение, которое сочинил еще в молодые годы.

«Ради вас обожглась», — вы кричали,
Я любил вас, почти не печалю,
Но ввергают ли в муку за это?
Нам друг друга не стоит чураться,
Хорошо бы почаще встречаться!
Промелькнет жизнь любая, наверно,
Коль не влюбишься самозабвенно!
Но уйдешь ты к другому джигиту,
Только юность, увы, не безмерна...

Холеное тело девушки-белянки не оставляло сомнений в том, что все ее прихоти удовлетворялись. Но почему он должен обязательно проиграть и все начинать сначала? С тех пор, как молодость его прошла, он ни разу не взглянул на женщин. В меру теплый дом, теплая жена, черный чай, черные чернила — это всё, что ему нужно. При этом он хорошо сознавал свое знатное происхождение. Он был истинным аристократом, все его манеры и привычки тому свидетельство. Но время, время утекает стремглав, и дороже оно сейчас, чем даже птичье молоко¹!

— Итак, зачем ты пришла ко мне?!

— Я выросла, читая и перечитывая ваши книги, ага.

Тонкий, мелодичный голос прозвучал как чудесный перезвон бокалов. И, как бы приятно ни ласкал слух этот голос, он, не поддавшись очарованию, сразу почувствовал в ее невинном ворковании скрытый подтекст. И тут же почувствовал, как в нем поднимается волна негодования. Склонный и в обычные дни не сдерживать эмоций, он вспыхнул так, будто увидел своего заклятого врага.

¹ Образ взят из казахской мифологии, где встречается пословица «время дороже, чем птичье молоко».

— Все казахи читают и перечитывают мои книги. И ты это считаешь достойной темой для разговора?

Строго отчитывая гостью, одновременно чувствовал, что вот-вот скажет ей совсем другие слова: «Надо же, какая вы все-таки красавица!» Действительно, от всего ее облика как будто веяло запахом парного кобыльего молока — саумала¹. Если прикоснется, то пальцы, локоть ее покажутся мягче пуха. Платье без рукавов позволяло глазам невольно поласкать ее плечи, сверкающие, как очищенные от скорлупы яйца. Он и сам не заметил, как глаза его совершили грабительское нападение — барымту² — на стройные икры ног, открывшиеся ниже коротковатого подола сине-зеленого платья...

— Я поклоняюсь вам как наставнику, ага. И тоже мечтаю стать писательницей. Но пришла к вам вовсе не для того, чтобы досаждать просьбами. Мне достаточно просто увидеть вас.

Припухлые красные губы стояли перед его мысленным взором, будто в ожидании чего-то. Он хорошо изучил природу женского гнева, поскольку в своих книгах много раз описывал ее в сопровождающих ханов и султанов зарисовках. Чутьем угадал, что она восприняла его пренебрежение ее красотой как оскорбление. И это, как ни странно, доставило ему удовольствие. Не откройся в тот момент со скрипом входная дубовая дверь, он снова сказал бы ей что-то обидное и резкое. Вошедший смуглый толстяк издал восторженный возглас, как будто нежданно-негаданно нашел слиток золота с лошадиную голову.

— Ой-ей-ей-ей, картина это или человек? Сон или явь? Что это за дивное создание?! Кто нарисовал эту картину? Какой талант ее породил?!

¹ В отличие от кумыса, саумал — это парное, неперебродившее молоко, имеет замечательные лечебные качества.

² Полагаем, что перед нами развернутый эвфемизм: восхищение красотой девушки уподобляется военному сражению или грабительскому налету, что создает комический эффект.

Громогласная выходка толстяка вызвала отвращение; подобное возникает, когда в священную пищу макают нечистую, оскверненную руку. Заметив, что щеки у девушки-белянки немного зарделись, он чуть не взвился от ярости. Его вытаращенные глаза, стекленея, уже не таили угрозу, а перекошенное, бледное лицо застыло в суровом озлоблении. Никто не мог выдержать его разъяренного взгляда. Выхваченная из ножен булатная сабля не возвращалась обратно без добычи. И тот бедняга был мгновенно искромсан на месте.

— Однако не стоит идти на поклон вот к таким халтурщикам!

Не в силах погасить огонь внезапной ревности, он начал задыхаться от внезапной ярости. И бросил в лицо толстяку такое оскорбление, какого в жизни не сказал бы. Никчемный человек, но теперь он злился только на себя, поскольку не мог понять, отчего так бурно приревновал к нему белянку. Если бы этот проныра не вошел, он, посчитав эту девочку, специально приехавшую к нему издалека, недостойной внимания фитюлькой¹, уже хотел аккуратно выпроводить ее из кабинета, но теперь передумал. Как ни странно, неловкую ситуацию сгладил только что оскорбленный толстяк:

— Литературу создают таланты, а литературную среду — халтурщики.

Он, маститый писатель, никак не ожидал от толстяка такого толкового замечания. Кто, как не он, умел радоваться чьим-то удачным находкам, а тут просто злость разбирает. Каждое его произведение — как маленькое событие — порождало в родных краях такие горячие отклики, что пары от них пьянили крепче, чем пары от золотой лихорадки; оказавшись в их чаду, уже никого не считал он равным себе по значимости. У этого не хватает соображения, тот упускает свое... Если его и вправду зовут Матай, то ни за что никому не спустит обидного слова. И снова безжалостно полоснул языком-саблей по живому месту.

¹ Фитюлька — маленькая вещица, в казахском оригинале дано слово «бақайшақ құрлыкормей», означает дословно «не более значима, чем фаланга на пальцах ног».

— Прошу, не оскверняй словами рот, Шындаул. Обычно я не обращаюсь с просьбой к мелкоте. Но и среди бесов есть свои праведники, как известно. Ведь ты не просто халтурщик, ты талантливый халтурщик.

Вот когда ему удалось рассмотреть во всех подробностях, как кожа смуглого человека приобретает сизоватый оттенок. Это было поразительное зрелище!словно пахотный слой земли блестит синевой. «И почему женщины так и льнут к нему?» — потрясенно думал он. Взбешенный толстяк бросился к выходу и, будто увеличив вдвое тяжесть своего тела, затопал, загромыхал по полу. Хлопнул дубовой дверью с такой силой, как если бы собирался обрушить стену. А он, словно получив от кого-то пощечину, вздрогнул и быстро взял себя в руки.

— Милый, зачем вы это делаете?

— У меня ни к кому нет сочувствия!

— А?.. Что вы сказали?..

— Я не способен любить, говорю. Зато ревную до помрачения.

— Ничего не понимаю, ага, милый?

— Не знаю, как объяснить... Вот вижу тебя впервые... И тем не менее ревность вдруг захлестнула меня...

— К кому?.. Кого?..

— Конечно, не тебя конкретно... Красоту... Красоту ревную к таким толстокожим тупицам, как этот... Во все щели лезут, все прибрали они... Все испоганили...

В какой-то момент ему показалось, что в этом широком кабинете сидели не они, а какие-то другие люди, которые приглушенно говорили между собой. В самом деле, невозможно, чтобы приехавшая из аула скромная девушка вот так сразу раскрылась и стала говорить так уверенно. Он тоже не был легкомысленным вертопрахом, который мог, как арбуз, сразу расколоться перед первым встречным. Думая об этом, смутно, краешком сознания уловил, что он, хладнокровный писатель, все больше становится похож на своего эмоционального героя.

Если его округлое лицо напрягалось, то сразу становилось жестким и хищным, как у барса, а если, потеплев, улыбалось, то все равно просвечивало в нем что-то жутковатое. Он прошел в затемненную комнату отдыха за кабинетом. Взглянул на девушку: продолговатые черты лица, долговязая фигура. Там, где освещения недостаточно, лицо человека кажется вытянутым, а рост увеличенным. Как только он включил свет, девушка сразу исчезла, перед ним снова возникла засунутая в чехол бездушная картина. Крепко взяв картину с двух сторон, он вгляделся в нее, отодвинув от себя, насколько позволяла длина рук. Видит бог, повстречайся он с этой светлой девушкой в будничной жизни, и глазом не повел бы. Напротив, очень даже возможно, что брезгливо покосился бы на нее, представив, как ее оскверняют нечестивые руки Шындаула. По той простой причине, что абсолютно безгрешных ангелов рождает только его перо, а живой души в них не было и в помине.

Он не то пренебрежительно, не то лаская, погладил наружной стороной загнутого пальца красавицу на картине. Осмотрел ее и так и этак: в общем облике есть какая-та недоработка, однако понять, где конкретно, он не сумел. Прислонил к стенке, немного отступив назад, снова вгляделся. Все вроде на месте, тем не менее ему виделось, что чего-то не хватает. Если сейчас сесть и начать описывать эту девушку, то недостаток если не в одном месте, то в другом, **сам** обнаружится. Подумал «а почему бы не попробовать?», **загорелся** было этой работой, но быстро отказался от нее. И без того писательской работы хватает выше крыши. Подумав так, перевернул картину обратной стороной, чтобы она больше не отвлекала.

Возвращаясь в свой широкий кабинет, он увидел, что **масляная** краска, словно подтаяв, стекает с холста на пол. Не успев **отдернуть** ногу, он ненароком наступил на край подтека. Пошаркав, протер **ногу** и вышел. Красновато-бурая краска стала лужицей, скопившись в одном месте. Внезапно эта неживая краска словно обрела **жизненную** силу и стала вытягиваться вверх. Затем в мгновение ока на **этом** самом месте возникла юная девушка с картины, **оправляя** на себе

синие-зеленое платье и поправляя волосы. И уже без недавней смелости, ступая в смущении и стыдливо краснея, она тоже прошла в обширный кабинет. Легонько перекинув взлохмаченные косы за спину, застенчиво и вместе с тем по-свойски присела. Если не считать нескольких капель красновато-бурой краски, сбоку брызнувших на ее лицо, каких-то особых изменений в ней он не заметил.

— Быть писателем — несусветная мука. Словно идешь и идешь по мосту, что тоньше волоса: с одной стороны геенна огненная, с другой — хляби небесные. Очень многие погибли, одни захлебнувшись в воде, другие — сгорев, в пепел обратившись. Гораздо страшнее крик души, чем крик плоти. Эти голоса я слышу каждый день, — договорил Матай, будто подводя итоги долгой беседы, и замолчал.

И, казалось, предался приятным воспоминаниям. Однако лицо его не теряло хищного выражения. Девушка-белянка сидела так, будто вместе с ним слышала жгучие вопли страждущих душ, выставив грудь вперед, всем своим существом сопереживая и выражая надежду на спасение.

— Однажды в детстве к нам в аул приехал цирк. Тогда один из циркачей — мальчик — показал свое искусство: босиком ходил по раскаленным углям. Все восхищались, а я не восхищался. Похоже, детства у меня не было, так как уже тогда я предчувствовал, что вся жизнь будет сплошным хождением по горящим углям. Мои ступни опухли, от непрерывных ожогов они покрылись кровавыми мозолями. А тех «друзей», которые раздувают угли под ногами, лежа на боку и стоя на карачках, всегда было полно, как собак нерезаных, — сказал писатель, вновь предавшись своим горестным думам.

Девушка-белянка думала, что он неотрывно смотрит на нее, однако писатель, хоть и устремил взгляд в ту сторону, совершенно ее не видел. Когда глаза застилаются безбрежной завесой жизненного океана, то девушка среди этих белогривых волн не более заметна, чем щепка, облепленная морской пеной.

— На всем белом свете нет такого народа, как мой народ, однако его недоброжелатели, сбивающие с верного пути, почти достигли

своей цели. Проигрываем мы и тем служителям пера, кто пишет книги о человечестве. Эти смотрят на свой народ, задрав носы, высокомерно, как будто их собственный народ не является частью мирового сообщества. Наша падкая на блестящие безделушки нация порой напоминает ребенка. Боюсь даже, что она частенько в людях путается. Начинает бестолково скакать туда, сюда, как мальчишка, гонящий красно-зеленого воздушного змея, — сказал с каким-то напыщенным злорадством.

Лицо его исказилось гримасой боли. Девушка-белянка, казалось, уже привыкла к внезапным переменам его настроений и, сидя со смиренным выражением лица, спокойно смотрела на его гневные выходки. Создавалось впечатление, что от его сердитых выпадов она даже получает удовольствие.

— Заблуждение народа, сбросившего в колодец своего гения, есть заблуждение катастрофическое. Самое позорное — это неспособность отличать хорошее от плохого. И такие люди есть. Они до сих пор ходят между нами, то подножку подставят, то сзади норовят укусить. Входя в мировое сообщество, наш народ перекрыл бесам все лазейки. Вот почему эти шайтаны натравливают народ на самого себя — то на одного человека, то на другого. Теперь мне ничего не остается, как покинуть страну, а возможность это осуществить у меня есть, — сказал писатель, не вытирая злых слез.

Девушка-белянка захотела вытереть их, потянувшись к нему, как будто демонстрируя, что теперь у нее есть на это полное право. Однако писатель как будто втянул свои слезы обратно, внутрь, напугав свою гостью.

— Пускай подрастающие поколения меня оценят, если не оценили современники. Да и что вы можете понять? Ваши души забиты такой грудой мусора, что... Чтобы очиститься от него, нужно время. Твой довод, что, дескать, мечтала стать писателем, поэтом и пришла сюда, нашла вас — пустая отговорка. Но ты держишься верного курса. Да осенит тебя удача, — сказал писатель, — словом, благодари Аллаха, что не попала в руки таких халтурщиков, как этот, —

ЖУСИПБЕК КОРГАСБЕК

добавил он с нажимом, делая акцент на последней фразе, как будто все дело заключалось в ней.

Лицо писателя будто освободилось от внутреннего напряжения и немного смягчилось. Девушка-белянка, потеряв последнюю надежду, все ниже и ниже опускала голову. И когда рассказ уже подходил к концу, в кабинет, торопясь и спотыкаясь, вбежал художник. Что-то стремительно промчалось мимо, рядом раздался и тут же прекратился треск, видение изменилось так быстро, что никто ничего не заметил. Прошло несколько минут, прежде чем художник, беспорядочно суетясь и отдуваясь, взял в руки картину, написанную маслом, законченную им накануне, затем, держа ее перед собой, вышел наружу.

Перевод Мурата Ергалиева

Роза Муканова

(род. в 1964 г.)



Роза Муканова в 1978 г. окончила филологический факультет Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Известная писательница, драматург, переводчик. Изданы сборники ее рассказов и пьес «Жарық дүние» («Белый свет», 1994), «Дүние кезек» («Этапы жизни», 1997), «Күдірет-Кие» («Святые ценности», 2001), собрание сочинений в двух томах (2007). В 2001 г. она сделала первый перевод на казахский язык книги Рабгузи «Қисса-сұл-Әнбия». Пьеса Р. Мукановой «Мәңгілік бала бейне» («Вечный подросток») впервые была поставлена на сцене Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова и получила признание публики. Она смогла с большим мастерством передать трагедию поколения, понесшего ущерб от атомных взрывов на Семипалатинском полигоне, тяжелое положение безвинных людей, которые страдают от социальных

катаклизмов. В 1997 г. на сцене Государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова была поставлена пьеса Мукановой, написанная ею по мотивам рассказа М. Ауэзова «Қаралы сұлу» («Красавица в трауре»). В 2001 г. на киностудии «Казахфильм» был снят художественный фильм «Қызжылаған» («Молитва Лейлы») по мотивам пьесы Мукановой «Мәңгілік бала бейне». Фильм получил призы международных кинофестивалей (в Венеции, Пекине, Праге, Риге). Ее пьеса «Мысықтар патшалығы» («Царство кошек») была удостоена приза компании «Самсунг» в номинации «Современная драматургия». Пьеса под названием «Шатыр астындағы Мен» получила Государственный грант. Наряду с этим ею написаны драмы «Сарра» («Сарра»), «Ешкім де кінәлі емес» («Никто не виноват»), «Сен» («Ледоход»), «Муза» («Муза»).

Р. Муканова обладатель звания «Заслуженный деятель Казахстана», лауреат Международной литературной премии «Алаш»; награждена медалью европейского сообщества имени «Франца Кафки», медалью Международной парламентской ассамблеи «За заслуги в развитии искусства и культуры» и другими.

Детский облик, застывший навечно

Темной ночью, погруженной в безразличную ко всему дрему, шла Лейла к глубокому оврагу, а впереди скользил какой-то зыбкий черный силуэт. «Кто же это бродит в этих глухих местах?» — подумалось ей. «Я дух рода человеческого», — словно отозвался в ответ далекий и жуткий голос. Даже если бы и вправду предстал перед Лейлой какой-нибудь дух, она бы не поверила. Свои тайны можно поверять лишь прекрасной Луне, плывущей в объятиях безмолвной ночи. Вот здесь, в этом глубоком овраге, она может вышептать все, что ее мучает и тревожит.. Полная Луна таинственно освещала притаившийся под черными покровами Караул. И маленькая Лейла то с жалостью, то с равнодушием пристально глядела на родной аул, на свою землю. И взывала к ней так: «Апырай! Боже мой! Неужто и вправду ты лишилась своей благодати? Что же такое стряслось с тобой, что ты стала такой изможденной, похожей на ветхую тряпку? Кто это существо, пришедшее посреди ночи в овраг и спрятавшееся там? Неужели так может выглядеть шестнадцатилетняя бойжеткен¹? Несчастливая, почему она обречена навечно оставаться в обличье ребенка, за что ей ниспосланы такие страдания? Кто наслал такое проклятье?» Завороженная Луной, Лейла слегка задремала, но внезапно проснулась от слез, бегущих по щекам.

«О яркая Луна, не нужна мне твоя жалость. Хотя я и невинна, чувства мои искренни, а разум ясен, мое маленькое сердце, наполненное скорбью, уже отсеклось от мира. И я хочу отомстить за свою боль! Люди Караула видят во мне лишь калеку, вызывающую презри-

¹ Так называют казахи совершеннолетнюю девушку.

тельную жалость, и радуются, глядя на меня, что они-то сами здоровы, руки-ноги у них на месте. Но разве это так, о яркая Луна?! Я верю только тебе, лишь тебе одной. Только ты одна можешь оправдать мои надежды. Так о чем же тогда судачат люди? Неужели мне навсегда суждено оставаться в обличье ребенка?»

Лейла говорила, говорила и никак не могла остановиться. Ей казалось, что глухонемая Луна то отдаляется от нее, то ласково ее приобнимает. «Хочу быть нормальной девушкой и выглядеть на свой возраст. Да... да... И я тоже мечтаю быть красивой и нежной», — Лейла выбежала из темного оврага, в котором только что пряталась. Ей показалось, что Луна испуганно шарахнулась и убегает от нее. Отчаявшаяся девушка исступленно закричала:

— Эй, не убегай от меня, не убегай! Всё равно я найду тебя. Неужели я и тебе противна, о яркая Луна?!

Но с каждым мгновением Луна ускользала от нее всё дальше, с пренебрежением глядя и на калек, и на изрытую в трещинах землю. А Лейла кричит еще громче и машет ей вслед:

— Возвращайся ко мне завтра! Я буду ждать тебя в этом же овраге!

Когда она произнесла последние слова, сердце мучительно заныло, подбородок задрожал — ей не нужно было больше сдерживать своих слез.

Лейла возвращалась назад в Караул, и постепенно, с каждым шагом, самый высокий пик хребта Чингизтау становился всё ниже и ниже. Ее охватил какой-то непонятный страх перед отчетливо очерченной в лунном свете горной грядой. В глазах у нее зарябило, и «дух человеческий», померещившийся ей в овраге, теперь показался бродягой, ищущим прибежища у подножья старых гор. Подойдя к дому тети Катиры, где она жила, девушка разволновалась. Протянула было руку к дверной скобе, но, словно обжегшись, тут же отдернула ее. Тяжело было наткнуться на взгляд, пронизанный холодным отчуждением. «Пожалуй, посижу тут, дождусь, пока все уснут», — подумала Лейла. Но в тот же миг вздрогнула от внезапно раздавшегося окрика тети Катиры.

— Эй, куда это ты уходишь на ночь глядя, будто нечистая тебя гонит отсюда? И где тебя только носит, а?

Лейла молча опустила глаза. Не хотела, чтобы тетя видела, как они опухли и покраснели, как ей больно, ведь она всё равно не почувствует ее горю.

— Я спрашиваю, где тебя носит?

Лейла снова промолчала. «Нет, нет. Никому, ни единой душе не расскажу о том, как сижу в глубоком овраге. Я ведь хожу туда встретиться с Луной, поделиться с ней своими секретами. Потому что больше нет никого на свете, кому бы я могла открыть свою душу...»

— Эй, чего молчишь? Или хочешь еще и глухонемой прослыть!?

Глаза девушки вспыхнули от обиды. Катира усмехнулась и, словно насытившись упреками, окатила Лейлу презрением с ног до головы. Та едва сдерживала негодование, ущербное тело ее задрожало. Ее ранил любой взгляд, отмечавший природное уродство, особенно несуразно большие руки и ноги; она готова была провалиться сквозь землю, когда на нее так смотрели. Катира же, пытаясь побольнее уколоть, нарочно всем своим видом показывала, насколько ей омерзительно видеть подобное существо.

— Я тебя спросила, где ты была? Куда вечно убегаешь, когда рук не хватает, чтобы скотину в сарай после пастбища загнать? Ну, отвечай же, ойбай¹!

Лейла, не поднимая опущенных глаз, тихо произнесла:

— Разве мы не люди?

Тут уж Катира окончательно вышла из себя.

— Ты только посмотри как заговорила! Да ты посмотри на себя, что в тебе человеческого-то?!

Острый язычок тети Катиры резал Лейлу по-живому, будто крошил сердце на мелкие кусочки и расщеплял, расщеплял его на волокна. Услышь она раньше такие слова, тут же разрыдалась бы, но сейчас стояла как вкопанная, побледневшая, глядя Катире прямо в глаза.

¹ Междометие, выражающее удивление, страх, восторг: Ой! Ай! Ого!

«Глумишься надо мной? Что ж, глумись и дальше! А может, я сама выпросила у Бога себе такую участь, долю свою горькую! Так в чем же я перед тобой-то провинилась, разве щепок на растопку не приносила, золу не выносила¹?

Вдруг, закрыв широкими ладонями свое детское лицо, она села на корточки и тут же захлопала, не сдержалась, дала волю слезам. И знала: никто, никто не пожалеет ее. Неужели же она вот так и должна мыкаться, вечно маясь и плача? Оттого-то и бежит она ночью к глухому оврагу, чтобы выговориться хотя бы перед Луной...

Лунный свет, проникший в глубокий овраг, светит ярче, чем прежде. Он скользит, обшаривая землю в поисках Лейлы. Ищет повсюду, расспрашивая о ней у вод, у гор в окрестностях Караула. «Куда ты пропала? Почему тебя нет сегодня в овраге?» — как будто доносится до нее голос матери, протягивающей к ней свои руки. Вот уже в овраге становится совсем светло. «Жеребеночек мой», — нежно, еле слышно зовет мать. И тотчас всё вокруг погружается в мертвую тишину, растворившую в себе образ матери. Но в тишине этой лишь отчетливее звучит ее голос:

«Помнишь, когда ты была еще в моей утробе, под горой Дегелен, зловеще грохоча под землей, происходили взрывы?.. Много раз, лежа в колыбели, испугавшись, ты начинала кричать, и потом долго не могла успокоиться. Ты так и не избавилась до конца от этих страхов... Тебя всегда тянуло к взметнувшемуся со склонов Чингизтау столбу пламени и дыма, похожему на огромный гриб, и ты пускалась бежать к нему со всех ног. Порой ты говорила мне: «Апа², мне опять сегодня приснился гриб, который висел в воздухе над горами». Тогда незабвенная твоя аже³ ласково обращалась к тебе: «Ах, миленькая ты моя! И ты, если Бог даст, будешь, как этот огненный гриб, при-

¹ Здесь идиома «Отынмен кіріп, күліңмен шығып жүрмін емес пе», которая означает: «Во всем тебе угождала, во всем помогала».

² Обращение к матери.

³ Бабушка.

влекать к себе внимание всех своей красотой», — и целовала тебя в лоб. Где же ты сейчас, моя девочка?...» Постепенно голос матери слабел, пока не исчез совсем. В этот вечер Луна так и не нашла Лейлу в овраге.

Обычно девушка избегала мест, где собиралось много народу, стараясь лишний раз никому не попадаться на глаза. Но тут Катира пристала к ней и принялась уговаривать ее.

— Идем, сегодня в Карауле состоится той. Тебе надо хоть чуточку развеяться.

Не найдя веской причины для отказа, Лейла принялась отпираться: «Люди станут глазеть... говорить всякое...»

— Да брось ты, ну идем, идем! — сказала решительно Катира и принялась тормошить девушку, щекотать, пощипывая ее то тут, то там. Сначала Лейла рассмеялась, но потом вдруг отчаянно, словно решившись на что-то, толкнула женщину в грудь. Лицо Катиры исказила злоба.

— Не хочешь — ну и не надо!

— А вот я пойду! — неожиданно для самой себя сказала Лейла. — Ширкин-ай¹, надо же! Почему все, кроме меня, счастливы, все веселы? А ведь, оказывается, все счастье этого мира можно испытать, только если у тебя все двенадцать членов на месте². За что же мне такое наказание?

Лейла с завистью смотрела на радостных людей, собравшихся в доме, где проходил той — праздничное событие. Время от времени тайком утирала слезы. «Знаю, не вырасту. О Кудырет³, много ли еще страданий готовишь ты мне, мало тебе того, что ты сотворил со мной?! Почему бы тебе тогда не сделать так, чтобы я совсем исчезла?

¹ Междометие, выражающее чувства восторга, удовлетворения, пожелания или сожаления. К примеру, «шіркін жастық дәурен» — «Эх, молодость!»

² Идиома, означающая, что человек полноценен и здоров; у человека всё на месте.

³ Бог, Создатель, Всемогущий (эпитет Аллаха).

Почему же, почему? Неужто оставляешь меня живой лишь для того, чтобы смеяться надо мной? Не нашел себе другой забавы?..»

— Лейла, Ляйлек! Белая Лейла!

Девушка слышала ласковый голос парня. Кто-то отделился от толпы и, протягивая руки, подошел к ней.

«Ой! — удивленно подумала девушка. — Ты только глянь-ка, это же Кумар, Кумар! Каким же ты вырос красивым. Удивительно! Это же мой Кумар, сидевший со мной за одной партой, мой сосед. Да, Кумар... ты всегда называл меня “Ляйлек, беленький ты мой Ляйлек”. Ты говорил, что это такая нежная, очаровательная птица!»

Девушка ошалела от неожиданности.

— Узнала? — спросил ее, слегка улыбаясь, джигит.

— Узнала. Почему я не должна была узнать? Ты так изменился, стал красивым. Какой же ты счастливый... Прости меня, не обижайся...

— Ты тоже... ты тоже счастливая, Ляйлек.

Кумар не обращал внимания на застывшее навеки детское выражение ее лица, словно бы и не знал об этом. Не замечая смущения Лейлы, положил свои руки на ее крохотные плечи, сказал:

— Ляйлек, пойдем, потанцуем. Я пришел пригласить тебя на танец.

В тот же миг он приподнял с пола растерянную Лейлу, жалостливо смотревшую на него, и поцеловал ее в лоб. Потом, нежно поддерживая девушку, ворвался прямо в самую середину танцующих. Оба, казалось, на миг забыли обо всем на свете. Лейла закрыла глаза. То ли у нее закружилась голова, то ли внезапно проснувшееся в ней неведомое чувство ошеломило ее. Она так и застыла, крепко обняв джигита за шею. Тот тихо прошептал ей на ухо:

— Ляйлек! Беленькая Лейла.

Очнувшись от забытья, девушка открыла глаза.

— Мы вот решили прийти на той. Выходит, в ауле почти никого не осталось? Я так обрадовалась, когда увидела тебя ...

Вспомнив, как она одета, Лейла, смутилась. Ну зачем, зачем Катира заставила ее одеться, как маленькую девочку, в коротенькое

ситцевое платье, и вдобавок прицепила ей прямо на макушку ярко-красный бантик?.. Первое свидетельствовало о том, что она уже давно рассталась с детством и стала девушкой. А второе — наоборот — о том, что она потеряла всякую надежду на будущее и навеки обречена оставаться неполноценной. Тоскливые мысли вновь завладели ею, и она почти ничего не слышала из того, что говорил ей Кумар. Наконец, придя в себя, оглянулась по сторонам. Рядом не было никого.

— Кумар, Кумар! Где ты?..

Девушка растерянно озиралась по сторонам. Преодолев свою стеснительность, расспрашивала людей:

— Где Кумар? Вы не видели, куда он ушел?

Впервые в жизни ей довелось быть на равных с людьми, и, казалось, теперь так будет всегда. Танцуя с Кумаром, она, разом избавившись от своих страданий, парила в воздухе... Но вдруг очнулась, грохнулась оземь. Услышала, как кто-то посмеивается и шушукается.

Девушка готова была крикнуть: «Помогите, спасите меня от моих мук!» И в этот момент ей захотелось вновь увидеть яркую Луну, так искренне сочувствующую ей. Задыхаясь, она помчалась к глубокому оврагу, густо поросшему кустами таволги. Добежала, вперилась взглядом в небо, вот она — ее Луна, прямо перед ней.

Тем временем Караул погрузился в траур. Старики стояли, опершись на тросточки, и тяжело вздыхали. Одетые в черное женщины, обнимались и, горько оплакивая кого-то в голос, рыдали, причитали: «Лишились! Горемыками стали несчастными, остались мы вдовами без потомства! Это была земля отцов-прадедов наших, а теперь по небу развеялся прах их!»

Обнявшись, рыдали обессиленные от горя женщины. Растерянная и испуганная Лейла нигде не могла найти Катиру. Она не могла понять, что же произошло в Карауле, почему все истошно голосят и рыдают.

«Ойпыр-ай! Ох, Боже мой! Что же за дни такие настали? Что произошло с людьми?!» Дрожа, Лейла закрыла глаза.

В тот день жители Караула увидели разверзшуюся, зияющую провалами землю. Увидели затмение Луны.

Гул рыданий многолюдной толпы был услышан; среди ночи явились незнакомые люди в белых одеждах, собрали всех до единого недоразвитых, с навечно застывшим детским выражением лица, и стали грузить их в черную машину с крытым верхом. Родители горько плакали, расставаясь со своими детьми... Лейла же в ту ночь сидела в глубоком овраге и шепталась там со своей наперсницей Луной. Девушку никто не смог найти. Повела она Луне и о том, как вспыхнуло ее девичье чувство к Кумару. И, казалось, Луна, покоренная искренностью Лейлы, сочувствуя ей, задрожала и заплакала. Не обращая внимания на пронизывающий холод ночи, девушка долго сидела, обняв колени руками. Тяжесть собственного тела словно придавила ее к земле, она с трудом поднялась, в один миг постарев на несколько десятилетий. Измученная, добралась до дома Катиры.

Та, открыв дверь, злобно глянув на нее, напустилась:

— Не говори, что не предупреждала: заявишься поздно еще раз, выгоню из дому прямо на мороз, поняла?!

Катира разошлась не на шутку. Девушке сделалось жутко от доносящегося издали волчьего воя.

— Не выгоняй! — жалобно взмолилась она. Подбородок задрожал — вот-вот расплечется.

...Лейла лежала обессиленная и боялась открыть глаза. Тотчас представлялся ее возлюбленный. Едва шевеля губами, она бредила: «Кумар, Кумар — это ты... Где ты пропадал? Я ведь так долго искала тебя в тот день. Подойди, подними меня высоко, как в прошлый раз, и закружи в танце. Подойди... Кумар!» Никто из домочадцев не обращал внимания на тяжелое состояние девушки, не вслушивался в ее бессвязное бормотание. И только после ночного визита доктора больная наконец пришла в себя. Удивленно взглянула на людей, сидевших у ее изголовья. Похоже, они были из руководства соседнего района.

— Мы здесь по делам, а заодно пришли справиться и о твоём самочувствии, — сказали они. Ей сделалось и страшно, и радостно одновременно.

— Милая Лейла, на твою долю выпало немало невзгод, — заговорил один из них. На миг замялся, пытаясь подобрать нужные слова: — Завтра в нашем районе пройдет траурный митинг. В прошлый раз в город увезли таких же, как ты, ребят. С тех пор о них нет никаких вестей. Теперь осталась только ты одна. Вот нам и пришла в голову мысль пронести тебя на руках завтра, на траурном митинге.

От этих слов у девушки зашумело в ушах и закружилась голова.

— Меня? На руках? Как знак страшных дней, как знак угрозы, нависшей над народом?.. Как воплощение зла... О, Боже...

— Ну, что ж, Лейла, нам пора собираться...

Лейла не плакала, но вся внутреннее сжалась, голос ее дрожал:

— Не хочу демонстрировать свое уродство. Пожалуйста, пощадите меня! Хотя я и инвалид, но у меня тоже есть человеческие чувства, и я тоже мечтаю о счастье...

Посетители угрюмо молчали, не зная, как убедить ее.

— Сколько же в этой дряни гордости! — гнусаво вскричала Катира.

Лейла затравленно смотрела вокруг. Вдруг, словно опомнившись, прошептала:

— А Кумар тоже будет там? Он будет участвовать в траурном митинге?

Но никто не ответил ей. Лейла, закрыв глаза, не шевелилась. Наконец решилась:

— Я не пойду, я просто не могу пойти, понимаете?..

Лежа в постели, девушка явственно слышала громкий голос Катиры:

— Довелось-таки мне дожить до свадьбы своего первенца. И на том благодарю судьбу, и этого мне довольно.

Лейле же думалось: «Как дешево стоит жизнь. Разве это не преступление взять и умереть, не познав радости жизни?»

— Сразу же после свадьбы уеду из Караула, — уверенно говорила Катира.

«Какой благодати преисполнена была эта земля, а теперь она лишилась ее. Говорят: “Все хорошее когда-то проходит”. Не на той ли земле, по которой когда-то ступал наш прадед Абай, случаются все эти неслыханные, невиданные беды? На то, видать, воля Аллаха!» — горестно размышляла Лейла.

На лицо больной упал лунный свет. Похоже, обшарив все дома Караула, заглядывая во все окна, Луна с трудом отыскала Лейлу. Окончательно округлилась, стала совершенно белой и по-особенному ярко светила в лицо девушки. Больная посмотрела на Луну и, умилившись, впервые за долгое время улыбнулась. Вся ее обида на свою судьбу и на людей пролилась в тот день обильными слезами. В тот же миг она, словно боясь навеки потерять свою наперсницу, жадно любуясь ею, прошептала:

— Не забывай, что ты единственная, кому я, сполна испытавшая невзгоды, поверяла все свои тайны.

Не желая расставаться, Луна и девушка долго ласкали друг друга взглядами. Яркая Луна не хотела, чтобы Лейла оставалась на земле. А Лейла впервые не хотела оставлять Луну в объятиях ночи. Но шло время, и их взаимное притяжение стало постепенно ослабевать. Словно послы двух разных миров, они стали отдаляться друг от друга.

Покидая девушку и землю, Луна уходила всё дальше. Лейла долго не могла отвести от нее глаз. Силы навсегда оставляли ее измученное тело. Лунный луч высветил капельку застывшей на виске слезинки. Духу не хватало вытереть ее. Лучше совсем не шевелиться — закрыть глаза и погрузиться в глубокую печаль.

Луна, долго ласкавшая дорогой облик умершей, поднялась еще выше и стала медленно уплывать в сторону. Прощаясь с Лейлой навсегда. Вот они, два творения: одно — дитя земли, другое — дитя ночи.

Катира, занятая свадебными приготовлениями, опомнившись, кинулась к вытянувшейся на постели Лейле, казавшейся длиннее обычного, и пристально всмотрелась в ее лицо:

— Ойбай, не умерла ли случайно эта горемычная? Ой, Боже, она и вправду умерла! Как же теперь мне быть?..

Разговаривая сама с собой, Катира бесцельно слонялась из угла в угол.

«Кап¹, взять и окочуриться прямо в день свадьбы! Ничтожная дрянь. Кому во время тоя станешь сообщать о внезапной кончине? Пусть полежит пока, никто ведь не знает об этом, кроме меня», — подумала она и тут же моментально приняла решение: прикрыла мертвенно-бледное лицо девушки платком. Выбежав из дому, Катира растерялась. Издалека едва слышно доносились издавна знакомые ей рыдания с причитаниями². Несколько групп жителей Караула, одетых в черное, плакали и возбужденно разговаривали. От услышанных слов волосы на голове вставали дыбом, дрожь охватывала все члены.

— Ойпыр-ау! О Господи, погубить всех нас хотят, что ли? Ночью опять... опять прогремел взрыв ...

Катира задрожала. «Как бы не взрыв вызвал ее смерть ...» — прошептала она про себя. Она не хотела, чтобы эта рыдающая траурная толпа приблизилась к ее дому.

— Прочь! Прочь! Хотите расстроить свадебное веселье моего первенца? Дайте хотя бы мне перед смертью испытать такую радость!

Затем, вспомнив о том, что из дома не вынесено тело Лейлы, вся скукожилась, обессилела.

Траурная толпа с шумом и криками направлялась в ее сторону. Катира словно онемела... Она то протягивала к толпе руки, то, об-

¹ Здесь междометие, возглас, выражающий сожаление. Аналогично русскому возгласу: Надо же!

² Именно так, с плачем и рыданиями, исполняется жоктау — поминальная песня по умершим.

РОЗА МУКАНОВА

хватив ими голову, раскачивалась всем телом, припадая лбом к порогу дома.

Луч плавно скользившей Луны полоснул скрытое во тьме лицо Катиры. Женщине почудилось, будто светило расколосось пополам.

— Ойпыр-ай, — шептала она. — Выходит, теперь Луна не встанет над Караулом во всей своей полной красе? И никогда уже не будет она настолько полной и настолько белой, чтобы рассеять густой мрак ночи! Дрожащими пальцами Катира медленно расстегивала пуговицы на бешпенте¹, теснившем ей грудь...

Перевод Романа Токбергенова

¹ Легкая приталенная одежда на подкладке до колен.

Айгуль Кемелбаева

(род. в 1965 г.)



А. Кемельбаева – известная в республике писательница, литературовед, переводчица. В 1987 г. окончила факультет журналистики Казахского государственного национального университета имени Аль-Фараби. В 1989–1994 гг. училась в Московском литературном институте имени М. Горького на основном отделении (проза). Является автором повести для детей «Путешествие на седьмой континент», сборника рассказов «Тобылгысай» («Овраг, поросший таволгой») и романа «Мунара» («Башня»). В республиканской периодической печати опубликованы свыше ста ее литературоведческих статей, эссе, переводов. В своих литературных исследованиях основное внимание уделяет национальным духовным истокам, национальному миропониманию, истории. В книгу А. Кемельбаевой «Мәжнүн жүрек» («Неистовое сердце») вошли блестящие эссе, в которых автор пытается рассмотреть миро-

вую и казахскую литературу в едином пространстве и провести анализ происходящих в них процессов. Она является лауреатом Государственной молодежной премии «Дарын», лауреатом премии Союза журналистов Казахстана имени Б. Булқышева и призером конкурса «Сорос – Казахстан – Дебют».

Победитель литературного конкурса «Современный казахстанский роман» фонда «Сорос – Казахстан» (2000).

Кокенай и Калкаман

Изгнанником стал Калкаман
Ради одной-единственной девушки.
Шакарим. «Калкаман-Мамыр»

Посвящаю памяти Ануарбека Исаханулы.
Автор

На небосклоне зажглась яркая звезда. Калкаману приснился предок, что был в роду древнее вышедших из седьмого колена. Он переехал верхом на лошади через перешеек пролива и исчез за горизонтом. Голова его коня была покрыта плотной попной. Калкаман последовал с двумя конями за одиноким всадником.

Калкаман ходил по берегам Сырдарьи вместе с Итбака, который был его ровесником, рано осиротел, был разлучен с матерью, а отца потерял в бою и, будучи мальчиком с печалью в сердце, причислял себя к алгадаям — воинам-смертникам. По древнему казахскому обычаю, еще при жизни по алгадаю совершают заупокойную молитву. Так или иначе — рожденному смерти не миновать, и малолетний сирота был готов умереть с яростью на поле сражения.

Друзья были неразлучны. Это он, Итбака, отдал ат суйек¹: заменил убитого под Кокенаем коня в ожесточенном бою с джунгарами, и спас батыра² от верной гибели.

Джунгарские войска уже были готовы двинуться. Но, как потрескавшийся лед, тронутый вешними водами, недобрую весть спешно

¹ Отдать ат суйек — оказывать помощь конем. Подхватить прославленного воина, у которого в бою гибнет конь, и посадить на другого коня.

² Батыр по-казахски: герой, богатырь.

доставил гонец по дороге верхним аргынам и найманам¹. Зимой казахи были в более безопасном положении, а с приходом весенней поры, вместе с зовом кукушек в рощах, вражеские набеги возобновлялись.

Киргизы² на белой горе отдавали хунтайджи³ своих лошадей косяками, полностью снарядив сбруями, седлами, упряжью, кроме того, они снабжали джунгарские войска оружием и продовольствием. Всё это тайком передал караул уйсунам⁴ из старшего джуза⁵. Киргизы сочли наиболее близкородственным народом джунгар-калмыков и дали клятву содействовать им в кровопролитном походе. Казахские племена, жившие в Семиречье и у подножия Каратау, сильно натерпелись от набегов джунгар, устав постоянно спасаться от смерти.

Отважные юноши Калкаман и Итбака и во сне не расставались с боевым оружием. Они частенько бродили по степи, вольничали и охотились, становясь батырами.

Некто стремительно бегущий, то ли дервиш, то ли разбойник, лихо вспугнул дроф — крупных птиц, обитавших во множестве в этих местах. Юноши, мирно валявшиеся на траве, подняли голову.

— Здравствуйте, благородные мальчики! — приветствовал их дервиш. — Упаси от бед бренного мира! К гнили мошара липнет.

Дервиш прилег рядом, вытянувшись на лужайке, и, подложив под голову переметную суму, миглом заснул и захрапел. Также быстро проснувшись, странник, озираясь, заговорил:

¹ Аргын, найман — название казахских племен из 6-ти Среднего джуза.

² Киргизы — тюркский народ, чьи предки жили в Енесее.

³ Хунтайджи — правитель Джунгарского ханства.

⁴ Уйсунь — одно из племен Старшего джуза. Джуз — ист. Орда (название одного из трех объединений казахов).

⁵ Старший джуз — объединение 11 казахских племен в одну группу. Старший джуз или Большая орда, Средняя орда, Младшая орда.

— Тому свидетели наши давние предки, жившие в горах Карахана¹: в старину на этой благороднейшей земле жил и благоденствовал почтенный бек² Итбака!

Вздрогнул от этих слов Итбака. Ему показалось весьма удивительным, что незнакомец назвал его имя.

— Я гол как сокол, нет у меня ни кола, ни двора, ни семьи, ни добра, не имею ничего, кроме коржуна, — продолжил свой рассказ дервиш. — Лежу на сырой земле, покрываюсь листьями, живу тише воды, ниже травы. Кочевье кормит дервишей. Дети мои, совершенный ритуал отпевания как по покойникам иногда толкает на безрассудную храбрость. Вы в бою подобны ястребам, беспощадно истребляя джунгар. И враг будет проклинять вас, как палачей. Много бед вам суждено пережить на белом свете.

— Вовсе не скажу, что мне везде мерещится могила Коркыта³, ибо не грозит гибель гонцу. Возможно, лик смерти напомнит всего лишь блеснувшую молнию, — гордо ответил Калкаман.

— Я иду к святой могиле деда Коркыта, — изрек дервиш. — Великий путь кочевья начинается с Сырдарьи⁴. На челе каждого из вас есть знак свыше. Вы — самые храбрые из молодцов. Вы оба не станете повиноваться старейшинам рода и за это будете нести тяжкое бремя судьбы. Вам не видать мягких постелей из овечьих шкур, кочки будут вам подушками, вы будете жить одиноко, как куланы, отлученные от косяка.

Дервиш повернулся с багровым от солнца и ветра лицом к Калкаману, и взгляд его стал пронизывающим и холодным:

¹ Свидетели тому предки наши в горах Карахана — старинная присказка.

² Бек — титул мелких феодальных правителей и должностных лиц в некоторых странах Среднего Востока.

³ Куда ни пойдешь, везде Коркытова могила — казахская пословица о бренности жизни.

⁴ Сырдарья — длиннейшая и вторая по водности после Амударьи река Средней Азии.

— Ты благороднейший сын в роду. Гонит девка молодца, а сама прочь не идет. Твое имя не забудется, как свеча, зажженная Коркытом. Терпение станет твоим мужеством.

Дервиш заиграл на курае. Душераздирающий плач и протяжные причитания взмыли в поднебесье. Когда песня оборвалась, странник проговорил дрожащим, как волосная струна, голосом:

— В стародание времена, когда Сырдарья называлась Кызыл-Дарией, когда ее воды пересекали гигантскую пустыню Каракум, — по милости и благоволению всомогущего Тенгри русло реки не пересыхало. Однако река настолько обессилела, что не текла, а сочилась горячими слезами. Когда наши предки обитали в горах Карахана, река Сырдарья впадала в море Кердери¹, а предки наших предков называли это море Огузским.

Те времена были свежи и первородны, как молозиво, те времена явили Коркыта. Эх, золотая была пора! У берегов Сырдарьи некий раб², чья добрая душа сильно и страстно желала свободы, увидел во сне предзнаменования Тенгри. И подал Тенгри любимому рабу божественный знак. Неведомо, какая невероятная сила создала радугу, окрашенную в семь цветов, перенятых от звезд. Неведомо, какая мощь, сгибая радугу в дугу, повернула русла и воды двух рек — Сырдарьи и Амударьи, текущих в Хазарское море³. Многие неведомо простым смертным. Но сбылось прорицание Тенгри, хватило сил у любимого раба Аяз-бия, — и повернули реки в море Кердеринское. Когда сливаются земля и небо — возносится душа человека. С тех пор эта окрестность стала заветным обиталищем — землей отцов, местом спасения для девяноста племен ногайли⁴ с родовыми богатырями в годы лихолетья и смятения. Это Туран⁵, ваше пристанище.

¹ Кердеринское море — изначальное название Аральского моря.

² Некий раб — в казахских легендах Аяз бий — изменил русло двух крупных рек Средней Азии.

³ Хазарское море — старинное название Каспийского моря.

⁴ Ногайли — этноним, старинное название казахских племен.

⁵ Туран — родина тюрков.

Вместе добыли дрофу, вместе вырыли земляной очаг¹ и развели огонь. На закате вечерняя заря окрасила округу в алые тона, в очаге звездочками горели раскаленные саксаульные угольки.

— С тех самых пор мой народ называет Сырдарью «Великой матерью» и прибегает в ее лоно укрываться от нашествия свирепых врагов, наступающих со всех сторон. Бетпақдала² защищает сайгаков и казахов от беды, — продолжил свое повествование дервиш. — Тихая, глухая пустыня дает укрытие и покровительствоует. Это знает бродящий суфий, да еще и перекасти-поле! У переселившегося народа закружилась голова. Покуда живы, люди видятся друг с другом. Где ваши огромные саба³, в которых мог бы уместиться и поплавать стригунок? Где туурлыки⁴ из черного горноста⁵? Остались в Черном Иртыше и в Ишим-Нуре, когда народ покинул берега? Грабители сложили головы на воровской дороге. Внутренности джунгарских налетчиков с потрохами разодрали голодные собаки.

Знающий — поймет, непосвященный — узнает. Скопление звезд на небе еще до зарождения жизни на земле осветило величие Тенгри. Дух не знает границ, — отрывисто забормотал дервиш. — В Туркестане покоится прах духовных наставников. Человек прозревает. Избранные тоже найдут последнее пристанище там. В один миг поразило огненной молнией летящих вереницей гусей, просыпались мертвыми на землю семьдесят душ! Диву даюсь золотой стреле, поражающей птиц на лету! Дурное предвестье! Джунгары перебьют в бесчестном побоище тьмы мирных казахов. Ибо за сорок лет грозит возмездие всем — и смиренного постигнет кара.

¹ Очаг — углубление для разведения огня.

² Бетпақдала — дикая безводная степь.

³ Саба — большой бурдюк из выделанной прокопченной конской кожи для приготовления и хранения кумыса.

⁴ Тууырлык — кошмы, которыми прикрывают юрту.

⁵ Черного горнаста — скорее всего, покрытия на юрте были сделаны из шкуры соболя.

Во время ужина дервиш не проронил ни звука, а когда лег спать, беспокойно и долго переворачивался с боку на бок на подстеленной траве. Рано утром проснувшиеся юноши не увидели его на прежнем месте — странник бесследно исчез. Но туманные и зловещие пророчества остались на сердце юношей как незарубцевавшаяся рана.

Среди племени аргын, чья родовая тамга изображена в виде глаз, род тобыкты жил на гриве коня, на горбе верблюда, жил суматошно и чутко, в состоянии вечной тревоги.

«Наш народ — аргын-ногай», — говорили в старину. В смутные времена частых набегов воинственных иноверцев казахи заворачивали своих новорожденных младенцев в помет кулана или пеленали зелеными травами. Детские колыбели почти не снимались с лошадей. Племена были всегда наготове, чтобы сразу тронуться с насиженных мест.

Джунгары прогнали с родного Алтая и Ишима казахские племена найманов и кереев. Выжигая огнем и пожаром всё живое, заняли верхнююпологую часть взгорья Арки¹. Только бегство спасло род жети момын². Будущий верховный жрец, родоначальник тобыктыцев Анет баба тогда был семилетним мальчиком росточком с мизинца. Его посадили верхом на седловину верблюда, так он достиг нижнего течения Сырдарьи. С тех самых пор прошло ни много ни мало семьдесят семь лет. Набеги джунгар не прекращались. Казахи пережили самые страшные времена, число народа сократилось на треть. В мирные времена казахские аулы имели тучные стада и табуны. От дневного водопоя мелели реки, а утром заново наполнялись водой из неиссякающих источников благодатной земли.

¹ Арка, Сарыарка — центральная часть Казахстана.

² Жети (семеро) момын — Момын, младшая жена Аргына, и происходившие семеро родов от семерых сыновей матери Момын: канжыгалы, тобыкты, карауыл, атыгай, басентиин, байтимбет, жанай.

Аргын-кыпчак, найман-конырат, керей-уак¹ не смогли удержаться на Ишим-Нуре², на равнинах и взгорьях просторной Сарыарки, поросшей густыми зарослями тугаев. Окончательно отчаявшись, шесть племен среднего джуза пустились в бегство, перекочевав поближе к своим — уйсунам из старшего джуза и алшынам из младшего джуза. Эти земли Уш Кияна — Тюлькибасы, Казыкурт, Жиделибайсын, Козыбасы, Шу, Семиречье — простирались на юге.

Перелетные птицы, пролетевшие над Тырнауызом³ через Кавказские горы, осели у берегов Сырдарьи. С того момента Мамыр, дочь Байгазы, очень преобразилась. Птенчики гусей-лебедей на озерах, поросших густыми зарослями камыша и рогозы, до наступления холодов и отлета в теплые края ни на шаг не отходят от своих матерей.

Так же Мамыр, как лебеденок, не расставаясь с родителями, засидалась в отчем доме. Время выдавать замуж девушку уже прошло свой пик, а люди не осмелились посватать единственную дочь богача, чтобы не вызвать его гнев. Отец воспитал дочь, как сына. С древних времен правителя Алаша хана этот народ выращивал бесчисленные табуны лошадей в степи. Мамыр с луком на спине пасла лошадей в холмистой местности, где зима мягкая. Родня, жалея Байгазы, вздыхала: «У него нет хвоста и гривы», — что означало «нет наследника». Но об этом никто не смел говорить вслух.

Мамыр была отличным табунщиком. Сгнав лошадей в табун, оставляла их на сильного жеребца и трусила рысью в свой аул. У хорошего жеребца косяк цел. И однажды повстречала Мамыр на своем пути двух юношей. Одним из них оказался Калкаман, самый младший из сыновей Айтека, брат Олжая. Мамыр была лихой наездницей, как и многие степные девушки, проявлявшие мастерство вер-

¹ Аргын-кыпчак, найман-конырат, керей-уак — шесть племен Среднего джуза.

² Ишим-Нура — река в Центральном Казахстане.

³ Тырнауыз — ущелье в Дагестане.

ховой езды с рождения, сидела верхом отлично, чуть надменно, не уступая в верховой езде джигитам.

Итбака захотел похвастаться джигитовкой, увидев девушку, одетую по-мужски. Он первым дернул поводья и пустил коня вскачь. Бескрайняя равнина, благоухающая травами, звала и манила молодых на байгу. Топот лошадиных копыт тут же увлек за собой остальных всадников. Молодежь сломя голову неслась, летела на конях, подобно птицам над степными просторами.

Когда старшие отбыли на поминки в соседний аул, молодежь устроила бастангы¹. Мамыр блистала юной красотой, изящными манерами. Изменив прежний образ, она предстала пред всеми в девичьем уборе. Сверстники глазам своим не поверили. На пальце — перстень с птичьим узором, в ушах — серебряные серьги алка², в ее косе звенели подвески-шолпы³. Юношей и девушек потрясла эта внезапная перемена. Отец ее вырастил как мальчишку, и она еще вчера не признавала никаких украшений.

Ее мать недавно побывала у своих родичей из найманов, что возле Сырдарьи, и в их юрте выщипывала несколько небольших пушистых перьев с ног ночной птицы филина, а возвратясь, пришила три пера к тюбетейке дочери. Удивительно, но такие же перья колыхал ветерок и на шапке Калкамана.

В летнюю лунную ночь играли в аксуйек⁴, и у Калкамана загорелись глаза в темноте:

¹ Бастангы — угощение, устраиваемое девушками и молодыми женщинами для своих сверстников при отъезде, в отсутствие старших в семье.

² Алка — монисто, ожерелье, в старину серьги назывались алка.

³ Шолпы — серебряные украшения, подвешиваемые к девичьей косе, подвески.

⁴ Игра в аксуйек — название казахской национальной игры, играют в летнюю лунную ночь; один из участников далеко забрасывает белую кость, а остальные, разделившись на две соревнующиеся группы, ищут ее; преодолевая сопротивление противников, один из игроков старается первым доставить ее к месту; игра является поводом для уединения молодых пар.

— Девушка с перьями, ты мила, как пушистый гусенок, — произнес он. — Увы, дочь моего дяди Баке, моя сестренка Мамыржан, наши узы — родственные узы.

Мамыр с гордым видом улыбнулась:

— С этим не поспоришь, Калкаман. Я и впрямь не из тех невест, которых обычно ищут в далеких аулах.

Как только с ее уст сорвались эти слова, словно огнем полыхнуло сердце юноши, душа вспыхнула — и Калкаману стало невыносимо больно от жестокой истины. Он был прекрасен, как Юсуп в сказании. Увидев его лицо, Мамыр погрузилась в глубокую печаль и задумала невозможное.

Все мысли, все сокровенные желания девушки были обращены к возлюбленному, и она первой произнесла слова отчаянного признания:

— Если ты станешь моим суженым — я буду благодарна Всевышнему в двух мирах. Не мы первые нарушаем священный степной закон, не позволяющий женитьбу между родственниками до седьмого колена! Если скажут, что я завтра умру, всё равно не откажусь от тебя! Что ты на это ответишь, мой милый?

Калкаман взрогнул от жгучей мысли: «И мне без любимой белый свет не мил!»

Влюбленные встретились в сумерках далеко за аулом, в непогоду. Калкаман хотя и не думал идти на попятную, но посчитал мужским долгом отговорить девушку от пагубных шагов:

— Балаказ¹, Мамыржан, любимица моего дяди Байгазы, — он сидел верхом на коне и смотрел ей в глаза, — ты сама знаешь природный закон табуна, по которому жеребец прогоняет из своего косяка молодых кобылиц. Даже лошадям чужда кровосмесительность, ведущая к вырождению породы. Наши предки блюли закон, береглись и опасались неизбежного вырождения, худого рода и хилых потомков. Как же нам скрывать от людей, что мы с тобой одного рода-племени?

¹ Балаказ буквально «мамыр» — гусенок.

— Калкаман, зачем мне воля других, я сделала свой выбор, душа моя! Ты мой возлюбленный в этой бременной жизни, твой благородный образ мне мил и дорог больше всего на свете. Хотя я родилась девочкой, мой отец любил меня как сына. А я до сих пор не задумывалась о том, что я гостя в родном доме. Парила в мечтах, подобно горному орлу в небесах, жила-поживала, как душа желала... Сколько еще продлится эта свобода? Мне уже пятнадцать. Ты тоже не посватал себе невесту. Нам не избежать брачного закона степи. Если уже невидимо от нас проведена линия судьбы, мы не можем противиться.

Грозовые тучи окутывали небеса. Яркие просверки молний слепили своими отблесками подлунный мир. Оглушительные раскаты грома сотрясали степь до самого основания. И только влюбленную девушку неудержимая стихия привела в безумный и дикий восторг. Она готова была умереть на месте от полноты чувств прежде, чем ее сразит своими огненными когтями вспышка молнии, подобная мифическому дракону.

На озерах, окаймленных буйной растительностью, гнездятся перелетные птицы: журавли, выпь, серые цапли, утки и гуси. Сезонный шум и гомон пернатых не утихает ни днем ни ночью.

Калкаман и Мамыр встретились вновь среди густых камышей в Борийнак¹. Пушистые венчики камышей колышутся под мягким ветерком. Табун остался, как всегда, под защитой брыкливого жеребца.

— Знаю, что творится у тебя на душе. И в самом деле, это неслыханная доселе дерзость. Говорят, никто из тобыктинцев не осмеливался жениться внутри своего рода, — завела разговор Мамыр, поглядывая на любимого красивыми раскосыми глазами. — Я всё листаю страницы прошлого... Четвертый потомок Тобыкты — это наш с тобой прадед Сары, от него родилось четверо сыновей: Мамбетей, Умбетей, Мамбетсопы и Кишик. От Мамбетей родился мой

¹ Борийнак — топоним, местность, буквально: где резвятся волки.

отец Байгазы, от Кишика родился твой отец Айтек, таким образом, они приходится друг другу троюродными братьями, внуками одного деда, так же и мы с тобой являемся правнуками своего прадеда, детьми из одного корня. Не кори меня в том, что я, будучи девушкой, затронула родословную. Наши деды по отцовской линии родились от одного отца. Наше родство восходит к четвертому колену, что смертельно огорчает меня. Скажу тебе, сегодня от найман прибыл посланник в нашу юрту и повесил плеть с серебряным шейным изгибом на почетное место. Отец мой не вернул ее обратно. Это означает помолвку. Сосватанной девушке нельзя делать предложение. Ты согласен с этим?

— Милая Балаказ, я принесу себя в жертву ради тебя! — ответил Калкаман приглушенным голосом. — Если ты станешь моей, все остальное будет ложью. И Пророк не смог предвидеть грядущего и неведомого.

Анет баба¹ приснился страшный сон. Появился вестовой у дверей, за порогом. Он принес дурную весть:

— Отец, Кокенай батыр оповещает, что священный закон Мудрого Жанибека, не допустившего брак до седьмого колена, нарушен собственными отступниками, опозорившими наш род жети момын несмываемым бесчестьем. Батыр говорит, что убьет обоих, совершивших безумство. Олжай и брат Байбори горюют ужасно. Они спрашивают: быть может, Калкамана с девушкой отправить в бегство?

— Сынок, не горячись, говори не спеша о случившемся.

— Калкаман и Мамыр тайно обручились! Кокенай батыр приказал, чтобы мамбетей² и умбетей наказали негодницу и чтобы

¹ Баба — прадед, предок. Прибавляется к личному имени — чаще исторических лиц — в знак почтения, уважения.

² Мамбетей и Умбетей, Кишик — имена людей. По казахскому обычаю после нескольких поколений эти конкретные имена людей становятся названием его рода, например: мамбетей, умбетей, кишик, найман, аргын и т.д.

также поступили люди со стороны кишика, если дорожат честью. Вот что я пришел сказать, отец. Язык без костей, не суди меня строго!

В прошлом дед Мудрого Тауке хана по прозвищу Высокий Ер Есим¹ совершил набег во владения правителя Ташкента Турсына из племени катаган, а его дочь Конырбике он отдал Сары в младшие жены. Конырбике — мать Кишика и Мамбетсопы. От его байбише — старшей жены — родились Мамбетей и Умбетей.

Анет баба, восьмидесятилетний старец, с горечью в сердце, крепко зажмурив глаза, сидел на текемете². Его потрясла эта весть, дело приняло плохой оборот. Калкаман и Мамыр сошлись... Это был сокрушительный удар. Родным младшим братом почтенного старца был Айтек, его сыну Калкаману исполнилось шестнадцать лет. От первой жены Айтека родился Олжай, от второй жены — двое сыновей: Байбори и Калкаман. Кокенаю, сыну Умбетей, было лет под шестьдесят. Он часто устраивал набеги на джунгар ради кровной мести. Вся его жизнь проходила в боевых походах, заставлявших мужей отсыпаться на коне, опираясь на копье, и состояла эта жизнь из смертельных схваток с врагом.

Грозный Кокенай, восседавший на светло-сером коне, был чертовски упрям и бесрассуден в ярости, как многие свирепые мужчины. Он никогда не отступал от своего намерения. Наставник трех джузов Анет баба был вождем Средней Орды, он благословил молодого Толе, бия³ из рода уйсуней, намеренно прибывшего с этой целью к нему. Анет баба окончил пресловутую духовную учебу в Ташкенте и, как богослов, был весьма сведущ в естествознании. Лучезарно-одухотворенный облик старца, будто он купался в молоке белой кобылицы, исказился болью от неожиданного известия. Старец

¹ Высокий Ер Есим — в народе так его называли: крупный, рослый Ер Есим.

² Текемет — большая кошма с узорами, расстилается в юрте.

³ Бий — судья (разбирающий спорные вопросы по обычному праву казахов).

был оскорблен, был растерян и подавлен. «О, боже, разве не гласит поговорка: еле заметен полет совы, глубоко скрыт проступок юности. Моей кровинке, моему племяннику Калкаману отныне грозит большая опасность. Зверь и враги нападают в темноте. Что же мне делать?! Если кулан упадет в колодец, тогда лягушка станет жеребцом», — предавался старец безутешному горю.

При встрече наедине со своим двоюродным братом Кокенаем чаяния старца о примирении оказались напрасными. Батыр вовсе не думал идти на уступки. Кокенай отверг предложение старца, при котором мамбетей, кроме калыма за невесту, получит кун¹ сверх положенного, то есть выкуп за двоих.

— Я передаю безумный поступок Калкамана на суд кадия². Свою единственную дочь Байгазы не ограничивал ни в чем и давал ей полную свободу. Дайте и мне свободу выбора. Я накажу ее сам. Если ей суждено умереть — она умрет, значит, так богу угодно. Не стану лукаво выражать снисхождение к сраму ради родственного долга. Это чревато дурными последствиями для всего народа, это — начало беды. Без присмотра оставленных лошадей увлекут дикие куланы. Для мужчин порой исходит угроза от женских чар, словно от змеи, свивающей путы и бездумно жалящей. Разве ты не вправе запретить этим вздорным, взбалмошным молодым преступные деяния, которые опозорили всю семью, весь наш род, отец? Время от времени мы несем большие потери от набегов соседей. Враг не дремлет, не дает нам жить спокойно и мирно. Так не стоит будоражить народ, не годится разлагать его изнутри, сеять разногласия в преддверии неудачных испытаний, — заявил богатырь, крепко держась за ножны, будто произнес клятву.

¹ Кун — ист. плата, выкуп за убийство или увечье. В то время кун отдавался скотом.

² Кадий — судья (должностное лицо, решающее дела в суде на основе законов шариата). Шариат — свод законов о правилах поведения и обязанностях мусульманина.

— Кокенай, будь спокоен, Коран гласит: по шариату разрешается брак внучатой родни. Человечество первоначально произошло от одной-единственной пары, от одной капли крови. Увы, неприлично, что у потомства отца Адама и матери Хавы имеется кровосмешение, которое не чуждо многим народам, но не нам. Однако казахи осуждали и осуждают этот грех... И мне, и тебе ведомо, что престиж и воля мужчины — сделать брак чистым и достойным, — говорил убитый горем Анет баба и отводил глаза.

— Отец! Ей-богу, ты позволяешь завистливым сородичам говорить обо мне как о кровожадном тобыктинце и заставляешь меня огорчаться. Взаимные браки не позволены до седьмого колена. Нельзя сказать, что это им было неизвестно! Они нарушили святой закон Мудрого Тауке хана! Если я не заставлю раскаяться этих необузданных смутьянов, пусть меня не именуют Кокенаем!

— Не стоит клясться, хоть это сущая правда, слова священны! Эти двое — твой брат и сестра по крови, а не кони для заклания.

— Зря говоришь, отец! Жениться на собственной сестре — это не прихоть и не баловство, а страшное преступление. В этом краю еще не перевелись невесты, Калкаман глумится, оскорбляя традиции отцов своим поступком!

Анет баба понял, что для Кокеная молодые люди словно сгнившие яйца, он был готов их выбросить из родового гнезда, и старец во что бы то ни стало решил спасти Калкамана. Был еще веский довод: женщин он считал одним из семи сокровищ в жизни; как говорят в народе, первое богатство — здоровье, второе — жена.

— Малочисленный род тобыкты еще не выродился. Отец, кто лучше тебя знает законы шариата? В Коране запрещается жениться на своих матерях, дочерях, сестрах. Отрекись от позорного сородича!

Слова упрека Кокеная дошли, что называется, до костей, заставили горевать старейшину Анет баба. Он еще больше опечалился. Мать Кокеная была наполовину калмычкой, видать, чужая кровь сказывалась.

В 1647 году калмыцкий хунтайдзы Улалы обезглавил на поединке предводителя Средней орды Кожабергена. Беременная жена Кожабергена попала в плен к врагу — в рабство. Двое младших братьев Кожабергена, сыновья Суюрбаса Али и Сары были тогда подростками. Через 13 лет, взяв в товарищи батыра Олжаса из рода аргын, Сары победил в поединке Улалы и таким образом отомстил за гибель своего брата Кожабергена. Рожденную от трофейной жены-казашки, единственную красивую дочь Улалы Сары отдал в жены своему второму сыну от старшей жены Умбетею. От Умбетея родился Кокеный, его имя Кукнай по-калмыцки означает «зеленый опий».

Знаменосец Мудрого Тауке хана, прославленный герой, участник военных походов правителя Салкам Жангира, отважный Кокеный с малых лет крепко сидел в седле, был умел, бесстрашен и беспощаден в боях с заклятым врагом — джунгарским войском под стягами с конским волосом. Кокеный был ярым защитником своих границ, месяцами и годами сражаясь против завоевателей на окраине казахских земель. Он стойко переносил невероятные испытания, тяжелейшие раны и разлуку с родным домом.

Через месяц проклятие сбылось: роковая стрела из лука Кокеный вонзилась в самое сердце Мамыр. Печальная весть об убийстве племянницы родным дядей быстро облетела семь племен момын, пять мейрам¹, соседей из рода найман и керей. В последний миг Мамыр, еще, по сути, дитя, затрепетала словно гусенок, не успев выговорить слова «мама», угасла в своей тихой красоте, едва распустившись, подобно степному цветку.

Среди двенадцати родов аргына — каракесек, канжыгалы, басен-тиын, атыгай, карауыл, тобыкты — прошли курултаи. Потомки Сары бия разделились на две стороны. Остальные вынуждены были молча наблюдать за прискорбной историей. Нейтральным посредником в

¹ Пять мейрам — сыновья Аргына, рожденные от старшей жены, и рода, происходившие от них: куандык, сюиндик, бегендик, шегендик, каракесек.

споре, при решении тяжбы, стал Ишпек бий, прославленный своим красноречием, сородич тобыкты из рода канжыгалы.

— Уа, здравствуй, мудрец наш Анет баба! Почтенные беки, слушайте! — начал Ишпек громким голосом. — Молодой Калкаман и несчастная Мамыр своим дерзким поступком нанесли своему дяде, доблестному Кокенаю, смертельную обиду. Позор горше, страшнее смерти. Род момын благородного происхождения, он не был рожден от безродного привезенного раба, усаженного на шаныраке¹, никто не может бросить упрек им в лицо. Но наши соседи, но кыпчаки с пятью тамгами, найман, конырат, керей, из уйсуньской орды албан, канлы, ысти, шанышкылы, живущие рядом кете-шомекей из рода алим, табын-тама из рода жетиру, байулы, — весь родалшын, каракалпаки, башкурты, и другие народы...

Разве наш спор не дойдет до всех тюркских племен. Благородство, унаследованное от Огуза, — вот что нам присуще. Разве девушка не рождена для чужого рода?! Разве нам хотелось быть свидетелями доселе не виданного срама, когда берут в жены собственную сестру?! «Не берите в жены из своего рода до седьмого колена, свято сохраняйте заповедь, иначе род захиреет, даст потомство слабое, незначительное, непримечательное ничем». Так завещали наши великие предки. Эта скорбь тоскливо душит твою грудь проклятием в старости. Я не подстрекаю, слова мои сказаны не ради злорадства. Мы — сородичи, собратья из родов канжыгали-тобыкты. Мудрый старец, Анет баба, ты святой человек, духовный наставник. Будь справедливым, не раскисай, не заставляй свой растревоженный народ унывать еще пуще, суди беспристрастно и найди достойное решение! Душа героя — в своем народе, человек лишь на родине — человек. Паршивую овцу — из стада вон. Безнравственные, бессовестные юноша с девушкой заслуживают суровой кары. Коли малочисленный род тобыктинцев распадется на две части и одна из них переселит-

¹ Шанырак — купол юрты.

ся подальше от родни, что тут поделаешь? Обидится, откочует — таков порой нрав казаха. Дурной поступок твоего племянника смывается лишь кровью, поэтому доблестный Кокенай восстал против применения наказания выплатой. Если старец готов оберегать наши обычаи, тогда пусть он предаст проклятию дурной пример. Этот случай — вовсе не распря из-за сосватанной невесты, это поистине изгнание беса! Твой род изначально прославился доблестными мужьями, благородством, избранничеством. Если один род слабеет из-за кровосмешения, ничего не останется, даже следа матерой волчьей натуры, явно сохранившей его, ибо хилое потомство обречено на погибель. Калкаман — твой родной человек, тем не менее ты должен прежде всего заботиться о народе, мудрый старец!

— Калкаман для меня — милый мальчик, свет очей моих! Разве я смогу отдать его на растерзание? — сказал Анет баба, еле живой. — Что бы кто ни говорил — не стану я живьем сводить юнца в могилу!

— Он не единственный человек мужского пола из тобыктинцев, кто станет жертвой ради блага других, ради чистоты нравов. Сокольник, обучающий ловчих птиц, знает, что беркут гнездится на отвесной скале и выбрасывает одно из яиц. Кокенай волей-неволей убил свою родную племянницу Мамыр, такой вердикт вынесли братья мамбегей и умбетей. От вас требуется такой же жесткий приговор. Иначе мы не будем жить в мире, сородичи угрожают вам враждой, не будет никакого примирения. Все вы являетесь правнуками одного человека, вы — потомки деда Сары, желаешь ли ты, старец, взаимной вражды, быть с ними в ссоре? — настаивал Ишпек бай.

— Пускай это будет потеря, и хотя он твой любимец, но если ты отпустишь Калкамана без наказания, то понесешь ответ перед богом и перед людьми и опозоришься навек. Стыд и срам! Берегись худа, как огня. Стоит пожертвовать малым ради большого.

Анет баба очень утомился от нескончаемого спора, но ревностно защищал племянника:

— Травы отечества, благоухающие от лучей щедрого солнца, лучезарное тепло от света, проникающего в наши сердца, смягчают душу, сияние свыше передается человеку. Это свет жизни, а не смерти. Не торопись изувечить близкого. В милосердии и сострадании кроется спасение душ. Аллах любит человечность. Горька печаль невинного. Закидать камнями велите? В молодые годы, будучи влюбленными, кто из вас не терял головы, не пьянел от взора женских очей? Вырвать крылья и хвост, оставить меня без опоры хотите? Человек — дитя природы. Даже птицы и те зимой обрастают густо перьями, а летом пух жидок. Природа не способна на зло. Птицы вьют гнезда заранее. Благородные сыновья становятся родоначальниками. Иногда сердца молодых опаляются от страсти, эти согрешения — не прелюбодеяние... Пусть простит милосердный и милостивый Аллах! Вина иной раз служит Каабой для покаяния.

Люди, встревоженные происшествием и не желавшие насильственной смерти юному Калкаману, сострадали Анет баба. Две стороны долго не могли прийти к соглашению.

Наконец-то приговорили Калкамана к наказанию через испытание стрелой. «Привязать к стреле» — обречь на верную гибель: виновник должен проскакать на быстром скакуне сквозь строй лучников, стреляющих в живую мишень. Если Калкаман останется в живых, то не будет ему повторной кары. Народ знал, что Кокенай был метким стрелком, попадавшим в цель без промаха.

«О, Аллах мой, Творец всего сущего, пусть будет воля твоя, а не моя, ибо не сокрыты от тебя ни правда, ни ложь!» — такой приговор вынес со слезами в глазах верховный судья Анет баба.

На бугре близ Бориойнака, где должны были привести приговор в исполнение, собралось много народа. По древнему казахскому обычаю воины становились в круг словно под обстрелом. Если виновный останется целым и невредимым, значит, не пробил его смертный час. Если всадник погибнет от стрелы на полном скаку, его сочтут преступником.

Из толпы для исполнения приговора отделились несколько мужчин. Все они были выдавшими виды воинами, прошедшими и огонь, и воду, и агонию бесконечных войн с джунгарами, все были славными защитниками отчизны, настоящими героями, готовыми ради мести пригубить кровь врага.

Кокенай, восседавший на коне Бозшенгел, трусцой ехал к назначенному рубежу, когда ему наперерез вышел некто из толпы. Кокенай узнал юношу, отдавшего ему своего коня в одном из свирепых боев, спасая таким образом прославленного героя. Юноша приходился родней матери Мамыра.

— Кокенай ага, дат¹! — произнес юноша. — Волк не съест своего волчонка!

Я, из рода окиреш найман, заявляю, что для тебя будет слишком тяжким бремя двух смертей, если казнишь собственноручно и второго из родственников, батыр! Люди протестуют против гибели молодых. Мой давний предок Кишилик сражался против грозного Чингизхана и не испугался врагов. Батыр, нельзя убивать парня из-за любви к девушке. Он не кровный твой враг!

Кокенай промолчал.

Калкаман ответил резко своим близким, что не будет просить пощады и не нуждается в помиловании. Анет баба благословил Калкамана открытой ладонью. Старец с чистым сердцем помолился о своем племяннике, он всей душой просил Всевышнего отвести смертельную опасность.

В это время вдалеке в уединении убогой лачуги играл на кобызе² шаман. Звуки кобызы напоминали несмолкаемые стоны.

Калкаман вспоминал лучшие беззаботные дни, когда верхом на коне, не утолив жажду, залпом выпивал медовый напиток.

¹ Ага — дядя; Дат — уст. апелляция, жалоба, претензия (к кому-л.).

² Кобыз — смычковый музыкальный инструмент, по форме похожий на ковш, с изогнутым грифом, открытой лицевой стороной и обшитым сыромятной кожей дном.

Юноша надел кольчугу, без всяких колебаний решив стать живой мишенью, покорившись судьбе. Со стороны казалось, что смерть манит его своим таинством. Перед суровым испытанием он вспомнил завет Анет баба: «Джигит в молодости должен быть храбрым, действовать бесстрашно, быть наготове жертвовать собой, и всегда поступать так, как велит его честь. Если умрешь — смерть не страшна, если останешься жив — станешь настоящим мужчиной. Человек, пока не увидит воочию, что уготовано ему на свете, — не сойдет в могилу».

Давным-давно в устье Сырдарьи в Косарале скончался Орманбет бий. Многочисленные племена ногайцев были тогда разорены из-за потери своего вожака. На горизонте были окутаны маревом застывшие курганы.

Проскакал Калкаман на коне. Одновременно выстрелили лучники. Все девять стрел пролетели мимо. Жалко было воинам отдавать цветущего юношу сырой земле. Серые глаза Кокеная смотрели угрожающе свирепо, вид у него был неумолим и грозен. Кокеный, крепкий мужчина богатырского телосложения, словно выросший из спины коня, потягиваясь, грациозно натянул тетиву. Просвистевшая на лету стрела вонзилась в Калкамана, он на миг покачнулся в седле, наклонившись набок, и едва не упал, но, схватившись за гриву своего коня, унесся вдаль.

Родная сестра Калкамана в мужском одеянии стояла в толпе, с бьющимся сердцем наблюдала за происходящим. «Дурной сон — до обеда», — приговаривала она и свято верила в то, что брат останется жив.

— Почему Кокеный не принял верные слова потомка племени найман, чей непокорный предок сражался до смерти с Чингисханом, завоевавшим полмира. Что на уме у Кокеная? — тихо прошептал один молодой воин своему товарищу. — Юноша, не боясь ярости грозного Кокеная, просил пощады для своего ровесника, чтобы не оборвалась молодая жизнь.

Тобыктинцы шумно ринулись вслед за Калкаманом, пустились вскачь всей толпой, громко и радостно крича родовые кличи «Ак жол!», «Маябоз!». Стрела расколола переднюю луку седла и попала в бедро, слегка задев кость. Калкаман простонал, как дикий зверь, и умчался на расстояние стрелы, не дав себя догнать. Вдалеке он остановился и слез с коня, затем резко отрезал боевым ножом конский хвост. Это был знак душевного отчаяния, проявления смертельной обиды, отчуждения, отречения от своего рода.

Сородичи приостановились, будто в лоб ударили плетью. Это было явным жестом разрыва и ссоры. И всадники понуро повернули назад. Тем не менее еще двое не отставали от него. Это были верные друзья Калкамана из рода найман и канжыгалы, выросшие вместе с ним.

Издревле казахский воин берет в поход двух коней: на одном сидит верхом, другого ведет в поводу. Отчаянная сестра Калкамана отправила отважного Итбаку вслед на выносливом коне, без седла и верховых сбруй, уложив груз в тюк и наполнив коржун продуктами, сушеным творогом, копченой грудинкой, кониной, положила два бурдюка¹ с питьевой водой, кремнем, кустарником таволги для розжига.

Пустившись галопом, рыжий конь мальчика поскакал к Калкаману. Тот сидел молча в безлюдной степи. Разорвав рубашку, завязывал кровоточащую рану. Рыжий конь подошел ближе, обнюхал шею Калкамана, и за воротник раненого закапали крупные лошадиные слезы.

— Нельзя от своих отбиваться, нельзя оставлять родные места. Это равносильно безумству. Отступи от своего намерения, не уходи! — через силу проговорил Итбака. — Если ты, Калкаман, уедешь не оглядываясь назад, другие сочтут тобыктинцев черствыми и жестокими. Такая, брат, молва пойдет. Ты прошел сквозь смерть — ты герой! Но разве мы не принадлежим своему народу, своей земле?

¹ Бурдюк — посуда из кожи для хранения и перевозки жидкости.

— Я умер для тобыктинцев, вот мой конь, одетый в траур. Итбака, пусть и меня отпевают как умершего, как тебя отпевали при жизни, пусть в ауле поднимут траурный флаг на копье! — принес Калкаман, заикаясь, будто язык у него отняли. — Нет у меня больше родни, нет отчизны. Не стану никого проклинать, но в груди горит огонь. Меня принародно отправили на верную смерть. Не забыть эту скорбь, не забыть! Я в печали. Пусть меня никто не ищет. Так и передай!

Калканай надел свой серебряный пояс, сел на коня, взял другого за повод, и силуэт человека с двумя лошадьми исчез в голубом горизонте, покрытом дрожащей, мутной белизной воздуха.

Холмы в степи не кончались. И обида нестерпимо теснила грудь в дороге. Степь благоухала, буквально утопала в густой зелени. Повсюду резвилось зверье. В небесном зените самозабвенно пел жаворонок. Невесомо парил орел. Лето было в разгаре.

В ауле одна из молодых снох, волоокая вдова, причитала по Калкаману, украшая плач песней: «Конь, оторванный от своего косяка, тоскуя по нему, прядает ушами. Мужчина, тоскуя по родине, седлает коня! Есть ли земля, равная Сырдарье? Есть ли племя, равное тобыкты! Доблестный Калкаман, лучший из лучших, его уже нам не видать! Хоть убей, всё равно он больше не вернется на родину! Взойдет на Млечный путь безвозвратно. Когда текут внешние воды, когда роща зеленеет, когда возвращаются перелетные птицы из дальних стран, тогда и жизнь мила молодой душе. Не придет одетый в саван, но вернется ли живой, одетый в кебенек¹?!»

Взяв в проводники Полярную звезду, Калкаман отправился с запада на юго-восток, на родину матери. Мать Калкамана Калдыкыз была дочерью из рода шапырашты старшего джуза. По древнему обычаю казахи женятся на девушках за семью реками. Родной брат матери Айкым обитал на северном склоне горы Алатау.

¹ Кебенек — верхняя мужская одежда из войлака, типа бурки.

В ложине, до которой герой добрался из последних сил, паслись джейраны. Это было последнее, что юноша увидел наяву. От кровотечения он потерял сознание и упал, изнемогая в травах безлюдной степи. Начался сильный жар, дрожь охватила тело, раненый провалился в забытие.

Вдруг, когда Калкаман очнулся, показалось, будто кто-то наклонился над ним. Наяву или во сне? Наклонившийся был в огромной белой чалме. Калкаман резко поднял голову с сырой земли, обеспокоенный судьбой своих коней, но мужчина в чалме придержал его рукой: лежи! Неужто это тот бродячий дервиш?! Мужчина принес листья щавеля и положил на рану. Потом опустился на колени, распустил длинную чалму на голове. Белая ткань расплелась и породила мысли о саване.

— Скажу, помянув пророка Мухаммада, это моя бязь, приготовленная для собственных похорон¹. Да будет доволен Аллах, говоря, что один из сорока есть пророк Хызыр. Ты недаром встретился на моем пути. Аулие² есть любимый раб Аллаха. Во сне мой покровитель Баба Тукти Шашти Азиз известил о твоей беде. Целебные травы помогут тебе. Но скажи, почему ты бродишь одиноко в безлюдной степи?

— Мертвец не выбирает, где ему лежать. Если я умру, пусть моя могила будет вдалеке от моей родины! Я однажды уже скончался, вряд ли умру во второй раз.

— Ты едешь, словно рыщешь, как некогда Кете³ из Сырдарьи, со стороны Саурана? Мужчина пройдет через испытания, — сказал старик и пристально посмотрел на его родовую тамгу. — Пусть будет благополучным исход. Добрый молодец, как и волк, найдет себе пропитание в пути. Одолеешь перевал — и увидишь аул. Там тебя вылечит костоправ.

¹ В старину бродячие суфии иногда носили похоронную ткань на голове в виде чалмы. Это означало, что смерть неминуема и может наступить в любой момент.

² Аулие — покровитель, святой.

³ Кете — имя человека, впоследствии ставшее названием рода.

Холод окутывал и омрачал душу Калкамана с тех самых пор, как он покинул сородичей. Этот холод и не думал рассеиваться, как слепой туман. Любой встречный, будь он хоть убийцей или ангелом смерти, не вызывал у Калкамана страха, он смирился. На закате оба ели жаренное на костре мясо, погружая кусочки в соль. Пили кумыс из бурдюка.

— В северных дремучих лесах обитают племена с волосами цвета соломы, — говорил Калкаману его спаситель. — Когда лесному человеку с голубыми глазами, напоминающими гладь озера, ночью покажется Полярная звезда, что как лось стоит головою на восток, тогда ты наверняка достигнешь аула своих родичей из старшего джуза.

Калкаман по дороге ловил петлей косуль, мякоть кусками поджаривал на медленном огне. На склонах Алатау течет много родников и извилистых горных речек, и путник утолял жажду. Чуть ли не на каждом камне гордо стояла дикая горная коза с двумя детенышами, во множестве обитали горные бараны-архары и козероги.

Земля и небо порой сплетались. В прозрачном чистейшем воздухе растекалось благоухание. Сладко-медовый запах, некое сказочное благовоние, неведомый аромат исцеляли юношу и возвращали силу.

Откуда на земле райский сад, откуда плодовые деревья, числом вряд ли уступавшие звездам на небе? Калкаман въехал в густые первозданные заросли яблоневого рощи, обнимающие широким зеленым поясом долины гор. Под Полярной звездой, освещавшей по ночам дорогу, под крупными звездами Млечного пути Калкаман не заблудился и достиг аула родного дяди по материнской линии Айкыма.

Прошло с тех пор двенадцать лет. Если Полярная звезда не сорвется с неба, тобыктинцы выйдут на поиски Калкамана. Год тяжелого джута¹ препятствовал светлому замыслу сородичей. Беда не прихо-

¹ Джут — массовый падеж скота от бескормицы и голод, вызванный этим.

дит одна. На следующий год внезапное нападение врага не дало осуществиться заветной цели. Много воинов полегло в неравной войне. Оставшиеся в живых спаслись бегством. Битва называлась в народе Актабан шубырынды, алакол сулама¹.

Войска старшего сына джунгарского правителя Цэвана Рабдана Галдана Цэрэна окружили казахов, обложили со всех сторон, подобно семиглавому дракону, истребили и воинов, и мирный народ. Животы беременных женщин рассекали кортиком, грудных младенцев подбрасывали на штыки копий и пронзали насквозь.

Джунгарские войска были снабжены огненным оружием с свинцовыми пулями. У защитников родных аулов в те времена были лишь копья, сабли, секиры и луки. Уцелевшие части войска казахов отошли с невосполнимыми потерями. Наступило черное лихолетье.

В безлунные ночи в окрестностях завывали голодные волки. Люди прятались и ютились во временках, покрытых сайгачьими шкурами. Народ кормился кореньями, запивая их березовым соком.

Эту беду народ прозвал «Кайын сауган» — «дойка березы». Казахское дитя напоминало детеныша косули. Женщины плакали навзрыд: «О, мой бедный народ!»

На войне со шведскими войсками казна русского царя истощилась. И тогда он приказал искать золото на востоке. По приказу Петра Первого, прежде чем построить крепости и укрепления на окраинах страны, на рубежах с кочевниками, в широкую степь отправлялись ученые и сыщики. Именно так огромное русское государство столкнулось с восточным миром — джунгарами, ойрат-калмыками, западной ветвью монголов. Многочисленным племенам стало тесно на земле.

Кочевой народ нуждался в просторах для пастбищ. И джунгары-ойраты грозно двинулись в сторону казахских просторов.

Территории между Иртышом и Ишимом были разгромлены и вытоптаны несметной джунгарской конницей. Пыль из-под копыт ло-

¹ Актабан шубырынды, алакол сулама — ист. Так называли великое бедствие, постигшее казахов в 1723 г. вследствие джунгарских набегов.

шадей и дым от пожарищ заволокли небо, и солнце не могло пробиться своим лучом сквозь сплошную завесу. Тайные караваны из Коканда, Хивы и Бухары перевозили оружие джунгарам. И царские подданные приторговывали ружьями, а пленный швед¹ отлил пушки. Сжималась петля на горле казахского народа. Будто бесы сговорились вывести весь род и стереть с лица земли.

Когда разбойная орда множится, сметая всё живое на пути, нет выхода кроме бегства.

Пришедший к власти после Цэвана Рабдана правитель Галдана Цэрэн огнем и мечом утверждал мощь джунгарского ханства. Семь рек, впадающих в Балхашское озеро, завидная плодородная равнина завладели умами завоевателей. Нет хуже врага, нападающего и разоряющего вновь и вновь. На Алаколь, Зайсанское озеро, Балхашское озеро, на Сасыкколь хлынули мощным потоком несметные джунгарские войска. Черный Иртыш, река, напоминающая море, бывшая еще недавно природной границей между двумя народами, — окрасилась кровью, и воды ее заполонили трупы.

«Эй, батыры-молодцы, проклятые джунгары снова напали на нас! Герои, не плачьте о том, что вы погибнете в бою за Отчизну!» — восклицал поэт-сказитель. Под этим боевым кличем казахская конница, вооруженная лишь луками, пиками, саблями, булавами и дубинами, журавлиным клином скачет на противника, извлекая из колчана стрелы. Среди джунгарских войск немало тучных мужей, они как лоси: при смертельном риске окружения, оставляют раненых на поле брани. Таков для них закон войны. Джунгары убитых не хоронят.

В 1723 году вдоль протекающей Сырдарьи, на перекрестке Актал, Каратал, на линии противостояния, Кокенай с пятью тысячами

¹ Пленный швед Юхан Густав Ренат. Ренат пробыл среди ойратов 17 лет на службе джунгарских правителей Цэван Рабдана и Галдан Цэрэна. При непосредственном участии Рената были построены артиллерийские, оружейные, горнодобывающие заводы.

войска Средней орды построил заграждение и не пропускал врага, пока дети, женщины и старики не перевалили горы Каратау¹, в сторону реки Яик, спасаясь от угрозы истребления. Геройски погибли шестеро сыновей Кокеная и пятеро сыновей Анет бабы.

Отныне джунгары не станут угонять скот и пленников, а будут убивать всех поголовно. В земляных очагах, под казаном, перевернутым вверх дном, где в кучу сложено множество трупов, отчаянные матери прятали маленьких сыновей и тем самым спасали от полнейшей гибели свой род, происходивший от одного предка. Мстящий враг приказал не оставлять в живых ни одного потомка из рода Кокеная и Анет баба. Возьми они в плен хоть одного из внуков Кокеная, устроили бы настоящие кокпар-скачки, но уже не с козленком, а с ребенком, разрывая его на куски.

Из потомков Анет баба остался в живых сын Шакабай и еще младенец в утробе беременной невестки. Рожденного впоследствии младенца назвали Бакаем², поскольку он был единственным внуком старца.

Из членов семейства Кокеная выжил лишь шестилетний сын Жаменке, и от него родился сын Туяк — внук Кокеная, и род его не угас.

«Умирая не оставлю родную землю без присмотра» — так сказал перед смертью Анет баба. И остался один на буторке, в земной колыбели, с плачем прощаясь с уходящим на запад народом. Старцу было девяносто семь лет. Стояла весенняя пора. Над головой старца курлыча пролетели журавли. Останки Анет баба во время краткого затишья Кокеная перенес из Кошкар-ата в Туркестан и похоронил рядом с мавзолеем Кожы Ахмета Яссави.

Завоевательная война джунгаров длилась около двухсот лет. Несметное число казахов попало в плен. Безвинные вдовы и осиротевшие дети джунгаров переходили в стан казахских племен. С двух сто-

¹ Каратау — гора, Чу — река на юге.

² Бакай — букв. бабка, надкопытная косточка у парнокопытных.

рон девушки и женщины, ставшие военной добычей, впоследствии становились матерями другого народа, растили дитя чужой крови вдали от родины.

До падения джунгарского ханства два степных народа не на жизнь, а на смерть воевали друг с другом. По всей степи разбросаны останки, по всей степи высятся могильники из камней. Наступление эпохи Абылая хана ознаменовало свободу и мощь казахского народа, испытавшего великие мучения в течение двух столетий.

Среди уйсуньского племени представитель рода Аксиык Елибай дядя Айкым с любящим сердцем приютил родного племянника из рода тобыкты и заявил, что юноша принесет благодать. Родственники матери женили Калкамана по обычаю казахов на трех женщинах: в первые жены, по праву левирата, ему отдали овдовевшую жену павшего в бою родственника, второй стала девушка, попавшая в плен, а в третьи жены, заплатив выкуп, сосватали юную невесту.

Потомки Калкамана обитают в стороне шапырашты айкым с пятью тамгами. Если их спросят: из какого рода? — они ответят, что они родом из калкаман тобыкты.

Осталась поговорка: «Словно тяжба Калкамана и Мамыр».

Потомки канжыгалы, тобыкты, курлеут сохранили в памяти имя Калкамана. Происходившего из кыпчаков Курлеута усыновил некогда Кенжесопы, отец Тобыкты.

Собираясь на поминки, тобактинцы спрашивали о Калкамане людей Старшей орды из рода каскарау. И с тех пор, когда род тобыкты переселился с берегов Сырдарьи, перекочевки не прекращались. От старшей жены Айтека родился Олжай, он имел трех сыновей: Айдоса, Кайдоса и Жандоса. Четверо сыновей Айдоса также родились в смутное время.

Сорок семейств тобыкты достигли гор Мугалджар, перевалив через подножья Уральских гор четырех рек: Ор, Елек, Ойыл и Киыл. Вокруг слияния двух рек — Иргиз и Тургай — народ искал стойбища.

Последующие поколения трех ветвей олжая родились в перекочевках, посильных для ягнят: Иргизбай, Кенгирбай, Торгай, Толай;

возле речки Котималды родился Котибак. Во времена постоянного переселения, обнищания и бедности детям, родившимся в смутное время, давали имена с меткой: Бокты (дерьмовый), Битти (вши-вый), Куртты (червивый), Кылшык (волосинка). Казахи изначально обладали ясным природным умом и давали вещам, явлениям и детям имена своего времени.

В 1728 году в последнем ожесточенном бою с джунгарами погиб Кокенай. Обняв его шею, тринадцатилетний Мамай плакал: «Дядя, мой дядя!» При Нурали хане тобыктинец Мамай был одним из главных богатырей младшего джуза. Он принял участие в освобождении казахских земель в пойме двух рек: Едиль и Яиик; Алтайских и Тарбагатайских гор, побережья озер Бейне тениз¹ и Балхаш. Мамай через пятьдесят лет привел свой народ на землю отцов, расположенную в горах, в пойме восьми реками. На горе Киндиктау они повстречались с племенами аргын и найман, ранее достигшими благословенных мест.

Кенгирбай бий укрепил малочисленный род тобыкты, состоящий из пяти волостей.

P.S. По существу, событие «Калкаман-Мамыр» произошло раньше 1723 года, есть сведения, что в 1712 году на Сырдарье. Как известно, через 200 лет известный казахский поэт, родной племянник Абая Шакарим Кудайбердиев, написал поэму по этому сюжету «Калкаман и Мамыр». В 2012 году исполнилось 300 лет этой трагедии.

2001. — 26.07.2011 — 13.08.2011

Перевод автора

¹ Бейне тениз — старинное название озера Зайсан.

Дидар Амантай

(род. в 1969 г.)



Читательской аудитории Д. Амантай известен как писатель, поэт, философ, кинодраматург, общественный деятель, как талантливый прозаик, одинаково свободно пишущий на казахском и русском языках. В 1986 г. он поступил в Казахский политехнический институт. В 1994 окончил факультет «Философии и политологии», а в 1997 — Институт театра и кино по специальности кинодраматург.

Первая его книга под названием «Постскриптум» вышла в 1996 г. Позже, наряду с книгой романов, повестей, рассказов и эссе «Қастерле мені» («Дорожи мной»), романом «Гүлдер мен кітаптар» («Цветы и книги»), сборником повестей и рассказов «Күзгі рандеву» («Осеннее рандеву»), он пишет сценарии к документальным фильмам, посвященным деятелям искусства и писателям: «Нургиса Тлендиев», «Альжаппар Абишев», «Ка-

сым Аманжолов», «Жусипбек Елебеков», «Мухтар Магауин», к художественным фильмам «Гакку» («ФЭФ»), «Возвращение в А», к телесериалу «Қарсы бақылау» («Обоюдный контроль»). В 2010 г. вышел в свет первый том из запланированного пятитомного собрания сочинений — «Қарқаралы басында» («На вершине Каркаралы»). Эта книга, расширившая горизонты казахской прозы, была издана на турецком, французском, монгольском языках. В книгу «Күзгі рандеву» («Осеннее рандеву») вошли роман «Цветы и книги», повести «Мен сізді сағынып жүрмін» («Я скучаю по вам»), «Ібіліспен сүйісу» («Поцелуй с Иблисом¹») и многие рассказы, которые написаны увлекательно, живо, отличаются выразительным и образным языком, впечатляют реалистичностью описываемых событий, будоражат воображение. Роман «Цветы и книги» по манере своего написания и стилистике раскрывает еще одну особую грань поиска новых форм в казахской литературе.

Дидар Амантай лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» (1999) и Независимой премии «Тарлан» (2007).

¹ Сатана, дьявол.

Они нежат теплым светом

Топ-топ. Неуклюже переставляя ноги, он, продвигаясь вперед по тротуару, вдруг резко остановился. Большие двустворчатые ворота, обычно распахнутые настежь, оказались запертыми на засов. От растерянности он засуетился. Топ, поднял вторую ногу, топ. Затем торопливо топая ножками, пошел дальше. Ботинки, касаясь земли, издавали приглушенный звук. Топ. Внезапно, сбившись с шага, споткнулся и упал на колени. Красивая тюбетейка сползла с головы и упала на землю.

Медленно и вяло поднявшись с земли, бросил недоуменный взгляд на высокий забор. Перед ним красовались выкрашенные высокие доски. Массивные ворота были наглухо заперты. Откуда-то издали доносились и радостно повисали в утреннем воздухе тоненькие голоса детей, беспечно гулявших гурьбой. Говорили о древней топографии, о давнем времени. В стародавнюю пору, в прошлую эпоху, в мире непрерывно гремел гром, сверкали молнии. Не прекращаясь, шел сильный град, мощные оглушительные громовые раскаты сотрясали Вселенную, со всех сторон лились потоки воды, бурными реками устремляясь на бескрайнюю необъятную степь, весь мир накрыл потоп. Веселый смех, радостные голоса постепенно отдалялись и затихали. Он замешкался, осмотрелся вокруг себя и осторожно оглядел окрестность.

Тюбетейка, вышитая узорами и украшенная дорогими камнями, обозначилась крупным планом — CloseUp. RedOne¹ скользнул по его

¹ RedOne — многоцелевая и многофункциональная суперсовременная камера. Камера должна была обеспечить качество картинки, сопоставимое с пленкой, но с преимуществами DigitalLifestyle.

лицу, замер на одежде, перешел на старые ботинки, резко отъехал. В кадре проступил облик степи и прорисовался общий план. Четко записывались слившиеся воедино слабый голос, невнятный шепот, неясные звуки.

Он обернулся. Утомленно дремали у дома волчехвостые сосны. Округу обдавал нежный, как шелк, приятный ветерок, он навевал терпкий аромат, щекотавший ноздри. Если ветер переменится, этот аромат рассеется и унесется в небо. Устремится в воздух и освободится — как скот, стоявший на привязи. Подобно стайкам серых уток, стремительно взлетающих с лужаек в оврагах, поднимаются густые пары кисловатой смолы и расходятся во все стороны. Каждая кораллового цвета капелька, рассыпаясь, как бусины, услаждает грудь, жадно вдыхающую их запах. Толпы людей, задыхающихся в душном городе, жаждущих воздуха, ненасытно поглощают сосновые пары и наслаждаются их целительным бальзамом.

Народ, беспорядочно снующий взад-вперед по улицам, вдохнул полной грудью сосновый воздух и разом взбодрился — вновь в душе его зазвучали незабываемые и хранимые в сердце мелодии весны. Еще вчера и серебряная луна плавно плыла, как гусь, в весеннем небе, ощущая блаженство, как в самом сердце рая. Ароматы фруктовых садов и дыхание наступающего лета рассеивали печаль, живущую в душе, окрыляя ее. Все люди были по-настоящему счастливы. Царил зной, середина и конец шильде¹ — преддверие сумбиле². Скоро народ замрет в ожидании бабьего лета. Наступит сентябрь, октябрь, а затем люди как-то инертно-апатично, молча, равнодушно будут ожидать сумятицу ноября, бесснежного холода боқырау³.

Открылась дверь, и на пороге показались собаки. Вначале выбежал щенок. Следом за порог шагнула огромная, размером с годова-

¹ Самое жаркое время лета с 25 июня до 5 августа, летнее сорокадневье.

² Август, название шестого месяца солнечного календаря с 22 августа по 21 сентября.

³ Последний месяц осени (Покров), когда наступают первые морозы.

лого теленка пегая собака, удерживаемая на цепи. На ней был инкрустированный намордник и дорогой ошейник. Спину покрывала кожаная попона со шлеей, перетянутой кожаными тесемками. Она шла, и цепь, пристегнутая к ошейнику, поблескивала каждым своим звеном, отражая солнечные лучи, и порой неожиданно ярко сверкала, как кинжальное лезвие. Щенок с обвислыми ушами подбежал к собаке. Притворно скалясь, он невинно помахивал хвостиком. Раз два или три тьякнул. После этого заискивающе посмотрел на старшую в прайде, присел на задние лапки, заерзал, выражая радостное возбуждение. Нарушив своим визгом тишину, снова несколько раз тьякнул. Увлечшись собственной резвостью, сам же испугался шума, который затеял, и последовал за степенной, флегматичной госпожой собачьей породы.

Он заметил в проходе парня с бутылкой в руках. Остановившись на полпути, тот медленно, тоненькой струйкой налил в изящную рюмочку коньяк и разом осушил ее. Приблизившись к нему, постоял откровенно.

— С наступлением осени в Алматы становилось полным-полно самоубийц. В прошлом году Фуад сорвался в автомобиле с моста и ушел из жизни, зимой в своей меблированной комнате умерла от удушья Камария; Алишер перед самым рассветом сжег все свои рукописи и повесился до прихода Марфути; симпатия Мухтар, связав своего друга в безлюдном Медеуском ущелье, второпях застрелился; Фуад, проезжая по Саина, там, где много развязок, на углу Шаляпина, на большой скорости врезался в ограждение моста, разнес ограждение в пух и прах, разом сиганув вниз на своем авто. Очевидцы говорят, погиб мгновенно. От грешной смерти собака тонет в трясине, а лошадь спотыкается.

Он присел на бордюр. Ботинки протопали к нему.

— Я устал. Жизнь подобна автобусу, едущему всего один раз по одному маршруту, много людей сошло с него по пути на темнеющих остановках. Не пойму, куда они сгинули? Или всё еще стоят на тех остановках? Но знаю, что сама жизнь больше не проследует через те

остановки. Именно в этот миг я тоскую по исчезнувшему. Только я. Другие тоскуют по другим.

Он с обидой посмотрел в его чистое лицо.

— К чему торопиться, и мы сойдем на одной из остановок, возможно, вместе, возможно порознь, на двух разных остановках, отдаленных друг от друга, и на разных маршрутах. Что тут поделаешь, веление судьбы, суть жизни, цель бытия — смерть. Могущество Всевышнего в том, что чему быть, того не миновать. Знаешь ли ты, дорогой, по словам Польти¹, в мире существуют тридцать шесть сюжетов. А Хорхе Луис Борхес² в своем знаменитом произведении «Четыре цикла» почему-то сократил их количество до четырех. По-моему, содержание произведения и основная нить повествования, отображающие этот суматошный мир, к сожалению, бывают всего лишь двух видов и состоят из двух начал: одно из них — жизнеутверждающее, в котором рассказывается о том, что Бог — есть, а другое — содержание многострадальной книги, где все терпят страдания оттого, что Бога нет. Форма может изменяться, но содержание никогда не изменится.

Повисло молчание.

— Мы строим города для дальнейшей жизни, но они остаются после нас подобно кладбищам. В них нет чистоты бытия, природного облика, рукотворное, мертвое явление, направленное против всего живого и сущего. Эти обиталища — искусственные спутники, окружающие культуру в духовном пространстве. Город никогда не был оригиналом. Дома — искаженные образы первых настоящих стоянок, каменных пещер, их грубая и лощеная копия. Зря воспевали

¹ «Тридцать шесть драматических ситуаций» — книга французского театроведа Жоржа Польти (1895), посвященная доказательству того, что все драматические произведения основываются на какой-нибудь из тридцати шести сюжетных коллизий. Это мольба, спасение, месть, преследующая преступление, и другие.

² Хорхе Луис Борхес — аргентинский прозаик, поэт и публицист, один из основателей авангардизма в испаноязычной латиноамериканской поэзии.

ДИДАР АМАНТАЙ

их в стихах шаиры-пииты, мнимая хвала, дешевая слава, каменные улицы, — по сути, это обитель безрассудных страстей, ненасытных устремлений, неутолимой алчности.

Подул ветерок. Тело его овеяла легкая прохлада. Он продолжил своим надтреснутым голосом:

— На вид он широколиц и грозен,
Суров, как ледяная глыба,
Неприступен, словно султан,
Тетива его упруга и посылает в точку стрелы-слова,
Покорными сделает всех, словно пастух, погоняющий овец,
Красноречьем отменным блистает, если заговорит,
Любого, как строптивого коня, приручит.
Юрту от бурь защитит.
Самый пламенный из биев, любимый и чтимый,
Он — зуб племенного верблюда, сжевавший куст.
Способен тучи разогнать, закрывшие луну,
Очистит лик солнца, затянутый дымкой.
Он открыл веру, отогнав неверных геуров,
Сын Суюнуша — Казтуган¹!

Упомянув имя Казтугана, он повысил голос:

— В добрую пядь толщиной снег,
Сверху — наледь, снизу — снег ковром,
Под солнцем не растает он.
Кибитку я на телегу водрузил,
Приласкал красавицу жену,
Лед под нами растаял от нашего жара,
И во главе тяжелого тумена... —

тут он перевел дыхание.

И вдруг закричал:

— Отправился в поход навстречу солнцу!

¹ Походный сказитель-жырау, мырза, которому подчинялись несколько родов, и полководец, живший в XV в.

ДИДАР АМАНТАЙ

Он вздрогнул от громкого голоса.

— Начало жизни — пир веселый, конец ее — крушение,
Сей покидает бранный мир батыр достойный,
В бою несокрушимый Доспамбет¹ из рода Азаулы! —

продолжил он:

— О, где же ты, Рабия Султан Бегим², Жаухар-ханым³,
Гаип-Жамал-Султан Бегим⁴, Тохтар-Бегим⁵,
Аккозы-Бике⁶, Жаган-Бике⁷, Хоча-Патшайым⁸, Жагым-Ханум⁹.
Мне на глаза покажитесь хотя бы разочек
Анар¹⁰, Жанар, Гульмира, Сауле, Бота, Айнур, Асем.
Ах, увижу ли вас когда-нибудь краешком глаза
Маржан, Шынар, Ельмира!

Он пошел вперед. На глаза ему попала маленькая птичка с остреньким клювиком. Невзрачная пичужка сидела на заборе. Она двигалась шустро, шевелясь всем своим тельцем. Взлетев, опустилась на землю и склевала хлебные крошки и семечки. Ее проворные движения вызвали у него на лице подобие улыбки. Внезапно, когда та вперилась в него своими холодными, размером с пшеничное зерно глазками, ему вдруг стало не по себе. Объектив RedOne, пытаясь проследить дальнейшие действия пернатого героя, запечатлел

¹ Походный сказитель-жырау, военачальник Малой Ногайской Орды, погиб в возрасте 33 лет (1490–1523).

² Дочь султана Улугбека Гурагана.

³ Дочь хана Бурундука, сына хана Керей и Тохтар-Бегим, дочери полководца Абулхайр-хана Карачин-багатура.

⁴ Дочь Абулхайр-хана (Гуюф-Джамал).

⁵ Жена хана Бурундука сына хана Керей и дочь Карачин-багатура.

⁶ Сноха Абулхайр-хана, жена его сына Шах-Будака.

⁷ Байбише — старшая и самая любимая жена хана Джанибека.

⁸ Царевна, жившая в ту же эпоху, в XV в.

⁹ Хоча-Патшаим и Жагым-ханум — знатные женщины XV века, времен Узбекского и Казахского ханств.

¹⁰ Здесь и далее перечисляются имена девушек.

его маленький образ в MediumLongShot¹. Рядом с упитанным воробышком появился голубь. Глаза, следившие за действием, переключились на новый образ. Белым опереньем, хохолком на голове, похожим на чалму, крупным зобом, длинным хвостом он напоминал сказочную прекрасную птицу. Камера отъехала назад и запечатлела голубя в размере Full-LengthShot². Зорко следившее за тесным двориком окно изредка отражало случайные лучи солнца.

Из дома вышла смуглая красивая женщина в дорогом шелковом шарфе. На ее отрешенном лице застыла печать печали цвета таволги, бессилие, безнадежность. Его ботинки прошаркали мимо. Три-четыре шага. Далее легко и быстро потопали вперед. И вот он стоял перед красавицей, охваченной гнетущей и мрачной тоской. Женщина присела на корточки. Затем, схватив его за руки, внимательно и испытующе всмотрелась в его белое лицо и некоторое время с интересом изучала его глаза, в которых отражался страх и затаенный ужас.

— Не бойся, — сказала она с грустью, — и у меня, невезучей и несчастливой, нет настроения.

Возникла мысль об опасности. Отчужденно отступая назад, он слабо улыбнулся.

— Правильно.

Женщина привлекла его к себе. Не зная, что сказать, она замерла на миг в нерешительности. Затем прижала к себе сильнее в приливе чувств. После она молча любовалась его чистой улыбкой. Вдруг он увидел ее огромные навывкате глаза, полные слез и сопереживания, внезапно осунувшееся, будто высохшее, побледневшее лицо, на котором он прочитал подавленность и опустошенность. Ему хотелось плакать. Он отчужденно отступил назад.

— Печаль защищает от тоски, горе и переживания погружают жизнь в ночь, окутывают мраком, окрашивают мир в совершенно

¹ То есть со средне-дальнего плана.

² Портрет во весь рост.

другой, лишенный красок темный цвет, и тогда человек, постоянно испытывающий печаль и охваченный горем, волей-неволей привыкает к печали и закаляется. По-видимому, муки и страдания становятся делом обычным: то привычкой, то неотъемлемым и желанным состоянием души.

Плечи случайно встреченной молодой незнакомой женщины сотрясались от горьких рыданий. Это произошло не на закате, а в беспечную, беззаботную, неподходящую, казалось, дневную пору. Сердце ее разрывалось на части, душу охватила горечь, и то, что решимость ее обратилась в песок, сильно ранило ее самолюбие. Захлебываясь, задыхаясь, она постепенно успокоилась.

— Сегодня Нигар камнем упала вниз с синевы, словно птица, и обломилась свои крылья.

Ясными, черемуховыми глазами она осмотрелась и вдруг с печальной задумчивостью заглянула ему в лицо. Ее сверкающие огромные глаза блестели огнем. Он улыбнулся, в ответ едва заметно улыбнулась и она. Внезапно позади ее открылось окно, и в проеме показался молодой паренек.

— Где зериза¹, — спросил тот, — где зериза, которую мы стерегли лучше глаз?

— Жемчуг, бриллиант, сапфир, рубин, агат, хризолит, яхонт, гранат, топаз, изумруд.

— А батия²?

— Которая в шкатулке?

— Да.

— Не знаю.

— Прощай, Нигер-Патшайым³.

— Фирдоуси, прощай, не забывай меня, память обо мне храни в своем сердце.

¹ Гиацинт.

² Аметист.

³ Царица Нигер (правильнее Нигяр).

— Тебя, Султан-Нигар-Ханым¹, я буду помнить вечно.

Юноша плакал. Окно снова закрылось. Женщина подошла к воротам. Открыв дверцу ворот, вышла на улицу. Стоя за воротами, сказала:

— Тебе сюда нельзя.

Глядя на повеселевшую женщину, он тепло улыбнулся.

— Из дома не выходи, — сказала Нигар-Патшайым, — что тебе делать вдали отсюда? В местах неизвестных тоже ничего нет.

Медленно и тихо пришли в движение дверные петли железной двери, и она бесшумно захлопнулась.

— Однако только в городе есть жизнь, выходи на улицу, удачливый батыр², — сказала ему женщина под удаляющийся мерный звук шагов.

Он сделал шаг, другой, и посмотрел назад. Несколько раз в разных планах Detail³, Close-Up, Medium Close-Up⁴, Close Medium⁵, Medium Long Shot⁶, Full-Length Shot⁷, Long Shot⁸ менялся Focus⁹.

Лету всегда мало простора. От заборов, сосен, брусчатки веет жаром. Поднимаясь от земли, он заполняет собой всё вокруг, переливается через заграждения и выплескивается наружу. Лето постепенно и плавно проникает через двери, заглядывает в окна. Выбегая из домов, словно дитя с развевающимися на ходу косичками, бродит

¹ Султан-Нигар Ханым — четвертая дочь хана Могулистана Йунуса и Шахобегим Бадахши. Во время разорения Ташкента Адик-Султан бежал от Шейбани-хана и ушел в Казахское ханство. Султан Нигар Ханым последовала за ним. Когда Адик-султан скончался, Касым-хан взял Султан Нигар Ханым себе в жены.

² Богатырь, смельчак.

³ Детализация.

⁴ MediumClose-Up — план погрудный (молочный).

⁵ Средний закрытый план.

⁶ Среднедальний план в киносъемке.

⁷ Полноразмерный снимок.

⁸ Общий план.

⁹ Фокус.

по проспектам и бульварам или носится в воздухе, как пух. Овевает цветники на улицах, жар его идет от нагретых трамвайных рельсов. Его горячее дыхание исходит от выгоревшей травы, разошедшихся деревянных сараев, огромных высотных зданий. Занося песком, обжигая своим дыханием, вызывая жажду, исторгает пламя.

И вот весь Алматы в один прекрасный день, всполошившись, неслется с топотом, словно дулдул¹, и в столпотворенье купается под ливнем. Вдоволь пропитанный и насыщенный влагой воздух надевает шелковый платок радуги. Обычно в дождливые годы на дне горных рек, протекающих через город, собираются камни. Как только сойдет вода, молодые алматинцы, вышедшие на прогулку, переворачивают камни в надежде нежданно-негаданно что-то найти под ними.

Он увидел объектив камеры, смотрящей прямо на него. Улыбнулся. Перевернутое изображение его улыбки, вместившее в себя солнечные июльские дни, лето, наполненное счастьем, прошло сквозь линзу, тут же четко и красиво проявившись в кадре, и прекрасно запечатлелось в плане Close-Up. Внезапно тишину, установившуюся между ними, нарушил приятный голос какой-то женщины:

— Кенесары-Наурызбай²!

Каскад кадров мгновенно остановился. RedOne запечатлел милый образ улыбающегося ребенка.

Перевод Романа Токбергенова

¹ 1) миф. Сказочный конь Али одного из четырех праведных халифов пророка Мухаммеда; 2) породистый скакун.

² Кенесары Касымов — казахский султан, чингизид-торе, внук хана Абылай-хана — последнего хана трех казахских жузов. В современном Казахстане почитается на государственном уровне как лидер национально-освободительного движения казахов за независимость от Российской империи.

Наурызбай Касымов — младший брат Кенесары Касымова. Погиб вместе с ним.

Даурен Куат

(род. в 1973 г.)



В 1997 г. окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Первые его короткие рассказы и художественные зарисовки начали публиковаться в республиканской периодической печати с 1995 г. В 2015 г. в свет вышел его первый прозаический сборник «Әлқисса» («Одним словом»), а в 2018 – второй, «Бөрісоқпақ» («Волчья тропа»).

Рассказы писателя, находящегося в постоянном поиске и внимательно изучающего новаторские направления современной мировой литературы, ее наиболее эффективные, привлекательные стилистические приемы и методы, уже с самого начала привлекли внимание литературно-культурного сообщества, особенно литераторов. Ярким тому доказательством является то, что рассказы молодого писателя уже переведены на японский, турецкий и русский языки.

Даурен Куат в своих произведениях хочет не просто рассказывать об острых актуальных проблемах современности, но образно, порой иносказательно раскрывать их, увязывая с похожими сюжетами из давних казахских легенд и преданий. Оттого его герои тоскуют по романтике прежнего уклада жизни казахов и испытывают чувство тревоги от неуверенности в своем сегодняшнем дне. Язык писателя эмоционален, лаконичен и выразителен.

Даурен Куат лауреат литературной премии имени М. Кашкари, утвержденной для писателей тюркского мира (2013), и литературной премии имени Г. Мусрепова (2014).

«Пигмалион» из Тушибулака

Слишком высоким он не был, но рослым уж точно считался. Поджарое тела делало его похожим на шест. Ровесники подтрунивали над долговязым приятелем: «Девчатам тебя и ущипнуть-то не за что». Кстати, девушки в ауле не задерживались. Закончив школу, черноглазые милашки быстренько сматывались в город. Если бы не это обстоятельство, то жизнь в ауле можно было бы назвать веселой. С утра до вечера она была здесь ключом; мало кто с жиру бесился или от работы отлынивал: все были постоянно чем-то заняты. Но при этом нельзя сказать, что жителей не интересовало происходящее в мире. Здесь бурно обсуждали политику, с интересом смотрели кино, увлеченно читали книги. У каждого табунщика и пастуха за голенищем сапога обязательно имелась зачитанная книга с обветшавшей, затертой обложкой. К поэтам и прозаикам отношение тут всегда было почтительным. Мечтали: «Вот если бы они заглянули к нам в аул!»

Давным-давно сюда приезжал сам Мукагали¹. В каждом доме хранилась фотография, на которой вместе с аульчанами был запечатлен великий поэт. Поглаживая тот пожелтевший от времени снимок, и стар, и млад восхищенно восклицал: «А вот Мукагали!» То ли шаир² благотворно повлиял на них, то ли жизнь на лоне живописной природы сделала их столь сентиментальными, но жителей Тушибулака³ всегда впечатляло всё красивое, необычное. Все, как один, ораторо-

¹ Мукагали Макатаев — выдающий казахский поэт и переводчик «Божественной комедии» Данте Алигьери.

² Книжное «поэт», аналогичное русскому «пиит».

³ Топоним, переводится как «пресноводный родник».

ры, они могли внезапно выдать экспромтом одиннадцатисложный стих — кара олен¹. Ах, если бы поэты, сетующие, что в наши дни не осталось читателей, приехали в этот отдаленный аул, прихватив с собой свои творения! Тогда бы они убедились в том, что остались еще ценители поэзии! И тогда бы их с наивной непосредственностью и радушием первым встретил долговязый Кареке. «Остановитесь, пожалуйста, — обратился бы он к гостям, задержав их на миг. — Позвольте снять вас на память». У Кареке и в помине не было фотоаппарата, но он своими длинными пальцами изобразил бы, будто держит его, нацеливаясь и щелкая: «Кжи-ик». «Не волнуйтесь, пото² ваше будет готово завтра». А на следующий день Кареке принес бы нарисованный один в один карандашом портрет. «Мархаббат³». Жители аула давно уже перестали удивляться и восхищаться этим искусством Кареке — привыкли; ценят и уважают. Очень часто обращаются к нему с просьбами:

— Кареке, завтра сынок мой в школу идет, «сними», пожалуйста, его, пусть смотрит и вспоминает, когда подрастет.

— Кареке, деверек, мы тут собираемся устроить той в честь сорокалетия нашей совместной жизни с отагасы⁴, хотим пригласить родных и близких, друзей-приятелей, придумай что-нибудь. Я говорю о снимке, чтобы мы на нем сидели, прижавшись друг к дружке головами.

— О, Кареке, загляни к нам в гости на праздник Наурыз, прежние снимки, похоже, надо бы обновить...

¹ Одна из наиболее употребительных и устойчивых форм стиха в казахской поэзии XVII–XIX вв. Особенно широко употреблялся в устном народном творчестве.

² В казахском языке не существовало звука «ф», он был заимствован в конце XIX — начале XX в. Но в отдаленных селеньях его произносят как «п». К примеру, «топли» вместо «туфли», «кампит» вместо «конфета» и т.д.

³ Пожалуйста.

⁴ Уважительное обращение к главе семьи, к супругу, а также упоминание о нем в разговоре в третьем лице.

Иногда к Кареке, который и без того был занят по горло выполнением подобных просьб и обращений, приходили старики и старухи и сетовали: «Начальство говорит: “Сделай новые снимки на пашпырт¹”». Кареке никогда не заставлял пожилых людей упрашивать себя дважды: «Ну, устраивайтесь поудобнее, вот здесь, у кереге², где висит белое покрывало», — и тут же «щелкал» их. Работники паспортного отдела, рассматривая нарисованные в формате «три на четыре» или «четыре на пять» рисунки самородного таланта из Тушибулака, не раз диву давались.

«Апырай³, надо же, почему этот парень не уедет куда-нибудь подальше из своего аула?!» — вопрошали они, переглядываясь друг с другом. Но, что поделаешь, может быть, Кареке давно бы уже улетел куда-нибудь, так ведь мать не отпускала. То и дело канючила, выжимая скупую слезинку: «Единственный ты у меня, светик мой, пропади пропадом этот город, лишь бы ты всегда был рядом». И пришлось ему в конце концов махнуть рукой на свою мечту стать известным художником. Но карандаш он всегда таскал в кармане. Оторванный листок ученической тетрадки, даже коробка из-под конфет, да хоть белая материя — на всё, что попадалось под руку, он мгновенно наносил рисунок, если вдруг выпадал случай. Наверное, не осталось ни одного уголка в прежнем посёлке, называемом нынче в народе «перме⁴», который бы не попал под карандаш долговязого художника... Много лет уж прошло с тех пор, как на листы бумаги, попавшиеся под руку Кареке, были перенесены сломанный плуг, проржавевшая под солнцем борона, кузница с дверью без навесного замка, бетонная баня с трубой, покрытой густым налетом сажи, высокие чинары, устремленные прямо к синеве, галдящие и гогочущие в озерке дальнего оврага гуси и утки, резвящиеся жеребята-сосунки да стри-

¹ Искаженное от слова «паспорт».

² Деревянная решетка, образующая круглые стены юрты.

³ Междометие, выражающее удивление, радость, неудовольствие, отчаяние и т.д.; о! да-а! Боже мой!

⁴ Искаженное от слова «ферма».

гунки, кривой, перекошенный мост, ребристые дороги, тропинки, всадник, внезапно возникший на вершине холма, покрытые жестью крыши сараев — вплоть до белых полос — потеков от птичьего помета на них. Не забывал запечатлеть Кареке и времена года. Вот, например, прошлогодняя зима. Снег выпал тогда тонким слоем. Пороша, гололедица. Ферма смотрится уныло. Ощущается студеное дыхание холодного ветра, непрерывно дующего с Суыксая¹. Прохожие, съжившись, бредут по улице. Теленок со звездочкой на лбу дрожит и прижимается к брюху матери. Суетливо мечущиеся в воздухе вороны, превратившись в черные точки, словно неподвижно застыли с расправленными крыльями. Трескучий мороз накрыл собою весь простор, словно чапаном². Тускло, едва заметно мерцают высоко в небе Плеяды. А это — уже нынешняя зима: девственно белый снег, млеющий под покровом ночи аул. Млечный Путь, раскинувшись между севером и югом, пополам рассек собою звездное скопление. Конь, впряженный в сани, выпускает из ноздрей клубы пара. А в санях сидит, покачиваясь, человек в мерлушковой шубе, покрытой инеем. В самом низу картины, названной «Воспеваю зиму», Кареке написал следующее четверостишие:

Словно тайну таят глубокую звезды,
Мир в песню одну окунулся, как в грезы,
Сладко дремлет в ночи аул под луной,
Одеялом белым накрывшись в морозы.

В следующих картинах нашли отражения весенние, летние, осенние пейзажи. Окуная кончик кисти во все краски родной земли, Кареке написал удивительные картины. Он настоящий мастер, порождающий краски из красок. Множество разнообразных оттенков синего цвета он смог отразить в своей картине «Весна во время разлива озера»! Синий, густо-синий, темно-синий, сумрачно-синий, бледно-си-

¹ Холодный овраг.

² Чапан — восточный теплый кафтан.

ний, чернильно-синий, сизый, серо-синий, ковыльно-синий, лазурный, голубой... Вот сколько всего он нашел! «Здесь я использовал 47 оттенков синего цвета¹, — говорит Кареке, — и немного поспешил, если бы я подольше обследовал окрестные горы, то обнаружил бы еще с добрый их десяток». Жители Тушибулака не находят слов и от растерянности лишь только восклицают: «Надо же, поглядите-ка на сломанный плут!», «А вот кривой мост!», «Посмотрите на кузницу!», «Эй, да ведь это же прошлогодняя зима?!», «А это — нынешняя весна, ну, прямо точь-в-точь!».

У Кареке есть и другие особенные рисунки. Но показывать их аульчанам он стесняется. Долговязый Кареке — джигит застенчивый. Особенно сильно стесняется и совсем уж робеет, стоит его сверстникам заикнуться о девушках да молодухах. Ведь хотя ему уже под тридцать, он никак не может завести семью. «Эй, Кареке, ну до каких пор будешь сидеть, обняв голые колени, женился бы ты наконец», — твердят ему сверстники. «Куда торопиться?! Встретится еще кто-нибудь», — пытается избежать продолжения разговора Кареке. «Послушай, Кареке, мы уговорим девушку, ты только дай согласие, что женишься на ней». — «Ну, если девушка согласится, то почему бы и не жениться?» — «Давай тогда по рукам, мы тебе до конца этой недели невесту найдем». Неоднократно ровесники снаряжали Кареке в поход в соседние аулы. Повсюду, где находились совершеннолетние девушки или же засидевшиеся в отчем доме старые девы, бывал Кареке, ведомый своими доброхотами. Со многими девушками он виделся, но ни с одной не находил общего языка. А не находил его по следующим причинам. Во-первых, выглядел перед девушками неуклюжим и робким. Во-вторых, Кареке — человек, привыкший говорить книжным языком. В разговоре с ними то и дело вставлял он непривычные для их слуха слова: «разумеется»,

¹ Среди известных 16 оттенков синего цвета существуют такие, как вайдовый, индиго, кобальтовый, лабрадоровый и другие, но художник может давать его оттенкам свои названия — и тогда их будет неизмеримо больше. Все зависит от четкости и остроты восприятия человеком цветовой гаммы.

«да что вы говорите?», «вероятно», «прошу прощения», «япыр-ау¹», «почему бы не прийти к согласию?», «было бы лучше», «по мере возможности», «мархаббат». Делал он это не из-за того, что хотел показаться всем очень уж учтивым и чрезвычайно умным, а просто следуя своей привычке. Кареке говорит так с тех самых пор, как стал взрослым. Оставшись наедине с бойжеткен², он сразу же начинает переходить на книжный язык...

— Карындас³, пусть вас не смущает, кто это, мол, такой, набрался наглости встретиться с вами наедине посреди ночи, когда все уже спят. Я из тех несчастных, кто ищет свою половинку.

Как тут недалекой, с коротким умом, косноязычной, скупой на чувства девушке, никогда прежде в своей жизни не слыхивавшей таких слов, не подскочить от удивления:

— Что вы сказали? Кого, говорите, ищете?

Кареке пытается выразиться понятнее:

— Я имею в виду свою пару, спутницу жизни.

— А-а... Чем вы занимаетесь?

— Занимаюсь всем тем, что могу делать. «Кто рано встает — тому Бог дает», встаем наперегонки с рассветом и принимаемся за набившие оскомину будничные дела и обыденные хлопоты.

— Агай⁴, вы говорите как-то странно!

— Я всегда так разговариваю, калкам⁵.

— Вы сказали «калкам»?

Та, которую он назвал сестренкой, закрыв ладонями лицо, затряслась от беззвучного смеха и убежала. Потом она сказала на ухо пронырливому джигиту, который привел Кареке: «Этот мужик какой-то

¹ Восклицание, выражение удивления, недовольства и др. Иногда употребляется аналогично русскому «батюшки!».

² Так называют казахи совершеннолетнюю или любую зрелую девушку на выданье.

³ Уважительно-нежное обращение: Сестренка!

⁴ Уважительное обращение к любому старшему по возрасту человеку.

⁵ Обращение «милая», «дорогая», «голубушка».

странный, разговаривает, как старик. Кто он вообще такой? То ли акын¹, то ли умом тронутый».

Подвыпив в компании парней и девчат, Кареке пьянел, и ему обычно хотелось спеть песню. Зная об этом наперед и желая показать только что сбежавшей со свидания девушке скрытые достоинства Кареке, плутоватый джигит стал приставать к нему: «Спой-ка нам что-нибудь, ведь ты любишь петь?!» В таких случаях Кареке не отказывается. И сейчас взял и, надсаживая глотку, затянул: «Не деву-у-ушка»:

Не девушка, беда над головою,
Как подшутить могла ты надо мною.
Днем обещала, ночью убежала,
Теперь сижу в обнимку с пустотою.
Ой, гок, иги-ай-иги-ай, иги-ай.

По дороге домой ровесник, расхохотавшись от души, говорил ему: «Ну, ты дал жару, Кареке! Поехали на поиски девушки, а ты возьми, да и сморозь: «Не девушка ты вовсе»! У тебя что, песни другой нет, кроме этой? Вот и вернулись теперь ни с чем!»

* * *

Не-ет, Кареке не возвращается оттуда ни с чем, он перенесет образ «сестренки» в свою память, сохранит навсегда его в своем сердце. Придя домой, осторожно, на цыпочках пройдет в свою комнату, чтобы не разбудить спящую мать, без шуршания и шелеста разложит перед собой листы бумаги и примется рисовать ту девушку, с которой только что был на свидании. Картины, остававшиеся тайной даже для ровесников, писались именно после этих поездок в соседние аулы с целью знакомства. Обнаженные девицы-красавицы... Конечно, не совсем уж ничем не прикрытые. Но эти женщины, чьи соблазнительно статные фигуры в плотно облегающих тонких колышущихся шелковых платьях призывно манили к себе, вызывали бы вожде-

¹ Акын — поэт.

ние у любого, кто хотя бы разок взглянул на рисунки. В любой из этих картин Кареке неизменно присутствовал силуэт джигита, нежно прижимающего к себе прекрасную деву. Таким он изображал себя самого. Силуэт этот иногда стоит от красавицы в отдалении, выражая всем своим видом страстное влечение к ней. Надменно гордая красавица как бы не замечает парня. А может, и замечает, но демонстративно смотрит куда-то вдаль, делая вид, что ей не до него.

После того как Кареке сотрет с картины лишние оттенки, насытит ее только нужными красками, он, тяжело вздыхая, шепчет: «Свет мой, саулем¹, стань же моей любимой женой!» О, сколько же раз, обнимая изображение девы, нарисованной им, обращался Кареке с мольбой к Творцу-Создателю с просьбой превратить мечту в реальность... «Явись же, — шептал он, — не оставайся безжизненной картиной, растопи мое тело своим горячим дыханием, наполни светом мой мир, приди ко мне неожиданно, милая. Сойди ко мне с листа этой бумаги. О прекрасная, выйди и зажги свет моей души!» Но молчали жестокие, неприступные красавицы... Затем сердце Кареке начинало учащенно биться, он прикасался дрожащими руками к пышным грудям девы на картине, к ее лебединой шее, к полным губам, жаждущим поцелуя, к желанным соскам, к тонкой с крутым изгибом талии, кончиками пальцев притрагивался к нежным, охваченным легкой дрожью бедрам, которые готовы вот-вот раздвинуться, и, закрыв глаза, испытывал блаженное наслаждение.

В один из вечеров, когда сгустились сумерки и медленно стал наползать мрак, Кареке увидел по телевизору необычайной красоты девушку, одетую в черное платье. Репортаж был из Сирии, охваченной войной. И там оказалась эта казахская девушка! Она рассказывала о том, какую ужасную шутку сыграла с ней судьба, при этом из глаз ее обильно текли слезы. Девушка эта, поддавшись влиянию подруги, вступила некогда в какую-то религиозную секту, отреклась от родителей, родственников и близких, перестала с ними общать-

¹ Луч. Здесь в значении «луч мой», «солнышко мое».

ся, хоть и продолжала учиться в вузе. В тот день, когда она наконец получила диплом по специальности учителя английского языка в средней школе, всё та же подруга познакомила ее с парнями из незнакомой ей доселе компании. Знакомство это сблизило ее с самым видным из них, с которым она вначале тесно общалась, поверяла ему свои тайны, а потом знакомство переросло и в любовь. Вскоре они поженились. Супруг сказал ей: «В нашей общине бытуют свои традиции и обычаи, мы не устраиваем пышных и богатых свадеб с беташаром¹ и пиром на весь мир, не признаем сватовства, а наши браки скрепляются с одобрения шейха Омара из Саудии²». Однажды он сообщил ей: «У меня за границей важные дела, мне придется слетать туда», — и тут же исчез. В один из дней на ее сотовый телефон поступило ужасное видеописьмо. В нем ее муж со слезами на глазах сообщал: «Ахи³ дадут тебе денег, возьми их и быстро прилетай в Турцию. Со мной стряслась беда!» Она тотчас же полетела в Турцию и прибыла по нужному адресу, где ей сказали: «Твой муж сейчас в Сирии, там ты его и найдешь». Затем забрали оставшиеся деньги и проводили ее в дорогу, дав адрес человека, который поможет разыскать мужа. В Сирии повсюду шла война, но деваться было некуда — как же бросить в беде любимого?!

Приехав в Сирию и встретившись с человеком, который должен был ей помочь, девушка вдруг поняла, что оказалась в ловушке. Неприятливый человек ничего не сказал о муже, но сразу же отнял у нее документы, а затем поместил ее в квартиру без окон, располагавшуюся в подвале полуразрушенного дома. Там, к ужасу своему, девушка обнаружила нескольких подруг по несчастью. Все они прибыли из разных стран, но у каждой была одна и та же история: сначала влюбленность, потом брак, а затем муж исчезал и просил его разы-

¹ Свадебный обряд снятия покрывала с лица невесты, означающий, что она теперь уже замужняя женщина. С сопровождается одноименной песней благопожелания.

² Саудовская Аравия.

³ Арабское слово «брат».

скать... Девушка не могла поверить в такой обман; неужели и ее возлюбленный оказался аферистом и мерзавцем? Как он мог предать ее, неужто все его уверения в любви были ложью?!. Участь пленниц была незавидна: вскоре им прямым текстом сказали, что они являются собственностью какого-то известного полевого командира. Что они, мол, прибыли в Сирию с целью шпионажа и теперь могут избежать смерти и искупить свои грехи лишь одним способом — ублажая боевиков. Сколько ни плакали девушки, сколько ни просили и не умоляли отпустить их, уверяя, что приехали к своим мужьям, — всё было напрасно. Присматривающие за ними автоматчики только ухмылялись, отпуская сальные шуточки. И началась у героини репортажа жизнь, которую можно сравнить с адом. Бессчетное количество раз подвергалась она насилию, но ничего не могла поделать, и только ночью беззвучно рыдала, вспоминая родню, от которой так легкомысленно отреклась, проклиная себя за беспечность, за легкомысленную влюбленность.

Так продолжалось до того дня, когда ей удалось бежать из заточения во время мощного артобстрела. Она долго пряталась в руинах, питалась какими-то объедками или вовсе голодала, пока случайно не наткнулась на съемочную группу из Франции, которая укрыла ее в своем микроавтобусе, а затем сняла о ней репортаж, облетевший весь мир. Этот-то репортаж и увидел Кареке.

Но художника потрясла и заставила задуматься скорее даже не ужасная судьба, постигшая девушку, а ее обильные слезы и черные блестящие очи. Уповая на свой карандаш, Кареке склонился над белым листом бумаги. Попытался было по заведенной им привычке обнажить девушку, сняв с нее черные покровы. Однако образ девушки противился этому и не желал предстать перед ним обнаженным. «Вытащу, — произнес художник, — дорогая, не упрямься. Обнажишься и вольешься в ряды моих канизаков¹». Вначале он обозначил черемухово-черные зрачки ее глаз. Затем начал наносить контуры лица.

¹ Наложниц.

Наверное, оно должно быть утонченным, с узкими скулами и слегка продолговатым. Да, именно таким... Но, похоже, подбородок получился слишком вытянутым. Подобный овал выставит красавицу чересчур холодной, без тепла в душе. Или же следует всё-таки придать овалу ее лица округлость? Нет. Округлые контуры сделали лицо полным, не гармонирующим с прекрасными глазами. А что если женщине, перенесшей столько страданий, немного сузить овал? Лицевые кости выпирают, щеки осунулись, на бледном лице проступают следы неизбывного горя. Такая женщина вызовет у любого человека чувство сострадания, но в то же время эти удивительные глаза требуют иных чувств, слово просят тебя: «Не унижай меня жалостью, не разделяй мое горе, не входи в его глубины, постарайся понять меня, подари мне надежду».

Но попытка найти неожиданное решение в палитре оттенков черного цвета, когда черные глаза сливаются с черным платьем, тоже не удалась. Черное платье поглотило слезы, капающие из черных глаз, — и художник застыл как истукан. «Ох, уж эти глаза! — сокрушенно вздохнул Кареке. — Что же мне делать с вами?» С этой ночи он начал постоянно бормотать непонятные, бессвязные слова и фразы: «жалостливые глаза», «прекрасные очи», «поганные глаза», «дьявольские глаза». Уход за старухой-матерью, за хозяйством, будничные дела и заботы, которые не терпят никаких отлагательств, — всё это осталось где-то в стороне. Иногда скотина не выгонялась на пастбища и жалобно блеяла и мычала, запертая в сарае. Вовремя не затапливалась печь, не кололись дрова, не приносилась вода. По воду и за хворостом, едва переставляя ноги, тащилась старуха мать. Тогда она рассказывала соседям о своих переживаниях: «Чую, сглазили его... Всю ночь напролет мечется в бреду и без конца твердит: “Глаза, глаза”. И днем сидит неподвижно, уставится в одну точку и бубнит: “Глаза, глаза”. Кто-то, видать, порчу навел на моего жеребеночка...»

Беда, свалившаяся на голову Кареке, тяжело огорчила добрых, сердобольных и отзывчивых жителей Тушибулака. «Такой достойный человек, но, оказывается, если Богу так уж угодно наказать кого-

то, то он это сделает, — говорили они. — Что же теперь?!» После этого аульчане решили: «Надо лечить Кареке. Иначе будет худо. Этот несчастный в конце концов сойдет с ума». В недолгом времени всех облетела ужасная весть: «Кареке сошел с ума. Дом его заполнен рисунками женщины в черном платье, всяких мрачных чудищ. Астапиралла¹, не приведи Господь увидеть такое — волосы дыбом встанут».

В словах этих была немалая доля истины. Потому что с тех самых пор, как по телевизору показали красивую незнакомку со смородиново-черными глазами, одетую в черные одежды, Кареке неизменно макал кончик кисти только в черную краску и постоянно рисовал черные картины — одна другой мрачнее. Черная ночь: из непроглядного мрака выглядывают чьи-то жуткие глаза; на вершине черной горы видны глаза, обращенные с мольбой к небу; темный лес: над ним зловещей тенью нависли черные-пречерные глаза; нависшая туча: из-за нее выглядывают черные глаза; мрачное зеркало: в него глядятся черные глаза; беспросветная ночь: посреди нее темнеет озеро, рябь которого напоминает глаза; на потрескавшемся боку черного казана россыпь жутких зрачков... Некоторые из этих картин висят на стене, иные заняли место на оконных рамах и по краям дверных косяков. А сколько их беспорядочно разбросано на полу! Пять пар глаз смотрят с потолка. Глаза, глаза, глаза повсюду, их такое великое множество, что и шагу ступить некуда. Те из людей, кто желал пройти к почетному месту — торю, что находится напротив входной двери в комнату, вынуждены были подпрыгивать, будто наступили на горящие уголья, и ставили ноги на свободное место, чтобы ненароком не наступить на рисунки. После этого народ, посоветовавшись, явился к мудрому аксакалу — к престарелому бабе² Агымсалы, возраст которого превысил девять мушелей³. Агымсалы,

¹ Прости, господи! Помилуй, Боже.

² Прадед, предок. Здесь употреблено в значении «очень старый, преклонных лет человек».

³ Этнографическое. Старинное исчисление возраста человека по двенадцатилетнему циклу; двенадцатилетний животный цикл (к примеру, год Обезья-

поглаживая белую бороду, закрывавшую его белоснежный бешпет¹ по самую грудь, сказал: «Нынче уж нет прежних баксы². Если бы они жили среди нас, то сами пришли бы к Кареке. Однако, кажется, Каракенею передалось кое-что от этих кудесников, разыщите его».

Как только парни услышали эти слова старца, то сразу же помчались на авто к Каракенею, всегда ходившему с непокрытой головой³, жившему в одиночестве в глухом месте на берегу реки Шинжилы. Спустя два дня в послеполуденное время в Тушибулаке появился, трясаясь всем телом, баксы. Парни, ездившие за ним, перебивая друг друга, начали рассказывать о нем всякие небылицы:

— Ох, Боже мой, с каким же трудом нашли мы баксы. Весь день, всю ночь мы гоняли туда-сюда вдоль русла Шинжилы, да так и не увидели его, а когда отчаялись и не знали, что делать, когда собрались было уже возвращаться, как вдруг, хотите верьте, хотите нет, из водоворота величиной с шанырак⁴ взял да и вышел наш баксы. Но несмотря на это он не промок ни капельки...

— Да разве обычному человеку понять, о чем говорит баксы?! Всю дорогу он бормотал какие-то непонятные речи: «Я прошел по дну реки и вдоволь повеселился на торжествах владыки реки Умме». Мы стали рассказывать о Кареке, но он перебил нас: «Молчите и не несите всякую чушь, я и без вас об этом знаю».

ны, год Собаки и др.); первый цикл заканчивается тринадцатилетним возрастом. Вот порядок: 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 лет и так далее.

¹ Употребляется также в форме «бешпент» — бешмет — легкая приталенная одежда на подкладке до колен.

² Этнографическое. Баксы, шаман, знахарь, лечащий болезни изгнанием злых духов и нечисти. Баксы обладал сильной энергетикой, мощной экстрасенсорикой, магией и колдовством.

³ Старикам по казахским обычаям считалось неприличным ходить с непокрытой головой; так баксы Каракеней демонстрирует всем, что сам себе хозяин, сам устанавливает свои порядки и ему безразлично общественное мнение.

⁴ Купольный остов юрты, представляющий собой деревянный круг, диаметром с метр и более в зависимости от размеров юрты.

— Мы хотели было ему рассказать, что Кареке с раннего утра до позднего вечера сидит и рисует глаза, и спросить, с чем это связано, но он высунул голову из окна машины и закаркал во всю глотку, как ворона. Как только он прокаркал несколько раз, так откуда ни возьмись появилась какая-то ворона и долго потом летела рядом с машиной...

— Жа¹, довольно, что сказал баксы?

— Говорит, надо принести в жертву черную овцу без единого пятнышка.

— Не просто будет найти черную овцу, чтоб совсем была без пятнышка.

Джигиты стали шутить:

— Если не найдется, попросим Кареке, возьмет и покрасит овцу в черный цвет.

Старшим по возрасту такая неуместная шутка пришлась не по нутру, и они нахмурили брови:

— Чего зубы скалить? Человеку на душе тяжело, он с джиннами борется! Хоть в соседнем ауле найдите.

Но черная овца всё же нашлась, и не где-нибудь, а в сарае у Кареке. Люди отнесли это к доброму предзнаменованию и обрадовались. Баксы велел зарезать черную овцу. Затем нагрел на огне жестяной ковшик. Накидал в него жира, снятого с требухи, растопил его и бросил в ковшик синюю тряпочку. Сделав это, вошел в комнату, где сидел Кареке. Народ, толпившийся в доме, вышел во двор. Спустя время, за которое бы успело вскипятиться молоко, задыхаясь от дыма, попавшего в горло, наружу выскочил баксы:

— Принесите печень черной овцы!

Схватив печень, с воплями и криками бросился он в дом. Те, кто подглядывал в дырки затянутого пленкой окна, в зазор между дверным косяком и стеной, рассказывали потом: «Ойбай², ужас, что там

¹ Ну, хватит; довольно; ладно; аналогично русскому «ша».

² Междометие, выражающее удивление, страх, восторг: ой-ой; ай-ай; ого!

творилось! Ойбай, и рассказывать жуть, как страшно! Баксы влетел с печенью в комнату Кареке, превратился в черного буру¹ и дико заревел. В этот момент Кареке обернулся грозным драконом. Тогда баксы стал черным копьём и метнулся в него. Но Кареке перевоплотился в щит и отбил удар. Потом баксы превратился в черного кота и начал читать молитву, а Кареке, став черной змеей, принялся заволаживать его. Баксы, обратившись в толстую плеть, начал было хлестать Кареке, но тот, превратившись в соил², стал отмахиваться. Но вдруг баксы принял облик девушки, одетой в черное-пречерное платье, начал изгибаться-извиваться перед Кареке, и тот, вытянув руки, рухнул прямо на нее. Но баксы обернулся черным вороном и улетел...» Так и не удалось ему излечить Кареке.

После баксы, который явился сюда по земле, а убрался, улетев в поднебесье, в ауле появился мулла. «Он истинный кари³, знающий наизусть весь Коран, если кто и может избавить Кареке от недуга, так, видимо, только он», — говорили между собой друзья художника. Хотя мулла на вид был человеком пожилым, с густой длинной бородой до самого пупка, но на самом деле оказался средних лет мужчиной в возрасте чуть больше сорока лет, шагал так бодро, что штанины коротеньких брюк развевались на ходу. Выяснилось, что он человек несколько заносчивый. Когда его вежливо попросили прочесть молитву, посвященную духу пращуров Кареке, он тут же вспыхнул: «Я сюда не больных аруахов⁴, а недужного человека пришел лечить!» «Да, конечно же, ваша святость, вам виднее, поступайте, как сочтете нужным», — безропотно согласился с ним народ. Мулла отправился посмотреть на Кареке, сидевшего в своей комнате и тупо уставившегося на белый лист бумаги. Бедный Кареке... Его было не узнать, лицо осу-

¹ Бура — верблюд-производитель, обладающий огромными размерами и силой.

² Дубина.

³ Чтец Корана, читающий его наизусть.

⁴ Аруахи — духи святых, духи святочтимых предков.

нулось и побледнело. Волосы ниспадали на опущенные плечи, подбородок оброс бородой. Глаза ввалились, щеки глубоко впали. Ногти отросли. Не отличавшийся упитанностью и прежде, он тут и вовсе отощал, казался еще сухоощавее и длиннее, чем прежде.

— Сильно болит у тебя голова? — спросил у него мулла.

Кареке помотал головой.

— Болит, оказывается, — сказал мулла, глядя, как Кареке мотает головой. Затем красиво, нараспев прочитал суру¹. Кареке звучно рассмеялся. Мулла вышел к людям и сказал:

— Он сейчас смеется. Это потому, что в него вселился джинн. Буду читать молитвы, три дня, три ночи буду читать.

И действительно, три дня и три ночи без перерыва мулла читал молитвы. Жители аула Тушибулак растроганно слушали приятный голос муллы, напевно читавшего суры и аяты. А тем временем Кареке крепко уселся на неутомимо скачущего тулпара своего вдохновения. За эти три дня он создал образ Неба, которое опускалось на устремленные к нему огромные глаза. Ужас! Глаза приворожили само Небо...

— Люди, не обессудьте, — спустя три дня обратился ко всем мулла, — я сделал всё, что было в моих силах.

От первоначальной спеси муллы не осталось и следа, он стал очень смирным и кротким.

— Джинн, вселившийся в него, оказался слишком сильным, — сказал он в заключение, сохраняя смиренность и кротость. — Но все же, кажется, удалось слегка его усмирить. Надежда на излечение есть. Больной охвачен страстью к созданию женского рода, которая носит нихап². Иншалла³, если он сочетается браком с такой богобо-

¹ Глава из Корана.

² Нихап или нихаб — мусульманский женский головной убор из ткани черного цвета, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Его следует отличать, к примеру, от паранджи.

³ Иншалла, иншаллах — ритуальное молитвенное восклицание, междометное выражение, используемое в арабских и других мусульманских странах,

язненной женщиной и по воле Аллаха ступит на праведный путь, то сможет полностью избавиться от своего недуга. Поэтому вы отдайте нам в руки Кареке. Место этого джигита — в нашей общине.

— Молдеке¹, — обратились к нему сердобольные жители Тушибулака, — тысяча и одно вам спасибо за ваши благие намерения и искреннее сочувствие! Но зачем вам Кареке? Пусть он остаётся вместе с нами, вдруг ему станет лучше. Может быть, здесь он и встретит такую девушку.

— Будь по-вашему, — согласился с ними и мулла, радуясь в душе, что смог легко избавиться от такой обузы, как Кареке.

После того как мулла уехал, ровесники Кареке стали держать совет.

— Тот человек, — обратился ко всем хитрый парень, который таскал с собой художника по аулам, где были девушки на выданье, — дал умный совет. Надо нам во что бы то ни стало окончательно женить этого недотепу. Помните, молдеке сказал: «С мешком на голове²?» Ему просто нужна девушка, какой бы мешок ни был у нее на голове.

— Не мешок — «нихап», — поправил его кто-то. С того дня друзья-ровесники ради Кареке обшарили все окрестные аулы в поисках какой-нибудь девушки, одетой в нихап. Как назло, такую в сельской местности им найти не удалось, и, приложив немало усилий, возвратились они назад не солоно хлебавши. В городе одетых в черное и обмотавших голову черными платками оказалось немало. Однако ровесники Кареке, умевшие найти общий язык с любой из сельских девушек, не сумели здесь сблизиться с теми, кто вырос в другой среде и был воспитан в совершенно иных традициях. Джигиты уже было потеряли всякую надежду, придя в полное отчаяние, но вдруг нат-

как знак смирения мусульманина перед волей Аллаха. Можно передать это фразой: «На всё воля Аллаха!»

¹ Уважительная форма обращения к мулле.

² Здесь игра слов, каламбур. Хитрец не понял, что такое «нихап», и на слух воспринял фразу «никап киген» как «не кап киген» — «одетую в мешок», т.е. «с мешком на голове».

кнулись на одну бездомную девушку. Бойжеткен была круглой сиротой и выросла без родителей. Несчастливая, будучи в отчаянном положении, не зная, куда ей податься и что делать, на деле оказалась неглупой девушкой, и когда внимательно выслушала рассказ простых, бесхитростных аульских парней о Кареке, то прониклась к нему состраданием. Поверила обещаниям джигитов, что они всячески будут заботиться о ней, согласилась надеть и нихап. Таким вот образом, посчитав дело сделанным, ровесники Кареке еще до своего возвращения в аул отправили туда радостную весть.

— Суюнши¹, сородичи, суюнши! В наш аул едет та самая дивная красавица в черном платье, которую Кареке видел по телевизору! Невеста едет! Едет долгожданная черноокая, которая свела с ума Кареке!

Суюнши, взволновавшее, казалось, даже окрестные доли и горы, а не то что всех жителей аула, заставило Кареке ожить. Да и его старая мать была вне себя от радости. Сразу же забегала, засуетилась. Открыв крышку своего сундука, перерыла всё, что там было. Раздала молодухам, заглянувшим в дом, все свои дорогие украшения, не обделила подарками, которые положено вручать в таких случаях согласно обычаям, и вошедших к ней с обиженно-плаксивым выражением женщин почтенного возраста, чем вызвала их искренний восторг. Довольным казался и Кареке. «Ай да молодцы мои друзья, всё им по плечу, всё, что захочешь, найдут, всё отыщут», — говорил он, смеясь от души. Старики, вспомнив что-то из своей молодости, тоже возбужденно переговаривались между собой. И всё же радость, охватившая простодушных сельчан, моментально погасла, едва черноокая девушка вошла в сени. Потому что, как только Кареке увидел милое создание, одетое в черное платье, так сразу же воскликнул: «Не она!»

— Джигиты, та, которую вы привели, не похожа на ту, которую я видел». — «Нет, это она, она самая. Открой глаза пошире, взгля-

¹ Этнографическое *суюнши!* Возглас, предшествующий сообщению о радостной вести.

ни внимательно! — закричал один из друзей-сверстников, которые, выбившись из последних сил, вдоль и поперек обошли улицы огромного города. — Взгляни внимательно, неужто ты не видишь ее смородиновых глаз?» Выкрикнув это, он сорвал с девушки черные покровы, скрывавшие ее лик. Когда покровы спали, то на Кареке исподлбья смущенно смотрели большие глаза молодой, в самом соку, красавицы.

* * *

Пролетали месяцы, пробегали годы. Огромные пестрые облака проплывали над высокими вершинами Джунгарского Алатау. Жизнь аула вновь вошла в свой оживленный ритм. Ничего не изменилось. Изменился только Кареке. Да, он уже, как прежде, не бредит глазами, приворожившими его. Но, войдя в образ печального, замкнувшегося в себе человека, ходит, вперив свои глаза куда-то вдаль. Сейчас ровесники его особо не ищут, да и перестали надоедать ему просьбами нарисовать их портрет. Никто из людей аула, увидев Кареке, не говорит ни слова о картинах. Боятся: «Как бы, грешным делом, бедолагу снова не охватила прежняя одержимость». В один из таких дней пронесся слух: «Говорят, Кареке взбрело в голову ночевать у родника Тамшибулак». Да и сам Кареке, будучи среди людей, не раз говорил: «В Тамшибулаке, в Тамшибулаке я нашел, что искал», — пока однажды не исчез куда-то. Пропал.

Горько рыдала, изливая горечь, накопившуюся в душе, старуха мать: «Что за горе свалилось на меня, старую да дряхлую?! Не знаю, то ли джинн его погнал куда-то, то ли шайтан увел за собою, но вот уже неделя прошла, скоро уж минет месяц, как нет рядом со мной Кареке, ума не приложу, где он. О мой народ, о сородичи, посодествуйте, помогите, найдите хотя бы кости моего жеребеночка Кареке». Вновь зашумел-загудел Тушибулак. Ужас объял весь аул. Следом за жоктау — поминальным плачем о Кареке — напуганный до смерти народ всем миром бросился искать его, словно весь аул могло постичь несчастье. Однако искать пришлось недолго, Кареке нашли

быстро. Возле родника Тамшибулак. Это было одно из чудных творений Создателя. Огромный утес, с поверхности которого зимой и летом непрерывно двумя тоненькими, как слезы из глаз, струйками стекала вода, упирался в густой лесной массив Сарытау. И место, откуда стекали две струйки, о Всемогущий Аллах, превратилось в глаза, в настоящие большие навывкате глаза. Прямо из них, как слезы, струились и стекали вниз бусинки капелек. Узрев такое диво, люди аула, испив воду пригоршнями, поклонились ему.

* * *

Прошли знойные дни сарша тамыза¹, приближалась осень. Когда слух о «глазах», выразительно «нарисованных» Кареке на утесе, из которого бил родник Тамшибулак, гуляя из аула в аул, дошел и до дальних городов, в школе аула Тушибулак появилась молодая учительница английского языка Гультунык²...

...Алматинский вечер. Джигиты из Тушибулака сидели, скрывшись от городского шума в уютном ресторане, и вели оживленную беседу, находясь в компании старшего по возрасту земляка-писателя. После расспросов о жителях аула и их житье-бытье разговор коснулся «глаз» Тамшибулака.

— Как там Кареке, успокоился? — спросил писатель.

— Да, Кареке стал бравым джигитом, — ответил писателю один из парней, приходившийся ему младшим родственником и поэтому позволявший себе разговаривать достаточно смело. — Хозяйство отлажено крепко. Примерный семьянин.

— А он создал семью? Ну, живет вместе с той черноокой, которую так сильно желал?

— Нет, ага. Имя этой желанной черноокой — Гульбаршын. Она стала сестрой Кареке. Вы ведь знаете, что Кареке — чистой души человек, он взял под свою опеку бездомную сироту, разodel в шелк и

¹ Конец июля, начало августа.

² Имя означает «чистый цветок», «первоцвет».

ДАУРЕН КУАТ

парчу и своими руками выдал ее замуж. А сам... сошелся с возлюбленной... с той самой, которую увидел по телевизору.

— Имя у нее просто удивительное, — мигом встрял в их разговор еще один бойкий на язык джигит из Тушибулака. — Гультунык. Хоть и оступилась, хоть и хлебнула лиха, но не пала духом. Выстояла и нашла свое счастье. А нашла она его в нашем ауле — на ферме, где встретилась случайно с Кареке. Он как только увидал Гультунык, так сразу повел ее к роднику Тамшибулак, показал ей «глаза» и сказал: «Это точно твои глаза». Так они сошлись и поклялись быть вместе.

Услышав это, писатель загадочно улыбнулся и сказал:

— Пигмалион. Видно, на «Пигмалиона» из нашей фермы снизошла благодать самой Богини любви — Афродиты.

Перевод Романа Токбергенова

Юрий Серебрянский

(род. в 1975 г.)



Юрий Серебрянский родился в 1975 г. в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности химик-эколог, литературные курсы общественного фонда «Mysaget» и семинар поэзии Tobiasa Hill и Pascala Petit (Великобритания). Главный редактор журнала «Almatyński Kurier Polonijny». Координатор семинара литературного перевода при миссии США в Казахстане. Член казахского PEN-клуба. Почетный участник International Writing Residency 2017 при Университете Айова (США). Член клуба искусств имени Геннадия Айги (Чувашия). Преподаватель Открытой литературной школы Алматы.

Автор книг прозы «Мой Караваджо», «Destination. Дорожная пастораль», «Ломаный русский», «Казахстанские сказки» и поэтического сборника «Рукопись, найденная в затылке». Лауреат Русской премии-2010 в номинации «Малая

проза» за повесть «Destination. Дорожная пастораль» и Русской премии-2014 за повесть «Пражаки». В повести «Destination. Дорожная пастораль» Ю. Серебрянский воссоздает увиденное в разных уголках земного шара, поскольку работал экспертом ООН по международному экологическому законодательству, гидом в Королевстве Таиланд, журналистом, руководителем туристического агентства. Автор экспериментирует с композицией, стилем, жанрами. «Казахстанские сказки» – лучшая книга литературного фестиваля Silk Way 2017 и включена в курс изучения русскоязычной литературы Рид колледжа (Портленд, США).

Проза Ю. Серебрянского, сочетающая разные пласты повествования и стилистические находки, перекликается с творчеством современного польского писателя Януша Леона Вишневского, герои этих авторов мобильны и открыты миру. Повествование увлекательно, интеллектуально и интертекстуально. Новая книга Ю. Серебрянского «Алтыншаш», состоящая из двух частей Fiction / Non Fiction, – художественно-документальное повествование о судьбе польского народа, польских семьях, депортированных в Казахстан. Тема родины, концепты дома, степи, памяти наполняются многими

ЮРИЙ СЕРЕБРЯНСКИЙ

глубинными смыслами. Лейтмотив произведения – благодарность казахскому народу за кров, хлеб, жизнь.

Публикуется в казахстанских и зарубежных литературных журналах: «Простор», «Литературная Алма-Ата», «Книголюб», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «День и ночь», «Юность», «Новая юность», «Воздух», «Iowa magazine», в альманахе «Казахстан – Россия», на литературных порталах «Мегалит», «Литература». Произведения современного казахстанского автора переведены на казахский, польский и английский.

Ю. Серебрянский работает над магистерской диссертацией «Межкультурные связи в Европе» по специальности «Культурология» в Варминско-Мазурском университете (Ольштын, Польша). Перевел на русский язык поэзию Малгожаты Лебда, два стихотворения Гуннара Экелефа.

Ехал на черепахе

Мне бы хотелось, может быть, даже очень хотелось, чтобы история эта переместилась в август. Потому что август красивее, и у меня в августе день рождения. Потому что день рождения у меня всегда выпадал на каникулы, и не хватало буквально всех. Все уехали. Но я расскажу о конце марта. Потому что именно в конце марта я шел по тротуару к «Зеленому базару». От дерева к дереву, по аллее, которая еще пребывает без зеленой крыши, с едва распустившимися почками, но кажется, что тени от крон покрывают уже не только тротуар и часть асфальта проезжей части, но и одноэтажный резной деревянный дом.

Это, конечно, лужи, а не тени. Оставшиеся после дождя, который съел следы снега на траве. Лужи я обходил, как корабль, который лавирует между скал, только наоборот. Это я лавировал между морей. Мои туфли могли не дойти до места назначения, попади они в воду. Мне хотелось думать так. Я путешественник, и запас туфель ограничен только этими вот, проверенными, но истоптанными. В которых я прошел много стран. Ну, как будто прошел.

Машин было совсем мало, а проезжую часть соорудили на вырост. Это я так подумал, когда остановился посмотреть. Вернее — остановился увидеть.

По проезжей части в противоположном от меня направлении верхом на огромной, с полукруглым панцирем черепахе ехал человек. Ладно бы какой-нибудь там человек. Тогда все внимание было бы отдано черепахе, а так на нее почти никто и не смотрел. Хотя вышагивала она старательно. Как на параде каком-нибудь. Тем более что перед тем, как ступить, высоко задирала переднюю лапу, как буд-

то честь отдавала. Поставив лапу на асфальт, на секунду замирала. Прежде чем поднять другую лапу. На спине у нее сидел нешуточный человек в берете, с длинным носом и в пиджаке без рукавов. Штаны были не широкими, они были широченными книзу. Он был похож на Буратино-мужчину, которого почему-то решила прокатить черепаха Тортилла.

Двигались они медленно. Прохожие, постояв минутку, продолжали идти дальше. Что они думали? Выгуливают черепаху из зоопарка, наверное. Обычное дело. Не льва же.

Сзади подъехал автомобиль, но не стал сигналить. Аккуратно обогнал черепаху и тогда только надавил на газ. Черепахе было все равно. Казалось, что именно она куда-то идет, а человек просто сидит и отдыхает.

Не знаю почему, но я не ушел. Я не только не ушел, а задал вопрос. Вот есть внутри меня что-то такое, что в странные моменты моей жизни начинает шевелиться и чесаться. Еще у меня начинает чесаться плечо. Я чешу его, и из-за этого начинает вдруг чесаться другое, но потом я делаю, что делаю. Задаю вопрос.

— Куда это вы едете? — я даже не узнал свой голос. Дело в том, что он у меня подрастает быстрее, чем я сам, и я его часто не узнаю с первого раза.

— Откуда мне знать, я еду на мудрой старой черепахе, она точно знает. Но это то ли является секретом, то ли она просто не умеет говорить, — засмеялся мужчина в берете.

— Понятно, — сказал я, — хорошая у вас черепаха, — сказал так, как говорят, например, «хороший у вас портфель» или «хороший у вас плащ». Наверное, поэтому мужчина в берете неожиданно возмутился. Вспылил: — Это не моя черепаха, это просто так черепаха! Это, может быть, я — ее!

— Как это?

— Черепаха пригласила меня покататься, и я ее гость! Осматриваю достопримечательности этого города.

Я маленькими боковыми шажками передвигался следом за ними, не наступая в лужи. Черепаха хоть и была медленная, но проехала уже за время нашего разговора два метра, не обращая на меня никакого внимания.

— А как вы узнали, что вы ее гость и что она вообще вас куда-то приглашает?

Мужчина даже повернулся ко мне полубоком, чтобы заметнее участвовать в разговоре. Он беседовал со мной, как со взрослым, что было, честно говоря, мне странно. Редко со мной так беседовали.

— Ты, наверное, принимаешь меня за инопланетянина? Я ведь понимаю. Верхом на черепахе. Да. Но одно дело, когда я катаюсь на ней, и другое дело, если бы она шла одна. Ты только представь и подумай, удалось бы ей тут погулять? Тут, в самом центре города и в расцвете весны!

— Я думаю, ее бы отвезли в зоопарк, и для этого понадобилась бы большая машина, — сказал я.

Тут мужчина в берете соскочил с черепахи, ловко сумев не запутаться в своих штанинах, и встал рядом со мной. Дело дрянь. Я оказался ему всего лишь по пояс. Но он вообще не обратил на это внимания.

— Видите ли, юноша, я не инопланетянин.

— Я и не говорил, что вы такой, что вы инопланетянин, — от него пахло красками.

— А вы тогда кто?

Мы пошли рядом, боковым зрением держа в поле видимости черепаху, которая, казалось, не заметила того, что седок спрыгнул.

— Говорите мне, пожалуйста, «ты», я же ребенок. Хотя и получается фамильярность, но мне нравится, что вы со мной так по-взрослому разговариваете.

— Ух, ты! Да ты знаешь значение слова «фамильярность»? Я встретил инопланетного ребенка! Люююююдиини! — он так громко протянул это слово, что если бы следом не рассмеялся задорно, то прохожие начали бы задавать вопросы.

— Я ученик алма-атинской школы. Но не отличник, а так, — я вдруг подумал, что это какой-то волшебник и он сможет мне помочь с математикой.

— А по каким предметам ты не отличник, друг мой?

Я не успел ответить по каким, так как в ушах зазвенел свисток милиционера. Черепаха подходила к перекрестку, не подавая опознавательных знаков. Государственных номеров у нее тоже, естественно, не было. Вот милиционер и переполошился.

— Все в порядке, товарищ милиционер, эта черепаха с нами!

Милиционер увидел нас, строгим взглядом обежал берет, штаны, мой октябрятский значок и кивнул. Мы перешли дорогу и смотрели, как черепаха сворачивает влево. Тогда мы еще раз перешли дорогу, ту самую, вдоль которой шли, и стали ее ждать под деревом. Но черепаха решила не двигаться дальше по проезжей части, она шла прямо на нас. Мы обернулись. Позади был довольно большой парк со скамейками и зеленой прошлогодней травой. Туда и направлялась черепаха. Когда она пересекала тротуар, глядя прямо перед собой, мой собеседник сделал двоим прохожим жест, прося ее пропустить. Они и без жеста ее пропустили. Это были мужчина и женщина под ручку. Они тоже гуляли. Сегодня было воскресенье, свободный день.

Оказавшись посреди лужайки, черепаха огляделась и принялась щипать травку.

Тогда мы уселись на скамейку так, чтобы она оказалась у нас за спиной. Мы уже были мы, то есть как будто бы подружились.

Он, наверное, не мог вспомнить, в каком месте прервалась наша беседа, и сказал:

— Я художник. Я работаю в театре.

— Шутите? А что художнику делать в театре? Вы рисуете портреты артистов? — я представил череду артистов на лестнице, с напыщенным видом ожидающих целый день своей очереди за портретом.

— Я оформляю сцену. К каждому спектаклю нужна своя сцена. Декорации, задник.

— У вас свой театр, и есть берет и огромная черепаха, это напоминает мне одну историю, — я почему-то подумал, что он не обидится, если я тоже немножко пошучу.

— Сказка про Буратино? — он засмеялся. — Театр не мой, я в нем работаю, я скорее Папа Карло. Много работы.

— А разве художники работают? Рисовать картины — одно сплошное удовольствие! Работают — это строители!

— А за что же мне тогда театр платит деньги, по-твоему?

Я отвернулся посмотреть на черепаху, потому что надо было подумать, и тут из-под скамейки подул сильный ветер, вынося старые прошлогодние листья и пыль. Они осыпали нам штаны, а пыль залезла в глаза и нос. Отряхиваясь, мы увидели, как черепаха выходит из парка с другой стороны. Быстрым шагом мы обошли парк по тротуару. Какая-то собака средних размеров рычала на черепаху, а хозяйка старалась оттащить ее за поводок назад, на аллею.

Черепаха двинулась по проезжей части, а мы за ней.

Он много рассказал мне о том, какие картины и декорации готовит для театра. Сказал, что когда у художника возникает идея картины, у него чешется внутри черепа! Он даже очень смешно показал мне это. Изобразил. Уронил берет.

— Может быть, вы устали и сядете обратно на черепаху, а я пойду рядом, как раньше? Я не устал.

— А мы уже и пришли, — сказал он. — Вот и зоопарк.

Трамвай, разворачиваясь на кольцевой, дружелюбно прозвенел черепахе. Она с большим достоинством, сосредоточенно перешагнула каждый рельс.

Как мы и уговорились, я подождал у ворот, пока он передаст ее сотрудникам зоопарка.

Какие это были замечательные ворота! Волшебные. Ворота какого-нибудь замка. Белые, в форме арки, с толстыми стенами и надежной решеткой. Только за воротами был не замок, а начинались высокие ступени лестницы, ведущей в зоопарк. Черепахе было бы тут

Юрий Серебрянский

очень трудно подняться, а вот я каждый раз обгонял родителей, торопясь наверх.

Я думал, что он заведет меня внутрь, но он только вышел попрощаться.

— Ты знаешь, где трамвайная остановка?

— Конечно знаю! Сто раз здесь бывал!

— Ну, тогда беги, уже вечер, — сказал он, входя в белые ворота.

— А когда вы будете в следующий раз гулять с черепахой? — мне очень хотелось поговорить с этим художником еще, поэтому я и спросил.

— Врачи говорят, что мне нужно лечь в больницу до конца апреля, а в мае черепаха опять захочет погулять, посмотреть на распустившиеся листья, да и не только посмотреть, — рассмеялся он. — Так что в мае! В воскресенье!

Я ехал в трамвае и прижимался лицом к стеклу, как любил. А если подуть на стекло, то пар сделает на нем непрозрачное облачко, и можно будет рисовать. Вы это, конечно, знаете. Люблю рисовать на стеклах. Я попробовал изобразить какую-нибудь декорацию, и почему-то у меня получились ворота замка-зоопарка, в которых я попытался нарисовать человека в берете. Вообще-то, у меня плохо получается рисовать людей.

Перед воротами я нарисовал большую черепаху и себя верхом на ней.

Произведение входит в цикл «Казахстанские сказки» издательства «Аруна».

*Переведено и издано по заказу
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан*



Литературно-художественное издание
Антология современной казахской прозы

Литературные редакторы:

*В. Г. Бояринов, М. А. Замшев, А. А. Трапезников,
Л. Е. Красавина, А. Г. Ермакова, А. К. Кожедуб,
М. А. Замотина*

Художественное оформление *К. В. Саутенков*
Редактура, корректура *Е. А. Певак*
Верстка *В. Н. Кокорев*

Подписано в печать 01.08.2019. Формат 70х90/16.

Бумага офсетная. Офсетная печать.

Уч.-изд. л. 38. Усл. печ. л. 62,59. Тираж 10 000 экз.

Изд. № 11345. Заказ № 02162-19.



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 15
(ул. Академика Хохлова, 11).

Тел.: (495) 939-32-91; e-mail: secretary@msupress.com
<http://msupress.com>

Отдел реализации.
Тел.: (495) 939-33-23; e-mail: zakaz@msupress.com

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»,
142100, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д. 80/42
Тел.: 8 (4967) 69-97-22; 8 (4967) 69-97-29
E-mail: zakaz@pfop.ru

84/5)
#42



RÝHANI JAŃGYRÝ

Антология современной казахской прозы
издана на 6 языках ООН тиражом в 60 тысяч экземпляров
и распространена среди университетов, библиотек
и исследовательских центров в 93 странах мира.

Антология современной казахской прозы издана:
на английском языке издательством «Cambridge University Press»,
на арабском языке издательством «Media Hub International»,
на испанском языке издательством «Visor Libros»,
на китайском языке «Издательством нации КНР»,
на французском языке издательством «Michel de Maule»



СОВРЕМЕННАЯ
КАЗАХСТАНСКАЯ КУЛЬТУРА
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
НАЦИОНАЛЬНОЕ
БЮРО
ПЕРЕВОДОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ISBN 978-5-19-011388-4



9 785190 113884